Российская академия наук
Институт российской истории РАН

Историк и Художник

Сборник
воспоминаний и статей
памяти профессора
Сергея Сергеевича
Секиринского

Москва
2013

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
И 90

Редколлегия:
Ю.А. Петров, д.и.н. (ответственный редактор)
О.В. Волобуев, д.и.н., профессор
О.В. Будницкий, д.и.н., профессор
В.П. Булдаков, д.и.н.
А.В. Голубев, к.и.н.
С.В. Журавлёв, д.и.н.
В.В. Зверев, д.и.н., профессор
Е.Ю. Зубкова, д.и.н., профессор
А.В. Мамонов, к.и.н. (ответственный секретарь)
Л.С. Новосёлова-Чурсина
Д.С. Секиринский, к.и.н.
И.А. Христофоров, д.и.н.
В.В. Шелохаев, д.и.н., профессор

И 90 **Историк и Художник**: Сборник воспоминаний и статей памяти профессора Сергея Сергеевича Секиринского / Отв. ред. Ю.А. Петров. – М.: Институт российской истории, 2013. — 560 с. : ил.
ISBN 978-5-8055-0247-8

В книгу вошли воспоминания о С.С. Секиринском и статьи, посвящённые сюжетам, получившим освещение в его творчестве – истории русской общественной мысли, российского либерализма, взаимосвязи исторической науки, литературы и искусства, судьбам России в XX в.

ISBN 978-5-8055-0247-8

© Коллектив авторов, 2013
© Институт российской истории РАН, 2013

Оглавление

Раздел I. Воспоминания

О.В. Волобуев. Два историка, две судьбы... в моей памяти 7
Д.С. Секиринский. О папе 23
В.В. Шелохаев. Сергей Секиринский — историк и художник 27
Ю.А. Петров. Сергей Секиринский — редактор академического журнала 31
С.В. Тютюкин. Долгое эхо, благодарная память 36
И.С. Розенталь. По страницам «Историка и Художника» 45
В.М. Шевырин. Строки воспоминаний о Сергее Сергеевиче Секиринском 59
А.А. Кара-Мурза. Сергей Сергеевич Секиринский — историк-портретист 66

Раздел II. Статьи

В.В. Журавлев. Союз Клио и Психеи: в поисках «одушевлённой» истории 73
В.И. Дурновцев. Исторический источник и традиции «цельного постижения исторической жизни» 84
Л.В. Мельникова. Культурная память о 1812 годе во время Крымской войны 100
А.И. Куприянов. Дворянские выборы глазами забытого драматурга 116
А.Е. Иванов. Профессорский институт (1827—1838 гг.) 132
И.А. Христофоров. Самая либеральная из наук: политическая экономия и кружок либералов-фритредеров в эпоху Великих реформ 159
Р.А. Арсланов. Революционные демократы и идеи социализма в восприятии либералов 1850—1880-х гг. 173
Н.Б. Хайлова. Модернизация и национальное хозяйство: взгляды русских либералов-центристов рубежа XIX — начала XX веков 191
Т.Ю. Красовицкая. Православные миссионеры и исламские модернисты в конце XIX века 207
А.В. Мамонов. П.А. Валуев в «Отголосках» 1879—1880 годов 229
В.В. Зверев. С.Ю. Витте и Г.П. Сазонов: личные отношения на фоне кризиса Российской империи 257

С.П. Карпачёв. Василий Алексеевич Маклаков: русский масон.....287
К.Н. Морозов. Судьба Абрама Гоца.....299
А.Ю. Морозова. В тени старшего брата: Виктор Савинков.....336
Т.А. Филиппова. Образы «немца» и «турка» в русской журнальной сатире эпохи Первой мировой войны.....353
В.П. Булдаков. Поэтические завихрения «Красной смуты». 1917—1920 гг.....367
М.Г. Вандалковская. Г.П. Федотов и его прогнозы построения постбольшевистской России.....393
О.В. Будницкий. Записки с «тонущего корабля»: о дневниках Л.В. Шапориной и М.М. Пришвина.....406
Д.И. Олейников. С войной наперегонки: игры «аппарата» и несостоявшийся матч Алёхин—Ботвинник.....427
О.В. Хлевнюк. Государственный Комитет Обороны СССР. Структура, функции, архивные фонды.....441
В.А. Невежин. Церемониал дипломатических приёмов Сталина 1941—1945 гг.....455
А.В. Голубев. М.М. Пришвин и антигитлеровская коалиция (1941—1943).....470
Е.Ю. Зубкова. Послевоенный андеграунд и его окружение в прозе Эдуарда Кочергина.....490
С.В. Журавлёв. Модельер Слава Зайцев: начало биографии.....506
Т.Г. Леонтьева. Художник помогает историку? Современный женский детектив в роли исторического источника.....540
Л.А. Опёнкин. О теоретико-методологических основах изучения общественного устройства новой России.....556

Сведения об авторах.....565

Раздел I

Воспоминания

О.В. Волобуев

Два историка, две судьбы... в моей памяти

Два историка, два человека, две судьбы тесно спаяны в моей памяти, моих впечатлениях, моём сознании. Но это не один слитный образ отца и сына, это — две ярко выраженные индивидуальности.

Сергей Анатольевич Секиринский родился 4 июня 1914 г., накануне Первой мировой войны, в Российской империи.

Сергей Сергеевич Секиринский родился 12 апреля 1955 г., через десять лет после окончания Второй мировой войны и через два года после смерти Сталина, в Советском Союзе.

Разные времена, разные периоды истории нашей страны, разное состояние общественных наук. Но в личностях и судьбах этих историков есть много общего, кроме, само собой разумеется, родства и специальности. Интеллектуализм — да, интеллектуализм; профессионализм — да, профессионализм; независимость натуры — да, и это; а ещё ответственное и критическое отношение к действительности, к окружающим, к себе. «Ответственное и критическое» — как это совмещается? Очень даже может совмещаться, как в классической литературе критического реализма, где художественный анализ характеров и ситуаций приводит к выявлению, выставлению напоказ, на суд людей, изъянов и пороков общества и где автор это делает, осознавая свою индивидуальную ответственность за состояние Отчизны.

Наш разрыв в возрасте с Сергеем Анатольевичем составлял 17 лет, с Сергеем Сергеевичем — 24. Но такой возрастной разрыв-перепад, если и затруднял возникновение дружеских отношений, то не мог служить непреодолимым препятствием для их постепенного установления и укрепления.

В биографической справке о себе в словаре «Историки России XX века» я всегда называл в числе двух своих учителей Сергея Анатольевича. А всё начиналось с его лекций по истории средних веков на втором курсе Крымского педагогического института. Высокий, худощавый, с резко вычерченным лицом, с какой-то очень индивидуализированной и ироничной улыбкой, Сергей Анатольевич объяснял негромким голосом, но не однотонно, выделяя и подчёркивая интонацией главное, сущностное. На фотографии 1947 г., которая включена в посвящённую Сергею Сергеевичу фотолетопись (журнал «Истори-

ческий архив». 2013. № 1), Сергей Анатольевич выглядит очень молодо. В 1950—1952 гг. он не казался мне (не знаю, как другим студентам) столь молодым. Я воспринимал Сергея Анатольевича тогда как человека не пожилого, конечно, но пребывающего «в приличном возрасте» по сравнению с моей юностью, моим мальчишеством.

Сергей Анатольевич пользовался среди студентов (да и среди преподавателей, полагаю) непререкаемым авторитетом. Вся его жизнь была связана с историческим факультетом Крымского педагогического института, ставшего в дальнейшем Симферопольским университетом, а ещё позднее — Таврическим национальным университетом. Он поступил в пединститут в 1934 г., когда только начало воссоздаваться в советских вузах высшее историческое образование, и в 1938 г. был в числе первых выпускников по специальности «история». В тот же год Сергей Анатольевич начал преподавать в своей альма-матер, и преподавательская деятельность стала делом его жизни, его призванием.

В аудитории на лекциях Сергея Анатольевича всегда стояла тишина: лекции студенты усердно записывали. Лекции были весьма социологичны, что характерно для советской историографии, но отличались проблемностью и изложением различных точек зрения на события и процессы, что уже было не характерно для вузовского преподавания в сталинское, да и постсталинское время. Меня увлекал интеллектуально изощрённый узор лекционной ткани. Но влияние на меня Сергея Анатольевича в годы студенческой учёбы можно назвать только дистанционным. То было влияние, определяемое самим фактом существования преподавательского и научного Авторитета.

Возвращаясь к студенческим годам, я всегда думаю над «серединой века» (так назвал свой поэтический цикл Владимир Луговской). Тёмные годы... Светлые годы... Начало 50-х... Тёмные: закат сталинской эпохи, внезапно вспыхивающие протуберанцы репрессий (аресты отбывших свои сроки в ГУЛАГе, космополиты, врачи-отравители...). Воронье (а может быть воронковое крыло) ленинградского дела, задевшего и крымскую партийную элиту. Разгром крымского обкома ВКП(б) после ареста его первого секретаря Н.В. Соловьёва (вместе с А.А. Кузнецовым, М.И. Родионовым и другими высокопоставленными жертвами).

Светлые годы: молодость, студенческая жизнь, друзья, свежесть переживаний. Я, поступивший в институт после окончания сельскохозяйственного техникума, с напутственной наградой, полученной лучшими учениками — двумя книгами: «Краткой биографией» И.В.Сталина и «Агробиологией» Т.Д. Лысенко. Не стану комментировать эту — в духе той эпохи — награду, подчеркну только её символический смысл. С комсомольским билетом в кармане я тогда, как

и многие другие сверстники, был сталинистом, т.е., уточню, я верил в гениальность Вождя, приведшего народ к победе над фашизмом. Как формировались «сталинисты»? Человек оказывался в свёрнутом трубочкой и запечатанном информационном пространстве, не имевшем выхода в другие информационные плоскости. Но это не могло помешать стремлению молодых людей принимать участие в жизни страны. К марту 1953 г. остатки сталинизма в моем сознании можно сравнить со скальным обломком, разрушенным в процессе выветривания.

Думаю, некоторым нашим преподавателям было труднее, чем нам, студентам. В 1937 г. Сергею Анатольевичу было 23 года, мне 23 года исполнилось в 1954 г., когда жизнь изменилась после смерти Сталина. Нельзя не учитывать той обстановки, в которой происходит формирование человека. Но глубоко ошибаются те, кто представляет себе послевоенное советское общество как среду, состоящую из вертухаев и доносчиков. Среди наших преподавателей, я уверен, было немало достойных людей. К ним относились Сергей Анатольевич, преподаватель русской литературы — Бэлла Трахтенберг, новой истории — Екатерина Ненастьева, отечественной истории — доцент М.И. Васильева. А теперь подумаем: доцент Васильева в коридоре останавливает студента, некоего Волобуева, отходит с ним в сторону и доверительно сообщает, что им интересовался некто из органов. По-моему, было ещё сказано что-то вроде: будьте осторожными. А может быть, этого и не было сказано. Тогда такое понималось с полуслова, с намёка.

Я не вдаюсь сейчас в причину интереса к моей особе, так как пишу не о себе. Мне этот эпизод понадобился для характеристики времени, когда каждый преподаватель понимал, что любой из его студентов может — и не обязательно по злобе и подлости — истолковать те или иные его слова как антисоветские высказывания. Уже позже, будучи вузовским преподавателем, я узнал от доверившегося мне бывшего студента-осведомителя о том, что в каждой группе таковых было по двое. Я помню его извиняющее: я о вас сообщал только хорошее. И ещё раз повторю: порядочных людей и среди студентов, и среди преподавателей было, видимо, больше, нежели подлецов и доносчиков по призванию. Может быть, даже больше, чем в веке двадцать первом[1].

Мы, студенты, ходили то по солнечной стороне улицы (используем этот образ, найденный выросшей на узбекско-русско-израильской почве Диной Рубиной), то по тёмной, сумрачной. Больше — по сол-

[1] А как же миллион доносов? — вопрошал нашу совесть Сергей Довлатов. Посчитать их и заодно узнать, что это были за доносы — от призвания шедшие или под пытками полученные «признания» — очень бы полезно было. Но пока это не сделано, по отношению к людям того времени будем исходить из презумпции невиновности.

нечной. Крымский государственный педагогический институт того времени, с его главным корпусом на ул. Ленина, с его любимыми и даже нелюбимыми преподавателями, с полуголодной в то время студенческой жизнью остался в моей памяти на солнечной стороне земной поверхности.

После окончания института я не один год проработал учителем истории в школах г. Алупки («Большая Ялта»), не оставляя надежды поступить в аспирантуру или найти какой-то выход для выброса интеллектуальной энергии. Поэтому я ухватился за идею принять участие в объявленном Министерством просвещения в 1961 г. конкурсе на подготовку учебников по истории для вечерней (заочной) школы (в таковой я в то время преподавал). Больше всего меня привлекал учебник по истории средних веков, и я решил обратиться к Сергею Анатольевичу с предложением о совместной работе над конкурсным проектом.

Вспоминаю, как с трепетом, с неуверенностью в успехе и с решимостью авантюриста я поднимался по внешней лестнице на второй этаж, направляясь к квартире Секиринских. А вот где и как проходил разговор, не помню. Но в любом деле важен результат: согласие на соавторство Сергей Анатольевич дал. Может быть, потому что ему захотелось испытать себя в новом жанре, а может быть, оказались убедительными мои аргументы. Так был преодолён первый возрастной и статусный рубеж между очень уважаемым вузовским преподавателем и ничем пока не проявившим себя учителем вечерней школы в малозаметном курортном городке.

Был составлен план учебника и примерный график работы, распределены роли: за научное содержание отвечал Сергей Анатольевич, за методическую сторону я. Сразу же я приступил к работе над своими главами. Ключевые главы по истории Западной Европы 1-го и 2-го разделов учебника писал Сергей Анатольевич, весь Восток, а также 3-й раздел «Начало разложения феодализма. Зарождение капиталистических отношений»[2], за исключением истории западноевропейской культуры, составлял мой «удел».

Летом для завершения работы над учебником в Алупку приехал Сергей Анатольевич. В определённые конкурсом сроки уложились с трудом, многое могло быть сделано лучше, интереснее. 17 февраля 1962 г. в «Учительской газете» было напечатано сообщение об итогах конкурса учебников для вечерней школы. Наша рукопись и рукопись коллектива свердловчан получили поощрительные премии, первой премии не удостоился никто, вторая была присуждена коллективу киевлян.

[2] Ныне этот хронологический отрезок истории относится к периоду Новой истории.

Рукопись нашего учебника «История средних веков (элементарный курс для вечерних сменных школ)» была вскоре размножена на ротаторе в Крымпединституте и предназначалась для экспериментальной работы. Однако организовать эту экспериментальную работу не удалось. В том же переломном и памятном для меня 1962 году я поступил (главную роль в этом сыграл учебник) по специальности «методика преподавания истории» в аспирантуру Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской.

Совместная работа и совместный успех сближают людей. Сергей Анатольевич проявил интерес к моей будущей судьбе. Будучи не только заведующим кафедрой всеобщей истории, но и деканом факультета, он добился официального направления меня (уже после успешной сдачи вступительных экзаменов) в целевую аспирантуру. Так была открыта дорога в частное «светлое будущее»: в мир вузовских преподавателей (не скрою, тогда это была моя мечта).

Следующим нашим совместным проектом стала подготовка для учителей художественно-исторической хрестоматии по средневековью. Идея такой хрестоматии не была нова, целесообразность подобных изданий базировалась на элементарном наблюдении: часто представления о прошлом формировались не в процессе школьного обучения, а на основе прочитанной художественной литературы.

Договор на её подготовку был заключён с издательством «Просвещение», насколько мне помнится, в 1963 г. Надо было не только подобрать соответствующие (соответствующие содержанию учебного курса и дидактическим требованиям) фрагменты из художественной литературы, но и распечатать их. Благо я, будучи учителем, собирал художественную историческую литературу. Но, конечно, ею ограничиться было нельзя.

Иногда в поисках материала приходилось делать маленькие «открытия». Не помню, как в наши руки попала книга французского писателя Анри Бэро «Проклятое урочище». Автор был незнаком, но сюжет отличался необычностью: история крестьян селения Саболас со времён Столетней войны до конца XVIII в., из поколения в поколение ведущих борьбу за землю и право на ней свободно жить и работать. Тогда мы не знали ни о том, что после 1927 г. Бэро как реакционного, с антисоветскими взглядами писателя (характеристики 1930-х гг.) перестали издавать в Советском Союзе, ни о том, что по существу ракурс «Проклятого урочища» был близок к подходам и тематике представителей школы «Анналов» (журнал начал выходить в 1929 г.). От старой тоненькой книги исходил некий дух иного понимания истории, да и высокого литературного мастерства (что чувствовалось даже по переводу). А, как выразился, другой французский

писатель Жюль Ренар, настоящий писатель — тот автор, о тексте которого говорят: это Он.

Составителям хрестоматии тяжело работать, находясь в разных городах. Максимально использовалось летнее время, когда я приезжал из Москвы в Крым. Но вот, наконец, в 1965 г. наша хрестоматия увидела свет, она вышла тиражом 36 000 экземпляров. Второе издание нашей хрестоматии, переработанное и дополненное, вышло в 1977 г. уже тиражом 100 000 экземпляров. По объёму второе издание было таким же, как и первое, но часть прежних текстов была заменена новыми. В промежутке между двумя изданиями нашей хрестоматии появились аналогичные пособия для учителей по другим школьным курсам истории[3]. Таким образом, мы оказались удачливыми первопроходцами в деле создания художественно-исторических хрестоматий для средней школы. Мне представляется, что секрет успеха в первую очередь заключался в потребности выйти за рамки социологических схем и перенасыщенности учебников сухим фактографическим материалом.

В 1965 г. я вернулся в Крым, имея на руках автореферат кандидатской диссертации и художественно-историческую хрестоматию, а с сентября того же года начал свою преподавательскую деятельность в должности старшего преподавателя кафедры всеобщей истории. Сергей Анатольевич стал моим шефом и наставником. Уже в то время я понимал, что наставничество — это не столько профессиональные рекомендации, сколько доверительное общение и разговоры «о жизни», т.е. обо всём, что в данный момент волнует, интересует, прямо или косвенно затрагивает. Наставничество основано на рефлексии и резонансном колебании струн души (взаимно связующие ритмы сердца). Не важно, что ты помнишь из этих разговоров и что забудешь, — важно, что это были соки, насыщающие корневую систему.

У Сергея Анатольевича я учился опыту кафедрального руководства, который мне пригодился в дальнейшем. Я знал не один десяток заведующих кафедрами, и в их числе было немало управлявших коллективом в лучших традициях административного попечительства. Сергей Анатольевич принадлежал к не столь распространенному типу таких либеральных заведующих, для которых кафедральные

[3] Художественная литература в преподавании новой истории / Сост. А.А. Вагин. М., 1966; Новейшая история в художественно-исторических образах / Сост. Н.В. Попов М., 1967; Хрестоматия поэтических произведений по истории древнего мира и средних веков / Сост. А.Д. Рогов и Г.А. Линко. М., 1967; История древнего мира в художественно-исторических образах / Сост. О.В. Волобуев и А.В. Шестаков. М., 1968; История СССР в художественно-исторических образах / Сост. А.И. Назарец и Т.Я. Папенкова. М., 1969.

отношения основывались в первую очередь на оценке способностей и профессиональных качеств преподавателей, а управление строилось на уважении к их личности и доверии.

Иногда вечерами мы гуляли по уютным улицам Симферополя, где-нибудь в районе реки Салгир. «Иногда», так как Сергей Анатольевич был человеком очень занятым: кроме педагогического института, ему приходилось читать лекции о международных отношениях в так называемом институте марксизма-ленинизма, существовавшем при обкоме партии. Требовала времени и работа над докторской диссертацией. Сергей Анатольевич стал регулярно принимать участие в ежегодных симпозиумах по аграрной истории Восточной Европы. Эти симпозиумы расширили круг его научных связей. Я в ту пору находился в поисках темы докторской диссертации, и Сергей Анатольевич, поскольку ориентация была на историографию, познакомил меня с Александром Львовичем Шапиро и Иваном Дмитриевичем Ковальченко. Конец 1960 — начало 1970 гг. были тяжёлым временем для семьи Секиринских. В 1967 г. (не уверен в хронологической точности) Дмитрий, старший сын Сергея Анатольевича, был отчислен из Московского университета, где тогда учился. Свободомыслие учащейся молодёжи, начиная со студенческих кружков времён Николая I, было вечным раздражающим вызовом для стражей безопасности. Вытолкнутого из университета студента в соответствии с нашей государственной традицией отправили в армию.

Не только в столице, но и в провинции свободомыслящая молодёжь искала пути выхода из сталинского лабиринта. Так, в Крымском педагогическом институте симферопольские гебисты, «обнаружили» «подпольную студенческую организацию», состоявшую из нескольких молодых людей, связанных давним знакомством с Дмитрием Секиринским, который, отбыв армейский срок, вернулся в Симферополь.

Настроения свободомыслящих студентов рубежа 1960—1970 гг. талантливо описаны в небольшом мемуарном очерке А.Г. Зарубина[4], обучавшегося в те годы в Крымпединституте. Не могу отказать себе в удовольствии привести выдержку из этого очерка о результатах «искоренительной» работы: «Сценарий отшлифован — сколько их было по стране? где историк подсчитающий? Хотя <...> содержание обвинительных выкладок можно предсказать заранее: обороты, резюме и т.д. пролонгация “Краткого курса”. С поправкой на либеральное вре-

[4] Александр Зарубин, автор работ по истории Гражданской войны в Крыму, кандидат исторических наук, писатель, журналист, музыкальный критик. Последние годы жизни провёл в г. Кемерово.

мя. Цитирую из вышедшей 45-тысячным тиражом (неплохо для Крыма!) книжки (*Г. Соколов, И. Тимофеев*. "Визитёры из чужого мира". Симферополь, 1974. С. 25): "Комсомольское собрание двух факультетов Симферопольского университета[5] осудило поведение студентов Кравченко[6], Татаринцева[7] и Новикова[8], которые размножали и распространяли среди соучеников собственные политически порочные "сочинения", а также пасквили Солженицына, Кузнецова и других отщепенцев. За поступки, порочащие звание советского студента, общее собрание приняло решение: просить ректорат вуза отчислить их из университета. Эта просьба была удовлетворена".<...> Исключили — вопреки обещанию оставить — Кравченко, Татаринцева, Новикова, Зуева[9]. Стройбат как разновидность заключения. Потом, правда, дали возможность закончить»[10]. Исключали самых творческих и неравнодушных, таких, как студенты, упомянутые А. Зарубиным, таких, как Дмитрий Секиринский.

После демобилизации Дмитрия Сергею Анатольевичу пришлось затратить немало сил и нервов, добиваясь его восстановления в правах студента, уже не московского, а всего-навсего крымского. Институтское начальство явно боялось, кивая на КГБ, где в свою очередь увиливали от прямой ответственности. Не раз отцу приходилось идти на поклон в обком партии.

В 1970 г. ко мне с исходящим от Сергея Анатольевича предложением войти в авторский коллектив обратился Константин Константинович Когонашвили. С жизнелюбцем и остроумцем Костей, сокурсником по Крымпединституту, я был связан многолетней дружбой. Он вслед за мной поступил в аспирантуру МОПИ им. Н.К. Крупской и после защиты кандидаткой диссертации был привлечён Сергеем Анатольевичем к вузовскому преподаванию. Инициатива написать научно-популярную книжку на основе монографии С.А. Секиринского «Очерки истории Сурожа IX—XV веков» (1955) принадлежала Косте и была поддержана Сергеем Анатольевичем. Меня ввели в авторский коллектив третьим.

Небольшая книжечка «Судакская крепость», объемом в 2,5 п. л., вышла в издательстве «Таврия» в 1971 г. Можно отметить две её осо-

---

[5] Исторический и филологический факультеты.

[6] Возможно, это Сергей Кравченко, автор проникнутой иронией книги: *Кравченко С.* Кривая империя. История государства российского. Краткий курс. М.; СПб., 2002.

[7] Игорь Татаринцев — журналист, живёт в г. Феодосия

[8] Сергей Новиков (1951—2002) — поэт. жил в г. Ялте.

[9] Виктор Зуев — поэт, литератор, живёт в Москве.

[10] Цит. по: *Кулешов С.В.* Историк О.В. Волобуев: штрихи к творческому портрету. М., 2001. С. 167—168.

бенности: обновлённый по сравнению с монографией С.А. Секиринского фактический материал, основанный на последних к тому времени публикациях и археологических данных, а также наличие ссылок, на что обычно издательства, имея дело с научно-популярной литературой, не шли.

В 1980 и 1983 гг. в том же издательстве «Таврия» выходила книга тех же авторов «Крепость в Судаке», которая являлась одновременно и научно-популярным очерком, и путеводителем. Она значительно превышала по объёму «Судакскую крепость» и имела другую структуру. В ней были широко использованы археологические исследования М.А. Фронджуло и И.А. Баранова, искусствоведческие наблюдения О.И. Домбровского, результаты реставрационных работ коллектива архитекторов, возглавляемого Е.И. Лопушинской. Особенно хорошо было оформлено последнее издание (две цветные фотовкладки, качественная бумага и др.).

В 1972 г. я перебрался из Симферополя в Москву. В последующие годы с Сергеем Анатольевичем встречался, главным образом, когда приезжал в Крым. Это были краткие встречи. Писем друг другу мы не писали. Умер Сергей Анатольевич в 1990 г. Когда я вспоминаю его, мне приходит на ум выражение Григория Померанца «полёт над страхом». Наверное, многие творчески думающие люди в сталинское и постсталинское время совершали свои «полёты над страхом». Социальная мимикрия и нонконформизм поселялись в одних и тех же телах, головах, душах.

* * *

Формирование личности всегда связано в первую очередь с семьёй, Подумаем, что мог почерпнуть в детстве и юности Серёжа в семье Секиринских. Любовь к семье — безусловно, да. Для Сергея Анатольевича ответственность перед семьёй, увлечённость историей и преподавательской деятельностью, неравнодушное отношение к общественной жизни, честность, доброжелательное и уважительное отношение к людям были смыслом и содержанием существования на этой земле. Всё это передалось и его сыну, Сергею Сергеевичу, как и слегка ироничное отношение к окружающему миру и, между прочим, к себе тоже. Наверное, много было дано и от матери, Тамары Дмитриевны. Но я об этом мало знаю. Могу только предполагать: Тамара Дмитриевна была, по моим наблюдениям, человеком добрым, честным и чистым.

Но человек-личность не слепок с образцов вольных и невольных воспитателей, даже любимых и восхищающих. Личность и сама формирует себя, и чем больше самостоятельности в том, что выбирать и

каким быть, тем ярче и индивидуальнее человек. И это всё тоже было присуще Сергею. Так, в молодости он, чтобы укрепить свой организм, занимался поднятием штанги, ходил в туристические походы. Он очень любил крымскую природу.

Наши отношения завязались в 1982 г., когда Сергей женился и перебрался в Москву. Будучи аспирантом Института истории СССР и работая над диссертацией, он, надеясь на помощь в трудоустройстве, обратился ко мне, заведовавшему тогда кафедрой методики преподавания истории в Московском областном педагогическом институте. К сожалению, я смог ему предложить только малооплачиваемую должность лаборанта кафедры. Вакансий на преподавательское место не было, и получить таковое тогда от ректората можно было только (и то не всегда) при наличии у претендента степени кандидата наук. Так Сергей Сергеевич стал лаборантом возглавляемой мной кафедры. Проработал он в этой должности в течение года, а в 1983 г. перешёл на преподавательскую работу в Московский заочный педагогический институт. Конечно, в МОПИ можно было дать почасовку, но мне хотелось, чтобы он поскорее закончил работу над диссертацией.

Разрыв в возрасте (мне было уже за пятьдесят, а Сергею всего 27 лет) и служебном положении не способствовали нашему тесному сближению в то время. Отношения были тёплыми, но не более. В период работы лаборантом Сергей Сергеевич установил добрые отношения с моим учеником, преподавателем А.Н. Фуксом. В дальнейшем, вскоре после моего временного ухода из МОПИ, Александр Николаевич стал заведующим кафедрой методики преподавания истории, а потом, уже намного позже, пригласил Сергея Сергеевича занять должность преподавателя (на 0,5 ставки). В этой роли Сергей пребывал вплоть до последнего года своей жизни, ведя интересные спецкурсы и на очном, и на заочном отделениях.

Следующее пересечение наших судеб было связано с работой в Московской высшей партийной школе, куда я перешёл из МОПИ—МГОУ осенью 1987 г. В период перестройки мой ученик по Крымпединституту С.В. Кулешов после защиты докторской диссертации стал заведующим кафедрой в МВПШ и, опираясь на поддержку ректора Вячеслава Шостаковского, начал приглашать не отравленных догматизмом преподавателей. Особенно молодых. Так, на кафедру почти одновременно попали Сергей Сергеевич Секиринский и Василий Васильевич Зверев. В идейно раскрепощённой, благодаря Кулешову, атмосфере оба они чувствовали себя служителями творческой, а не догматической общественной мысли. И на этой почве у них сложились дружеские отношения.

В последний учебный год перестроечного времени всех нас, недавно пришедших на кафедру (к тому времени она стала кафедрой

исторического опыта), объединила работа над учебным пособием нового типа. Этот коллективный двухтомный труд получил название «Наше Отечество. Опыт политической истории». В качестве авторов в нём приняли участие не только преподаватели кафедры, но и приглашённые со стороны свободномышлящие историки (Г.З. Иоффе, В.С. Лельчук, Е.Ю. Зубкова и др.).

В феврале или начале марта 1991 г. С.В. Кулешов уехал на стажировку в Стэнфордский университет. Завершать работу над двухтомником пришлось заместителям руководителя авторского коллектива — мне и Е.И. Пивовару. Основную работу по редактированию первого тома выполнили Сергей Сергеевич (к тому времени уже профессиональный редактор научного журнала) и Василий Васильевич. Предисловие «К читателю» написано было нами троими. Не могу не привести его последний абзац: «Авторы изложили собственное понимание проблем политической истории Отечества. Однако могут быть и иные её трактовки. И это вполне естественно. Прошли те времена, когда у нас был только один Вождь, одна Партия, одна Идеология, один Учебник»[11]. Прошли ли? История не движется по прямолинейной линии прогресса, тут и впрямь никогда не говори «никогда».

Успех (главным образом, в вузовской среде) достался «Нашему Отечеству», как говорится, «под занавес», под реквием по Советскому Союзу. Но идея нового учебника (и вузовского, и школьного) была близка крымской тройке коллег — Сергеям Кулешову и Секиринскому и мне. Кулешов выступил инициатором создания учебника по истории России для старшей школы (10—11 классов) и по собственному разумению подобрал соавторов. Меня, как знающего школу и требования к учебникам, Кулешов определил руководителем этого коллектива (состоявшего из 10 человек), а себя — замом. Прежде всего нам предстояло составить свою, оригинальную авторскую программу, изданную затем благодаря усилиям Кулешова[12]. Но, хотя все предполагаемые сотрудники были указаны в ней как составители, опыт показал, что чем больше авторов, тем меньше результат. Всё же творческий коллектив должен быть незримо объединён общими методологическими подходами и конкретизированными идеями. Между тем только первая часть программы (Древняя и Средневековая российская история до конца XVII в.) сохранила авторский вклад И.Н. Данилевского и И.Л. Андреева. Что касается остальных частей, насколько я помню, они вышли «из-под пера» вышеуказанной «трой-

[11] Наше Отечество. Опыт политической истории. Т. 1. М., 1991. С. 7.

[12] История России. Программа учебного курса для старших классов / Сост. О.В. Волобуев, С.В. Кулешов, И.Л. Андреев, И.Н. Данилевский и др. М., 1997.

ки», которой пришлось всё «сводить», а на деле реально выполнить основную работу, формулируя стержневые идеи и проблемы.

Новационное видение истории XIX в. Сергеем Сергеевичем больше всего проявилось в содержании раздела «Мир российской империи: традиционализм и обновление» (часть II), который включал четыре проблемные темы: «Власть: приоритеты и метаморфозы», «Имперский социум: деревня и город», «Человек и общество: сословность и формирование гражданского самосознания», «Этнокультурный облик империи». В расшифровке двух тем особенно чувствуется «почерк» Сергея Сергеевича: 1. «*Государственная опека: пределы свободы*. Власть и рынок. Крестьянский "мир" и бюрократия. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура»; 2. «*Человек в системе корпоративных связей: иерархичность социального бытия*. Сословия и власть: от равенства в бесправии к неравенству в правах. Сословные привилегии и повинности. За пределами чинов и сословий: новые ценности».

Что нового (в чём-то более, в чём-то менее) было в конструктивном построении нашей программы? Работая над ней, мы придерживались следующих основных подходов: 1. «Мировые процессы должны изучаться в "фокусе" российской истории» и соответственно их следует очерчивать в сквозной рубрике «Мир и Россия», предваряющей освещение основных проблемно-хронологических «узлов»[13]; 2. «Реструктуризация имеющихся у учащихся знаний с выделением ключевых (доминантных) "сквозных линий" отечественной истории... (зарождение, эволюция и трансформация российской государственности, социальных структур, отечественной культуры; модернизационные процессы, реформы и контрреформы; революции и т.д.); 3. Акцентирование на социальной антропологии, предполагающей выдвижение на первый план человека как субъекта истории, его повседневного бытия, ценностных ориентаций, поведенческой культуры и т.д.; 4. Наличие этноконфессиональной и этнорегиональной компоненты исторического развития России, включающей проблемы происхождения и образа жизни её народов, характеристик межнациональных отношений и т.д.»[14]. Однако, несмотря на то, что данная программа была рекомендована Управлением содержания общего и среднего образования Минобразования РФ, учебник на её основе так и не был написан. Причин тому было достаточно, и вдаваться в них я не

[13] См.: Там же. Памятка учителю (вложение в программу в виде отдельного листка).

[14] История России. Программа учебного курса для старших классов. С. 3—4.

буду. Замечу только: многое из того, что не было реализовано, полагаю, и теперь ещё не потеряло своей актуальности.

На исходе XX века я получил сначала исследовательский, а потом и издательский грант РГНФ на подготовку обобщающего труда, посвящённого национальным интересам нашего государства в имперский (с середины XIX в.) и советский периоды[15]. Замысел его заключался в том, чтобы отказаться от традиционных великодержавных или классовых критериев оценки внутренней и внешней политики, применяя в качестве методологического инструментария соотношение государственных приоритетов и национальных интересов.

Начало работе положил приезд ко мне на ул. Тайнинскую двух Сергеев — Кулешова и Секиринского, предложивших составить заявку на соответствующий грант. К сожалению, случилось так, что Кулешов заболел и не смог в дальнейшем принять участие в этом деле. Фактически его мотором стали три автора — В.В. Шелохаев, С.С. Секиринский и я (в качестве руководителя проекта). Как правило, все теоретические и организационные вопросы, особенно на первых порах, мы обсуждали сообща. Со временем наш коллектив пополнился видными сотрудниками Института российской истории А.В. Игнатьевым и Л.Н. Нежинским, писавшими разделы по внешней политике. Книга эта прошла без рецензий, незаметно, хотя, на мой взгляд, заслуживала внимания.

В 1999 г. Сергей Сергеевич в Российском независимом институте социальных и национальных проблем защитил докторскую диссертацию «Русский либерализм: от 40-х к 80-м годам XIX в. (идеи, люди, среда)». Я участвовал в заседании этого диссертационного совета, будучи его членом. Защита прошла интересно, и было с чем поздравлять соискателя. Нельзя не отметить также заслугу В.В. Шелохаева, который оказывал полезное давление на Сергея Сергеевича, заставляя его не тянуть с представлением диссертации к защите. Обсуждалось не раз и название диссертации; мне кажется, что найденное уточнение «идеи, люди, среда» и удачно, и точно.

Присуждение докторской степени было вехой в творческой судьбе Сергея Сергеевича. Он окончательно раскрепостился, перестал чувствовать привязанность к одной теме. Для него наступила пора поиска «невспаханных полей», пора «первой борозды в первой вспашке». Поиск нового был его потребностью, его творческим зовом (или зудом, как хотите). Этот зов привёл Сергея Сергеевича к созданию научного, но рассчитанного на широкий круг читателей журнала «Историк и Художник». Порывисто, с огромным душевным подъёмом он

[15] Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000.

готовил первые номера. Четыре года продолжались радости, хлопоты, огорчения. Бывало, жаловался (хотя это не было присуще его натуре): тяжело, вкладываешь много труда, а элементарной суммы денег на жизнь нет.

Не раз мне приходилось посещать собрания клуба читателей журнала «Историк и Художник», проводившиеся Сергеем Сергеевичем сперва в музее А.И. Герцена, а затем в одной из школ, удобно расположенной в центре Москвы. Людей всегда было много, как правило, школьный актовый зал был заполнен. Посетители были разные — от пожилых докторов исторических наук (вроде И.С. Розенталя и меня) до студентов и, кажется, даже до школьников. Часто встречал там своих знакомых из ИРИ РАН (А.И. Голубева, Е.Ю. Зубкову и др.), из родного МГОУ (Э.Н. Абдуллаева, А.В. Белова и др.) и т.д.[16] Каждое собрание являлось событием, но больше других запомнилась мне встреча с известным польским кинорежиссёром К. Занусси, которая проходила на открытой площадке музея А.С. Пушкина.

Главной фигурой на всех этих собраниях был Сергей Сергеевич. Он тщательно продумывал сценарий, вопросы участникам, призы за правильные ответы, но при этом умел быстро и удачно реагировать на непредвиденные выступления и ситуации, был мастером диалога с аудиторией. На сцене, на трибуне Сергей Сергеевич смотрелся эффектно: крупная фигура, раскованное поведение, органичная артистичность. Немногие знали, какого напряжения психических и физических сил требовал «выход на сцену». Увы, «растрата себя» — необходимое условие честного успеха в жизни.

Прекращение издания журнала «Историк и Художник», связанное как с финансовыми причинами, так и с хронической усталостью, совпало по времени с уходом из жизни нашего земляка и общего друга Сергея Владимировича Кулешова, в просторной квартире которого мы в течение многих лет не раз встречались и беседовали то за рюмкой коньяка, то за чашкой кофе, а то и просто так. Как-то с грустью Сергей Сергеевич сказал: «Когда вспоминаю Сергея Владимировича, всегда ощущаю образовавшуюся пустоту». А я заметил: «Уходят друзья, и пустота разрастается».

Пожалуй, наиболее близки в понимании жизни и истории мы стали в последние годы. Разрыв в возрасте перестал по существу играть роль, появилось больше общего в отношении к окружающему.

О том, что наши не частые, правда, встречи были наполнены разговорами и доставляли, как говорится, приятные минуты, свиде-

[16] Представление об аудитории клуба можно составить по фотографии, помещённой в журнале «Исторический архив» (2013. № 1. С. 193).

тельствует оставшаяся незаконченной и переданная мне Денисом Секиринским запись в компьютере Сергей Сергеевича. Привожу ее полностью:

«Беседа за рюмкой хереса

По дороге на север Москвы, где мы оба живём, Олег Владимирович предложил выйти на станции “ВДНХ”, сказав, что знает на выставке хорошее место, где можно посидеть и поговорить...

Покинув подземку, мы вскоре оказались в окружении “декораций” доперестроечной жизни: золочёный фонтан, помпезные выставочные павильоны с выведенными аршинными буквами разбежавшихся союзных республик, памятник Ленину, затем углубились в какие-то недавно возникшие улочки, зашли в винную лавку...

Кроме продавца, там не было ни души. Взяв крымского хересу и прихватив два кресла с веранды, сели под деревьями и продолжили уже начатый разговор».

Что из нашей беседы Сергей Сергеевич думал включить в запись, мы уже не узнаем. Мы говорили тогда о том, как улучшить журнал «Российская история», как быть с демократией в современной России, наконец, вспоминали наше крымское прошлое. О журнале Сергей Сергеевич говорил много и при личных встречах, и по телефону. Ему очень хотелось так устроить свой редакторский кабинет, чтобы общение с авторами не было формальным. Ему очень хотелось перестроить структуру журнала так, чтобы даже рубрикация нацеливала на актуальность, поиск, творчество. Ему очень хотелось сделать журнал дискуссионным и расширить круг его читателей.

В последние годы Сергея Сергеевича волновала наполеоновская тема, также у него заметно возрос интерес к генералу М.Д. Скобелеву и его популярности в русском обществе после русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Для Сергея Сергеевича Скобелев олицетворял исторический тип генерала-триумфатора, что выводило на наполеоновские сюжеты. Кроме того, он был явно неравнодушен к воспоминаниям людей, переживших оккупацию в годы Великой Отечественной войны (эти сюжеты оказались связанными с Крымом и, в частности, с Ялтой). Отмечу, что речь шла не о воинах, партизанах, подпольщиках или оккупационном режиме, а именно об обывателях и поведении людей. В истории Сергей Сергеевич стремился в первую очередь постичь её человеческое начало.

Сергей Сергеевич не только занимался либерализмом как учёный, он и был классическим либералом. А это очень трудно и сложно —

быть убеждённым и последовательным либералом не на словах, а в повседневной жизни. И ещё он был интеллигентом, столь же последовательным в реализации неписанного, но передающегося из поколения в поколение, как мифы и легенды, кодекса чести. В отличие от отца (настало всё же другое время), Сергей Сергеевич не был столь замкнут в оценке политических событий, зачастую бывал даже резок и непримирим. Он не таил своих либеральных взглядов, но старался быть терпимым к взглядам других. Естественно, это не относилось к фанатизму, обскурантизму, расизму.

Ещё одна из встреч с Сергеем Сергеевичем, состоявшаяся в последний год нашего общения. Телефонный звонок и предложение встретиться. Договорились, что он подъедет ко мне домой. Ольга Леонидовна находилась в экскурсионной поездке, и чувствовалось, что Сергею не хватало общения. Он приехал 2 августа, и выяснилось, что это день смерти его отца. Мы зашли в небольшое кафе рядом с моим домом и, расположившись за выносным столиком на улице, помянули Сергея Анатольевича. И, как часто это было, пошёл разговор о нашем крымском прошлом.

Намечаемые встречи не раз откладывались. То я, то Сергей были заняты. Так, он собирался отправиться на конференцию во Францию и спешно работал над текстом доклада. Узнав о смерти Сергея Сергеевича, в ответ на столь печальную весть я смог, как сейчас помню, только произнести: «Какая потеря! Какой удар!».

1 марта 2013 г. я увидел на телеэкране Сергея Секиринского. Вместе со своими коллегами Дмитрием Олейниковым и Сергеем Мироненко он комментировал жизнь и деятельность шефа жандармов в документальном телефильме «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово». Надолго запомнилась фраза Сергея Сергеевича: весь свет доставался декабристам, вся тьма — Бенкендорфу. Эти слова, как мне кажется, отражали его неприятие чёрно-белой картины прошлого, не сочетавшейся с присущим Сергею Сергеевичу полихромным отношением к историческим событиям и личностям.

Д.С. Секиринский

О папе

Воспоминания из детства совсем отрывочны и имеют чёткую географическую привязку. В Крыму: катаюсь на трёхколёсном велосипеде «Гном» по набережной Салгира. Поход на Демерджи. Огромные валуны в предгорье. Сидя у папы на плечах, дотрагиваюсь до камней: дух захватывает от величия. Забираемся на гору: неодолимая вершина. Цепляюсь за какую-то колючку. Из глаз слёзы: из-за колючки, из-за того, что меня не жалеют («Мужчины не плачут!»), да ещё из-за того, что отстал, не увидел зайца, которого поймал папа (а был ли заяц?). Отдых на побережье, галька на пляже. С Крымом связаны и мимолётные воспоминания о дедушке, Сергее Анатольевиче. Но наиболее отчётливо помнится день смерти Сергея Анатольевича. Мы в Москве, в квартире на Шубинском переулке. Все немного возбуждены. Папа собирается уезжать в Симферополь. Мне страшно, я не хочу отпускать папу...

Учусь кататься на двухколёсном велосипеде «Дружок» в лесопарке на северо-восточной окраине Москвы. Я еду, папа бежит сзади и поддерживает мое равновесие. Кручу педали изо всех сил, знаю, что я надёжно подстрахован. Коряги и неровности — нипочём. Ветер в лицо. Счастье! Вдруг оборачиваюсь и понимаю, что еду сам, папа отстал и идёт далеко позади. От страха тут же падаю.

Возвращение с работы — почти всегда с половиной батона белого хлеба. Другая половина, как правило, съедалась по дороге. Однажды без какого-либо повода принёс подарок — набор русских дружинников и немецких рыцарей. Снова счастье! Летом на даче, всегда с нетерпением ждал приезда папы на выходные. В своих ожиданиях отчасти был корыстен: предвкушал «гостинцы» из Москвы. Походы вместе с Сергеем Павловичем Карпачёвым и Кириллом — целый пласт воспоминаний.

Сложный для родителей подростковый период папа внешне встретил и проводил спокойно. Конечно, это была лишь видимость. Тем более, что период этот был совсем не благополучным, и прилежностью я не отличался. Напротив, «умный и спокойный», как говорили окружающие, мальчик стремительно превращался в неуправляемого уличного сорванца. Школа, район на окраине Москвы, перевёрнутые «духом времени» ценностные ориентиры такому превращению только способствовали.

Видимое спокойствие периодически прерывалось настоящими бурями, и это было в самом деле страшно. Но куда большую силу имело немногословное, спокойное порицание. Помню первый вызов к директору школы. Пришёл папа. Слушал, опустив голову. Потом сидели с ним на футбольном поле. Не помню, что он говорил, в основном курил, но было очень стыдно. Разумеется, это почти никак не сказалось на моём дальнейшем поведении: «нежному возрасту» свойственны глубокие переживания, стремительно возникающие и столь же быстро предаваемые забвению.

Глубже понимать папу я стал, только поступив в университет и лично соприкоснувшись с основами выбранного ремесла. С осознанием цены хлеба историка пришло и настоящее уважение к отцу. Но острое понимание, сопереживание, проявилось во время работы сначала над дипломом, а затем и над диссертацией. Занимаясь изучением восприятия перестройки в США, погружаясь в эпоху, ощущая свойственный ей общественный подъём и динамику, сопоставляя эти ощущения с окружающей действительностью (2005—2010 гг.), я всё острее начинал понимать внутреннюю драму отца.

«Наличие какого-то минимума гражданского благоустройства в стране оставалось для Петра Яковлевича [Чаадаева] столь же важным условием его духовной работы, как и присутствие “некоторой доли поэзии и хорошего вкуса в домашней жизни”»[1]. Эти строки, написанные им в 1992 г., представляются чрезвычайно автобиографичными. Не идеализируя ни эпоху Горбачёва, ни период правления Ельцина, он тем не менее ощущал себя явно комфортнее именно в эти периоды. В те годы он, вероятно, испытывал надежду на возникновение того самого благоустройства, связывая его, прежде всего, с раскрепощением личности. И остро переживал, когда видел, что надежды его не оправдывались. Вот ещё строки из той же книги: «...с тревогой ощущал, как “дыхание рабства” проникает сквозь все поры его существа, как давит на его душу “невыносимое бремя” “проклятой действительности”»[2].

Избегая штампов и ярлыков, отец вряд ли ассоциировал себя с каким-либо определённым идеологическим направлением. Порой складывалось ощущение, что он имеет ясное внутреннее представление о том, как должно быть устроено общество и государство, но в силу каких-то причин не видит возможности донести его до окружающих. Вместо этого — чувствует и болезненно реагирует, когда что-то отклоняется от его идеальной модели.

---

[1] *Секиринский С.С., Филиппова Т.А.* Родословная российской свободы. М., 1993. С. 43.

[2] Там же. С. 43.

Испытывая, вероятно, чрезвычайно глубокие внутренние переживания, чувство ответственности за семью, постоянно находясь перед выбором, он всё же не был готов поменять свободу на удобства. Хотя сам признавал, что приходится платить за это порой слишком большую цену.

Был абсолютно не материальным человеком: как в профессиональной деятельности, так и в быту. Как бы примиряясь с действительностью, отличаясь терпимостью к окружающим, никогда не переносил холуйства, фальши и демагогии. Не был формалистом и, кажется, никогда не боялся выйти за какие-то рамки. Всегда был в поисках чего-то нового, не стандартного, причём, будучи внимателен к деталям, часто находил нетривиальные оттенки даже в бытовых сюжетах.

Был увлекающимся и умел увлекать. Весьма характерен в этом смысле был курс лекций по истории России XIX в., который он читал в Государственном университете гуманитарных наук. Многие студенты жаловались, что лекции сложно конспектировать. И это действительно было так. Он, в отличие от многих преподавателей, не читал заранее подготовленный текст (хотя к лекциям всегда готовился), а словно общаясь с коллегами, старался провести студентов вслед за ходом своей мысли. Несмотря на долгую преподавательскую деятельность, никогда не играл роли учителя, не старался быть морализатором. Почти всегда «воспитательная работа» строилась на полутонах, иронических, порой едких, комментариях. Но при этом ему удалось сформировать для меня практически недосягаемые профессиональный и нравственный ориентиры (представляю, как бы поморщился отец, прочитав это предложение).

Избегая менторства, он, напротив, порой как будто примерял на себя студенческий мундир. Единственное поучение, которое он повторял неоднократно, заключалось в том, что надо проще относиться к критике и не принимать мнение окружающих слишком близко к сердцу. Вероятно, это было очень личное: сам он глубоко переживал не только (да и не столько) критику, сколько свои собственные действия, казавшиеся ему по каким-то причинам неуместными. Часто пропускал через себя тот или иной диалог, явно испытывая досаду за себя. Осознавая невозвратимость момента, тщетность подобных саморефлексий, он вновь и вновь возвращался к прошлому, словно пытаясь отредактировать не дающую покоя ситуацию.

Всегда апеллируя к художественным образам, особенно часто обращался к А.П. Чехову — явно испытывая симпатию, и, возможно, чувствуя известную степень родства: «Работал он с тщательностью ювелира. Его черновик я принял однажды за нотный лист — до та-

кой степени часты были зачеркнутые жирно места. Он кропотливо отделывал свой чудный слог и любил, чтобы было “густо” написано: немного, но многое»[3]. Глубже понять человека позволяет его архив — электронный в наше время. К сожалению, он беспощадно удалял промежуточные тексты, оставляя лишь последние, огранённые варианты, словно стремясь избавиться от всего лишнего, отсечь его.

Собственно, писал он, как и жил (или жил, как и писал?), возвращаясь к одним и тем же сюжетам, переживая их вновь и вновь, стараясь взглянуть на них под иным углом, держа в себе и редко делясь внутренними сомнениями, скрывая свою творческую мастерскую и выставляя на всеобщее обозрение лишь уже отретушированное и законченное полотно изысканности и благополучия.

* * *

Последний разговор был вечером, 7 ноября 2012 г. Я позвонил. Говорили долго, минут двадцать. Он был немного уставшим, видимо, поскольку несколько раз пытался завершить разговор: мягко, не настойчиво. Но во время беседы несколько раз оживлялся.

Я рассказывал что-то о съезде молодых учёных РАН, как я внезапно решил баллотироваться, как меня выбрали... Делился адреналином, полученным от выборов. Он был рад, хотя и перевёл, как это часто бывало, разговор на мою диссертацию. Сам рассказывал о том, как провёл первое заседание редколлегии журнала, концентрируя внимание на некоторых незначительных на первый взгляд деталях, которым он придавал особый символизм: например, расстановка стульев. Был как всегда ироничен. Говорил, кто пришёл, а кто нет: это, как всегда, трогало его значительно сильнее, чем он позволял себе демонстрировать. Но в голосе чувствовалось какое-то внутреннее умиротворение.

Было около 23 часов. Через 10 часов его не стало.

---

[3] Антон Чехов и его критик Михаил Меньшиков: переписка, дневники, воспоминания, статьи / Сост. А.С. Мелковой. М., 2005. 480 с.

В.В. Шелохаев

Сергей Секиринский – историк и художник

В жизни не так уж часто встречаешь людей, способных генерировать оригинальные идеи и, претворяя их в реальность, отливать в изящную художественную форму. Именно таким — наделённым от природы талантом и даром художественного восприятия мира, был Серёжа Секиринский.

За два дня до его скоропостижной смерти мы с ним в его кабинете в Институте российской истории РАН вели разговор о перспективах журнала «Российская история», о подготовке инновационных статей, о конкретных авторах. Несмотря на накопившуюся усталость от работы над многочисленными проектами, статьями, докладами, не взирая на внутреннее напряжение, о котором мне не раз говорил Сергей, настроен он был оптимистично, строил грандиозные планы относительно журнала. Став недавно его главным редактором, он имел многолетний опыт работы в редакции «Истории СССР» (затем — «Отечественной истории») и издании журнала «Историк и Художник». Когда Сергей воодушевлялся, то слушать его было необычайно интересно, от него исходила какая-то творческая, я бы сказал магическая, энергия. Своим неуёмным темпераментом, импульсивным убеждением в своей правоте он буквально взрывал окружающую среду, и даже скептики вынуждены были уступать и соглашаться с ним. Однако этим его мечтам и надеждам не суждено было сбыться. Смерть их в одно мгновение безжалостно перечеркнула.

С Секиринским меня познакомил Олег Владимирович Волобуев, его земляк и учитель. Как это бывает в жизни, сначала наши встречи были мимолётными, либо в стенах самого Института, либо у общих знакомых, но со временем выделился «узкий круг» друзей — Волобуев, Сергей Секиринский, С.В. Кулешов. С ними мне посчастливилось вместе работать в разных научных и учебных заведениях, часто встречаться в непринуждённой домашней обстановке, вместе писать статьи и монографии. Вспоминаю Сергея разным: вот он совсем молодой, высокий, стройный, симпатичный юноша, недавно приехавший в столицу и вскоре заявивший о себе серией интересных статьей; вот он кандидат исторических наук и сотрудник журнала «История СССР», а вот он уже степенный и немного располневший доктор исторических наук, автор нескольких монографий; профессор ряда высших

учебных заведений. И во все времена Сережа был живым, ярким и щедрым собеседником, генерирующим новые идеи, активно ведущим дискуссии на самые разные темы. На протяжении многих десятилетий наша дружба прошла через горнило разных жизненных испытаний. В основании дружеского общения лежали: взаимная симпатия, общая преданность науке, неуклонное желание сделать для неё что-то творчески новое. С Сергеем было легко работать, легко общаться.

Не случаен, как мне кажется, выбор Сергеем тематики раннего цикла его исследований. Достаточно обратить внимание на повторяемость терминов и понятий в его работах: «свобода», «гласность», «демократия», «либерализм», «конституционализм», «либерально-консервативный синтез». Эти понятия, свойственные миропониманию, мировоззрению и мироощущению самого Сергея, характерны для либерального типа мышления, из которого выросли и на котором базировались первые его монографии. Одну из них он написал в соавторстве с Татьяной Филипповой, а вторую со мной.

В процессе работы над нашей совместной книгой о российском либерализме для меня раскрылись природный ум и талант Сергея, его умение налету ухватывать суть проблемы, его способность придать ей изящную литературную форму. Это было бурное время, период иллюзорных надежд на очередное «укоренение» либерализма на российской почве. Готовя монографию, мы думали, что ознакомление современного читателя с подлинной историей русского либерализма в какой-то степени поможет этому непростому процессу. Увы, российская постперестроечная почва оказалась непригодной для хрупкого европейского «растения», она его в очередной раз отторгла.

На протяжении многих лет мы, друзья Сергея, убеждали его завершить и защитить докторскую диссертацию. Однако он не торопился это делать, продолжая расширять круг исследуемых проблем, которые его интересовали и надолго увлекали. Он привлекал всё новые и новые пласты источников, в том числе художественную литературу. Потребовалось несколько лет уговоров, прежде чем Сергей, наконец, оформил текст докторской диссертации и блестяще защитил её в Диссертационном совете при РНИСиНП. С этого момента прошло много лет, а я до сих пор помню его яркое выступление на защите, ответы на вопросы и замечания оппонентов. Все в этот день искренне радовались заслуженному успеху Сергея.

С самого начала своего творческого пути Сергей не замыкался на одной проблеме или теме, на одном историографическом направлении. Наряду с проблемами либерализма пореформенного периода, его интересовали российский консерватизм и его представители, «стыки» и «синтез» либерализма и консерватизма, другие направления россий-

ской общественно-политической мысли, художественная литература, журналистика, персоналии. Постепенно его исследовательские горизонты всё более расширялись, в орбиту его внимания стали входить проблемы самосознания общества и общественного мнения. Не случайно он оказался в числе авторов и составителей «Библиотеки отечественной общественной мысли». Им было подготовлено два объёмистых тома — «М.Н. Катков. Избранные труды» и «А.Д. Градовский. Трудные годы (1876—1880)». В последнее время его привлёк образ Наполеона, и им было написано несколько работ на эту тему.

Многолетняя работа в журнале «История СССР» («Отечественная история») убеждала Сергея в необходимости и возможности издания собственного журнала. В ходе наших встреч он не раз с увлечением говорил об этом, ибо хотел полностью реализовать свои творческие замыслы. Созданный им «Историк и Художник», которому он посвятил несколько лет своей жизни, сразу же стал ярким явлением на фоне традиционной журнальной исторической продукции. Это было детище Серёжи Секиринского, сгусток его интеллекта, творческих устремлений и надежд, и вместе с тем отражение трудно становящейся постперестроечной российской реальности. С каждым новым номером журнал становился всё лучше и лучше, совершенствовалась его структура, более разнообразной становилась его тематика, формировался круг талантливых авторов, его выхода с нетерпением ждала научная общественность. При этом речь шла не только о расширении исследовательских горизонтов и самой методологии и методики исторического познания, но и о стремлении авторов понять российскую историю в её личностном преломлении, о попытке понять дух и колорит изучаемых эпох и периодов через восприятие конкретных личностей. Для главного редактора журнала история всего была живой, пронизанной человеческими страстями, стремлениями, желаниями и надеждами.

Вокруг издания сразу же образовался довольно широкий круг его поклонников и постоянных авторов. Сергей всегда хотел большего: создать круг подлинных друзей «Историка и Художника». И, надо сказать, это у него блестяще получалось. Всем памятны встречи в музее А.И. Герцена на Арбате, а затем в школьном зале недалеко от Тверской улицы. Их ждали, ибо они были отдушиной на фоне неприглядной повседневности. К сожалению, жёсткая и беспощадная реальность заставила прекратить издание этого уникального журнала, а потом и незабываемые встречи с читателями. Сергей переживал, но все его попытки найти спонсоров не увенчались успехом. Мои обращения в целый ряд структур также закончились ничем.

Помимо занятия научными исследованиями, Сергей преподавал в высшей школе, выступал в качестве оппонента на защитах доктор-

ских и кандидатских диссертаций. На лекциях его я не бывал, но на защитах диссертаций присутствовал неоднократно. Выступления Сергея были всегда блестящими не только в научном отношении, но и по форме. Свою задачу он видел, прежде всего, в том, чтобы понять авторский замысел рецензируемой работы, поддержать новые исследовательские подходы. Порой мне казалось, что он чересчур либерален, и мы по этому поводу не раз спорили. Но, видимо, он был более чуток и сострадателен, более сентиментален и раним. Эти личностные черты, делавшие его уязвимым перед ударами судьбы, не в моде у нашего жестокого XXI века.

В последние полгода жизни у Сергея появилась реальная возможность возродить те плодотворные наработки, которые были получены в период выхода «Историка и Художника». Он не раз с большим оптимизмом и воодушевлением говорил мне о своём понимании перспектив журнала «Российская история», главным редактором которого он стал весной 2012 г. Однако судьба распорядилась иначе. Памятен последний его доклад в конференцзале Института российской истории, в котором он изложил свою программу развития журнала. В тот день Сергей выглядел совсем уставшим, в его глазах была грусть, что-то его, видимо, волновало, а, может, мучили какие-то предчувствия.

Не могу не вспомнить о нашей совместной работе над двухтомником «Наше отечество. Опыт политической истории», издание которого в самый разгар горбачевской перестройки инициировал Сергей Кулешов. Сергей Секиринский вместе с Волобуевым и Кулешовым был подлинным «мотором» этой новаторской книги, подготовленной и изданной в кратчайшие сроки. Книга получила большой общественный резонанс и стала широко использоваться в учебном процессе.

Чуткость к инновациям в науке, сопрягалась у Сергея с чуткостью к переменам как в СССР, так и в современной России. Его травмировал брежневский застой, он болезненно переживал крушение надежд, порождённых перестройкой, трагедию августовских событий 1991 г., не оставался он равнодушным и к общественным перипетиям последнего времени. Учёный Секиринский стремился не только теоретически осмыслить современность, но и активно участвовать в общественной жизни, быть на её острие. Именно так поступают творческие люди, стремящие создать Иное, которого ещё нет, но они уже ощущают его интуитивно.

Серёжа Секиринский был не только талантливым учёным и талантливым редактором, но и обаятельным и порядочным человеком, которого невозможно было не любить, не уважать. Встречи и беседы с ним доставляли радость и духовно обогащали. К сожалению, друзья всё чаще стали уходить из жизни, и мне их очень не достаёт.

Ю.А. Петров

Сергей Секиринский – редактор академического журнала

Мои заметки не претендуют на создание всестороннего образа Сергея Сергеевича Секиринского. Впрочем, такая задача непосильна в одиночку любому мемуаристу — настолько многогранно был одарён этот человек, безвременно, на пике творческой карьеры ушедший из жизни. Надеюсь, общими усилиями авторов этого сборника, людей, близко знавших Сергея или работавших с ним над общими научными проблемами, нам удастся сохранить коллективную память о достойном представителе профессии историка.

Наше знакомство относится к концу 80-х годов, когда новый главный редактор журнала «История СССР» Корнелий Фёдорович Шацилло пригласил меня, молодого неопытного историка, недавно защитившего кандидатскую диссертацию, на ответственную должность редактора отдела XIX — начала XX вв. С Корнелием Фёдоровичем мы вместе работали в Секторе истории буржуазно-демократических революций Института истории СССР АН СССР, мне глубоко импонировала личность этого блестящего учёного и порядочного человека, поэтому на лестное предложение ответил согласием без долгих размышлений. На дворе была «перестройка», журнал нуждался в обновлении, и Шацилло, в прошлом флотский офицер и либерал по мировоззрению, не связанный никакими иными чиновничьими постами, как нельзя лучше подходил на роль нового капитана.

В редакции, которая тогда размещалась на Кузнецком мосту, работали высокопрофессиональные специалисты с большим стажем: заместители главного редактора М.А. Рахматуллин и Е.Ф. Пивовар, ответственный секретарь Ю.В. Мочалова, М.Ф. Гржебин, Р.В. Костина, Л.Н. Полторацкая, М.П. Польский и др. К людям моего поколения относился, пожалуй, только один редактор, высокий (редакционная кличка «семафор»), улыбчивый и доброжелательный Сергей Сергеевич, который, как и я, недавно пришёл в журнал и помогал советами в ходе неизбежного «притирания» в коллективе.

С того времени мы в течение 15 лет работали вместе, Сергей Сергеевич вскоре возглавил отдел советской истории. Вспоминается, как

в августе 1991 г., во время путча, встретились в Исторической библиотеке, где оба работали над срочными проектами (как понимаю, у Сергея это была рукопись будущей книги о родословной российской свободы). Конечно, в курилке Исторички велись долгие разговоры о происходивших в стране событиях. Вспоминается гнетущее чувство, возникшее после самопровозглашения ГКЧП. «Только почувствовали воздух свободы, и вот на тебе...», — так выразил Сергей общее пессимистическое настроение.

Победившая свобода принесла журналу не только благо. Реалии новой «рыночной» экономики привели к тому, что помещение в престижном доме на Кузнецком мосту пришлось освободить, журнал, изменив название на «Отечественную историю», переехал в здание Института российской истории РАН на Дм. Ульянова, 19. Здесь наши столы оказались в одной комнате, и до определённого момента творческие карьеры развивались вполне синхронно. В редколлегию журнала с подачи нового главного редактора С.В. Тютюкина вошли одновременно, и даже докторские диссертации защитили в один год — 1999. Не все в научном сообществе восприняли тему его докторской, доводилось мне слышать в кулуарах, что герой работы Боборыкин — фигура, не заслуживающая столь пристального внимания. Однако мне было очевидно, что докторская Сергея и по содержанию, и по форме является новаторским трудом, а её автор безусловно вошёл в элиту исследователей отечественного либерализма.

Не скажу, что мы были друзьями, но добрыми приятелями и коллегами стали безусловно. Мне всегда импонировала неординарная манера работы Сергея, который стремился развивать новые журнальные формы, будь то новые по тем временам «круглые столы» или коллективное обсуждение значительных научных трудов. Главной чертой его творческой манеры, на мой взгляд, было обострённое чувство нового, поиск незаезженных путей в постижении прошлого, что затем столь ярко проявилось в его журнале «Историк и Художник». В человеческой натуре Сергея выделил бы саркастичную (но не желчную) иронию (остроумие как прямое проявление ума), умение привлечь внимание собеседника острым, порой парадоксальным и даже эпатажным вопросом, который задавался неизменно с легкой усмешкой, смягчавшей резкость и, возможно, скрывавшей истинный смысл обращения.

С удовольствием вспоминаются редакционные «посиделки», на которых царил Сергей Сергеевич. Любимец всей редакции, особенно дам, он умел придать любому формальному собранию завораживающий блеск интеллектуального пиршества. Его традиционные «пикировки» с М.А. Рахматуллиным и другими представителями мужской

части коллектива, колкие, но не обидные, создавали то чувство творческой свободы, которое было присуще журналу на рубеже XXI века.

С моим уходом из журнала и Института в 2004 г. наши жизненные пути на время разошлись, хотя Сергей сохранил контакты и не раз приглашал на заседания клуба своего любимого детища — журнала «Историк и Художник». Эти собрания в Палашевском переулке запомнились присущей Сергею атмосферой творческой игры, за которой угадывалось вполне серьёзное стремление объединить усилия интеллектуалов разных мастей ради приближения к мистической загадке минувшего. При редких встречах после закрытия журнала у Сергея постоянно чувствовалась боль утраты любимого дела, ставшего жертвой финансового кризиса.

Новый этап наших отношений наступил в 2011 г., когда я вернулся в Институт в качестве директора. Сергей обратился тогда с просьбой зачислить его в штат Института, чтобы активнее заниматься наукой. Парадокс заключался в том, что проработав более 20 лет в журнале издательства «Наука», этот блестящий учёный никогда формально не входил в академическое сообщество. Конечно же, эта несправедливость была исправлена, тем более, что Сергей, зачисленный в Центр истории культуры ИРИ РАН, в тот момент взялся за новую, крайне важную, но малоисследованную тему «наполеоновский миф в России». В течение года ему удалось глубоко войти в эту проблему и подготовить соответствующий раздел коллективной монографии, выпущенной к 200-летию Отечественной войны 1812 года. С докладом по «наполеоновской» теме ранней осенью 2012 г. Сергей выступил на заседании Бюро Отделения историко-филологических наук РАН. Аналитическое и в то же время образное выступление, на мой взгляд, произвело сильное впечатление на весьма взыскательную аудиторию. Нет сомнения, что со временем из-под его пера вышла бы очередная талантливая книга...

Однако сосредоточиться целиком на научном творчестве мешала ситуация с журналом «Российская история», как он стал называться с 2009 г. Журнал, судьба которого нам обоим была небезразлична, оказался к этому времени в явном кризисе. Наметилась утрата прежних лидирующих позиций и авторитета в научном сообществе, что стало прямым результатом политики главного редактора А.Н. Медушевского. Из интегративного издания, освещающего широкий спектр проблем отечественной истории и исследовательских подходов, «Российская история» превратилась в журнал узкого «направленческого» плана. Приоритеты определялись не объективными потребностями российской исторической науки или тенденциями мировой историографии, а небесспорными личными предпочтениями А.Н. Медушев-

ского. Воплощение им идей «аналитической истории» на практике вело к социологизации представлений о прошлом. Статьи самого главного редактора при их публикации в «Российской истории» не обсуждались и не рецензировались. При ограниченном объёме журнала и обширном «портфеле» главный редактор считал возможным публиковаться почти в каждом номере.

Весной 2012 г. истекал срок полномочий главного редактора, и вопрос о дальнейшей судьбе журнала встал со всей остротой. Сергей, по моему мнению, был единственным человеком, способным вернуть «Российскую историю» в академическое поле. Он обладал суммой редко встречающихся в одном человеке качеств, необходимых главному редактору, а именно был в высшей степени профессионалом, обладал высоким научным авторитетом и умел ладить с самыми разными людьми, авторами и читателями журнала. Вот как он сам описал эти качества в выступлении на Учёном совете ИРИ РАН: «Главное человеческое свойство, которым, на мой взгляд, должен обладать главный редактор, и которое на этом посту становится уже немаловажным профессиональным качеством, это — отзывчивость, коммуникативность, общительность, "людскость" как иногда говорили в XIX веке; это способность работать в режиме постоянного диалога на всех уровнях и по самым разным направлениям».

Уникальность его кандидатуры была понятна и самому Сергею, но решение далось непросто. Собственные научные планы, которые приходилось на время принести в жертву общественному служению, недавний травматический опыт руководства «Историком и Художником» — все эти факторы отступили, однако, перед осознанием необходимости возродить «Российскую историю» как главный печатный орган всего отечественного и международного сообщества историков-русистов.

Вот как он сам определил стратегические задачи журнала в упомянутом выступлении на Учёном совете ИРИ РАН по случаю выдвижения своей кандидатуры на пост главного редактора: «В идеале наш журнал должен быть зеркалом того лучшего, что есть в научном сообществе; трибуной, открытой для *обоснования* самых различных мнений и вместе с тем высокой планкой, преодолеть которую дано не каждому автору. Особо подчеркну активную роль журнала, которому, на мой взгляд, под силу и стимулирование научного поиска, а также процессов интеграции и самоопределения профессионального сообщества всех историков-россиеведов». Позицию Сергея Сергеевича разделило абсолютное большинство научного сообщества, его кандидатура получила поддержку Учёного совета ИРИ, Бюро Отделения историко-филологических наук и была утверждена Президиумом РАН.

Взявшись за дело, Сергей подготовил целую программу развития журнала, которая заслуживает отдельной публикации. И многое, несмотря на остававшиеся до кончины месяцы, он успел сделать. В редакции «Российской истории» мне сказали, что практически все материалы 2013 г. были задуманы и отчасти подготовлены самим Сергеем Сергеевичем. Остаётся лишь надежда, что редакция «Российской истории» продолжит начатое дело и сохранит установленную им высокую планку академического журнала.

В заключение маленький штрих, говорящий о человеческих качествах С.С. Секиринского: став главредом, он в первый же день попросил дирекцию Института установить надбавки сотрудникам редакции, чей труд ранее никак не стимулировался, о себе же речи не повёл. Редкий альтруизм в современную эпоху, сближающий Сергея Сергеевича с его героями — либералами прошлого.

С.В. Тютюкин

Долгое эхо, благодарная память

Сергей Сергеевич Секиринский... С этим чудесным крымчанином из Симферополя мы были знакомы больше 20 лет, а с 1990 по начало 2007 г. вместе работали в трёх составах редколлегии журнала «История СССР», с 1992 г. переименованного в «Отечественную историю». Затем последовал пятилетний «антракт», но в последние несколько месяцев 2012 г., незадолго до внезапной кончины Сергея Сергеевича, с которой до сих пор невозможно смириться, я активно включился в достаточно длительный процесс его назначения на пост нового главного редактора журнала «Российская история» (так ныне называется «Отечественная история»), что могло в той или иной форме опять привести к моему с ним сотрудничеству, но судьба распорядилась иначе...

Сергей Сергеевич был на 20 лет моложе меня, что неизбежно создавало определённую дистанцию в отношениях между нами, практически исключая что-то похожее на дружбу. Сказывалась также разница характеров, воспитания, научных интересов и т.д. В начале 1990-х гг., когда тогдашний главный редактор журнала, человек редкой души и высококлассный специалист Корнелий Федорович Шацилло пригласил меня войти в состав редколлегии «Отечественной истории», я, к сожалению, ещё мало общался с С.С. Секиринским, так как в его ведении был «социализм», а в моём — «капитализм». Но когда в 1995 г. по рекомендации всё того же Корнелия Федоровича я стал его преемником в журнале, мои контакты с Сергеем Сергеевичем, естественно, сразу же стали регулярными и во многом даже определяли результаты всей работы «Отечественной истории» — её успех или, наоборот, неудачу.

Думаю, что Сергей Сергеевич с его независимым, несколько насмешливым и весьма критичным характером и складом ума вряд ли тогда всерьёз воспринимал меня как своего начальника. Хорошо помню, как в самом начале нашей совместной работы он решил устроить мне проверку на «демократичность» и на совещании в кабинете директора Института российской истории РАН заявил, что полезно было бы ввести в состав редколлегии журнала и некоторых заведующих отделами редакции, повседневно работающих над подготовкой очередных номеров журнала и лично «экранирующих» главреда

от слишком назойливых и своенравных посетителей. «А почему бы и нет?», — подумал я и согласился. Так Секиринский и ныне директор ИРИ РАН, а тогда — руководитель «отдела капитализма» Юрий Александрович Петров прочно вошли в состав редколлегии, о чём я не только не жалею, но даже горжусь, ибо в других академических журналах такого ещё не водилось.

Мне кажется, что Сергей Сергеевич по достоинству оценил мой поступок, что положительно сказалось и на наших взаимоотношениях. Он регулярно «работал» над тем, чтобы создать у меня представление о себе как об умном, весёлом, деловом, не болтливом и хорошо знающем своё дело сотруднике и, безусловно, преуспел в этом. Так родилось некое негласное джентльменское соглашение между нами, не нарушавшееся всё последующее время и позволявшее каждому из нас спокойно делать своё дело. С моей стороны сразу же были исключены мелочный контроль, ненужная опека, разного рода начальственные поучения и т.д., а со стороны Сергея Сергеевича — излишняя строптивость, нарочитая демонстрация своего высокого интеллектуального уровня и профессионализма (а он действительно был очень высок), а также не украшающие мужчину капризы и т.п.

К тому времени Сергей Сергеевич уже определил свои основные научные интересы (русский либерализм XIX в.), имел солидные публикации, в том числе книги (в соавторстве с Т.А. Филипповой и В.В. Шелохаевым), и работал над докторской диссертацией, которую защитил 1999 г. через 15 лет после кандидатской — срок чисто «советский», тогда слишком торопиться с «одокторением» считалось даже неприличным. К тому же много времени у Сергея Сергеевича отнимала чисто рутинная техническая сторона редакторской работы (считки, сверки, корректуры и т.д.), необходимость заниматься по совместительству ещё и преподавательской деятельностью, чтобы достойно материально обеспечивать семью, ну и просто жить (ведь ему было только слегка за сорок, причём никакими комплексами он не страдал).

Бесспорны были и высокие моральные качества Сергея Сергеевича, его умение жить в мире и добрососедстве с окружающими людьми, неизменно следуя знаменитому принципу либерализма: «Живи и жить давай другим». К тому же для меня быстро стало очевидно, что Секиринский — это незаурядная творческая натура, которая не останавливается на достигнутом, ищет чего-то нового, нестандартного, готов экспериментировать, ломать привычные каноны и якобы «вечные» истины. Таков был он сам, заражая этим и других и постоянно как бы напоминая мне: время уходит, его не вернёшь, не стой на месте, работой на совесть и живи по совести.

Очень характерно было для Сергея Сергеевича и желание как можно выше поднять планку своей докторской диссертации «Русский либерализм: от 40-х к 80-м годам XIX века (идеи, люди, среда)». При этом он прекрасно понимал, что русские революционеры-демократы 1860—1870-х годов — герои его кандидатской диссертации 1984 г. не просто вышли уже из моды, а уводили современную им молодёжь совсем не туда, куда ей следовало идти уже не при социализме, а при капитализме (после 1991 г.). Отсюда родилось увлечение Секиринского либерализмом как антитезой одновременно и русскому самодержавию, и русскому бунту. При этом он захотел показать русский либерализм в судьбоносный для него период подготовки и проведения Великих реформ, не затушёвывая ни их величия и гуманизма, ни одновременно и значительной ограниченности. Поэтому я могу понять биение мысли Сергея Сергеевича и его стремление уйти в совершенно новую стихию — сначала в мир искусства и литературы, а затем — в занятия знаменитым наполеоновским мифом в его российском восприятии и преломлении. И в этих творческих поисках опять был весь Сергей Сергеевич, который никогда не мог успокоится на чём-то уже достигнутом и жадно ждал встречи ещё с чем-то новым и совершенно необычным.

О широте творческой натуры Сергея Сергеевича говорит хотя бы то, что он совмещал столь разные увлечения: изучение полярных идейных течений второй половины XIX в., советской истории XX в., литературы и искусства, образа Наполеона. При этом он использовал всё то, что мог ему дать родной журнал «Отечественная история». В этой связи я хочу вспомнить два больших «круглых стола», появившихся в № 1 за 2002 г. и в № 6 за 2003 г. и ставших своеобразной репетицией его *собственного* — я подчёркиваю это манящее каждого настоящего учёного слово — журнала «Историк и Художник». Журнала, ставшего своеобразным брэндом и воплощением давней мечты Сергея Секиринского.

Первая подборка называлась «История и литература в несовпадающих образах». Это очень по-русски, ибо Россия — страна, где литература является неотъемлемой частью её запечатленного в истории образа, часто дополняет и объясняет, а то и предугадывает последующие страницы будущей летописи. В предисловии к этому тематическому циклу, подготовленному Сергеем Сергеевичем, он определил цель своей редакционной работы как «выявление новых резервов понимания отечественной истории двух минувших веков, когда родились и литературный русский язык, и зрелая национальная литература». При этом Секиринский занимался во многом скрытой от читателей, но очень важной работой — подбором авторов среди достаточно

именитых, с одной стороны, и только начинающих — с другой, определением тематики их выступлений на важную и интересную, достаточно свежую и не «заезженную» тему, выстраиванием сюжетов в крупные проблемные блоки с чередованием серьёзного, трагического, иронического, а порой и саркастического и т.д. и т.п.

Секиринскому удалось увлечь своим замыслом такого признанного мастера слова, как академик Ю.А. Поляков (очерк «Союз муз»), и больших знатоков проблемы — С.О. Шмидта («Памятники художественной литературы как источник исторических знаний») и А.К. Соколова («Наука, искусство и социальные реалии минувшего столетия»). Всегда с удовольствием печатал Сергей Сергеевич дочь советского поэта Валентину Александровну Твардовскую, рассказавшую на этот раз о том, как Ф.М. Достоевский представил в «Братьях Карамазовых» основные социальные слои России второй половины XIX в. К постоянным литературным интересам этого известного автора читатели уже привыкли, но их ждали и сюрпризы. Так, совсем неожиданно профессор истфака МГУ Н.И. Цимбаев обратился к творчеству прозаика Вячеслава Кондратьева, а Т.М. Димони из Вологды — к трудной истории советской колхозной деревни в романах писателя Фёдора Абрамова. Профессор филологии МГУ М.М. Голубков посвятил большую статью изображению А.И. Солженицыным русского национального характера. Молодая тогда сотрудница ИРИ РАН В.С. Тяжельникова занялась источниковедческим анализом популярных советских песен 1920—1930-х гг., а Великая Отечественная война и литература фронтового поколения привлекли внимание Е.С. Сенявской (ИРИ РАН). Специально оговорюсь, что перечислить и по достоинству оценить всё оригинальное и интересное в этой прекрасной подборке С.С. Секиринского просто невозможно.

Сам Сергей Сергеевич, «на закуску», ограничился лишь одним, очень небольшим, но зато весьма оригинальным очерком, посвящённым роману П.Д. Боборыкина «Василий Тёркин» (1892 г.). Боборыкинский Тёркин —однофамилец и тёзка известного советского красноармейца, ставшего благодаря таланту А.Т. Твардовского поистине легендарным, — был вышедшим из крестьянского сословия «новым русским» предпринимателем, «эмблемой» своего — XIX века. Нужно отдать при этом должное скромности и такту Сергея Сергеевича: его этюд занимает лишь три журнальные страницы, тогда как вся собранная и отредактированная им журнальная подборка — 25 п.л., т.е. практически целый номер (!) «Отечественной истории».

Через два года Сергей Сергеевич опять подготовил («ограничившись» на этот раз «лишь половиной» номера) не менее впечатляющую серию статей «Кинематографичность истории, историзм ки-

нематографа», посвящённую работам известных кинорежиссеров С. Ростоцкого, А. Салтыкова, Э. Рязанова, Т. Лиозновой и др. Как подчеркнул в своём развёрнутом редакционном введении Секиринский, внимание участников дискуссии на этот раз «привлекают в первую очередь приметы времени», запечатленные на экране. Характерно, что в новой журнальной подборке Сергея Сергеевича приняли участие и некоторые авторы предыдущего спецномера 2002 г., как бы скрепившие таким образом уже возникший между ними творческий союз. Среди них — академик Ю.А. Поляков, В.Б. Аксёнов, А.А. Левандовский, Н.И. Цимбаев, Т.М. Димони, В.С. Тяжельникова. Очень порадовал читателей и сам Сергей Сергеевич, выступивший на этот раз с мастерским разбором четырёх экранизаций знаменитой пушкинской «Капитанской дочки» (1928, 1958, 1978 и 1999 гг.).

Во второй тематической подборке нашли отражение очень разные исторические эпохи — от февраля 1917 г. до советской «эпохи застоя». В.Б. Аксёнов представил читателям несколько киносюжетов 1917 г.: «распутинщина» и кинематограф, Февральская революция и эрос, мистико-религиозные мотивы, суицид в кино и революция. И.Б. Орлов ещё раз вгляделся вместе с читателями в «гримасы нэпа» в историко-революционных фильмах 1920-х гг., а В.Э. Багдасарян вспомнил об образе врага в советских исторических фильмах 1930—1940-х гг., начав статью с раздела «Сталин как зритель и идеолог». В.А. Токарев коснулся давно ставшей драматической и «больной» для нас польской темы в предвоенном кино (1939—1941 гг.), О.В. Волобуев с нескрываемым удовольствием, как и многие другие, вспоминал фильм Э. Рязанова «Карнавальная ночь» с участием блистательной Л. Гурченко, Т.М. Димони — «Председателя» А.А. Салтыкова с Михаилом Ульяновым в главной роли, а В.С. Тяжельникова написала о «родимых пятнах» в советской жизни в других фильмах Э. Рязанова. В итоге у Сергея Сергеевича и его авторов получилась подборка, не менее интересная, чем первая, «историко-литературная», показавшая, что он уже вполне подготовлен к изданию собственного историко-литературно-художественного журнала. Дело было лишь за «малым», оказавшимся, увы, едва ли не самым главным в наше время — за финансами. Можно было только радоваться за Сергея Сергеевича с его неиссякаемым оптимизмом, находчивостью и умением вселять в людей веру в себя и в свой талант, когда ему удалось вскоре найти спонсора.

В 2004 г. в издательстве «Знак» увидели свет два первых номера московского журнала «Историк и Художник». В его Редсовет вошли 13 друзей, почитателей и добровольных помощников С.С. Секиринского, кратко представленных им в первом же номере. Это историки

О.В. Будницкий, В.М. Володарский, В.В. Зверев, А.П. Левандовский, А.И. Немировский, И.Б. Орлов, В.С. Тяжельникова, Н.И. Цимбаев; философ С.Н. Земляной; историк и кинокритик А.С. Трошин; кинорежиссёр и сценарист Е.В. Цымбал; журналисты Р.Э. Рахматуллин и Б.Д. Тарощина. Но главным редактором, «архитектором», «режиссёром», «художником», словом — всем был только один человек — Сергей Сергеевич Секиринский. И выход первого же номера «Историка и Художника» заслуженно стал днём его торжества и славы. Но плата за них оказалась, как мы теперь знаем, слишком высока.

Думаю, что журнал Секиринского заслуживает, на мой взгляд, специального развёрнутого анализа, ибо перед нами настоящий историко-художественный феномен начала XXI века, о котором, надеюсь, не забудут будущие историографы. Тем более, что и его внешний вид (отличная бумага, богатые иллюстрации, многочисленные портреты, частые врезки с запоминающимися изречениями авторов статей и их персонажей), и интереснейшее содержание просто не могут оставить сегодня заинтересованного читателя равнодушным.

Как хорошо сказал один из первых читателей журнала «Историк и Художник», можно только удивляться тому, что такой журнал никто не придумал раньше Секиринского. Сам он кратко анонсировал выход своего детища так: «Наш журнал нацелен на преодоление цеховой замкнутости ремесла историка и различных видов искусства. Он адресован всем, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство. Его страницы всегда открыты для новых идей, сюжетов и авторов». Хорошо сказал и французский писатель Ж.Э. Ренан: «У историка одна забота — соблюсти неразделимые требования: истину и художественность, ибо искусство есть хранитель неисповедимых законов истины». Этими словами открывался первый номер журнала.

Читатели сразу же обратили внимание на необычные рубрики нового издания: художник как историк, историк как художник, литература — история современности, угол преломления, штрихи к портрету, зримое прошлое и др. Их авторами были историки, искусствоведы, литературоведы, писатели, журналисты. Интерес к изданию проявляли сотрудники академических гуманитарных институтов, крупнейших московских вузов, члены творческих союзов, учителя средних школ, студенты и аспиранты.

Никогда не забуду, что Сергей Сергеевич регулярно одаривал меня очередным номером «Историка и Художника». В итоге у меня образовался полный комплект этого журнала, и я с удовольствием передаю его на память новому главному редактору «Российской истории» — И.А. Христофорову, который более 10 лет работал вместе с

Сергеем Сергеевичем, бережно хранит о нём память и намерен идти дальше намеченным им истинно творческим путём.

Из многочисленных статей, опубликованных в «Историке и Художнике», особо хотелось бы обратить здесь внимание на некоторые публикации сотрудников ИРИ РАН. Я должным образом сразу же оценил психологически очень точные характеристики, данные М.А. Рахматуллиным Николаю I и императору-подростку Петру II в № 1 за 2004 и № 3 за 2005 гг. И.А. Христофоров, незадолго до этого выпустивший свою первую монографию об «аристократической» оппозиции Великим реформам, написал очерк о либерале кн. А.И. Васильчикове и консерваторе гр. В.П. Орлове-Давыдове с выразительным подзаголовком: «Драма невостребованности». Интересно было читать своеобразный, но вполне аргументированный ответ П.Н. Зырянова, издавшего в серии ЖЗЛ масштабную монографию об адмирале А.В. Колчаке и ответившего в «Историке и Художнике» тем, кто не разделял его оценку этого исторического деятеля (№ 4 за 2006 г.). Трудно было пройти мимо очерков В.А. Твардовской «Историк об историке: двойной портрет в одной книге» (о М.П. Погодине в изображении Н.И. Павленко) и Б.С. Итенберга «Василий Гроссман и Александр Твардовский» (№ 4 за 2005 г.). В новом свете предстал перед нами и В.П. Булдаков, подготовивший очерк «Элиты и массовая культура: Россия времён Первой мировой войны» (№ 3 за 2005 г.)

Не была забыта и советская история. А.В. Голубев рассказал о «Нашем ответе Чемберлену» в советской политической карикатуре 1920—1930-х гг. (№ 2 за 2004 г.). Пробный шар и своего рода заявку на будущую тему представил С.В. Журавлёв в заметках «Власть моды и Советская власть: история противостояния» (№ 1 за 2006 г.). И это лишь верхушка айсберга, но и она даёт наглядное представление о диапазоне журнала «Историк и Художник» и самого его творца — С.С. Секиринского.

Когда в начале 2012 г. Секиринский был намечен на пост нового главного редактора «Российской истории», весь редаппарат, члены редколлегии и я активно включились в кампанию по его избранию на Учёном совете ИРИ РАН с последующим утверждением Отделением историко-филологических наук РАН и Президиумом РАН. Мы не раз обсуждали с Сергеем Сергеевичем сложившуюся в журнале ситуацию, я выступал на Учёном совете и давал самые доброжелательные отзывы о нём и его прежней работе в редакции. Без преувеличения могу сказать, что окончательное утверждение Сергея Сергеевича на этот пост стало для многих из нас и в том числе для меня настоящим праздником. За это время наши отношения с Сергеем Сергеевичем как-то заметно упрочились и потеплели: крепче стало его рукопожа-

тие, изменился даже тембр голоса, более откровенно стали обсуждать мы разные текущие, в том числе организационные, вопросы. Делился он со мной и некоторыми своими проектами на этот счет: о введении новой, двухступенчатой системы руководства журналом (редсовет и редколлегия) при значительном увеличении их количественного состава; о публикации в каждом номере открывающего его пространного «Диалога о книге» с участием 5—8 рецензентов, свободно высказывающих свои впечатления от той или иной новой книги, которую редколлегия сочтёт достойной подобного повышенного внимания; о представлении читателям авторов каждой статьи с указанием не инициалов, а их полного имени (без отчества, по западному образцу); об увеличении объёма наиболее важных рецензий. Эти задумки Сергея Сергеевича уже входят в жизнь и, несомненно, пойдут на пользу журналу. Главное же состоит в том, что он учил и, мне кажется, научил своих сотрудников не останавливаться перед ломкой застарелых традиций и смелее вводить в практику работы разумные новации.

Сам Сергей Сергеевич внезапно умер, если можно так сказать, на красивом, но очень жестоком и беспощадном жизненном бегу. Совмещая работу в «Российской истории» и в ИРИ РАН, он продолжал исследование образа Наполеона в нашей национальной традиции и многое сделал для подготовки теперь уже вышедшей в свет коллективной монографии «Отечественная война 1812 года в культурной памяти России» (М., 2012). Участвовал он и в юбилейных мероприятиях, приуроченных к 200-летию победы над Наполеоном. В упомянутой книге очень интересны мысли Сергея Сергеевича об отношении к войне 1812 г. и лично к французскому императору в России дореволюционного, раннего и позднего советского и постсоветского времени. Мастерский анализ Секиринским судьбы наполеоновского мифа даёт обильную пищу для размышлений на эту «вечную» для россиян тему. Недаром дань ей отдали в своё время А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.И. Герцен, М.И. Цветаева.

При этом Сергей Сергеевич и здесь оставался примером серьёзного и вдумчивого историка-диалектика, хорошо знающего все «за» и «против», встающие в этом случае перед исследователем. Ведь Наполеон до сих пор вызывает целую гамму самых противоречивых чувств от восхищения до ненависти и презрения, которые, видимо, просто невозможно привести к какому-то общему знаменателю. До мозга костей человек войны, он был вместе с тем и крупным государственным деятелем в мирное время, Наполеон-революционер превратился затем в основателя целой империи, а великий триумфатор стал под конец жизни объектом издёвок и уничтожающей критики. И всё это было заключено в одном поистине многоликом человеке. Решать по-

добную проблему мог только Историк-художник, каким и был Сергей Сергеевич Секиринский.

Сергея Сергеевича долго ещё будут помнить все, кто его знал. Мысли его будут отзываться в нашем сознании долгим эхом понимания, сопереживания и уважения, а всё, что он сделал в исторической науке и её журналистике, надолго останется с нами. И не только как памятник научной мысли, но и как прекрасный материал для нашей дальнейшей работы.

И.С. Розенталь

По страницам «Историка и Художника»

Я хорошо помню, как раскрывал этот новый журнал с чувством, обычно исчезающим по мере приобретения, увы, слишком утилитарного читательского опыта — с предвкушением чего-то непременно неожиданного, неординарного, расширяющего горизонт устоявшихся представлений. Помимо всего прочего, и это не мелочь, журнал было приятно взять в руки — благодаря изяществу оформления обложки и текстовым силуэтным рисункам в манере художников «Мира искусства». Кстати, чуткие сотрудники «Исторички», идя навстречу читателям, сразу же выделили для немногих ещё номеров отдельную полку в открытом доступе научного читального зала, прямо у входа.

...Последний номер «Историка и Художника» вышел летом 2008 г. Пять лет — срок небольшой, но достаточный, чтобы, во-первых, проверить, не потускнели ли первоначальные впечатления и, во-вторых, попытаться уяснить, в чём состояли новаторские особенности этого журнала, созданного умом, сердцем и энергией Сергея Сергеевича Секиринского. Уловить в многотемьи и многоголосьи некую систему.

Журнал не имел аналогов, но кто-то, допускаю, может спросить: а не устарели ли с течением времени подходы начала 2000-х гг.? Не был ли «Историк и Художник» всего лишь эпизодом, достойным, конечно, доброй памяти, но и не более того? Попробую далее показать, что это не так. Заранее только оговорюсь, что, будучи благодарным, но всё же не всеядным читателем, не искушённым к тому же в тонкостях редакционной кухни, я не берусь представить здесь развёрнутый историографический очерк, удовлетворяющий всех своей полнотой, или составить подобие аннотированного путеводителя по журналу. Если о чём-то будет не сказано или сказано вскользь, то это не оценка и тем более не «приговор».

Конечно, и в неизбежно субъективных моих заметках должно исходить из того, что считал первостепенным сам создатель проекта, о чём он не раз писал и говорил. Нельзя не учесть и последовавшую за выходом в свет «Историка и Художника» реакцию научной и ненаучной общественности, по преимуществу благожелательную. Отдельные отклики воспроизводились в журнале, но пожелания принимались с разбором. Например, журнал не перешёл, как предлагали

некоторые, на издание «в цвете», чтобы не нарушить, как верно полагали другие, гармонию между содержанием и внешним видом[1].

Само название журнала, случалось, толковали в том смысле, что раз приглашаются к сотрудничеству как историки, так и художники, то оценивать всё это необычное начинание нужно в зависимости от того, кого среди авторов окажется больше. С.С. Секиринский, обосновывая свой замысел, дал более глубокую расшифровку названия. Оба, историк и художник, изучают, каждый по-своему, человека в истории. Соединение когда-то историка и писателя в одном лице — это не просто пройденная человечеством ступень познания. Современное разделение труда не лишает историка права «"высекать" образы и *воссоздавать драматургию* ушедшей жизни», так же, как у художника нельзя отнять право «быть *свидетелем и исследователем* истории», и это право (и способность) художника историк должен понимать и ценить. Журнал был необходим, чтобы «преодолеть отчуждение ремесла историка от искусства и в *новых условиях* возродить традицию *цельного* постижения исторической жизни», избавиться от цеховой замкнутости для движения к идеалу «тотальной истории», иначе говоря, «воссоздания жизни во всей её полноте»[2].

Даже встретившие эту идею сочувственно проявляли в лучшем случае сдержанный оптимизм, но в итоге усилий С.С. Секиринского и тех, кто ему помогал, объединение представителей разных гуманитарных профессий состоялось. Результатом явилось возникновение, если изъясняться высоким слогом, новой целостности. Поддержав проект, участники этого смелого предприятия сошлись в главном, при всём различии своих индивидуальностей, приоритетов и т.д. И неважно, проявляли они большую или меньшую активность, опубликовали в журнале одно лишь своё исследование или фрагмент большой работы, вышедшей затем отдельным изданием, или же цикл статей в нескольких номерах. То, что, наряду с историками, в журнале печатались искусствоведы, литературоведы, киноведы, а не сами художники, вполне естественно.

«Историк и Художник» нашёл и своих читателей, ту особенную, формируемую, кстати, и журналом читательскую среду, на которую с самого начала был рассчитан. Круг его читателей примерно соответствовал аудитории телевизионного канала «Культура». Он охватывал не только гуманитариев, но «всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство». Формула эта была не просто удачна, но удивительно подходила для каждого номера в качестве ненавязчивого «слогана».

---

[1] Встречи с читателями в «Иностранке» // Историк и Художник. 2005. № 1(3). С. 197.

[2] *Секиринский С.* Об историках, художниках и нашем журнале // Там же. 2004. № 1. С. 5.

Соответствовали общему замыслу вид журнала, подбор «иллюстраций» (в кавычках, потому что картины и рисунки были, как правило, предметом анализа), распределение материала по разделам — рубрикам, их выразительные заголовки, выделение крупным шрифтом ключевых положений каждой статьи и помещавшиеся в самом начале «цитаты номера», часто афористичные, настраивавшие читателя на определённую волну. Всё это носило отпечаток профессионализма и вкуса редактора, нисколько не склонного к популярничанию и пустому «оживляжу», но нашедшего вполне уместные, без малейшего снижения научного уровня, средства сделать журнал привлекательным.

Не было никаких ограничений ни в объёме печатавшихся материалов, ни в том, каким образом хотел выразить автор (будь то известный учёный или студент) свои мысли и чувства. Допускалась даже беллетристическая и стихотворная форма — под рубрикой «Поэзии ребяческие сны...» и вне её. Отчётливо просматривалось стремление уйти от канона академического журнала, от принудительного единообразия, вообще от однонаправленности и узости. Тот же принципиальный отказ от «ритуально-академических приёмов и занудливых монологов» (по словам самого С.С. Секиринского) был положен и в основу организации памятных всем заседаний клуба «Историк и Художник», собиравшего его авторов и читателей[3]. Этот опыт заслуживает отдельного разговора. А ведь в качестве уже главного редактора журнала «Российская история» Сергей Сергеевич хотел возобновить и клуб...

В самом журнале чисто игровой момент отсутствовал. Хорошо это или плохо, упущены ли были какие-то возможности, судить затрудняюсь. Ясно, что активное участие профессиональных журналистов, а тем более оттеснение и вытеснение ими историков, как происходит ныне в «Дилетанте» (которому опыт «Историка и Художника» мог бы пригодиться), не предполагалось. Осуждать делающих новый журнал не собираюсь, но у детища С.С. Секиринского было собственное лицо, причём его содержание было неотделимо от той формы, которую ему придавал редактор.

Вот что бросилось в глаза внимательному читателю «со стороны» — Ивану Толстому с радио «Свобода»: «Тексты совсем необычные... И пишут, вроде бы, те же люди, которые публикуются в серьёзных академических изданиях, но пишут как-то не так. Иначе. Ярче, свежее, оригинальнее. В общем, дай историкам свободу, они такое напишут!». О клубе, который он посетил, Толстой сказал: «Всегда интересно, любопытно, неожиданно, забавно, в общем, почти как в

[3] *Секиринский С.* От знакомства «на расстоянии» к живому общению // Там же. 2005. № 3(5). С. 4.

детстве»[4]. Соглашаясь с этими наблюдениями, всё же уточним: писали для журнала «как-то не так» и авторы, публиковавшиеся впервые, присылавшие материал отовсюду, с опытом и без опыта участия в «серьёзных» изданиях.

Сделать «Историк и Художник» изданием «несерьёзным» или недостаточно серьёзным редактор не стремился. Публикации журнала были насыщены всевозможной конкретикой, относящейся к разным эпохам и странам, добытой кропотливым трудом каждого автора и так или иначе осмысленной. Не обходил журнал и сложные вопросы. При этом у всех его авторов был общий историософский взгляд, по-видимому, полностью разделявшийся и редактором: они не боялись показаться старомодными в своём стремлении понять прошлое через реконструкцию того, «как оно, собственно говоря, было», не стеснялись своей уверенности в том, что таким путём возможно приблизиться к истине, хотя, как написал требовательный к себе П.Н. Зырянов, «это не всегда получается»[5].

При очевидной приверженности журнала, условно говоря, позитивизму, в нём нашлось место и манифесту современной синергетики, и анализу приближавшейся к ней в своё время «философии случая» М.А. Алданова, и историософии Льва Толстого[6]. Но всё же я не встретил на его страницах утверждений о том, что всё могло быть «с точностью до наоборот», или так, как понравилось бы нам теперь. Сейчас подобные умозрительные игры в «альтернативы» в почёте, и большой беды в этом нет, если только не уравнивается бывшее и не бывшее. Отстаивая не декларациями, а делом достоинство истории как науки — опору на факты, в противоположность безразличному к фактам мифотворчеству, журнал старался отделять реальность от её облачения, тщательно анализируя их взаимопроникновение, переплетение, более или менее продолжительное и прочное присутствие мифологических элементов в общественном сознании.

Замечательно также, что чаще, чем это принято в исторической периодике, журнал помещал воспоминания, в том числе историков и об историках, известных и совсем неизвестных, много, но меньше, чем они могли бы, сделавших и, если не ставших профессионалами в области именно истории, то по независящим от них причинам[7]. В нём по-

---

[4] «Историк и Художник» выходит в свет! Хроника выступлений, встреч, откликов... // Там же. 2006. № 2(8). С. 198.

[5] *Зверев В.* Михаил Лорис-Меликов глазами современных историков // Там же. 2007. № 2(12). С. 121. См. также: *Зырянов П.* Каким он был, или Размышления историка после того, как книга уже написана // Там же. 2006. № 4(10). С. 193.

[6] См.: *Боровинская Л.* Общее в разном, или «Гамма эпохи», которую перебирает искусство // Там же. 2007. № 1(11). С. 106—112; *Лагашина О.* Милюков и Керенский: взгляд Марка Алданова // Там же. 2008. № 3(17); *Цимбаева Е.* Проповедь национального единения. Историософия Льва Толстого // Там же. С. 61—74.

[7] *Давидсон А.* Неразгаданная история и её историк // Там же. 2006. № 4(10). С. 5—9.

являлись очень разные мемуары о работе, об интеллектуальной жизни и просто о жизни, о среде, побуждавшей или совсем не располагавшей к творчеству[8].

Думаю, редактор не жалел журнальной площади для воспоминаний потому, что понимал, сколько утрачено, не записано, не услышано, и вовсе не по оплошности историков и архивистов. «Осторожны были люди, напуганы, не очень шли на откровенность, не очень пускали в себя», — вспоминал А.Б. Давидсон. К тому же «вкус к мемуаристике был в сталинские времена отбит. Боялись даже записи для памяти делать»[9]. Не уверен, что эту сторону тогдашней жизни легко представить тем, кто не застал, к счастью, то время. И это — лишний довод в пользу публикации имеющихся воспоминаний не только о себе, но и о тех, кто воспоминаний не оставил.

«Историк и Художник» видится на расстоянии и экспериментальной площадкой, и средством просвещения. Это выражалось между прочим в том, насколько широк был охват находившихся в поле зрения редактора и авторов исторических источников. Среди них, наряду с привычными, и рисунки из дворянских альбомов, и частушки, и бардовская песня, и городские легенды, и граффити[10]. Читатель получил возможность снова убедиться в том, как велик познавательный потенциал иллюстрированной почтовой открытки и политической карикатуры, увидеть, сколько открытий сулит настоящее, с привлечением самых разных источников, генеалогическое исследование[11]. Рассматривались в журнале и интернет-ресурсы, например, позволяющие, «понять, что именно ценят в Москве москвичи, от чего не хотят отказываться», сайты «Москва, которой нет», «Москва пешком» и др.[12]

Журнал выполнял просветительскую функцию и тогда, когда объяснял, освещая развитие мирового искусствознания, как не сле-

---

[8] Развитие этой линии в мемуаристике обозначил в своей книге Р.Ш. Ганелин. См.: *Ганелин Р.Ш.* Советские историки: о чём они говорили между собой: Страницы воспоминаний о 1940-х — 1970-х годах. СПб., 2006.

[9] *Давидсон А.* Неразгаданная история и её историк. С. 9; *он же.* Учитель, англовед, яхт-капитан // Историк и Художник. 2007. № 1(11). С. 131; *он же.* Окончание следует... // Там же. 2007. № 2(12). С. 6—7.

[10] *Левандовский А.* Последний рыцарь геральдического поля // Там же. 2004. № 1. С. 39—42; *Смирнова Т.* Советская повседневность, народное творчество и массовая культура // Там же. 2005. № 2. С. 57—73; *Майер А.* История в зеркале московских городских легенд // Там же. 2006. № 2(8). С. 169—179; *Викторов И.* Игры маргиналов: Четыре простых вопроса о граффити // Там же. С. 91—95.

[11] *Алексеев Д.* «Но, пожалуйста, не верь...». Пять поколений одной семьи в литературных прототипах и ассоциациях // Там же. 2007. № 2(12). С. 78—102. Перепало и мне, я неожиданно узнал новое о своём профессоре В.Н. Бочкарёве, о его предках.

[12] *Драхлер А.* «Покажите мне Москву, москвичи!» // Там же. 2005. № 3(5). С. 124—128.

дует обращаться с произведениями изобразительного искусства, поскольку это «невербальные тексты» с более вариативной, чем в вербальных, информацией, зависимой от индивидуального восприятия и субъективной трактовки. И тут нельзя ни подменять исследование смыслов эмоциями, ни вульгарно «поверять алгеброй гармонию». Не следует забывать и о дистанции между замыслом художника, впечатлениями зрителя и позднейшей передачей им своих впечатлений[13].

Но те из авторов-историков, кто не нуждался в подсказках, во всеоружии знания эпохи и соответствующей искусствоведческой литературы, обнаруживали в своём анализе самостоятельность и мастерство. В статье о портрете Александры Струйской, изображенной Ф.И. Рокотовым, предлагалась иная трактовка образа, отличающаяся от той, что у Николая Заболоцкого в его стихотворении «Портрет» («Любите живопись, поэты!..»). По словам автора статьи, стихотворение представляет собой «собственную проекцию» поэта, его трудной судьбы, на портрет помещицы, прожившей после того, как она позировала Рокотову, долгую и благополучную жизнь[14]. По мне, одно нисколько не мешает другому, и рокотовский образ не становится ни менее обаятельным, ни менее загадочным. И историк М.А. Рахматуллин, старший коллега редактора «Историка и Художника», в статье об исторической основе картины В.А. Серова «Выезд на охоту Петра II и цесаревны Елизаветы» убедительно оспорил отрицательную оценку, данную некогда авторитетным критиком В.В. Стасовым. При этом самому читателю предоставлялось решить самому на основе представленных фактов, «насколько был точен и исторически верно ориентирован» художник[15].

Подобный подход был созвучен отношению редактора журнала к полемике и её характеру. Ибо, как видно из всего, напечатанного в журнале, важнейшим понятием, определявшим научность и тональность «Историка и Художника», Сергей Сергеевич считал «диалог», осуществляемый в самых разных формах. Это и диалог о больших и малых явлениях, событиях, исторических персонажах, и диалог автора с читателем, и заочный диалог людей разных поколений, эпох и культур. Он мог вестись внутри того или иного материала, в одном номере, в разных номерах. Неукоснительно проводилось в журнале и изучение исторической практики диалога как позитивного взаимодействия (и его торможения тоже). Нужно ли доказывать, что такая позиция не может устареть?

---

[13] *Кабанова Е., Ципоркина И.* В поисках понимания: Историк и язык изобразительного искусства // Там же. 2005. № 3(5). С. 68—75.

[14] *Пелевин Ю.* Александра Струйская: судьба и тайна // Там же. 2006. № 4(10). С. 25—28.

[15] *Рахматуллин М.* Пётр II: царь или охотник (по поводу картины В.А. Серова) // Там же. 2005. № 3(5). С. 129—148.

Идея диалога более или менее удачно реализовывалась и там, где речь шла о государственных и политических деятелях, вызывавших и по сей день вызывающих споры. При этом выявлялось как «типичное», так и особенное, специфичное и колоритное в их облике и поведении. Хорошо известный и анализировавшийся в журнале образец художественной типизации — тыняновский «Подпоручик Киже». Реалистический гротеск на основе исторического анекдота создаёт образ царствования Павла I и вообще российской бюрократической системы. Более того, по мнению исследователей, это было предвидение — в 1928 г. — сталинского тоталитаризма[16]. Такого рода типизация, разумеется, не противоречит необходимости конкретно-исторического изучения бюрократии, её отдельных представителей, носителей верховной власти[17]. Вместе с тем важно выяснить, чем была обусловлена трансформация образов ключевых фигур и явлений российской истории (к примеру, таких, как Пётр Великий и основанный им Петербург) как в художественном, так и в научном творчестве[18].

Правомерно и движение исследователя от художественного образа к историческому факту. Вероятно, попытки добиться, чтобы сценаристы и режиссёры соблюдали абсолютную точность хотя бы в передаче бытовых деталей эпохи, о чём писали и на страницах журнала, дело в современных условиях безнадёжное. Но отсюда не следует, что излишне сопоставление, скажем, экранных образов с реальными их прототипами. Так, в первом же номере журнала в качестве откликов на телероман «Бедная Настя» была напечатана подборка биографических очерков-портретов — Николая I, А.Х. Бенкендорфа и наследника, будущего Александра II[19].

Журнал не прошёл мимо вовлечения в научный оборот огромного наследия русских эмигрантов, заметно обогатившего и усложнившего историографическую ситуацию. Представляя читателю две оценки адмирала Колчака, редактор писал, как всегда, ярко и точно: «Двум радикальным переворотам в минувшем веке мы обязаны рождением и двух прошедших времён в современном историческом языке, двух исторических прошлых, зачастую равноудалённых от текущего дня (или равноприближенных к нему) в человеческой памяти... В нашем “раздвоенном” сознании Реставрация теперь порой соседствует с Революцией,

[16] *Поселягин Н.* Подпоручик Киже как эмблема бюрократической России // Там же. 2005. № 1. С. 47—56.

[17] *Зверев В.* Михаил Лорис-Меликов глазами современных историков. С. 123.

[18] *Соловьёв Е.* Пётр Великий: Метаморфозы образа // Историк и Художник. 2005. № 3(5). С. 165—181; *Звонарёва Л.* Санкт-Петербург в творчестве писателей и художников Русского Зарубежья // Там же. 2006. № 2(8). С. 77—90.

[19] *Сидорова М.* Бенкендорф // Там же. 2004. № 1. С. 179—180.

как в кино михалковские юнкера — с михалковскими же чекистами и комиссарами»[20]. Редакционного комментария к публикуемым материалам нет, только постановка вопросов и опять: «Судите сами, читатель».

Равноценными два эти материала редактор, конечно, не считал, хотя прямо об этом не заявил. Даже если не касаться художественного качества дифирамба, присланного из Филадельфии, было ясно, что он лишь воспроизводит старые штампы и явно проигрывает — не частый случай! — историку. Тогда как эскизная, но объёмная характеристика Колчака (кстати, сторонника «непредрешенчества») в статье П.Н. Зырянова, как и попутные его размышления о гражданской войне, обеспечены массой изученных архивных источников, послуживших фундаментом его последней книги[21].

Слова С.С. Секиринского об удалённом или приближенном прошлом в современном сознании подводят к ответу на поставленный вначале вопрос о том, устарел ли избранный «Историком и Художником» подход к постижению исторического процесса. Где проходит рубеж между современностью и историей? Вчерашний день — это уже история, и тут вроде бы трудно что-либо возразить, но есть и другое, пессимистически-ироничное, но имеющее основание мнение: история — это то, что происходило до действующих политических лидеров. Опыт «Историка и Художника» не утратил ценности и ввиду неизменности нашего общественного фона. По-прежнему иной политик и средний российский гражданин, глядя из сегодняшнего дня, ищет «золотой век» в прошлом, намеренно или бессознательно пренебрегая фактами, противоречиями и проблемами живших тогда людей. Для одних идеальное государственное устройство — Российская империя, где все блаженствовали, с губерниями, без всяких там автономий. Другим, не обязательно сторонникам КПРФ, оптимальной кажется советская модель с наднациональной идеей-целью, являющейся предметом массовой веры. Третьи считают гармоничным явлением культуру Серебряного века. Изъятие целых звеньев из «связи времён» сопровождается сотворением кумиров. Сегодня даже редакция Большой российской энциклопедии отдаёт предпочтение не объективной оценке, а агиографии. Похоже, история начинает возвращаться в сферу обслуживания.

Значит ли это, что «самый справедливый суд» — это суд современников, и следует лишь заимствовать сказанное ими? Редактор «Историка и Художника» хорошо понимал, что ни в той или иной системе идей, ни

[20] Судьба Колчака // Там же. 2006. № 4(10). С. 183.

[21] *Юпп М.* Любовь и долг. Поэма исторической закономерности // Там же. С. 184—186; *Зырянов П.* Каким он был... // Там же. С. 187—193. См. также: Долг и судьба историка. Сборник статей памяти доктора исторических наук П.Н. Зырянова. М., 2008.

в меняющихся умонастроениях не заключена полнота истины и, следовательно, необходимо предоставить читателю возможность сравнивать относительно синхронные свидетельства участников и очевидцев одних и тех же событий. Их публикация, конечно, не отменяет необходимости аналитической работы профессионала, уровень которой обнаруживает и короткий журнальный комментарий, не говоря уже о специальных статьях. Ведь познавательная ценность источника, конечно, не гарантируется ни изобразительным даром свидетеля, ни симпатичным публикатору мировоззрением. Важно не только то, какими штрихами современники обогатили картину событий своего времени, но и то, какие мысли у них эти события рождали, и то, насколько подвижна была сама их мысль.

Приведу несколько примеров со страниц «Историка и Художника». Так, журнал принял участие в возвращении читателю публицистики Василия Розанова. Благое дело, но под названием «Неизвестный Розанов» были перепечатаны заметки, появившиеся впервые на страницах многотиражной газеты «Новое время». Написаны они в духе воинствующего национализма и «государственного мистицизма». Иногда в них встречаются не просто ошибки, но и заведомая неправда, например, об отмене крепостного права (в связи с 50-летним юбилеем): «Собственники без горечи отошли от своих состояний, от своего богатства». Лейтмотив их в том, что почти 300 лет Россия была единой, и только современность внушает тревогу. Но сколько-нибудь оригинальным такой взгляд не был, что не помешало публикатору возвести Розанова в ранг выдающегося историка[22]. С конца XX столетия в ранг великого пророка возводят Фёдора Тютчева — автора стихотворения «Русская география». Историк, желающий оставаться историком, естественно, должен учесть контекст появления поэтических пророчеств в середине XIX в., как это и сделал Н.И. Цимбаев, справедливо выступающий против вневременного подхода, игнорирующего реалии эпохи — международную обстановку, моду на историко-философские спекуляции[23].

Что касается времени Розанова, то за несколько лет до Первой мировой войны и революции юбилейные торжества по случаю 100-летия Отечественной войны 1812 года и 300-летия Дома Романовых, с затратой огромных средств и участием множества людей, создавали впечатление незыблемости существующего порядка[24]. Они были весомым аргументом и для Розанова (хотя в том же нововременском кругу их могли оценивать

[22] Неизвестный Розанов. Заметки об исторических годовщинах // Историк и Художник. 2004. № 1. С. 22—28; «Наш Марафон» // Там же. 2005. № 1. С. 172—180.

[23] *Цимбаев Н.* Обретение Града. Тютчев: поэт или пророк // Там же. 2004. № 2. С. 156—169.

[24] *Цимбаев К.* Трёхсотлетие Дома Романовых: Юбилей 1913 года как художественное действо // Там же. 2005. № 1. С. 181—195.

иначе и глубже, с позиций здравого смысла). Юбилеи 1912—1913 гг. изучались не раз, приходилось писать о них и мне[25]. Документированный очерк о том, как готовились торжества, журнал поместил в разделе «Весь мир — театр». Да, это было «художественное действо», великолепно поставленное. Впоследствии традицию организации эмоционально и идеологически воздействующих на массы зрелищ подхватили большевики.

А тогда, в 1912—1913 гг., всему миру были продемонстрированы, как казалось, неисчерпаемые возможности самодержавного режима. И совершенно ясно теперь, что эти торжества дезориентировали самих их устроителей. Но о неприятном говорить неохота, и эта сторона дела из нынешних описаний торжеств выпадает, вследствие чего от историзма мало что остаётся. Правда, в общем виде на эту тему журнал высказался, поместив выступление М. Бойцова, который предложил «полезное любому историку или социологу пособие по механизму репрезентации власти и по тому, какие сбои этот механизм может порой допускать». Такое пособие — сказка Г.Х. Андерсена «Голый король»[26]. Не то? Или не совсем то? Впрочем, обсуждения вопроса о применимости «пособия» к старой и новой России не последовало.

Известно, что внимание большой части послеоктябрьской эмиграции, единомышленников Розанова, было поглощено сведением счётов, обличением персональных виновников революции, каковыми объявляли и С.Ю. Витте, и П.А. Столыпина, и много кого ещё. Гораздо любопытнее, как воспринимали, например, А.Ф. Керенского те эмигранты, кому он был лично симпатичен, но кто тем не менее мог критически анализировать поведения бывшего главы Временного правительства и в 1917 г., и в эмиграции (М.А. Алданов, Е.Д. Кускова, В.А. Маклаков). Они не находили ничего смешного в выражении «чистота политических риз». Как писал Маклакову Алданов, «это наш единственный морально-политический капитал». С таких позиций они размышляли обо всём происходившем и происходящем в изгнавшей их России и в мире. В том числе — о проблеме вождизма и возможности «умного диктатора», в свете как мирового, так и российского и советского опыта[27].

Князь Сергей Урусов, чьи ранее неизвестные исторические свидетельства публиковала Н.Б. Хайлова, не эмигрировал, остался в Советской России и на издание своих мемуаров не надеялся. Тем интереснее,

[25] См., напр.: «Нужны действительные торжества, действительные успехи власти». Отклики на приезд Николая II в Москву в мае 1912 г. // Исторический архив. 2002. № 5. С. 205—210; *Розенталь И.С.* Москва на перепутье: Власть и общество в 1905—1914 гг. М., 2004 (глава 5. Вокруг исторических юбилеев) и др.

[26] *Бойцов М.* Когда становится видно, что король — голый? // Историк и Художник. 2004. № 2. С. 192—198.

[27] *Лагашина О.* Указ. соч. С. 141—150.

что этот умеренный либерал, некогда губернатор и товарищ министра внутренних дел, не весь был в своём дореволюционном прошлом. Он точен в передаче фактов, нет сомнений и в верности воспроизведения им чужих слов (в том числе и Николая II, с которым он четыре раза встречался), в правильности характеристики личности императора, совпадающей со множеством других свидетельств. Но он же пишет в 1928 г., что «давно избавился от враждебного чувства, которое когда-то разделял в отношении императора Николая II со многими искателями лучшего для России государственного порядка», и теперь, под впечатлением трагической гибели монарха, склонен «искать оправдания его ошибок, неудач и отрицательных личных свойств»[28].

Это «искание» перекликается с размышлениями упомянутых выше эмигрантов. Но оно, на первый взгляд, несовместимо с рассуждением — правда, «с крупинкой соли» — неназванного сокамерника Урусова по Бутырской тюрьме, куда были заключены обвиняемые по «делу Тактического центра», организации либеральной интеллигенции, оппозиционной власти большевиков (1918—1919 гг.). Урусов, очевидно, был согласен с ним в том, что по сравнению с условиями жизни накануне свержения Временного правительства, с царившей тогда обстановкой фактического безвластия, при котором «никто не мог считать себя в безопасности, ни на улице, ни дома, грабили, убивали в городах и в деревнях» восстановление порядка стало «достижением» большевиков, объявивших свою монополию на насилие — «грабить и убивать будем мы, когда признаем нужным». В результате, «правительство стало всеми чувствоваться и даже очень заметно»[29].

«Порядок» — ходовое слово тогда и потом, допускающее какие угодно толкования обывателями, мыслителями, политическими деятелями. Носителями порядка («государственниками») чувствовали и представляли себя деятели Белого движения. Оправданно ли это было и если да, то до какого момента? Нужно ли стремиться историкам (не публицистам!) как-то преодолевать размытость подобных терминов, учитывая неповторимость исторической ситуации? Такие вопросы возникают при чтении простенького мемуарного рассказа с «крупинкой соли» умного современника.

---

[28] *Хайлова Н.* От «образцового губернатора» до «образца советского работника»: судьба князя С.Д. Урусова // Историк и Художник. 2004. № 1. С. 88—98; «Человек ли царь?» Воспоминания кн. С.Д. Урусова «Беседы с Николаем II» // Там же. 2004. № 2. С. 189.

[29] *Урусов С.* О русских монастырях (Беседа в тюрьме в 1919 году) // Там же. 2005. № 3(5). С. 159. См. отдельное издание: *Урусов С.Д.* Записки. Три года государственной службы. М., 2009. См. также: Тактический центр. Документы и материалы. М., 2012.

И ещё один пример — из совсем другого времени. Небольшой отрезок творческого пути Александра Твардовского, от газетных очерков 1941 года о героях Великой Отечественной войны к образу Василия Тёркина, — пример способности не историка, не политика, а художника кардинально и в очень короткий срок изменить угол зрения на происходящее так, что художественное осмысление не входит в противоречие с рациональным взглядом, до которого в начале войны было ещё далеко. Заметим, до XX съезда, до поэмы «За далью даль». На сей раз редактор «Историка и Художника» решил сам сравнить и прокомментировать два «материала» и чётко перечислил, что именно ушло из «книги про бойца» в процессе её создания. Исчез герой-политрук, социальное происхождение главного героя — батрак и т.п., включая нигде в итоге не упомянутого (!) Сталина, который не возразил, в виде исключения, против того, что великий образ труженика-солдата остался в тексте без обязательных идеологических аксессуаров[30].

Не случайно значительное место на страницах журнала занимало исследование функциональной роли произведений литературы и искусства в истории, их участие в формировании массовых представлений, стереотипов и т.д. Это и историческая проза, и поэзия, и драматургия — от Пушкина до Ю. Давыдова и М. Кураева, и «важнейшее из искусств» — кино[31]. С самого начала журнал реагировал на некоторые телесериалы, иногда помещая сразу несколько отзывов, разумеется, не идентичных. Очень многое можно почерпнуть из статей по истории кино, прежде всего советского, о кинопроцессе, о режиссёрах и актёрах, о проектах, не дошедших до экрана, как это было в сталинские и более вегетарианские времена, о воздействии советских кинофильмов не только на зрителя в СССР, но и в ГДР.

В первом же изложении задач журнала С.С. Секиринский писал о «социальной истории», о её стремлении «раскрыть *значимость* “малых” дел и *неординарность* “рядовых” судеб в бесконечном потоке времени...» и о том, что раньше это намного лучше, чем историкам, удавалось художникам — в первую очередь писателям, а порой и кинематографистам[32]. Художественная литература, констатировал С.С. Секиринский, привлекает историков сравнительно больше, но она «едва ли заметно востребована в исторических сочинениях, преж-

[30] *Секиринский С.* [Предисловие]. Александр Твардовский. «Всё потом будет написано заново». Фронтовые очерки 41 года и поэма «Василий Тёркин» // Историк и Художник. 2005. № 2. С. 7–9.

[31] Затрёпанное определение, но забывают, что Ленин так сказал о документалистике, художественные ленты он не смотрел. Теперь же для большей части зрителей это телевидение, телефильмы, популярность их не убывает.

[32] *Секиринский С.* Об историках, художниках и о нашем журнале. С. 5.

де всего относящихся к Новому и Новейшему времени»[33]. Один из сюжетов советской истории, бытия и сознания миллионов городских жителей — проживание в коммуналках — был представлен в журнале в мемуарном описании обитательницы московской квартиры, создающем красочную картину «быта, временами похожего на бред»[34], а также в статье, содержащей оригинальное прочтение романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в сопоставлении, между прочим, с второй частью «Фауста» И.В. Гёте, в переводе Б.Л. Пастернака, полном аллюзий на советские порядки[35]. Гуманистический взгляд на «квартирный вопрос» Булгакова противопоставляется автором статьи идеологическому оправданию «быта, похожего на бред» в первые советские десятилетия (и своеобразной сентиментальной ностальгии по коммуналкам впоследствии, хотя, конечно, массового характера она не носила). Плоды разрушения цивилизации после 1917 г. выдавались за начало рождения нового космоса, нового человека, нового образа жизни — до тех пор, пока не было признано свыше, что и «простой» советский человек имеет право на отдельную квартиру, после чего мифологема ушла в небытие.

Значение мыслей Н.А. Ерофеева, приводимых А.Б. Давидсоном, — сверх того, что содержится в когда-то прочитанной, каюсь, выборочно, книге об Англии и англичанах глазами русских в XIX в. (к тому же выхолощенной редакторской цензурой), — выходит далеко за пределы воспоминаний историка об учителе: «Он говорил, что нередко чужой расизм и чужой национализм критикуют в угоду своему расизму и национализму. Что хорошо бы каждому народу бороться против своих предрассудков, а не сосредотачиваться на чужих... А всем ли... такое понравится, и не только цензорам?.. Многие, мы знаем, даже на зубоскальстве по поводу “чужих” заработали и популярность и капитал. Но вот критиковать “своих” — тут запросто могут сказать, что ты — не патриот». Ерофеев искренне удивлялся высокомерию Солженицына, писавшего, что у него нет времени узнавать заграницу[36].

Относится всё это и к истории внутрироссийских отношений. Статья Л.С. Гатаговой, посвящённая теме Кавказа в русской литературе и искусстве, продолжила известное исследование Натана Эйдельмана («Быть может за хребтом Кавказа...»), но с включением советского материала — в частности, культовых кинофильмов, таких как «Сви-

[33] *Секиринский С.* От журнала к читателю и обратно... // Историк и Художник. 2005. № 2. С. 4.
[34] *Вельчинская О.* Квартира № 2 и окрестности // Там же. 2008. № 3(17). С. 174—190.
[35] *Филимонов В.* «Квартирный вопрос» // Там же. 2006. № 1(7). С. 173—187.
[36] *Давидсон А.* Учитель, англовед, яхт-капитан. С. 127—128.

нарка и пастух» и «Кавказская пленница»[37]. Автор проследил генезис и развитие имперского мифа, не «вдруг» сложившихся стереотипов о «лицах кавказской национальности». Не знаю, обращали ли раньше киноведы внимание на отсутствие в названных фильмах точной географической и этнической привязки места действия и персонажей, а также на то, что в обоих фильмах на роли выбрали актеров — не кавказцев, причём ни сценаристам, ни заказчикам наверху не показалась несуразной любовь горца-мусульманина именно к свинарке и т.д.

Чтобы почувствовать, какое значение придавал С.С. Секиринский теме диалога культур, со всеми его трудностями и сложностями, успехами и провалами, достаточно перечислить лишь несколько воплощений данной темы как отечественными, так и зарубежными авторами на страницах «Историка и Художника»: заграничные путешествия русских в XIX в.[38], иностранные гувернантки в русских дворянских семьях и отношение к ним (была, оказывается, разница между тем, как они изображались мемуаристами и писателями)[39], целенаправленное создание карикатурного образа внешнего врага в дореволюционной и советской прессе[40], проект наведения мостов между Россией и Германией, инициированный диссидентом Львом Копелевым и успешно реализованный, несмотря на холодную войну! Освещая последний сюжет, немецкий автор даёт интересное объяснение поддержки проекта видными писателями, весьма непохожими друг на друга: по его словам, их стремление к правдивости было конгениально пониманию правды и законности гуманистом и интернационалистом Копелевым[41].

Без преувеличения вершиной, достигнутой журналом и его редактором в восхождении по указанному непростому маршруту, явился международный, польско-российский, сдвоенный выпуск, комментировать который вкратце невозможно, к богатейшему содержанию которого будут ещё долго обращаться. Как, впрочем, и ко многим другим материалам «Историка и Художника».

---

[37] *Гатагова Л.* В плену «Кавказского пленника» // Историк и Художник. 2005. № 2. С. 160—180.

[38] *Куприянов П.* Русское заграничное путешествие начала XIX века: парадоксы литературности // Там же. 2004. № 1, 2; 2005. № 1.

[39] *Солодянкина О.* «Дочь Альбиона»: гувернантки в русской литературе // Там же. 2008. № 3(17). С. 34—51.

[40] *Голубев А.* «Наш ответ Чемберлену»: Советская политическая карикатура 1920—1930-х годов // Там же. 2004. № 2. С. 122—139; *он же.* Дядя Сэм в зубах у «Крокодила» // Там же. 2006. № 2(8). С. 63—74; *Петухов Л.* Образ чужого: Джон Буль и русская политическая сатира периода англо-бурской войны // Там же. 2007. № 1(11). С. 40—54.

[41] *Аймермахер К.* Проект Льва Копелева «Запад — Восток» // Там же. 2008. № 3(17). С. 164—173.

В.М. Шевырин

Строки воспоминаний о Сергее Сергеевиче Секиринском

Афоризм Т. Карлейля «хорошо написанная биография так же редка, как и хорошо прожитая жизнь», процитированный в одной из моих рецензий и подчёркнутый Сергеем Сергеевичем (кажется, из-за пропущенной буквы «и»), обретает для меня какой-то особый, трепетный смысл, когда я вспоминаю Сергея Сергеевича, его светлую жизнь. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне высокую радость общения с ним.

Но всё же как неожиданно ушёл он из жизни. Весть об этом была как гром среди ясного неба. Не грех, наверное, сознаться, что тогда я не выдержал: сидел один в квартире и тихо плакал. От бессилия перед роковой необратимостью несчастья и от его злой внезапности. И всё не верилось, что Сергея Сергеевича нет уже на белом свете. Ведь всего за день до трагедии мы так хорошо говорили с ним (о моём материале для «Диалога» по книге О.В. Будницкого). И вот уже всё кончилось. Навсегда. Не верилось.

Он был энергичным, кипучим как сама жизнь и радовался он ей открыто, по-детски, и каждый миг жил так, будто это мгновенье последнее. Словно знал, что суждён ему плодотворный, но недолгий век. Он сам говорил, не о себе, конечно, но как бы и о себе: «Век триумфатора скоротечен».

На его похоронах на Даниловском кладбище 10 ноября 2012 года было много искренне скорбящего люда — от академиков до студентов. И все ошеломлённые, и будто потерянные, ушедшие глубоко в себя. Не стало товарища, друга, настоящего человека. И не было потому ни на йоту ритуально-торжественного равнодушия официальных похорон. Чувствовалось, что эта утрата коснулась всех.

Сколько благих надежд возникло в научном сообществе, когда Сергея Сергеевича избрали главным редактором «Российской истории»! На её «мостике» — опытный, всё знающий и ведающий «капитан», блестящий организатор, харизматическая личность, обладающая умом, способным постичь смысл различных процессов, происходящих в науке, в России и в мире, выразитель дум и настроений учёных, развития исторической науки. И вырвался у всех вздох облегчения: «Счастливого тебе плавания, “Российская история”»!

И вдруг пучина смерти поглотила «капитана». Невозвратная и горестная для всех потеря. И у каждого ещё своя боль: каждый, кто знал его, потрясён этим безвременным уходом.

Это был совершенно необычный человек в силу своей человечности, личных качеств и многих талантов и добродетелей, которыми его щедро одарила природа. Его внешность сразу же привлекала внимание — высокая, стройная фигура, полная достоинства и благородства осанка. Несокрушимая энергия, ум, душа, сильный и яркий талант, эрудиция, всё в нём было в полной мере. И был в нём особый шарм, магнетизм обаяния, жизнерадостность, юношеский энтузиазм, который он донёс до седых волос, не расплескав. И, наверное, каждый чувствовал, что Сергей Сергеевич, всегда и всем доступный, испытывает к своему собеседнику искренний и глубокий интерес, настолько он сам с головой уходил в обсуждаемые проблемы и часто тут же, на месте, с блеском решал их. Он не умел хитрить, интриговать и не любил это. И никогда не ставил меркантильные расчёты выше служения профессии и общественному благу. Ему как главному редактору претило всякое менторство и поучение. Он и бюрократизм, формализм были несовместимы. Может, и поэтому ещё всё так кипело, делалось как-то легко и само собой, порой, под аккомпанемент добродушной шутки или мягкой, тонкой иронии. Это тоже был «фирменный знак» Сергея Сергеевича. Как тут не вспомнить одного из персонажей его работ, философа Владимира Соловьёва, который в отличие от Аристотеля с его «человеком общественным», поклонялся «человеку смеющемуся» (что заметил ещё А.Ф. Лосев). И улыбка у Сергея Сергеевича была какая-то особенная: смущённо-бесхитростная, деликатная, отражавшая имманентную ему интеллигентность.

Таково моё общее впечатление от личности С.С. Секиринского, которого я считаю безусловно выдающимся историком. Я знал Сергея Сергеевича в последние 20 лет его жизни. Однако видел его редко и ещё реже доводилось беседовать с ним. Я не принадлежал к кругу его близких друзей не был его коллегой по редакции и никогда не работал с ним в одном институте, хотя, как мне кажется, у нас была взаимная приязнь. Он даже заезжал ко мне домой, изредка брал ту или иную книгу из моей библиотеки. Но, конечно, я не вправе претендовать на большее, чем передать самые общие впечатления о нём и оставить лёгкие штрихи к его «портрету». Друзья и коллеги могут запечатлеть его в своих мемуарах и ярче, и полнее меня. Подвигли же написать эти строки воспоминаний о нём некоторые особенности наших деловых отношений, которые, несмотря на их эпизодичность, продолжались, не прерываясь, два десятилетия. Они связаны и с его непосредственными научными интересами, и с его деятельностью как в журналах «Историк и Художник» и «Российская история».

Познакомил нас «российский либерализм», точнее, наши занятия историей либерализма. Первые контакты относятся ко времени выхода в свет книги «Родословная российской свободы» (1993) и работы Сергея Сергеевича над докторской диссертацией, защищённой в 1999 году. До этого его научные интересы сосредоточивались на изучении русской революционной демократии. Я же со студенческой поры занимался исследованием либерализма. В 1969 г. в журнале «История СССР» (№ 4—5) благодаря А.Я. Авреху были напечатаны обширные фрагменты из воспоминаний М.М. Ковалевского с моим предисловием и комментариями. Эту публикацию потом часто использовали и отечественные, и зарубежные авторы, в том числе и Н.Н. Берберова. В 1973 г. я защитил в МГУ кандидатскую диссертацию, посвящённую истории Партии мирного обновления.

Тем самым, встреча наша была, в сущности, предопределена: не так уж много было тогда специалистов «по либерализму», к тому же Сергей Сергеевич занялся вскоре сюжетами и персоналиями, привлекавшими и моё внимание. Позднее он написал очерк об одном из лидеров Партии мирного обновления — М.А. Стаховиче, к которому относился не без пиетета. Сергей Сергеевич подарил мне «Родословную российской свободы», а также автореферат своей докторской диссертации с тем, чтобы я, прочитав, высказался «по существу». Так я и сделал. Защита диссертации прошла блестяще. Чествование виновника торжества тоже. До сих пор не забуду необыкновенно вкусные пирожки, приготовленные супругой Сергея Сергеевича.

Сергей Сергеевич стремительно осваивал «территорию» российского либерализма[1]. Насколько могу судить, он изучал этот исторический «феномен» не только ради познания его истоков в XIX—XX вв., но и для того, чтобы, елико возможно, служить развитию свободы и гражданского общества в современной России. При этом с самого начала Сергей Сергеевич тяготел к биографическому жанру, стремился вести своего рода диалог с деятелями ушедшей эпохи. Между тем, как писал С.Н. Булгаков в «Вехах», книге весьма ценимой Сергеем Сергеевичем, «история чаще всего является материалом для применения теоретических схем, господствующих в данное время в умах (напр., теория классовой борьбы) или же для целей публицистических, агитационных», тогда как «чувства кровной исторической связи, сочувственного интереса, любви к своей истории, эстетического её восприятия поразительно мало у интеллигенции»[2]. Иногда «не-

[1] Особо отметил бы его участие в проектах В.В. Шелохаева и А.А. Кары-Мурзы и книгу: *Секиринский С.С., Шелохаев В.В.* Либерализм в России. Очерки истории (середина XIX — начало XX в). М., 1995.

[2] Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 76

объективность» Сергея Сергеевича в оценке своих героев — любовь, сочувствие, симпатии к ним, могли смутить читателя или слушателя. Но в действительности в этом был некий «объективный субъективизм». Правда жизни весьма персонифицирована и относительна, а история — это прежде всего результат деятельности живых людей, а не априорных схем.

Кроме того, Сергей Сергеевич вовсе не склонен был перечёркивать реформаторские усилия самодержавия. Как бы то ни было, а Россия постепенно «поновлялась», преображалась, хотя царизм вечно опаздывал с реформами, с подозрением относился к обществу и своей политикой взращивал в нём семена недовольства и отторжения от исторической власти, попав в итоге в роковой цейтнот. Но и у либералов, считал Сергей Сергеевич, была червоточинка: клонились влево, были повинны в «кадетском радикализме», игравшем на руку революции. Иногда и светлые идеи отбрасывают тень. А когда упущено время для преобразований, утрачен «инстинкт самосохранения» и на политическую авансцену уже врывается «третий радующийся», тогда и реформы остаются бесплодными. Сергею Сергеевичу во многом была близка позиция «Вех», таких либералов, как В.А. Гольцев, М.А. Стахович, В.А. Маклаков. Импонировал ему и П.А. Гейден, небольшую книжицу о котором я подарил Сергею Сергеевичу[3].

Либерализм всегда оставался для него излюбленной темой, и к ней он постоянно возвращался, хотя спектр его научных интересов был весьма широк. В истории XIX—XX вв., будь то война 1812 года или события новейшей истории, он чувствовал себя «как дома». В журнале «Отечественная история» Сергей Сергеевич на высочайшем профессиональном уровне проводил «круглые столы», на которых нередко поднимались самые актуальные темы. И этот уровень он держал всегда и во всём.

Настоящим откровением для меня явилась его рецензия на мой сборник афоризмов[4]. Я преподнес ему эту книжечку и уже почти забыл об этом, как вдруг он звонит:

— Виктор Михайлович, Вы знаете, что есть такой журнал — «Ять»?

— Знаю.

— Видели первый номер за 2001 год?

— Нет.

— Тогда приезжайте завтра в институт, я Вам дам его.

---

[3] *Шевырин В.М.* Рыцарь российского либерализма. Граф Пётр Александрович Гейден. М., 2007.

[4] *Шевырин В.М.* Мизантропики Рака. Афоризмы. Фразофарсы. М., 2000.

— А что в нём такого, что так надо «аллюрить» в институт?

— Моя рецензия на Мизантропики Рака[5].

Конечно, я рассыпался в благодарностях. На следующий день встретились. Улыбается, довольный, будто не он, а я на его книгу восторженную рецензию изваял. Вручил мне журнал. Благоговейно беру. По дороге домой, в метро, не утерпел: прочитал отзыв. Блестящий стилист, Сергей Сергеевич, мастер! Всё, что выходило из-под его пера — воплощение ума, души и вкуса. И как доброжелателен! Может, даже слишком. Но, между прочим, к некоторым моим афоризмам он возвращался и позднее, например, в одной из своих статей в «Российской газете». В сборнике же его привлекало сочетание «словесности» с историей. В рецензии он отмечал, что в моих профессиональных работах «видно каждое историческое “деревце”, ну, а “лес” истории вдруг проглядывает из-за “деревьев”, когда рождается афоризм». Сергей Сергеевич увидел в книге «разноликие образы Отечества», «опыты в ней исторической периодизации», «примеры ёмких исторических определений», «диалог историка с современностью» и др. Многие афоризмы он процитировал и склонен был разделить исходную авторскую позицию: «История — обшарпанный катафалк, который часто принимают за триумфальную колесницу».

Настоящим подвижником науки Сергей Сергеевич проявил себя в «Историке и Художнике», где он стремился соединить всё многообразие гуманитарных наук, с калейдоскопом их новаций (антропологизм, междесциплинарность исследований, «лингвистический поворот», изучение культурных форм повседневности и др.). До появления на свет этого своего нового детища он провёл поистине титаническую работу по подбору авторов и членов редколлегии (хотя всё издание оставалось на его плечах), по внешнему оформлению журнала, задачу которого он выразил так: «Именно художественное творчество было и остаётся одним из способов познания и понимания *человека в истории*... Право историка, работающего в науке, “высекать” образы и воссоздавать драматургию ушедшей жизни, как и право художника, живущего в истории, быть ее *свидетелем* и *исследователем*, не подлежит сомнению...»; «журнал выбирает путь преодоления цеховой замкнутости ремесла историка и различных видов искусств... Журнал адресован всем, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство»[6]. Эти идеи Сергей Сергеевич высказывал не раз. Так, на XXXV заседании Никитского клуба, проходившем под председательством

[5] *Секиринский С.* Мизантропики и Фразофарсы // Ять. № 1. 2001. С. 60.

[6] *Секиринский С.* Об историках, художниках и о нашем журнале // Историк и Художник. 2004. № 1. С. 5—6.

С.П. Капицы, он говорил: «Герцен — художник, всегда стремившийся разглядеть за общими понятиями и “знамёнами” всемирной истории Человека, её истинное действующее лицо, а саму историю увидеть как сюжет драмы или трагикомедию, особенно близок нашему журналу».

Он был главным редактором «от Бога». Как-то я задал ему, в сущности, некорректный вопрос о его зарплате или материальном вознаграждении за каторжный труд на этом посту. Когда он мне ответил, я был поражён мизерностью этого «вознаграждения». Он работал почти на одном энтузиазме. Главным для него было, чтобы журнал, у которого уже сложилась своя читательская аудитория, продолжал выходить.

Свой повышенный интерес к искусству и художественному слову Сергей Сергеевич объяснял тем, что именно они, а не работы историков, формировали представления россиян о былом, литература же и вовсе доминировала в отечественной культуре. Для него были очевидными и духовное величие, и острота взора наших великих писателей, опускавшихся в глубины русской истории. В 2004 г. под его редакцией была опубликована книга «История страны / История кино», в которой он убедительно показывал, что исторический анализ произведений литературы и кинематографа — одна из неотложных задач нашего времени[7].

Характерно, что он не только был озабочен проблемами эпистемологии гуманитарного знания, но и творил как бы «живой синтез» наук, литературы, искусства, собирал (чаще всего в одной из школ в центре Москвы) творческую интеллигенцию на различные тематические встречи, которые всегда проходили в очень непринуждённой, тёплой атмосфере дружеского общения. Здесь выступали известные деятели культуры, в том числе и зарубежные. Зал всегда был полон. Заседания, как правило, вёл Сергей Сергеевич. И всё было очень чётко организовано. Опять же — практически одним человеком... И откуда у него на всё брались силы? Немало усилий нужно было приложить уже для того только, чтобы обзвонить всех потенциальных участников вечера. Бывало, и мне звонил по 2—3 раза (когда, например, предстояло выступать на встрече, посвящённой творчеству Ю.К. Олеши и М.М. Зощенко). Вечер заканчивался обычно какой-нибудь викториной с призами для победителей.

Сергея Сергеевича всегда интересовали проблемы идентификации историков и самоидентификации. Как я понимаю, он хотел видеть в каждом историке внутренне свободную, творческую личность, чуж-

[7] *Секиринский С.* Кинематографичность истории, историзм кинематографа // История страны / История кино. М., 2004. С. 3—9.

дую всякой догматике и конъюнктуре, со своим хорошо аргументированным подходом к обсуждаемым проблемам.

В последние месяцы жизни особое внимание Сергей Сергеевич уделял «Российской истории». У него имелось много интересных задумок по улучшению работы журнала (создание редакционного совета, более тесное взаимодействие редколлегии и редакции, укрепление связей с читателями и авторами на периферии и т.д.). Как-то в разговоре с ним я посетовал на то, что издание почти недоступно: в розничной продаже его нет, в Интернете к нему не подобраться, — можно получить, только оформив подписку или взяв в библиотеке. Он согласился с этим, сознавая, как трудно исправить сложившийся порядок вещей: «Но будем пытаться понемногу менять это положение».

И вдруг 8 ноября 2012 года всё оборвалось.

А.А. Кара-Мурза

Сергей Сергеевич Секиринский – историк-портретист

Сергей Сергеевич Секиринский — признанный мастер интеллектуального портрета. Это его счастливое качество очень помогло реализовать многие историко-просветительские программы Национального фонда «Русское либеральное наследие», созданного весной 2003 г. В постановке сверхзадачи фонда мы, как историки «родословной русской свободы», были согласны полностью: вместо *декларативных* разоблачений «ужасов тоталитаризма» и призывов к свободе и демократии — предъявлять обществу *реальную человеческую альтернативу* в лице выдающихся по своим интеллектуальным и нравственным качествам русских либералов прошлого. В этом смысле тексты С.С. Секиринского о Борисе Чичерине, Петре Струве, Владимире Гольцеве, Михаиле Стаховиче, Александре Герцене, Василии Ключевском — принадлежат к числу лучших, которые мне доводилось когда-либо слышать, читать и публиковать.

Расскажу о некоторых наших совместных проектах. В 2004 г. отмечалось столетие со дня смерти Б.Н. Чичерина, и нам удалось организовать установку мемориальной доски (насколько я знаю, единственной в России) на здании Института философии РАН, располагающемся в бывшем городском особняке князей Голицыных. В 1881—1886 гг. Чичерин снимал здесь несколько комнат на первом этаже, а в 1883 г., будучи избранным московским городским головой, пользовался и некоторыми парадными апартаментами. 26 июня доска была торжественно установлена, а в исторических комнатах проведена научная конференция. Сделать основной доклад о Чичерине я попросил С.С. Секиринского. Помню, как слушатели (да, признаться, и я сам) были захвачены метаморфозами интеллектуальной биографии Чичерина, стремившегося сочетать «либеральные устремления» с верой в «реформаторство сверху». В итоге, констатировал докладчик, «родовитый русский дворянин, всей душой стремившийся стать первородным российским гражданином», потерпел драматическое фиаско в своих усилиях «вывести из сословных преимуществ нечто более широкое и значительное». Усилия Чичерина «разбились о лёд непонимания со стороны правительства, не желавшего признать за собой

обязанность соблюдать им же изданные законы и право других отстаивать дух и букву этих законов вопреки произволу власти»[1].

В том же 2004 г. у нас появилась возможность издать внушительное собрание биографических эссе о замечательных русских либералах прошлого (тогда таких текстов набралось 46), и Чичерин по праву «достался» Секиринскому. Сергей Сергеевич блестяще справился с задачей, обработав и расширив текст доклада и предпослав своему эссе девиз Чичерина: «В настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть»[2].

В «либеральной антологии» 2004 г. С.С. Секиринский, много помогавший и при собирании уникального авторского коллектива, уже по собственному почину взялся написать ещё три биографических статьи: о Петре Бернгардовиче Струве и двух фигурах, на тот момент менее известных — Викторе Александровиче Гольцеве и Михаиле Александровиче Стаховиче. Я хорошо понимал интерес Сергея Сергеевича к фигурам Струве и Гольцева. Будучи сам талантливым журналистом и редактором, он не раз размышлял над проблемой воздействия печатного слова на российское общество. В этом смысле феномен журнала «Освобождение», издававшегося Петром Струве в Штутгарте и Париже и тайно переправлявшегося в Россию, был для него крайне важен. «Именно в 1902 году, благодаря созданию за границей бесцензурного печатного органа, голос либеральной оппозиции самодержавному режиму зазвучал гораздо свободнее, а её рост начал приобретать более определённые политические и организационные формы», — писал в своём эссе о Струве С.С. Секиринский[3]. Прослеживая более поздние творческие и политические перипетии своего героя, он очень точно уловил его уникальность в русском общественном движении: «Таков Пётр Бернгардович Струве — человек, умевший вырываться из заколдованного круга даже тех формул, в создании которых сам когда-то участвовал»[4]. П.Б. Струве была посвящена и одна из последних статей С.С. Секиринского. В конце 2012 г. в многотомной серии «Философия России первой половины XX века» был подготовлен сборник современных исследований о Струве. Зная уже

---

[1] *Секиринский С.С.* Борис Николаевич Чичерин // Наше либеральное наследие. Вып. 1 / Ред. А.А. Кара-Мурза. М., 2004. С. 221—236.

[2] См.: Российский либерализм: идеи и люди / Ред. А.А. Кара-Мурза. М., 2004, С. 96-109. Во втором издании (2007 г.) галерея русских либералов была расширена до 96.

[3] *Секиринский С.С.* Пётр Бернгардович Струве: «Соединить здоровое патриотическое чувство с гражданскими устремлениями» // Российский либерализм: идеи и люди. М., 2004. С. 321.

[4] Там же. С. 330—331.

опубликованные работы Секиринского, редактор-составитель книги — профессор О.А. Жукова обратилась к нему с просьбой передать одну из них в сборник (многие участники книги так и сделали). Но у Сергея Сергеевича, оказывается, был в работе совершенно оригинальный материал в русле его новых научных увлечений. Его статья стала настоящим украшением книги[5].

Виктор Александрович Гольцев — уникальная фигура в русской общественной жизни и журналистике. Его многолетняя подвижническая работа на посту редактора и издателя журнала «Русская мысль» по-настоящему увлекла С.С. Секиринского. В своём эссе о нём в книге 2004 г. (переизданном в 2007 г.) автор с очевидным воодушевлением цитирует слова П.Д. Боборыкина о Гольцеве, как об «одном из самых выдающихся пробудителей общественного чувства и протестующей мысли»: «Не было ни одного начинания в сфере литературы, прессы, земского движения, просветительной инициативы, не устраивалось никакого сборища, обеда, вечера, публичного чтения, поминок или чествования с освободительным характером, где бы он не принимал живого участия, где бы он ни был председателем, устроителем, оратором или руководителем»[6]. Друзья и коллеги С.С. Секиринского, постоянные участники заседаний его клуба «Историк и Художник» не могут не признать очевидное сходство общественных темпераментов.

Особняком в антологии 2004 г. стоял очерк С.С. Секиринского о Михаиле Александровиче Стаховиче — орловском дворянине, борце за свободу совести, общественном деятеле и либеральном политике. Прослеживая историю нескольких поколений Стаховичей, историк нашёл богатейший материал для «родословной российской свободы». В ней тесно переплетались богатейшая культура, широта человеческого характера, природный артистизм, высокие общественные идеалы. Сергей Сергеевич и здесь не ошибся: история семейства Стаховичей стала одним из лучших проектов фонда «Русское либеральное наследие». В сентябре 2005 г. мы побывали в их родовом имении Пальна-Михайловка, установили мемориальную доску в память о М.А. Стаховиче в Ельце. Со временем мы близко подружились с его внучатым племянником — Михаилом Михайловичем, родившемся в 1921 г. в эмиграции и не так давно вернувшемся на родину. В честь 150-летнего юбилея М.А. Стаховича в Орле был издан сборник, от-

[5] *Секиринский С.С.* «За неимением Наполеона»: П.Б. Струве о пользе чужого опыта и «несравненном и несравнимом» в нашей истории // Пётр Бернгардович Струве / Ред. О.А. Жукова, В.К. Кантор. М., 2012. С. 171—201.

[6] См.: *Секиринский С.С.* Виктор Александрович Гольцев: «Мой девиз: труд и политическая свобода» // Российский либерализм: идеи и люди. М., 2004. С. 184.

крывавшийся статьёй С.С. Секиринского[7]. Презентация книги прошла в Орловской библиотеке, основанной в год 100-летия А.С. Пушкина губернским предводителем дворянства М.А. Стаховичем.

Многие годы неизменный интерес у С.С. Секиринского вызывал Александр Иванович Герцен. В 2012 г. Сергей Сергеевич был одним из главных энтузиастов широкого празднования 200-летия Герцена. Попытки «замолчать» юбилей (как со стороны властей, так и со стороны части «гуманитарного сообщества») вызывали его стойкое неприятие. В своей статье о Герцене, изданной в юбилейном сборнике Института философии РАН, С.С. Секиринский писал: «Герцен родился и вырос в государстве, чьи правители, если верить мнениям, популярным среди ряда наших коллег, трудились на благо страны, как на галерах (так говаривал о себе ещё сам император Николай Павлович), но почему-то Герцен всего этого не оценил, стал эмигрантом, бунтарём... Ныне его отзывы о российской государственности и её персонификациях не принято цитировать в исторических трудах»[8]. Такие настроения «нового официоза» автор объяснял тем, что явные и скрытые оппоненты Герцена, по крайней мере, интуитивно чувствуют основное кредо замечательного мыслителя: «Мимикрия духовного рабства, его способность к перевоплощению под вывеской самых передовых идей — “сквозной” мотив мысли Герцена»[9].

«Кредо» самого С.С. Секиринского — учёного-историка, журналиста, гражданина — очень ярко проявилось во время организованных нами в 2011 г. юбилейных мероприятий в честь В.О. Ключевского. Я попросил тогда Сергея Сергеевича выступить и на обсуждении моего доклада «Устарела ли история по Ключевскому?» на совместном семинаре фондов «Либеральная миссия» и «Русское либеральное наследие» в Высшей школе экономики (17 мая 2011 г.), и на дискуссии в Институте философии РАН «Актуальна ли историософия Ключевского?» (9 июня 2011 г.). В обоих случаях С.С. Секиринский говорил не только о «феномене Ключевского» (явно близкого ему и по взглядам, и по артистичности натуры), но и о «ремесле историка». Цитирую моего друга по сохранившейся записи: «В наши дни среди историков становится модным не столько писать о назревших в тот или иной момент преобразованиях, сколько рассуждать о способности либо неспособности общества воспринимать разрушение традицион-

[7] *Секиринский С.С.* М.А. Стахович // Орловский мудрец, опередивший время / Ред. А.А. Кара-Мурза. Орел, 2001. С. 6—26.

[8] *Секиринский С.С.* «Вознестись над толпою»: Герцен и Наполеон // Александр Иванович Герцен и исторические судьбы России / Ред. А.А. Гусейнов, А.А. Кара-Мурза, А.Ф. Яковлева. М., 2013. С. 123.

[9] Там же. С. 125.

ных институтов, о несоответствии его адаптационных возможностей темпу модернизации. Всё это можно было бы приветствовать, но с одной оговоркой, заимствованной у Талейрана: “Не слишком усердствуйте!” Ведь историк — не “археолог” (в старинном понимании термина), не просто “любитель древностей”, целиком погружённый в мир прошлого, хотя именно такое отношение к ремеслу входит в последнее время в моду. Историк — тот, кто способен в истории почувствовать, говоря языком людей XIX столетия, её “преобразовательный дух”. Тот, кто носит в сердце, как было замечено об одном из её немаловажных субъектов — Александре II, “инстинкт прогресса”. Блистая отсутствием этих свойств ума и души, современный историк, независимо от предмета его занятий, нередко ближе не к яркой плеяде своих предшественников и современников Великих реформ и, тем более, не к продолжившему их труд Ключевскому. Он ближе, скорее, к Николаю Карамзину, который, как известно, считал, что “всякая новость в государственном порядке есть зло”».

Раздел II

Статьи

В.В. Журавлев

Союз Клио и Психеи: в поисках «одушевлённой» истории

Из двух сложно взаимодействующих тенденций современного научного знания — к интеграции и специализации — верх всё же берёт, на мой взгляд, интеграция. При этом дальнейшее сближение воззрений представителей различных научных дисциплин возможно лишь на базе строгого следования принципу рационализации знания и экономии интеллектуальных сил. Он получил в мировой науке название «бритвы Оккама» — по имени английского философа XIII—XIV вв., монаха-францисканца Уильяма из Оккама, сформулировавшего методологический принцип научной простоты. Суть его, как известно, в том, чтобы не умножать сущностей без крайней на то необходимости, не вводить новых дефиниций для обозначения явлений, которые можно описать при помощи уже существующих понятий. Затрагивая профессиональные интересы представителей целого ряда научных дисциплин (философов, историков, социальных психологов, социологов, культурологов и др.), данный принцип является одним из непременных условий анализа пограничных, междисциплинарных проблем. И прежде всего нам всем надо стремиться учиться говорить если и не совсем на одном научном языке, то хотя бы без переводчиков. Сделать это нелегко, ибо каждый из нас погружён в проблемы собственной науки, «болеет» ими в первую очередь.

На макроуровне имеются, однако, концептуальные представления судьба которых, как мне представляется, не безразлична любому из нас. Речь идёт о цивилизационном и антропологическом подходах к познанию окружающей нас действительности через внутренний мир погружённого в эту действительность человека. В этой связи возникает естественный вопрос, чем способен помочь всем нам социально-психологический аспект в уяснении смысла и познании внутреннего содержания многогранной жизнедеятельности Человека разных эпох? В воссоздании углублённой, приближенной к подлиннику панораме Истории? А также в решении задач преодоления методологического перепутья, из зоны притяжения которого наше обществоведение не может вырваться по сей день? Попытаюсь высказать некоторые соображения на этот счёт с позиций историка.

Ещё в 1941 г. известный французский историк Люсьен Февр в тяжкую для своей страны пору фашистской оккупации в статье с непривыч-

но звучавшим тогда названием «Чувствительность и история» с горечью писал: «Подумать только — у нас нет истории Любви! Нет истории Смерти. Нет истории Жалости, ни истории Жестокости. Нет истории Радости»[1]. С тех пор такие труды, созданные в духе цивилизационного и антропологического подходов (в том числе и на базе теоретических наработок школы «Анналов»), появились в зарубежной и начинают появляться в отечественной историографии. Историк всё чаще приобретает облик сказочного людоеда, как выразился Марк Блок: «Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждёт добыча»[2]. Это наносит чувствительный удар по до сих пор ещё бытующему в нашей исторической публицистике (и, к сожалению, не только в ней) анахронизму и, по определению Люсьена Февра, «смертному греху для историка», когда обращающийся к прошлому начинает приписывать ему современные ценности, морализировать и рассказывать, по существу, о самом себе, вместо того, чтобы заставить говорить людей другой эпохи[3]. Сегодня многим кажется, что благодаря именно подвижничеству представителей школы «Анналов», основанной Л. Февром и М. Блоком, или, во всяком случае, усилиям лишь зарубежных учёных историческая наука стала менять акценты в подходе к анализу прошлого, превращаясь, в первую очередь, в область человековедения, а затем уже — обществоведения.

Между тем союз двух разнохарактерных и не всегда сговорчивых дам —музы истории Клио и Психеи — символе человеческой души персонифицированном в образе прекрасной девушки — наметился гораздо раньше. И этот процесс «одушевления» истории как науки включал в себя усилия многих поколений как зарубежных, так и отечественных историков, философов, представителей других отраслей обществознания. Парадокс, однако, состоит в том, что о первых мы до последнего времени знали гораздо больше, чем о наших соотечественниках. Сегодня мы уже с полным основанием можем утверждать, что картина свершений отечественной историографии в плане применения социально-психологического подхода к анализу исторического прошлого масштабна и впечатляюща. Однако накопленный в данной области аналитический и постановочный потенциал по сей день в большей части своей не учитывается и не используется в практике исторических исследований.

А потенциал этот огромен. И его постепенно — в первую очередь на историографическом уровне — начинают осваивать специалисты по отечественной истории. Ещё десятилетие с лишним назад, например, пензенским исследователем В.И. Шуваловым была защищена

[1] *Февр Л.* Бои за историю. М., 1991. С. 123.
[2] *Блок Марк.* Апология истории или ремесло историка. М., 1973. С. 18.
[3] Словарь историка. М., 2011. С. 15—16.

докторская диссертация, посвящённая историографическому осмыслению проблем обращения отечественных историков конца XIX — первой половины XX столетий к социально-психологическим аспектам российской истории[4]. Одно только перечисление имён самых ярких отечественных учёных, уже много более столетия разрабатывавших данную проблематику, и лишь некоторых из их трудов, прямо или косвенно посвящённых ей, говорит само за себя. Большинство такого рода инновационных исследований наших соотечественников переиздано на академическом уровне в уникальном, насчитывающем свыше сотни томов, издании «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времён до начала XX века», вышедшем в свет под эгидой Института общественной мысли[5].

Вопросам духовного предназначения человека, веками формировавшегося в условиях евразийской цивилизации и одновременно создававшего её, посвящал свои труды, выходившие в Париже и Берлине, Н.Н. Алексеев. Среди них: «Религия, право и нравственность» (1930), «Духовные предпосылки евразийской культуры» (1935), «Мировая революция и духовное назначение человека» (1935). «Безграничное своеобразие исторического бытия», бездонную глубину внутренней сущности человека утверждал в своих работах П.М. Бицилли. Методологическая и философская плодотворность отличает его книгу «Очерки теории исторической науки» (София, 1925). Осмыслению драмы переходных эпох, когда рушатся империи, а вместе с ними — и внутренний мир современников, был посвящён его труд «Падение Римской империи» (Одесса, 1919). «Россия есть живой организм», — утверждал философ и правовед И.А. Ильин, исследовавший духовное начало, заложенное в индивидууме, в «вечно женственном и вечно мужественном в русской душе». Дух, считал он, «есть сила личного самоутверждения в человеке», воля «к Совершенству — а также к совершенствованию — в самом себе, в своих деяниях и во внешнем мире»[6].

Так на перепутье XIX и XX столетий нашими соотечественниками во весь рост поднималась тема духовного начала в человеке, тема *воспитания духа*, обновления души как предпосылки и непременного условия обновления общества. Проблема, полностью, к сожалению, игнорируемая миросозерцанием современного российского общества.

---

[4] *Шувалов В.И.* Социально-психологический аспект изучения истории в российской историографии последней трети XIX — первой половины XX вв. Дисс. ... доктора ист. наук. М., 2002.

[5] Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времён до начала XX века. Т.1—119. М., 2010.

[6] *Ильин И.А.* Путь к очевидности. Мюнхен, 1956; *он же*. Путь духовного обновления. Мюнхен, 1962; *он же*. Избранное. М., 2010.

Выдающийся русский историк Н.И. Кареев мужественно продолжал отстаивать свои убеждения в условиях советской действительности 1920-х годов. Будучи позитивистом, особое значение он придавал идеям, духовной жизни общества, роли личности в истории. Вместе с тем, как писал учёный в своих воспоминаниях, он всегда «высказывался против всякого “незаконного” субъективизма, каков бы ни был его источник: вероисповедальный, национальный, партийный, классовый; высказывался во имя требования научного объективизма и единственно признаваемого мною субъективизма этического, не обрекая этим, однако, историю на морализирование»[7].

Продолжая заложенную Владимиром Соловьёвым[8] традицию анализа окружающей нас действительности, в том числе исторической, с позиций концепции метафизического всеединства, историк-медиевист, философ и богослов Л.П. Карсавин в своём стремлении к целостному воссозданию образа жизни, стереотипов поведения, духовного мира, психологии человека средневековья во многом предвосхитил идеи школы «Анналов»[9]. Даже в инвалидном лагере ГУЛАГа, где он оказался в послевоенные годы, больной туберкулёзом учёный не прекращал творческой работы.

Творчество В.О. Ключевского, составившее целую эпоху в отечественной историографии конца XIX — начала XX вв., открыло новые горизонты и для применения возможностей социологии и социальной психологии (в сочетании с методами юридических наук) для познания прошлого Отечества. К «школе Ключевского» современные исследователи относят таких известных учёных как П.Н. Милюков, М.К. Любавский, Н.А. Рожков, М.М. Богословский, А.А. Кизеветтер, Ю.В. Готье[10]. Каждый из них в той или иной степени испытал на себе благотворное воздействие его неповторимой методологии, превращавшей, по меткому замечанию Г.П. Федотова, историю в «социальную характерологию». Говоря о роли Ключевского в разработке на материале истории России проблемы историко-социологического синтеза, современный исследователь его творчества справедливо акцентирует внимание на следующем: «Необходимо особо подчеркнуть, что он впервые ввёл в научный оборот сам термин “историческая социология” и разработал основные принципы концепции истори-

[7] *Кареев Н.И.* Личное начало и роковые силы в истории. СПб., 1889; *он же*. Из лекций по общей теории истории. Ч. 2. Историология. Теория исторического процесса. СПб., 1915; *он же*. Прожитое и пережитое. Л., 1990; *он же*. Избранные труды. М., 2010.

[8] *Соловьёв В.С.* Избранное. М., 2010.

[9] *Карсавин Л.П.* Сочинения. М., 1993; *он же*. Избранное. М., 2010.

[10] *Попов А.С.* В.О. Ключевский и его «школа»: синтез истории и социологии. М., 2001.

ко-социологического знания, что оставляет пальму первенства за отечественной наукой. Факт этот до сих пор не оценён по достоинству, хотя можно с полным основанием утверждать, что в целом Ключевский и его "школа" предвосхитили возникновение "исторической социологии" и "социальной истории", значительно опередив в этом такую известную историографическую школу как "школа Анналов"»[11].

В 1917 г. вышла в свет книга Н.О. Лосского «Мир как органическое целое». Появление её в самый бурный и конфронтационный год всей отечественной истории, год острейших социальных, политических страстей и разорванного в клочья человеческого сознания, только внешне может показаться неуместным. Вослед шекспировскому Гамлету («Порвалась дней связующая нить») через века внятно, предостерегающе, прозорливо прозвучал голос мыслителя России о том, что «психическая жизнь», как нечто протекающее во времени, нуждается в связующем начале, чтобы образовать системное целое, в котором прошлое и будущее существуют в отношении друг к другу[12].

«Ретранслятором» не только мыслей, но и духовных и душевных порывов человека является язык. Может быть, именно это позволяло Н.С. Трубецкому, лингвисту по профессии, исследовать внутренний мир русского человека, оперируя такими понятиями, как «психологический тип», «национальный тип», «национальный характер», «форма душевной жизни», «национальная психика», «национальное самосознание», «дух» народа, его «психические черты» и т.д.[13] Противовесом нивелирующему началу, заложенному в современных процессах глобализации, звучит призыв учёного, обращённый ко всем «неромано-германским народам», в том числе и к славянам, «оградить себя от обмана "общечеловеческой цивилизации"»[14]. Проявлением «истинного национализма» учёный считал жизнь в ареале национальной культуры с присущей ей неповторимой духовностью.

Творчество Георгия Петровича Федотова сегодня не нуждается в представлении. Оно находится на взлёте популярности, связанной с переживаемым современным обществоведением «религиозным бумом». Но если в последнем много нарочитого, наносного, ориентированного на моду, то взгляды самого Федотова подобны выдержанному временем вину, которому в ближайшее время не грозит перспектива превратиться в уксус. Мыслитель всё своё время посвятил изучению — через призму проблем религиозности — тех черт национально-

[11] Там же. С. 238.
[12] *Лосский Н.О.* Избранные труды. М., 2010.
[13] *Трубецкой Н.С.* Наследие Чингисхана. М., 1999; *он же.* Избранное. М., 2010.
[14] *Трубецкой Н.С.* Об истинном и ложном национализме // Литературная учёба. 1991. № 6. С. 104.

го сознания, которые традиционно считались самыми устойчивыми, но сегодня подвергаются серьёзным испытаниям на прочность. Характеризуя «иерархию ценностей», составляющих «лицо России», Федотов оперирует такими понятиями как «русское сознание и самосознание», «русский дух», «духовный и душевный строй», «чистота веры», «нравственный подвиг», «насыщенная духовная жизнь»[15]. Реалии наших дней вновь со всей остротой ставят вопрос, сформулированный мыслителем в начале XX в.: «Будет ли существовать Россия?»[16].

Поиску духовно-психологических начал, дающих возможность отделить «вечное» от «преходящего» и преодолеть несовершенство «мира» сего «чрез преображение и воспитание нового человека, чрез становление новой личности», посвятил своё творчество Г.В. Флоровский, который был убеждён в том, что придать смысл истории возможно лишь в том случае, если познаешь смысл жизни. Исторический процесс, считал он, возможно познать лишь через призму целостности человеческой личности и её творческой деятельности[17].

Познание смысла жизни через призму «русского мировоззрения» составило стержень творческих исканий С.Л. Франка[18]. С позиций духовного начала рассматривал мыслитель проблемы несвободы и свободы, деспотизма и демократии, отнюдь не идеализируя последнюю. Ценность демократии, полагал Франк, «не в том, что она есть власть всех, а в том, что она есть свобода всех», При этом он утверждал: «Только строй жизни, основанный на внутреннем моральном уважении ко всем мнениям и верам, на терпимости, истекающей из независимого критического мышления, образует прочную твердыню свободного демократического устройства»[19].

Не остались в стороне от применения инструментария социальной психологии к анализу исторических процессов и явлений и учёные, жившие и творившие в условиях советской действительности. Речь идёт, прежде всего, о Б.Ф. Поршневе. Его книга «Социальная психология и история» (М., 1979) стала откровением для поколения историков,

---

[15] *Федотов Г.П.* Лицо России // *Федотов Г.П.* Собрание сочинений в 12-ти томах. Т. 1. М., 1996.

[16] *Федотов. Г.П.* Будет ли существовать Россия? // Там же. Т.2. М., 1998; *он же*. Избранные труды. М., 2010.

[17] *Флоровский Г.В.* Вечное и преходящее в учении русских славянофилов // *Флоровский Г.В.* Из прошлого русской мысли. М., 1998; *он же*. Смысл истории и смысл жизни // Там же.

[18] *Франк С.Л.* Смысл жизни // *Франк С.Л.* Духовные основы общества. М., 1992; *он же*. Русское мировоззрение // Там же. См. также: *Франк С.Л.* Избранные труды. М., 2010.

[19] *Франк С.Л.* Философские предпосылки деспотизма // Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. СПб., 1910. С. 161—163.

формировавшихся в 1980-е гг. Она напоминала о богатых традициях отечественной историографии и побуждала к их творческому развитию. С иных позиций подходил к тем же проблемам всегда тяготевший к позитивизму А.Я. Гуревич, подспудно — через серию публикаций 1980-х годов — разрабатывавший идеи своей главной, как мне представляется, книги по данному вопросу — «Исторический синтез и Школа “Анналов”» (М., 1993). Активно работали в данном направлении, но на своих «делянках», философ и литературовед, оригинальный исследователь «смеховой культуры» средневековья М.М. Бахтин[20] и создатель концепции «культурных типов индивидуальности» Л.М. Баткин[21]

Богатейший исследовательский багаж, накопленный отечественной историографией, позволяет молодым историкам, работающим уже в условиях мировоззренческого плюрализма, активно разрабатывать различные аспекты внутреннего мира и повседневного с существования Человека той или иной эпохи, в том числе и советского времени. Приведу в этой связи лишь один пример: духовный потенциал народа, выдюжившего запредельные испытания Великой Отечественной войны и сохранившего при этом свою живую душу, а также характер и содержание общественного мнения в стране в эти годы, традиционно считающиеся в политизированной публицистике годами «тоталитарной пустыни», прекрасно воссозданы в книге Е.Ю. Зубковой[22].

Многим нашим «трезвомыслящим» современникам, окунувшимся в «делание денег» и другие искусы «общества потребления», идеи отечественных мыслителей конца XIX—XX вв., обращавшихся к русской душе, покажутся далёкими от жизни прекраснодушными мечтаниями чудаков-идеалистов. Но те, кто сегодня всерьёз думает и о настоящем, и о будущем своей страны, отдают себе отчёт в том, что действительное возрождение России возможно лишь на путях духовного возрождения россиян. Ибо ни одна реформа, ни один социальный прожект (и реалии XXI в. уже наглядно подтверждают это) не имеют шанса на реализацию до тех пор, пока они не будут приняты массовым сознанием на ментальном уровне, войдут в привычную для него систему ценностей, не станут для «обыкновенного», рядового россиянина «своим делом», не найдут отклика в его голове и душе.

Социальная психология объединила учёных разных школ и направлений, осуществив своего рода «сретенье» — встречу, преодолевшую эпохи,

[20] *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.

[21] *Баткин Л.М.* Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах личного самосознания. М., 2000.

[22] *Зубкова Е.Ю.* Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945—1953. М., 1999.

государственные границы и разобщённость лучших представителей отечественной общественной мысли, не по своей воле оказавшихся по обе стороны этих границ — как в России, так и в эмиграции. Вместе с тем, на страницах их трудов мы наблюдаем встречу другого рода — сретенье учёных дам с весьма норовистым характером: психологии, истории и философии, а также их сводной сестры — историософии или философии истории.

В соответствии с таким комплексным подходом на стыке наук специальному и многостороннему изучению подвергся широкий круг вопросов: проблема менталитета как социально-психического феномена (у Л.П. Карсавина — «душевный строй», у П.М. Бицилли — «психический склад»); проблема «национального характера» (у И.А. Ильина — «духовный уклад», у Н.Н. Алексеева — «жизнеощущение» народа, у Н.О. Лосского — «русская духовная жизнь», особенности национального восприятия с его «исканиями абсолютного добра», у Н.С. Трубецкого — народ как «коллективная личность»). В рамках многофакторного подхода Н.И. Кареевым, братьями В.М. и М.М. Хвостовыми, Р.Ю. Виппером, В.О. Ключевским исследовались во взаимосвязи и взаимодействии такие факторы, как традиция и новация, сложившаяся веками психика и роль индивида в историческом процессе.

Подробнейшим образом разработана в дореволюционной и эмигрантской историографии проблема религиозного сознания, исследовавшаяся как церковными, так и светскими историками. В.В. Болотов и Е.Е. Голубинский занимались ею ещё до революции, Флоровский, Франк, Федотов — в эмиграции. Федотов доказывал, что религиозное сознание — наиболее существенный источник сознания национального. Флоровский противопоставлял «социально-действенную» форму западного христианства «социально-аморфной» византийской православной традиции. Именно эта аморфность, по его мнению, и обеспечивала возможность творческого самоопределения личности, её индивидуального самовыражения. Н.О. Лосский также отдавал предпочтение православию перед католичеством, судя по всему, «выстрадав» это отношение на личном и семейном уровне: отец его, обрусевший поляк, был православным, а мать-полька — истовой католичкой.

Всё вышесказанное позволяет, на мой взгляд, говорить об актуальности и необходимости для современного обществоведения решения следующей задачи: реконструировать *отечественную модификацию цивилизационной и антропологической концепций исторического процесса в целом*, обрисовав параметры и чётко сформулировав её характерные черты и особенности, очертив контуры той модели, того варианта этих методологических подходов, которые на протяжении более чем столетия формировались в нашей науке независимо, параллель-

но, а в ряде важных моментов и с опережением зарубежного исследовательского опыта, протекавшего в сходном направлении.

Конечно, реконструкция российского варианта цивилизационной концепции осложняется тем, что отдельные её элементы распылены в трудах и прозрениях многих отечественных авторов, а в целом она осталась незавершённой. Есть ли смысл воссоздавать её, как новую Вавилонскую башню? Но далёк от своей завершённости и западный вариант цивилизационного подхода. Представления А.Дж. Тойнби также высятся некоей недостроенной громадой, особенно на фоне подчас жёстких, но прочно и логично связанных друг с другом конструкций формационного подхода. И это естественно, ибо цивилизационный подход, в отличие от формационного, плюралистичен в своей основе. В этом его слабость, но в этом и его сила. Ибо плюрализм в науке только тогда становится «работающим», когда, переболев всеми болезнями разобщения, начинает работать в направлении интеграции научных представлений.

Разумеется, многие положения дореволюционной и эмигрантской историко-психологической мысли нуждаются в корректировке и переакцентировке на основе современных реалий и с позиций нынешних научных представлений. Но многое, и сегодня об этом можно говорить с полным основанием, по истечении времени оказалось прямо-таки пророческим. Так, опыт событий конца 1980—1990-х годов только подтверждает вывод Н.О. Лосского о том, что русская нация обладает суммой противоречивых качеств, которые, сосуществуя и взаимодействуя, предопределяют не только непредсказуемость её деяний, но и действия, прямо противоречащие её собственным интересам. Дело дошло до того, что нашей великой нации на какое-то время стал отказывать даже исторически сильный у россиян инстинкт самосохранения.

Использовав мощный заряд интеллектуальной энергии, заключённый в представлениях и выводах отечественных историков и философов прошлого и настоящего о внутреннем мире человека как одной из основ исторической эволюции социума, обществоведение наше, хочется верить, сможет приступить к решению крупных и значимых проблем общетеоретического, мировоззренческого плана. Именно на это направлены, в частности, усилия большой группы специалистов, издавших пятитомную энциклопедию, посвящённую общественной мысли России[23]. Редактируя текст отдельных томов, я многократно

[23] Общественная мысль России XVIII — начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Журавлёв. М., 2005; Общественная мысль Русского зарубежья: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Журавлёв. М., 2009; Российский либерализм середины XVIII — начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010; Русский консерватизм середины XVIII — начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010; Революционная мысль в России: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Журавлёв. М., 2013. См. также:

поражался, не побоюсь этого слова, широте, глубине, разнообразию, оригинальности постановок и решений, предлагавшихся нашими предками в XVIII—XX вв.

Вопреки ещё недавно существовавшим в нашей историографии официозным трактовкам, согласно которым самодержавный режим только «мял и душил» в стране свободную мысль, она предстаёт сегодня перед нами в таком исполненном внутренней убеждённости и достоинства виде, что заставляет по-новому взглянуть на проблему соотношения и взаимодействия в нашей истории двух властей: духовной и политической. Государство может достичь высокой степени влияния на повседневную жизнь человека и на его поведение, но оно не в силах тотально контролировать творческую мысль, жаждущую вырваться за пределы всегда, при любых обстоятельствах не удовлетворяющей её действительности. И в этом заключается главный источник, мощная внутренняя пружина поступательного движения отечественной и мировой цивилизации.

Но причём же здесь «бритва Оккама»?

Солидаризируясь с предложенным монахом-францисканцем почти семь столетий назад принципом экономии интеллектуальных сил, думаю, не следует всё же «резать по живому», бездумно отбрасывая в угоду идеологической и политической моде всё то, что сегодня может показаться ненужным или устаревшим. Будущее обязательно отомстит нам за всякое пренебрежение другим принципом — принципом *самоценности* творческой мысли, судьба которой подобна человеческой лишь в плане изменчивости. Ведь, в отличие от человека, она способна возрождаться, как только появляется социальный запрос на неё.

И, наконец, главное: last but not least. На исходе лета 2012 г. в ведущем нашем историческом журнале были опубликованы материалы круглого стола «Империя, нации и конфессиональная политика в эпоху реформ»[24]. Его участники обсуждали монографию профессора Университета штата Мэриленд (США) М.Д. Долбилова[25]. Кроме российских исследователей в дискуссии приняли участие историки Белоруссии, Израиля, Литвы, США, Франции. Для Сергея Сергеевича Секиринского это была одна из последних возможностей высказаться на страницах «своего» журнала, которому он посвятил годы своей жизни. Откликаясь на приведённые автором книги факты колебаний

Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. Материалы международной научной конференции. Москва, 28—29 октября 2010 г. М., 2011.

[24] Российская история. 2012, № 4. С. 47—93

[25] *Долбилов М.Д.* Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М. , 2010.

властных кругов при реализации национальной политики (в ситуации постоянного выбора «между стратегиями репрессии и конфессионального регулирования»[26]), Сергей Сергеевич употребил выражение «коллективный Гамлет». Смело введённая в научный оборот, дефиниция эта помогает нам увидеть ещё практически не разработанную в историографии проблему воссоздания параметров и конкретных черт проявления внутреннего мира (и, если хотите, характера) уже не отдельного человека, но «коллективной души» могущественной социальной категории — российской имперской бюрократии.

В этом — весь С.С. Секиринский — скрупулёзный и вместе с тем яркий исследователь, способный от досконального фактологического рассмотрения той или иной проблемы легко, изящно и, главное, аналитически точно, безошибочно подняться, точнее даже — воспарить на уровень обобщения, открывающего новые горизонты научного поиска. Следуя в русле достижений современной социальной истории и культурной антропологии, С.С. Секиринский признавал устаревшей укоренившуюся в историографии привычку к одномерному «делению людей по их взглядам» — привычку, которая «сыграла с русской интеллигенцией злую шутку». Солидаризируясь с философом Александром Зиновьевым в том, что «сам процесс обсуждения и спора и есть процесс жизни самой истины», Сергей Сергеевич заключал: «На мой взгляд, ничего лучшего, как следовать этой максиме, историкам русской мысли не остаётся, имея в виду не столько споры между собой, сколько *многоголосье* самой истории, а также не забывая о том, что русская мысль — *только часть* той полнокровной истории, субъектом которой выступает живой человек»[27].

Два начала — аналитическое, рационально выверенное, с одной стороны, и *конструктивно* эмоциональное, глубоко неравнодушное к духовным проявлениям и исканиям прошлого, с другой, были слиты в его неповторимом творческом почерке воедино. Таким он и запомнится всем нам — блестящим, искромётно и неординарно мыслящим учёным и человеком богатого внутреннего мира, живой, активно «работающей» души.

---

[26] *Долбилов М.Д.* Указ. соч. С. 158.

[27] *Секиринский С.С.* «Направленчество» или «внепартийность»: два подхода к изучению русской общественной мысли // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. С. 110.

В.И. Дурновцев

Исторический источник и традиции «цельного постижения исторической жизни»

Одна из примечательных особенностей научного облика С.С. Секиринского заключалась в принципиальном убеждении, что адекватное познание прошлой реальности вовсе не является исключительной прерогативой профессиональной (академической) историографии. Оно опиралось на мощную национальную культурную и историографическую традицию. Настаивая на преодолении цеховой замкнутости ремесла учёного историка, С.С. Секиринский даже допускал, что во многих случаях дистанция между художественным проникновением в прошлое и исторической действительностью может оказаться много короче, чем путь нормативной исследовательской практики. Не случайно эпиграфом созданного С.С. Секиринским журнала «Историк и Художник» стали слова Э. Ренана: «У историка одна лишь забота: соблюсти истину и художественность, ибо искусство есть хранитель неисповедимых законов истины». Предваряя встречу читателя с журналом, его главный редактор писал: «...Художественное творчество было и остаётся одним из способов познания и понимания человека в истории. Произведения искусства разных времён и народов, видов и жанров образуют “многоэтажное” хранилище непосредственных следов его деятельности, попыток её образного воспроизведения, озарений художнической интуиции и сложных философских интерпретаций»[1].

Возрождение «традиции цельного постижения исторической жизни», к которому призывал С.С. Секиринский, возлагает соответствующую степень ответственности и на художников, и на представителей гуманитарных наук, исторических, в первую очередь. Но ведь и естественные науки, особенно теперь, в эпоху междисциплинарности, глобального исторического анализа, находятся в общем потоке эпистемологии истории. Впрочем, и прежде их место и роль в развитии и обновлении методов исторического исследования и реконструкции прошлой социальной реальности была весьма весомой, если не сказать больше, что не всегда в должной мере оценивалось историографией. Ну, а носители и «пролагатели», как говорил П.Н. Савицкий, естественнонаучного знания в целом сдержан-

[1] *Секиринский С.С.* Об историках, художниках и о нашем журнале // Историк и Художник. 2004. № 1. С. 5.

но оценивали свои историко-познавательные и историософские опыты. Хотя, конечно, не обходилось и без исключений.

Что касается собственно исторической науки, то теоретическая и практическая историография в сущности представляют собой два вектора «постижения цельной исторической жизни». Первая — воплощение теоретического уровня мышления, она продуцирует теории исторического процесса и познания, а также их разнообразные фрагменты. Это фабрика с безостановочно работающим конвейером. Из ворот её цехов выходят глобальные и локальные версии истории, историософские схемы, методологические конструкции и руководства. Здесь правят бал осмысление и объяснение в понятиях накопленного эмпирического опыта. Каждый раз с заметным привкусом идеологических пристрастий и сопутствующих им мифов. На балу по большей части философы, культурологи, политологи, социологи. Конечно, нельзя сказать, что теоретическая историография вполне самодостаточна и отчётливо созерцательна; ей не чужды факты, явления, события прошедших веков. В ней, разумеется, отражаются реалии истории. Она может быть увлечена эмпирическим иллюстрированием созданных конструкций и даже стремиться к историописанию по разработанным лекалам. В книге, посвящённой Российскому государству и его эволюции во времени, авторы предупреждают: «Её нельзя назвать историческим исследованием в общепринятом понимании. В том числе и потому, что написана она не историками по профессии: двое из них (Александр Ахиезер и Игорь Яковенко) специализируются в области культурологии, а третий [Игорь Клямкин]... в области политологии и политической социологии. И опирались мы не на результаты собственных архивных изысканий, а на широко доступные источники и на факты, изложенные в трудах профессиональных историков — прошлых и современных... Как бы то ни было, никаких новых фактов осведомлённый читатель в нашей книге не найдёт. Более того, многие из тех, которые в ней упоминаются, известны ему из школьных учебников. Но они обильно представлены на её страницах именно для того, чтобы наше *осмысление* отечественной истории не выглядело отвлечёнными рассуждениями *поверх* истории, а выглядело одновременно и её *описанием*»[2]. При этом адептов теоретической историографии нередко подстерегает соблазн — выйти за пределы нормального научного теоретизирования и перейти к бессодержательному философствованию, свободному размышлению о высоких материях[3].

---

[2] *Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И.* История России: конец или новое начало? М., 2008. С. 10.

[3] См. об этом: *Клейн Л. С.* Трудно быть Клейном. СПб., 2010. С. 213.

В практической, или реальной историографии, воплощающей в первую очередь эмпирический уровень мышления, в процессе освоения исторической реальности высшим авторитетом считается исторический источник. Как писал В.И. Герье об «Истории России с древнейших времён» С.М. Соловьёва: источник всегда на первом плане, трезвая правда и объективная истина одни руководят пером автора. Объяснение и интерпретация здесь тоже обычное дело. В практической (реальной) историографии тоже создаются и частные, и масштабные представления. Подходы к результатам работы предшественников, в основном, здесь принципиально иные, чем в теоретической историографии — не иллюстрирующие, а взыскательно-критические. Теории предмета своей науки здесь воздаётся должное. Но «первичный», «вторичный», «третичный источник» в практической историографии — предмет исключительного внимания. На долгом, невообразимо длинном пути к исторической истине, в поиске, какова была история на самом деле, в реальной историографии источник и факт, факт и источник, как ни выстраивай их иерархию, всегда на первом месте. Здесь каждый вопрос о прошлом подразумевает следующий: какие источники, какие документы? Перепрочтение, переизучение источника осуществляется и в границах «нормальной науки», и в условиях «научной революции»; и в старой, и в новой парадигмальной, методологической обстановке; и благодаря, и вопреки навязываемой или сознательно принимаемой историософской конструкции.

Естественно, речь не идёт про фантастические и историософские схемы, труды «фрик-историков», в своих экстравагантных и агрессивных упражнениях порою апеллирующих к источникам, и отчётливо политически ангажированную историографию. Всё это — объекты специального рассмотрения, причём не только историками.

Понятно, что всякое деление и расчленение живой плоти историосмысления и историописания целостного процесса исторического познания — заведомо воображаемая, искусственная и безнадёжная, если относиться к ней как к точному отражению историографической действительности, операция. Она полезна, поскольку позволяет провести границу между возможностями теоретической и практической историографии. В реальной историко-познавательной деятельности такого размежевания не бывает, или почти не бывает[4]. Трудно определить без насилия над ремеслом и творчеством учёного, где в одном лице начинается «теоретик» и завершает свою работу «эмпирик», и наоборот. Границы между теоретической и практической (реальной) историографией услов-

[4] *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Теория исторического знания: Учебное пособие. СПб., 2008. С. 201—239.

ны и в различных парадигмах исторического познания, и в конкретном, индивидуальном творчестве. Фрагменты того и другого подходов к истории переплетены в исторических сочинениях. Но в то же время именно в научном наследии зафиксирована историографическая реальность двух подходов, вплоть до разрыва, во всяком случае, сокращения дистанции между выдвинутой теорией и конкретно-исторической практикой.

История и в самом деле принадлежит не только профессионально подготовленным историкам, прошедшим в условиях своего времени соответствующую теоретическую, методологическую выучку. Не только историки пишут историю. Она принадлежит и городу, и миру. Исторические феномены рассматриваются, оцениваются, описываются, концептуализируются и при принципиальном отказе от традиционных правил исторического письма, допустим, без опоры на архивные изыскания, опираясь на факты, открытые, изложенные, интерпретированные в трудах профессиональных историков. Но это вовсе не работа над источниками, а нечто другое. «Каждый сам себе историк», а тем более философ, филолог, политолог, культуролог, но не для каждого непременным условием проникновения в прошлое является тщательная обработка «сырья для историка» (Дж. Тош). Поиски исторической истины ведутся разными путями и вовсе не обязательно, что только профессиональный историк может оказаться ближе к ней, чем другие.

Практикующий историк — не ремесленник, однажды выучивший несколько несложных, пусть даже искусных операций с «болванками». Он — творец исторической реальности, имеющий дело с её фрагментами. Однако степень его приближения к исторической действительности существенно зависит и от качества освоения им теории своего объекта.

Итак, «святая святых» практикующего историка — исторический источник — не может и не является исключительно предметным полем реальной историографии. Это ключевое понятие в историописании успешно осмысливается и осваивается теоретической исторической мыслью, и попутно, и специально, и в комплексе других методологических проблем истории, гуманитарного и социального знания в целом. Каждый стремится прирастить, обогатить историческое знание именно на своей площадке. И генерировать новые понятия в процессе создания новых образов прошлого, и переоткрывать исторический источник. И, вторгаясь в отнюдь не чуждое ему поле теоретической историографии, переопределять его и вместе с ним дисциплинарную область источниковедения, где, отметим вскользь, национальные свойства российской историографии проявляются особенно отчётливо.

Но положа руку на сердце, не случалось ли практикующим историкам, особенно тем, кто сосредоточен на освящённых многовековой традицией

нумизматических, генеалогических, кодикологических, дипломатических и им подобных изысканиях, испытывать некоторое смущение, возможно, неловкость, не без труда преодолеваемый дискомфорт, когда приходилось вольно или невольно оказываться в эпицентре теоретических споров об историческом источнике — его определении, по большей части умозрительной и внутренне противоречивой классификации, формальных средствах обнаружения и верификации данных о реальности, ставшей историей, т.е. как будто уже и не реальности вовсе, но прошлой реальности.

Порой место и роль источника в историческом познании представляются куда более значительными, чем их интерпретации. «Я убеждён, — заявляет С.М. Каштанов, — что состав и специфика источников определённой эпохи подчас лучше отражают типологические особенности данного общества, чем просто систематизированные факты экономической, политической и культурной жизни». Это — вершина практической (реальной) историографии. И в некотором отношении репрезентация возможностей параллельной истории, особенно в тех случаях, когда источниковедческие исследования становятся едва ли не единственной возможностью сохранения научной традиции в условиях жёсткого идеологического прессинга.

Понятно, что все эти теоретические споры об «историческом источнике», источнике вообще, преследуют в конечном итоге прагматические цели, его участники сознательно отвлекаются от эмпирических свойств исследуемых объектов. Их «исторический источник» существует вне конкретного времени, вне определённого пространства, превращается в тьму абстрактных «исторических источников», становится пустой матрицей, которая, если и наполняется, то от случая к случаю и по большей части подходящими «примерами». В этом искусственном мире создаются конструкции, сознательно освобождённые от столь дорогих уму и сердцу практикующего историка подробностей, деталей. «Историческому источнику» отводится роль понятия среди понятий, ему суждено вращаться в том же кругу, что и «исторический факт», и «историческое время», и «феодализм», «средние века», «революция», «демократия» etc, etc.

Но, «спустившись с небес на землю», покинув мир понятий, исторический источник возвращается в мир практического источниковедения существенно обогатившимся. Он обретает новые важные свойства. В пространстве теории истории он как раз благодаря активной деятельности субъекта познания — не всегда историка — обеспечивает научно-познавательную значимость и потенциальную возможность вечного информационного обновления новыми поколениями исследователей. Ему приходится вновь и вновь входить в теоретическое пространство очередной новой научной парадигмы. И опять возвращаться в предметное поле практической историографии.

Опыты реконструкции прошедших, а на деле сохраняющихся в преобразованном виде, порой изменённых до неузнаваемости времён, только подтверждают ощутимую потребность историка в теории своей науки, её эпистемологических основаниях, более или менее чётком определении традиционно собственных или заёмных информационных ресурсов, своих и «чужих» методов их исследования. «Чужих», очень быстро становящихся родными, или на самом деле всегда своих, но по разным причинам прежде не замечаемых.

Обращение к этим опытам поучительно по многим основаниям. Оно позволяет создать внятную картину движения исторической мысли и исторических понятий в «старых», как будто изживших себя научных парадигмах и социально-исторической среде, определить её метафизическую составляющую и очевидный преходящий характер доктринальных установок современности. Именно история поисков, открытий и заблуждений, в том числе и прежде всего в литературе, в некотором роде ставшей классической, позволяет трезво оценить современную историографическую ситуацию и в вопросах теории, и в оценке практических результатов исследовательского труда как неизбежно носящих временный характер перед лицом параллельного с историческим движением историко-познавательного процесса.

В образовательной практике теоретические проблемы по большей части выполняют пропедевтическую функцию. Источники привязываются в курсах источниковедения к пространственно-географическим и временным координатам, созданным и прошедшим определённую проверку схемам исторического процесса (источниковедение истории Древнего Востока, Средних веков, Новой и Новейшей истории, истории России), образуя области практического источниковедения. Отчётливо теоретико-методологические изыскания наполняются, уточняются, исследуется определённый класс, группа, вид источников: письменные вещественные, аудиовизуальные.

Дискуссии о понятии «исторический источник», если и не приобретали первостепенное и принципиальное значение в пространстве источниковедческих методологических и методических дискуссий, то, во всяком случае, были одним из важнейших их компонентов. Более или менее строгое, согласованное и относительно исчерпывающее определение исторического источника открывало пути к созданию убедительных для научного сообщества классификаций информационных ресурсов истории, затем к успешному, правильному критическому анализу отдельных групп источников, наконец, к реконструкции исторической реальности. Спор о понятиях постоянно выходил за границы отвлечённого теоретизирования, отвечал потребностям прикладного источниковедения. Но он, как правило, был включён в соответствующую историо-

графическую ситуацию, вмещал прошлые опыты историко-научного познания. Успешное прорицание прошлого источниковедческого опыта не всегда сопровождалось стремлением заглянуть в будущее науки и её важнейшей отрасли. Не всегда учитывалось и то, что, возможно, на очередном витке развития источниковедения и исторической науки в целом, казалось бы, более или менее устоявшаяся ресурсная база, методологические основания, наконец, требования социальной действительности потребуют внесения корректив в предлагаемые схемы. Между прочим, сигналы о неизбежности появления новых направлений исторической науки, могущих разрушить сформировавшийся образ, давно поступали именно из прошлого историографии.

В конечном итоге, разнообразные определения исторического источника сводились к двум толкованиям — ограничительному и расширительному. Первое опиралось на давнюю историографическую традицию: коль скоро предметом истории являются «человеческие деяния», то и исторические источники не что иное, как остатки, результаты деятельности человека. Процесс антропологизации истории, сведение истории к истории людей во времени как будто усилил позиции тех, кто определял исторические источники исключительно как продукты реализованной человеческой психики. Этот взгляд оброс обширной литературой, многое в ней сохраняет безусловную значимость, тем более что подавляющее большинство исследователей и в самом деле имеют дело с источниками человеческого происхождения, как бы их не называли и прежде, и теперь.

Но давно замечено: определение — всегда ограничение, и любые определения при слепом и бездумном следовании строго заданному вектору научно-исторического познания рано или поздно становятся препятствием для решения неизбежно возникающих новых проблем.

Постоянное переосмысление информации, содержащейся в источнике, его переоткрытие, а вслед за этим переопределение и самого понятия во многом обусловлено не только развитием теории и методов исторического исследования, но прежде всего (во всяком случае, не в последнюю очередь), новыми подходами и новой проблематикой реальной историографии. Она может быть «воспоминанием», по разным причинам не реализованной прежде возможностью, может стать ответом на вызов современности или разрешением внутринаучных противоречий. Классическая история может включать в собственную историю предысторию научных направлений, отчётливо в данный момент не проявляющихся, но зреющих в ней, вмещающих себя, например, в формы других, уже утвердившихся исторических дисциплин. Именно реальная историография, вечно зеленеющее древо научно-исторического познания, определяет, что именно в данной

историографической ситуации и в перспективе включается в понятие «исторический источник» и составляет её информационный ресурс.

Тут «интересы» теории и практики историописания совпадают, если только теория не удовлетворится однажды открытыми формулами, которые кажутся ей конечными, а практика не понесёт послушно свои дары на привычный алтарь, а раздвинет, опираясь на прежний эмпирический опыт освоения исторической действительности, предметные поля исследования.

Например, так, как однажды это сделал автор «Крестьян Лангедока»: «Я временно прекратил изучение истории человечества и на некоторое время стал историком, для которого человек перестал быть центром внимания». Историк, написавший историю климата за 1000 лет, Э. Ле Руа Ладюри, сожалел, что историки интересуются лишь историей человечества, полагая, будто изучение явлений природы не дело гуманитарных наук, и даже в некотором отношении занятие для них недостойное. Ученик Ф. Броделя, он даже утверждал, что «превратить историка в специалиста в области гуманитарных наук, значит, искалечить его», а однажды призвал: «Давайте-ка изучать историю без людей»[5]. Историки — люди Времени, и они по большей части антропофаги. Но природно-географическая среда — функция времени; изменяясь, преобразовываясь людьми, она становится объектом истории. Исторические источники (продукты человеческой культуры) фиксируют эти изменения, но различные эпохи представлены и данными естественно-природного происхождения. И это тоже исторические источники — фундамент именно исторического исследования, в котором нет мелочей и всё важно — метеорологические наблюдения, фенологические и гляциологические тексты, суждения о климатических событиях, данные дендрологов, палинологов и проч.

«Могут возразить, — продолжал Ладюри, — что этот вид исследования, категории документов и методы сами по себе не относятся непосредственно к истории человечества, а представляют интерес для некой истории физической, истории природных условий. Не рискует ли историк, настойчиво пытающийся применять указанные методы, изменить той миссии, которую ему предначертал Марк Блок: “За впечатляющими штрихами пейзажа, за самыми с виду бесстрастными сочинениями... историк хочет в первую очередь видеть людей. Тот, кому это не удаётся, будет в лучшем случае лишь показывать свою эрудицию. Хороший историк похож на людоеда из легенды. Если он чует запах человеческого мяса, он знает, что это по его части”. Хорошо сказано. Но не буду отрицать, что эта мысль (при всём моём огромном уважении

[5] *Ладюри Э. Ле Руа*. История климата с 1000 года. М., 1971.

к Марку Блоку) всегда казалась мне слишком ограниченной, не соответствующей истинно научному мышлению. Разве время не опередило греческих философов и физиков, утверждавших, что человек — “центр вселенной” и “мера всех вещей”? Ведь после досократовского периода и Птолемея появились революционные идеи Коперника»[6].

Синонимов понятия «исторический источник» множество: «остаток прошлой жизни», «предание», «свидетельство о прошлом», «след», «памятник», «документ», и «реализованный продукт человеческой психики», и «объективированный результат человеческой деятельности». Вопрос о том, что представляет собой исторический источник, каково его точное и всех удовлетворяющее определение, можно без особого преувеличения назвать «проклятым». Для одних он был и остаётся своего рода гимнастикой ума, мало что прибавляющей к длинному ряду предшествующих размышлений и вращающейся вокруг старых и набивших оскомину формулировок. Для других, преимущественно преподавателей, ценным методическим приёмом, иллюстрирующим историю исторической мысли и науки, её теоретических поисков и практик в процессе реконструкции исторической реальности. Наконец, для практикующих историков этот вопрос не так уж и актуален: научные вызовы, на которые они откликаются и так или иначе реагируют, определяют пути эвристической деятельности, работу с соответствующими информационными ресурсами, а выученные в своё время формулировки выступают как воспоминание, и его, если в том возникнет необходимость, можно стереть из памяти, или, напротив, оставить как пережитый опыт собственного профессионального формирования и творческого взросления. Представляет ли собой исторический источник содержательно никогда до конца не исчерпывающее себя понятие: язык, текст, документ, вещь, изображение, звук? Или всё-таки понятие, исчерпывающееся результатами человеческой деятельности? И тогда исторический источник выступает как продукт культуры и общий объект гуманитарных и социальных наук, а метод источниковедения — как основа междисциплинарного синтеза гуманитарного знания.

Выходит, что если историки по преимуществу имеют дело с продуктами культуры, то их многочисленные разновидности и являются единственным объектом исследования. Истории науки нечто подобное известно. Давно ли история отождествлялась исключительно с писаной историей. «Историей, — писал в начале XX в. известный немецкий ассиролог Г. Винклер, — мы называем то развитие человечества, которое засвидетельствовано письменными документами, которое передано нам в слове и письме. Всё, что лежит до этого, относится

[6] Там же. С. 18.

к эпохе доисторической. История, следовательно, начинается тогда, когда нам становятся известными письменные источники»[7].

Тут возникает несколько вопросов. Разве природа, в какой-то степени, не продукт человеческой истории? Новички в истории Земли, люди несколько миллионов лет оказывают воздействие на природу, а в последние три столетия оно особенно серьёзно и даже тревожно. И в какой мере правомерно историческому знанию, исторической науке с её отчётливыми социальными, экономическими, политическими признаками придавать безусловное, ничем не ограничиваемое гуманитарное качество? Во всяком случае, свойства гуманитарности той или иной дисциплины можно видеть и иначе. «Гуманитарные дисциплины, — полагает М.Н. Эпштейн, — являются таковыми не потому, что они вообще изучают человека и его разнообразные проявления. Физиология, анатомия, медицина, экономика, социология, политология, социально-экономическая история тоже изучают человека, устройство его тела, продукты его деятельности, способы его общественной организации. Но эти науки являются не гуманитарными, а естественными или общественными. Гуманитарность свойственна именно таким дисциплинам, где человек менее всего может опредметить себя как эмпирическую данность, как индивидуальное или социальное тело. Гуманитарность — в тех процессах мышления, творчества, говорения, письма, межличностных отношений, где человек менее всего определим и завершим». Чисто гуманитарная составляющая истории обнаруживается там, где будет реализовано «будущее гуманитарных наук»[8]. Историческая наука, изучающая человека наряду с другими естественными и общественными дисциплинами, не может не основываться на источниках естественного, естественно-природного происхождения. И тут ей приходится преодолевать заведомо ограниченное понимание культурного основания исторического источника. История наполнена человеческим содержанием, но не только. И, в конце концов, это человеческое содержание включено в Природу. Вне Природы постижение истории во всём её безграничном объёме невозможно. «Каковы пределы нашей силы над природой и власти природы над нами?» — вопрошал в начале 1860-х гг. английский зоолог Томас Хаксли, утверждавший, что «вопрос вопросов для человечества — проблема, которая лежит в основе всех остальных» — выяснить «место, которое занимает человек в природе»[9]. В 1959 г. П. Сноу выступил с

---

[7] *Винклер Г.* Вавилонская культура в её отношении к культурному развитию человечества. М.,1913. С. 3. Цит по: *Семёнов Ю.И.* Труд Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса «Введение в изучение истории» и современная историческая наука // *Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос.* Введение в изучение истории. М., 2004.

[8] *Эпштейн М.Н.* Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М., 2004.

[9] *Huxley T.* Man's Place in Nature. New York, 2003. P. 71.

докладом, в котором предположил, что принципиальное отделение гуманитарных наук от естественнонаучных ведёт к критической интеллектуальной слабости научного познания. Преодоление разрыва между ними означает по существу процесс объединения двух научных культур.

Пути преодоления исторически сложившихся границ между социогуманитарным и естественнонаучным знанием заключаются в определении общих источников и информационных ресурсов и в многостороннем междисциплинарном применении методов исследования. Принципиальное сосредоточение историка на человеческих информационных ресурсах не может не находиться в противоречии с широтой в общем понимании масштаба научно-исторических занятий. Природа исторической науки такова, что всё доступное историческому измерению, всё так или иначе нуждающееся в собственной истории, обращающееся к истокам, к первоначальным смыслам, к своему предназначению, неизбежно включается в её сферу, ею осмысливается и осваивается.

Кроме того, историк в своём ремесле отнюдь не ограничивается тем, что у него под рукой — предметами, выполненными человеком, человеческими руками, человеческим сознанием. Понятно, что они имеют для большинства историков человеческой цивилизации первостепенное значение, но и приводимые аргументы, и длинный ряд доказательств и объяснений, как бы пропускающих, оставляющих без внимания целое, частью которого является людская жизнь, — природную среду, где эта жизнь протекала и протекает, — заведомо уязвимы.

Последователи новых направлений исторической науки фундаментом конкретно-исторической практики считают исторический источник в его расширительном понимании. Исследуя, например, историю взаимодействия между человеческой культурой и окружающей средой в прошлом, они не готовы рассматривать исторический источник как продукт культуры в качестве единственного объекта научного изучения. Они прослеживают во времени человеческие отношения с другими частями природы с целью объяснить процессы изменений, влияющих на эти отношения.

И если вспомнить о первых шагах школы «Анналов», то ведь именно для Люсьена Февра и Марка Блока было характерно внимание к глобальному взаимовлиянию окружающей среды и человеческого общества, указание на могучую роль мира природы, формирующего человеческую историю.

Наконец, антропологизация истории — это процесс вырастания человека из природы, становления его культуры, а переход от «природы» к культуре связан с биологической эволюцией, эволюционной антропологией как наукой. Исследование этой взаимной связи на междисциплинарном уровне предполагает расширительное понимание

основы практической историографии — исторического источника. Коль скоро мы изучаем человека и природу, может ли что-либо человеческое или природное быть за пределами нашего исследования?[10]

Остаётся ожидать эпистемологического прорыва в исследовании совокупности информационных ресурсов исторической науки, что влечёт за собой трансформацию коренных проблем источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин. Мостом здесь служат источники исторической географии и археологии. Читая курс исторической географии, В.А. Муравьёв задавал студентам РГГУ вопрос: «Входят ли в состав исторических источников, т.е. свидетельств человеческой истории, независимые от человека явления природы?». В самой этой формулировке содержался ответ, совпадающий с давними размышлениями по этому поводу С.О. Шмидта. Ещё в 1960-е гг. он предложил включать в понятие исторического источника не только результаты «человеческой деятельности», но и естественно-географическую среду в самом широком понимании этого термина. Источниковедческая база исторической науки, «шкала ценности исторических источников», писал С.О. Шмидт, меняется: климат, ландшафт, природные катастрофы, животный мир, эпидемии не менее значительные источники информации, чем продукты человеческой деятельности. Сетуя на игнорирование источников природного происхождения при изучении антропологически ориентированной истории, назревших вопросов взаимодействия общества и природы, учёный предлагал считать историческим источником всё, что источает или может источать информацию.

А вот что утверждают авторы «Истории первобытного общества» В.П. Алексеев и А.П. Першиц: «Теоретически совершенно очевидно, что человеческая история разыгрывалась на каждом из своих отрезков в определённых условиях географической среды и что биологическая динамика человеческого вида является таким же важным источником для реконструкции многих событий человеческой истории, как и другие собственно исторические источники. Поэтому дискуссия о том, есть ли естественноисторическая информация исторический источник или нет, в сущности говоря, бесплодна»[11]. В таком случае источниковедческая культура в подлинном смысле слова может означать, в числе прочего, готовность, не выходя за пределы истории культуры, обращаться к миру природы там и тогда, где и когда это предполагает и требует историографический вызов. Важнейший признак подлинной источниковедческой культуры — это признание того, что реконструк-

[10] *Worster D.* The Ends of the Earth: Perspectives on Modern Environmental History. Cambridge, 1988. P. 306.

[11] *Алексеев В.П., Першиц А.П.* История первобытного общества М., 1999. С. 15.

ция прошлой реальности не может быть информационно избирательной. «С самых первых дней истории, человеческие группы часто путешествовали и передвигались на большие расстояния, — пишет Джерри Бентли. — При этом они влекли за собой виды растений, животных, культурных растений, микроорганизмов, заболеваний и другие формы жизни со своих первоначальных территорий и вводили их на новые земли и новые популяции. Биологи долго изучали эти процессы с точки зрения биологической науки и развили прочную традицию экологического анализа. Недавно историки обратились к роли человека в тех же самых процессах. Они исследовали мотивы и воздействия, которые вызвали биологические обмены, динамику управляющих процессов биологических изменений и результаты биологических изменений как для человеческого мира, так и природного. Как результат их исследований появилась школа экологически-исторического анализа, которая бросает важный свет на темы глобальной истории»[12].

Экологическая история, термин, впервые применённый Р. Нэшем в 1960-е гг. — сравнительно новое направление в исторической науке, освещающее взаимоотношения между человеческой культурой и окружающей средой в прошлом (Д. Уорстер) и исследующее процессы, влияющие на них (Д. Хьюз)[13]. Корни экологических (предэкологических) идей обнаруживаются в философии и науке за многие сотни лет до их полнокровного выражения. Экоистория отвергает представления о свободе исторического опыта от природных условий его приобретения. Несмотря на различия в политических и нравственных позициях, экологические историки руководствуются и объединяются решением хотя бы одного из вопросов: что собой представляла природа в прошлом? Какова связь и взаимозависимость между социально-экономическим развитием и окружающей средой в истории? Каково было отношение людей к природе в процессе развития человеческой цивилизации?[14]

Разумеется, при изучении истории климата, животного и растительного мира, изменений ландшафта, взаимодействия людей и природы в прошлом историк основывается на привычных для него источниках, письменных и вещественных, изобразительных и этнографических. Но изучение окружающей среды истории на основе исключительно продуктов человеческой деятельности невозможно. История, воссоздаваемая на основе источников человеческой культуры, имеет свои пределы, когда историография переходит на качественно

[12] Эссе по глобальной и сравнительной истории. Образы мировой истории в научных исследованиях XX века: http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/bentley.htm.

[13] Человек и природа: экологическая история. СПб., 2008.

[14] *Worster D.* Appendix: Doing Environmental History // The Ends of the Earth: perspectives on modern environmental history. Cambridge, 1988.

новый уровень развития. Естественные науки могут рассказать и реконструируют историю по-своему. Экологическая история, пишет Дж. Р. Макнил, как минимум, интересуется материальными, культурно-интеллектуальными, политическими феноменами и может позволить себе, обращаясь к эволюции экосистем, не интересоваться людьми. Но точно так же и в обобщающих, и тем более в локальных исследованиях легко дистанцироваться от природы, оставаться в границах собственно человеческой истории, что делалось, делается и будет делаться в обозримом будущем. И это отнюдь не антропоцентризм, но естественное ограничение научно-исторических занятий, оставляющее простор для других направлений познавательной деятельности в границах истории. Поскольку в каждой отрасли знания своя история человечества, объединение сил и возможностей становится неизбежным.

Экологический историк, ориентируясь в физической географии, биологии, экологии, не претендует стать экспертом в этих областях. Он остаётся историком, использующим инструментарий, методы, наконец, источники информации естественных наук, в конечном счёте, для антропологической истории. Соответственно, экологическое источниковедение включает в предмет своего исследования не только то, что содержит сведения о человеке и обществе, но в равной степени и данные о преобразованной, но не зарегистрированной «традиционными источниками» природной среде, и тем более — о природной среде непреобразованной. Но это уже Новое источниковедение.

Экологическая история существенно расширяет дисциплинарные интересы исследователей за счёт не только географии, но и геофизики, биологии, ботаники, экологии. В поле зрения экоисториков находятся достижения палинологии, дендрохронологии, гляциологии, фенологии и т.д.

И тогда с точки зрения институализации и структуризации реальной историографии такие научные направления, как историческая климатология, историческая метеорология и многие другие в системе исторических и естественных наук можно определить как специальные дисциплины, обеспечивающие существование и развитие междисциплинарных исследований, а экологическое источниковедение станет такой же частью общего источниковедения, как документальное или лингвистическое. Так, историческая климатология является научным направлением, образованным на границе климатологии и истории окружающей среды, применяющим методы и источники как климатологии, так и истории. Её задачей является реконструкция временных и пространственных моделей погоды и климата, связанных с ними стихийных бедствий, исследование зависимости прошлых обществ и экономик от климатических колебаний и экстремальных явлений; а также

анализ изменения представлений о климате[15]. Решение всех этих задач предусматривает изучение антропогенных и природных источников.

Разумеется, историко-экологическая проблематика требует более широкой академической подготовки историков. Но точно так же и специалисты в области естественных наук, встающие на путь экоистории, неизбежно должны в необходимом для них объёме осваивать профессию историка, вовсе не претендуя на замещение экономической, культурной, социальной истории той или иной эпохи результатами своей работы.

Впрочем, в художественном, поэтическом творчестве, к примеру, учёного геофизика встречаются и яркие репрезентации исторического процесса. Как у А. Городницкого:

Если климат суров, то суровы обычно и нравы.
Чем земля безотраднее, тем тирания сильней.
Из бесплодной пустыни поход начинают арабы,
Прут татары на запад — окончился корм для коней.

Не привиться у нас демократии, выросшей в Риме,
Возле тёплых лагун и средиземноморских олив:
Возмущённый народ её сразу же грубо отринет,
Смутным временем после свободу свою объявив.

Не для русских метелей зелёная эта дубрава,
Не для наших укрытых лишь крестным знамением лбов.
Где лютуют морозы — не действует римское право,
Ибо римское право в виду не имеет рабов.

А когда затомится душа от нечаянной боли,
Одолеет внезапно похмельной тоски полоса,
Проплывут перед нами лишь дикие символы воли, —
Гайдамацкая степь, да варнацкие злые леса»

А «сцены из деревенской жизни» А.П. Чехова могут стать предметом специального изучения историка, не ограничившегося «традиционными источниками» изучения истории русского леса, подобно тому, как это сделал палеоботаник Х. Кюстер, рассказавший историю не только леса, но и людей — их отношения к природе, их хозяйства и культуры[16].

---

[15] Historical Climatology in Europe — the State of the Art//Climatic Change 70 (2005): 365; http://www.historicalclimatology.com.

[16] *Кюстер Х.* История леса. Взгляд из Германии. М., 2012.

Л.В. Мельникова

Культурная память о 1812 годе во время Крымской войны

К 200-летию Отечественной войны 1812 года в Институте российской истории РАН по инициативе и при активном участии Сергея Сергеевича Секиринского подготовлена и выпущена в свет коллективная монография «Отечественная война 1812 года в культурной памяти России». В её авторский коллектив вошли: Л.В. Мельникова, С.С. Секиринский, А.А. Подмазо, А.В. Голубев, Н.Н. Аурова. Как показано в книге, историческая и культурная память русского народа о событиях 1812 года, представляя собой относительно стойкий комплекс воспоминаний и образов, на протяжении 200 лет постоянно подвергалась изменениям в связи с переменами в системе международных отношений и в общественно-политической жизни страны. Особенно актуализировались воспоминания о 1812 годе в периоды новых военных конфликтов. Обращение к победоносному опыту прошлого позволяло консолидировать общество и находить образцы для подражания.

Первым после Отечественной войны крупным столкновением России со странами Западной Европы стала Крымская война 1853—1856 гг. Военные действия при этом вновь проходили на территории России, а одним из основных противников снова стала Франция, во главе которой находился Наполеон III, племянник Наполеона I. Всё это не могло не вызывать у современников определённые ассоциации с 1812 годом.

Впрочем, ассоциации эти возникли не сразу. Как известно, война началась в октябре 1853 г. как единоборство России и Турции, после провала переговоров чрезвычайного посла князя А.С. Меншикова с Оттоманской Портой относительно восстановления status quo в вопросе о святых местах Палестины и об обеспечении на будущее прав Православной Восточной Церкви, покровителем которой считал себя российский император. Успехи русского оружия в кампании 1853 г. вызвали восторг в обществе, не воспринимавшем Турцию в качестве серьёзного противника.

Несмотря на активное участие Франции в предшествовавшей войне длительной дипломатической дуэли с Россией, в ходе которой обе страны пытались заставить Порту принять ту или иную сторону

в споре между православным и католическим духовенством Святой Земли, многие надеялись, что Париж не осмелится вступить в войну после поражений 1812—1814 гг.[1] Поэтому вступление в войну на стороне Османской империи Великобритании и Франции в марте 1854 г. произвело тягостное впечатление на русское общество, внимание которого почти полностью переключилось на противостояние с этими державами, воспринимаемое как очередной этап борьбы Запада против России. Турция отодвинулась на второй план, а в осмыслении войны и в военной пропаганде одно из ключевых мест заняли воспоминания о 1812 годе.

19 марта 1954 г., несмотря на военное время, в Москве торжественно отмечалось 40-летие вступления русских войск в Париж. После молебна, проведённого в церкви Измайловской военной богадельни, в доме московского генерал-губернатора графа А.А. Закревского на торжественный обед собрались около 600 ветеранов — участников войны с Наполеоном (200 генералов, штаб- и обер-офицеров и 400 унтер-офицеров и рядовых). Приглашённые вспоминали знаменательное событие сорокалетней давности, когда император Александр I, несмотря на поругание «безбожной» наполеоновской армией Москвы, вступил в Париж не как мститель и завоеватель, но как миротворец и спаситель. Автор описания данного торжества И.М. Снегирёв называл этот беспримерный в истории поступок российского императора «торжеством христианской веры, преобладанием божественного закона любви над человеческим правом возмездия»[2]. Говоря о новом нападении Франции на Россию, он обвинял её в «неблагодарности и вероломстве»[3]. О неблагодарности и предательстве французов, приветствовавших в 1814 г. Александра I как освободителя и отрекшихся тогда от Наполеона, статую которого они свергли с вершины Вандомской колонны, не раз упоминали и участники обеда. Начавшаяся война вновь объявлялась ими священной, так как Россия снова отстаивала исконные права Православной Восточной Церкви, а Франция, на сей раз прикрывшись лозунгом защиты католиков Святой Земли, на самом деле выступила с оружием в руках против христианской державы на стороне мусульманской Турции. Вера Головина в стихотворении «Достопамятные для России годы», написанном по случаю отмечавшейся 40-летней годовщины, обращаясь к Франции, восклицала:

---

[1] *Шепарнёва А.И.* Крымская (Восточная) война в оценке российского общественного мнения (1853—1856). Орёл, 2005. С. 79.

[2] *И.С.* Сорокалетняя годовщина взятию Парижа Русскими войсками в 1814 году, марта 19 ст. стиля // Сорокалетие вступлению русских в Париж, 19 марта 1814 года. М., 1854. С. 7.

[3] Там же. С. 8.

Давно ль и ты рукоплескала,
И Миротворцем спасена,
Его ты руку лобызала,
Клялась России быть верна?
Забыты клятвы и лобзанье:
То поцелуй Иуды был;
Бурбонов дом опять в изгнанье,
Их новый Бонапарт сменил!
И ты, под стягом Магомета,
Ещё беснуешься сильней;
За тьму идёшь противу света,
Забыв уроки прошлых дней.
Твой вызов Русских не пугает,
Надежда наша — крест святой:
От духа тьмы он ограждает —
И злу с добром не равен бой![4].

Помимо произведения В. Головиной, в доме Закревского прозвучали также «Хор» В. Краснова (на музыку Г. Варламова), содержавший строку «Чрез сорок лет опять волненья! Вновь Запад двинулся на Русь!»[5], и стихотворение графини Е.П. Ростопчиной «19 марта 1854 г.», любовно названное ветеранами «афишечкой» по аналогии со знаменитыми «афишами» московского генерал-губернатора графа Ф.В. Ростопчина. Вспомнив основные события «священной» войны 1812 года, графиня восклицала:

Опять война!.. Наемники Султана,
Кичливый Галл, сребролюбивый Бритт
Идут на нас под знаменем Корана,
А Русь одна за Крест стоит!..
Отцы, — сынам велите встать в отмщенье,
За Русь, за честь, и им на брань пора!
Царю Небес греми, о Русь, хваленье,
А Русскому Царю ура!..[6].

Итак, с первых же месяцев 1854 г. Восточная война стала восприниматься русским обществом через призму опыта 1812 года. Подобное осмысление происходивших событий и наложение образов двух

[4] *Головина В.* Достопамятные для России годы // Там же. С. 38.
[5] *Краснов В.* Хор // Там же. С. 32.
[6] *Ростопчина Е.* «19 марта 1854 года» // Там же. С. 31.

войн находило отражение в поэзии, публицистике, изобразительном искусстве, и даже в правительственных и церковных документах.

Одно из ведущих мест в идеологическом обосновании войны, как и в 1812 г., заняла православная составляющая. По сути, Крымская война началась по религиозным мотивам. Россия, опираясь на заключённые с Османской империей трактаты (прежде всего — Кучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г.), выступила в роли защитника интересов Православной Восточной Церкви, поддержав тем самым своих единоверцев, томящихся под исламским игом. 20 октября 1853 г. в манифесте «О войне с Оттоманскою Портою» «законная заботливость Наша о защите на Востоке Православной веры, исповедуемой и народом Русским», была названа Николаем I главной причиной конфликта[7]. 9 февраля 1854 г. в новом манифесте «О прекращении политических сношений с Англией и Францией», вышедшем после введения английского и французского флотов в Чёрное море, император заявлял об отступничестве этих держав от христианства и призывал русский народ, в случае необходимости, быть готовым повторить подвиг 1812 года: «Итак, против России, сражающейся за Православие, рядом с врагами Христианства становятся Англия и Франция! Но Россия не изменит Святому своему призванию; и если на пределы её нападут враги, то Мы готовы встретить их с твёрдостью, завещанной Нам предками. Мы и ныне не тот ли самый народ Русский, о доблестях коего свидетельствуют достопамятные события 1812 года? Да поможет нам Всевышний доказать сие на деле! В этом уповании, подвизаясь за угнетённых братьев, исповедующих Веру Христову, единым сердцем всея России воззовём: “Господь наш! Избавитель наш! Кого убоимся! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!”»[8].

В духе данного манифеста известный поэт, участник Отечественной войны 1812 года Ф.Н. Глинка, вскоре написал стихотворение «Ура!». Оно вышло в виде отдельной брошюры, девятитысячный тираж которой разошёлся буквально в считанные дни. Отрывок из него в марте 1854 г. был опубликован также в газете «Русский инвалид»:

Ура!... На трёх ударим разом,
Не даром же трёхгранный штык!
Ура! Отгрянет над Кавказом,
В Европу грянет тот же клик!..
И двадцать шло на нас народов,
Но Русь управилась с гостьми:

[7] ПСЗ-II. Т. 28. СПб., 1854. № 27628.
[8] ПСЗ-II. Т. 29. СПб., 1855. № 27916.

Их кровь замыла след походов,
Поля белелись их костьми.
Тогда спасали мы родную
Страну и честь и Царский Трон;
Тогда о нашу грудь стальную
Расшибся сам Наполеон!
Теперь же, — вздрогни вся природа! —
Во сне не снилось никому:
Два Христианские народа
На нас грозятся за чалму!!!
Но год двенадцатый не сказки,
И Запад видел не во сне,
Как двадцати народов каски
Валялися в Бородине.
И видел, что за наши грады
И за Москву — наш Царь не мстил
И белым знаменем пощады
Столицу Франции покрыл
...Но что ж? За хлеб-соль и за дружбу,
Предав наш Символ за Коран,
Вы к Туркам поступили в службу
И отступились Христиан!!!
Что ж скажет летопись пред светом
Про нечестивый ваш союз?
— Британец в сделке с Магометом,
И — стыд! — Отурчился Француз!!!
...Так знайте ж: ваши все мытарства,
Расчёт и вычет — всё мечта!
Вам Русского не сдвинуть Царства:
Оно с Христом — и за Христа![9].

Интересно, что во Франции, защищавшей накануне войны интересы католицизма в Святой Земле, в 1854 г. также заговорили о «священной войне». Парижский архиепископ М.-Д.-О. Сибур в особом послании, выпущенном с одобрения Наполеона III, не только признал религиозный характер начавшейся войны, но фактически назвал её новым крестовым походом, правда, направленным на этот раз, вопреки традиции, не против ислама, а против Российской империи и православия[10]. Однако союз с мусульманской Турцией, а также обстрел англо-французским флотом

[9] *Глинка Ф.Н.* Ура! СПб., 1854. С. 3—14; Русский инвалид. 1854. № 65. 19 марта.
[10] ОР РНБ. Ф. 573. Оп. 1. Д. А I /76. Л. 34—38.

Одессы в Великую субботу 1854 г. не слишком стыковались с позицией «правоверных католиков». Поэтому различные представители русского общества акцентировали внимание на подобных «нехристолюбивых» действиях противников; французы и англичане воспринимались ими как отступники от веры и даже сравнивались с иудеями, распявшими Христа. Неизвестный автор стихотворения «Кто кому нужнее?» констатировал:

Итак, не сказка уже это,
Что Англичанин и Француз
Вступили в службу Магомета,
Что с Туркой заключив союз,
Два Христианские народа,
Во утешение бесам,
Идут во след Искариота
Предать Христа его врагам[11].

Другой поэт отзывался о действиях англо-французских войск почти евангельской фразой: «Прости, Господь, им согрешения! Не ведают, что творят!»[12].

Во Франции прямые аналогии между двумя войнами с Россией властями не поощрялись, что, несомненно, объяснялось неудачной для французов Русской кампанией 1812 года. С подачи Наполеона III лейтмотивом антирусской пропаганды в период Крымской войны стало противопоставление европейской цивилизации и русского варварства, особо прославлялась также великая альтруистическая миссия Франции по защите интересов Турции и укрощению северного колосса. Однако, как отмечает О.Ю. Казакова, «несмотря на официальную риторику, в сознании обывателей, особенно в провинции, ещё сильнее в сельской глубинке, Крымская война означала окончание тёмной полосы, тянувшейся с 1815 г., и сведение счётов с царской Россией»[13]. Уже в 1854 г. во Франции широкое распространение получила песенка «Французский солдат», отражавшая реваншистские настроения:

---

[11] Кто кому нужнее? // Русский инвалид. 1854. № 56. 9 марта.

[12] См.: *Можаровский А.* Настроение русского общества во время Севастопольской обороны. Стихотворения того времени // Русский архив. 1905. Кн. 2. № 8. С. 536. «И егда приидоша на место, нарицаемое лобное, ту распяша его и злодея, оваго убо о десную, а другаго о шуюю, — говорится в Евангелии от Луки. — Иисус же глаголаше: Отче, отпусти им: не ведят бо, что творят. Разделяюще же ризы его, метаху жребия» (Лк. 23, 33-34).

[13] *Казакова О.Ю.* Два Наполеона, две войны с Россией: тема реванша в общественно-политическом дискурсе Второй империи в период Восточной войны 1853—1856 гг. // Эпоха 1812 года в судьбах России и Европы: Материалы Международной научной конференции (Москва, 8—11 октября 2012 г.). М., 2013.

Спеши вперед и не сходи с дороги,
Добейся своей цели.
Разгроми Россию,
Помни о Наполеоне[14].

Излюбленным мотивом французских карикатур периода Восточной войны стал образ «козака» — дикого, зверообразного злодея. Графики О. Домье и Шам создали сотни карикатур на эту тему, издав их отдельными сборниками «Месье козаки»[15]. Характерно, что на них французы 1854—1856 гг. противостояли казакам атамана М.И. Платова 1812 года. После падения Севастополя реваншистскую риторику подхватила и парижская газета «Конституционалист»: «1854 год героически отомстил за 1812-й. Он дал Наполеону возможность взять в России блестящий реванш за славную катастрофу, предопределившую великое падение»[16].

В России Крымская война, как и отгремевшая сорок лет назад «гроза двенадцатого года», сопровождалась необычайным ростом патриотического стихотворчества. Одной из особенностей поэзии этого периода стало создание произведений, стилизованных под известные стихотворения о двенадцатом годе, написанные как во время Отечественной войны, так и после её окончания. Например, в 1855 г. в печати появилось стихотворение П. Зубова «Тень певца во стане русских воинов над святынею Севастополя». Действие в нём, как и в знаменитом произведении В.А. Жуковского, происходит в тиши ночного лагеря, только уже не под Тарутиным, а в Севастополе, где над «твердынями» осаждённого города, уже без круговой чаши и заздравных тостов, «в одежде древнего Баяна» со «златою лирою» в руках появляется тень «певца»:

То Бард тех незабвенных дней,
Певец двенадцатого года —
Кто пел во стане средь вождей
Величье русского народа.
И струны вещие гремят,
И с увлекательною силой
О новой славе говорят
Сынов своей Отчизны милой[17].

[14] La critique européenne ou chansons nouvelles sur la Guerre d'Orient. Paris, 1854. P. 11.
[15] Messieurs les Cosaques, relation charivarique, comique et surtout véridique des hauts faits des Russes en Orient. Paris, 1854—1855.
[16] Цит. по: *Казакова О.Ю.* Указ. соч.
[17] *Зубов П.* Тень певца во стане русских воинов над святынею Севастополя. СПб., 1855. С. 2.

Далее автор, как и Жуковский, произносит «хвалу» героям новой войны.

Одним из характерных приёмов военной пропаганды, как и во время Отечественной войны 1812 года, стало высмеивание образа врага в сатирических стихотворениях и карикатурах. Здесь с самого начала излюбленной темой для проведения ассоциативных параллелей стала фигура Наполеона III, который сравнивался со своим знаменитым родственником. Это сравнение, уже само по себе не в пользу «маленького племянника большого дяди», как правило, заканчивалось напоминанием о печальной участи Наполеона I в России. Так, графиня Е.П. Ростопчина писала:

А ты, Луи-Наполеон,
Тебе пример — покойный дядя!
Поберегись и будь умен,
На тот пример великий глядя![18].

А. Кононов отмечал, что хоть «во Франции, как прежде, // Есть ещё Наполеон», однако от дядюшки он отличается «как от хлеба лебеда» («Хоть Федот ты, да не тот!»), а также выражал уверенность в повторении победы 1812 года:

Знать Французы позабыли,
Как мы здесь их проводили,
Как они бежали вспять...
Что ж несёт их к нам опять?
Ведь у нас им, без сомненья,
Будет то же повторенье[19].

На карикатурах царствующий французский император, желающий любой ценой добиться «дядюшкиной славы», нередко изображался со шпагой, в знаменитой треуголке и серой шинели. Например, на рисунке Н.А. Степанова «Как изобрели Наполеона III» приближённые именно так «лепят» его образ, глядя на стоящую рядом скульптуру Наполеона I. Подпись гласит: «Полагаю, что в этом виде и он будет страшен»[20].

В 1854—1855 гг. поэты и художники часто высмеивали противоестественность союза Наполеона III с англичанами, заточившими его дядю на остров Святой Елены, и с турками — мусульманским наро-

[18] Цит. по: *Багдасарян В.Э., Толстой С.Г.* Русская война: столетний историографический опыт осмысления Крымской кампании. М., 2002. С. 11—12.

[19] *Кононов А.* «— Эка притча!.. Говорят, что к нам едет супостат!...» // *Кононов А.* Современные стихотворения. СПб., 1854. С. 14.

[20] *Степанов Н.А.* Карикатуры. В 3-х выпусках. СПб., 1855.

дом, который католическая Франция поддержала в борьбе против христиан. К примеру, С. Батурин в стихотворении «Глас призрака» вложил в уста духа Наполеона I, витающего над Сеной, следующие увещевания к племяннику:

Не мни нелепою ты дружбой
С британцем русских устрашить,
Не мни чалме постыдной службой
Себе бессмертье заслужить.
...Отмсти за дядю Альбиону!
Позор тому Наполеону,
Который дружбу с ним сведёт[21].

Столь «чудной союз» высмеял также в стихотворении «Разговор» Г. Федоров. По форме изложения — беседе юноши с дядей — произведение напоминало читателям лермонтовское «Бородино». Разговор начинается вопросом:

Слушай, дядюшка мой,
Расскажи мне, родной,
Турки — что за народ,
Что за них стал в оплот
Англичанин, француз?
Что за чудной союз?
Что зовёт англичан
Защищать басурман?
За что французов бранят,
И напомнить хотят
Им двенадцатый год?
Как наш русский народ
Их тогда проучил,
Да в Париж к ним сходил?[22].

Собеседник отвечает, что защита турок — лишь повод для западноевропейских стран осуществить новый поход на Россию:

Бонапарт первый был
Нашу Русь невзлюбил

[21] *Батурин С.* Глас призрака // Голос за родное. Альбом патриотических стихотворений разных авторов на нынешнюю войну. СПб., 1854. С. 24.
[22] *Федоров Г.* Разговор // *Федоров Г.* Русской солдат. СПб., 1854. С. 6.

...Нёс угар в голове,
И обжёгся в Москве.

Отметив странную дружбу Наполеона III с англичанами, отправившими его дядю в изгнание, герой стихотворения выразил уверенность в новой победе России:

Если Бог нам подаст,
Русь святая задаст
Им такого толчка,
Что на славу стрячка
Тут они зададут
Восвояси уйдут.
И гостей дорогих
Мы отпотчуем их,
И штыком, и пинком,
И родным кулаком![23].

Использование Францией Турции для реванша за поражение в 1812—1814 гг. неоднократно обыгрывалось в карикатурах. Например, на литографии Э. Лилье по рисунку В. Беляева «Проба в муштрованье» Наполеон III изображался едущим на турке, а Наполеон I с пучком розог в руке наблюдал за ним сверху. Подпись под карикатурой: «Великий племянник Маленького Капрала производит опыт езды на своих союзниках, Дядина тень удивляется действиям его»[24].

Огромной популярностью пользовалось стихотворение В.П. Алферьева «На нынешнюю войну», опубликованное в 1854 г. без подписи в газете «Северная пчела» и почти сразу перепечатанное в «Русском инвалиде»[25]. По воспоминаниям современников, оно было положено на музыку и широко распевалось в годы Крымской войны[26]. В нём обличались снобизм английского министра и галльский задор французского императора, напоминалось про разгром наполеоновской армии в 1812 году и выражалась уверенность в том, что русский народ вновь, как один человек, поднимется на борьбу с врагом за веру, царя и отечество:

[23] Там же. С. 6—9.

[24] *Беляев В.* Сказание в лицах о том, как незваные гости пожаловали в гости и смех и горе привезли из-за моря. Лит. Э. Лилье. М., 1855. № 1.

[25] С.А. Венгеров указывает, что иногда авторство этого стихотворения ошибочно приписывается актеру П. Каратыгину. (См.: *Венгеров С.А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. I. СПб., 1885. С. 443.)

[26] *Усов П.* Из моих воспоминаний // Исторический вестник. 1882. № 2. С. 350.

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.
Вдохновен его отвагой,
И француз за ним туда ж,
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: Allons, courage![27]
Полно, братцы, на смех свету
Не останьтесь в дураках.
Мы видали шпагу эту
И не в этаких руках.
Если дядюшка бесславно
Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно
И вдали несдобровать.
...Знайте ж, — машина готова,
Будет действовать как встарь;
Ею двигают три слова:
БОГ, да РОДИНА, да ЦАРЬ![28].

В 1855 г. художник П. Боклевский проиллюстрировал данное стихотворение восемью карандашными карикатурами, которые вышли вместе с текстом В.П. Алферьева в виде отдельного альбома под тем же названием «На нынешнюю войну»[29]. Примечательно, что пять из восьми карикатур проводят ассоциативные параллели с «грозой двенадцатого года». На первой карикатуре изображены держащиеся за руки Пальмерстон (стоящий у карты), и Наполеон III (размахивающий пресловутой шпагой), в углу видна скульптура Наполеона I. На второй — Наполеон I с той же шпагой в руке ведёт в сторону Российской империи «двадесять языков», изображённых в виде запряжённых в его коляску девятнадцати корон на ножках; на границе стоит знамя с российским гербом и надписью «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся: 1612—1812». На третьей — Россия в образе пышной дамы в сарафане и кокошнике с метлой в руках сталкивает в море Наполеона I, небрежно схватив его «за шкирку». На четвертой — Наполеон III пытается забраться на вершину Вандомской колонны по тонкой веревке, которую держит в одной лапке

[27] «Вперед, смелее!» (*фр.*).
[28] *[Алферьев В.П.]* На нынешнюю войну // Северная пчела. 1854. № 37; см. также: Русский инвалид. 1854. № 39. 16 февраля.
[29] *Боклевский П.* На нынешнюю войну. Лит. Мартынова. М., 1855.

галльский петух (аллегорический символ Франции), стоящий на голове у скульптуры Наполеона I, но невидимая рука Провидения перерезает эту нить огромными ножницами и испуганный французский император срывается вниз. Наконец, на последнем рисунке показано несметное, растянувшееся до горизонта русское народное ополчение, воины которого несут знамёна с надписью: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся: 1612—1812—1855». Альбом карикатур вышел уже после появившегося 29 января 1855 г. манифеста о созыве ополчения[30], и художник решил провести ещё и эту параллель с 1812 годом, хотя в стихах, написанных в 1854 г., об ополченцах, разумеется, речь не идёт[31].

Часто поэты иносказательно использовали образ «угощения» или «чествования» «непрошеных гостей». Описывая закуски, которые приготовят для гостей «наши повара», А. Кононов упоминал в качестве холодного блюда «трёхгранный русский штык», а как горячее — «заряды боевые, // С пылу огненный бифштекс»[32]. Названия предлагаемых блюд нередко напоминали о ключевых событиях 1812 года. Особенно популярным был эпитет «березинский», намекавший на катастрофу наполеоновской армии на Березине. На карикатуре «Первый приём. Гости угощаются» В. Беляев изобразил русского мужика, который в прямом смысле даёт «понюхать табаку» французу, англичанину и турку. Подпись под рисунком раскрывала переносный смысл: «Понюхайте, почтенные, понюхайте! Немножко крепонек!.. Это самодельщина; вот пройдитесь подальше, вам поднесут Березинского»[33].

Ещё в начале 1854 г. в русском обществе витали идеи о провозглашении новой Отечественной войны. Многие были убеждены, что стоит правительству обратиться к народу, и супостаты будут повержены. 1 февраля 1854 г. С.Т. Аксаков писал своему сыну Ивану: «С томительным нетерпением все ожидают царского манифеста. Если только Государь скажет: “Все против нас, против православной веры нашей, помогите государству спасти честь народную и защитить веру”, — такие чудеса понаделаются, каких история ещё не видала. Денег и войска явится столько, что некуда будет девать... Я признаюсь тебе, что в 1812 году дух мой не был так взволнован, как нынче, да и вопрос был не так значителен»[34].

Воззвание императора к России по случаю войны и манифест о созыве государственного ополчения вышли через год после начала боевых действий (14 декабря 1854 г. и 29 января 1855 г.). Николай I считал

[30] См.: ПСЗ-II. Т. 30. СПб., 1856. № 28991.
[31] *Боклевский П.* Указ соч. С. 1—8.
[32] *Кононов А.* «Пусть Французы, Англичане едут с флотом к нам своим...» // *Кононов А.* Современные стихотворения. С. 4—5.
[33] *Беляев В.* Указ соч. № 4.
[34] Цит. по: *Багдасарян В.Э., Толстой С.Г.* Указ. соч. С. 11—12, 29.

эти меры крайними и сперва надеялся, что Россия сможет справиться с врагами силами регулярной армии и флота. 11 декабря 1854 г. император писал главнокомандующему Южной армией кн. М.Д. Горчакову: «Наше положение тяжело. Я давно его предвижу, ... но отнюдь не отчаиваюсь, ибо надежда моя на Бога, на Его правосудие и на правоту нашего дела. Дух нашего русского народа, льщу себя надеждою, тоже знаю, глубоко ценю и уважаю. Знаю, что когда настанет минута воззвать мне к России, она станет та же, как была в 1812 году; но мне надо дорожить этим и не истощать сил наших до поры до времени. Там общий порыв на спасение Отечества будет сильнее»[35].

Буквально через три дня, 14 декабря 1854 г., Николай I, прямо ссылаясь на опыт 1812 года, призвал свой народ «быть готовым на усилия и жертвы, соразмерные с устремлёнными против нас действиями». «Россияне! — взывал император. — Верные сыны наши, вы привыкли не щадить ничего, когда Провидение призывает вас к великому и святому делу, ни достояния, многолетними трудами приобретённого, ни жизни и крови вашей и чад ваших. ... Буде нужно, мы все, царь и подданные, повторяя слова императора Александра, произнесённые им в подобную нынешней годину искушения, *с железом в руках, с крестом в сердце,* станем перед рядами врагов на защиту драгоценнейшего в мире блага: безопасности и чести Отечества»[36]. Через полтора месяца император подписал манифест «О призвании к государственному ополчению»[37].

Как и во время Отечественной войны 1812 года, Православная Российская Церковь откликнулась на манифест о созыве ополчения особым воззванием Святейшего Синода к народу. В нём подчёркивались религиозное значение войны, её справедливый, оборонительный характер. Приводя исторические примеры создания в России ополчения, Синод призывал все сословия русского общества к новым героическим свершениям: «Ваши предки с приснопамятным князем Дмитрием Донским кровью искупили независимость земли Русской от ига неверных, с Пожарским и Мининым отстояли от врагов Веру правую и законный Престол Царский; ваши отцы с Александром Благословенным защитили Отечество от несметных полчищ иноплеменников. И вам предстоит ныне такой же святой подвиг; и вы окажете себя достойными его»[38]. Как и в 1812 г., Церковь приняла активное участие в

[35] Цит. по: *Богданович М.И.* Восточная война 1853—1856 годов. Т. 4. СПб., 1876. С. 411.

[36] ПСЗ-II. Т. 29. СПб., 1855. № 28824.

[37] ПСЗ-II. Т. 30. СПб., 1856. № 28991.

[38] Воззвание от Святейшего Правительствующего Синода к чадам Православной Российской Церкви по случаю государственного ополчения // Христианское чтение. 1855. Ч. 1. С. 246—251.

событиях 1853—1856 гг., в силу чего Крымская война также приняла несомненный религиозный колорит[39]. 26 июня 1856 г. Александр II, по примеру Отечественной войны 1812 года, утвердил проект бронзового наперсного креста на Владимирской ленте, которым представители православного духовенства награждались в память минувшей войны.

Крым, как известно, в 1854—1855 гг. стал основным театром военных действий. Оборону Севастополя современники нередко сравнивали с Бородинской битвой. Необходимо отметить, что для того времени вообще было характерно отыскивать в прошлом аналогии происходящим событиям и на основе их сопоставления делать определённые выводы. Например, М.П. Погодин видел нечто знаменательное в том, что высадка англо-французских войск в Крыму была произведена именно 2(14) сентября 1854 г., в день вступления французов в Москву в 1812 г.[40] Не осталось незамеченным современниками и то, что штурм Малахова кургана произошёл 27 августа 1855 г., т.е. всего одним днём позже, чем знаменитая Бородинская битва, а Парижский мир 18(30) марта 1856 г. был заключён в день подписания капитуляции Парижа в 1814 г.[41] Даже зимние холода в Крыму напоминали морозы 1812 года.

Затопление в фарватере Севастопольского рейда пяти линейных кораблей и двух фрегатов, совершённое 11 сентября 1854 г. по решению военного совета для прикрытия города от десанта противника, было воспринято современниками не только как символ избавления от ещё больших потерь (от верной гибели флота и захвата Севастополя), но и как жертва, принесённая ради спасения, что, естественно, актуализировало память о сдаче Москвы без сражения на подступах к городу в 1812 году. После того, как прославленные в прежних боях корабли опустились на дно, начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В.А. Корнилов обратился к морякам со словами утешения: «Грустно уничтожать свой труд! ...Но надо покориться необходимости! Москва горела, а Русь от этого не погибла! Напротив, стала сильнее. Бог милостив! Конечно, Он и теперь готовит верному Ему народу русскому такую же участь. Итак, помолимся Господу и не допустим врага сильного покорить себя!»[42]. Эти слова (перекликающиеся со словами М.И. Кутузова: «С потерею Москвы ещё не потеряна Россия») облетели всю страну.

---

[39] Подробнее см.: *Мельникова Л.В.* Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских войн. М., 2007; *Она же.* Русская Православная Церковь и Крымская война 1853—1856 гг. М., 2012.

[40] См.: *Шепарнёва А.И.* Указ. соч. С. 44.

[41] См., напр.: *Гаряйнов А.* Тринадцатое октября // Санкт-Петербургские ведомости. 1854. 19 октября.

[42] Цит. по: *Дубровин Н.Ф.* 349-дневная защита Севастополя. СПб., 2005. С. 69.

После падения Севастополя многие рассчитывали на то, что высокий патриотический подъём россиян поможет переломить ход войны. Если, рассуждали они, после Московского пожара 1812 года русские вооружённые силы сумели быстро восстановиться, то спустя сорок лет неизбежно произойдёт то же самое. Публицисты отмечали «запутанность положения врагов», предлагали вновь вернуться к апробированной тактике скифской войны[43]. Даже Александр II в сентябре 1855 г. писал кн. М.Д. Горчакову: «Не унывайте, а вспомните 1812-й год и уповайте на Бога. Севастополь не Москва, а Крым не вся Россия. Два года после пожара Московского победоносные войска наши были в Париже. Мы те же Русские и с нами Бог!»[44].

Как отмечалось выше, ассоциативные параллели с 1812 годом проводили во время Крымской войны не только в России. В частности, память о войне 1812 года актуализировалась после взятия англо-французскими войсками Южной стороны Севастополя, когда мнения Лондона и Парижа по поводу дальнейших действий разделились. «Англичане хотели ограничиться блокадою в Чёрном море и морскими экспедициями в Балтике, — писал М.И. Богданович, — что, при превосходстве их морских сил, дало бы им несомненный перевес над всеми их союзниками. Что же касается до вторжения внутрь нашей страны с юга, то Наполеон III неохотно решался предпринять его и изъявил согласие на континентальную кампанию не иначе, как с условием восстановления Польши, которое, по его мнению, вознаградило бы пожертвования Франции. Но Лондонский кабинет решительно отказался поддерживать предприятие, напоминавшее войну 1812 года и бедствия, понесённые войсками Наполеона I при нашествии на Россию»[45]. Интересно, что после заключения Парижского мира Наполеон III учредил для ветеранов наполеоновских войн (400 тыс. человек) медаль Святой Елены, что официально закрепило в сознании французского обывателя преемственность двух антирусских кампаний[46].

С.М. Соловьев, размышляя о заключительном этапе Восточной войны, с сожалением отмечал, что российская сторона не воспользовалась благоприятной возможностью сделать поражение под Севастополем своей победой. По его мнению, враги, наученные горьким опытом 1812 года, получив крепость в жертву, как когда-то французы — Москву, и, узнав о решительном намерении россий-

[43] *Шепарнёва А.И.* Указ. соч. С. 56; *Багдасарян В.Э., Толстой С.Г.* Указ. соч. С. 29.
[44] Цит. по: *Богданович М.И.* Указ. соч. Т. 4. С. 141.
[45] Там же. С. 422—423.
[46] *Казакова О.Ю.* Указ. соч.

ского правительства продолжать военные действия, использовали бы любую возможность закончить войну миром, более приемлемым для России[47].

Бородинская битва 1812 года и оборона Севастополя 1854—1855 гг. с точки зрения военного искусства не были победами русского оружия. Сражение при Бородино закончилось вничью, а Севастополь после героической 11-месячной обороны был оставлен. Тем не менее, оба эти события вошли в историческую память русского народа как главные события национальной славы императорской России. Они стали символами стойкости и несгибаемости морального духа её армии и военно-морского флота. Об этом, в частности, свидетельствовали два больших проекта начала XX века — создание художником-баталистом Францем Рубо панорам «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» и «Бородино». Первая из них была приурочена к 50-летию Севастопольской обороны, а вторая — к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.

Таким образом, обращение к победоносному опыту 1812 года и наложение образов двух войн способствовало в годы Восточной войны поднятию в русском обществе патриотических настроений, а после её окончания — определённому сглаживанию «травматического прошлого». В газетной и журнальной публицистике, историографии, поэзии и изобразительном искусстве того времени Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853—1856 гг. оценивались в неразрывной связи между собой, как результат многовекового противостояния России с Западом. При этом французские войска заметно выделялись на фоне союзных армий как «привычный противник». «Бородино, Севастополь — вот имена, которые неразлучно представляются воображению русских, — писал современник. — Если Бородинское сражение названо иностранцами “битвою великанов”, то что сказать о Севастопольской осаде — об этой сплошной битве, продолжавшейся без малого год»[48].

---

[47] *Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 336.

[48] Севастопольский обед // Русский инвалид. 1869. 20 февраля.

А.И. Куприянов

Дворянские выборы глазами забытого драматурга[1]

В современной России выборы сопровождаются массовым давлением на избирателя разнообразных политических технологий, призванных околпачить неискушенного в политике избирателя. Центральные телевизионные каналы наперебой пытаются внушить гражданам, что весь этот «чёрный пиар», война компроматов между кандидатами, подкуп избирателей, широкое применение досрочного голосования и прочие «прелести» демократии пришли к нам с Запада. Время от времени доморощенные политтехнологи, напротив, уверяют нас, что именно они это всё и придумали. И всё же, есть основание полагать, что всё это, ну, или почти всё, было придумано ещё во времена «нашего последнего летописца и первого историка» Н.М. Карамзина. Карамзин, впрочем, как-то погрузился в минувшее, и современные политические процессы отслеживал не слишком пристально.

Выборы в Российской империи обрели регулярный характер в ходе реализации губернской реформы 1775 г. Заметная часть должностей низового и среднего (губернского) звена судебной системы и аппарата местного управления замещалась теперь на конкурсной основе. Разумеется, в условиях сословного устройства общества этих чиновников избирали по сословиям, а наиболее важные посты были отданы дворянской корпорации.

Сами же выборы проводились в провинции в разные сроки, в зависимости от даты «открытия» той или иной губернии. Избирали чиновников на трёхлетний срок. Часть должностей (губернского и уездных предводителей) была почётна, другая (судебных заседателей, смотрителей и т.д.) была оплачиваема, третья, например, земских исправников — не только оплачиваема, но и прибыльна по части почти «безгрешных» доходов.

Выборы сразу же явились ареной конфликта интересов, главным образом, отдельных помещиков.

Некоторые участники дворянских выборов имели страсть к писательству, и благодаря их творчеству известны живые подробности организации и проведения губернских съездов. Сатирические памфлеты на дворянские выборы появились вскоре после проведения первых

[1] Статья выполнена при поддержке РГНФ (проект №12-01-00279).

выборов в провинции. Правда, ходили они в основном среди знакомых автора. Отсутствие литературного мастерства и цензура, как правило, были непреодолимым барьером на их пути к широкому читателю[2]. Одним из первых прорвался к читающей публике со своими пьесами («Дворянские выборы» и «Дворянские выборы, часть вторая, или Выборы исправника») прозаик, драматург и поэт Григорий Федорович Квитка, вошедший в историю литературы под именем Квитка-Основьяненко. В советское время во многих театрах шла его комедия «Шельменко-денщик». Пьесам же о дворянских выборах не повезло. Первая из них, изданная в Москве в 1829 г., к постановке на сцене была запрещена по личному распоряжению Николая I. Вероятно, она вышла настолько критичной и правдивой, что могла показаться монарху пасквилем. Не была дозволена к постановке и вторая пьеса, появившаяся там же в 1830 г. На советской сцене каким-то «Дворянским выборам» места, разумеется, не находилось: как сатира, обличающая их нравы, она уже утратила актуальность, а для воспитания у советских людей идеалов строительства коммунизма не годилась.

Всё течёт, всё изменяется... В 2006 г. пьесу «Дворянские выборы» поставили в Днепропетровском театре русской драмы им. А.М.Горького, а в 2007 г. — в киевском театре «На Подоле». И вот уже в блоге на сайте украинской газеты «Сегодня» 27 апреля 2007 г. появляется запись: «Есть у Квитки-Основьяненко комедия “Дворянские выборы”. Мы уже привыкли смотреть её продолжение. Но не в театре, а в телевизоре, в президентском секретариате, парламенте и просто на улицах»[3].

С.С. Секиринский, размышляя над источниковедческой ценностью произведений писателей, заслуживших у современников «репутацию знатоков, хроникеров, бытописателей разных сторон и явлений жизни русского общества», отметил, что, как правило, их отличает «исследовательский подход к жизненному материалу, стремление, даже в ущерб художественным достоинствам произведения, донести его в достоверных подробностях до читателя, не увлекаясь высмеиванием, обличениями, гротеском, или, наоборот, реализацией в художественном творчестве своих собственных возвышенных идеалов»[4]. В творчестве Квитки было немало гротеска, высмеивания, обличения невежества и своекорыстия провинциального дворянства. В этом контексте закономерно возникает вопрос: обладают ли комедии Квитка «Дворянские

[2] Редкое исключение: *Храповицкий М.В.* Разговор уездных дворян о выборе в судьи. СПб., 1790.

[3] http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/prodolzhenie-maloroccijckoj-komedii.html. Режим доступа 14.05.13.

[4] *Секиринский С.С.* Боборыкин: зарисовки для истории либеральной личности // История России XIX — XX веков. Новые источники понимания. М., 2001. С.94.

выборы» и «Дворянские выборы, часть два, или Выбор исправника» определённым эвристическим потенциалом, способным существенно расширить наши представления о выборах той поры?

Обстоятельства жизни Г.Ф. Квитки свидетельствуют, что драматург хорошо знал предмет, о котором писал. Он родился в состоятельной помещичьей семье, служил в армии, затем неожиданно (по давнему обету) стал послушником Куряжского монастыря, в котором пробыл менее года. Вернувшись к светской жизни, он активно окунулся в литературное творчество и местную культурную и общественную жизнь Харькова: был директором театра, директором танцевального клуба, одним из учредителей благотворительного общества, института благородных девиц, кадетского корпуса, публичной библиотеки. Однако, что ещё более важно для нашей темы, в 1816—1828 гг. Квитка служил харьковским уездным предводителем дворянства, а с декабря 1827 по апрель 1828 года исполнял должность харьковского губернского предводителя дворянства[5]. Вот эти-то личные наблюдения, которые легли в основу пьес, и способствовали успеху его «Дворянских выборов» у тогдашнего читателя.

В центре обеих комедий Квитки о дворянских выборах — их уездный этап, на котором избирались уездные чиновники. Выборы и на уездные, и на губернские должности проходили, за исключением малоуспешного опыта недолгого правления Павла I, в рамках обыкновенных губернских съездов дворянства, проводившихся раз в 3 года.

В комедии Квитки среди помещиков, прибывших в губернский город, выведен дебютант дворянских выборов — подполковник Твердов, недавно вышедший в отставку и поселившийся в своем имении. Поведение этого образованного и благонамеренного офицера весьма показательно для характеристики отношения немалой части дворян к выборам и выборной дворянской службе. Твердов появляется на сцене как аполитичный персонаж, его мотивация далека от идеалов общего блага и общественного долга: в губернском городе он оказался лишь потому, что поехал свататься к племяннице помещика Староплутова (все персонажи наделены характеристическими фамилиями). Не застав семью Староплутова в имении, отставной подполковник вынужден был отправиться в губернский город, где намечались выборы. Волей случая Твердов остановился во второй половине дома, арендованного на время выборов Староплутовым.

Знакомству Твердова и Староплутова предшествовал диалог их слуг. Служанка Надежка поясняет Митьке, слуге Твердова, роль Ста-

[5] *Проскурина В.Ю.* Квитка // Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 523—525.

роплутова на выборах: «...Здесь уже всё расчислено и назначено: старый барин всем распорядился и для наблюденья за порядком сам приехал...». Она же раскрывает и механизм, позволявший Староплутову проводить на должности угодных ему лиц — «запасные» из мелкой шляхты. «Называются-то они все дворяне, — рассказывает Митьке девушка, — да и дворов своих не имеют. К выборам он их всех в кучу, да на повозках в город. Как идти на выборы, так отпускается им давно приготовленная на сей случай полная амуниция, и пока баллотировка продолжается, так они все на наших харчах, едят голубчики без устали, пьют без просыпу, да за то и шары кладут, на кого им надобно»[6].

Таким образом, подполковник Твердов нечаянно угодил в избирательный штаб уездной «партии жуликов и воров». Он как будто повёл себя весьма лояльно и, на наш взгляд, даже услужливо по отношению к опекуну любимой девушки: «Извините меня, что я многого не понимаю; прошу вас, Памфил Сидорович, руководствовать мною, вам известна общая польза: наставляйте, что мне должно делать». Плутоватый, но простоватый Староплутов, обрадовавшись, тут же выложил свои планы: «Вот скоро пожалуют все дворяне и мы положим, кого куда избирать, на того и вас просим избирательный шар класть, а на прочих черняки кидайте». Данная интерпретация «общей пользы» шокировала новобранца избирательной кампании: «Но я слышал, что прежде должно присягнуть и потом класть шар, не смотря на приязнь, дружбу, вражду...» Этой фразой Твердов деликатно напоминает, что эти наставления о скоординированном голосовании противоречат тексту присяги о беспристрастном выборе. Староплутов же смещает акцент в этой фразе на необходимость принесения присяги в церкви: «Вот поутру кто хотел, тот и присягнул, а мы по совести поступим. И кого мы тут назначим да выберем, так я вас уверяю, что выбранные из-под присяги далеко от наших отстанут. <...> К чему нам присяга? Присягать-то мы присягнем, а выберем по чувствам нашим»[7]. Таким образом, присяга для Староплутова лишь формальность, а действовать он и его единомышленники будут не в соответствии с текстом присяги о беспристрастном выборе, но руководствуясь «совестью» и «чувствами». О том, каковы эти представления о совести и чувствах, мы узнаём в ходе застолья партии неблагонамеренных.

Прямого и честного Твердова шокировал и внешний облик, и манеры «благородного общества», собравшегося у Староплутова. Впрочем, самого хозяина также смутили вид и неотесанность «запасных»: «Да дворяне ли это?». Заправлякин, поверенный Староплутова, помогающий ему ра-

[6] *Квитка-Основьяненко Г.Ф.* Драматические сочинения. В 2 т. Т. 2. СПб., 1862. С. 5.
[7] Там же. С. 42.

зорять имение племянницы, а по совместительству выполнявший роль начальника штаба «партии» успокаивает патрона: «Ей же, ей, ей! Истинные, коронные дворяне, и все из деревни Коноводовки (здесь «коновод» используется в значении «конокрад», т.е. все они из деревни конокрадов. — *А.К.*) нашего уезда. Смел ли бы я своему благодетелю подлых людей представить? Не за всяким только, а есть за ними и крестьяне»[8].

Неожиданно на сцене появляется однополчанин Твердова — Благосудов. Появление представителя «партии» благомыслящих удивило собравшихся, а Староплутов прямо спрашивает: «Скажите, батюшка Дмитрий Иванович, какими судьбами вы к нам пожаловали, да еще и к нам пристаете?». Благосудов, однако, сразу же развеял ожидания хозяина относительно целей своего визита: «Извините меня, я, как дворянин, не принадлежу ни к какой партии особенно, а готов содействовать общему благу. Здесь же я по просьбе приятеля моего Василия Петровича [Твердова]»[9].

В ходе собрания, проходившего в непринужденной обстановке застолья, его участники «делят» уездные должности между собой. Благодаря благосудовским комментариям, Твердов и читатель, незнакомый с нравами российской (малоросской) провинции, получают возможность понять движущие мотивы участников выборов. Высказывания Благосудова о значении выборных должностей и декларируемые им критерии, которым должны соответствовать кандидаты на них, постоянно вызывают возражения собравшихся. В ходе этой полемики они предстают в самом невыгодном свете. В начале обсуждения неблагонамеренные дворяне ещё осмотрительны и осторожны. Вместе с тем, Староплутов не скрывает, несмотря на присутствие Благосудова, целей собрания: «И предмет, для чего я вас, милостивые государи, почтенные господа дворяне, пригласил, есть тот, что сообразя все обстоятельства, выгоды и нужды общие и каждого из нас в особенности, расположить на мере, кого в какую должность следует избирать. Начнем рассуждать с предводителя».

Недалёкий Драчугин вопрошает: «С губернского, что ли?» Староплутов без обиняков отвечает: «Нет, что нам нужды заботиться о том, что относится ко всей губернии? Будем думать о своих пользах». С ним соглашается Выжималов: «Вот что дело, так дело! Что нам рассуждать о тех должностях, кои вместо выгод влекут за собою издержки! Жалованья ни копейки, а чести вдоволь. Нет, это не наше дело». Однако Выжималов, рассуждая о качествах, необходимых уездному предводителю выражается осторожно: «Предводитель всему голова. Чтобы имел состояние, да и голова... У! тут надобно голову». Драчугин и тут более

[8] Там же. С. 36.
[9] Там же. С. 43.

откровенен: «Чтобы был сметлив, пролаза, служака и чтобы знал бумагу». Подводя итоги выдвижению на это место Кожедралова как наиболее достойного кандидата, Выжималов обращается к нему: «Всякого из нас делишки вам известны, бумаги не боитесь, а она вас боится»[10].

Далее обсуждают кандидатуру уездного судьи. И здесь под влиянием выпитого вина собравшиеся становятся уже более откровенными в своих высказываниях. Так, по мнению Староплутова, уездный судья «с первого взгляда должен тотчас смекнуть как повести дело, на курьерских ли отпустить, на долгих ли, или в передачу по справкам, а не то, за неимением документов, под спуд упрятать. Он первым отзывом своим о деле должен положить основание мнениям заседателей и секретаря, чтобы они не смели пикнуть в противоречие. Вот главнейшая его обязанность».

Градус цинизма, кажется, достигает апогея, когда при обсуждении двух кандидатов на должность исправника между ними устраивают аукцион: кто, став исправником, готов больше сделать в интересах участников «партии». Побеждает Забойкин: «Ну что! Семь бед, один ответ. Кроме всего, что приятель обещал, честное, благородное даю слово, не взыскивать вовсе недоимки, хоть губернатор распишись».

«Подтрусов. А отрешат? А под суд отдадут?

Забойкин. Да кнутом не высекут! Грамота меня защищает — я дворянин, а прочее всё готов терпеть для пользы общей. Секретарь губернаторский за мной потянет, его удовлетворю, вот меня и не отрешат. Под суд не я первый, не я последний. <...> Бейте по рукам, готов за вас терпеть!»

Однако саморазоблачение продолжается. Драчугин, проиграв «выборы» исправника, восклицает: «Послушайте, дайте же мне тёпленькое местечко, чтобы я не остался без службы? <...> Куда хотите, лишь бы что-нибудь перепадывало, только не в депутаты. <...> Давайте что помудренее, я охотник и знаю бумагу, да чтоб и на сапоги перепадывало. Вот жаль, что в казенной палате места не от выбора! Откупная и рекрутская части для меня нравились бы»[11]. Одну за другой как обременительные и не сулящие особых доходов Драчугин отвергает должности заседателей земского и уездного судов, заседателей гражданской и уголовной палат, а также заседателя в совестном суде. И, вдруг, неожиданно Драчугин заявляет: «Постойте, выбирайте в совестный суд, а оттуда уже я перейду в приказ». Он, видимо, рассчитывал занять должность дворянского заседателя приказа общественного призрения.

«Подтрусов: Что же ты нашёл путного в приказе?

Драчугин: В приказе? О-го-го-го! Дело мастера боится. А суммы? А выдача капиталов? А получение процентов? Тут в расчетах своя

[10] Там же. С. 47—51.
[11] Там же. С. 57—59.

рука владыка. Да и никто не поспорит, лишь бы скорее отпустили, да выдали квитанцию. Одна выдача сделает счёт».

Единственная загадка этой незамысловатой пьесы именно в том, почему собравшиеся дворяне столь чудовищно неприглядны и в то же время так откровенны и даже циничны в своих высказываниях в присутствии представителя другой «партии»? И впрямь, «да дворяне ли это?».

Причины столь неблагородного поведения гостей Староплутова разъясняет Твердову Благосудов: «Дворяне, но какие! Получив после родителей в наследство именье и невежество, живут в праздности, в пороках. Промотавшиеся из них должны были продать именья; новыми помещиками сделались выгнанные из службы приказные, крючкотворством своим награбившие большие деньги и происками получившие дворянское звание. Пришельцы сии возобладали в уездах над развратно-живущими дворянами, ввели свои правила, понятия, и таким образом все провождают жизнь без благородства, без чести и без ума, одни расточая, а другие награбливая имения». «Источник сему злу есть закоренелое нежелание доставлять детям воспитание», — заявляет Благосудов о причинах такого плачевного нравственного состояния, полагая, что лишь распространение образования среди дворянских детей позволит улучшить нравы. При этом он полон решимости и оптимизма: «Уже находим очень много в военных мундирах отличных судей, истребителей ябеды и защитников угнетаемых»[12].

Итак, Квитка противопоставляет дворян, выслужившихся из «приказных», а также бедных, необразованных потомственных дворян, выступающих своекорыстной шайкой, благонамеренным — родовитым и состоятельным помещикам, вышедшим в отставку в офицерских чинах.

«Неблагонамеренные» для реализации своих целей стремятся незаконным путём увеличить численность своей «партии». Наиболее простой и эффективный в тех условиях путь — наём «запасных», с которыми на ужине у Староплутова впервые столкнулся Твердов. Благосудов разъясняет неопытному товарищу, что Староплутов «кучами привозит так вообще называемых запасных, выдаёт им давно для сего случая изготовленные мундиры, одевает их уродами, — как вы сами видели — ведет их на выборы и там уже делает, что хочет». «В каждом почти уезде, — отмечает он, — есть подобный Староплутову, привезший запасных. Часто они разрушают друг другу планы, объявляют цену выше и вина доставляют вдвое, запасные передаются туда, оставив своего принцыпала, как они называют, без всякой жалости»[13].

[12] Там же. С. 65—66.
[13] Там же. С. 66—67.

Благодаря наличию нанятых Староплутовым «запасных» его гости полагают, что им без труда удастся провести на должности своих людей. Поэтому-то они и не скрывают от Благосудова своих планов.

Твердов же, глядя на откровенно холопское поведение «запасных», недоумевает: «Что это за шайка? Откуда эти запасные?» Благосудов со знанием дела поясняет: «По фамилиям дворяне, но коих род размножился. Часто несколько братьев и их дети, всего человек пятнадцать, имеют одного крестьянина и две десятины земли, что и называют деревнею. <...> Бесспорно, что они не имеют никакого права быть в собрании; но что же делать, когда само дворянство терпит их присутствие и допускает сии беспорядки?...»[14].

Однако в пьесе терпению пришёл конец, и отработанный годами механизм достижения нужного результата с помощью «запасных» не только дал сбой, но и был фактически уничтожен. Все началось с того, что на выборах губернский предводитель, как рассказывал жене донельзя огорчённый Староплутов, «прежде, нежели приступили к баллотировке, предложил разобрать, кто имеет право класть шар и кто нет». В итоге запасных удалили: «Тех уж как метлой помели. Нашли, что не служили офицерами, поместьев не имеют». «Ужасная революция!, — негодовал Староплутов. — Чем далее, тем хуже. Прежнее допущение всех подсудимых и привоз запасных вздумали назвать злоупотреблением». Самого Староплутова так же изгнали из дворянского собрания — за пребывание под судом. В результате, партия благонамеренных оказалась в большинстве, а предводителем был избран Твердов[15].

Избрание в уездные предводители незнакомого подавляющему большинству участников отставного офицера может показаться выдумкой автора. Однако обращение к архивным источникам обнаруживает, что Квитка описал один из широко распространённых вариантов выборов уездного предводителя дворянства, причём не только в глубинке. Так, в столичной Московской губернии в 1801—1802 гг. уездными предводителями были заочно избраны 5 человек, которые не только не имели связей с местным дворянством, но и не владели к моменту выборов никаким имением в этих уездах. Все избранные заочно в предводители были военные, дослужившиеся до генеральских и штаб-офицерских чинов: 2 генерал-майора, бригадир, к выборам уже подполковник (генерал-лейтенант) и лейб-гвардии капитан-лейтенант[16]. Заслуженные офицеры явно пользовались доверием в обществе. Не только Г.Ф. Квитка связывал ликвидацию злоупотреблений

[14] Там же. С. 67.
[15] Там же. С. 75—76.
[16] ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 170. Л. 125; Д. 174. Л. 187, 206, 306, 326.

со стороны служащих по дворянским выборам с избранием на ключевые должности отставных офицеров, эти же представления разделяло как столичное, так и провинциальное дворянство.

О противоборстве «партий» говорится и в комедии Квитки «Дворянские выборы, часть вторая или Выбор исправника». Для погружения читателя (зрителя) в атмосферу уездной предвыборной борьбы драматург использовал тот же приём, что и в первой пьесе. Действие происходит в той же губернии на новых выборах, спустя три года, а главным действующим лицом становится майор Скромов — бывший сослуживец Твердова, приехавший в губернский город не для того, чтобы участвовать в выборах, но с целью сватовства к падчерице помещика Ненасытина, занимающего должность исправника. Однако встреча с сослуживцем меняет его планы. За «голос» Скромова (точнее, за его «шар», так как баллотирование тогда осуществлялось не с помощью бюллетеней, а небольшими шарами) сразу же начинается борьба между «партиями». Ненасытин, один из лидеров неблагонамеренных, соглашался на брак Скромова с падчерицей лишь в случае своего переизбрания на должность исправника. Таким путём он рассчитывал заручиться поддержкой ещё двух избирателей. Твердов, стремясь привлечь Скромова на свою сторону, действует решительно и напористо. Без лишних объяснений он интересуется: «С тобой ли указ об отставке?»[17].

Простой вопрос, за которым многое стоит. У самого Твердова три года назад никто указом об его отставке не интересовался. Тогда допуск дворян к выборам осуществлялся на основе устного опроса: служил ли в обер-офицерском чине, владеет ли деревней? И такой контроль, основанный на заявлении самого дворянина, уже считался «революцией». Три года спустя собрание депутатов и предводителей, не довольствуясь устными заявлениями помещиков, рассматривает документы. Это свидетельствует о том, что в губернию, где происходят выборы, пришла имперская унификация на смену партикуляризму, при котором на окраинах существовали многочисленные отступления от общих правил проведения дворянских выборов. В частности, в Малороссии одним из таких отступлений был допуск к участию в губернских съездах шляхтичей, не владевших имениями и крепостными.

Твердова не останавливает отказ Скромова возвращаться на службу, он продолжает агитацию с тем же армейским напором: «Друг мой, ты ничего не знаешь... Здесь мерзость запустения. Слышишь ли в этих комнатах шум и крик? Это — называющиеся дворянами за пуншем назначают кого и куда выбрать из своего круга. Поедем скорей ко мне. Я тебя познакомлю с настоящим дворянством и ты, узнав положение уезда и намере-

[17] *Квитка-Основьяненко Г.Ф.* Указ. соч. С. 154.

нья наши, *отдашься в нашу волю* (курсив мой. — *А.К.*)»[18]. Таким образом, Твердов признает, что вопреки духу Жалованной грамоты дворянству, прямым указаниям закона и тексту присяги о беспристрастном выборе, он и его сторонники объединились в «партию» и будут придерживаться солидарного голосования. Более того, предводитель дворянства Твердов рекрутирует нового члена «партии», используя уязвимое место Скромова: он приглашает его в свой дом, обещая, что жена поможет придумать, как устроить свадьбу. Этот аргумент оказывается для влюбленного помещика решающим. В результате Скромов не только пополнил ряды «партии» Твердова, но и согласился баллотироваться на службу.

Партия жуликов и воров, по сравнению с прошлыми выборами, понесла заметные потери, лишившись двух лидеров. Кожедралов был сослан в Сибирь, а Староплутов, как находившийся под судом, не был допущен к выборам. Однако, если на прошлых выборах эта группировка состояла из 7 дворян, опиравшихся на 10 голосов «запасных», то три года спустя к ней примкнули ещё 6 помещиков, и теперь она насчитывала 11 человек. Правда, лишившись лидеров, неблагонамеренные утратили сплоченность, а некоторые из них даже намеренно пропускают первые дни выборов, когда проходили баллотирования на губернские посты. Непогода, мороз и сильная метель вынудила этих дворян остановиться в какой-то деревне, и они едва не опоздали к выборам на уездные должности, которые и составляли цель их участия в губернском собрании дворян. Как заявлял персонаж с характеристической фамилией Драчугин: «Вчера только лишь все премудрости кончены, губернского предводителя, да заседателей палатских, а сегодня наш праздник». При этом неблагонамеренные уже не пытались занять ключевые позиции в уезде, а только конкурировали между собой за наиболее выгодную должность главы уездной полиции («земского суда») — земского исправника, или капитана-исправника. «Эка, брат! —говорил протоколисту Плутовкину помещик Лупилин, — служишь давно протоколистом, а не знаешь, что исправничество важнее губернского предводительства; за исправничеством все гоняются, а прочие должности — вздор»[19].

Искатели этого «хлебного» места, позволявшего помимо жалованья легко получать почти «безгрешные доходы», всеми правдами, а точнее — неправдами пытались заручиться поддержкой избирателей. Некоторые даже пытаются подкупить одного из служащих, выполнявших вспомогательную работу на выборах. Протоколист Плутовкин берёт у многих дворян деньги за содействие в фальсификации голосования. Его логика проста: если победит хоть один из них, он

[18] Там же. С. 154—155.
[19] Там же. С. 132—133.

окажется в выигрыше, другим деньги вернёт, а третьим и вовсе постарается не отдавать. Потирая руки, Плутовкин сожалеет только о том, что его возможности стали меньше: «Бьются, сердечные, из последнего, все полагая, что могу также поворачивать ящиком, как бывало прежде. Не надобно выводить их из заблуждения...»[20]. Лупилину Плутовкин красноречиво рассказывал о приемах, позволявших канцелярским служителям помочь тому или иному кандидату: «Можно бы перед вашей баллотировкой в избирательном ящике оставить шаров десяток, да уж это слишком плоско; сведут итог и, по неверности, перебаллотируют, а это уж никуда не годится. Можно бы ваши избирательные шары, когда вынут из ящика, рассыпать, да собирая дополнить из рукава — и эта штука удавалась мне иногда; но время и люди теперь не те, строго уж очень придерживаются порядка; даже коснулись и к ящикам и так их устроили, что почти ничего не вымудришь. Прежде, бывало, нашему брату ничего не значило тряхнуть ящик и шары все скатывались по желанию, а чиновник сядет на шею дворян против их воли. Но... извольте, для вас как-нибудь смастерю...»[21].

Каждый из кандидатов в исправники, опираясь на имеющиеся в его распоряжении ресурсы, выбирает в пьесе ту тактику предвыборной борьбы, которая отражает его картину мира. Один из наиболее активных претендентов — помещик Лупилин работает с каждым потенциальным сторонником индивидуально. Он охотно даёт бедным дворянам деньги в долг, рассчитывая заручиться их поддержкой: «Вот у меня ещё шар прибавился. Семнадцать должников, семнадцать белых шаров... Кажется, что я исправник». «И вы в исправники? — спрашивает Лупилина разорившийся дворянин Проживайкин. — Извольте, вот рука, кладу шар белейший. Дайте же денег, хоть сколько-нибудь, пока»[22]. Так на смену прежней практике использования «запасных» приходит новая — подкуп мелкопоместных дворян. «Запасные» представляли собой массовку, специально нанятую на время проведения выборов за установленную плату. Обедневшие, необразованные шляхтичи, не имевшие даже мундира для участия в губернском съезде, в социальной иерархии стояли много ниже своего «принцыпала» и беспрекословно выполняли его указания. Спустя три года электоральная реальность стала сложнее. Лупилин никого не нанимает и не везёт на выборы. Дворяне, которых он считает своими сторонниками, самостоятельны и в социальном отношении равны Лупилину. Их отличает от него лишь уровень достатка, определяемый числом крепостных душ.

[20] Там же. С. 150—151.
[21] Там же. С. 134—135.
[22] Там же. С. 139—140.

Насколько эффективной была тактика вербовки сторонников из мелкопоместных должников? По словам А.И. Кошелёва, в 1820—1830-е гг. она позволяла одному из уездных предводителей дворянства Рязанской губернии регулярно побеждать на выборах: «Дворяне почти все были его должниками <...> На выборы он их возил на свой счет и вследствие того всегда был выбираем значительным большинством»[23].

Персонажа же Квитки — Лупилина, напротив, подстерегло фиаско: «О, да и катнули же меня: Верите ли? Один белый шар... И в том Грозин извинялся, что ошибкою положил».

«Драчугин. Это называется, вороные со звездочкою.

Лупилин. Буду помнить эту звездочку. В соседнем уезде много хохотали на мой счет... Странное дело! В уезде почти все мои должники, а никто не положил на меня белого шара».

Подобное поведения должников легко объясняет Подтрусов: «Боялись дать вам силу в руки ко взысканию с них долгов. Вы бы нас тогда не помиловали». Характерно, что Лупилин соглашается с этим доводом: «Это-то и заставляло меня искать должности. Уж дал бы им себя знать!»[24].

Почему в одном случае эта тактика работала, а в другом нет? Может быть, всё дело в избранной линии поведения? Вероятно, в сапожковском предводителе, скрытом Кошелёвым за инициалами С.И.Ш., бедные дворяне нашли своего настоящего покровителя, оправдывавшего их доверие. А в Лупилине его должники видели только состоятельного и своекорыстного помещика, заботящегося лишь о собственных интересах. Возможно и иное объяснение — разными были традиции в российской провинции и в Малороссии. Электоральное поведение малороссийского дворянства у Квитки опирается на ментальность мелкой шляхты, вынужденной лавировать между магнатами и живущей преданиями о сеймах. Сам автор придерживается иного объяснения: он ни разу не говорит о «сеймах» или «сеймиках». И всё же отсылки к польской традиции в комедии есть: во-первых, упоминание шляхты, во-вторых, именование патрона «принцыпалом», в-третьих, беспринципное поведение демонстрируют представители старшего поколения или местные захолустные помещики, которые нигде не учились, в армии не служили. Иначе говоря, носители старой, уходящей и локальной (в масштабах империи) политической культуры.

Более тонким тактиком, по сравнению с Лупилиным, проявил себя Ненасытин, служивший последние три месяца исправником. Он про-

[23] Русское общество 40—50-х годов XIX века. Ч. 1. Записки А.И. Кошелёва. М., 1991. С. 80—81.

[24] *Квитка Г.* Указ. Соч. С.202.

сил каждого дворянина положить за него шар, убеждая, что не будет служить, но ему важно посредством баллотирования получить одобрение дворянства. И этот подход приносит ему успех. «Как выбирать исправника без интриг! — рассказывал Ненасытин жене. — Всё желало, всё искало получить это место; были попойки, были заговоры, а я всё хитрил, как условились. Вот как дело дошло до баллотировки, я без стыда прямо — к ящику. Другие в таком случае отходят подалее, а я пошёл напролом. Совесть и стыд в сторону, — кому кланяюсь умильно, кому мигну, кого прямо прошу... Высыпали шары — куча! Предводитель мой встрепенулся, надулся и замолчал. Другие начали ворчать... Пустили Скромова, вот зятька нашего (щелкнув), бац! одним меньше. Вот предводитель бледнеет, смутился, — думаю от того, что майор да стал на запятках у меня, губернского секретаря... Пошли прочих катать; все ниже, ниже; некоторых искателей и к выборам не допустили. Как прочли список и начитали меня в исправники, так — веришь ли — все дворянство ахнуло, заговорило, зашумело. Я же, зная, что моего у меня никто не отобьет, поехал обрадовать тебя»[25].

Итак, порок торжествует. Честный и благородный дворянин терпит поражение, а побеждает хитрый, изворотливый, плутоватый и коррумпированный Ненасытин. Понятно, что николаевская цензура никогда бы не пропустила в печать пьесу с таким пессимистическим концом. Поэтому Квитка дописывает иной финал, в котором побеждает добро, а порок терпит крах. Справедливость торжествует не благодаря какой-то случайности или вмешательству небесных сил, а согласно мудрому закону. Над не слишком благородным провинциальным дворянством возвышается государственная власть в лице облечённого доверием монарха губернатора, стоящего на пути порока. Автор создаёт идеализированный образ начальника губернии, лишённого не только человеческих недостатков, но и профессионального отношения к делу. Любой губернатор был заинтересован в том, чтобы полиция и суды в уездах были наполнены деятельными, квалифицированными и бескорыстными чиновниками, желательно ещё и лично ему обязанными и преданными. С этим и было связано вмешательство губернаторов в ход выборов.

«Ведь как громом тебя прибью..., — сообщает Ненасытину Проживайкин.— Губернатор прислал предложение, чтобы тебя не выбирали, а буде пробаллотирован, так из списка исключить. <...> Только что ты уехал, получено от губернатора предложение, что по исследованию о сожжённых магазинах ты отдан под суд и в выборы не йдешь»[26]. Эта коллизия достаточно типична для выборов 1820-х гг. Кроме такого

[25] Там же. С. 195—196.
[26] Там же. С. 198.

превентивного «предложения», у губернатора был и другой официальный инструмент контроля над дворянскими выборами. Именно он утверждал избранных в должностях, отказывая тем, кто по закону не имел права баллотироваться: не представивших необходимых документов, не соответствовавших имущественному или служебному цензу, осуждённых и находившихся под судом и т.д.

Можно констатировать, что сюжет и коллизии пьес Квитка о дворянских выборах — не плод фантазии автора, а отражение электоральных практик дворянства. Существенно то, что в его комедиях изображены и те стороны поведения людей, которые не отразились в архивных документах. В канцелярских материалах мы не встретим сведений о переживаниях людей, подвергнутых баллотированию на должность, об их ожиданиях, волнениях, надеждах и разочарованиях, мотивах, побуждавших участвовать или не участвовать в выборах, претендовать на ту или иную должность. Всё это есть в беллетристике. В случае Квитка эти свидетельства особенно важны, поскольу он сам многократно баллотировался на различные должности.

Из официальных бумаг трудно, а часто и совершенно нельзя понять, как происходило формирование дворянских «партий». Что служило для этого основой: родственные связи, клановые интересы, отношения «патрон» — «клиент», групповые интересы, идеалистические представления об устройстве дворянского самоуправления? Мемуарные источники также молчат об этом или лишь глухо упоминают о предвыборных собраниях «партий». Если мы «снимем» художественный слой комедии, её сарказм и гротеск, то оказывается, что в одной из картин Квитка изобразил в подробностях механизм проведения предвыборного собрания «партии» неблагонамеренных. Описанная им «партия» была построена не на вождизме, не на клановых связях, но на совпадении групповых интересов и конвенциональном[27] принципе. Участники собрания свободно обсуждают кандидатов на должности, иногда даже представляющих свои «программы», заключают между собой соглашение о выдвижении от «партии» одного человека, договариваются о солидарном голосовании.

Из текста понятно, что эта неформальная группа сформировалась не на данном собрании, а раньше. «И той партии приехали?», — вопрошает Староплутов у Кожедралова. Формулировка вопроса свидетельствует, что обе «партии» действовали, как минимум, на предыдущих выборах. Несомненными лидерами «неблагонамеренных» выступают Староплутов, ветеран семи избирательных кампаний и организатор «партии», неоднократный участник выборов помещик Кожедралов, стремящийся через брак породниться со Староплуто-

[27] От конвенция — соглашение.

вым, и помещик Выжималов. Именно они по очереди предлагают кандидатов на должности и подводят итоги обсуждения. Выжималову очевидно не хватает организационных способностей, а возможно и финансовых ресурсов для сплочения «неблагонамеренных» после удаления от выборов двух первых лидеров группировки.

В комедиях Квитки вскользь обозначена ещё одна проблема, вовсе не отражённая в делопроизводственной документации, а именно — роль на выборах женщин-дворянок. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что главные отрицательные персонажи Староплутов и Ненасытин приезжают на выборы в сопровождении жен и воспитанниц (племянницы и падчерицы). О целях приезда женщин в первом случае говорит служанка Надежка: «Барыня приехала для закупок, а Анну Михайловну привезли как товар, чтобы лицем продать»[28]. Кроме того, жены Староплутова и Нанасытина контролируют организацию застолья сторонников мужа. Казалось бы, это всё классические цели приезда уездных дворянок в губернский город, известные по мемуарам. Между прочим, во второй пьесе Твердов также приезжает на выборы в сопровождении молодой супруги, роль которой, правда, не ясна. Но тот же Твердов говорит о роли жены земского исправника: «И как жена его помогает ему в отправлении должности обеими руками, то и она здесь». Далее выясняется, что супруги Ненасытины вместе выработали тактику борьбы на выборах («а я всё хитрил, как условились»). После отстранения её мужа от выборов Матрёна Спиридоновна проявляет даже больше воли к борьбе, чем он сам: «... я перед всем светом буду кричать: как мог губернатор вмешиваться в дворянские дела? Это ему запрещено. Да как он смел нас обижать? Просьбу, Демьян Терентьевич, сейчас подай на него, просьбу!»[29].

Наконец, приёмы фальсификации результатов голосования, зафиксированные и в официальном делопроизводстве, переданы у Квитки с такими подробностями, которые позволяют лучше понять особенности баллотировки шарами. Среди них были и оригинальные, фиксация которых как факта правонарушения была весьма затруднена. Самым эффективным способом являлась тряска «ящика», при которой шары скатывались из неизбирательной части в избирательную, что было возможно из-за низкой перегородки между отделениями. При известной ловкости рук (быстрое движение вверх при одновременном наклоне ящика) это было абсолютно безопасно для манипулятора. Вброс шаров — тогдашних «бюллетеней» — не в процессе баллотирования, а при вынимании (рассыпать и дополнить из

[28] *Квитка-Основьяненко Г.Ф.* Указ. соч. С. 5.
[29] Там же. Л. 154, 199.

рукава), удавался лишь при неискушённости и доверчивости избирателей.

Эти и другие приёмы изображаются драматургом как оставшиеся в прошлом. Плутовкин сетует на то, что и люди стали не те, и ящик усовершенствовали. Увы, оптимистическим ожиданиям Г.Ф. Квитки не суждено было сбыться. Да, у Плутовкина номер не прошёл, но у его реальных прототипов подобные номера порой проходили, и много лет спустя вновь выявлялись, казалось, уже забытые приёмы фальсификаций. Так, в Москве на дворянских выборах 1863 г. в одном из ящиков оказалось 56 лишних шаров. Условия для подтасовки итогов голосования были созданы решением собрания подсчитывать только избирательные баллы[30]. А сколько было подобных фальсификаций, о которых мы никогда не узнаем?!

Никакие законы, технические усовершенствования избирательной урны или процедуры голосования не меняют природы людей. Должностные лица, которым доверено наблюдать за соблюдением закона, как бы они ни назывались: предводитель дворянства или председатель Центризбиркома, не всегда способны противостоять соблазну «тряхнуть ящик».

[30] ЦИАМ. Ф. 380. Оп. 1. Д. 75. Л. 1—3.

А.Е. Иванов

Профессорский институт (1827 – 1838 гг.)

Профессорский институт был создан под эгидой Министерства народного просвещения в виде структурного подразделения германизированного Дерптского университета для централизованной подготовки университетских преподавателей. Идея его организации в качестве всероссийской докторантуры принадлежала дерптскому профессору физики академику Г.Ф. Парроту, стремившемуся вывести императорские университеты из глубочайшего кризиса, в котором они пребывали в конце царствования Александра I.

21 октября 1826 г. Паррот подал на благоусмотрение Николая I проект полного обновления и бесперебойного пополнения профессорско-преподавательского корпуса собственно русских университетов — Московского, Казанского и Харьковского (немецкий Дерптский и польский Виленский не брались в расчёт как самодостаточные). О Петербургском университете Паррот писал, что не надеется «привести его в цветущее состояние»[1]. По мнению академика, число кафедр в каждом из трёх университетов необходимо было увеличить до 32-х, соответственно до такого же числа возрастал и штат ординарных профессур. При этом предлагалось упразднить штатную преподавательскую должность адъюнкта как «совершенно бесполезную», а экстраординарную профессуру сохранять только в тех случаях, когда «нельзя для какой-нибудь науки отыскать учёного, имеющего в полной мере все качества, нужные преподавателю»[2].

---

[1] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения Т. II. Отд. 1-е. Изд. 2. СПб., 1873. Стб. 96—101. Студент выпускного курса открытого в 1819 г. Петербургского университета А.В. Никитенко, которого попечитель Петербургского учебного округа К.М. Бороздин познакомил с проектом Паррота, эмоционально точно воспроизвёл в дневнике отношение рядового универсанта к данному документу: «Все университеты в России ничтожны и бесполезны в своём настоящем виде. Причины сего в том, что они не имеют хороших профессоров. Чтобы водворить в России просвещение, надо уничтожить сию причину, т.е. всех профессоров в российских университетах удалить и заменить их новыми, более достойными сего звания, но непременно из русских... Оставить только Московский, Харьковский и Казанский, ибо С.-Петербургский, по мнению Паррота, однако, недоказанному, совершенно бесполезен» (*Никитенко А.В.* Дневник. Т. 1 (1826—1857). М., 1955. С. 63).

[2] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения Т. II. Отд. 1-е. Стб. 96.

Согласно проекту Паррота, каждому из трёх «русских» университетов предстояло отобрать «между лучшими по способностям, успехам и нравственности» студентами по 52 кандидата для подготовки к преподаванию в университете в должности ординарного профессора. Многочисленность кандидатов в профессора объяснялась тем, что Паррот учитывал как их естественную убыль («некоторые из воспитанников могут умереть»[3]), так и необходимость «предоставить себе хотя отчасти возможность выбора» для отсева «недостойных» в пользу «отличнейших», которым и предназначались университетские кафедры. Оказавшиеся вне профессорского поприща, полагал Паррот, могли бы занять должности директоров и учителей гимназий, или «избрать иной род службы по своему произволу»[4]. Отобранным кандидатам предстояло бы пятилетнее обучение в Дерптском университете, известном достаточно высокой для того времени квалификацией его профессоров и своими тесными связями с европейскими научными центрами, особенно германскими, а также двухлетняя стажировка в университетах иностранных, «в коих науки более процветают»[5].

По замыслу Паррота, подготовленное таким образом новое поколение учёных могло бы в каждом университете сменить всех старых преподавателей, оказавшихся на обочине европейского научно-педагогического процесса, за исключением одного ректора, «дабы молодые профессора имели время узнать дела правления»[6]. Как считал

---

[3] Предположение Г.Ф. Паррота оказалось пророческим. За время существования Профессорского института 1828—1838 гг. трое его питомцев скончались до окончания курса в Дерптском университете (*Петухов Е.В.* Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за сто лет его существования (1802—1902). Т. 1. Юрьев, 1902. С. 492, 497).

[4] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения Т. II. Отд. 1-е. Стб. 96, 97. «Профессоры, — считал Паррот, — могут быть уволены с честью, с содержанием в виде пенсии, даже с дозволением пользоваться оной и при поступлении на другие места» (Там же. Стб. 100).

[5] Там же. Стб. 97, 99. «В сём отношении, — полагал автор проекта, — известны: Берлин — медицинскими и техническими науками; Гёттинген — чистой математикой, философией, юриспруденцией, политическими науками, филологией и словесностью вообще; Париж — естественными и техническими науками». Паррот рассчитывал на то, что «посвятившие себя технологии проведут год в Берлине и год в Париже; избравшие ветеринарную медицину — оба года в Копенгагене, желающие усовершенствоваться в науках о сельском хозяйстве — в Теэровом институте близ Берлина; приготовляющиеся к преподаванию военных наук — в Париже; минералоги — первый год во Фрейберге, второй — в Париже; русские литераторы — год в Гёттингене, для немецкой и английской литературы, и год в Париже, для литературы французской и итальянской» (Там же. Стб. 98). После Июльской революции 1830 г. в документах о заграничных командировках воспитанников Профессорского университета «неблагонадёжный» Париж был заменён Веной (*Петров Ф.А.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 3. М., 2003. С. 29).

[6] Там же. Стб. 100.

Паррот, немалые финансовые затраты, необходимые для осуществления его проекта, не так уж велики, если учесть, что университеты в Москве, Харькове, Казани за 25 лет «не произвели... класса природных русских профессоров, истинных, достойных сего имени учёных»[7].

Столь радикальная оценка Парротом качества профессорско-преподавательского корпуса университетов, изменить который могла только полная и быстрая смена «старого» поколения наставников новым, вызывала благожелательный отклик в молодой части академического сообщества, грезившей обновлением обучения и научной деятельности по европейской модели. «Паррот, несомненно, прав, — в 1828 г. писал в дневнике А.В. Никитенко, — что у нас мало хороших профессоров, частию по причине равнодушия к науке, как говорит Шторх, а более потому, что их самих худо учили»[8].

Однако члены Комитета по устройству учебных заведений ведомства народного просвещения, по воле императора 3 сентября 1827 г. обсуждавшие предложения Паррота, отнеслись к ним неоднозначно. Председатель Комитета, министр народного просвещения А.С. Шишков, М.М. Сперанский и П.А. Строганов нашли проект «не заслуживающим дальнейшего рассмотрения». Они считали, что его реализация бросит тень на всю предшествующую правительственную университетскую политику, которая требует лишь устранения последствий произвольных распоряжений попечителей М.Л. Магницкого и Д.П. Рунича. Соответственно предлагалось ограничиться постепенной, по мере образования вакансий, заменой университетских профессоров питомцами Главного педагогического института, прошедшими стажировку за границей[9].

Большинство членов Комитета, в том числе и будущие министры просвещения кн. К.А. Ливен и С.С. Уваров, также считало проект Паррота избыточно радикальным, а полную смену профессоров «излишней» и неисполнимой, поскольку для этого потребовалось бы срочно рекрутировать около 50 молодых профессорских кандидатов, что не представлялось возможным. Однако комитетское большинство нашло «удобоисполнимой» основную идею проекта и высказалось в пользу централизованной, в относительно сжатые сроки, подготовки молодых профессоров в количестве, необходимом для кардинального обновления преподавательского состава университетов (точно определить его в ходе обсуждения так и не удалось)[10]. Получило поддержку в Комитете и пред-

---

[7] Там же.

[8] *Никитенко А.В.* Дневник. Т. 1. 1826—1857. С. 63.

[9] *Тамул В.Э.* Профессорский институт и международные связи Тартуского университета в первой половине XIX в. Дис. ... канд. ист. наук. Тарту, 1988. С. 27.

[10] *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. СПб., 1902. С. 186—187.

ложение Паррота сосредоточить подготовку новых профессоров именно при Дерптском университете. Наиболее последовательный адепт проекта — президент Академии наук А.К. Шторх считал его «без сомнения, лучшим между русскими университетами», преподающих в нём профессоров — «весьма деятельными», а студентов — «примерными». Преподавание в Дерпте на немецком языке он также считал полезным для подготовки будущих «профессорантов» (по выражению В.Э. Тамула) к предстоящей стажировке в Германии[11]. При этом члены Комитета решили не просто направить в Дерпт «профессорских стипендиатов», как рекомендовал Паррот, а сосредоточить их обучение в особом Институте, специально организованном для этого при университете и названном, по предложению товарища министра народного просвещения Д.Н. Блудова «Профессорским»[12]. Характеризуя возникшие в Комитете разногласия, о которых он знал от К.М. Бороздина, А.В. Никитенко проницательно записал в дневнике: «Последние (большинство. — *А.И.*), очевидно, стремятся сразу на целый век продвинуть в России ход просвещения; первые же (Шишков, Сперанский и Строганов. — *А.И.*) хотят на настоящем порядке вещей основать постепенное приближение к оной»[13].

Кардинально переработанный в Комитете по устройству учебных заведений план Паррота, сохранив имя своего инициатора, лёг в основу законопроекта о «Профессорском институте при Дерптском университете». 14 октября 1827 г. он был утверждён императором с резолюцией: «Профессоры есть достойные, но их немного, и нет им наследников; их должно готовить, и для сего человек 20-ть послать на два года в Дерпт, а потом в Берлин или Париж, и не одних, а с надёжным начальником на два же года; всё сие исполнить немедля». С этой резолюции и началась история Профессорского института[14].

Срочная разработка порядка набора «питомцев» Профессорского института была возложена на Главное правление училищ Министерства народного просвещения. Ему предстояло избрать «отличнейших студентов русских университетов» (Московского, Петербургского, Казанского, Харьковского), из которых действительно могли бы со временем выработаться люди науки, «достойные чести занять те кафедры, на коих по состоянию высших учебных заведений наших наиболее желательно видеть искусных и именно русских профессоров»[15]. При этом

[11] *Петухов Е.В.* Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет за сто лет его существования. С. 488.
[12] *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 49.
[13] *Никитенко А.В.* Указ. соч. С. 61—62.
[14] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения Т. II. Отд. 1-е. Стб. 107.
[15] Там же. Стб. 109.

попечителям учебных округов и ректорам разъяснялось, что корпус будущих профессоров следует формировать не только из «казённых» (получающих государственное содержание) и «своекоштных» студентов, как предлагал Паррот, но «даже из “кандидатов” и магистров, кои изъявят желание посвятить себя службе по учебной части».

Кроме того, было признано целесообразным продлить курс обучения кандидатов в профессора в Дерптском университете до 3-х лет «для лучшего усовершенствования студентов в науках вообще, так и в знании немецкого языка». Учитывая же «особенное попечение правительства», предлагалось обязать выпускников Института прослужить по учебному ведомству «по крайней мере» 12 лет со времени занятия университетской кафедры. Под «особым попечением правительства» подразумевался, помимо прочего, значительный годовой оклад содержания, предназначенный для готовящихся к профессуре — в 1200 руб.[16] Эта сумма была установлена в результате торга между администрацией Дерптского университета и Министерством народного просвещения, изначально ориентировавшимся на сумму, указанную Парротом — 850 руб. в год. В университете же сочли расчёт академика «недоразумением», возникшим из-за незнания им реального годового прожиточного минимума студента в Дерпте[17]. В конце концов, Министерство уступило. 31 июля 1828 г. царь утвердил все предложения Главного правления училищ, наложив резолюцию: «Согласен, но с тем, чтобы непременно были все природные русские»[18].

К будущим «питомцам» Профессорского института предъявлялись высокие требования: «1) Беспорочная надёжная нравственность; 2) природные дарования, любовь и прилежание к наукам; 3) достаточные сведения вообще, и особенно в избранной каждым части учения; в том числе для всех и непременно основательное знание латинского языка и словесности латинской, также языков французского и немецкого, а для тех, кои посвящают себя филологии, сверх того и языка греческого; 4) способность правильно и свободно выражать свои мысли и другие нужные в преподавателе качества, и, наконец, 5) надёжное состояние здоровья»[19].

Ограничив число обучающихся в Профессорском институте всего двумя десятками человек (Паррот предусматривал 156) Главное прав-

[16] Там же. Стб. 131—134.

[17] Квартира — 200 руб. асс.; обед — 150 руб.; завтрак и ужин — 150 руб.; верхняя одежда — 250 руб.; бельё — 50 руб.; освещение — 25 руб.; книги, инструменты и т.д. — 200 руб.; письменные принадлежности — 25 руб; «гонорар» за слушание лекций — 15 руб. Всего — 1 200 руб. ассигнациями (*Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 72).

[18] *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 132.

[19] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения Т. II. Отд. 1-е. Стб. 110.

ление училищ Министерства народного просвещения предписывало «местным начальствам», «не определяя заранее числа студентов, кои могут из каждого университета поступить в Институт, только требовать от попечителя и университетских советов, под самою строгою ответственностью, списка отличнейших между довершившими или довершающими курс учения по разным факультетам». Из них-то и предполагалось посредством «строгого испытания» отобрать двадцать наиболее даровитых претендентов[20]. Под «строгим испытанием» подразумевалось не только экзаменование в Академии наук, но и предварительное отборочное собеседование кандидата с профессорами командирующего университета и заключительное, по прибытии в Дерпт, с профессором, преподающим «ту науку, коей студент желает посвятить себя»[21].

Вопреки расчётам учебного ведомства, комплектование контингента слушателей Профессорского института натолкнулось на непредвиденные препятствия, обстоятельно проанализированные в диссертации В.Э. Тамула. Первым из них он называет «внутреннее сопротивление» университетов, которые, конечно, едва ли могли согласиться с убийственной оценкой их профессорско-преподавательского корпуса Парротом и неохотно расставались с «лучшими» своими питомцами. Не было никаких гарантий, что они вернутся обратно в качестве профессоров, а между тем университетское начальство остро ощущало дефицит учителей в учебных округах, которыми оно до 1835 г. управляло. В результате подбор кандидатов для командирования в Дерпт везде превращался в многоходовую комбинацию, в которую вовлекались студенты разных курсов, дипломированные выпускники, кандидаты и магистры. В Харькове этот процесс затянулся до конца осеннего семестра 1828 г. В 1839 г. Паррот констатировал, что его план был разрушен этим «упрямством»[22].

Другим препятствием стало нежелание студентов ехать в Дерпт из-за неуверенности в преимуществах научной деятельности. Направление в Профессорский институт удлиняло срок обучения, что само по себе не вызывало энтузиазма и, главное, откладывало поступление на службу, тогда как обычно выпускники университета сразу же по получении диплома начинали делать карьеру, со всеми вытекающими преференциями в виде чинопроизводства, наград за выслугу лет, материально-бытовых приращений и выгод[23]. Ссылки командируемых на слабое здоровье, видимо, также не следует расценивать только как благовидный предлог, помня о кончине слушателей Института

[20] Там же. Стб. 109.
[21] Там же. Стб. 135.
[22] *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 53.
[23] Там же.

П.И. Шкляревского (1830 г.) и С.Р. Ростовцева (1834 г.) от туберкулёза, П.П. Шрамкова — от холеры, а также отчисление по нездоровью А.Н. Шуманского (1829 г.) и Г.И. Лапшина (1835 г.)[24].

Большую роль в принятии решения играло и мнение родителей, с которым дети безоговорочно считались. Так, Н.И. Пирогов укрепился в своём намерении отправиться в Дерпт, только получив «благословение матушки»[25]. Далеко не все родители соглашались отпускать своих отпрысков на пять лет в чужие края, тогда как эти годы можно было посвятить службе или домашним делам. Так, например, могли рассуждать близкие кандидата права Харьковского университета Я. Скляревича. Дав в 1828 г. согласие на профессорское стипендиатство в Дерпте, он «задержался» в родительском доме в Белополье. Командированный за ним университетский экзекутор вернулся с известием, что родители не отпускают сына в Дерпт. С них решено было взыскать 65 руб. 60 коп., потраченных на поездку курьера[26].

Нередко отказывавшиеся от учёбы в Профессорском институте ссылались на незнание немецкого и французского языков. Этим, в частности, воспользовался А.В. Никитенко, получив соответствующее предложение от своего покровителя К.М. Бороздина. Попечитель, впрочем, готов был урегулировать эту проблему на «высочайшем» уровне[27], и не только из симпатии к способному молодому человеку, но и, видимо, с учётом сложностей, возникших при выявлении желающих отправиться в Дерпт. Всё это привело к тому, что правительству пришлось экстренно, по ходу дела, смягчать узаконенные «высочайшими» резолюциями требования, в частности, условие непременной природной русскости командируемых. Сам император вскоре стал толковать его расширительно: «Необходимо также, чтобы избираемые были русские или хотя иностранцы по происхождению, но родившиеся, воспитанные в России и русские подданные»[28]. Согласно духу этой установки теперь разрешалось направлять в Институт и представителей сперва виленского, а позже и дерптского университетов.

Иной раз приходилось смотреть сквозь пальцы и на очевидные пробелы в общеобразовательной подготовке кандидатов, командируемых в Дерпт, в том числе и на слабое знание ими немецкого и французского языков. Впрочем, изначально плохо владевшие ими выпускники ме-

---

[24] Там же.

[25] *Пирогов Н.И.* Сочинения. Т. 1. СПб., 1900. С. 322.

[26] *Багалей Д.И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам. Ч. II (1815—1835 гг.)) // *он же*. Избранные произведения. Т. 4. Харьков, 2005. С. 712.

[27] *Никитенко А.В.* Указ. соч. С. 61—62.

[28] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения Т. II. Отд. 1-е. Стб. 110.

дицинского факультета Харьковского университета Ф.И. Иноземцев и А.М. Филомафитский, «распределённые» по окончании Профессорского института в Московский университет, заняли в нём ведущее положение среди коллег-медиков[29]. Н.И. Пирогов также вспоминал, что ехал в Дерпт с «весьма ничтожным запасом сведений», притом «более книжных, тетрадочных, а не наглядных, не приобретённых под руководством опыта и наблюдения...». «В течение всего университетского курса, — признавался он, — не прочёл ни одной научной книги, ни одного учебника, что называется, от доски до доски, и то урывками, становясь в пень (так в тексте. — *А.И.*) перед непонятными местами»[30]. Не без комизма он описывал в мемуарах отборную беседу с профессором Е.О. Мухиным на медицинском факультете в Москве. Поскольку, отмечал он, «для профессора прежде всего необходимо иметь громкий голос и хорошие дыхательные органы, то предварительное испытание и должно было решить вопрос: в каком состоянии обретаются мои лёгкие и дыхательное горло, ...Ефрем Осипович заставил меня громко, не переводя духа, прочесть какой-то длиннейший перевод из изданной им физиологии Ленгоссэка, что я и исполнил вполне удовлетворительно»[31].

Разнообразные послабления в требованиях, конечно, ускорили процесс формирования микроскопического по численности контингента учащихся Профессорского института, но не помогли вовлечь в него оставленных при университетах для подготовки к профессорскому званию кандидатов и магистров, а также студентов, уже окончивших курс. Подавляющее их большинство вовсе не вдохновляла перспектива возвращения, как им представлялось, на долгие три года на опостылевшую студенческую скамью в германизированном Дерптском университете. Но ещё больше их отпугивала кабальная обязательность 12-летней отработки казённого содержания[32].

«Я люблю науку и жажду познаний, но не в качестве ремесленника, — 16 октября 1827 г. писал в дневнике Никитенко, получивший от Бороздина приглашение продолжить учёбу в Профессорском институ-

[29] *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 3. С. 362.
[30] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 321.
[31] Там же. С. 323, 324.
[32] *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 3. С. 30, 362. Каждый поступавший в Профессорский институт должен был подписать следующий документ: «Я, нижеподписавшийся, даю императорскому... университету сию подписку в том, что ежели я буду удостоен быть посланным для усовершенствования в моих познаниях на три года в Дерптский университет и на два года за границу на казённом иждивении, то после сего обязываюсь прослужить 12 лет в университете — Московском, Петербургском, Казанском или Харьковском, считая с того времени, когда займу кафедру в одном из этих университетов в удостоверение чего подписываюсь» (*Багалей Д.И.* Указ. соч. С. 712).

те, — а главное, не могу примириться ни с чем, что хоть сколько-нибудь отзывает закрепощением себя. Раны от неволи ещё слишком свежи во мне[33] для того, чтобы я добровольно согласился ещё раз испытать её на себе, хотя и в смягчённом и облагороженном виде. Соблазн усовершенствоваться в Германии, конечно, велик, но я предпочитаю свободно располагать своей будущностью в России»[34]. Не исключено, что этими же соображениями, в ряду прочих, мог руководствоваться и другой «вольноотпущенник» с университетским образованием — М.П. Погодин, также отказавшийся от учёбы в Профессорском институте.

При этом сама по себе учёная карьера мало привлекала среднестатистического студента, независимо от его сословного происхождения, поскольку путь учёного к вершинам успеха был многотруден, долог и не всегда безопасен, на что указывали драматические события в университетах, особенно в Петербургском и Казанском, в конце царствования Александра I. «Удивляюсь такому народу! — недоумевал в письме к правителю канцелярии попечителя Харьковского учебного округа О.В. Склабовскому ректор Харьковского университета П.М. Кронеберг. —Предпочитают томиться всю жизнь в тесном безвкусном звании уездного учителя! Не хотят, не желают пробудить душу свою и освободиться от пагубной дремоты»[35].

Приходилось буквально заманивать студентов радужными перспективами пребывания в Европе по завершении курса в Профессорском институте, как это делал, например, профессор анатомии Московского университета М.Я. Мудров, имевший разнообразный опыт учёбы за границей. Н.И. Пирогов вспоминал, что на одной из лекций тот «ни с того, ни с сего начинает нам повествовать о пользе и удовольствии путешествий по Европе, описывать восхождение на ледники альпийских гор, рассказывать о бытье-житье в Германии и Франции, о пуховиках, употребляемых вместо одеял немцами и проч., и проч.». После этой неожиданной прелюдии, длившейся «битый час», он наконец оповестил слушателей о том, что «по высочайшей воле, приглашаются желающие из учащихся в русских университетах отправиться для дальнейшего образования за границу»[36].

Попечитель Харьковского учебного округа А.А. Перовский, способствуя отправке в Дерпт оставленных при местном университете кандидатов и магистров, распорядился снабдить их необходимыми «для из-

[33] «Отпущенник», сын крестьянина гр. Шереметева, А.В. Никитенко имел в виду проведённые в крепостной неволе годы.
[34] *Никитенко А.В.* Указ. соч. С. 62
[35] *Багалей Д.И.* Указ. соч. С. 712.
[36] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 319.

учения иностранных языков книгами»[37]. Но и это не помогло: все они дружно отказались ехать. «Охотники» же из студентов в большинстве своём «не могли удовлетворить тем строгим требованиям, которые к ним предъявлялись в отношении подготовки по предметам и языкам, в отношении нравственности и здоровья». Немногие прошедшие сквозь испытательное сито собеседований с профессорами не получили родительского благословения на поездку в Дерпт[38]. В результате, Харьковскому университету не удалось поначалу выдвинуть ни одного кандидата, достойного стать слушателем Профессорского института, что вызвало царское неудовольствие. «Довольно стыдно Харьковскому университету, — заметил император, — что ни одного не нашлось кандидата на полезную службу». Получив такой выговор, учебная администрация отыскала в университете 29 человек студентов, согласившихся ехать в Дерпт, но из них только 6 (трое «казённокоштных» и трое «своекоштных») достойно выдержали экзамен и получили от инспекции положительные аттестации об их поведении. То, что все шестеро были студентами, заставило ректора Харьковского университета Кронеберга усомниться в их возрастной зрелости и готовности стать полноценными слушателями Профессорского института. К тому же, не все они, как выяснилось, горели желанием экзаменоваться в Академии наук. Свои сомнения на этот счёт ректор изложил в письме к правителю канцелярии попечителя Склабовскому: «...Не мешало бы им окончить прежде полный курс здесь; некоторые бы из них подросли не только умом, но и телом; например, Булычёв, который не больше ростом моего 12-летнего сына. Боровиковский переменил “право” на “философию”, но и от философии уже, и от профессуры отказывается...»[39].

Видимо, разделяя ректорские сомнения, совет счёл возможным отправить в Дерпт только Ф.И. Иноземцева и П.И. Котельникова, присоединив к ним уже окончивших курс и решивших стать профессорами физиолога А.М. Филомафитского, фармаколога П. Шрамкова и политэконома Я. Скляревича, впоследствии уклонившегося от командировки. Успешно сдав экзамены в Академии наук, четверо харьковчан с опозданием, в конце «летнего» семестра, приступили к занятиям в Профессорском институте.

Своими сложностями сопровождалось выявление достойных «профессорских кандидатов» и в прочих университетах. В Москве, например, в их число администрация первоначально включила 39 человек: 3 магистров, 19 кандидатов, 9 лекарей и только 7 студентов[40].

[37] *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 3. С. 362.
[38] *Багалей Д.И.* Указ. соч. С. 711.
[39] Там же. С. 711—712.
[40] *Насонкина Л.И.* Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 88; *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 3. С. 31.

Все магистры — математик Н.Е. Зернов, известный «дарованиями, успехами и результатами» историк М.П. Погодин, правовед Н.С. Васильев — сочли ниже своего академического достоинства на протяжении трёх лет наравне со студентами и только что окончившими университет вновь слушать лекции и подвергаться экзаменационным испытаниям. Они не прогадали: все трое вскоре и без того стали профессорами родного университета[41]. Отправиться в Дерпт соглашались 10 человек, из которых шестеро «лучших» выдержали экзамен в Академии наук (по терапии — Г.И. Сокольский, по ботанике — И.О. Шиховский, по хирургии — Н.И. Пирогов, по акушерству — лекарь П.Г. Корнух-Троцкий[42], по римскому праву — П.Г. Редкин, по восточным языкам — Н.Г. Коноплёв). Но в Дерпт поехали только пятеро, поскольку Коноплёв был откомандирован для усовершенствования в восточных языках в Петербургский университет[43], где он числился при этом учащимся Профессорского института.

Администрация «молодого» Петербургского университета намеревалась направить в Дерпт шесть человек из 19 кандидатов первого, 1823 г., выпуска. Однако никто из них такое предложение не принял, не пожелав «воспользоваться представляющейся возможностью расширить и усовершенствовать свои научные познания». Пришлось посылать в Профессорский институт студентов: одного с III курса и 5 первокурсников, «одобренных профессорами». Все они благополучно прошли через «предварительное испытание» в Академии наук и были найдены «весьма надёжными». По свидетельству члена-корреспондента Академии В.В. Григорьева, некоторые из них были признаны даже обладающими «отличными познаниями не только по части, коей они себя преимущественно посвящают, но и по многим другим»[44].

---

[41] *Петров Ф.А.* Указ. соч. С. 30.

[42] Н.И. Пирогов вспоминал, что в Московском университете Корнух-Троцкий был известен «за хорошего ботаника», но собравшись в Дерпт, решил переквалифицироваться, «рассудив, как он сам сознавался, что ботаника не накормит, он выбрал для занятий предмет более прибыльный» (*Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 332). Но, вероятно, научные интересы всё же возобладали над житейско-практическими, так как в Профессорском институте он числился как будущий профессор ботаники. Не исключено, что способствовали его дерптские учителя.

[43] *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 3. С. 30.

[44] *Григорьев В.В.* Императорский Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка, составленная по поручению Совета университета. СПб., 1870. С. 86. За достойно подготовленных «профессорских кандидатов» попечителю Петербургского учебного округа было объявлено «монаршее благоволение», а профессорам университета — благодарность Министерства народного просвещения (Там же. С. 86). В этом В.В. Григорьев видел доказательство того, что Петербургский университет, при всём своём «упадке», стоял в то время «не ниже сотоварищей своих» (Там же. С. 85).

В июне—сентябре 1828 г. с большим трудом был сформирован первый призыв[45] отважившихся пройти через экзаменационные испытания в Академии наук, чтобы стать питомцами Профессорского института при Дерптском университете. Согласно официальным данным, таковых, в общей сложности, собралось 28 человек[46] (10 из них — из Московского университета)[47].

Что же побуждало этих молодых людей войти в двадцатку избранных для учёбы в Профессорском институте? Во-первых, несомненно стремление в кратчайшие сроки стать полноправными членами университетской корпорации. Во-вторых, благотворная для начинающего учёного возможность пройти подготовку в Дерптском университете, который «достиг небывалой ещё научной высоты»[48], и завершить её в университетах Германии. В-третьих, беспрецедентно комфортные условия обучения: 1 200 руб. годовой стипендии, бесплатная квартира, казённое обмундирование, жалование адъюнкта. Происходивший из мелкочиновничьей семьи Н.И. Пирогов главной причиной своего моментального решения ехать в Дерпт называл «семейное положение». «Оно нередко меня тяготило, — писал он в своих мемуарах. — Мне уже 16 лет, скоро будет 17, а я всё на руках бедной матери и бедных сестёр. Положим, получу и степень лекаря, а потом что? Нет ни средств, ни связей, не найдёшь себе и места. *В то же время было неотступное желание учиться и учиться* (выделено мной. — *А.И.*)»[49].

Все прибывшие в Петербург конкурсанты прошли через совсем не «формальные», как утверждает В.Э. Тамул, испытания в семи академических комиссиях по основным фундаментальным наукам и вспомогательной — по латинскому, немецкому, французскому языкам. Экзаменовали их 23 профессора и академика под наблюдением Комитета об устройстве учебных заведений. 18—22 июня экзаменовались только москвичи, петербуржцы и виленцы, так как харьковчане не успели ещё прибыть в столицу. 15 человек успешно выдержали экзамен: 13 из них были признаны «весьма надёжными», двое — «надёжными». Как вспоминал аттестованный по второй категории Н.И. Пирогов, основной «лекарьский экзамен» прошёл для него «очень легко, даже легче обычного, весьма поверхностно, может быть, потому, что

[45] Указ о втором наборе в Профессорский институт был издан 16 марта 1833 г.

[46] О лицах, командированных Министерством народного просвещения за границу для приготовления к званию профессоров и преподавателей с 1808 по 1860 год (далее — О лицах, командированных...) // Журнал Министерства народного просвещения. 1864. № 2. С. 340.

[47] *Насонкина Л.И.* Указ. соч. С. 89.

[48] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 323.

[49] Там же. С. 319.

назначение в кандидаты Профессорского института считалось уже эквивалентом лекарского испытания»[50].

Восемь экзаменовавшихся оказались «ненадёжными»[51]. Пять из них были москвичами, в том числе — П.Г. Редкин. «Его несчастного, — писал в мемуарах Н.И. Пирогов, — отделал тогда академик Грефе (античник. — *А.И.*) напропалую и дал такой строгий отзыв, что решили не посылать». Однако Редкин не подчинился этому «варварскому решению» и отправился в Дерпт «своекоштно», но не «на свой счёт», как полагал Пирогов, а на счёт графа А.Г. Кушелева-Безбородко[52]. Вместе с зачисленными в Профессорский институт он приступил к занятиям на правах «вольнослушателя», а в 1829 г. был произведён в полноправные «казённокоштные» слушатели вместо выбывшего москвича А.С. Шуманского, успешно готовившегося к профессуре по всеобщей и русской истории[53]. 28 сентября 1828 г. в Академии наук без потерь сдали экзамен кандидаты в профессора от Харьковского университета.

В общей сложности, первоначальный контингент учащихся Профессорского института состоял из 19 человек (5 — от Московского университета, 6 — от Петербургского, 4 — от Харьковского, по 2 — от Казанского и Виленского). В июле и ноябре 1828 г. они были имматрикулированы при Дерптском университете и приступили к занятиям по «профессорской» программе[54]. В 1830 г. к ним присоединился выпускник Дерптского университета лифляндский уроженец М.М. Лукин (вместо умершего москвича П.И. Шкляревского)[55]. Таким образом, в Профессорском институте находились теперь посланцы всех без исключения императорских университетов.

---

[50] Там же. С. 323.

[51] Они были возвращены в свои университеты. Расходы на их командировку в Петербург были взысканы с профессоров, подписавших им рекомендации (см.: *Павлова Г.Е.* Организация науки в России в первую половину XIX в. М., 1990. С. 157).

[52] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 335; *Насонкина Л.И.* Указ. соч. С. 90.

[53] О лицах, командированных... /// Журнал Министерства народного просвещения. 1864. № 2. С. 341. А.С. Шуманский был сыном помещика, получившим «очень хорошее домашнее воспитание» и окончившим Московский университет. Дерптские профессора оставались «чрезвычайно довольными его успехами». Пробыв в Дерпте около двух лет, «в одно прекрасное утро, ни с того, ни с сего, объявляет, что он более учиться в Дерпте не намерен, профессором больше быть не хочет и уезжает домой, уплатив в казну причинённые им издержки» (*Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 333).

[54] О лицах, командированных... С. 340—341. 20-й испытуемый — Мухлинский (из Виленского университета) был откомандирован в Петербург для усовершенствования в восточной словесности.

[55] *Андреев А.Ю.* Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века. М., 2005. С. 308, 410.

Процесс формирования контингента «питомцев» Профессорского института отличала чистота «эксперимента» с изысканием оптимального метода ускоренного воспроизводства пополнений корпуса университетской профессуры. Похоже, при определении наиболее достойных быть командированными в Дерпт не было подмены конкурса знаний сословно-бюрократическим фаворитизмом в отношении представителей «первенствующего сословия». Единственный представитель поместного дворянства — историк А.Н. Шуманский вскоре выбыл из Института. Абсолютное же большинство новоиспечённых «профессорантов» состояло из детей чиновников XII—VI классов (юристы И.И. Ивановский и П.Г. Редкин, медик Ф.И. Иноземцев, математик П.И. Котельников, антиковед Д.Л. Крюков, историк М.С. Куторга, зоолог С.С. Куторга, политэконом А.И. Чивилев), обер-офицеров (антиковед А.О. Валицкий, юрист П.Д. Калмыков и медик Н.И. Пирогов), полицейских приставов (медики Н.А. Скандовский и А.М. Филомофицкий), православных клириков (ботаник П.Я. Корнух-Троцкий и медик Г.И. Сокольский), мещан (математик В.И. Лапшин и историк М.М. Лукин)[56]. Эти данные зеркально отражают соотношение сословий в социальном составе студенчества и показывают, представители каких социальных групп являлись основным кадровым источником наращивания научно-педагогического потенциала России первой половины XIX в.[57] Это было микрообщество будущих преподавателей университетов, ранжированное молодёжным возрастом[58], однородностью постоянной деятельности (подготовка к профессуре), схожестью культурно-материально-бытовой повседневности. Всё это нивелировало и сословные различия между ними.

В мае 1828 г. первый набор профессорских кандидатов, снабжённых казёнными мундирами и шпагами, группами, поуниверситетно, каждая под «присмотром» своего профессора, на перекладных двинулся в Дерпт, куда будущие учащиеся прибыли в начале июня (за исключением харьковчан, присоединившихся к ним к концу осеннего семестра). После собеседования с местными профессорами по избранным каждым профессиональным специализациям в медицине, зоологии, ботанике, математике, астрономии, политэкономии, хозяйственном праве, дипломатии, истории, филологии, прибывшие под научным руководством назначенных кураторов приступили к плановым занятиям, растянувшимся не на три года, как планировалось, а на пятилетие, как и предлагал академик Паррот.

---

[56] *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 61.

[57] См.: *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 4. Ч. 2. М., 2003. С. 389, 393.

[58] Средний возраст слушателей Профессорского института равнялся 22 годам, но если Н.И. Пирогов ко времени командировки в Дерпт не достиг и 17 лет, то Ф.И. Иноземцеву уже исполнилось 26, а И.О. Шиховскому и Н.А. Скандовскому — 28 (*Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 320; *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 60).

Это сообщество учёной молодёжи из 20 человек и составило Профессорский институт, подотчётный непосредственно министру народного просвещения и оперативно управляемый директором с ежегодным жалованием в 3 тыс. руб. (верх штатного профессорского оклада). До сентября 1830 г. им был профессор-славист Дерптского университета В.М. Перевощиков, до 1833 г. — его коллега, профессор медицины Фр. Эрдман; а затем вплоть до закрытия Института в 1839 г. им управляла местная университетская администрация.

Текущая деятельность директора Института регламентировалась инструкциями Министерства народного просвещения от 1 сентября 1828 г.[59] Так, «Инструкция о взаимных отношениях ректора Дерптского университета и директора Профессорского института» определяла их функционально-административные задачи. Ею предусматривалось, что ректор «имеет главный надзор и за учащимися в Институте для образования профессоров» (§ 1), а арбитром при его разногласиях с директором выступает попечитель Дерптского учебного округа (§ 2). Именно ректор «посредством подчинённых ему чиновников» и профессоров, узнавая «о каких-либо беспорядках в поведении студентов Института или в обучении их», извещал об этом директора (§ 3) и оказывал ему требуемую помощь (§ 4). Директор Профессорского института, как его «непосредственный начальник», в «случаях важных» прибегал «к советам ректора» (§ 7—8). В конце каждого учебного полугодия ректор и директор должны были направлять попечителю учебного округа совместные донесения о «степени прилежания и образе жизни» студентов Института (§ 5). Совместному же ведению подлежали институтское хозяйство и финансы (§ 6). Таким образом, Профессорский институт, будучи встроен в организационную структуру Дерптского университета, в известной мере напоминал факультет, а его директор по своему статусу — декана.

Вместе с тем в другой инструкции, озаглавленной «Директору профессорского института», министерство «поставило ему на вид», что его опеке подлежат молодые люди, «обратившие на себя особое внимание правительства» (§ 1), готовящиеся стать «образователями юношества», а потому их академическое положение должно быть «совершенно отлично от положения обыкновенных студентов» и требует особого порядка «учреждаемого за ними надзора и вообще их отношения как к директору Института, так и к другим обучающимся в

[59] Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1. 1802—1834. СПб., 1866. Стб. 662—668. Как утверждал историк Дерптского университета профессор-филолог Е.В. Петухов, они были составлены первым директором Профессорского института профессором В.М. Перевощиковым (См.: *Петухов Е.В.* Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет за сто лет его существования. С. 662).

Дерптском университете». «Для помощи себе в надзоре за студентами» Института директор мог избрать из их среды 2—3 помощников, причём его доверие должно было стать «наградой для отличнейших по успехам, нравственной чистоте и твёрдости характера» (§ 4). При воспитании питомцев Института директору следовало также «возбудить в них к своему характеру, правилам, образу мыслей то чувство уважения и любви, которое делает всякое управление лёгким» (§ 1).

Профессор Перевощиков вполне справлялся с этими обязанностями. Он завязал дружелюбные отношения с абсолютным большинством своих подопечных, о чём свидетельствуют и его благожелательные отзывы о них, следил за условиями их жизни и финансовым благополучием, участвовал в их «увеселениях» и занятиях (§ 4, 14). Дом Перевощиковых был открыт для русской молодёжи, оказавшейся в Дерпте[60]. «У них собирались всегда по воскресеньям, — вспоминал участник этих собраний, — а так как в этом семействе господствовал дух тогдашнего русского интеллигентного общества, т.е. семейственная непринуждённость... в соединении с традиционным хлебосольством, то, конечно, молодёжи там было чрезвычайно весело и приятно. Вследствие того воскресные посетители обыкновенно являлись к Перевощиковым в довольно числительном количестве, преимущественно из среды “рутенийцев” (члены русской студенческой корпорации “Рутения”. — *А.И.*) и членов Профессорского института»[61].

«Профессорантам», как и обыкновенным студентам, инструкция «Директору Профессорского института» традиционно предписывала «беспрекословное» повиновение начальству — директору Института, ректору университета и его профессорам (§ 5), не говоря уже о верности царю (§ 3) и «заветам святой веры» (§ 2). Но главное: от них требовалась полная сосредоточенность на научных занятиях и подготовке к профессорской деятельности, отрешённость от соблазнов «бесполезных сношений» с прибалто-немецкими студентами и их корпорациями. Такая изолированность учащихся Профессорского института диктовалась ничем иным, как опасением, что круговерть разгульной жизни затянет их в свою воронку и отвлечёт «от трудов, необходимых для до-

[60] Воспоминания Юрия Арнольда. Вып. 1. М., 1892. С. 149.

[61] Учившийся в Профессорском институте в 1833—1839 гг. будущий профессор физики Харьковского университета В.И. Лапшин вспоминал: «Кроме профессор-студентов, как называли нас немцы, русское общество посещающих лекции составляли два сына Н.М. Карамзина, два сына графа Витгенштейна, граф Владимир Александрович Сологуб, Владимир Иванович Даль, Иван Фёдорович Золотарёв, Собольщиков, несколько офицеров и моряков (Зеленин и Каменецкий), которые специально занимались на обсерватории астрономами-наблюдателями» (Из воспоминаний профессора В.И. Лапшина // Журнал Министерства народного просвещения. 1890. № 5. С. 123).

стижения предназначенной им цели» (§ 6). Два параграфа инструкции специально посвящались мерам по предупреждению ссор с местными студентами, которые были чреваты вызовом на дуэль (§ 7—8)[62].

Сложно установить, в какой степени эти предостережения влияли на стиль бытового поведения слушателей Профессорского института, но она вполне соответствовала пожеланиям начальства. «В отличие от кутил немецких студентов, — вспоминал Н.И. Пирогов, — русские питомцы Профессорского института... не сходились ни с одним студенческим кружком, не участвовали в комершах (попойки в пивных. — *А.И.*), ни в других студенческих препровождениях времени, и я, например, несмотря на мою раннюю молодость, даже вовсе не имел никакой охоты знакомиться со студенческим бытом в Дерпте»[63].

Это свидетельство бывшего воспитанника Профессорского института совпадает с отзывом профессора Перевощикова: «Вели себя доселе тихо и скромно, многие благонравно и примерно»[64]. Столь же благожелательно оценивал поведение «профессорантов» и Фр. Эрдман, употреблявший для его характеристики такие эпитеты, как «образцовое», «великолепное», «благонравное», «безупречное», «похвальное», «хорошее» и т.п.[65]

Это не означало, что их поведение всегда было академически безупречным. Н.И. Пирогов вспоминал, что его коллегу — докторанта по терапии Г.И. Соколовского «за выходки против немецких профессоров и начальства» по окончании Профессорского института «не выслали вместе с нами за границу, а послали в Петербург для дальнейшего усовершенствования к К.А. Мейеру». Но и ему он «так насолил», что тот отделался от него, послав в Берлин[66]. Да и сам Пирогов сразу же оказался в остром конфликте с директором Института. В.М. Перевощиков обвинил его в «непочтении к начальству» и даже направил об этом рапорт в министерство. С тех пор воспитанник старался не сталкиваться со своим начальником даже на улице, считая его «сухим, безжизненным, скрытным... бюрократом»[67], что на самом деле не вполне соответствовало действительности.

---

[62] Не исключено, что соответствующая «разъяснительная работа» была проведена и с остзейскими студентами, которые постановили дистанцироватся от «professor-embryonen», и, учитывая их особый статус, от греха подальше, не вызывать их на дуэль. «Да и повода к этому ни разу не оказалось», — писал В.И. Лапшин (Из воспоминаний профессора В.И. Лапшина // Журнал Министерства народного просвещения. 1890. № 5. С. 122).

[63] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 347.

[64] *Петухов Е.В.* Указ. соч. С. 494; *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 66.

[65] *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 66.

[66] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 347.

[67] Там же. С. 336, 337.

Конфликты возникали и в ходе занятий, например, М.С. Куторга не мог поладить со своим куратором К. Блюмом из-за чрезмерно педантичных, как ему казалось, требований «к элегантному» владению античными языками[68]. Однако такого рода единичные неурядицы по существу не отражались на качестве подготовки будущих профессоров. Они увлечённо и размеренно совершенствовались в науке.

Профессорам Дерптского университета, ставшим кураторами (научными руководителями) воспитанников Профессорского института было непросто воздействовать на столь сложный контингент с различным исходным уровнем подготовки (доктор медицины И.О. Шиховский, лекарь Н.И. Пирогов, 7 кандидатов, 6 действительных студентов и 6 студентов, проучившихся в Петербургском университете всего полтора года)[69] и разнообразной специализацией в медицине (Ф.И. Иноземцев, С.С. Куторга, совмещавший медицину с зоологией, Н.И. Пирогов, Н.А. Скандовский, Г.И. Сокольский), в фундаментальных естественных (ботаники П.Я. Шорох-Троцкий, И.О. Шиховский, астроном П.И. Котельников, математик В.И. Лапшин) и гуманитарных (историки М.С. Куторга и М.М. Лукин, правоведы И.Н. Ивановский и А.И. Чивилёв) науках.

Пестрота персональных научных программ и разноуровневость базового образования «студентов» Профессорского института предопределила специфику учебного процесса. В основе его лежала индивидуальная научно-исследовательская работа под руководством куратора из дерптских профессоров и подготовка к магистерско-докторским испытаниям. Научные руководители контролировали также посещаемость их подопечными обязательных общих лекций и семинаров, на которых вырабатывались необходимые профессору навыки участия в научных диспутах и владения мастерством учёной риторики на латинском и немецком языках[70]. Свои наблюдения за успехами учащихся кураторы обобщали в специальных «ведомостях», направляемых по завершении второго учебного полугодия в Министерство народного просвещения за подписями ректора университета и директора Института[71].

Такая индивидуализация занятий открывала перед соискателем учёной степени широкий горизонт творческой самостоятельности. «...Я

---

[68] *Тамул. В.Э.* Указ. соч. С. 122.

[69] Там же. С. 62.

[70] Умозаключение В.Э. Тамула, что такая научно-педагогическая доктрина была абсолютным новшеством, не совсем точно. Индивидуализация учебной программы «аспирантов» Профессорского института напоминает систему подготовки «магистров философии» и «студентов» в Академическом университете первой четверти XVIII в. (см.: *Иванов А.Е.* Учёные степени в Российской империи. XVIII в. — 1917 г. М., 1994. С. 10—13).

[71] *Андреев А.Ю.* Русские студенты в немецких университетах... С. 306.

принялся серьёзно работать над заданной факультетом хирургической темой о перевязке артерий, — вспоминал Н.И. Пирогов, — награждённой потом золотой медалью. Я торжествовал и не без причины. Я работал. Дни я просиживал в анатомическом театре над препарированием различных областей, занимаемых артериальными стволами, делал опыты с перевязками артерий на собаках и телятах, много читал, комментировал и писал». «Занятия мои с каждым годом увеличивались..., — отмечал он. — Я делался с каждым годом всё более и более специалистом, предаваясь по временам изучению самостоятельно какой-либо ограниченной специальности»[72]. Пользуясь свободой научного поиска, Пирогов позволял себе игнорировать предписанные общеобразовательные установки: «...Дошло до того, что я перестал посещать лекции по другим наукам, кроме хирургии. Это было глупо с моей стороны, и я много такого, что могло быть полезным впоследствии, пропустил и потерял»[73].

Успешны в своём научном продвижении к цели были и товарищи Н.И. Пирогова по Профессорскому институту. Об этом свидетельствуют данные о результатах магистерско-докторских испытаний и защит диссертаций, через которые прошли 16 из 20 «студент-профессоров» первого «призыва».

27 августа 1830 г. профессор Перевощиков ходатайствовал перед Министерством народного просвещения о продлении на 3—4 месяца пребывания в Дерпте воспитанников Профессорского института для приготовления к «окончательным испытаниям» и «поощрения» за «примерное» поведение и успехи в учёбе. Затем, уже по ходатайству перед министерством Фр. Эрдмана, срок обучения был увеличен ещё на год. 27 мая 1831 г. Николай I удовлетворил просьбу директора Института[74]. Была на то и политическая причина. «Это сделала для нас польская революция 1830—1831 годов, — полагал Н.И. Пирогов. — Она шла рука об руку с французской, после которой Николай Павлович осерчал на французов и запретил русским ездить во Францию... До 1833 г. нас никуда за границу не пускали. Так мы и просидели в Дерпте сверх положенного ещё два года»[75]. Отсрочила начало заграничной командировки и разбушевавшаяся в Европе холера, которая задела Дерпт, унеся жизнь харьковчанина П.П. Шрамкова[76].

Одновременно с ходатайством об увеличении срока пребывания своих подопечных в Дерпте Перевощиков направил в Министерство народного просвещения предложение присуждать им, «сообразно результатам экза-

[72] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 341.
[73] Там же. С. 349.
[74] *Петухов Е.В.* Указ. соч. С. 494.
[75] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 351.
[76] *Андреев А.Ю.* Указ. соч. С. 306.

менов, прямо те учёные степени, которых они будут достойны, не стесняясь обычной постепенностью степеней кандидата, магистра и доктора», установленной «Положением о производстве в учёные степени» 20 января 1819 г. (§ 15). «Профессорский институт, — напоминал он, — особенная и чрезвычайная мера, устраиваемая правительством для распространения наук в России, посему и с воспитанниками Профессорского института надлежит поступать по особенным правилам». И это прошение уходящего в отставку с директорского поста профессора было удовлетворено[77]. Тем самым все его питомцы получили равное право на обретение высшей учёной степени доктора наук. Более того, для них были сделаны и экзаменационные послабления: им предстояло держать экзамены не по всем предметам факультетов Дерптского университета, к которым они были приписаны, как того требовало «Положение о производстве в учёные степени» 1819 г., а лишь по «главным» и «вспомогательным», имеющим прямое отношение к специальности экзаменуемого. Это было весьма существенно, поскольку в научно-аттестационном процессе той эпохи именно экзамены, а не диссертация, играли первенствующую роль[78].

Вопрос о времени и месте защиты диссертаций воспитанников Института какое-то время оставался дискуссионным. Принятая в Дерптском университете практика предполагала сдачу экзаменов на факультете, написание диссертации во время зарубежной стажировки и последующую её защиту по возвращении, в любом из университетов империи. Однако в Министерстве народного просвещения данный порядок сочли для Профессорского института не пригодным. Научную аттестацию его питомцев было приказано провести в Дерптском университете в определённый срок перед зарубежной командировкой, что и было исполнено[79].

В конце 1832 г. состоялись «строгие испытания» выпускников Профессорского института, завершившиеся «замечательным успехом»: 13 из 16 испытуемых удостоились докторской учёной степени[80]. Трое испытуемых — историк М.С. Куторга, математик и физик В.И. Лапшин, политэконом А.И. Чивилёв стали магистрами (все трое

[77] *Петухов Е.В.* Указ. соч. С. 494.

[78] *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 122. По заведённой в Дерптском университете традиции, экзамены проходили на дому у деканов факультетов. Как вспоминал Н.И. Пирогов, «докторант посылал на дом декану обыкновенно чай, сахар, несколько бутылок вина, торт и шоколад для угощения экзаменаторов». Мемуарист пренебрёг этим традиционным правилом и явился на экзамены без положенных приношений, что не помешало ему с успехом пройти испытание. Правда, жена декана «бранила его за глаза», поскольку потчевать гостей ей пришлось из собственного бюджета (*Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 352—353).

[79] *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 122.

[80] Там же.

из Петербургского университета)[81]. Куторга не получил в Дерпте докторской степени из-за конфликта с куратором — профессором географии и статистики К. Блюмом. Камералиста А.И. Чивилёва только один из пяти экзаменаторов посчитал достойным докторской степени, трое полагали достаточным ограничиться степенью магистра, один воздержался. Всё решила защита диссертации, которая не была признана докторской. Чивилёв окончил Институт магистром философии. Математик В.И. Лапшин получил негативный отзыв от своего научного куратора М. Бертальса, а астроном профессор В.Я. Струве и вовсе предлагал выпустить его кандидатом. Однако в итоге ему всё же дали степень магистра[82].

Наконец настало время заграничной стажировки теперь уже остепенённых выпускников Профессорского института, завершавшей процесс их подготовки к преподаванию в университетах. Между тем целесообразность её вызывала сомнения в правящих сферах. В 1831 г. попечитель Харьковского учебного округа В.И. Филатьев направил министру народного просвещения пространное письмо, в котором, в частности, заявлял: «При нынешнем положении дел вообще в Европе я признаю не только бесполезным, но даже вредным отправлять этих студентов (Профессорского института. — *А.И.*) в чужие края как для них самих, так и для университетов, где они впоследствии должны быть профессорами». Как полагал попечитель, «одно любопытство, сродное всем и особенно молодым людям..., завлечёт их слушать политические толки, читать все политические газеты и журналы и, без сомнения, отвлечёт внимание их от предметов учения и уклонит их от той цели, для которой они отправлены за границу»[83].

В ответном письме кн. К.А. Ливен заверил Филатьева, что министерство «всё это имело в виду» и уже получило от царя «повеление» задержать учащихся на год в Дерпте, дабы предохранить их от разлившихся по Европе «заблуждений умов» и «проповедуемых пагубных правил». Год спустя министр всё же санкционировал заграничную командировку, но лишь для самых «благонадёжных» выпускников Профессорского института, под личное ручательство ректора Дерптского университета Г. Эверса. Последний изъявил готовность поручиться за каждого. Молодым учёным разрешено было стажироваться в Берлине и Вене, не возбранялось также ехать в Лондон и Эдинбург. Под запретом оказались «неблагонадёжные» Франция, Швейцария, Италия[84]. В Вену были направлены бо-

[81] Все трое стали докторами философии в 1838 г.
[82] *Тамул В.Э.* Указ. соч. С. 123.
[83] *Багалей Д.И.* Указ. соч. С. 548—549.
[84] *Павлова Г.Е.* Указ. соч. С. 158.

таники П.Я. Корнух-Троцкий и И.О. Шиховский[85]. Зоолог С.С. Куторга совместно с профессором К.Г. Ратке отправился изучать фауну Причерноморья[86]. В Берлине занимались 11 человек, а в 1834 г. к ним присоединились медики Г.И. Соколовский и Н.А. Скандовский, первоначально стажировавшиеся в российских госпиталях[87], позднее по распоряжению кн. К.А. Ливена к «питомцам» Профессорского института был причислен, минуя Дерпт, специалист по древнегреческому языку В.С. Печерин, окончивший Петербургский университет. Николай I утвердил представленную министром народного просвещения особую инструкцию «О надзоре над студентами Профессорского института в Берлине». Берлинская «группа» была поручена «надзору» сначала профессора Кранихфельда, а затем — российского военного агента генерала А.П. Мансурова[88].

Внимательно следило за успехами выпускников Профессорского института и Министерство народного просвещения. Каждое полугодие они обязаны были направлять министру подробнейший «рапорт» о прослушанных лекциях, практических занятиях и прочитанной научной литературе. Так, 31 октября 1834 г. доктор медицины Н.А. Скандовский, специализировавшийся в офтальмологии, в частности, сообщал: «Не надеясь нигде более иметь столь удобного случая изучить операции глазных болезней, брал о сём частные уроки у помощника профессора Грефе доктора Ангельштейна, под руководством коего занимался глазными операциями на фантоме ежедневно в продолжение июня месяца». «Лекции патологической анатомии были для меня совершенно новы, — писал Скандовский, — и имели ту особенную пользу, что большую часть патологических явлений профессор Миллер показывает на препаратах... Лекции профессора Грефе принесли мне существенную пользу относительно распознавания и лечения глазных болезней»[89]. Такие отчёты давали достаточно ёмкое и достоверное представление о ходе, содержании, успешности занятий молодых учёных. Министра народного просвещения они убеждали в том, что эксперимент с Профессорским институтом вполне удался, а его выпускники безусловно заслуживают поощрения и покровительства.

Согласно всеподданнейшему отчёту министра народного просвещения за 1835 г., ввиду «чрезвычайной дороговизны всех жизненных потребностей в Берлине» и необходимости молодым людям «снабжать себя учебными пособиями» (книгами и медицинскими приборами) Мансуров в 1834 г. добился увеличения их денежного содержания.

[85] *Андреев А.Ю.* Указ. соч. С. 307—308.
[86] Журнал Министерства народного просвещения. 1835. № 9. С. 509.
[87] Там же. № 2. С. 341.
[88] Там же. № 4. С. LXXXII.
[89] Журнал Министерства народного просвещения. 1834. № 2. С. 451—452.

К 700 прусским талерам, полагавшимся каждому, было прибавлено: математикам и медикам — по 300, а прочим — по 200 талеров[90]. Тогда же Николай I одобрил и представление Мансурова о продлении срока пребывания воспитанников Профессорского института в Берлине и Вене с января до июня 1834 г., «дабы не прервать курса наук зимнего семестра, начавшегося с ноября, и дать возможность с большею удобностью возвратиться означенным воспитанникам в Отечество летним путём»[91].

К этому времени С.С. Уваров распорядился, чтобы «имеющиеся ныне и впредь могущие открыться вакации профессоров и адъюнктов... не были замещены до особого распоряжения» для будущего назначения на них выпускников Профессорского института[92]. Данное распоряжение стало прелюдией к «докладной записке», в которой министр просил у царя разрешения воспользоваться ст. 80 нового университетского устава 1835 г. и «по собственному праву» назначить выпускников Профессорского института на вакантные должности профессоров и адъюнктов. Применение такой чрезвычайной, хотя и законной, меры, отстранявшей профессорские коллегии от также законного участия в замещении кафедр, Уваров объяснял административной целесообразностью: экономией времени и средств, которые потребовались бы профессорским коллегиям для конкурсного отбора претендентов на вакантные должности, а также на их «переезды из одного университета в другой»; желанием нейтрализовать естественное стремление университетов удовлетворять свои потребности в людях без учёта «польз прочих» и необходимостью воспрепятствовать возможным «домогательствам» молодых учёных «под разными предлогами уклоняться от того или иного университета для получения мест преимущественно в столицах». Министр полагал, что ему под силу «самому разместить сих учёных выгоднейшим для правительства образом, на основании имеющихся в министерстве положительных и подробных сведений о настоящем положении университетов»[93].

Получив повеление «исполнить» свои предложения, Уваров 16 июля 1835 г. образовал при министерстве Комитет из университетских профессоров и членов Академии наук для определения уровня подготовки дерптских выпускников к преподаванию. Для этого был применён навсегда вошедший затем в практику университетов институт «пробных лекций» по темам, предложенным соискателям преподавательских вакансий[94]. По данным «Журнала Министерства народного просвещения», с середины июля по сентябрь 1835 г. в Малом зале Академии наук состоялось 15 та-

[90] Там же. 1835. № 4. С. LXXXIII.
[91] Там же. С. LXXXIV.
[92] Там же.
[93] Журнал Министерства народного просвещения. 1835. № 9. С. 511.
[94] *Андреев А.Ю.* Указ. соч. С. 309.

ких лекций[95]. Все они свидетельствовали о научно-методической подготовленности «лекторов» к профессуре. Как отметил Ф.А. Петров, автор многотомного исследования о формировании университетского образования в России, первая лекция состоялась 26 июля 1835 г. — в день подписания Николаем I нового устава, что «должно было как бы символизировать новый этап в развитии российских университетов»[96]. Лекции дерптских «профессорантов», помимо всего прочего, позволяли показать их власти и обществу во всём блеске учёности, обретённой, пусть и с немалыми издержками для казны, в Дерпте, Берлине, Вене, и тем самым представить политику учебного ведомства в самом выгодном свете[97].

По личному распоряжению С.С. Уварова выпускники Профессорского института оперативно и в обязывающем порядке были распределены по вакантным кафедрам. При этом далеко не все они вернулись в те университеты, которые их командировали в Дерпт. Авторитетнейшими профессорами медицинского факультета Московского университета стали харьковчане Ф.И. Иноземцев и А.М. Филамофитский. Их земляк — выдающийся математик П.И. Котельников отправился в Казань, где профессорствовал до 1879 г. В Харьков же прибыли выпускники Дерптского и Московского университетов М.М. Лукин и В.И. Лапшин. Первый из них занял кафедру всеобщей истории, став «харьковским Грановским»[98], а второй состоял профессором физики и физической географии, пока в 1863 г. не был переведён в Новороссийский университет[99].

Из пяти московских «профессорантов» домой вернулись правовед П.Г. Редкин и медик Г.И. Соколовский. К ним присоединился бывший

---

[95] М.С. Куторга (магистр философии) «О переходе от истории Древней к Средней и об образе рассматривания сей последней»; М.М. Лукин (доктор философии) «О переходе от истории Средних веков к новой и о значении сей последней»; А.О. Валицкий (доктор философии) «О второй Олимпийской оде Пиндара»; В.С. Печерин (кандидат философии) «Периклово надгробное слово из Фукидита»; Д.Л. Крюков (доктор философии) «Изображение жизни Тацита»; В.С. Порошин (кандидат философии) «О сущности политэкономии»; А.И. Чивилёв (магистр философии) «Краткое обозрение наук камеральных»; П.Я. Карнух-Троцкий «О растениях вообще»; И.О. Шиховский (доктор философии) «О ботанике, её разделении и способах её изучения и преподавания»; П.И. Котельников (доктор философии) «Приложение исчисления вероятностей к физическим наукам»; Н.А. Скандовский (доктор медицины) «Об острых накожных сыпях вообще и в особенности о коровьей оспе и вариолондах»; Ф.И. Иноземцев «Об операциях, предпринимаемых в каменной болезни вообще и в особенности о литотриптии и последних её усовершенствованиях»; Г.И. Сокольский (доктор медицины) «О врачебном исследовании с помощью слуха, особенно» (Журнал Министерства народного просвещения. 1835. № 9. С. 516—553).

[96] *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 4. Ч. 1. М., 2003 С. 28.

[97] *Андреев А.Ю.* Указ. соч. С. 309.

[98] Там же. С. 306.

[99] *Багалей Д.И.* Указ. соч. С. 592.

«дерптский» петербуржец политэконом А.И. Чивилёв. Прочие выпускники Профессорского института из москвичей распределились по другим местам: Н.И. Пирогов остался в Дерпте, где в 1836 г. был произведён в профессоры кафедры теоретической и практической хирургии. Его лекции слушала уже новая поросль Профессорского института, представитель которой И.В. Варвинский под руководством Пирогова защитил в 1838 г. докторскую диссертацию. Коллега Пирогова по врачебному делу И.О. Шиховский и ботаник П.Г. Корнух-Троцкий обосновались в только что созданном Киевском университете св. Владимира[100].

Трое из шести откомандированных в Дерпт представителей Петербургского университета стали его профессорами — зоолог С.С. Куторга, историк М.С. Куторга, правовед П.Д. Калмыков[101]. Широкую известность в учёном мире обрели с окончанием Профессорского института оба представителя Казанского университета — историк античности Д.Л. Крюков, профессорствовавший в Московском университете, а также вернувшийся профессором медицины в Казань Н.А. Скандовский[102].

Такое межуниверситетское перемещение молодых, европейски образованных учёных благотворно отозвалось на состоянии российской науки и высшего образования первой половины XIX в.

В 1838 г. к первому выпуску «питомцев» Профессорского института присоединился второй — всего из шести человек. Его формирование проходило в 1833 г. 16 марта министр народного просвещения С.С. Уваров доложил царю, что воспитанники Профессорского института завершили учение «с отличными успехами», удостоились «по строгом испытании высших учёных степеней» и должны быть посланы за границу «для дальнейшего усовершенствования в науках». «Благоугодно ли будет повелеть, — спрашивал министр у императора, — чтобы Профессорский институт продолжал существование при Дерптском университете, чтобы для поступления в оный были избраны студенты русских университетов, или ограничиться доставленной уже им пользой?». Николай I повелел «Профессорский институт продолжить и новых студентов вытребовать»[103].

Однако исполнение монаршего приказа вновь натолкнулось на прежние препоны — нежелание приглашаемых ехать в Дерпт, слабая образовательная подготовка многих желающих стать профессорами, неодобрительное отношение университетской администрации к «дерптскому» эксперименту и проч. Процедура приёма «студентов» в Профессорский институт прошла с грубым нарушением некогда уста-

[100] *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 3. С. 30, 36.
[101] Там же.
[102] Там же.
[103] Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. Отд. 1. Изд. 2. СПб., 1873. С. 543.

новленных правил: помимо экзаменовавшихся, как и в 1828 г., в Академии наук, четыре кандидата были приняты только по рекомендации самих университетов и отдельных учёных[104]. Набрано было всего 8 человек, двое из которых выбыли: один умер от холеры, а другого отчислили за неуспеваемость (экстраординарный случай!). Таким образом, второй выпуск составил в конечном счёте только шесть человек, направленных Московским (2), Харьковским (2), Казанским (1) и Дерптским (1) университетами. Новые «профессоранты» специализировались в области медицины (В.И. Варвинский, П.П. Любовский), астрономии (Е.Е. Саблер, А.Н. Савич), русской истории (Н.А. Иванов), политэкономии и статистики (И.Я. Горлов)[105]. Одолев пятилетний курс наук в Профессорском институте, защитив диссертации в Дерпте, они, за исключением Е.Е. Саблера, изначально готовившегося к замещению должности астронома-наблюдателя в Пулковской обсерватории Академии наук, были распределены по университетам. В виде поощрения им сразу же предоставили кафедры, без дорогостоящей и долговременной заграничной командировки, которая откладывалась на два года с момента вступления их в должность адъюнкта или профессора[106].

20 января 1838 г. Профессорский институт был закрыт как исполнивший свою роль. Руководство Министерства народного просвещения полагало, что реформированные в 1835 г. университеты теперь уже «сами в состоянии приготовлять себе профессоров»[107].

За 10 лет в нём было подготовлено 22 высококвалифицированных профессора европейского уровня, которые успешно действовали на академическом поприще не только в первой, но и во второй половине XIX в. По репрезентативному подсчёту Г.И. Щетининой, в 1875 г. 11 из них ещё числились в штатах шести российских университетов в качестве «заслуженных профессоров»[108]. Почётную известность в учёном мире обрели Н.И. Пирогов, М.С. Куторга, А.Н. Савич, Ф.И. Иноземцев, А.М. Филомофитский, П.И. Котельников и В.И. Лапшин. Пирогов писал о выдающейся роли Профессорского института в обновлении университетов. Этот «переворот», утверждал учёный, «совершился посредством введения новых элементов, и то были не новые уставы, а свежие личности», подоспевшие вовремя «для замены отжившего»[109].

---

[104] *Тамул В.Э.* указ. соч. С. 58—59.
[105] См.: *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 4. Ч. 1. С. 34—37.
[106] Журнал Министерства народного просвещения. 1839. № 4. С. 53.
[107] *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802—1902. С. 251.
[108] *Щетинина Г.И.* Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 49.
[109] *Пирогов Н.И.* Указ. соч. С. 100—103.

И.А. Христофоров

Самая либеральная из наук: политическая экономия и кружок либералов-фритредеров в эпоху Великих реформ

В историографии дореволюционного российского либерализма, для изучения которого так много сделал Сергей Сергеевич Секиринский, всегда уделялось особенно пристальное внимание политическим и правовым аспектам либеральной доктрины. Именно стремление обеспечить гражданские и политические права и свободы, по общему признанию, составляло ядро как классического, так и нового, социального либерализма, распространившегося на Западе и в России в конце XIX — начале XX в. На этом фоне экономическое содержание либеральной идеологии предстаёт как нечто менее существенное, исторически изменчивое и подверженное веяниям интеллектуальной моды. Такой подход выглядит тем более основательным, что наиболее известные представители российского либерального «пантеона» по образованию и/или профессии являлись правоведами и историками. Политическая же экономия применительно к середине и особенно второй половине XIX в. ассоциируется у нас скорее с социализмом в различных его вариантах. Однако изымать из либеральной идеологии её наиболее динамичную и острую составляющую — значило бы, на мой взгляд, существенно её обеднять.

Конечно, экономическая наука была в XIX в. гораздо менее институционализирована по сравнению с другими социальными дисциплинами. Не говоря уже про предельно математизированную дисциплину, известную сейчас как «economics», которая зародилась на Западе лишь в конце века, а «мэйнстримом» стала ещё позже, и более традиционная политическая экономия имела сравнительно недавние происхождение и историю преподавания. В России же она вплоть до эпохи Великих реформ оставалась хотя и популярной (хрестоматийный пример — читающий Адама Смита пушкинский Онегин), но находившейся у правительства под серьёзным подозрением и очень мифологизированной сферой знания, практически полностью импортированной с Запада.

Характерен в этом отношении случай, описанный в воспоминаниях Е.И. Ламанского, крупного отечественного экономиста, одного из создателей и многолетнего управляющего Государственным банком.

В 1849 г., как и десятки других представителей столичной молодежи, тогда ещё совсем юный чиновник государственной канцелярии был ненадолго арестован по делу М.В. Петрашевского. Следственную комиссию особенно интересовало, вел ли Ламанский «разговоры об освобождении крестьян и об уничтожении помещиков; о том, чтоб освободить торговлю и т.п.». Таким образом, в политэкономической концепции *free trade* (свободной торговли) ключевым для высокопоставленных следователей оказывалось слово «свободная», причём проводилась прямая аналогия с освобождением крепостных: «Это экономическое учение было известно генералам в смысле избавления купцов от какой-то зависимости от правительства и чуть ли не призыва к бунту всего коммерческого люда в России». Лишь когда Ламанский объяснил, что «учение о свободе торговли есть учение экономическое, что о нём нам читали с кафедр профессора, что оно признается в Европе», допрашивавшие его сановники (в числе которых был и будущий глава Редакционных комиссий по крестьянскому делу Я.И. Ростовцев) смягчились, а подозреваемый получил выговор и был отпущен[1].

Вдумываясь в смысл этого эпизода, нельзя не прийти к заключению, что по крайней мере в части своих подозрений «генералы» были правы: фритредеры действительно требовали освободить торговлю (и экономику в целом) от налагаемых на неё правительствами стеснений, так что параллели с отменой крепостного права оказывались вполне уместными (неправы они были лишь в приписывании Ламанскому и его единомышленникам карикатурных «подрывных» поползновений). Иначе говоря, в либеральном (но не революционном!) идеологическом смысле доктрины laissez faire, laissez passer сомневаться не приходилось. Очень характерны и аргументы Ламанского в свою защиту. Попытка представить эту доктрину не вызывающей сомнений научной истиной как бы снимала вопрос о её идеологической вредоносности. Вместе с тем, его аргументы вовсе не были чистой риторикой. Согласно позитивистским представлениям, политическая экономия, как и другая важнейшая социальная наука того времени — статистика (и в отличие от юриспруденции или философии), являлась именно сферой точного знания. Как писал позже, в середине 1860-х гг. другой известный российский экономист академик В.П. Безобразов, «может быть, ни одна наука в кругу наук политических и общественных не заключает в себе столько, как политическая экономия, истин, доведенных и теорией, и опытом до точности истин математических»[2].

---

[1] *Ламанский Е.И.* Воспоминания // *Ламанский Е.И.* Избранные произведения. М., 2005. С. 96.

[2] РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 490. Л. 1.

С конца 1850-х гг. этим математическим истинам предназначалось лечь в основу правительственной политики в экономической сфере, причём Безобразов и Ламанский оказались заметными фигурами в небольшом кружке молодых ученых и чиновников, претендовавших на невиданную до того в России роль почти монопольных носителей политэкономического научного знания. Серьёзная традиция преподавания политической экономии в стране отсутствовала, тогда как в Европе она переживала настоящий бум популярности не только как социальная наука, но и как руководство к действию для правительств и предпринимательской элиты. В этих условиях молодые российские экономисты не могли не ощущать себя членами элитарного клуба, своеобразными миссионерами и культуртрегерами.

Порой эта самооценка приобретала комичные черты. В 1862 г. новый министр финансов М.Х. Рейтерн пригласил к себе своих подчиненных В.П. Безобразова и Ф.Г. Тернера (ещё одного представителя кружка молодых экономистов) и попросил их делать обзоры появляющихся в печати материалов по экономическим вопросам и составлять для «Московских ведомостей» статьи на эту тему. Выслушав поручение, Безобразов, как вспоминал позже Тернер, «заговорил с министром как равный и потребовал ознакомления с основными началами “системы Рейтерна”, чем немало его удивил»[3]. Конечно, столь вопиющее нарушение субординации воспринималось прежде всего как бестактность (и серьёзно повредило карьере Безобразова). Но едва ли оно было случайным. Вот ещё один пример. Ламанский, рассказывая в мемуарах о переломном для страны периоде начала царствования Александра II, почти по-хлестаковски утверждал: «В это время мои финансовые знания и труды уже обращали на себя внимание, сочинения мои сделались известны не только в России... Общественное мнение и некоторые влиятельные лица указывали на меня как на будущего финансового деятеля... Меня уже называли будущим товарищем министра финансов»[4]. В это время выпускнику Александровского лицея коллежскому советнику Ламанскому было 33 года и в числе его заслуг были разве что секретарство в Русском географическом обществе, несколько статей и полуторагодовая командировка в Европу для ознакомления с тамошними финансовыми реалиями...

В отличие от Хлестакова, Евгений Иванович хотя и не стал товарищем министра, но сыграл реальную и очень значительную (порой теневую) роль в разработке правительственного курса. Именно он стал одним из авторов пока ещё очень слабо изученных финансовых реформ конца 1850 — начала 1860-х гг. Занималась их подготовкой «банков-

[3] *Тернер Ф.Г.* Воспоминания жизни. Т. 1. Спб., 1910. С. 202.
[4] *Ламанский Е.И.* Указ. соч. С. 108.

ская комиссия» под руководством директора Особой канцелярии по кредитной части Министерства финансов Ю.А. Гагемейстера, в которую входили исполняющий должность товарища министра внутренних дел Н.А. Милютин, М.Х. Рейтерн, директор департамента торговли и мануфактур А.И. Бутовский, будущий государственный контролер В.А. Татаринов, Г.П. Небольсин, Е.И. Ламанский и профессор политэкономии и ректор Киевского университета Н.Х. Бунге. По словам Ламанского, «ещё до собрания комиссии я пригласил Бунге к себе на дачу и после обеда начертал на листе бумаги свой план преобразования нашей банковской системы», который и лёг в основание работ комиссии[5].

Не вдаваясь здесь в детали предпринятых тогда правительством финансовых мер, следует отметить, что образцом для Ламанского и его единомышленников представала главным образом Франция периода Второй империи, с характерными для неё бурным развитием кредита, строительством железных дорог и «нового» Парижа, акционерным учредительством и биржевой игрой, Франция финансистов и инженеров — братьев Перейр, барона Османа, Фердинанда де Лессепса. Головокружительный экономический рывок, который она тогда совершила, в глазах русских рубежа 1850—1860-х гг. тем более заслуживал особого внимания, что он произошел в крестьянской стране, в условиях авторитарного политического режима, серьёзных стеснений политических прав и при активном участии государственной власти, которая, в отличие от Великобритании, не собиралась ограничиваться ролью «ночного сторожа». Получалось, что «освобождение» экономики вполне возможно и в нелиберальном государстве!

Французский опыт оказал существенное влияние и на европейскую (и, соответственно, российскую) политическую экономию. Следует отметить, что в методологическом отношении эта наука была тогда довольно эклектичной. Классическое учение Смита и Рикардо претерпело очень существенные изменения под воздействием, с одной стороны, эпигонских упрощений и вульгаризации (которыми особенно прославились французы Ж.-Б. Сэй и Ф. Бастиа), а с другой — критики со стороны сен-симонистов (к числу которых принадлежали, кстати, и многие французские «капитаны индустрии»), социалистов и представителей немецкой «исторической школы». В результате в тогдашних российских учебных курсах и пособиях мирно соседствовали А. Смит и В. Рошер, Дж. Ст. Милль и Б. Гильдебрандт, Ж.-Г. Курсель-Сенель и Г. Шторх[6]. Конечно, эту эклектичность можно считать признаком вторичности экономической науки того времени и сумбу-

[5] Там же. С. 122.

[6] См., например: *Тернер Ф.Г.* Краткое руководство к изучению политической экономии. СПб., 1862. С. II.

ра, царившего в головах многих учёных[7]. Но можно рассматривать её и как свидетельство широты их взглядов и своеобразного интеллектуального космополитизма (несомненно, сами экономисты именно так и считали). Впрочем, в мировоззрении представителей того кружка, о котором идёт речь в этой статье, как и в экономический науке в целом, всё же явно доминировали индивидуализм, ставка на свободу конкуренции и устранение «опеки» над экономикой со стороны государства.

Однако в России представление о том, что рынок «умеет» регулировать экономику лучше, чем чиновники, едва ли могло лечь в основу правительственной политики. Дело в том, что в стране отсутствовали элементарные условия, необходимые для развития «свободного рынка»: благоприятствующее ему законодательство, развитая судебная система, современные кредитно-финансовые институты, средства коммуникации и, соответственно, предпринимательская культура. На создание инфраструктуры требовались многие годы, если не десятилетия, но столь долгое ожидание едва ли могло устроить молодых реформаторов. Отсюда — фундаментальное противоречие, свойственное их мировоззрению и деятельности: «свободный рынок» предполагалось насаждать с помощью активной, интервенционистской правительственной политики. В результате, по сравнению с николаевской системой «опеки», пусть и предельно архаичной, но не лишенной цельности и некой застойной монументальности, новый экономический курс выглядел порой крайне непоследовательным.

В качестве типичного примера подобной непоследовательности либеральных экономистов можно привести деятельность столичного Общества взаимного кредита — любимого детища Е.И. Ламанского. Это сугубо частное предприятие, созданное в 1863 г., разместилось в здании Государственного банка, причём Ламанский сам возглавил его правление. По свидетельству близкого к правительственным кругам публициста и дельца К.А. Скальковского, в Государственном и частном банках заседали одни и те же чиновники, а артельщики по мере нужды перетаскивали мешки денег из одной кассы в другую[8]. Как пишут современные исследователи С.К. Лебедев и П.В. Лизунов, в лице Общества Государственный банк «имел нечто вроде вспомогательной или дочерней организации»[9].

---

[7] См.: *Цвайнерт Й.* История экономической мысли в России. 1805—1905. М., 2008. С. 130-143.

[8] *Скальковский К.А.* Наши государственные и общественные деятели. СПб., 1890. С. 515.

[9] *Лебедев С.К., Лизунов П.В.* Кредитование промышленности и железнодорожного строительства. Создание двухуровневой банковской системы. Антикризисные меры 1869—1877 гг. // История Банка России / Под ред. Ю.А. Петрова, С.В. Татаринова. Т. 1. М., 2010. С. 202.

Однако нельзя не согласиться с С.В. Татариновым, что «прибыли от деятельности Общества шли отнюдь не в казну, да и уставу Государственного банка подобные отношения никак не соответствовали»[10]. У экономиста протекционистской школы подобное смешение частного и казенного, возможно, и не вызвало бы вопросов. Не удивило бы оно и коррумпированного чиновника. Но Ламанский и его единомышленники были последовательными обличителями и протекционизма, и рождаемой им коррупции!

Неудивительно, что правительственный курс в сфере экономики оказывался в те годы очень уязвимым для критики как «слева» (со стороны последовательных либералов-фритредеров), так и «справа» (со стороны традиционалистов). При этом критика тех или иных экономических мер зачастую сопровождалась обличением той самой «науки», на незыблемые указания которой ссылались молодые российские экономисты, и невежества самих этих экономистов.

Наиболее ярко такие обличения прозвучали позже в получившей большой резонанс книжке известного предпринимателя В.А. Кокорева «Экономические провалы (по воспоминаниям с 1837 года)», вышедшей в свет в 1887 г., т.е. в эпоху ревизии Великих реформ, бурного роста национализма и антизападничества, а также общеевропейской протекционистской «волны». Вспоминая о времени подготовки отмены крепостного права, Кокорев, в частности, поведал читателям о своей встрече с министром финансов А.М. Княжевичем. Обсуждалась необходимость активно поддержать кредитом помещичьи хозяйства, остающиеся без дарового труда: «Разделяя этот взгляд, А.М. Княжевич выразился так: “Ничего не поделаешь с *ними*; они так хотят, чтобы всякая деятельность становилась на свои ноги и никакой уступки в этом не сделают”. — “Но позвольте возразить: разве возможно, чтоб новорожденный ребенок — наше сельское хозяйство с вольнонаемным трудом — мог сразу встать на ноги без всякого о нем попечения? И кто же эти они, очевидно желающие искалечить русскую сельскую жизнь?” Тут я впервые узнал, что *они* — люди новых воззрений, составившие из 5-6 человек кружок, стремящийся в кабинеты высокопоставленных лиц и салоны влиятельных барынь для распространения в них своих взглядов, дабы потом, мало-помалу расширяя свой круг, забрать в свои руки направление правительственной власти. Ещё позднее я узнал, кто именно эти *они*, и убедился в том, что это всё люди по большей части честные, благонамеренные и бредившие об экономической равноправности, но без всякого понимания нужд и потребностей рус-

[10] *Татаринов С.В.* Финансово-экономические кризисы второй половины XIX в. и Государственный банк Российской империи. Дисс.... канд. ист. наук. М., 2012. С. 161.

ской жизни». Действиями этой «фирмы “они”» руководило, по словам Кокорева, «желание изобразить из себя единственных и необходимых людей, знающих какую-то финансовую науку, которой якобы никто, кроме них, не знает. Напущенный на нас туман под вымыслом науки со всею его запутанностью заставляет многих предполагать, что финансисты уподобляются алхимикам, знающим секрет философского камня, и что поэтому надобно во всем подчиниться их воззрениям»[11].

В другом месте Кокорев садится и на порядком заезженного уже в то время националистического конька, рассуждая об «антирусском заговоре» и экономистах как его орудии. Настаивая на том, что вместо иностранных займов правительству следовало бы сделать ставку на эмиссию бумажных денег, против чего категорически возражали «они», Кокорев заключал: «Европа постигала, что верноподданная Россия, преданная в глубине души безусловному исполнению царской воли, всегда готова двинуться всюду, по первому с высоты престола мановению; а дабы положить этой силе преграды и затруднения, надобно было сверх других экономических козней связать нам руки, т.е. подчинить правилу, что, вместо простых денежных знаков, можно выпускать только процентные бумаги с продажей их на европейских биржах, дабы этим способом постепенно вовлекать нас в неоплатные долги, а верховной русской власти противопоставить власть Ротшильдов и других заправителей биржевого курса и сделать из этого курса политический и финансовый барометр для определения русской силы; показания же барометра заимствовать из бюллетеней иностранных бирж, находящихся в распоряжении противников нашего преуспеяния»[12].

Несколько лет спустя, цитируя Кокорева в своём очерке о незадолго до того умершем В.П. Безобразове, К.А. Скальковский подтверждал: «Было в России время, когда кружок в десяток теоретиков, возникший под покровительством Тенгоборского и Гагемейстера, гнул нашу экономическую жизнь по усмотрению теории и считал десятивековой опыт жизни многомиллионного русского народа ничем сравнительно с сочинениями Фредерика Бастиа, Мишеля Шевалье и Густава де Молинари». Кружок фритредеров, по его мнению, «сви-

[11] *Кокорев В.А.* Экономические провалы (по воспоминаниям с 1837 года). М., 2005. С. 29, 49.

[12] Там же. С. 47. Как известно, идея инфляционного стимулирования экономики родилась в науке XX в. в совершенно иных экономических и политических условиях (и по сию пору оценивается экономистами очень неоднозначно), так что едва ли Кокорева можно считать “предтечей” Дж. М. Кейнса. Опыт же включения «печатного станка» в XVIII—XIX вв. (во Франции, империи Габсбургов, а также в самой России при Екатерине II и особенно Александре I) был однозначно негативным.

репствовал в особенности при Княжевиче и в начале управления г. Рейтерна»[13]. Инвективы Скальковского не столь грубы как у Кокорева, но суть их та же: несколько обольщенных космополитической наукой и самонадеянных доктринеров причинили экономике страны огромный вред («кто-то сосчитал, что г. Ламанский стоит России дороже Крымской войны»[14]), исправить который можно, только ориентируясь не на сомнительную науку, а на «народный опыт».

Фантазии Кокорева и Скальковского, конечно, характеризуют прежде всего ту идеологию, которая восторжествовала в России ещё до начала царствования Александра III. «Национальные чувства» и «народные предания» действительно сменили в ней в качестве ориентиров «данные науки». Под подозрением в неблагонадежности оказалась — как и за четыре десятилетия до того — и сама политическая экономия, которая почти по-марксистски объявлялась всего лишь прикрытием сомнительных и корыстных интересов. С другой стороны, важно отметить, что все приведенные выше обвинения (а подобные им с середины 1870-х гг. стали дежурной темой правой, панславистской, народнической, а иногда и либеральной прессы) были всего лишь зеркальным отражением того, как позиционировали себя и свою миссию сами либеральные экономисты. Представляя себя горсткой носителей почти абсолютного научного знания, противостоящей ложным стереотипам и заблуждениям, они автоматически оказывались в заложниках у самого этого образа. Чувствовали ли они сами уязвимость столь тщательно выстраивавшегося ими имиджа экономической науки как основы «правильной» правительственной политики? Интересные выводы на этот счет позволяет сделать история неудавшейся попытки создания Русского политико-экономического общества, предпринятой представителями кружка молодых экономистов в середине 1860-х гг.

Со времени образования Русского географического общества (РГО) в 1845 г. именно оно стало самым известным «клубом», объединявшим цвет столичной бюрократической и научной элиты. Конечно, в Петербурге существовало и гораздо более почтенное Вольное экономическое общество (ВЭО), созданное еще при Екатерине II, однако к середине XIX в. лучшие его времена остались далеко позади. ВЭО было чересчур громоздким и консервативным по структуре, составу и

[13] *Скальковский К.А.* Указ. соч. С. 99—100.

[14] Там же. С. 38. Имелись в виду прежде всего две правительственные меры, обернувшиеся огромными убытками для казны: неудачная попытка восстановления размена бумажных денег на серебро в 1863 г. и попытка поддержать падающий курс рубля в 1881 г. Общественное мнение возлагало ответственность за них прежде всего на Ламанского, хотя обстоятельства разработки обеих мер до сих пор не вполне ясны.

принципам деятельности. Родившись в эпоху, когда «экономический» означало прежде всего «относящийся к домашнему хозяйству»[15], оно имело в середине XIX в. репутацию организации в основном дилетантской, а потому не способной стоять на уровне современной европейской науки. Однако и Географическое общество, создававшееся как раз для того, чтобы этому уровню соответствовать, не смогло избежать подобной судьбы: за полтора десятка лет своего существования до начала эпохи Великих реформ оно успело разбухнуть и бюрократизироваться. Самое же важное заключалось в том, что РГО оказалось слишком разношёрстным по составу. В 1840-х гг. возрастные, статусные и мировоззренческие различия в его среде были преимуществом, а не недостатком, поскольку давали думающим представителям разных чинов и взглядов возможность общения в обход хотя бы части бюрократических и аристократических условностей. В тесном и душном публичном пространстве николаевского царствования такая возможность была редка и ценна. Но в эпоху оттепели и перемен рубежа 1850—1860-х гг. важно было уже не объединяться, а размежевываться. Многие из тех, кто ещё вчера был в РГО единомышленниками (скажем, Н.А. Милютин и М.Н. Муравьев), оказались политическими оппонентами. Исчезла и жёсткая необходимость придерживаться во избежание репрессий исключительно санкционированных властью форм и мест для общения. Наступило время создания более узких по тематике, однородных по составу научных объединений.

Между тем именно политическая экономия стала в конце 1850-х гг. «главной» и самой модной из социальных наук (в 1840-х такую роль играла скорее статистика). Те, кто интересовался и занимался этой дисциплиной, испытывали тем большую потребность в институционализации ее статуса, что роль серьёзного политэкономического знания в формировании правительственной политики неуклонно росла. В самом деле, всего за два-три десятилетия до Великих реформ крупнейший государственный деятель ещё мог доказывать вред железных дорог и акционерных банков и оставаться при этом очень успешным министром финансов. Представить себе такое в 1860—1870-х гг., не говоря уже о более поздних временах, было, конечно же, невозможно. Замечу, что Е.Ф. Канкрин, о котором идёт речь, был и автором нескольких увесистых политэкономических трактатов (изданных на немецком языке) и вплоть до начала оттепели конца 1850-х вполне мог считаться в этой сфере признанным авто-

[15] *Tribe K.* Continental political economy from the physiocrats to the marginal revolution // The Cambridge history of science. Vol. 7. The modern social sciences / Ed. by Th. M. Porter, D. Ross. Cambridge, 2008. P. 157—158.

ритетом. Разумеется, в новых условиях этот авторитет, как оказалось, немногого стоил.

Поначалу сторонники «новой» политэкономии пытались институционализировать эту науку в рамках РГО. В 1859 г. в составе Отделения статистики общества был создан Политико-экономический комитет (ПЭК), занявшийся обсуждением теоретических и прикладных экономических проблем, которых было тогда в России огромное множество. Острый финансовый кризис, коллапс казенной кредитной системы и подготовка крестьянской реформы поставили в повестку дня вопрос о коренном преобразовании податной, банковской, денежной систем, а также о новых принципах регулирования предпринимательской деятельности и акционерного законодательства. Несколько созданных на рубеже 1850-1860-х гг. межведомственных «экономических» комиссий наделялись широкой программой действий и значительными полномочиями. Насущной необходимостью стала координация их деятельности.

На протяжении более чем трёх лет члены ПЭК РГО (количество которых выросло с 19 учредителей до примерно 40) и приглашённые гости (которых, как отмечает В.Г. Чернуха, было иногда более сотни) примерно раз в две недели (за исключением летних каникул) собирались для свободного обсуждения достаточно широкого круга проблем[16]. Постоянным секретарем был Безобразов, председательствовали поочередно Ф.П. Литке, А.И. Левшин, И.В. Вернадский, А.И. Бутовский, т.е. респектабельные представители «старшего» поколения. В числе участников собраний было много высокопоставленных чиновников (в основном представителей молодой когорты «просвещённых бюрократов», достигших пика карьеры уже в период реформ). Отчёты о заседаниях публиковались. По наблюдению Чернухи, «научная» составляющая в работе комитета из-за многолюдности собраний быстро уступила место задаче воздействия на общественное мнение. Впрочем, отделить одно от другого в то время едва ли было возможно.

Однако комитет просуществовал относительно недолго: в 1862 г. его деятельность после обсуждения в Совете министров в присутствии Александра II была сочтена политически неуместной и приостановлена. Другой формой координации деятельности экономистов стали неформальные встречи, организованные в виде политического салона. Прототипом стали парижские *diner des économistes,* организованные авторитетным французским экономистом польского происхождения

[16] *Чернуха В. Г.* Политико-экономический комитет Русского географического общества (28 февраля 1859 г. — 26 ноября 1862 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. XX. Л., 1989. С. 89-102; *она же.* Деятельность Политико-экономического комитета Русского географического общества (28 февраля 1859 — 26 ноября 1862 г.) // Там же. Вып. XXI. Л., 1991. С. 84—98.

Л.-Ф.-М. Воловским. Инициатором подобного мероприятия в России стал тот же В.П. Безобразов. Сначала оно проходило в виде воскресных утренних приёмов, потом — в виде нерегулярных обедов по четвергам в фешенебельном петербургском ресторане «*Donon*»[17]. «Гастрономические обеды у Донона Безобразов обратил в экономический парламент, имевший огромное влияние на русскую жизнь. Здесь *entre poire et fromage* были разрешены многие капитальные государственные вопросы, от которых до сих пор охает русский народ», — считал Скальковский[18]. Экономические обеды просуществовали вплоть до 1880-х гг., причём гостями их обычно был довольно широкий круг чиновников, журналистов и учёных, зачастую придерживавшихся различных убеждений. Вопреки мнению Скальковского, задачей обедов было не формирование какого-то «курса» (тем более правительственного) и не научные дискуссии, а скорее полупрофессиональное, полусветское общение и обмен мнениями и информацией.

Вместе с тем, В.П. Безобразов и его единомышленники не расставались и с идеей создания особого политэкономического общества. В 1865 г., по-видимому самим Безобразовым, была составлена обосновывавшая его организацию записка, а также разработан проект устава. «Все важнейшие отрасли знаний, кроме экономической науки, имеют у нас свои органы в периодической печати и свои средоточия в частных ученых обществах», — начиналась записка. Между тем, именно политэкономия особенно страдает от «укоренившихся в публике незрелых и превратных понятий». В результате, продолжал автор записки, складывается парадоксальная ситуация: «Точность, ясность и простота если не всех, то, по крайней мере, основных экономических законов и подле этого — самые грубые экономические предрассудки массы публики — эта противоположность состояния науки и уровня понятий общества есть явление действительно замечательное... Вместе с тем, внедрение экономических истин в массах публики было бы особенно важно у нас... после великих экономических и государственных переворотов уже совершившихся и в ожидании успехов нашего народного хозяйства». «Дух экономической науки» — «строго охранительный и вместе с тем прогрессивный» — выставлялся в записке в качестве средства «радикального лечения» распространившихся в обществе «несбыточных желаний и мечтательных стремлений»: «Право собственности, свобода труда, необходимость обеспечения личности, общественного порядка и естественного исторического развития общества путём законности и законной охраны от всяко-

[17] *Тернер Ф.Г.* Воспоминания жизни. Т. 1. С. 175, 187—188.
[18] *Скальковский К.А.* Указ. соч. С. 100.

го насилия — все эти начала, на которых зиждется вся система экономического учения... и именно ими запечатлены великие реформы нынешней исторической эпохи России». Вместе с тем, политэкономия несёт в себе не только воспитательные, но и практические начала: «Всяким передовым двигателям банковых, коммерческих, агрономических и т.д. операций необходимо высшее политэкономическое образование — не менее необходимо, чем техническая рутина»[19].

Казалось бы, после столь масштабного приступа последуют столь же масштабные предложения по пропаганде достижений экономической науки. Однако автор записки неожиданно свернул совсем в иную сторону. Такие учёные общества как ВЭО и РГО, рассуждал он, «получили такое широкое развитие, что они ныне имеют скорее значение общеполезных и даже государственных учреждений, нежели настоящих учёных обществ». Большинство их членов не имеют никакого отношения к науке, а многолюдные заседания лишь привлекают излишнее внимание. Проектируемое же политэкономическое общество «желательно отнести к несколько иному порядку»: «интересы и вопросы чистого знания должны оставаться преобладающими в его деятельности над всякими интересами практической жизни и текущего дня», а в состав общества будут входить исключительно учёные. «Кто не занимается у нас теми или другими экономическими вопросами?, — риторически вопрошал автор записки. — А между тем даже в числе лиц, специально посвятивших свою литературную деятельность этим вопросам, многие и почти большая часть совершенно чужды науке и даже не изучили самых элементарных её начал. Прилив подобных лиц к обществу мог бы исказить с течением времени всё его значение»[20].

Смысл этих пассажей ясен: читателей записки, от которых зависело разрешение общества, убеждали в том, что оно будет действовать в строго академических, а потому безопасных с политической точки зрения рамках. Но такая «строго научная» политэкономия, лишённая всякой связи с действительностью, существовала и в самые мрачные николаевские времена! Первая часть записки оказывалась в разительном контрасте со второй.

Какой же была судьба столь благонамеренной инициативы? При либеральном министре народного просвещения А.В. Головнине хода она не получила. Новую попытку продвинуть дело Безобразов предпринял через полгода после каракозовского покушения и явного поворота «верхов» в сторону консервативных начал. Пересылая рассмотренную записку и проект устава общества новому министру гр. Д.А. Толстому,

[19] РГИА. Ф. 25. Оп. 5. Д. 490. Л. 1—2.
[20] Там же. Л. 2 об.—3.

он писал, что особенно надеется на покровительство министра, зная его «образ мыслей и сочувствие именно экономической науке». Приводился и дополнительный аргумент в пользу безопасного характера общества: «В проекте не сказано, что в собрании учредителей было решено просить, чтобы общество состояло в ведении Министерства народного просвещения подобно многим другим учёным обществам. Это с самого начала поставило бы его на ниву науки и провело черту между ним и всеми практическими и политическими сферами»[21]. Состав учредителей также выглядел вполне академично и солидно: кроме неизменных Безобразова, Тернера, Ламанского и Вернадского в их число входили Ю.А. Гагемейстер, Г.П. Небольсин, А.К. Гирс, А.И. Чивилев, К.С. Веселовский, А.И. Горлов, Ю.Э. Янсон, П.Ф. Лилиенфельд и А.Н. Куломзин.

Однако Толстого все эти аргументы не убедили. Как следует из имеющихся в деле резолюций, он поручил директору департамента К.К. Питерсу поднять документы головнинских времен, а затем переговорить с Безобразовым. Окончательный вердикт министра, зафиксированный Питерсом 15 января 1867 г., звучал так: «Приказано оставить без движения впредь до приказания»[22].

Конечно, момент для ходатайства об учреждении нового общества был выбран явно неудачно. 1861—1866 гг. ознаменовались множеством оппозиционных выступлений *общественных* организаций — дворянских, а затем и земских собраний (их тональность и смысл, по меркам, скажем, начала XX в., был образцом умеренности, но тогда он казался власти возмутительным). «Коноводами» выступали при этом главным образом представители аристократии, так что если у правительства и были иллюзии по поводу высокого социального статуса как гарантии «благонадежности», они должны были окончательно развеяться[23]. Элитарность предлагавшегося политэкономического общества в этих условиях едва ли могла успокоить власть. В крайне сгустившейся после 4 апреля 1866 г. политической атмосфере идея о создании *ещё одного* общества, притом *политико-экономического*, члены которого рассуждали бы о «праве собственности, свободе труда и необходимости обеспечения личности», не могла не выглядеть по меньшей мере сомнительной.

Были ли эти опасения хотя бы отчасти обоснованными? Думается, нет. Безобразов был прав: в 1860-х гг. (как и позже) либеральные экономисты были абсолютно лояльны самодержавию. Подавляющее их большинство или находилось на государственной службе, или

[21] РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 312. Л. 1—2.
[22] Там же. Л. 1, 15.
[23] См.: *Христофоров И.А.* «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850 — середина 1870-х гг.). М., 2002. С. 138—220.

было теснейшим образом связано с правительством. С точки зрения реализации своих идей, они получили в конце 1850-х гг. если не карт-бланш, то во всяком случае очень широкий простор и полномочия[24], и если работа банковской и податной комиссий, которыми они фактически руководили, не привела к коренным реформам финансовой системы страны, то произошло это не по причине противодействия реакционеров в правительстве, а из-за объективных трудностей.

Можно утверждать, что технократическая, выражаясь современным языком, часть российской общественно-бюрократической элиты имела в период реформ возможность прямо воздействовать на стремительно (и не всегда предсказуемо) проходившую в стране модернизацию экономических институтов, а если и встречала непонимание, то не в «верхах», а в общественном мнении, которое при всей своей неоднородности изначально довольно скептически относилось к либерально-экономической парадигме. Ей более или менее активно (хотя и по разному) противостояли представители самых разных общественных течений: традиционные консерваторы типа М.П. Погодина, славянофилы, «аристократическая оппозиция» (за отказ поддерживать поместное землевладение), почвенники, социалисты и нигилисты всех оттенков. И даже среди «своих», в сообществе либеральной бюрократии было немало сомневающихся в жизнеспособности доктрины laissez faire в российских условиях[25]. Так что Безобразов был прав и в том, что самой насущной необходимостью для либеральных экономистов была пропаганда своих идей и той науки, которая их формировала.

История неудачной попытки создания Политико-экономического общества, как и судьба ПЭК РГО, подтверждает, что сами либеральные экономисты относились к этой задаче достаточно серьёзно. Проблема, однако, заключалась в том, что самодержавие, своею властью проводившее в жизнь их программу, одновременно как бы отказывалось признавать её своей. Думается, что для объяснения этой коллизии, имеющей, кстати, прямые аналогии в современной истории России, необходимо прежде всего всестороннее и беспристрастное изучение становления, состава, деятельности и программы группировки либеральных экономистов и реальной их роли в формировании правительственного курса. Ни в отечественной, ни в зарубежной историографии эта проблема до сих пор не ставилась.

---

[24] См. также: *Степанов В.Л.* Либерально-экономический "эксперимент" в России (вторая половина 1850-х - первая половина 1870-х гг.) // Пётр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний. К столетию историка. М., 2008. С. 491—512.

[25] См.: *Христофоров И.А.* Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830—1890-е гг.). М., 2011. С. 99—100, 107—119, 160—177.

Р.А. Арсланов

Революционные демократы и идеи социализма в восприятии либералов 1850 – 1880-х гг.

Современное российское общество, как и полтора века назад, переживает сложный, пронизанный различного рода противоречиями период своего развития. Сегодня, как и в пореформенную эпоху, идёт поиск вектора развития страны, ведутся споры о социальных и политических силах, способных не только разработать соответствующую потребностям и возможностям общества программу преобразований, но и воплотить её в жизнь. Наиболее ожесточённая полемика шла, да и продолжается сегодня, между либералами и демократами, отстаивающими своё видение будущего страны. При всех теоретических различиях в определении целей и средств общественного прогресса их объединяло неприятие произвола власти, понимание необходимости создания условий для обеспечения свободы и достоинства личности и проч. Идейное противостояние либералов и левых демократов России во многом определяло судьбы страны. Следует учесть и то, что в современном протестном движении сторонники либерального проекта и левые силы наряду с совместными выступлениями и критикой власти ведут между собой острую идейную полемику. Вот почему обращение к проблеме отношения ведущих теоретиков либерализма к революционному демократизму и идеям социализма представляется весьма актуальной задачей.

Исследование данной темы даёт возможность лучше рассмотреть основные особенности демократической и либеральной мысли в России. Тем более что в научной литературе существуют различные оценки не только характера взглядов, но и сущности взаимоотношений либералов и революционных демократов.

В дореволюционной литературе доминировало стремление представить либералов и демократов, особенно эпохи подготовки крестьянской реформы, двумя крыльями единого освободительного движения, боровшегося с крепостничеством и самодержавным режимом, подчёркивались общие черты в мировоззрении их ведущих мыслителей (например, А.И. Герцена и К.Д. Кавелина)[1]. При этом само понятие «революционное народничество» размывалось, а его деятели представлялись, прежде

[1] *Котляревский Н.А.* Канун освобождения. 1855—1861. Пг., 1916; *Корнилов А.А.* Основные течения правительственной и общественной мысли во время разработки крестьянской реформы // Освобождение крестьян. Деятели реформы. М., 1911.

всего, людьми, которые в славянофильском духе сочувствовали народу[2]. Для либералов консервативного толка взаимодействие двух течений сводилось к пагубному влиянию, которое оказывали социалисты на значительную часть русской оппозиционной молодёжи[3]. С другой стороны, представители консервативного лагеря сами истоки русского радикализма искали в деятельности и образе мысли либеральной интеллигенции, обвиняя её в отрыве от национальной почвы[4].

Для советской историографии характерной чертой становится противопоставление либерального и демократического течений общественного движения в России, обоснование идейного превосходства революционной демократии, разоблачение антинародной буржуазной сущности либералов, их склонности к соглашательству с царизмом. Во многом такой подход был обусловлен методологической установкой, заданной ещё в начале XX в. В.И. Лениным, который вёл бескомпромиссную идейно-политическую борьбу с либерализмом, «спасая» от его развращающего влияния «демократическое сознание масс»[5]. В своей теории революционной ситуации решающую роль в проведении реформ Ленин отдавал революционерам, а их размежевание с либералами оценивал как основное содержание общественной борьбы середины XIX в.[6] Это и стало главным объектом исследовательского внимания в советское время[7].

В трудах современных исследователей отмечается, с одной стороны, восприятие некоторыми народниками определённых либеральных идей, а с другой — становление в пореформенной России социального либерализма. При этом учёные не только констатируют происходившее с конца XIX в. идейное сближение реформаторского народничества и социального либерализма, но и объясняют его вызовами процесса модернизации[8]. Вместе с тем другие историки отрицают данную тенденцию и указывают на неизбежность отчуждения либерализма и демократии. Именно этот раскол, по мнению И.К. Пантина, предопределил их историческую неудачу в эпоху, когда «на протяжении второй половины

---

[2] *Пыпин А.Н.* Народничество // Вестник Европы.1884. № 2. С. 129—130.

[3] *Чичерин Б.Н.* Россия накануне двадцатого столетия. Берлин, 1901. С. 19.

[4] *Катков М.Н.* Имперское слово. М., 2002. С. 306, 307.

[5] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 22. С. 119.

[6] Там же. Т. 20. С. 175, 176.

[7] *Демченко А.А.* Из истории размежевания революционных демократов с либералами. (Чернышевский и Кавелин) // Освободительное движение в России. Межвузовский научный сборник. Вып. 9. Саратов, 1979; *Захарина В.Ф.* Из истории общественной борьбы в период падения крепостного права (К.Д. Кавелин и революционные демократы) // Исторические записки. Т. 109. М., 1983.

[8] *Блохин В.В.* Очерки истории народнической мысли второй половины XIX в. М., 2009. С. 170, 208; *Егоров А.Н.* Проблема взаимосвязи нового либерализма и социализма в современной исторической науке // Российская история. 2009. № 2. С. 124—135.

XIX — начала XX в. основной исторической и социально-культурной задачей было не столько достижение политической свободы, ...сколько создание условий в деревне... для становления человеческой личности, формирования основополагающей клетки общества и экономики»[9]. Таким образом, либеральная идея свободы личности не соответствовала настроениям основной массы населения, тяготевшей, прежде всего, к принципам общинной уравнительности, а противостояние либералов и народников, которые вместо того, чтобы поддерживать друг друга, «вошли в ожесточённое столкновение» и оказались неспособными достичь «объединения или хотя бы взаимопонимания», предопределило, по мнению Пантина, трагическую судьбу и либерализма, и демократии в России. К тому же, взаимная вражда «деформировала и демократическую и либеральную идеологию: наши демократы не уставали доказывать ненужность (и даже вредность) либеральных свобод, а либералы... сторонились демократизма, усматривая в нём главную опасность свободе и правам личности. В результате, демократизм в России всё больше принимал плебейский разрушительный характер, а либерализм вынужден был сближаться с охранительной тенденцией»[10].

Анализ развития общественного движения пореформенной России второй половины XIX в. действительно свидетельствует о разъединённости либерализма и демократии и об отсутствии социальной опоры у либеральных идей, что стало основной причиной его исторического поражения. Однако проблема идеологической несовместимости и даже «невозможности взаимопонимания» между либералами и демократами требует дополнительного рассмотрения. К сожалению, история их идеологического противостояния, чередующегося с поиском точек соприкосновения, ещё не стала объектом специального комплексного исследования. Между тем анализ восприятия теоретиками либерализма революционной демократии, дав новый фактический материал, позволяет расширить наши представления о взаимодействии либеральной и народнической теории в условиях модернизирующегося общества.

Одним из факторов становления теории российского либерализма в 1840-е гг. было восприятие и осмысление западноевропейского опыта. Особое внимание у поколения сороковых годов вызывали революции, а также получившие распространение в ряде стран Европы идеи социализма. Размышления над трагическими последствиями революционных потрясений порождали споры о путях и методах обеспечения

[9] *Пантин И.К.* Историческая драма русского либерализма // Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы: Материалы международной научной конференции. М., 1999. С. 94—95.

[10] *Пантин И.К.* Драма российских реформ и революций // Империя и либерализм. Сборник статей. СПб., 2001. С. 34.

прогресса и свободы личности. Так, в московском кружке западников в полемике А.И. Герцена и Т.Н Грановского в 1846 г. выявились их различные отношения к идеям социализма и революции. Грановский, умевший находить долю истины в любом учении и сочувственно относившийся к цели социализма («установлению братских отношений между людьми»), возражал против насильственного вмешательства в устоявшиеся социальные отношения и «грубого нарушения прав собственности»[11]. Споря с Герценом, неформальный лидер либерального западничества осуждал защиту революции как средства обеспечения прогресса и обосновывал преобразующую силу просвещения и постепенных реформ, осуществляемых в интересах личности[12].

Именно с этого размежевания западников на сторонников радикальных действий и адептов мирных реформ началось идейное противостояние либералов и демократов в России. Позицию Грановского поддержал один из основоположников русского либерализма К.Д. Кавелин, писавший в 1848 г., что для России полезна и плодотворна лишь мирная просветительская работа и опасны идеи, чуждые условиям страны и настроениям народа. Из контекста письма следовало, что речь в нём шла о социалистических увлечениях Герцена. «Не понимаю, — писал Кавелин Грановскому, — как не видят многие, что принцип,... как бы он ни был свят и неоспорим, — ложь и нелепость, если он не уложен в данные условия... Стрелять по готовому рецепту в народ; приговором или действием — как мало в этом истинной человечности, истинной fraternite»[13]. Таким образом, ранние русские либералы, даже допуская теоретическую правоту «социалистического принципа», полагали, что его осуществление с помощью насилия и без учёта условий страны, обернётся бедами и страданиями, прежде всего, для народа, ради интересов которого и пытались его воплотить в жизнь. В целом, начавшаяся дискуссия не выходила за рамки разногласий внутри узкого круга близких по духу и воспитанию людей, сохранявших к тому же личные дружеские отношения.

Возобновление полемики пришлось на эпоху подготовки крестьянской реформы. При этом идейные споры, носившие уже публичный и идеологически аргументированный характер, не мешали объединению усилий в деле освобождения крестьян. Так, для достижения общей цели с 1856 г. началось издание в эмигрантской «Вольной русской типографии» Герцена сборников «Голоса из России». Тактическое сближение не могло, однако, скрыть идейных различий, о которых русские либера-

[11] Цит. по: *Левандовский А.А.* Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции. М., 1990. С. 237, 241.

[12] *Грановский Т.Н.* Сочинения. Изд. 4. М., 1900. С. 445.

[13] Письма К.Д. Кавелина к П.Л. Лаврову, Е.П. Ковалевскому и Т.Н. Грановскому // Литературное наследство. Т. 67. М., 1959. С. 599.

лы открыто заявили в «Письме к издателю», опубликованном в первом выпуске «Голосов из России». Его авторы, К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин, провели чёткую границу между либеральным и формирующимся в то же время демократическим течением. Да и сам Герцен не отрицал существующих разногласий, подчеркнув в предисловии к «Письму», что намерен лишь печатать «наших европеистов и наших панславистов, умеренных и неумеренных, осторожных и неосторожных» и тем самым стимулировать их усилия к переменам, не отвечая «за мнения, изложенные не нами, но сходные в цели»[14]. Важнейшими же целями он считал тогда установление свободы слова и освобождение крестьян с землёй.

Само «Письмо» состояло из двух частей, причём первая его половина, написанная рукой Кавелина, отличалась, по мнению соавтора, большей терпимостью и «мягкостью тона» по отношению к Герцену[15]. Вторая же часть, принадлежавшая Чичерину, содержала резкую критику взглядов и деятельности издателя. Основное отличие в подходах двух либералов заключалось в том, что Кавелин делал акцент не на идейных разногласиях, а на общих, объединяющих внутреннюю и эмигрантскую оппозицию задачах. Подчёркивая патриотический и верноподданнический характер деятельности русских либералов, он доказывал невозможность тайных обществ и революции в России[16]. Вместе с тем, добиваясь свободы слова и освобождения народа, Кавелин выступил с критикой «алчной, невежественной бюрократии», вставшей между царём и народом и поддерживавшей «угнетение страны». Более того, вольно или невольно Кавелин признавал, что сотрудничество с Герценом необходимо, прежде всего, самой либеральной оппозиции, которая, оказавшись «между бессмысленной, преступной бюрократией и невежественной массой, сама по себе не имеет никакого политического значения, никакой материальной опоры»[17]. Не ставя под сомнение патриотизм Герцена и защиту им интересов народа, Кавелин считал, что, эмигрировав, он оторвался от страны и утратил понимание потребностей её развития. В то же время Кавелин ограничился лишь туманным намёком на революционные увлечения Герцена, явно опасаясь дискредитировать лондонского публициста в глазах правительства и ослабить его влияние на общественное мнение и ход подготовки крестьянской реформы.

Чичерин в своей части «Письма» прямо заявлял о полной поддержке либералами правительства, вызванной их убежденностью в том,

---

[14] Голоса из России: Сборник А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Вып. 1. Ч. 1. М., 1974. С. 6—7.

[15] Русское общество 40-50-х годов XIX в. Часть II. Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., 1991. С. 121.

[16] Голоса из России. С. 10—11.

[17] Там же. С. 17.

«что только через правительство у нас можно действовать и достигнуть каких-нибудь результатов». Основное же внимание он уделил критике социалистических идей, распространяемых в заграничных изданиях Герцена. Доказывая беспочвенность его надежд на то, что крестьянская община станет основой социального переустройства страны, Чичерин приписывал Герцену революционно-анархические устремления. «Вы строите себе фантастическое будущее, — писал он, — в настоящем же Вы полагаете свои надежды на ещё не развившиеся слои человеческих обществ, на те классы людей, в которых потому-то и можно всё найти, что в них ровно ничего нет. Вы кинулись в объятия западной революционной партии и вместе с ней мечтаете о низвержении существующего порядка, ...о господстве низших классов народонаселения, призываемых революционной партией к обновлению мира буйною силою»[18]. Категоричность суждений Чичерина, резко противопоставлявшего демократа Герцена и правительству, и либералам России, фактически исключала возможность компромисса между двумя оппозиционными течениями страны. С другой стороны, в публичном выступлении двух либералов, отмеченном, хотя и не ярко выраженными различиями в их восприятии взглядов Герцена, наметилось размежевание либеральной тенденции на консервативное течение, представленное Чичериным, и демократическое, проявившееся в творчестве Кавелина.

В предреформенные годы для объединения всех сторонников мирных преобразований Кавелин планировал создать с помощью Герцена за рубежом журнал, пропагандирующий либеральные идеи. «Заграничный орган для общественного мнения, — писал он Герцену, — есть насущная потребность, как пища и питьё для человека. Но орган должен быть непременно умеренный, который через это получил бы возможность входить во все интересы, служить органом для всех мнений. Политический вопрос мало занимает наше общество, как это не покажется тебе странным...»[19]. Таким образом, Кавелин надеялся объединить различные оппозиционные течения на базе общего заграничного издания, которое отражало бы общенациональные интересы и, не затрагивая политические разногласия, сплачивало бы общество в целях поддержки реформаторского курса правительства.

Особенности формировавшегося в России демократического либерализма наиболее ярко проявились в восприятии Кавелиным полемики, развернувшейся между Герценом и Чичериным. Сама она стала результатом подозрительного отношения Чичерина к колебаниям издателя «Коло-

[18] Там же. С. 22, 25.

[19] Письма К.Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. Женева, 1892. С. 5—6.

кола», который, по его словам, «то писал восторженное письмо Государю под заглавием “Ты победил, Галилеянин!” — и обещал быть верным слугою царю, если будут отменены крепостное право, телесные наказания и цензура, то вдруг, без всякого серьёзного повода, забывал сказанное вчера, начинал бесноваться, ругал всё и всех, печатал статьи с воззваниями к топору»[20].

Стремление Чичерина в его «Обвинительном акте» провести чёткую грань между «здравомыслящим» либерализмом и «необузданным» радикализмом встретило не только понимание, но и одобрение значительной части русского образованного общества. Вот почему полной неожиданностью для него стало желание Кавелина защитить эмигранта от обвинений в революционных намерениях. Между тем Кавелин, поддержанный, кстати, П.В. Анненковым, И.С. Тургеневым и И.К. Бабстом, обратил внимания на то, что «разоблачения» Чичерина оказались на руку реакционным силам, выступавшим против каких-либо преобразований, будто бы поощряющих радикалов и таящих в себе угрозу революции[21]. Окончательный разрыв отношений между либеральными мыслителями, означавший размежевание двух тенденций в либерализме, произошёл в 1861 г., в связи со студенческими волнениями, нашедшими понимание у Кавелина и вызвавшими осуждение со стороны Чичерина[22].

Особого внимания заслуживает восприятие Кавелиным социальных идей Герцена. Несколько затушёвывая существующие идеологические различия, Кавелин утверждал, что они касаются не столько целей общественного развития, сколько «средств, которые ведут к целям»[23]. При этом либерал обнаруживал и имеющиеся общие теоретические «основания», под которыми, скорее всего, подразумевал близость во взглядах на роль и значение крестьянской общины и, в целом, в понимании социальной справедливости. В отличие от ортодоксальных либералов, Кавелин отстаивал необходимость сохранения общины, в которой видел органичную часть народной жизни, призванную стать после освобождения крестьян «единственно возможным убежищем для народных масс от монополии владельцев и капиталистов»[24]. Однако выполнение функции «социальной защиты» требовало от общины обновления, призванного освободить крестьянина от деспотизма «сельского мира»[25].

---

[20] Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Путешествие за границу. М., 1932. С. 50.

[21] *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. XV. СПб., 1900. С. 261, 262.

[22] *Кавелин К.Д.* Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 2. СПб., 1898. Стб. 1191, 1194; *Чичерин Б.Н.* Несколько современных вопросов. М., 1862. С. 24—25.

[23] Письма К.Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. С. 3—4.

[24] *Кавелин К.Д.* Собрание сочинений... Т. 2. Стб. 177.

[25] Примечательно, что и Герцен не идеализировал реально существовавшую общину, отмечая у неё те же недостатки: отсутствие «движения, ...конкуренции, внутренней борьбы». Более того, по его мнению, «если бы в общине не было

Община, в представлениях Кавелина, не исключала наличия частной собственности, а должна была всего лишь уравновесить её отрицательные стороны: крайнее неравенство и социальные противоречия, ведущие к революции[26]. С началом проведения крестьянской реформы Кавелин не изменил своего взгляда на общину и частную собственность, настаивая на необходимости их сосуществования и полагая, что «ту и другую форму нужно сохранить рядом, потому что они дополняют одна другую»[27]. Именно сочетание различных форм собственности должно было, по его мнению, не только предохранить Россию от обнищания масс и революционного взрыва, но и обеспечить её экономическое процветание, опирающееся на относительную социальную справедливость и свободу личности.

Герцен также видел в крестьянской общине основу синтеза традиционных, национальных ценностей с развитием и свободой личности. Но, в отличие от Кавелина, он ожидал от неё не адаптации крестьян к капиталистическому рынку, а создания социальной модели, избавляющей русский народ от «ужасов капитализма»[28]. По сути, в понимании роли общины и средств обновления общества эти мыслители значительно отличались друг от друга.

Кавелин выступал против попыток радикалов ускорить реформы путём угрозы выступления «снизу», не переставал говорить об опасности народных движений, пагубные последствия которых даже «трудно предвидеть»[29]. Вместе с тем ему был присущ определённый демократизм, проявлявшийся, например, в его отношении к крестьянству. Так, в письме к Грановскому он с горечью констатировал: «У нас нет... готовности вникнуть в мелкие, на низкой степени стоящие требования нашей братии по плоти и крови, вслушаться в младенческий говор целого племени, к которому принадлежим, потом и кровью которого, мы, однако, стали тем, что мы есть, — мы, умные и образованные, видящие далеко вперёд. Если никогда в нас не родилась твёрдая, непреклонная воля, решимость снизойти до его печалей и радостей и им симпатизировать делом, — наша космополитичная любовь — пустое слово, чванство пресыщенного знанием эгоизма, образованный утончённый разврат и растление. Любовь налагает обязанности»[30].

полного поглощения личности, то самодержавие не могло б образоваться» *(Герцен А.И.* Собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 6. М., 1956. С. 204, 199).

[26] *Кавелин К.Д.* Собрание сочинений... Т. 2. Стб. 178—179.

[27] Письма К.Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. С. 58—59.

[28] *Герцен А.И.* Собрание сочинений... Т. 12. М., 1957. С. 112.

[29] *Кавелин К.Д.* Собрание сочинений... Т. 2. Стб. 32—33.

[30] Письма К.Д. Кавелина к П.Л. Лаврову, Е.П. Ковалевскому и Т.Н. Грановскому // Литературное наследство. Т. 67. М., 1959. С. 598—599.

Кавелин напоминал, что образованное общество появилось благодаря труду и страданиям народа и нравственно обязано не только обратить внимание на его тяжёлое положение, но и помочь ему конкретными делами. Рассуждения либерала пронизывала идея, вполне созвучная народнической теории «цены прогресса» и «долга интеллигенции перед народом», развитой позднее П.Л. Лавровым в его знаменитых «Исторических письмах».

Однако Кавелин, в отличие от многих революционных демократов, не идеализировал народ, представлявшийся ему ещё несформировавшейся национально-культурной общностью, склонной к различного рода «иллюзиям и утопиям»[31]. Он считал эту черту признаком «младенчества» русского народа, его культурной незрелости, поэтому постоянно говорил о необходимости не только умственного и правового, но и нравственного воспитания народа, чьё сознание оставалось ещё буквально пропитанным «языческими суевериями», отличалось преданностью идеалам общины и самодержавной власти. С другой стороны, Кавелин отмечал и такие черты народного сознания, как «склонность к молодечеству, к разгулу, к безграничной свободе». Он связывал их с тем, что в народной среде в силу исторических обстоятельств не сложилась личность. Отсутствие же личного начала в условиях разделявшей народ и образованное общество культурной пропасти приводило к формированию такого государства, которое одно лишь и могло, сдерживая народную стихию, обеспечить прогрессивное развитие страны путём реформ сверху[32].

Любопытно, что Н.Г. Чернышевского либерал Кавелин характеризовал как человека глубоко порядочного и достойного всяческого уважения, ценя «искренность и честность» его убеждений[33]. Однако, когда в начале 1859 г. «Современник» обвинил «русских прогрессистов» в конформизме за их поверхностную и мелочную критику существующих порядков, а в защиту русских либералов выступил Герцен, признавший в своих статьях «Very dangerous!!!» и «Лишние люди и желчевики» эти нападки крайне несправедливыми и бестактными[34], Кавелин полностью поддержал издателя «Колокола»[35]. После ареста Чернышевского, связанного с распространением прокламаций и пожарами лета 1862 г. в Петербурге, Кавелин из принципиальных соображений оправ-

[31] *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 461.
[32] Там же. С. 463, 436, 201, 202.
[33] Записки отдела рукописей ГБЛ. Вып. 6. М., 1940. С. 62.
[34] Подробнее см.: *Козьмин Б.П.* Выступление Герцена против «Современника» в 1859 г. // *Козьмин Б.П.* Из истории революционной мысли в России. М., 1961; *Порох И.В.* Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963.
[35] Письма К.Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. С. 42, 43.

дал действия властей и открыто заявил об этом в своём известном письме к Герцену: «Аресты меня не удивляют, и признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтоб сбросить правительство, и оно защищается своими средствами... Чернышевского я очень, очень люблю, но такого brouillon, бестактного и самонадеянного человека я никогда ещё не видел. И было бы за что погибать! Что пожары в связи с прокламациями — в этом нет теперь ни малейшего сомнения»[36]. Долгое время это письмо, ставшее основанием для известной ленинской оценки Кавелина как одного «из отвратительнейших типов либерального хамства»[37], служило в советской историографии доказательством перехода либералов на позиции «охранительного либерализма».

На деле подобное восприятие Кавелиным ареста Чернышевского, если взглянуть на него без идейной предвзятости, было лишь проявлением его неприятия насилия — как правительственного, так и оппозиционного. К тому же никакой публичной поддержки власти Кавелин не оказывал и, более того, осуждал её за произвол, который, по его мнению, и вёл к развитию революционного движения. «Насилие, откуда бы оно ни шло, — писал он Герцену, — погибает под ударами другого насилия, которое его только подогревает... Общественная жизнь — это такой организм..., против которого ничего не поделаешь силой. Больного лечат, а не бьют, чтобы он выздоровел»[38]. Лишь мирные реформы, порождаемые потребностями общественного развития, могли обеспечить, согласно представлениям русского либерала, подлинный и необратимый прогресс.

Принципиальные различия в оценке последствий отмены крепостного права, а главное — в видении будущего страны привели к резкому размежеванию позиций между Кавелиным, приветствовавшим крестьянскую реформу, и Герценом, считавшим, что «народ царём обманут». Однако непосредственным поводом, повлекшим разрыв даже личных отношений, стала публикация Кавелиным брошюры «Дворянство и освобождение крестьян», в которой он достаточно резко выступил против каких-либо конституционных проектов ограничения власти монарха в России. Объясняя замысел данной работы, Константин Дмитриевич писал Герцену: «Брошюра моя написана в мае 1861 года, когда российское дворянство драло горло о конституции, разумея под нею отмену положения 19 февраля»[39]. Таким образом, в конституционных планах столичного дворянства он увидел не столько угрозу ограничения царской власти,

[36] Там же. С. 82.
[37] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 21. С. 259.
[38] Письма К.Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. С. 77, 78.
[39] Там же. С. 51.

сколько стремление олигархической оппозиции добиться реставрации крепостнических порядков. Он критиковал конституционные проекты дворянства за их антидемократизм, за заботу не о свободе личности и правах народа, а прежде всего о своих сословных интересах. Между тем любая попытка ограничить власть царя в то время могла, как утверждал Кавелин, вызвать народное возмущение. «Игра в конституцию меня пугает, — признавался он Герцену, — разбесят дворяне мужиков до крайности, уверят их своим псевдолиберальным балагурством, что они, дворяне, в самом деле затевают что-то против царя, и пойдёт потеха. Я скоро буду всеми силами стоять за все реформы, но против конституции»[40].

Но Герцен, увидев в работе Кавелина лишь «вредный памфлет», свидетельствующий о высокомерном отношении либерала к народу, о его неверии в готовность масс к демократии, заявил, что лишь «отречение» от брошюры может восстановить их отношения[41].

В ответ Кавелин усилил критику «Колокола» и пропаганды в нём революции и социализма. По его словам, Герцен «из мыслителя, обличителя» превратился в «политического агитатора, главу партии, которая во что бы то ни стало хочет теперь же, сию минуту водворить у нас новый порядок, и если нельзя мирными средствами, так переворотом». Отстаивая идею постепенного органического развития общества, Кавелин призывал демократов готовить «грунт для истинной и прочной политической свободы в самоуправлении»[42].

В результате полемика завершилась окончательным разрывом их личных отношений, о котором, кстати, Кавелин в дальнейшем сожалел[43]. Да и Герцен позднее отказался от своих радикальных увлечений начала 1860-х гг. и вновь стал отстаивать необходимость реформ, полагая, что отсталость «силой не взять», и насилие, разрушая существующие отношения, приведёт лишь к воссозданию наиболее уродливых черт старого порядка. Теперь он почти в кавелинском духе утверждал, что «нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри»: «Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное рабство, чем дар излишней свободы»[44]. Таким образом, суждения позднего Герцена противоречат устоявшемуся в советской историографии мнению о том, что разрыв его отношений с Кавелиным олицетворял собой окончательное размежевание либеральной и демократической тенденций в освободительном движении России[45].

---

[40] Там же. С. 47.
[41] *Герцен А.И.* Собрание сочинений... Т. 27. Кн. 1. М., 1963. С. 226, 227.
[42] Письма К.Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. С. 60, 59.
[43] См.: Из писем Кавелина к Д.А. Милютину // Вестник Европы. 1909. № 1. С. 26.
[44] *Герцен А.И.* Собрание сочинений... Т. 20. Кн. 2. М., 1960. С. 590.
[45] См., например: *Захарина В.Ф.* Из истории общественной борьбы.... С. 171.

В действительности дифференциация общественного движения проходила более сложно и противоречиво, и не только по линии либералы — революционеры. Поляризация общественно-политических сил страны протекала в нескольких направлениях и являлась по своему существу многовекторным процессом. Так, в ходе крестьянской реформы наметилось размежевание внутри либерального направления, отразившееся в разрыве отношений Кавелина и Чичерина. Представляется, что их расхождения вызывались поиском наиболее адекватного для российских условий пути модернизации, сами же границы между различными течениями были достаточно подвижны и зачастую прозрачны, что отражало сложность духовных исканий русской интеллигенции.

На отношение либералов к демократам 1850—1860-х гг. во многом влияли их изначально дружеские личные связи, общность дворянского происхождения и воспитания, близость взглядов на роль личности в общественном развитии, а также особая требовательность к нравственной стороне деятельности человека.

Встретив в 1862 г. за границей М.А. Бакунина, Кавелин с возмущением писал жене не только о своих расхождениях в «образе мыслей» с революционером, но и о том, что тот «дал Корсакову, генерал-губернатору Восточной Сибири *честное слово*[46] не бежать, и бежал, потому что дал слово с намерением его не исполнить»[47]. Нравственный релятивизм радикалов не ускользал от внимания Кавелина и служил одним из оснований для резких оценок их концепций и деятельности. В то же время в народниках Кавелин видел наследников лучших традиций славянофильства и западничества и одновременно — альтернативу им. Либерал высоко оценивал стремление революционных демократов соединить представления народа о справедливости и форму организации его жизни — общину с современными социалистическими учениями, разработанными европейскими мыслителями[48]. Вместе с тем, по его мнению, социалистическая идея к началу 1880-х гг. стала утрачивать влияние на интеллигенцию. Одну из причин идейного кризиса народничества Кавелин усматривал в том, что его теоретики не сумели избежать идеализации крестьянства, «не заметили неразвитости», утверждения в его среде «грубого индивидуализма» и стремления вести личное хозяйство[49].

Продолжая осуждать те насильственные средства, с помощью которых революционеры надеялись осуществить свою программу, Кавелин признавал, что в общественной жизни существовали реальные условия,

[46] Выделено мной — *К.Д.*
[47] РО ИРЛИ. Ф. Кавелиных. Д. 20796. Л. 104, 105 об.
[48] См.: *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. С. 502, 503.
[49] Там же. С. 504.

порождавшие «революционные тенденции». Не веря в народнический постулат, будто «царство справедливости начнётся через революцию», он пытался доказать, что насильственный характер преобразований исказит и саму их цель, сколь бы справедливой и гуманной она не была. «Характер отрицания, — пророчествовал он, — непременно окрасит собой всё учение, даст ему тон и, если не навсегда, то надолго привяжется к его будущей судьбе». «Из всех диктатур, — убеждал он, — самая жестокая, самая убийственная будет диктатура социалистическая, по той простой причине, что она ему (социализму. — *Р.А.*) не по характеру, не по нраву...»[50].

В условиях наметившегося с середины 1860-х гг. отказа правительства от курса реформ и радикализации части интеллигенции, отношение либералов к революционной демократии начинает меняться. Оно становится менее личностным и всё более идеологизированным и критическим. Для либералов основной задачей остаётся создание в России условий, необходимых для развития личности, обеспечение её прав и свобод путём мирных реформ и просвещения, для демократов — революционное изменение общества на принципах солидарности и справедливости, т.е. осуществление социалистического идеала. Рассматривая государство как силу, имеющую решающее значение для дальнейшего общественного прогресса, либералы начинают опасаться антигосударственной направленности революционного движения, стремящегося спровоцировать народный бунт. К тому же непосредственным ответом властей на действия радикалов становилось свёртывание реформ. Вот почему государственник Чичерин относился к ним как к врагам общества, которые своей пропагандой среди интеллигенции «сдвинули Россию с пути правильного развития и открыли широкие двери реакции»[51]. Более того, консервативная часть либералов начинает негативно воспринимать сам демократический порядок, полагая, что его утверждение в России может привести к революции и победе социализма. «При всех своих достоинствах, демократия не может быть идеалом человечества, — писал Чичерин. — По идее, в государстве должна владычествовать разумная его часть, а не наоборот»[52].

Более сдержанную позицию по отношению к революционным демократам занял представитель молодого поколения «государственной школы» А.Д. Градовский, внимательно анализировавший увлечение радикальной молодёжи России социалистическими идеями. Саму коммунистическую систему он считал утопической и противоречащей основному направлению развития человеческой цивилизации, поскольку её

---

[50] Там же. С. 425, 427.
[51] *Чичерин Б.Н.* Россия накануне двадцатого столетия. Берлин, 1901. С. 19.
[52] *Чичерин Б.Н.* О народном представительстве. М., 1899. С. 101.

воплощение означало бы «уничтожение всех тех учреждений, которыми обусловливается самостоятельное существование и самобытное развитие человеческой личности: собственности, семьи и семейного воспитания, и государства как нейтральной силы, охраняющей права каждого»[53]. При этом, в отличие от основоположников «государственной школы», Градовский утверждал, что социалистов и либералов разделяют не только средства, но и цели борьбы. Суть его рассуждений сводилась к тому, что именно утопичность социалистической программы предполагала неизбежное использование для её реализации насильственной революции, тогда как естественный путь развития был сопряжён с мирными реформами, создающими условия для свободы личности и процветания общества. Более того, противореча, по мнению Градовского, самой природе человека, социалистические начала, осуществлённые в результате «насильственного и страшного переворота, ...не могут держаться без постоянного насилия над человеческой личностью»[54].

Градовский признавал возможность революции в тех странах Западной Европы, в которых сложились для неё условия: развитое фабричное производство, класс пролетариата, лишённый прав и испытывающий материальные бедствия, эгоистическая политика властей, не удовлетворяющих его законные требования. Но и там в результате «взрыва стихийных сил нации» произошло бы, по его мнению, не торжество социалистических идей, а установление диктатуры, готовой на всё ради восстановления порядка[55].

Признавая обоснованность развития социалистических идей в странах Западной Европы, где оно стало следствием формирования многочисленного слоя фабричных рабочих и обострения классовой борьбы, играя роль «противовеса... односторонним выводам манчестерской школы», т.е. экономическому либерализму с его проповедью «естественных законов» рынка, Градовский не находил социальной почвы для их распространения в России. Социализм, по его мнению, появился в России лишь в «теоретической области, где из каждой посылки могут быть сделаны все логические выводы, без всякого соображения о практической их пригодности»[56]. Умозрительный, далёкий от реальности характер отечественных социалистических теорий, попытки нескольких сотен пропагандистов «разогреть 80-миллионную массу в противность всей русской истории», превращали их в утопию.

[53] *Градовский А.Д.* Трудные годы (1876—1880) / Составитель, автор вступительной статьи и комментариев С.С. Секиринский. М., 2010. С. 215.
[54] Там же.
[55] Там же. С. 227.
[56] Там же. С. 236.

Вместе с тем Градовский не мог не отметить искренней увлечённости части молодёжи идеями социализма. Он полагал, что их распространение вызывалось условиями самой пореформенной эпохи, с одной стороны, порождавшей своим переходным характером определённую духовную растерянность образованной части общества, толкавшую её к поиску опоры в модных зарубежных учениях, а с другой, — заставлявшей задуматься о положении народа. По словам либерального публициста, большинство собравшихся под знаменем социализма «движется, конечно, любовью к народу», стремясь добиться для него равноправия, образования, материального достатка и проч. В итоге, Градовский пришёл к выводу, что программа революционной партии в России на деле преследовала не только в экономическом, но и в юридическом смысле «буржуазные стремления», прямо противоположные «социальному учению»[57].

При этом либерал пытался убедить революционную молодёжь и в том, что созданный ею образ народа, ради которого она готова была идти на жертвы, не соответствует действительности, призывая любить народ «как он есть, со всеми его достоинствами и недостатками»[58]. Основной же задачей молодёжи он считал не пропаганду утопических идей и разжигание инстинктов народа, а проведение просветительской работы. «*Вы можете принести пользу народу,* — писал он, обращаясь к студентам, — *только оставаясь самими собой*, т.е. частью русской интеллигенции, постепенно увеличивая число образованных, разумных и нравственных русских людей»[59].

В целом представители нового поколения либералов, благодаря лучшему знанию основных течений социализма в Западной Европе и России, анализу практической деятельности народников в России придали критике социалистических идей большую аргументированность и глубину. Так, в отличие от своих предшественников Градовский не только изучил развитие европейской социалистической мысли, но и обнаружил отсутствие в пореформенной России «владычества класса над классом», т.е. социальных условий для социалистического движения. Более того, он доказывал, что революционная партия, стремясь к социалистическим целям, на деле расчищала путь для утверждения капитализма в стране. При этом либеральный публицист утверждал, что сама её деятельность порождалась, с одной стороны, отказом правительства от продолжения реформ, а с другой — апатией, охватившей общество, его неспособностью предложить свою программу преобразований, и тем более — постоять за неё. «Обстоятельства сложились пока так неудачно, — писал он, — что

[57] Там же. С. 277, 281.
[58] Там же. С. 285.
[59] Там же. С. 295. Курсив А.Д. Градовского.

всякий сколько-нибудь прогрессивный элемент обращается во что-то оппозиционное и притом не имеющее своего определённого знамени, своего законного пути». Вот почему молодёжь, не чувствуя энергии в либеральной оппозиции, идёт к «сравнительно крепкому и организованному телу социальной партии, которая даёт своим адептам хоть не своё, но определённое знамя с готовым учением и программой и даже с возможностью действия, ибо она не нуждается в "легальных" путях»[60]. Таким образом, бессилие русских либералов, приверженность принципу законности, обрекавшая их на бездействие, отталкивали от либеральной идеи молодёжь, жаждавшую непосредственного участия в общественной жизни.

Критика Градовским социализма была призвана предостеречь молодёжь от социальных иллюзий и заблуждений, направить её энергию в русло мирной борьбы с самодержавным произволом, сословным неравенством, т.е. — за либеральные цели. При этом возможному объединению усилий народников и части либералов способствовало совпадение их взглядов на ряд особенностей развития пореформенной России. Прежде всего, при всём различии отношений к частной собственности, в которой либералы видели источник свободы и развития личности, их объединяла защита крестьянской общины. Правда, либералы искали в ней не основу будущего социалистического порядка, а средство, спасающее крестьянство от разорения в условиях утверждения рыночных отношений, а, следовательно, от угрозы революции.

Для либералов пореформенной эпохи была близка забота и их предшественников, и современных им радикалов о нуждах народа. Так, развивая в новых условиях идеи Кавелина, представитель молодого поколения либеральных теоретиков Градовский писал: «Мы не должны желать, чтобы экономическое состояние нашего отечества уподобилось состоянию западноевропейских государств с чрезвычайно высокой цифрой общего национального богатства, но с бедностью низших классов. Мы должны крепко держаться за имеющиеся у нас условия самостоятельного крестьянского хозяйства и улучшать эти условия. Мы должны помнить, что никакие политические реформы не дадут нам счастья (как народу), если рядом с нами не будет развиваться попечение об экономическом быте народа»[61]. Таким образом, русские либералы, отступая от заветов «манчестерской школы», отстаивали необходимость не только государственного регулирования экономики, но и решения социальных проблем на основе принципов справедливости, без чего, по их мнению, невозможно было продвижение к демократии, обеспечение подлинной свободы личности.

[60] Там же. С. 281.
[61] Там же. С. 246.

С народниками либералов объединяло и восприятие интеллигенции как особой внесословной силы, противостоявшей «образованному обществу», способной выразить и сформулировать интересы народа и повести его по пути прогресса, который, правда, они понимали по-разному. Для либералов интеллигенция являлась, прежде всего, «и пружиной, и регулятором общественного движения», которая «ведёт общество вперёд и не даёт интересам одного восторжествовать над законными интересами другого, не допускает подчинения общего блага частным пользам»[62].

Идеи сохранения общины, обеспечения «экономического быта» народа, представления об исключительной роли интеллигенции в обеспечении общественного прогресса находились в русле размышлений об особом пути развития России. И Кавелин, и Градовский видели основную особенность страны в преобладании крестьянства, владеющего собственным наделом, что спасало его от пролетаризации и других «ужасов капитализма», потрясавших Западную Европу. Либералы пытались убедить радикально настроенную молодёжь в том, что революции задерживают прогресс, искажают ход общественного развития. Для России же с её отсталостью, неразвитостью личного начала, отсутствием реальных условий для воплощения идеалов социализма, революция представляет особую опасность, поскольку неизбежно приведёт к установлению жестокой диктатуры.

В полемике с революционерами русские либералы обосновывали взаимообусловленность развития личности и общества, доказывали возможность и необходимость для России ненасильственного прогресса, основанного на достижении синтеза национальных традиций с европейскими ценностями, развенчивали утопические проекты достижения «всеобщего счастья», тем более, если они были сопряжены с идеями насилия и революционных скачков. В целом, либералы воспринимали социализм как антииндивидуалистический по своей сути общественный порядок, превращающий человека в часть, подчинённую общему, в элемент утопической конструкции и средство её построения, а не самоцель общественного развития, что противоречило основной ценности либеральной парадигмы — свободе личности.

Вместе с тем следует учесть и то, что при всех различиях взгляды народников и либералов вырастали из одного корня — идеи свободы, общественного прогресса, блага народа, любви к родине и готовности служить избранным идеалам. Отражая думы и сомнения русской интеллигенции, представители этих течений общественной мысли расходились в оценках отечественных пореформенных реалий и, особенно, в определении средств и методов решения насущных проблем развития страны.

---

[62] Там же. С. 297.

Н.Б. Хайлова

Модернизация и национальное хозяйство: взгляды русских либералов-центристов рубежа XIX – начала XX веков

Проблема кризиса национальной идентичности, обострившаяся на рубеже XX—XXI вв. в связи с процессами глобализации, имеет глубокие исторические корни. Для России болезненно-острый вопрос о сохранении своего «лица» на путях модернизационного обновления приобрёл особую актуальность более века назад. Собственное ви́дение данной проблемы было характерно для либералов-центристов, взгляды которых отличались принципиальной «невписываемостью» в какие бы то ни было жёсткие идеологические и партийные рамки. В начале XX в., тяготея к кадетам как наиболее крупной левоцентристской силе, центристы тем не менее предпочли прокладывать свою «колею». Основными вехами данного процесса стала деятельность связанных между собой как идейно, так и по своему руководящему составу, последовательно существовавших и претендовавших на общероссийское влияние партий демократических реформ (ПДР), мирного обновления (ПМО) и прогрессистов. Кроме того, на принципиально схожих основаниях тогда же образовалось значительное число общественных организаций (политические партии, союзы, клубы и т.д.) в ряде регионов России. Данный факт примечателен, во-первых, как одно из доказательств укоренённости либерализма на русской «почве», а во-вторых, как показатель интенсивного поиска (так и оставшегося незавершённым к 1917 г.) модели либеральной партии, наиболее адекватной отечественным реалиям. Анализ взглядов идеологов либерального центризма на проблемы национальной экономики России в связи с процессом модернизации на рубеже XIX—XX вв. позволяет охарактеризовать сущностные черты центристской модели хозяйственных преобразований и восполнить существующий «пробел» в истории русской социально-экономической мысли.

Обеспечить солидарными усилиями общества и власти последовательное продвижение России на пути к демократии и органический рост экономики без разрыва исторической преемственности и с наименьшими издержками для большинства населения — в этом идеологи либерального центризма видели главную задачу всех здра-

вомыслящих сил в стране. Они указывали на общность исторического пути России и Запада и мечтали о том, чтобы «граница, лежавшая между Россией и Западом, совершенно стёрлась»[1]. Обосновывая необходимость создания в стране благоприятной среды для восприятия зарубежного опыта, либералы-центристы не видели в этом угрозы для национально-культурной специфики. Один из лидеров ПДР, учёный-обществовед с мировым именем М.М. Ковалевский доказывал, что заимствование (за исключением науки и техники) является лишь *приспособлением* новшеств и всегда представляет собой не прямое подражание, а своего рода «второстепенное творчество» того или иного народа в русле его *саморазвития*, лишь вдохновляемого иностранными образцами. Обращаясь к приверженцам идеи о «полной самобытности» российских порядков, он замечал: «Когда нам говорят о том, что те или другие порядки не наши, что необходимо выработать самостоятельные, национальные, истинно русские, мы вправе ответить, что утверждать нечто подобное — значит идти против уроков мировой истории, знакомящей нас с *мировым процессом подражания*»[2]. Как полагал ещё в начале 1880-х гг. один из инициаторов образования ПДР, известный публицист К.К. Арсеньев, «пойти домой, возвратиться к утраченной самобытности, приобщиться народного духа»[3] было бы явно недостаточно для ответа на злободневные вопросы жизни.

Обозначенный либералами-центристами курс на модификацию существующего порядка означал не разрыв с унаследованной от предков монархией, а подведение под неё нового фундамента — народной свободы и равенства в правах. Суть политической реформы виделась им в расширении сферы самостоятельности человека, в том числе в «раскрепощении» труда: «Народный труд может развиваться и крепнуть только в свободном государстве..., в рамках полицейского строя этот расцвет недостижим... Только при проведении в жизнь начал правопорядка, ...только при уверенности каждого в завтрашнем дне можно рассчитывать на широкий поток русской самодеятельности со стороны разнообразных кругов русского населения»[4]. Эта мысль звучала рефреном в выступлениях лидеров либералов-центристов. Настаивая на «благотворном влиянии привлечения общества к участию в общественных делах», член Организационного комитета ПДР, эко-

---

[1] М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 1. СПб., 1911. С. 259.

[2] *Ковалевский М.М.* Социология и конкретные науки об обществе // *Ковалевский М.М.* Сочинения в двух томах. Т. 1. СПб., 1997. С. 68.

[3] Вестник Европы. 1882. № 4. С. 798—799.

[4] Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов 1906—1916 гг. Документы и материалы / Сост., предисл. и коммент. Н.Б. Хайловой. М., 2002. С. 488—490.

номист и публицист И.И. Иванюков предупреждал: «Бюрократизм и ограничение деятельности общества узкою сферою домашних интересов неизбежно ведут за собою измельчение и опошление его. И кто говорит, что самодеятельность общества и народа является полезною лишь по достижении нациею значительного развития цивилизации, тот или умышленно обманывает, или совсем не знает истории»[5].

Успех политической и экономической модернизации идеологи либерального центризма ставили в прямую зависимость от уровня науки, образования и культуры — «триединства», составляющего «единственную прочную основу блага и счастья народов»[6]. Заявляя о том, что «будущее России определится не столько политическою деятельностью, сколько культурною, воспитательною работою», они придавали особое значение «развороту» сограждан в сторону либеральных ценностей. Как писал кн. Е.Н. Трубецкой, «нужно полное перевоспитание русского общества, коренное изменение его психического склада, новое самоопределение народного характера»[7]. «Качество населения», «средний тип, который выработан историей народа», по мнению либералов-центристов, оказывали решающее влияние на судьбу любой страны, в том числе на её экономический рост. Подтверждением этого вывода служил опыт Великобритании и США, где традиция широкой свободы «самодеятельности» народа имела глубокие корни, а граждане сумели развить в себе «более, чем другие народы, волю, работоспособность, телесную, умственную и нравственную силу»[8]. М.М. Стасюлевич, редактор авторитетного журнала «Вестник Европы», сыгравшего важную роль в становлении центристского течения в русском либерализме, полагал, что «любимый девиз» англосаксов — «Help yourself!» — характеризовал «весь курс конституции Англии и С.А. Штатов, а вместе секрет их могущества». Он был убеждён в том, что «всякое государство, где администрация берёт на себя даже и пережёвывание пищи, как делает то кормилица с новорождённым, где правительство называют кормильцем и благодетелем, то государство останется навсегда в состоянии детства. Таков закон истории!»[9].

---

[5] *Иванюков И.И.* Падение крепостного права в России. СПб., 1903. С. 52—53.

[6] *Чупров А.И.* О характере и причинах современного промышленного кризиса в Западной Европе. Речь, прочитанная в торжественном собрании Московского университета 12 января 1889 г. // *Чупров А.И.* Речи и статьи. Т. I. М., 1909. С. XXXIX.

[7] *Трубецкой Е.Н.* Необозначенные на карте камни // Московский еженедельник. 1907. № 35. 8 сентября. С. 6—7.

[8] *Иванюков И.И.* Новая книга о мировом хозяйстве. Проф. А.А. Исаев, «Мировое хозяйство» // Вестник Европы. 1910. № 2. С. 291.

[9] М.М.Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 1. С. 232, 277.

Размышляя над проблемой соотношения экономической свободы и государственного регулирования, А.М. Рыкачёв, талантливый экономист и публицист, один из ближайших сподвижников П.Б. Струве, приходил к выводу о том, что «по мере усложнения и укрепления экономических связей... перед правительствами всех стран встают всё более тонкие и ответственные задачи, которые неизбежно усиливают влияние правительственной власти и в то же время требуют от неё всё большей подвижности, энергии и талантливости». «Если раньше было удобно ограничиваться простым правилом о наибольшем количественном сокращении правительственного вмешательства, то теперь главная забота должна быть о качественном улучшении правительственной деятельности», — утверждал он[10].

Идеологи либерального центризма исходили из того, что главная цель государственной политики (не на словах, а на деле!) — «народное благо». Считая, что национальное богатство не должно создаваться ценою народной бедности, прогрессисты настаивали на необходимости перемещения акцентов в деятельности верховной власти с заботы о привилегированном меньшинстве на обеспечение интересов народных масс. Первоочередной задачей им представлялось также решение на широких демократических началах аграрного и рабочего вопросов. Признавая неравенство способностей и имущественного положения граждан, либералы-центристы требовали ограничения крайних его проявлений путём справедливого налогообложения, а также «уравнения условий борьбы и конкуренции из-за приобретения необходимого достатка»[11]. Данная принципиальная позиция отражала приоритет нравственных ценностей в деле общественного переустройства.

«Если экономические реформы задумываются с той только целью, чтобы внешними способами увеличить материальное благосостояние общества, если они рассчитаны только на стремление к обогащению, они никогда не будут полны и никогда не достигнут цели, — ещё в 1870-е гг. заявлял на страницах “Вестника Европы” правовед и публицист А.Д. Градовский. — Они не будут полны потому, что творческою экономическою силою остаётся та же человеческая личность, её труд; а труд есть не только механическое действие, но и нравственный акт, нуждающийся в нравственных стимулах. Голая страсть к наживе и к материальным наслаждениям способна породить спекуляцию, но не даст стране правильного и действительно производительного труда. Поэтому такие реформы не достигнут и своей цели. Цель действи-

[10] Из иностранных экономических журналов // Народное хозяйство. 1903. № 6. С. 103.

[11] *Ковалевский М.М.* Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 267—268.

тельной экономической реформы — увеличение суммы производства и правильное распределение богатств. Но без поднятия нравственного уровня общества труд всегда будет обращаться не на тяжкие, хотя и производительные его отрасли, а на занятия лёгкие и в данную минуту наиболее прибыльные с личной точки зрения. Земледелие придёт в упадок, промышленность будет в застое, мануфактуры заглохнут, но процветут мелкое торгашество, тёмные банковские операции, синекуры в железнодорожных администрациях и кредитных учреждениях. В результате вместо типа трудовой личности общество выработает тип хищника, обращающего все усилия общества в свою пользу»[12].

Лидеры либерального центризма были убеждены в неразделимости нравственного и научного подходов к решению социально-экономических проблем. При анализе хозяйственных явлений и при разработке экономической стратегии они призывали критически относиться к зарубежному опыту, не руководствоваться «теориями» (хотя бы и общепризнанными), а идти «от жизни», сверяясь со здравым смыслом и моральными ориентирами. Ставка учёных, близких к центристскому течению в русском либерализме, на максимальную объективность в исследованиях обусловила их весомый вклад в развитие отечественной статистики (А.И. Чупров, А.С. Посников), позволяла видеть «зерно истины» во взаимоисключающих, на первый взгляд, концепциях.

Отсутствие идеологической зашоренности, государственнический подход, выдвижение на первый план принципа целесообразности — всё это побуждало деятелей либерального центризма настаивать на отказе от устаревших подходов при решении новых, сложных проблем. Так, А.М. Рыкачёв настаивал на том, что «только то обновление, только то движение вперёд хорошо, которое означает творческую, созидательную работу». Между тем он отмечал, что «современный прогресс есть отрицание творчества», поскольку во главу угла поставлена «вера в машины и в механический труд». А.М. Рыкачёв считал ошибочным мнение «школы Адама Смита» о механическом труде («увеличении числа механических движений») как источнике народного богатства. Отсюда, разъяснял он, происходит и «лёгкое отношение к труду», нашедшее выражение в общепринятом методе оценки производительности труда исключительно по денежной доходности, в результате чего приоритетом государственной политики провозглашалось развитие промышленности в ущерб земледелию. «Пусть страдает земледелие! Не в земледелии главный интерес! Не в земледелии

[12] *Градовский А.Д.* Значение идеала в общественной жизни // Вестник Европы. 1877. Т. 1—2. С. 321.

будущее! Будущее принадлежит промышленности, которая сторицей вознаградит за неудачи в земледелии!» — подобные заявления казались Рыкачёву и его единомышленникам безрассудными[13].

Ценностно-рациональный подход позволил также А.С. Посникову и А.И. Чупрову адекватно оценить ситуацию, сложившуюся в российской экономике в связи с понижением мировых цен на зерно в 1890-е годы. В качестве независимых экспертов они, по просьбе министра финансов С.Ю. Витте, представили правительству рекомендации, шедшие вразрез с мнением землевладельческого «лобби». В книге, подготовленной под их руководством, доказывалось, что низкие цены на хлеб выгодны массам крестьян, пребывавших в состоянии вечной нужды и вынужденных постоянно покупать хлеб, чтобы хоть как-то прокормиться[14]. Это, по убеждению учёных, означало, что государство в данной ситуации должно «повернуться лицом», прежде всего, к большинству населения, удовлетворяя его нужды, а не интересы крупных помещичьих хозяйств — поставщиков экспортного зерна. Результаты данного исследования опровергали и мнение о якобы проявлявшейся и в России «железной» закономерности обесценивания труда вследствие обесценивания главного производимого в стране продукта. А.С. Посников и А.И. Чупров констатировали: данное правило выведено из опыта Европы, а «в нашей земледельческой стране, ещё только совершающей переход к системе денежного хозяйства, эта формула практически не осуществляется: с обесценением хлеба труд у нас дорожает». «Никакие наблюдения, сделанные “ещё сто лет тому назад”, — напоминали они, — не могут заменить собой изучения конкретных условий действительности — живой, постоянно развивающейся, дающей всё новые и новые сочетания условий»[15].

Важным стимулом для идейного самоопределения либерального центризма и формирования основ центристской модели модернизации стала развернувшаяся в пореформенные десятилетия и продолжавшаяся вплоть до Первой мировой войны дискуссия о неизбежности капиталистического развития в России, в том числе — о судьбе крупной и мелкой собственности в промышленности и сфере земледелия. Особый полемический накал был характерен для споров о будущем русской общины.

Либералы-центристы выступили с критикой мнения о неизбежности обезземеления русского крестьянства по мере развития капи-

[13] См.: *Рыкачёв А.М.* Джон Рёскин и политическая экономия // Мир Божий. 1903. № 12. С. 81—95.

[14] Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства / Под ред. А.С. Посникова и А.И. Чупрова. М., 1897.

[15] *Чупров А.И., Посников А.С.* По поводу полемики о дешёвом хлебе // Русское богатство. 1897. № 7. С. 129.

тализма. Они считали, что оно возникло вследствие склонности к чрезмерным обобщениям и умозаключениям по аналогии. Заявляя о недопустимости принесения интересов сограждан — своих современников в жертву якобы незыблемому принципу, а также «благоденствию» будущих поколений, экономист, член ПДР В.Г. Яроцкий утверждал: «Если опыт других стран доказал, что обезземеление дурно отзывается на положении крестьян, то с этим злом не только можно, но и должно бороться, потому что вовсе не доказано исторически, что капитализм равняет под одно земледелие и землевладение так же быстро и успешно, как это делает он более или менее одинаково в промышленности»[16].

Реальное положение дел в землеустройстве разных стран, отличавшееся большим разнообразием, учёный связывал с воздействием целого ряда факторов — как экономических, так и политических, правовых, бытовых и т.д. Кроме того, В.Г. Яроцкий выделял общие для всех стран специфические условия, затруднявшие «торжество капиталов» в земледелии и обусловливавшие более медленный темп развития сельскохозяйственной промышленности по сравнению с обрабатывающей. Неэффективность крупных капиталовложений в сельское хозяйство он объяснял исключительной зависимостью данной отрасли экономики от воздействия природно-климатического фактора. При этом В.Г. Яроцкий считал ненормальной практику купли-продажи земли, отвлекавшую огромные капиталы от эффективного вложения их в сельскохозяйственное производство. Как и многие другие либералы-центристы, он был убеждён в том, что земля представляет собой совершенно особый объект человеческой деятельности («готовая полезность — дар природы, а не продукт предшествующего труда»[17]) и в принципе не должна служить предметом купли-продажи. Такое отношение к земле было близко к традиционному мировосприятию русского крестьянина («земля ничья, она — Божья»), а также к философскому обоснованию «нравственной экономики» в трудах В.С. Соловьёва[18]. Своим единомышленником в данном вопросе В.Г. Яроцкий считал и К. Маркса, видевшего «мораль истории» в том, что рациональное земледелие, требующее «или рук самостоятельно работающих мелких земледельцев, или контроля ассоциированных производителей», несовместимо с капиталистической системой[19].

Последовательные защитники общинного устройства русской деревни А.С. Посников, М.М. Ковалевский, А.И. Чупров, И.И. Ива-

[16] *Яроцкий В.Г.* Односторонняя теория экономического развития. СПб., 1896. С. 30.
[17] Там же. С. 34.
[18] *Соловьёв В.С.* Оправдание добра. М., 2012. С. 471—513.
[19] *Яроцкий В.Г.* Указ. соч. С. 33—34.

нюков, а также один из редакторов «Русских ведомостей», крупный земский деятель и член Оргкомитета ПДР В.Ю. Скалон внесли заметный вклад в формирование идеологии либерального центризма. Так, А.С. Посников ещё в 1870-е гг. одним из первых перевёл обсуждение вопроса об общине из сферы теоретических рассуждений в область практики и изучения конкретных фактов. Современники характеризовали его главный научный труд — «Общинное землевладение»[20] как «одно из самых крупных явлений в литературе, посвящённой изучению экономических условий русского крестьянства после отмены крепостного права»[21]. Эта книга способствовала развитию земской статистики, а также активизации деятельности всероссийских научных центров — Русского географического и Вольного Экономического обществ. Основывая свои выводы на фундаментальной источниковой базе и сравнительно-историческом анализе эволюции общины на Западе и в России, Посников пытался «уходить» от готовых шаблонов, считая недопустимым смотреть на русскую общину исключительно сквозь «европейские очки».

Его единомышленник — историк и публицист К.Д. Кавелин приводил пример подобной порочной логики, когда из очевидных фактов («у нас сельское хозяйство идёт плохо, а в Европе хорошо; у нас распространено общинное землевладение, а в Европе оно давно упразднено») делался ошибочный вывод о том, что во всех бедах русского сельского хозяйства виновата община, и, соответственно, если её упразднить, то дела пойдут в гору. К.Д. Кавелин предупреждал: «С такими аналогиями можно договориться Бог знает до чего»[22]. Соглашаясь с Посниковым в оценке главных проблем русской деревни, он отмечал, что если говорить о том, будто именно община виновата в плохом положении многих крестьянских хозяйств, то можно и упадок помещичьего хозяйства объяснять сохранением принципа частной собственности. Солидарное мнение идеологов нарождавшегося в либеральной мысли центристского течения состояло в том, что надо не общину ликвидировать, а, прежде всего, устранить малоземелье и гражданское бесправие крестьян. А.С. Посников надеялся, что «с устранением земельной тесноты, задавившей крестьянское хозяйство, и вместе с уничтожением гражданского бесправия крестьян откроется целый ряд возможностей быстро поднять производительность земли,

[20] *Посников А.С.* Общинное землевладение. Вып. 1—2. Ярославль, 1875—1877; Изд. 2. Одесса, 1878.

[21] См., в частности, составленную В.А. Розенбергом «Краткую справку о жизни и трудах А.С. Посникова» (ОР РГБ. Ф. 251. К. II. Д. 23. Л. 1).

[22] *Кавелин К.Д.* Общинное владение // *Кавелин К.Д.* Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 2. СПб., 1898. Стб. 235—236.

изменить первобытную систему хозяйства и увеличить доходность крестьянского земледелия, составляющего у нас, в России, основу благосостояния всей страны». «Перед этой великой задачей, — полагал он, — должны исчезнуть все второстепенные соображения, основывающиеся или на предрассудках, или на эгоистических вожделениях»[23].

Эта мысль определяла «русло» научной и общественной деятельности идеологов прогрессизма и в годы столыпинской аграрной реформы. С одной стороны, конечная цель правительственной политики — создание массового слоя зажиточных крестьян — признавалась умеренными либералами вполне прогрессивной. «Безумие аграрных планов правительства» А.С. Посников и вообще все последовательные сторонники эволюционного развития усматривали прежде всего в попытках форсированного разрушения общины и насаждении отрубной и хуторской системы хозяйства.

Либералы-центристы были убеждены: эта реформа даст шанс только богатым, и, в конечном счёте, вызовет в крестьянской среде раздор и междоусобье. Но им была чужда и другая крайность в решении аграрного вопроса — национализация земли. «И в том и в другом случае историческая традиция и существующее право одинаково попраны, — утверждал от лица ПДР М.М. Ковалевский. — Народу навязываются формы экономического устройства, наступления которых *сам он не требует*, которые противоречат его прошлому... насильственно раскрывают перед ним двери неизвестного будущего. Обе программы одинаково книжны... мы желаем отправляться от действительности, не упразднять, а только видоизменять её. Мы не берём на себя смелости решить за самих крестьян вопрос о преимуществах общинного, подворного или личного землевладения, как нет её у нас и для того, чтобы одним росчерком пера упразднить все существующие юридические отношения и предпринять небывалый ещё поход в пользу обращения одной шестой поверхности материков в земельную коммуну»[24].

Признавая аргументы в пользу исторической неизбежности распада общинного землевладения в будущем, либералы-центристы убеждённо заявляли, что в ситуации, сложившейся в России во второй половине XIX — начале XX в., не было необходимости насильственно изменять традиционный уклад жизни русской деревни и ускорять переход от общины к частной собственности на землю. В их трудах была обоснована жизнеспособность и экономическая состоятельность общины в новых условиях, её способность «перейти к более интен-

[23] *Посников А.С.* Общинное землевладение. Вып. 1. Одесса, 1878. С. 11.
[24] *Ковалевский М.М.* На двух полюсах // Страна. 1906. 10 мая. № 68.

сивной культуре и удовлетворять потребностям не только местного потребления, но и международного рынка»[25]. Эти выводы подтверждались и в ходе планомерной земской работы по оказанию агрономической помощи населению, начавшейся в 1890-е годы. Неслучайно земская агрономия чтила в лице А.С. Посникова «своего духовного отца, своего идейного руководителя»[26].

Ценность общины либералы-центристы видели в её способности стать базой для развития коллективных форм предпринимательства (кооперативы, артели). Идеологи либерального центризма полагали, что государство должно создать для этих форм организации народного труда (и не только в сельском хозяйстве) благоприятную законодательную базу, обеспечить им возможность получения кредита. Уже современники высоко оценили деятельность А.С. Посникова в пользу кооперативов. В 1908 г. он был избран председателем Всероссийского съезда представителей кооперативных учреждений.

Либералы-центристы призывали не увлекаться идеей хуторов как явления, лишённого «корней» в русской жизни. «Мы не можем и не должны мыслить человека с точки зрения одних хозяйственных интересов, — указывал А.С. Посников, выступая в заседаниях Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности в конце 1904 — начале 1905 г. — Если бы это было допустимо, тогда, пожалуй, позволительно было бы расселять людей по квадратам, на манер того, как пытались селить ветеранов времён Суллы и Цезаря. Потребности общения с другими и многие другие общественные мотивы, которые не принимаются в расчёт при таком схематическом расселении, однако, имеют огромное значение и являются решающими. Вопрос о той или иной системе расселения в стране — один из важнейших государственных вопросов; разве он может решаться, не принимая в расчёт этих мотивов, игнорируя характер жителей, их бытовые особенности, их исторический уклад?»[27]

Большинство идеологов либерального центризма не разделяли представление о якобы «магической силе частной собственности», выраженное в известных словах Артура Юнга — «дайте человеку в собственность голую скалу, и он превратит её в сад». Они были убеждены в том, что главное для успеха хозяйственной деятельности — не форма собственности, а сопутствующие ей благоприятные общественные условия (управление, суд, народное образование, на-

[25] *Ковалевский М.М.* Экономический строй России. СПб., 1900. С. 139.
[26] *Левицкий Ал.* А.С. Посников и общественная агрономия // Русские ведомости. 1915. 13 декабря. № 287.
[27] РГИА. Ф. 1233. Оп. 1. Д. 107. Л. 102 об.—103.

логовая и кредитная системы), отвечающие требованиям правового государства. «Если мы превратим наших поселян, хозяйничающих в очень тяжёлых условиях, в частных собственников и оставим неизменными наши современные условия общественной жизни, — то не только не произойдёт никакого мистического влияния от установления частной собственности, но, я склонен думать, произойдёт заметное ухудшение в положении как самих крестьян, так и их хозяйств», — предупреждал А.С. Посников[28].

Либералы-центристы считали заблуждением и мнение об угрозе «священному» праву личной собственности со стороны общины, являющейся «зародышем» коммунизма. Напротив, они видели в общине полезный ограничитель, «противовес» частной собственности на землю, призванный «сглаживать» имущественное неравенство, сдерживать рост социального напряжения и служить «якорем спасения» для «слабых, посредственных, непредприимчивых, довольствующихся немногим, и для неудачников — а таких огромное большинство»[29]. По признанию М.М. Ковалевского, «самой положительной стороной» общины являлась её воспитательная функция, выражавшаяся в развитии чувства солидарности между людьми[30].

Польза от общины в глазах её защитников заметно перевешивала «зло» от неё (круговая порука, невозможность свободно распоряжаться своим наделом), и уже потому, утверждали они, следовало не ломать общину, а дорожить ею, ставя заботу о её существовании в один ряд с развитием железнодорожного дела, кредитных учреждений, системы правосудия. Учитывалось при этом и то, что на Западе в связи с обострением отношений между трудом и капиталом, богатыми и бедными, всё чаще сожалели об упущенной возможности сохранить социальную стабильность путём своевременного укрепления общины. «Пока не поздно, нам надо воспользоваться своим же добром как следует, чего мы до сих пор не можем и не умеем», — ещё в 1880-е гг. призывал К.Д. Кавелин[31].

Здравый смысл в решении вопроса о судьбе русской общины идеологи либерального центризма видели в устранении препятствий к её естественному саморазвитию, причём «если не допустимы насильственные меры, направленные против общины, то... столь же недопустимо принуждать крестьян оставаться вопреки их желанию, при общинном землевладении»[32]. Соответственно, следовало уравнять в

[28] Там же. Л. 104 об.—105.
[29] *Кавелин К.Д.* Общинное владение. Стб. 281.
[30] *Ковалевский М.М.* Экономический строй России. С. 148.
[31] *Кавелин К.Д.* Общинное владение... Стб. 228.
[32] РГИА. Ф. 1233. Оп. 1. Д. 107. Л. 98—98 об.

правах общины и отдельные домохозяйства, обеспечив свободное развитие всех форм землевладения.

Либералы-центристы брали «под защиту» не только крестьянскую массу, но и кустарей-ремесленников. И в этой сфере народного труда они предостерегали от увлечения «общей формулой развития», выведенной из западного опыта, согласно которому «крупные капиталистические формы предприятий одерживают победу над мелкими, ...а мелкие самостоятельные ремесленники, если не сами непосредственно, то в лице своего потомства переходят в разряд наёмных рабочих»[33]. В частности, В.Г. Яроцкий обращал внимание на тот факт, что в России к началу XX в. была весьма распространена форма мелкой кустарной промышленности, в которой было занято около 8 млн человек. В то же время в крупной капиталистической промышленности трудилось около 1½ млн рабочих. Уже сопоставление этих данных побуждало учёного усомниться в том, что российские кустари обречены на более или менее быстрое превращение в наёмных рабочих. В связи с этим он не разделял и мнение о неэффективности любых мер, направленных к развитию (или хотя бы только поддержанию) кустарных промыслов. В.Г. Яроцкий, напротив, считал недопустимым оставлять кустарей в России на произвол судьбы и заявлял, что так называемая «формула прогресса» не может быть признана универсальной. Учёный обращал внимание на важную особенность исторического пути Западной Европы: установлению там капиталистических порядков предшествовало *обезземеление масс* крестьянского населения, стимулировавшее быстрое образование класса наёмных рабочих. «У нас же, — напоминал В.Г. Яроцкий, — освобождение крестьян сопровождалось не обезземелением их, а, наоборот, наделением их землёю, особенно прочно за ними закреплённою там, где она представляет собою коллективную их собственность — поземельную общину»[34]. Положительным следствием этого явилась имевшаяся у «наших кустарей» возможность «держаться гораздо дольше в качестве самостоятельных производителей, потому что промыслами этими, в большинстве случаев, занимаются как побочными лица, не прервавшие связи со своей землёй, в свободное от летних сельских работ время». При таких условиях кустари могли выдерживать конкуренцию с крупными капиталистическими производствами гораздо лучше, чем мелкие безземельные производители[35].

Сравнивая положение иностранных ремесленников с русскими, В.Г. Яроцкий считал положение последних более выгодным и

[33] *Яроцкий В.Г.* Указ. соч. С. 19.
[34] Там же. С. 19—21.
[35] Там же. С. 20—21.

устойчивым: «Иностранные представители так называемой домашней промышленности представляют собой низшую ступень чисто капиталистического хозяйства, потому что они работают над чужим материалом, нередко даже чужими инструментами и прямо получают заработную плату от предпринимателей, дающих им эту работу». «Роль последних, — отмечал учёный, — существенно отличается от роли наших скупщиков кустарных изделий». Это отличие состояло прежде всего в том, что скупщики в России «могут держать кустарей в известного рода тисках, но, во всяком случае, не в условиях найма». «Тут только сбыт, — но не производство имеет капиталистический оттенок, — разъяснял В.Г. Яроцкий. — В общей же массе кустари суть самостоятельные хозяева, в качестве крестьян-собственников и предпринимателей, несущих сами риск»[36]. В программах политических партий либералов-центристов уже в 1906 г. указывалось на необходимость содействия развитию мелких промыслов — организации широкого и доступного кредитования, распространения среди кустарей технических и коммерческих знаний и т.д.

Между тем А.М. Рыкачёв обращал внимание на предубеждение в отношении ремесла, существовавшее в среде «всех передовых партий», склонных «видеть в ремесленниках только эксплуататоров наёмной рабочей силы, недостойных никакой помощи, а, наоборот, достойных скорейшего разорения под ударами торжествующего капитализма»[37]. В силу этого помощь ремеслу со стороны государства признавалась и в социалистическом, и в либеральном лагере «делом бессмысленным, если не прямо реакционным». Учёный же полагал, что «тут происходит такая же ошибка, какую марксисты раньше делали относительно крестьян»[38]. А.М. Рыкачёв заявлял о недопустимости «хоронить заживо» людей, вынужденных вести тяжёлую борьбу за существование: «Пусть ремеслу как форме хозяйства суждено в будущем исчезнуть с лица земли, но современные-то ремесленники, страдающие от конкуренции капиталистов и от других причин, ведь это живые люди, которых можно учить, просвещать, поддерживать, ободрять и можно озлоблять, принижать, обижать. Нельзя же ограничиться одним только советом: бросайте ваши ремесленные заведения и превращайтесь все в капиталистов или в фабричных рабочих!.. Кроме того, ремесленники, в общей массе всё ещё представляют значительную общественную силу. Недаром на Западе так много говорят о политике покровительства средним классам: с ремесленниками

[36] Там же.
[37] Народное хозяйство. 1904. Кн. 2. С. 154.
[38] Там же. С. 149.

считаются, их слушают, ради них — против всяких ожиданий — снова восстановляются старые ограничения свободы промышленности»[39].

«Рано петь отходную ремеслу!» — таков был лейтмотив статей А.М. Рыкачёва, отстаивавшего организацию ремесла на новой основе, адекватной «духу времени» — с особыми гарантиями и покровительственными мерами со стороны государства. По его убеждению, законодательную охрану труда следовало распространить и на ремесленную промышленность, а положение наёмных участников ремесленного производства (подмастерья, вспомогательные рабочие и ученики) — рассматривать как часть рабочего вопроса. Обществу же надлежало способствовать облегчению приспособления ремесленников к новым условиям с помощью мер воспитательного, общекультурного характера.

А.М. Рыкачёв призывал отделять справедливое от несправедливого в притязаниях ремесленников, а всем «поучающим и наставляющим» советовал, прежде всего, освоить ценный опыт эффективного решения данной проблемы на Западе. В качестве примера он ссылался на Австрию, где при Министерстве торговли было создано Бюро содействия ремёслам, работавшее в тесном контакте с партиями и фракциями, представленными в рейхсрате. В то же время учёный считал, что «нужно различать ученье и ученье»: «Можно весь век проездить в командировках и просидеть в комиссиях, “изучая” важнейшие вопросы, и не принести ни малейшей пользы делу. Против такого непроизводительного “ученья” наилучшее средство — строгая отчётность, гласность и общественный контроль над всякими комиссиями, бюро, комитетами, командировками и т.д.»[40]. Другая опасность исходила от «мертвящего влияния бюрократической практики на живое дело». А.М. Рыкачёв напоминал про печальную судьбу завершённого ещё к середине февраля 1893 г. статистического исследования положения ремесла в России, проведённого по инициативе Императорского Технического общества, при содействии ремесленных управ и Центрального статистического комитета МВД: «Первоначальный просмотр показал, что материал получился хороший. Можно было рассчитывать на заполнение крупного пробела в нашей бедной статистике. Техническое общество собиралось приступить к разработке материала. Но министр внутренних дел, в том же 1893 г., известил общество, что материал будет предварительно разработан в статистическом комитете. С тех пор прошло больше 10 лет, вопрос о ремесленном ученичестве и о положении ремесла вообще не сходил с очереди,

[39] Там же.
[40] Там же. С. 162—163.

а драгоценный материал, подразнивший издали практических деятелей и экономистов, лежал под спудом, старился, и "о дальнейшей судьбе его", как пишется в некрологах наших общественных начинаний, "ничего не известно"»[41].

Призывая к активному изучению и заимствованию зарубежных достижений в организации ремесла, А.М. Рыкачёв в то же время считал, что Россия должна сохранить в процессе перемен собственное «лицо»: «Подобно тому, как идти на выучку к Западу, ещё не означает для русских — отдаться в рабство чужим авторитетам, так и для ремесленников — идти на выучку к капитализму вовсе не означает — покориться власти капитализма»[42]. С созданием в России «облагороженных» методов экономической конкуренции учёный связывал и надежду на воспитание «нового, лучшего типа предпринимателя». Ему казался праздным вопрос о том, «в какой мере, например, мы, русские, пригодны для самостоятельной организации народнохозяйственных сил в формах капиталистического строя». «Россия, — утверждал он, — должна иметь достойную её мирового значения национальную армию предпринимателей, органически связанную с русскими народными массами. Нужно учиться искусству экономической организации, как учатся всякому мастерству: нужно брать уроки у лучших знатоков дела, — у англичан, американцев, немцев, евреев. Нужно перенимать то, что можно перенять, не отступая перед долгим искусом ученического подражания, но и не забывая про необходимость самостоятельного творчества в приспособлении. Каждый народ вкладывает нечто своё, национальное, овладевая универсальными, всему человечеству данными, формами социальной жизни, и то, что сначала кажется национальной слабостью, часто превращается, путём смелого приспособления, в источник национальной силы»[43]. Указывая на важность национальной сплочённости предпринимателей, А.М. Рыкачёв отмечал: «Вы не заставите английского капиталиста, помещающего свой капитал в России, забыть про свои английские деловые связи. Вы не заставите руководителей немецкой электрической промышленности, открывающих отделения своих предприятий в России, или представителей немецких банковских сфер, участвующих в русских банках, забыть об интересах Германии. Немец имеет право быть немцем, и еврей имеет право отдавать предпочтение еврею перед русским при выборе сотрудников и подчинённых. Таможенной

[41] Там же.
[42] Там же. С. 163.
[43] *Рыкачёв А.М.* О некоторых наших предубеждениях // Русская мысль. 1913. № 10. С. 42.

оградой нельзя разорвать этих замкнутых кругов, создаваемых силами национального сцепления, и одними только внешними поощрениями нельзя воспитать живой дух предприимчивости и доверия к собственным национальным силам. Высоким таможенным ограждением, с громадными жертвами, создаётся в России территориальное единство рынка. Но необходимо и другое единство — единство понимания национально-экономических задач»[44].

Решение этой жизненно важной для страны проблемы А.М. Рыкачёв, как и либералы-центристы старшего поколения, ставил в зависимость от приспособления национальной психики к новым хозяйственным формам. Выражая уверенность в том, что русский капитализм должен быть продуктом последовательного и целенаправленного национального культивирования, они связывали надежду на обустройство России с «перенастройкой» массового сознания, основанной на формировании у россиян новой системы ценностей, укоренённой в лучших традициях отечественной культуры и одновременно — адекватной потребностям индустриальной эпохи, «раскрепощению» личности и труда.

Очевидно, что центристская модель реформирования отечественной экономики с учётом национальной специфики представляла собой альтернативный вариант российской модернизации, основанный на синтезе идей, характерных для различных течений общественной мысли. В силу целого ряда обстоятельств данная модель оказалась невостребованной на рубеже XIX—XX веков. Вместе с тем актуализация в современных дискуссиях представлений о ценности политики «общественного интереса», который далеко не всегда сводится к интересам частных хозяйствующих субъектов, поиски оптимальной модели социального партнёрства власти, бизнеса и общества, осознание особой важности в условиях глобализации общественной (общечеловеческой) солидарности, утверждение социального и культурного императивов социально-экономического развития как «сердцевины политики разумного существования», — всё это позволяет говорить о востребованности в наши дни идей либералов-центристов начала XX столетия[45]. Созвучие многих проблем современной России ситуации вековой давности, «незадавшаяся» тогда судьба либерального центризма предоставляют сегодня немало поводов для размышлений о базовых основах российской модернизации, способных обеспечить её успех.

---

[44] Там же. С. 47—48.

[45] См.: *Гринберг Р.С.* Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. М., 2012.

Т.Ю. Красовицкая

Православные миссионеры и исламские модернисты в конце XIX века

Н.А. Бердяев назвал рубеж XIX—XX веков русским культурным Ренессансом: «тогда было опьянение творческим подъёмом, новизна, напряжённость, борьба, вызов. В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, ...религиозного беспокойства и искания... Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на преображение жизни»[1]. Так представлялась палитра модерна, скрывавшего вопрос о взаимоотношениях прошлого, и отторгавшего его настоящего. Б.Н. Чичерин в отчаянии писал в 1881 г. Александру III: «Все отношения изменились; всякие предания исчезли; все понятия перепутались... Смутные идеи... сбивают с толку неподготовленные умы»[2]. В 1887 г. в письме Александру III К.П. Победоносцев предлагал «допросить себя, отчего их так много, обезумевших юношей, не оттого ли, что мы ввели у себя ложную, совсем не свойственную нам систему образования, которая, отрывая каждого от среды своей, увлекает его в среду фантазий, мечтаний и несоответственных претензий и потом бросает на большой рынок жизни без определённого дела, без связи с действительностью и народной жизнью, но с непомерным и уродливым самолюбием, которое требует всего от жизни, ничего само не внося в неё»[3]. Россия, говорил он Д.С. Мережковскому, «это ледяная пустыня, и по ней ходит лихой человек, часто иноверец»[4].

Тогда же началась первая в истории российского государства дискуссия православных миссионеров с мусульманами. По содержанию и составу участников она имела своих лидеров, свою драматургию и ряд этапов, первый из которых длился с начала 1870-х до середины 1880-х годов. Дискуссия эта, в ходе которой поднимался вопрос о будущем исламского социума в России, не стала ещё предметом отдельного исследования, хотя её материалы используются при анализе на-

[1] *Бердяев Н.А.* Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 140.
[2] *Чичерин Б.Н.* Задачи нового царствования // К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. I. Ч. I. М.; Пг., 1923. С. 104.
[3] Там же. Т. 2. М.; Пг., 1923. С. 212.
[4] Цит. по: *Гиппиус З.Н.* Живые лица. Воспоминания. Т. 2. Тбилиси, 1991. С. 230—231.

циестроительских (или «культуростроительских») процессов. Между тем характер взаимодействия православных и мусульман пока остаётся дискуссионным. Р. Ланда и С. Прозоров утверждают, что между ними поддерживались добрососедские отношения. А.В. Малашенко считает, что «с XIV в. ислам и православие существуют в России..., не пересекаясь в плане культурного и идейного взаимовлияния». А по мнению А. Кудрявцева, «исторически православие... не относилось и не могло относиться к исламу иначе, как к ереси»[5].

Р. Мухаметшин, отмечая стремление мусульманских либералов к «синтезу» «ценностей европейской цивилизации с религиозно-культурными традициями мусульманского мира», обратил внимание на их попытки (сходные с устремлениями русского либерализма) «насадить сверху» западные идеалы. При этом он объясняет совмещение двух культурных ориентаций тем, что «к западным идеям и ценностям» джадид обычно обращался «в поисках решения проблем, связанных с современными аспектами... жизни, а в традиционном прошлом... желал найти опору для национальной и религиозной самоидентификации»[6].

Модерн привнёс проблему реальных (языковых, конфессиональных, политических, ментальных) границ культурно-исторических общностей, открыл перспективы изменить жизнь. Очевидной заслугой джадидов стало внимание к самонастраиванию цивилизационного организма, к его совместимости с «другим», к активизации духовно-ресурсной базы под воздействием внешних вызовов. Но это порождало, считает Д.А. Алимова, «массу проблем» и требовало особой рефлексии[7], которую поддержали не все.

Модерность в России поняли скорее как способ, которым люди осмысляют своё бытие в мире. Как таковая она и есть специфический поиск ответа на вопросы об управлении общественной жизнью, об удовлетворении новых потребностей, способах производства знания в рамках политической, экономической и эпистемологической проблематик.

Посетив в 1875 г. Казань, Г.Н. Потанин отмечал: «Масса татарского народа вовсе не враждебна к европейской науке... Конечно, если бы из подобных людей составилась, наконец, в татарском обществе партия, сочувствующая европеизму, это была бы сила, которая... водворит дру-

---

[5] Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь. Вып. 1. М., 1998. С. 4; *Малашенко А.В.* Исламское возрождение в современной России. М., 1998. С. 23, 38; Ислам в СНГ. М., 1998. С. 162—163.

[6] *Мухаметшин Р.* Проблема идентичности татар в начале XX века глазами национальной интеллигенции: этнонациональные и политические аспекты // http://www.archipelag.ru/authors/muhametchin/?library=1226.

[7] *Алимова Д.А.* Феномен джадидизма // История как история, история как наука. Т. II. Ташкент, 2009. С. 65.

гой ислам, более доступный культуре и науке... Вопрос сводится к тому, как доставить опору... этим жаждущим европеизма единицам. Опора эта заключается только в местном *русском* обществе»[8]. Кажется, татарский джадид разделил бы оценку Потанина. В джадидах часто видят тех, кто признал победу, пусть временную, европейской цивилизации над мусульманским (и восточным в целом) миром[9]. Они поставили вопрос об отношении к европейской культуре (русская культура рассматривалась как её часть). Однако её освоение вызывало желание углубиться и в собственную историю, которая облегчала прорыв в новое культурное пространство. Готовность к нововведениям требовала оценки прежних культурных стандартов и ресурсов. Искалось собственное место в новых социокультурных реалиях. Рос интерес мусульманских элит к русской культуре, к современным естественнонаучным знаниям.

В отличие от индифферентности мусульман, отношение христиан к исламу всегда было эмоциональным и духовно непримиримым. Ислам нарушал стройность представлений о божественном плане истории, был своеобразным религиозно-историческим вызовом. В 1872 г. профессор противомусульманского отделения Казанской духовной академии Е.А. Малов в «Очерке религиозного состояния крещёных татар, подвергшихся влиянию магометанства» выразил глубокую досаду по поводу учащения случаев отпадения в мусульманство у крещёных народов Поволжья. Готовилось наступление на ислам, создавались механизмы и каналы влияния. С 1873 г. в Казани начал выходить «Миссионерский противомусульманский сборник», в котором два—три раза в год публиковались статьи выпускников академии 1850—1880 годов[10]. М.А. Батунский позднее назвал его «силами быстрого развёртывания» охранительной идеологии, М.Р. Салахов — «печатным плацдармом в полемике с исламом»[11]. С перерывами сборник издавался до 1914 г.[12] Организуя дискуссию, православные

---

[8] *Потанин Г.Н.* От Новочеркасска до Казани // Первый шаг. Провинциальный литературный сборник. Казань, 1876.

[9] *Салахов И.Ж.* Модернистские тенденции в татарском обществе в XIX — начале XX вв.: историко-политический анализ: Дисс. ... канд. ист. наук. Казань, 2007.

[10] *Хабибуллин М.З.* М.А. Машанов и процесс изучения ислама в Казанской духовной академии // Эхо веков. 2001. № 3/4. Ходатайствуя в мае 1872 г. об их издании, Малов писал: «В библиотеке... имеются... курсовые сочинения некоторых студентов..., покорнейше просил бы... издать... скорее».

[11] *Салахов М.Р.* Роль Е.А.Малова в становлении отечественного востоковедения // История России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических исследований. Сборник статей итоговой научно-практической конференции 26—27 февраля 2009 г. Казань, 2009.

[12] См.: Миссионерский противомусульманский сборник. Труды студентов Миссионерского противомусульманского отделения при Казанской духовной академии. Казань, 1873—1877, 1882, 1885, 1889, 1893—1894, 1899, 1905, 1914.

миссионеры рассчитывали на то, что в ней примут участие и «мухаммеданские муллы и... более или менее учёные и образованные мухаммедане», к которым «питают все полную доверенность»[13].

Противомусульманское отделение Казанской духовной академии являлось научным центром изучения истории, этнографии и культуры народов дореволюционной России и стран Востока. Миссионеров поддерживали учёные Казанского университета, например, монголист И.Н. Березин с восточного факультета. Синолог В.П. Васильев, преподававший на историко-филологическом факультете, обращал внимание на то, что «борьба между христианством и мусульманством далеко ещё не кончена и вовсе не клонится на сторону первого»: «Если бы не было России, какое бы мизерное пространство выпало на долю христианства и какая необозримая площадь представляла[сь] бы занятою мухаммеданством». Как утверждал Васильев, «кроме России, христианство... решительно не подвигается вперёд в Старом Свете»[14], тогда как «мусульманство имеет все задатки для того, чтобы наэлектризовать своих прозелитов», в частности, на окраине Китая его последователи «готовы вспыхнуть при малейшем посягательстве на их религию»[15].

Сами миссионеры считали пореформенный период «золотым веком» проповеди в поликонфессиональных регионах империи. Во многом этому способствовало вовлечение мусульман в русско-татарские школы. 12 мая 1878 г. директор Казанской инородческой учительской Н.И. Ильминский сообщал попечителю Казанского учебного округа: «Хотя существуют старинные книги, по которым, а равно и по родственным наречиям, можно вывести нормальную, другую и коренную тюркскую орфографию; но это было противно нашей цели: я умышленно рассёк связь татарского языка с другим тюркским и нынешним родственным наречием и взял нынешний язык крещёных татар Казанской губернии как факт изолированный и поставил его в орудие духовного христианского образования крещёных татар»[16]. Однако всё шло далеко не так гладко, как хотелось миссионерам. В 1865—1866 гг. в Казанской и Симбирской губерниях были целые деревни и приходы «отпавших инородцев»[17]. В самой Казани большими тиражами издавался Коран:

---

[13] *Виноградов В.* Метод миссионерской полемики против татар-мухаммедан // Миссионерский противомусульманский сборник. Вып. I. Ч. 2. 1873. С. 3—21.

[14] *Васильев В.П.* Две китайские записки о падении Кульджи и о занятии её русскими // Русский вестник. Т. 99. 1872. Май. С. 166.

[15] Там же. С. 169.

[16] *Ильминский Н.И.* Из переписки по вопросу о применении русского алфавита к инородческим языкам. Казань, 1883. С. 33.

[17] Письма Николая Ивановича Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода Константину Петровичу Победоносцеву. Казань, 1895. С. 7.

его печатала университетская типография, и, как отмечал А. Казем-бек, без этого «постоянного дохода... едва ли она могла бы существовать». Недовольство тем, что «татарское книгопечатание составляет главный доход для университетской типографии», высказывал и Н.И. Ильминский. Русские издатели охотно издавали мусульманскую литературу. Цензор Ш. Ахмеров признавал: «Нельзя отрицать любознательность татар; у них в большом количестве обращаются сочинения не только религиозного содержания, но и исторические, географические и прочие, но содержание подобных книг заимствуется не из русских источников, а из турецких»[18]. Не удивительно, что появившиеся в Оренбурге, в Уфе (1872 г.) и в Казани (1876 г.) мусульманские учительские школы и в конце 1880-х гг. вызывали у Н.И. Ильминского тревогу: «фанатизма они татарского не ослабляют, а лишь татарскую интеллигенцию воспитывают и могут подготовлять хитрых и ловких рачителей мусульманской арабско-стамбульско-французской (а не русской) культуры и цивилизации». Закрытие их, полагал он, «мера весьма полезная»[19]. Опасения подкреплялись и публикацией отлученного папой в 1871 г. «старокатолического» богослова И.И. Дёллингера. По его словам, «ни одна религия не питает такой глубокой закоренелой ненависти против христианства как исламизм, и эта бесконечная ненависть тотчас же передаётся всем народам, которые принимают мухаммеданство»[20].

Как утверждал в 1871 г. известный своими критическими публикациями священник И.С. Беллюстин, «ни для кого не секрет, что притягиванием татар к православию» наиболее усердно занимались полиция и миссионеры. Однако он не скрывал сомнений в том, «в состоянии ли они доказать, что зачисленные насильно в среду православных татары нашли в ней хоть что-нибудь нравственно-притягательное?»[21]. Миссионер Н.П. Остроумов до выхода Миссионерского сборника признавал: «В мусульманский мир проникают, хотя и в незначительной степени, наши знания... европейская цивилизация, насколько она вынуждается необходимостью... Мухаммедане... сделали некоторый шаг вперёд». И тем не менее «в России... самой неблагодарной почвой, на которой сеяно было бы благотворное семя христианства, было и есть мухаммеданство»[22].

---

[18] Цит. по: *Каримуллин А.* Татарская книга пореформенной России. Казань, 1983. С. 57, 102, 204.

[19] Письма Николая Ивановича Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода Константину Петровичу Победоносцеву. С. 263.

[20] Беседы Дёллингера о соединении христианских церквей // Православное обозрение. 1872. № 8. С. 147, 149, 155.

[21] *Беллюстин И.С.* Татарский вопрос // Неделя. 1871. 27 декабря.

[22] *Остроумов Н.* Заметки о значении мухаммеданства в истории христианства и в истории человечества вообще // Православный собеседник. Ч. 3. 1872. С. 21.

Уже в первом выпуске Миссионерского сборника, открывшемся программной статьёй Е. Виноградова «Метод миссионерской полемики против татар-мухамеддан», началась идейная атака на ислам. Отличительной её чертой было то, что она велась не в богословских текстах, а в работах об истории человечества и мировых религиях. В них, в частности, утверждалось, что ислам не является мировой религией, а образ действий Мухаммеда, копируемый современными мусульманами, далёк от христианского идеала и враждебен русской государственности. В стране конфессионально неоднородных обществ и разных типов мышления подобная проповедь с явно политическими мотивами лишь обостряла межнациональные и межкультурные отношения.

Большое внимание миссионеры уделяли европейской исламистике, взяв на вооружение её интеллектуальный опыт и знакомясь с арабскими, турецкими и персидскими источниками исключительно в их интерпретации западными авторами. В частности, использовались вышедшие в 1850—1870-е гг. работы австрийского востоковеда А. Шпренгера[23], немецкого и французского арабистов Г. Вайля (Вейля)[24] и А.-П. Коссена де Персеваля[25], английского миссионера Дж.М. Арнольда[26], участника египетской экспедиции Наполеона Ж.-Д. Делапорта[27] и др.,. Для этих авторов ислам был удобной площадкой в спорах консерваторов и прогрессистов.

В первых публикациях миссионеров труды западных авторов, из которых извлекались доказательства «вредности» ислама и отсталости мусульман в современном мире, упоминались даже с некоторым пиететом, однако вскоре их начали обличать как «панегиристов мухаммеданства». Так, Ж.-Д. Делапорт и Г. Вайль, по мнению

---

[23] Алоиз Шпренгер (Sprenger) (1813—1893) — ориенталист. Изучал восточные языки в Венском университете. На немецком языке изданы: Das Leben und die Lehre des Mohammed (Bd. 1—3. Berlin, 1861—1865); Post und Reiserouten des Orients (Leipzig, 1864); Die alte Geographie Arabiens (Bern, 1875); Mohammed und der Koran. Hdlb., 1889.

[24] Густав Вайль (Weil) (1808—1889) — немецкий востоковед, профессор Гейдельбергского университета. Его труды содержат большой фактический материал, взятый из арабских источников: Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre. Stuttg., 1843; Historisch-kritische Einleitung in den Koran, Bielefeld, 1844; Geschichte der Chalifen. Bd. 1—5, B. Stuttg., 1846—1862; Geschichte der islamitischen Völker. Stuttg., 1866; Ibn-Hischam, Abdel-Malik, Das Leben Mohammed's nach Muhammed Ibn Ishâk überliefert, bearb., übers aus dem Arabischen von G. Weil, Bd 1—2. Stuttg., 1864. В 1875 г. в Казани вышел значительно сокращённый перевод его книги «Историко-критическое введение в Коран» (1844), подготовленный Е. Маловым.

[25] См.: *Caussin de Perceval A.P.* Essai sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme. T. I—3. Paris, 1848.

[26] *Arnold J.M.* Its History, Character and Relation to Christianity. London, 1874.

[27] Жак-Дени Делапорт (Delaporte) (1777—1861) учился в Ecole des langues orientales, главный переводчик штаба Восточной армии в Египте, затем консул в Триполи. См.: *Delaporte J.-D.* Vie de Mahomet d'apres le Coran et les historiens arabes. P., 1874.

А. Светлакова, стремились в своих книгах «унизить христианство», поскольку «нередко возводят Мухаммеда в ряд личностей самых замечательных в истории человечества, считают его гением высоким, универсальным, достойным удивления для будущих веков, даже сравнивают его с Иисусом Христом, — а отсюда и самое мусульманство они считают явлением самостоятельным». Более того, «Некоторые даже говорили, что мухаммеданство не менее чистая религия, как и христианская»[28]. А. Агрономов также противопоставил свои оценки ислама и Мухаммеда оценкам Э. Гиббона, Г. Вайля, писателя Ж.-Ш. Шолла[29], Б. Сент-Илера[30], Ф. Лорена[31]. Они, утверждал автор, из-за своих «антихристианских симпатий» «предательски силятся возвысить арабского лжепророка Мухаммеда даже над самим Мессиею, Господом Иисусом Христом»[32], и полагают, будто «Мухаммед в глазах и немухаммедан может быть сочтён истинным посланником божьим»[33]. Другие, сетовал Агрономов, пишут, восхищаясь «воображаемой разумностью и естественностью мухаммеданства»: «Вместо Бога вочеловечившегося Мухаммед прославляет бога, воплощённого в Коран — книгу, прогрессивное учение которой никогда не падёт ни от влияния европейского просвещения, ни от усилий окружающих его верований»[34]. То, как «защитники мухаммеданства в Европе воспылали к Мухаммеду... удивило бы и его самого»[35], — возмущался миссионер; осталось только открыто призвать «христиан отправиться в Мекку и Медину для поклонения лжепророку Мухаммеду»[36].

Привлечённая литература была разнообразной, но использовалась она выборочно. Конечно, главным источником для оценок стал сам

---

[28] *Светлаков А.* История иудейства в Аравии и влияние его на учение Корана. Казань, 1875. С. 6. Г. Вейль писал: «Если мы и не признаем Мухаммеда истинным пророком, то всё равно он может быть сочтён таким посланником единого Бога, каким считают его сами мусульмане, т.е. не только богодуховенным, но ещё и высочайшим из всех остальных» (*Weil G.* Mohammed der Prophet; sein Leben und seine Lehre. Stuttgart. 1843. S. 101—102).

[29] Ж.-Ш. Шолл называл Мухаммеда «Envoyé du Dieu» (Посланный Богом) (*Scholl J.-Ch.* L'Islam et son fondateur. Etude morale. P., 1874. P. 457).

[30] *Saint-Hillaire J.B.* La vie de Mahomet. Paris, 1863; Mahomet et le Coran. 1865. Vol. II. P. XXI.

[31] *Laurent F.* Etudes sur l'histoire de la humanité. Bruxelles. 1855—1868. T. VI. P. 442.

[32] *Агрономов А.* Мухаммеданское учение о войне с неверными (джигад) // Миссионерский противомусульманский сборник. Вып. XIV. 1877. С. 8.

[33] *Weil G.* Mohammed der Prophet... S. 402.

[34] Магомет и происхождение исламизма // Иллюстрированная газета. 1863. Т. XII. № 23. С. 358.

[35] Цит. по: *Агрономов А.* Указ. соч. С. 9.

[36] Недовольство автора вызвал и труд: *А. де Бессе.* Турецкая империя, её история, статистика, география, политическое состояние, нравы и обычаи. С присовокуплением словаря турецких слов. Ч. 4. Религиозное состояние Турции. М., 1860.

Коран. В 1877 г. в Казани Г.С. Саблуковым был издан первый полный русский перевод с арабского оригинала. В нём имелись специфические выражения, присущие христианской литературе. Церковно-славянские архаизмы зачастую могли вызвать ассоциации, далёкие от вероучения ислама.

Использовались миссионерами и работы о мусульманских общностях, преимущественно, зарубежных. В XIX в. военные, коммерсанты, миссионеры, администраторы и учёные открыли на Востоке широкие возможности для знакомства с новым миром. Их сочинения и отчёты отличались обилием материала и точностью описаний. Круг знаний о жизни мусульманских стран, об их культуре и религии расширялся необычайно быстро. В Европу поступали новые рукописи, записки о непосредственных наблюдениях, придававших границам между различными культурами первостепенное значение.

Востоковеды профессионально изучали «многообразие разумов и культурологических вариантов бытия», не сводя их к единому «правильному образу»[37]. По сравнению с ними публикации миссионеров выглядели дилетантскими. Вероятно, поэтому к работе А. Заборовского был приложен перевод из книги английского миссионера Дж.М. Арнольда, яростного обличителя ислама, пытавшегося установить зависимость национального субстрата от определённого верования (или философского течения): «Ислам есть тип веры, наиболее соответствующий духу арабов. Арабы были одинаково бесчувственны как к поэзии греков, к философии Платона, так и к учению христианства, совершенно согласно с преобладанием в их нации холодного отвлечённого мышления. Они с энтузиазмом вдались в тонкости Аристотеля..., усвоили из христианства и иудейства именно одну рассудочную сторону»[38].

Использование западной литературы поднимало молодых миссионеров в собственных глазах до уровня известных авторов. Их прорывной настрой сочетался со стремлением к бесспорным атрибутам «научности». В среде пореформенного духовенства была заметна чуткость к веяниям «духа времени», его представители понимали, что «теперь идеал христианский ищется в свободе и правах отдельной личности»[39]. И хотя свобода истолковывалась ими как осознанное Божие предопределение, подобные интерпретации имели явно либе-

[37] *Аннинский Л.* Окно или дверь? // *Батунский М.А.* Россия и ислам. Т. 1. См.: http://www.ruslit.net/preview.php?fname=.

[38] *Заборовский А.* Мысли аль-Корана, заимствованные из христианства // Миссионерский противомусульманский сборник. Вып. VII. 1875. С. 1–2; *Arnold J.M.* Its History, Character and Relation to Christianity. London, 1874.

[39] *Гренков А.* Вынужденное слово // Православный собеседник. 1873. № I. С. 155. Профессор Казанской духовной академии.

ральный оттенок. При этом миссионеры сокрушали ислам с помощью рациональных европейских идеалов, но представляли православную Россию единственным оплотом против мусульманской опасности.

Я. Фортунатов рекомендовал миссионерам применять «методы полемики» Виноградова и «употребляемый большей частью учёных способ», который «исторически показывает мусульманину происхождение его религии». «Способ..., — отмечал он, — очень основателен потому, что против истории уже нельзя идти»[40]. Но если на Западе, где модерность усложняла представления о «своей» культуре, противопоставленной «некультуре» других, выходило много работ, посвящённых происхождению ислама, как и христианства, из монотеистической древнееврейской веры, а мысль востоковедов усваивала дихотомию универсальности и культурной исключительности, многообразия форм исторического развития, то А. Заборовский в Миссионерском сборнике стремился доказать «до какой возмутительной нелепости изуродовал Мухаммед христианскую истину..., какие несообразные взгляды имел на лицо Иисуса Христа»[41].

В 1875 г. только что выпущенный из академии вдовый священник А. Светлаков с тревогой указывал: «Везде и всегда последователи Мухаммеда отличались духом фанатизма и нетерпимости к исповедникам других религий; в России они... ведут постоянную пропаганду..., следствием чего неоднократно повторялись отпадения от православной Церкви... Уже по одному этому, историческому и современному, значению мухаммеданской религии, исследование о ней не излишне в наше время»[42]. Обличая ислам, Светлаков утверждал, что Мухаммед заимствовал у иудеев фатализм — «роковое учение, осуждающее человека на какую-то мертвенность, апатичность в религиозно-нравственной деятельности». Коран, заключал автор, «не более как бестолковый сборник учений, более всего иудейских»[43].

А. Агрономову связь ислама с иудаизмом виделась совершенно иначе. Он не сочувствовал попыткам Светлакова вывести все «пороки» ислама из иудаизма, поскольку «против... восстают святые образы еврейских пророков», которые «были проповедниками мира», «не нуждались в мече и в своём учении находили силу убеждения для людей». Противопоставляя Мухаммеда и Моисея, Агрономов писал, что «они резко различались в целях»: «Моисей действовал с бескорыстною преданностью... для великой цели спасения человеческого рода; Мухам-

[40] Мысли Корана, благоприятные для обращения мухаммедан в христианство // Миссионерский противомусульманский сборник. Вып. VII.

[41] *Заборовский А.* Указ. соч. С. 57—71.

[42] *Светлаков А.* История иудейства в Аравии и влияние его на учение Корана // Миссионерский противомусульманский сборник. Вып. VIII. 1875. С. 5.

[43] Там же. С. 277.

мед, напротив, самозвано присвоил себе звание пророка... для гнусной цели всеобщего истребления человечества»[44]. Но в то же время Агрономов, в отличие от Светлакова, считал, что «какие бы несовершенства и недостатки ни заключал в себе ислам, его нельзя признать лишённым жизненности». Напротив, он «всемирно» опасен, так как, «распространяясь..., сообщает... не только своё учение, законы и пр., но и самый дух законов»: «Огонь мусульманства... всё более и более разгорается и своим пламенем стремится обнять всю вселенную»[45]. Говорилось это во время русско-турецкой войны за освобождение Болгарии.

Цитируя книги В. Ирвинга[46] и Б. Сент-Илера, Агрономов недоумевал и возмущался: «В среду уже самого русского населения стали проводить и распространять как будто истинные, и учёными исследованиями подтверждаемые, восхваляемые грустные мысли этого антихристианского направления западных учёных, твердящих, что лжепророк Мухаммед был “могучим, великим гением”, — что есть что-то разительное и высокое в той светлой (? — кровопролитной!) дороге, которую его восторженный дух пробил сквозь запутанный лабиринт противоположных вер и диких (?) преданий, — что по строгой справедливости беспристрастная (?) история не может иметь об Мухаммеде другого мнения, как только благоприятного (?!)». Судя по обилию восклицательных и вопросительных знаков, автора буквально переполняли эмоции.

Абсолютно неверные сведения о Мухаммеде обнаружил Агрономов и в анонимной статье, опубликованной в научно-популярном журнале «Знание»[47]. В ней утверждалось, что основатель ислама «один создал славу своего народа и распространил его язык на половине земной поверхности», а «слова, которые он говорил теснившейся около него толпе двенадцать столетий тому назад, изучаются теперь учёными в Лондоне, Париже и Берлине»[48]. В результате «Мухаммед представляется читателю то снисходительным, то кровожадным, то кротким, то жестоким; то миролюбивым, увещевающим и других пребывать в мире, кротости и любви, то воинственным, побуждающим и других упиваться кровью неверных»[49]. Со своей стороны, Агрономов резко критиковал Ф. Лорена и Э. Гиббона, которые «стараются оправдать Мухаммеда», забывая, что именно он создал «учение о священной войне, побуждающее мусульман к истреблению неверных»[50].

---

[44] *Агрономов А.* Указ. соч. С. 84—86, 88—89.
[45] Там же. С. 9.
[46] *Ирвинг В.* Жизнь Магомета / Пер. с англ. П. Киреевского. М., 1857.
[47] Роль исламизма в истории // Знание. 1873. Сентябрь. С. 27—28.
[48] Цит. по: *Агрономов А.* Указ. соч. С. 14—15.
[49] Там же. С. 38.
[50] Там же. С. 76—77.

В миссионерской литературе характерные черты Мухаммеда нередко переносились на рядовых мусульман. «Мухаммеданство..., — заявлял Светлаков, — снисходительно относится к требованиям человеческой природы, потворствует животным страстям, покровительствует грубому и невежественному духу народов»[51]. Такие характеристики пронизывают все миссионерские работы. Но в западной литературе речь шла о мусульманах, живущих, как правило, «за морями» метрополий — для читателей они были экзотикой, редко встречаемой в повседневной жизни. В России же немало мусульман жило хотя и отдельными поселениями, но по соседству с русскими.

Как правило, игнорировалось миссионерами и то, что отношения государства и ислама различались в зависимости от времени и условий вхождения того или иного региона в состав России, его географического положения и специфики, «цивилизованности» проживавших там этносов. При этом даже народами, проживавшими в одном регионе, власть могла управлять по-разному. Приводимые же в «Миссионерском сборнике» факты, избирательно извлечённые из документов духовного ведомств и МВД, свидетельствовали о том, что «мусульмане постоянно веровали в силу... Оттоманской Порты, и благоговели перед ней». В частности, после Крымской войны не только крымские татары, но и «несколько семейств из казанских татар... изъявили желание выселиться из России» и «в них даже проявилась уверенность, что уже пора Казанскому мухаммеданскому царству восстановить свою самостоятельность»[52]. Во время «славяно-турецкой войны» 1877—1878 гг. татары также «сочувствовали воинственному настроению турок». «В некоторых татарских селениях Казанской губернии, — возмущался Агрономов, — ждали даже султана в Казань для восстановления самостоятельности татар»[53].

Обличая «воинственность» мусульман, большую часть своей работы Агрономов посвятил «бесчеловечным войнам» (на Балканах, в Африке, в Индии, в Китае), которые казались ему аномалией в XIX в., когда «весь образованный мир только и заботится об упрочении мира». Вспоминал Агрономов и про «долголетнюю упорную борьбу России с мухаммеданством на Кавказе..., возбудившую своим религиозным предлогом и наэлектризовавшую кавказских горцев-мухаммедан до того, что нашему великому и сильному отечеству потребовалось почти 25 лет, чтобы усмирить их, несмотря на то, что оно посылало против... горстки мухаммедан целые полчища русских войск и тратило на борьбу с ними много миллионов денег». Между тем, по словам миссионера,

[51] *Светлаков А.* Указ. соч. С. 7.
[52] *Агрономов А.* Указ. соч. С. 13, 15.
[53] Там же. Указ. соч. С. 14—15.

черкесы «были мирны, покорны России, и она *беззаботно* относилась к ним», и лишь с распространением среди кавказских народов ислама, они стали яростно сопротивляться русским. Однако с этим трудно было увязать «ленивый образ мухаммеданина», создаваемый миссионерами. Ведь тот же Агрономов утверждал: «Исламизм по своей природе неподвижный, бесплодный, оледенелый, лишён жизни, не допускает никакого видоизменения, никакого развития, — он мёртвая буква... Мухаммеданство... не может улучшать, прогрессировать, развиваться, потому что оно мертвенно»[54], «мухаммеданские государства не подходят под общечеловеческое определение государства»[55].

На данное противоречие обращала внимание и русская либеральная пресса, освещавшая трансформацию исламских институтов в Османской империи, где «сто лет тому назад... блеск мусульманского полумесяца казался совершенно померкнувшим», а «по прошествии ста лет... возрождение чувствуется во всех слоях общества и во всех народностях — турках, туркменах, курдах, арабах»[56]. Это, в свою очередь, давало Агрономову повод не только возмущаться «современным руководящим обыностранившимся нашим обществом», но и искать «мухаммеданствующее направление» в органах печати «нашего исконно христианского отечества». Не только «Знание» и близкие к нему «Неделя» и «Беседа», но даже «Гражданин» и «Московские ведомости» характеризовались при этом как «нерусские», а то и вовсе «антирусские» и «антихристианские», враждебные делу «обрусения и христианского просвещения мухаммеданствующих инородцев»[57]. «Мухаммеданская ересь..., — предостерегал Агрономов, — главное звено, посредством которого инородческо-мухаммеданское население в России составляет в государстве религиозное, враждебное к России государство..., старается привлечь и привязать и всех прочих русских инородцев к своему суеверию, быту и политически-государственным азиатским симпатиям, крайне враждебным всему русскому». Общество же, сетовал автор, «стало избегать и бояться искреннего внутреннего общения с русскою христианскою Церковью» и «требует ныне от неё самой безусловной покорности современным шатким и ограниченным только утилитарными стремлениями и разрушительным западным понятиям»[58].

Агрономов признавал, что «истинное процветание государства возможно только тогда, когда все члены его призваны к его возвышению, когда происходит благородное соревнование между членами

[54] Там же. С. 19—20.
[55] Там же. С. 218.
[56] Роль исламизма в истории // Знание. 1873. Сентябрь. С. 63—65.
[57] Там же. С. 23—24.
[58] *Агрономов А.* Указ. соч. С. 22—23.

его»[59]. Однако, напоминал он, согласно русскому законодательству «одна господствующая Церковь имеет право в пределах государства убеждать... подданных к принятию её учения о вере», ислам же таких «законных прав» не имеет[60].

Как миссионеры, так и светские востоковеды, будучи унификаторами, исходили в своих рассуждениях из наличия в Российской империи непримиримо враждебных друг другу мусульманского и христианского социумов. Причём нормативная ортодоксальная модель предполагала, что ислам должен полностью раствориться в христианстве. Однако пытаясь одновременно использовать и либерально-европейские подходы, и противоположные им русско-консервативные начала, миссионеры дискредитировали и то, и другое, попадая в плен методологических мистификаций. «Изгнание чёрта (ислама) посредством миссионерского типа критики ранило ангела (христианство)», — писал М.А. Батунский, отметив, что ни один из миссионерских трудов так и не стал «Путеводителем для тех, кто пребывает в замешательстве»[61].

Не учитывалось в ходе «дискуссии» с исламом и то, что формирование православно-христианского и мусульманского цивилизационного очага Евразии шло параллельно, причём на начальном этапе последний развивался динамичней. В первое время проживания в едином государстве тюркско-мусульманская культура была донорской: носители русско-православной культуры перенимали и осваивали разнообразные достижения исламского мира в сфере хозяйственного уклада и художественного творчества, государственной организации и административного устройства, дипломатии и военного искусства[62]. Позднее, когда русская культура достигла своей зрелости, уже культура русского мусульманства по отношению к ней выступала в качестве реципиента в разнообразных областях общественной мысли, литературы, науки и техники.

Миссионерский сборник был внимательно прочитан мусульманской интеллигенцией. Поднятые в нём вопросы буквально вытолкнули на общероссийскую арену её представителей, привнёсших с собою немало лаицистских тенденций. В 1881—1883 гг. вышли работы И. Гаспринского[63],

---

[59] Там же. С. 5, 20, 21, 219. См. также: *Березин И.Н.* Мусульманская религия в её отношении к образованности // Отечественные записки. 1855. Т. XCVIII. Отд. III. С. 92.

[60] *Агрономов А.* Указ. соч. С. 40.

[61] М.А. Батунский имел в виду: *Рабби Моше бен Маймон* (Маймонид). Путеводитель растерянных / Пер. и комментарии. М.А. Шнейдера. Иерусалим; М., 2010.

[62] *Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г.* Русские мусульмане в поле российской идентичности // Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 7. М., 2008. С. 289.

[63] *Гаспринский И.* Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина. Симферополь, 1881.

А. Баязитова[64], Мурзы Алима[65], А. Давлет-Кильдеева[66]. По сути, желание миссионеров углубиться в историю ислама и дать ему оценку служило прорывом в новое культурное пространство, и мусульманские авторы призвали адекватно оценить их культурные ресурсы. В одном из писем Остроумову, Гаспринский с иронией отзывался о критике ислама: «С точки зрения положительных знаний всякий религиозный кодекс представляет материалы "за и против". Да иначе и не может быть... Как в пустынях Сахары и тундрах Сибири никакой религиозный кодекс не мог бы "создать" европейскую культуру, точно также Коран не мог бы помешать ей на берегах Темзы и Сены. Такой мой взгляд, выработанный при помощи приобретённых знаний и знакомства с исследованиями Шпренгера, Вейля, Кусен Сенеля[67] и др[угих]... Я лично того мнения, что все святые книги хороши; только людям надо сделаться поумней, да знающими... Коль скоро факт, что существует Евангелие, Коран, Талмуд и разнообразные разветвления их, думать о кровной, химической ассимиляции — мечта может и заманчивая. Вы и сами согласны, что наука и развитие — лучшее поле для смягчения народностей, но как бы жертвуете ею ради необходимости (так наз[ываемой] политической) держать в полной тьме подчинённые народы. Если это Ваше бесповоротное мнение, тогда и Магомет совершенно прав, и остаётся не осуждать Коран, а перенять все его указания к исполнению. Я шучу»[68].

---

[64] *Баязитов А.* По поводу помещённого в одной газете известия о скором обращении всех в ислам // Голос. 1882. № 308; Возражение на речь Эрнеста Ренана «Ислам и наука» с.-петербургского мухамеданского ахуна, имам-джамиа хабиб мударриса Атаулла Баязитова. СПб., 1883; *он же.* Вопрос о просвещении инородцев // Восточное обозрение. 1885. № 10; *он же.* По поводу мусульманского фанатизма // Санкт-Петербургские ведомости. 1886. № 123; *он же.* Отношения ислама к науке и к иноверцам. СПб., 1887; *он же.* Ислам и прогресс. СПб., 1898. А. Баязитов — мусульманский писатель, санкт-петербургский ахун и лектор на восточных курсах МИД, был известен в светских и высших кругах имперской администрации.

[65] *Мурза-Алим.* Ислам и магометанство // Санкт-Петербургские ведомости. 1882. № 180.

[66] *Девлет-Кильдеев А.А.* Магомет как пророк. СПб., 1881; *Искандер-Мурза.* Русские школы для мусульман в Туркестане // Восточное обозрение. 1883. № 36—38; О Мурзе Алиме и А. Давлет-Кильдееве мало что известно. О последнем известный библиограф С. Венгеров отметил лишь то, что он «кн[язь], собир[атель] народн[ых] пес[ен], сотрудн[ик] «Уф[имских] губ[ернских] вед[омостей]» 1867 г.». В дневнике Е.А. Малова упомянут в 1896 г. «медик Давлет-Кильдеев» (См.: Известный и неизвестный Загир Бигиев / Публ. А. Ахунова // http://tatarica.yuldash.com/biography/article1247).

[67] Правильно: Ж.Г. Курсель-Сенель, профессор политической экономии в Высшей нормальной школе Парижа, сторонник этнокультурного релятивизма.

[68] НА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 72. Л. 15 об.—16 об. Опубликовано: *Исхаков Р.* «Ислам как религиозное учение не заслуживает упрёка в деспотизме или нетерпимости...» // Эхо веков. 2010. № 3—4.

Модерн «стучал» в двери и мусульманского универсума. Требовалось осмыслить новые социальные и политические вопросы и выработать подходы к их постановке. «Наше время — время знаний, — заявил Гаспринский. — Мир — это поле борьбы знаний: без знаний не существовать на нём!.. Всё моё писание сводится... к вопросу: как и каким путём достигнуть возможно скорейшего умственного развития мусульман? Этот вопрос можно отнести ко всем некультурным народам, не исключая и русских... А разрешаю мой вопрос единственно возможным ответом: учить, учить и учить всякий русский народ на его родном языке»[69]. Формулу «знание — труд — прогресс» Гаспринский изложил одной фразой: «Единство в языке, мыслях и действиях». Это был призыв к взрослению, к развитию своих способностей. Гаспринский стремился закрепить институционально в исламском социуме понятия свободы и справедливости, социального развития. Его призыв опирался на «идею о том, что каждая культура и каждый индивид внутри неё имеют собственную форму для реализации, и что никто иной не может заменить или повторно осуществить внутреннее единство, в ней раскрывающееся»[70]. По мнению Ш. Айзенштадта, такие «тенденции представляют собой аспекты... переосмысления и перестройки культурной программы современности; создания множественных современностей; попыток различными группами и движениями “усвоить” современность и переформулировать дискурс современности на своём собственном языке... Они указывают на перемещение главной арены, где происходит борьба, и где кристаллизуются множественные современности... в новые пространства»[71].

В корректных выражениях И. Гаспринский подвергал ревизии имперскую практику, утверждая, что в нынешней своей форме русское господство не ведёт мусульман к прогрессу и неспособно вдохнуть новую жизнь в область «русско-татарской мертвечины». Гаспринский критиковал изолированность и замкнутость мусульман, при которой общество «прозябает в узкой, душной сфере своих старых идей и предубеждений»[72]. Он «с болью» констатировал, что «пришли в некоторый упадок и те средства умственного развития татар, которые предоставлялись прежде их школами и письменностью», и хотя мусульманский цивилизационный очаг в России сохранялся, «в деревенской глуши доживало свой век последнее поколение образованных мусульман»[73].

---

[69] НА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 72. Л. 15 об.-16 об.

[70] См.: *Меньшиков А.С.* Теория модерности: очерк проблемного поля // Известия Уральского университета. 2010. № 4 (83).

[71] *Eisenstadt S.* The Civilizational Dimension of Modernity. Modernity as a Distinct Civilization // International Sociology. 2001. 16 (3). P. 320—340.

[72] *Гаспринский И.* Русское мусульманство. С. 29.

[73] *Худяков М.Г.* Мусульманская культура в Среднем Поволжье. Казань, 1922. С. 20.

«Да, любезные соотечественники русские, — пишет Гаспринский, — нам нужны знание и свет; так примитесь же серьёзно и дайте нам “света и знаний, знаний и света”, иначе господство ваше, как господство ради господства, станет ниже китайского». «Света, света дайте нам, старшие братья, — восклицал он, — иначе мы задохнёмся, будем разлагаться и заразим местность, мы, мусульмане, ещё дети, так будьте же разумными педагогами... Когда мы поймём вас, тогда в своём мектебе мы приобретём первоначальные плоды вашей науки и знаний; когда мы из татарских книг узнаем нашу родину Россию и её порядки, будьте уверены, у нас явятся и желания, и средства наполнить ваши гимназии и университеты, чтобы трудиться рядом с вами на поприще жизни и науки. А до того мы... будем чуждаться, избегать их и не будем сознавать их пользы и значения, несмотря на трогательное красноречие и убеждение чиновников неведомых нам ведомств»[74].

Вместе с тем Гаспринский совершенно не принимал «ассимиляционной политики», которая, по его словам, «носит на себе характер принуждения, ограничения прав данной народности и по этому одному уже не имеет за собой симпатий»: «Мы не находим необходимых оправданий для политики поглощения одной народности другою, политики русификационной в нашем отечестве, если слово “русификация” понимать именно в смысле поглощения русскими других народностей империи»[75]. На протяжении всей российской истории, — утверждал Гаспринский, — мусульмане выступали в качестве субъекта культурно-цивилизационного творчества, став *русскими мусульманами*. Поэтому он предлагал «другую систему политики, проистекающей из уважения к национальности и всестороннему равенству племён, населяющих государство»: «Она, отлично служа делу государственного единства, в то же время споспешествует образованию, прогрессу и выработке лучших форм труда и жизни..., она привлекательна и действует среди большинства цивилизованных народов мира». «Я глубоко убеждён, — заявлял Гаспринский, — что только незнание, неведение и недоразумение сдерживают мусульманина от близкого, деятельного и сочувственного приобщения к общей русской, отечественной жизни. Исламизм непосредственно тут вовсе не мешает. Есть нечто посильнее и постарее его, которое мешает и портит тут дело... это невежество, борьба с которым до сих пор не организована как следует и за борьбу с которым должны дружно приняться лучшие мусульмане и русские»[76]. В целом же, Гаспринский был полон оптимизма. «Я верю, — писал он, — что

[74] *Гаспринский И.* Русское мусульманство. С. 13.
[75] Там же. С. 35—36.
[76] Там же. С. 9.

рано или поздно мусульманство, воспитанное Россией, станет во главе умственного развития и цивилизации остального мусульманства». И если «цивилизацию Востока водворили на Западе римляне и арабы, то, может быть, Провидение предназначило русских и татар к водворению западной цивилизации на Востоке»[77].

«Нравственное *обрусение*» мусульман Гаспринский связывал с подъёмом их «умственного уровня» и знаний, с их обучением на родном языке в школе и с полноценным включением русских мусульман в текущую научную и литературную деятельность и журналистику.

Не стоит преувеличивать влияние данных публикаций на мусульманское население, хотя, конечно, они породили некоторое смятение. Указывая на важность сближения мусульман России, Гаспринский видел в них не десяток изолированных народностей, а культурную общность, обладающую внутренней цельностью, конфессионально спаянный полиэтнический блок[78]. Именно так понимал он «русское мусульманство». «Новый человек», по его мнению, мог быть назван мусульманином лишь постольку, поскольку мусульманство было основным термином самоидентификации многих российских этносов[79].

Несомненно, это был *политический проект*, явно не вписывавшийся в представления об интеллектуальном застое у мусульман. Гаспринский, разумеется, признавал и универсальный характер ислама, и наличие в нём разнообразных национальных и региональных элементов. Модерность уже начинала игнорировать родовые связи, структуры жузов и кланов, механизмы конфессиональной интеграции. Значимым фактором российской действительности оставалась полиэтничность, которая в перспективе могла только возрасти. Разрушая миф о гомогенности культуры будущего, Гаспринский предлагал двигаться в сторону сложносоставной интегративной общности (российские тюрки), которая снимала бы существующие языковые и исторические «разрывы» и открывала путь для развития нового модерного этноса. В своих представлениях о социально-политическом, культурном, нравственно-религиозном, психологическом, бытовом будущем россий-

[77] Там же. С. 30, 31.

[78] *Червонная С.М.* Идея национального согласия в сочинениях Исмаила Гаспринского // Отечественная история. 1992. № 2.

[79] См.: Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999; *Бессмертная О.Ю.* Русская культура в свете мусульманства: текст и поступок // Христиане и мусульмане: проблемы диалога. М., 2000; *Ганкевич В.* Джадидская реформа народного образования крымских татар в конце XIX — начале XX века (По страницам газеты «Тарджиман» (Переводчик)) // Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции суннитского ислама. М., 2001. С. 378—400; *Шарипова Р.М.* Ислам доверяет разуму (татарские салафиты и джадиды) // Фундаментализм: Статьи. М., 2003. С. 79.

ских мусульман Гаспринский руководствовался двумя принципами: верность исламу и лояльность Российскому государству[80].

Н.И. Ильминский первым обратил внимание на стремление И. Гаспринского обсудить «будущность русских мусульман в интересах отечества и цивилизации»[81]. Но, прочитав в 1881 г. работу Гаспринского, он с тревогой констатировал: «Надвигается страшная туча магометанская, новое нашествие, но не монгольское, а мусульманское, не дикарей из Азии, а дикарей цивилизованных, прошедших университеты, гимназии и кадетские корпуса... Были прежде отпадения крещёных татар, но то были цветики, а теперь ягодки, то было нечто предварительное, а теперь начинается трактат»[82]. «В России начинается мусульманский вопрос»[83], предупреждал он Победоносцева, признававшего, что «мусульманская религия не имеет себе подобной по интенсивности веры и фанатизма, объединяющих ее во всем мусульманском мире»[84]. «Гаспринский..., — писал Ильминский, — преследует цели: во-первых, распространить между магометанскими подданными Русской империи европейское просвещение на магометанской основе, магометанские идеалы подкрасить европейским образованием; во-вторых, всё многомиллионное разноместное и частью разноязычное население магометан в России объединить и сплотить (пример — немецкое объединение); в-третьих, уложить посредством своего органа, для всех в России магометан тюркского корня, язык османский... Гаспринский и К° хотят провести к татарам европейское образование, но только отнюдь не через Россию... План составлен искусно и основательно... татарская интеллигенция, замазывая русские глаза мнимым рационализмом или либерализмом, усиливается создать мусульманско-культурный центр в России»[85]. Н.П. Остроумов также считал, что «дерзкий» и «непокорный» Гаспринский, создав «учение», «в своих мыслях уже переступает порог дозволенного края»[86].

---

[80] О конструктивистском подходе в теории этничности, с трудом находящей приверженцев среди сторонников примордиализма см.: *Низамова Л.Р.* Сложносоставная концепция модерной этничности: пределы и возможности теоретического синтеза // Журнал социологии и социальной антропологии. Том XII. 2009. № 1. С. 141—150.

[81] *Алексеев А.* К проблеме культурного диалога: ислам и Казанское миссионерское исламоведение // Ислам в советском и постсоветском пространстве: история и методологические аспекты исследования. Казань, 2004. С. 68.

[82] Цит. по: *Харлампович К.В.* П.П. Масловский и его переписка с Н.И. Ильминским (Материалы для истории русской миссии). Казань, 1907. С. 3.

[83] Письма Н.И. Ильминского. Казань, 1890. С. 65.

[84] Черновик Всеподданнейшего доклада К.П. Победоносцева // Красный архив. 1926. Т. V (18). С. 204—205.

[85] Письма Н.И. Ильминского. С. 63—64.

[86] Цит. по: *Арапов Д.Ю.* Исмаил Гаспринский и Николай Петрович Остроумов // http://www.idmedina.ru/books/islamic/?2573; *Исмаил Гаспринский*. Историко-документальный сборник. Казань, 2006. С. 434—435.

Отмечая «придумчивость татар, способных обольстить своею мнимой цивилизацией даже бдительное око власти», Ильминский 10 февраля 1884 г. в письме к Победоносцеву характеризовал «трактат» Гаспринского как это «яд в позолоченных пилюлях». Содержавшиеся в нём «идеи прогрессивные на мусульманской основе» казались Ильминскому опасными, поскольку, по его наблюдениям, «фанатик без русского образования и языка сравнительно лучше, чем по-русски цивилизованный татарин, а ещё хуже аристократ, а ещё хуже — человек университетского образования»[87]. Эти частные письма были опубликованы в 1895 г. после смерти Ильминского по распоряжению Победоносцева. Сторонники Ильминского считали данный шаг политической ошибкой обер-прокурора Св. Синода, с чем, однако, трудно согласиться. В 1883 г. в дискуссию о судьбах ислама вступил А. Баязитов, откликнувшийся на речь, произнесённую Э. Ренаном на собрании Научной французской ассоциации в Сорбонне и вскоре изданную в России. «Ислам, — утверждал Ренан, — тяготит собою огромные пространства на земном шаре и удерживает в них понятия, совершенно противные идее прогресса, именно понятие государства, опирающегося на какое-то откровение, и понятие религиозного догмата, управляющего обществом... Отсюда вечная война — война, которая прекратится только тогда, когда последний сын Измаила умрёт от нищеты или с ужасом будет изгнан вглубь пустыни. Ислам — это полнейшее отрицание Европы, ислам есть фанатизм... отвращение к науке, упразднение гражданского общества; это ужасная простота семитского духа, сдавливающая человеку мозг, закрывающая ему доступ ко всякой нежной и тонкой мысли, ко всякому тонкому чувству, ко всякому умозрительному изысканию»[88]. Возражая ему, Баязитов указывал, что ислам «в основных своих положениях не противоречит логике здравого мышления и не боится ответа науки». Он критиковал Ренана за легковесность суждений о мусульманстве и, со своей стороны, желал «познакомить европейскую публику с учением Магомета и отношением ислама к образованию, прогрессу и другим вероучениям»[89]. Книга Баязитова

[87] Письма Н.И. Ильминского. С. 178.

[88] *Ренан Э.* Ислам и наука / Пер. А. Ведрова. СПб., 1883. С. 18—19.

[89] Книги Ренана о христианстве также подверглись критике. См.: *Михаил (Лузин).* О Евангелиях и евангел. истории. По поводу книги «Жизнь Иисуса», соч. Э. Ренана. М., 1865; *Арсеньев К.* Новая книга Ренана (E. Renan. Histoire du peuple d'Israël. P., 1887) // Вестник Европы. 1891, № 5; *Ватсон Э.К.* Э. Ренан о происхождении Библии // Восход. 1886. № 8—11; Царское достоинство Иисуса Христа, ответ Э. Ренану и Л. Толстому (Из Берсье) // Православное обозрение. 1889. № 4; прот. *Боголюбов Н.* Э. Ренан и его «Жизнь Иисуса». Харьков, 1908; архим. *Варлаам (Ряшенцев).* Ренан и его «Жизнь Иисуса». Полтава, 1908; *Виноградов*

вызвала в России большой интерес[90]. Миссионеры с раздражением констатировали, что, прочитав её, «русский заурядный интеллигент невольно пленится высотой учения ислама и обаятельной личностью основателя его, Мухаммеда».

Между тем публикации исламских модернистов, скорее всего, не имели бы общественного резонанса, если бы они не получили поддержку в столичной прессе, прежде всего со стороны А.С. Суворина, придерживавшегося тогда умеренно-либеральных взглядов. В Санкт-Петербурге их работы печатали крупнейшие русские газеты — «Голос», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», а также журнал «Сын отечества». Видимо, их издатели понимали важность начавшейся дискуссии.

Важно, что книги и статьи мусульманских активистов вышли на *русском* языке и были рассчитаны прежде всего на русского читателя. Глядя на «усиленные попытки современных мусульманских публицистов», Остроумов отмечал, что «мы имеем дело с печатным их словом, предназначенным *ими самими для русских читателей, для рассеяния заблуждений русской публики*». Усилия авторов казались Остроумову «бесплодными, но не бесцельными», поскольку «мы, русские, даже с переводами Корана не знакомы». Однако активность «нами же пробуждённых сторонников ислама» явно вызывала у него беспокойство[91].

Православные миссионеры, скептически воспринимавшие политический «трактат» «дикарей цивилизованных, прошедших университеты», оставались в русле традиционных подходов к исламу, интеллектуально и психологически исключавших возможность понимания другой веры не как *ложной*, а как *иной*. Несмотря на использование работ европейских востоковедов, они не теряли уверенности в том, что лишь православная Церковь обладает абсолютной истиной. Многих из них ожидала успешная карьера. Магистр Е.А. Виноградов после выпуска был оставлен преподавателем академии. Магистр А.И. Заборовский (выпуск 1868) являлся впоследствии ректором Саратовской духовной семинарии. Стал крупным востоковедом выпускник 1870 г. Н.П. Остроумов. Вдовый священник, а с 1875 г. магистр

В.П. Иисус Христос в понимании Ренана и Гарнака. Сергиев Посад, 1908; свящ. *Геттэ Р.Ф.* Ренан перед судом науки / Пер. с франц., М., 1889; *Годлевский С.Ф.* Ренан как человек и писатель. СПб., 1895; архим. *Михаил (Семенов)*. Евангелие мещан. СПб., 1906; *Моравский М.* Тайна влияния Ренана / Пер. с польск., ВЦ, 1906; *Муретов М.Д.* Э. Ренан и его «Жизнь Иисуса», СПб., 1907; *Сорель Ж.* Э. Ренан. Критический этюд, СПб., 1908; *Трубецкой С.Н.* Ренан и его философия // *Трубецкой С.Н.* Сочинения. Т.1. М., 1907.; Митр. *Антоний (Храповицкий)*. О книге Ренана с новой точки зрения. Харьков, 1917.

[90] Переиздавалась в 1888, 1891 гг.

[91] *Остроумов Н.П.* Коран и прогресс: По поводу умственного пробуждения современных российских мусульман. Ташкент, 1901. С. 246.

А.И. Светлаков в 1883 г. принял иночество и в 1885 г. был рукоположен в епископы, с 1894 г. управлял Калужской епархией. А.И. Агрономов с 1879 г. преподавал в Рижской семинарии, принял священство, с 1888 г. редактировал «Рижские епархиальные ведомости», а с 1897 г. состоял ректором Вологодской семинарии.

Отвергая миссионерскую интерпретацию ислама, мусульманские публицисты демонстрировали готовность к диалогу в условиях, когда «даже учёные, профессора и ответственные деятели государства имеют самые ложные и превратные понятия о характере жизни мусульман России»[92]. А. Девлет-Кильдеев настойчиво призывал «перестать толковать о стремлении мусульман к уничтожению христиан»[93]. В высказываниях И. Гаспринского отражался поиск в европейско-христианском опыте «поля одухотворённости»[94], желание испытать воздействие ушедшей вперёд иноверческой цивилизации, получить от неё ориентиры для собственного творчества, избавиться от чувства отсталости, несоответствия требованиям современной жизни. Представления о полицентричной природе человеческой истории позволяли мусульманским активистам признать самобытность социокультурных форм, ментальных и психологических установок, конфессиональных ценностей. Базисная оппозиция модерности «свобода / несвобода» умножала их силы[95].

В целом, нельзя не отметить позитивную роль первого этапа дискуссии о судьбах ислама в России. Модерн — понятие многосмысленное, с множеством нюансов, ускользающе-изменчивых аспектов, начинал влиять на размежевание традиционалистов, поднимая перед ними важные вопросы. После работ исламских оппонентов вышли уже полновесные работы миссионеров, появились новые авторы, начался второй этап дискуссии, требующий отдельного изучения[96].

---

[92] В мире мусульманства. 1911. № 1. 3 апреля.

[93] *Девлет-Кильдеев А.А.* Магомет как пророк. СПб., 1881;

[94] *Батунский М.* Ислам и русская культура XVIII века. Опыт историко-эпистемологического исследования // Мир ислама. 1999. № 1—2. С. 192.

[95] *Батунский М.А.* Православие, ислам и проблемы модернизации в России на рубеже XIX—XX веков // Общественные науки и современность. 1996. № 2. С. 81—90.

[96] *Боголюбский Н.* Ислам, его происхождение и сущность по сравнению с христианством. Опыт историко-апологетического изучения. Самара, 1885; *Остроумов Н.П.* Коран и прогресс: По поводу умственного пробуждения современных российских мусульман. Ташкент, 1901; *Череванский Вл.* Мир ислама и его пробуждение. Ч. 2. Казань, 1901; *Аквилонов Е.П.* О божественности христианства и о превосходстве его над буддизмом и мохаммеданством. СПб., 1904; *Синайский А.* Магометанство в его истории и отношении к христианству. Культурно-исторический очерк. СПб., 1904; *Миропольский А.* Мнимое благочестие Мухаммеда // *Миропольский А.* Любовь — сущность христианства. Православие и другие религии. Казань, 1910; и др.

А.В. Мамонов

П.А. Валуев в «Отголосках» 1879–1880 годов

Как уже не раз отмечалось (в том числе и на страницах этой книги), Сергей Сергеевич Секиринский с большим интересом относился к биографическому жанру, как, впрочем, и ко всему, что позволяло сохранить и передать живые черты человеческой личности — с её неповторимым, ускользающим от поверхностного взгляда выражением, исканиями, размышлениями, переживаниями, противоречиями. Им была создана целая галерея исторических портретов, видное место в которой по праву занимает обширный очерк «Пётр Александрович Валуев», написанный для сборника статей «Российские консерваторы»[1].

Само участие Секиринского (как и некоторых других исследователей) в подготовке этого издания могло показаться неожиданным — особых симпатий к охранителям и консерватизму он никогда не демонстрировал. Кроме того, ему были совершенно чужды как искусственный пафос, нередко присущий нашей неомонархической историографии, так и характерное для неё умиление, легко переходящее в ожесточение при упоминании о мнениях оппонентов. Между тем введение к сборнику настраивало именно на этот лад. А.Н. Боханов пытался в нём очертить «некоторые сущностные элементы традиционного русского политического сознания», в соответствии с которыми «русский монархизм и консерватизм базировались на патриархальном каноне, на основе представлений и норм, сформировавшихся в старые времена и без изменений существовавших столетия». Причём «эти представления зиждились на Любви и Вере в Бога, Царя, Отечество и не подлежали критическому переосмыслению». Соответственно и всякая историческая конкретика тонула в метафизической пучине, где намеренно размывалась грань между политическим и религиозным, уваровская триада рассматривалась как «эсхатологическая метафора», Россия провозглашалась «удивительной исторической Аномалией», а в царствование Александра II наступал некий «постсамодержавный ампир»[2].

---

[1] *Секиринский С.С.* Пётр Александрович Валуев // Российские консерваторы. М., 1997. С. 137–188.

[2] *Боханов А.Н.* Введение // Там же. С. 6–7, 10–11.

Следует отдать должное профессионализму и самостоятельности авторского коллектива, фактически отказавшегося следовать за своим формальным «руководителем», которому пришлось признать, что «авторы порой по-разному воспринимают многие вещи» и «придерживаются несхожих взглядов». «В этой полифоничности, противоречивости оценок и заключений» он не без сожаления усматривал «отпечаток нашего времени — неопределённого и переходного»[3]. Действительно, все очерки (за исключением, пожалуй, статьи самого Боханова о вел. кн. Сергее Александровиче) оказались лишены какой-либо идеологической предвзятости и односторонности. Неудивительно, что в кратком послесловии Т.А. Филипповой акценты ставились уже совершенно иначе и речь шла не про вневременные «наиболее характерные мировоззренческие позиции», не о туманной «системе государственно-политических ощущений и воззрений», а преимущественно о том, «как трудно в России быть консерватором», и, в частности, о сложных взаимоотношениях между монархами, обществом и сторонниками «консервативного обновления»[4]. В результате, сборник получился весьма оригинальным и ценным для изучения внутренней политики самодержавия и характеристики её руководителей. По-новому была освещена в нём и фигура П.А. Валуева.

Сергей Сергеевич любил парадоксы и парадоксальность. Будучи в 1990-е гг. прежде всего историком русского либерализма, одним из разработчиков «родословной российской свободы», он в то же время стремился понять и одного из основных антагонистов своих героев — либералов 1840—1880-х гг. Ведь, к примеру, К.Д. Кавелин, как вспоминал А.Ф. Кони, и в 1883—1884 гг. в гостях у М.М. Стасюлевича не только говорил о Валуеве «с выражением глубокой ненависти в полных ума, юношески горящих глазах», но даже пересаживался на диван, узнав, что в занятом им по привычке кресле утром сидел Пётр Александрович[5]. На то были свои причины: Валуев являлся умелым и влиятельным оппонентом едва ли не всех либеральных реформаторов от Н.А. Милютина до гр. М.Т. Лорис-Меликова, напротив, сановники, воспринимавшиеся в обществе как «охранители» и «реакционеры» (М.Н. Муравьёв в конце 1850-х гг., гр. П.А. Шувалов в 1870-е гг.) находили в нём незаменимого и высококвалифицированного сотрудника. С другой стороны, отношение к Валуеву консервативных публицистов (особенно М.Н. Каткова и его окружения) было по меньшей

[3] Там же. С. 16.

[4] *Филиппова Т.А.* Вместо заключения // Российские консерваторы. С. 380—382.

[5] *Кони А.Ф.* Из лет старости и юности // *Кони А.Ф.* Собрание сочинений в восьми томах. Т. 7. М., 1969. С. 121.

мере настороженным, а иногда и открыто враждебным. Охранительные установки и либеральные инициативы постоянно переплетались и смешивались в деятельности Валуева, образуя единое целое и ставя в тупик историков, пытавшихся приписать его к той или иной группировке[6]. Но именно индивидуальность и неоднозначность и должны были привлечь к нему внимание С.С. Секиринского.

Писать о П.А. Валуеве в чём-то было не менее сложно, чем о других «российских консерваторах», чьи биографии создавались, по сути, с чистого листа, иногда по достаточно скудным или обрывочным данным. Круг вопросов, которыми ему довелось заниматься на разных постах, был исключительно широк, а его размышления над ними отразились в огромном количестве документов, рассеянных по разным архивным фондам. Охватить их было бы непросто и в монографии, в статье же — и вовсе немыслимо. При этом, благодаря публикации своего дневника и работам П.А. Зайончковского, Л.Г. Захаровой и В.Г. Чернухи он стал едва ли не самым известным и часто цитируемым государственным деятелем второй половины XIX в.[7]

И всё же С.С. Секиринскому удалось показать П.А. Валуева с совершенно неожиданной стороны (при знании практически всего, что о нём было написано, вплоть до студенческих статей, на которые он даже считал возможным ссылаться)[8]. О беллетристических увлечениях и опытах Петра Александровича в стихах и прозе было известно и ранее, однако никогда прежде исследователи не придавали им сколько-нибудь серьёзного значения. Сергей Сергеевич же увидел в Валуеве причудливое сочетание героя и автора художественных произведений — своего рода литературного человека, в разное время являвшегося и прототипом классического образа Петруши Гринёва, и тонким наблюдателем, чутко улавливающим драматургию происходящих вокруг него событий, и несколько однообразным романистом, преданным «канону благовоспитанности» и попеременно выступающим то «мыслителем» и обличителем упадка нравов, то художником,

---

[6] См., в частности: *Рибер А.Дж.* Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы в России. 1856—1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. С. 50—51.

[7] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел, в двух томах. Т. 1—2. М., 1961; *Зайончковский П.А.* П.А. Валуев (биографический очерк) // Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел, в двух томах. Т. 1. С. 17—54: *он же.* Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов. М., 1964; *Захарова Л.Г.* Земская контрреформа 1890 г. М., 1968; *она же.* Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856—1861. М., 1984; *Чернуха В.Г.* Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х годов XIX века. Л., 1978; *она же.* Правительственная политика в отношении печати. 60—70-е годы XIX века. Л., 1989.

[8] *Секиринский С.С.* Пётр Александрович Валуев. С. 188.

изображающим черты «довольства, роскоши, духовной изощрённости, материального упадка, а иногда и нравственной надломленности» поместного дворянства[9].

Но, как отмечал Секиринский, «из всех созданных Валуевым художественных образов наиболее запоминающимся был, конечно, его интригующий и переменчивый, как маскарадные маски, *литературный автопортрет*»[10], до сих пор притягивающий читателей его «Дневника». Именно анализу этого «литературного автопортрета» и был посвящён очерк Сергея Сергеевича в «Российских консерваторах», где им предлагался по существу новый подход к изучению мемуаров и дневников тех «“тайных советников”, для которых табель о рангах была уже слишком “мала”». «Валуев-министр», по словам Секиринского, «всё же оказался заметно крупнее Валуева-литератора, но судить о масштабе первого можно с полной уверенностью только по наследию, оставленному вторым»[11]. Чтобы убедиться в справедливости этого, достаточно сравнить отзывы о Валуеве и его деятельности, данные современниками и историками до и после издания его «Дневника».

Новый подход требовал и новых приёмов изложения материала, уводил за привычные рамки биографического жанра, где альфой и омегой по-прежнему остаётся «родился» и «скончался». Не случайно свой очерк Сергей Сергеевич начинал не с детства героя, а... с прибытия поезда, красочно описанного тем в своём дневнике 19 июня 1867 г. Этот «законченный и ёмкий литературный набросок» превращается исследователем в своеобразный художественный ключ к двери мировосприятия и самосознания своего автора. Разумеется, в очерке не игнорируются и детские впечатления Валуева, но они тесно увязываются с его зрелым творчеством, словно бы проступают сквозь него, и именно в нём обретают своё значение.

Читая очерк, трудно отделаться от ощущения, что С.С. Секиринский не просто рассматривает валуевский «автопортрет», но и любуется им. Ему явно импонирует, как «среди великолепных “платьев” и “звездоносных” “мундиров”, расположившихся небольшими группами на платформе, заметно выделялся высокий прямой мужчина, лет пятидесяти с благородным, слегка вытянутым лицом, от висков до бритого подбородка окаймлённым пышными бакенбардами»: «...По лицу его с широким лбом, крупным, красиво посаженным длинным носом и утомлённым взглядом умных, наблюдательных глаз, време-

[9] Там же. С. 142—143, 148, 183—184.
[10] Там же. С. 143.
[11] Там же. С. 141, 144.

нами пробегал след то ли глубокой печали, то ли затаённой иронии, то ли скрытой брезгливости. Казалось, чуть резче станет рисунок складок у рта, и тогда неявное настроение этого любезного, обходительного человека, грустным словом или колкой насмешкой обнаружив себя, врасплох застанет очарованных им собеседников»[12].

С большим интересом автор пишет о том, как, будучи безукоризненно светским человеком, Валуев пытался, устраивая свои воскресные рауты, привлечь к высшему свету и правящему кругу духовных лиц различных конфессий, учёных, литераторов, приезжающих из провинции чиновников и общественных деятелей[13]. Не без симпатии говорится в очерке и про «необычайную политическую гибкость» Валуева, про его незаурядные «редакторские способности» и умение «говорить романом или в романе»[14].

Как полагал Секиринский, «щедро одарённой, деятельной натуре Валуева как будто бы тесно жить в “одном измерении”, в плену одной роли и одного “лица”, и он постоянно имитирует в жизни и на бумаге, лицедействует там и там, и, подчас играя, действительно творит что-то новое»[15]. Ведь и сам Пётр Александрович признавал, что в его официальной жизни есть доля азартной игры»: «Вероятно, проиграю, но, может быть, выиграю. А между тем моя игра — игра России»[16]. Сергея Сергеевича не смущало, что «министр на европейский лад» то и дело «играл двойственную роль, то и дело пытаясь совмещать в своей реформаторской деятельности и традицию поддержания царского самовластия..., и решение задач либеральной трансформации самой власти»[17]. Исследователь исходил из того, что «сама свобода в либеральном понимании — всегда компромисс между единичным и множественным, частной волей и общественным порядком, личностью и государством»[18]. «Расширение же поля этого компромисса, — добавлял он, — казалось многим, есть дело времени»[19].

Более того, «корыстный дворянский либерализм» единомышленников П.А. Валуева, по мнению С.С. Секиринского, был исторически перспективнее, нежели характерный для его оппонентов в правительстве демократический цезаризм, торжество которого «нанесло российской либеральной традиции определённый урон»: «Получив

[12] Там же. С. 138—139.
[13] Там же. С. 158—159.
[14] Там же. С. 142, 161.
[15] Там же. С. 143.
[16] Цит. по: там же.
[17] Там же. С. 161.
[18] Там же. С. 168.
[19] Там же.

“прививку” малой дозы либерализма, самодержавие приобрело к нему стойкий “иммунитет”»[20]. И хотя подобное утверждение представляется спорным, поскольку либеральные настроения в правящих кругах империи никогда до конца не исчезали, а в начале XX в., напротив, постоянно усиливались, всё же нельзя не отметить, что и для Валуева, и для его биографа «падение крепостной зависимости “духа”» было намного важнее, чем собственно «отмена крепостной зависимости крестьян»[21]. Сергей Сергеевич даже утверждал, что «Валуев был сторонником постепенного высвобождения из-под любых форм властной опеки (будь это само государство или власть крестьянского мира), созревших к самостоятельной жизни общественных элементов»: «Рядом с дворянином-помещиком вставал хозяйственный крестьянин, которому надо было только помочь выйти из общины, устранив законодательные препятствия»[22]. И с этим можно было бы полностью согласиться (представления Валуева о деревенской жизни, по-видимому, и впрямь носили несколько доктринёрский характер), но только с одной оговоркой: будучи красноречивым поборником свободы отдельных «элементов», он всегда оставался упорным противником «высвобождения» различных групп, сообществ, а тем более — масс, представлявшихся ему стихийной и уже потому опасною силой.

«Элементарная» же или, точнее, индивидуальная свобода «созревших к общественной жизни», в конечном счёте, оставалась всё той же свободой компромиссов, ограниченных лишь чувством меры и собственного достоинства. Приводя в своём очерке пространный монолог одного из героев валуевского романа «Лорин» (1876—1880 гг.), Сергей Сергеевич характеризовал его как «едва ли не исчерпывающий перечень компромиссов, неизбежных и допустимых для порядочного чиновника и честного человека»: «Вы, — говорит министр своему подчинённому, — никогда не изменяли тем коренным началам, которые стоят выше нас... Вы могли покоряться, когда случайно брали верх другие начала; но вы не скрывали различия между покорностью и единомыслием. Вы не всегда говорили всё, что вам думалось, потому что это невозможно; но вы никогда не говорили того, чего вы не думали. Вы дорожили делом, — и не бросали его сущности на жертву формам. Вы не обращались предпочтительно к слабым струнам того, с кем вы имели дело; вы не раздражались, когда следовало быть кротким, и не убаюкивали, когда следовало предостерегать; вы

[20] Там же. С. 159—168, 182.
[21] Там же. С. 157.
[22] Там же. С. 167.

терпели от неправильных посторонних влияний, но вы их не искали, и одинаково пренебрегали окольными путями и кадилом»[23]. Судя по частым сетованиям в дневнике, нечто подобное русский «министр на европейский лад» хотел услышать и о себе самом.

Однако свой «литературный автопортрет» П.А. Валуев создавал в конце 1870-х годов не только в дневнике, романе и письмах[24], но и на страницах по сути личной еженедельной газеты «Отголоски». История этого издания известна благодаря работам Н.П. Емельянова и В.Г. Чернухи[25]. Созданный по инициативе Валуева еженедельник, выходивший с января 1879 г., финансировался с санкции Александра II сперва из средств III отделения с.е.и.в. канцелярии и Министерства государственных имуществ, которым Пётр Александрович руководил в 1872—1879 гг., а затем — Министерством финансов. Официальным издателем газеты являлся книготорговец К.К. Ретгер, а редактором — опытный журналист и известный беллетрист Е.П. Карнович (контора редакции находилась при Придворном книжном магазине Ретгера «Шмицдорф» в начале Невского проспекта). Фактически же «Отголоски» вёл сам Валуев. Поскольку он не раз упоминал об этом в дневнике[26], все его биографы отмечают, что в 1879—1881 гг. им было опубликовано в «Отголосках» более 200 статей[27]. Впрочем, сами эти статьи почти никогда не анализировались и в библиографию работ Валуева не включались[28]. К примеру, В.Г. Чернуха кратко охарактеризовала лишь некоторые публикации «Отголосков», даже не оговорив их принадлежность Валуеву[29]. Не использовал их в своей монографии и А.Э. Гетманский[30].

Действительно, учитывая, что все материалы печатались в «Отголосках» без подписи, достаточно трудно, если вообще возможно, про-

---

[23] Цит. по.: там же. С. 146.

[24] См., например, его письма к гр. М.Т. Лорис-Меликову: Россия и реформы. Сборник статей. Вып. 3. М., 1995. С. 98—115.

[25] *Емельянов Н.П.* Из истории русских официозов 1879—1880 гг. // Вопросы журналистики: межвузовский сборник статей. Вып. 2. Кн. 2. Л., 1960. С. 72—80; *Чернуха В.Г.* Правительственная политика в отношении печати. 60—70-е годы XIX века. Л., 1989. С. 112—117.

[26] Граф П.А. Валуев. Дневник (1877—1884). Пг., 1919. С. 34, 101.

[27] *Зайончковский П.А.* П.А. Валуев (Биографический очерк). С. 49.

[28] *Венгеров С.А.* Критико-биографический словарь русских писателей и учёных (от начала русской образованности до наших дней). Т. 4. Отд. 2. СПб., 1895. С. 56; *Шилов Д.Н.* Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений 1802—1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2002. С. 121—122.

[29] *Чернуха В.Г.* Правительственная политика в отношении печати. С. 113—116.

[30] *Гетманский А.Э.* Российский министр европейского типа (политические взгляды и государственная деятельность П.А. Валуева в 70—80-е гг. XIX в.). Тула, 2001.

сматривая газету, определить автора той или иной статьи. Точно атрибутировались только те немногие, которые были переизданы в 1881 г. под псевдонимом «БМ» (бывший министр). Вместе с тем трудно было поверить в то, что Валуев, всегда трепетно относившийся к своим сочинениям, не оставил и следа от столь обширной публицистической деятельности.

Черновики валуевских статей ещё не обнаружены. Но в РГИА среди его бумаг, связанных с изданием газет «Северная почта», «Правительственный вестник» и «Отголоски», сохранились писарские списки статей «Отголоски за 1879 год» и «Отголоски на 1880 год»[31]. Статьи расположены в списках по номерам (от одной до трёх в каждом, кроме № 44 в 1879 г. и № 39 в 1880 г.), всего их насчитывается 127 — 73 в 1879 г. и 54 в 1880 г. В основном это передовые статьи, хотя и не все передовицы вошли в списки, но наравне с ними в них включены другие тексты самого разного содержания и жанра вплоть до небольших заметок в один абзац. При этом целый ряд крупных публикаций по близкой тематике в списках отсутствует. Таким образом статьи могли быть объединены только по принадлежности одному автору. Между тем в списке находятся и переизданные позднее «Заметки о денежном обращении», принадлежность которых Валуеву не вызывает сомнения. В том, что в списках перечислены именно его статьи, окончательно убеждает дневник Петра Александровича. «...Затем целый день дома, — записал он 4 июня 1880 г. — Работа по роли публициста “Отголосков”. Кажется, 98-я или 99-я статья с 1-го января 1879 г.»[32]. Речь, очевидно, шла о статье для № 23, вышедшего 8 июня 1880 г. И при подсчёте статей, указанных в списках, 98-й оказывается именно статья «Значение Департамента земледелия и сельской промышленности», опубликованная в № 23[33].

Правда, ранее, 15 апреля 1879 г., Валуев писал в дневнике: «...Я почти на своих плечах выношу возникшую по моей инициативе новую еженедельную газету “Отголоски”. В 15 №№ по сей день до сорока статей, мною писанных!»[34]. В списке же «Отголоски за 1879 год», перечислены только 30 текстов, помещённых в №№ 1—15 (в том числе и «Заметки о денежном обращении»). Однако ещё С.А. Венгеров отметил, что П.А. Валуев публиковал в «Отголосках» не только собственные статьи, но и переводы (преимущественно «о новостях в мире науки»). Между тем в списках приведены только оригинальные произведения и почти вовсе

[31] РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 303. С. 21—24.
[32] Граф П.А. Валуев. Дневник (1877—1884). С. 101.
[33] РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 303. Л. 21—24.
[34] Граф П.А. Валуев. Дневник (1877—1884). С. 34.

отсутствуют научно-популярные очерки, что, возможно, и объясняет несовпадение цифр. Неудивительно и то, что списки охватывают лишь 1879—1880 гг. В 1881 г. «Отголоски» были преобразованы в журнал, где уже не предусматривалось передовых статей. «В эти два года, — писал Валуев в последнем номере своей газеты, вышедшем 28 декабря 1880 г., — мы успели высказаться, по нашему мнению совершенно определительно, по целому ряду вопросов, до сих пор не сошедших с очереди в общественной среде и в кругу суждений печати. Мы изменяем форму нашего издания потому именно, что, высказав наши мнения по означенным вопросам и сохраняя возможность, по мере надобности, к ним возвращаться или обращаться к другим, в отделе хроник или обозрений нашего журнала, мы теперь можем обходиться без передовых статей и вместо их расширить круг содержания других отделов журнала»[35]. Для журнала П.А. Валуев писал не менее, чем для газеты: в 1881 г. им опубликовано ещё 70— 80 статей, однако их перечень пока не обнаружен.

Что же заставляло стареющего сановника (в 1880 г. Валуеву исполнилось 65 лет), занимавшего один из высших постов в правительственной иерархии, уделять столько сил, времени и внимания публицистической деятельности? Чего он ожидал от неё и насколько оправданы были его надежды? По мнению В.Г. Чернухи, «“Отголоски” были как бы своеобразным публицистическим приложением к “Правительственному вестнику”, ограничивавшемуся исключительно информационными рамками»[36]. Но как объяснить то, что министр, а затем и председатель комитета министров — второе должностное лицо в империи — берётся лично вести подобное «приложение», никак при этом не обнаруживая открыто данную свою роль? К содержанию «Отголосков» явно нужно присмотреться подробнее.

П.А. Валуев, очевидно, ощущал потребность обращаться к обществу не языком правительственных сообщений, циркуляров и указов и не с позиций главы ведомства, пользующего доверием императора, а напрямую — в качестве частного лица — публициста, литератора, участника общественной жизни. Возможно, наряду с дневником, это возвращало ему чувство собственного голоса — ведь на службе он оставался прежде всего выразителем, исполнителем, истолкователем воли монарха, говорившим и действовавшим не иначе, как по Высочайшему повелению. В газете, казалось, он мог говорить от самого себя (даже не прибегая к речи литературного персонажа). Однако парадокс заключался в том, что необходимым условием этого являлась формальная анонимность высказывания...

[35] «Отголоски» в 1881 году // Отголоски. 1880. № 52. 28 декабря. С. 837—838.
[36] *Чернуха В.Г.* Правительственная политика в отношении печати. С. 113.

Едва ли Валуев всерьёз мог рассчитывать на то, что «Отголоски» окажут существенное влияние на общественное мнение. Если же у него и имелись какие-то иллюзии на сей счёт, то они быстро исчезли. Впрочем, его, похоже, вполне устраивало то, что газета стояла несколько особняком от других изданий. «Наши взгляды не разделяются, — констатировал он в конце июля 1879 г., характеризуя отношение русской печати к “Отголоскам”. — Наше направление признаётся несоответствующим общественным пользам. На нас возлагают косвенную ответственность за отзывы иностранных газет, и по этому поводу даже сочли нужным заметить, что у нас не много подписчиков. Это замечание совершенно справедливо. Круг наших читателей ограничен; но мы и не предполагали, что он будет обширен...»[37].

Подобное положение Валуев объяснял не только тем, что «еженедельная газета всегда отстаёт от событий дня, не может заменять собою никакой другой, ежедневно выходящей газеты, и только пользуется, наравне с другими, правом высказывать свои мнения». По его мнению, «Отголоски» чуть ли не изначально были обречены на непопулярность: «Мы однажды сказали, что считаем себя отголосками тех по преимуществу мнений, которые обыкновенно не проникают в печать, а представители таких мнений вообще не могут рассчитывать, по крайней мере на первых порах, на большое число подписчиков и читателей... Легко вторить распространённым в общественной среде предубеждениям, односторонним толкам, неопределённым сетованиям, ожиданиям и желаниям. Трудною и неблагодарною задачей бывает, наоборот, защита мнений, несоответствующих таким желаниям, ожиданиям, сетованиям, толкам и предубеждениям. У нас, в особенности, исполнение этой задачи затрудняется привычкою не столько возражать противнику, сколько его обвинять...»[38].

При этом, выступая против распространённых толков и предубеждений, Валуев и за другими изданиями не признавал права на выражение устойчивых общественных интересов: «Положение русской периодической печати имеет особенности, — отмечал он, рассуждая об освещении в прессе международных отношений, — которых иностранцы могут не оценивать со всею желательною точностью, но которые нам самим должны быть известны и нами могут быть сознаваемы. У нас нет политических партий. Всякая газета и всякий журнал суть представители мнений нескольких, а не многих. Они органы известных издателей и редакторов, при участии групп более или менее известных

[37] Характеристика нашей современной печати // Отголоски. 1879. № 29. 22 июля. С. 459.

[38] Там же.

или неизвестных сотрудников, но не органы постоянных, сплочённых и сознанною общностью взглядов и интересов связанных отделов, или слоёв нашей общественной среды»[39]. Валуев напоминал, что «за ними никого нет, кроме их читателей», число которых «может быть более или менее велико» в зависимости от настроений публики, талантов редакции и её «умения выражать те или другие оттенки общественных мнений и своевременно затрагивать те или другие вопросы». Но, во всяком случае, «обращаясь к читателям, печать не может говорить именем тех разрозненных единиц, к которым она обращается, и не может считать себя уполномоченным представителем их мнений»[40].

Тем не менее Валуеву приходилось вновь и вновь сталкиваться с тем, что «печать не только говорит для многих, но и говорит именем многих, и часто говорит за многих»[41]. Уже в октябре 1879 г. он вынужден признать, что «в ней должно отражаться, более или менее полно, настроение общественной среды, к которой она обращается»: «Она рассчитывает на восприимчивость читателей, а восприимчивость зависит, в известной мере, от данного настроения. Оно может быть ошибочным, односторонним; но оно есть. Печать может поддерживать, распространять и усиливать это настроение, даже исподволь его подготовлять или возбуждать, при помощи благоприятных тому обстоятельств; но она не может создавать его произвольно, без такой помощи»[42].

Валуев охотно соглашался с тем, что «призвание печати, направляемой к общеполезным целям, состоит в верной хронике современных явлений и событий, верном изображении тех впечатлений, которые ими производятся, верном отражении господствующих в общественной среде понятий, мнений, желаний и стремлений, и в том логическом труде, который имеет целью определять значение событий, объяснять, по возможности, их причины, взаимную связь и последовательность, подвергать разностороннему обсуждению беспрерывно возникающие в жизни государств и народов вопросы, собирать и сопоставлять относящиеся до них сведения и, наконец, передавать на суд читателя те или другие выводы, заключения или предположения»[43]. Однако воплощение этого, довольно наивного и отвлечённого идеала в России представлялось ему по-прежнему крайне сомнительным, поскольку «общественное мнение, в европейском значении

[39] Отношение нашей печати к делам внешней политики // Отголоски. 1879. № 20. 20 мая. С. 317.
[40] Там же.
[41] О пользе правительственных сообщений путём печати // Отголоски. 1879. № 43. 28 октября. С. 713.
[42] Там же.
[43] Там же.

этого слова, не имеет у нас определённых органов, которые могли бы служить поверочным, уравнивающим и отчасти руководящим элементом при обсуждении общественных дел»[44]. Так витиевато и туманно, но — публично Валуев напоминал осенью 1879 г. о своих проектах создания представительных учреждений.

Пока же для того, чтобы руководить печатью, различным государственным деятелям и учреждениям следовало поддерживать с нею более тесные отношения. «Правительство знает многое, чего не знают частные лица, — писал Пётр Александрович, — и многое знает лучше их, несмотря на все популярные фразы насчёт казённого неведения местных условий и потребностей страны и неверности казённых сведений вообще. Нам кажется, что кроме того наблюдательного и сдерживающего участия в делах печати, которое предоставлено главному управлению по этой части, правительство могло бы с большою пользою принять в этих делах и другое, воспособляющее и наставляющее участие, чаще и полнее высказываясь по тем предметам, фактам или вопросам, на которых в то или другое время сосредоточивается внимание общественной среды»[45]. В чём-то схожую задачу решали и «Отголоски», часто — хотя и без особого успеха и резонанса — знакомившие читателей с данными, имевшимися в Министерстве государственных имуществ.

Валуев неоднократно пытался повлиять на публицистические приёмы пореформенной печати, искренне возмущаясь её грубостью и беззастенчивостью. Он не раз с гордостью отмечал, что «Отголоски» отличаются «менее обильным словарём эпитетов, чем большинство наших противников»: «Мы никому не приписываем ни “клеветы”, ни “лжи”, ни “доносов”, ни “холопства”, ни “подтасовки фактов”, ни “фабрикации или утайки телеграмм”, ни “отсутствия здравого смысла”, ни даже “недостатка в гимназических познаниях”. Все эти выражения нами буквально заимствованы из нескольких, весьма распространённых газет. Мы могли бы подвести цитаты; но мы стараемся только тогда цитировать определительно, когда можем вторить, а здесь вторить мы не намерены. Предоставляем другим объяснять ту солидарность русской печати, которая может существовать при таком обмене взаимных оценок»[46].

Не без раздражения Валуев писал в начале 1880 г. о том, что «ложные известия с неимоверной лёгкостью распространяются в нашей общественной среде» и «даже наши большие газеты, старательно при-

[44] Там же.
[45] Там же. С. 714.
[46] Характеристика нашей современной печати // Отголоски. 1879. № 29. 22 июля. С. 459.

искивающие себе надёжных корреспондентов, по-видимому, не имеют большой удачи в своих поисках». В подтверждение этого он ссылался на то, что только в 1879 г. МВД опубликовало в «Правительственном вестнике» 31 опровержение «неверных известий»[47]. Несколько месяцев спустя Валуев даже подготовил развёрнутую статью «О требованиях достоверности при ссылках на исторические и современные факты»[48].

Особенно его возмущало бесцеремонное обращение журналистов с вопросами внешней политики. Ему казалось странным, что «мы вообще отзываемся о чужих делах с большею решительностью и даже резкостью, чем о наших собственных»[49]. «Нас приводит в недоумение постоянно раздражённый и раздражительный тон нашей печати по делам иностранной политики, — признавался он летом 1879 г. — Мы не имеем наклонности к беспрерывным сетованиям и нареканиям и не находим повода к ним в каждой из-за границы получаемой телеграмме или приходящей почте. Мы затрудняемся понять, почему другие так часто обнаруживают эту наклонность, так часто находят эти поводы и так расположены считать себя как будто всегда в обиде, во всем видеть враждебные действия или распознавать враждебные замыслы, и постоянно приурочивать такого рода впечатления к какому-нибудь громкому имени, сегодня к имени князя Бисмарка, завтра к имени графа Андраши, послезавтра к имени лорда Биконсфилда?». «Какую пользу, — вопрошал Валуев, — может приносить беспрерывное возбуждение русских читателей против иностранных правительств, а иностранных читателей против русской печати? Или мало, по сю сторону границы, легковерной податливости, — а по ту сторону у нас мало недоброжелателей?»[50]. Критическая односторонность российской публицистики, по мнению Валуева, лишь облегчала задачу той части зарубежной прессы, которая занималась систематическим распространением ложных сведений о положении дел в России[51].

Со своей стороны, П.А. Валуев не упускал случая комплиментарно отзываться в «Отголосках» и о кн. О. фон Бисмарке, и о Б. Андраши, и даже о французских республиканцах, за исключением радикалов, вызывавших у него чувства ужаса и неприязни[52].

---

[47] Относительно распространения ложных слухов // Отголоски. 1880. № 7. 17 февраля. С. 99.

[48] Отголоски. 1880 № 21. 25 мая. С. 322—324.

[49] Отношение нашей печати к делам внешней политики // Отголоски. 1879. № 20. 20 мая. С. 317.

[50] Наша печать и иностранная политика // Отголоски. 1879. № 30. 29 июля. С. 475.

[51] Отзывы заграничных газет о России // Отголоски. 1879. № 45. 11 ноября. С. 745.

[52] См., в частности, отзыв о Ж. Клемансо: Политическое обозрение // Отголоски. 1879. № 9. 4 марта. С. 141.

Несдержанность и небрежность русской печати воспринимались Валуевым как признак её незрелости, исключавшей дальнейшее расширение свободы слова. На этом Валуев настаивал даже после заметной либерализации цензурной политики весной 1880 г. «Мы знаем, что печатное слово не пользуется у нас полною свободой, — решительно заявлял Валуев на страницах “Отголосков”, — но мы думаем, что оно ею теперь и не может пользоваться. Мы думаем, что при данном государственном и общественном строе России нет правильного основания желать закона более льготного, и ожидать более льготного его применения... Нельзя открывать слишком широких путей всем возможным недоразумениям и заблуждениям». По мнению Валуева, ни пресса, ни общество (особенно — широкие его слои) не были готовы к большей свободе: «Подготовка пишущих и читающих слишком неодинакова. Гражданские и общественные нравы ещё не стоят на том уровне, на котором в них самих заключается залог противодействия вредным увлечениям печати. С одной стороны, слишком много неразборчивой впечатлительности и восприимчивости; с другой, не всем мнениям дана и обеспечена одинаковая возможность высказываться»[53]. «Но из того, что печатному слову указаны известные границы, ещё не следует, чтобы в этих границах ему не было предоставлено достаточного простора для оценки событий и обсуждения вопросов дня, — полагал высокопоставленный публицист. — Опыт наглядно доказывает существование этого простора. Мы сами им пользуемся, и нам кажется, что при других данных условиях мы не могли бы им шире пользоваться даже в том случае, если бы по этой части был издан какой-нибудь общий закон, и если бы вовсе не существовало нынешнего главного управления по делам печати»[54].

Самоцензура рассматривалась Валуевым не как насилие над собой, но как проявление ума и такта. «Можно иногда не высказываться не потому, что говорить не дозволено, — признавался он, — а потому, что говорить неудобно»[55]. «Те неудобства, которые мы разумеем, — пояснял Валуев 15 июня, — не зависят от законов о печати»[56]. «Мы часто слышим сетования насчёт положения нашей печати, — писал он в передовице 27 апреля. — ...Самый закон о печати вообще считается стеснительным, и не менее стеснительными признаются изданные в разное время дополнительные к нему постановления. С другой стороны, нам приходилось слышать нередко и то замечание, что, следя за

[53] Положение нашей периодической печати // Отголоски. 1880. № 17. 27 апреля. С. 257.
[54] Там же.
[55] Там же.
[56] Положение русской печати // Отголоски. 1880. № 24. 15 июня. С. 369.

отзывами нашей периодической прессы по самым разнородным предметам и наблюдая за её общим направлением, трудно дать себе общий отчёт в том, чем именно она стесняется или стеснена». Указывая на то, что в 1879 г. последовало лишь 24 предостережения и взыскания (коснувшихся 15 изданий), Валуев заключал, что «ни число этих мер, ни свойство их не подтверждают... предположений насчёт чрезвычайной строгости Главного управления по делам печати и крайне стеснительного положения нашей прессы»[57].

Как полагал Пётр Александрович, «в наш век дарвинизма и эволюционизма, симпатических отзывов о г. Гамбетте, законе г. Ферри и английских радикалах, в век неразборчивого глумления над всем тем, что принято называть бюрократией, при установившейся привычке соединять со всякою привязанностью какую-нибудь ненависть и считать всякую нивелировку способом единения, при постоянной конкуренции в деле возбуждения читального интереса и доказательства независимости своих воззрений и, наконец, при той торопливости, с которою в наше время приходится вести периодическую печать, весьма естественно могут проскользать, от времени до времени, в том или другом направлении, статьи, которые по содержанию или по форме должны остановить на себе внимание Главного управления и вызвать, с его стороны, принятие соответствующих мер». «Нам кажется, — добавлял он, — что если в обеих столицах такие случаи встречаются не более двадцати четырёх раз в течение целого года, — то едва ли есть прямой повод сетовать на положение нашей печати»[58].

Валуев считал естественным, что «в стране, где нет политических партий, где потому нет взаимно уравновешивающихся органов печати, и где вся периодическая пресса, потому же самому склонна принимать оппозиционный оттенок, — необходим прямой над нею правительственный контроль»[59]. Однако значение этой оппозиционности он не склонен был переоценивать. «Круг общественных дел имеет сходство с постоянною выставкой и бесконечною повестью, — утверждал Пётр Александрович весной 1880 г. — В нём критика сохраняет свои обычные свойства, но принимает, вдобавок, личный оттенок и помнит только то, о чём ей вспоминать удобно. Она хвалит сегодня то, что осуждала вчера и, быть может, осудит завтра. Она защищает начала, наносящие опытом доказанный вред, и приписывает этот вред другим причинам, или смело утверждает, что он происходит

[57] Положение нашей периодической печати // Отголоски. 1880. № 17. 27 апреля. С. 257.
[58] Там же. С. 258.
[59] Положение русской печати // Отголоски. 1880. № 24. 15 июня. С. 371.

только от того, что вредному началу ещё не дано достаточно простора. Она намечает цели, не заботясь о том, какие средства даны для достижения целей, постоянно ищет ответчиков за неудобства или невзгоды минуты, и набрасывает личные ярлыки на сложные связи современных обстоятельств и предшедших событий. Она также имеет записных вожаков и условные авторитеты»[60]. «Податливое большинство часто подчиняется её приговорам, — признавал Валуев, — но если бы это большинство ближе всмотрелось в логику критик и в обычные приёмы самих критиков, то оно могло бы заметить, что самые строгие из них принадлежат именно к числу тех, кто прежде не имел успеха, или в данную минуту не успевает»[61].

В целом, состояние общественной жизни России не раз характеризовалось в «Отголосках» самым нелицеприятным образом. «Мы жалуемся на недосуг, — делился своими наблюдениями с читателями Пётр Александрович. — Мы часто сознаёмся, что не успеваем исполнить то или другое, нами задуманное. Мы почти всегда говорим и действуем торопливо, куда-то спешим, чем-то озабочены, после чего-то утомлены. Но внешние явления общественной жизни не объясняют нашего недосуга и не оправдывают нашей торопливости. Мы производим как-то мало, в особенности не многое доделываем, и результаты наших усилий не соответствуют видимому или кажущемуся напряжению наших сил...»[62]. «Трудно приискать предмет, которым бы, в нынешнее время, не занималась какая-нибудь комиссия..., — не без грустной иронии отмечал он. — ...Мы вообще бойко начинаем, особливо когда дело сопряжено с критикой и ломкой того, что существует. Но пыль проходит после истощения критики и довершения ломки. Мы строим медленно и достраиваем ещё медленнее. Мы както легко миримся с бескровельными постройками и с внутренними недостатками построек, которые нами самими возведены. Исправлять такие постройки мы считаем особенно неудобным. Нас тешат прибитые к ним вывески, и нам кажется, что исправление ошибок равносильно снятию вывесок. Мы чувствуем себя усталыми для доделочной или переделочной работы и даже склонны прикрывать наше нерасположение к такой работе прямым отрицанием очевидных и ежедневным опытом подтверждаемых неудобств. Мысли и воля как будто оживляются только при обращении к новому предмету, или при обрисовании новой задачи...»[63].

[60] О свойствах современной критики // Отголоски. 1880. № 12. 23 марта. С. 178.
[61] Там же.
[62] Характеристика направления в деятельности наших общественных сил // Отголоски. 1879. № 21. 27 мая. С. 333.
[63] Там же. С. 334.

Всё это Валуев считал следствием «нерасчётливого утомления сил». «Признаки этого утомления, — полагал Пётр Александрович, — почти во всём и везде видны». «Совещательный пошиб, — писал он, — составляет отличительную черту нашего века. Совещательные приёмы сопровождают все виды политической и общественной деятельности. Вся Европа представляет арену нескончаемых или беспрерывно возобновляющихся совещаний. Везде заседают парламенты, сеймы, сословные собрания, парламентские партии и фракции, комиссии постоянные и временные, общества, преследующие самые разнообразные цели, съезды, составленные из представителей специальных наук, или отраслей промышленности; и рядом с ними везде раздаётся голос прессы, самостоятельно обсуждающей вопросы дня и вопросы будущего, и кроме того, передающей во всеобщую известность всё, что происходит и говорится в среде парламентов, сеймов, собраний, партий, комиссий, обществ и съездов»[64]. При этом специфика России виделась Валуеву не в отсутствии подобных учреждений и форм. Напротив, он указывал на то, что «совещательное начало и у нас в большом ходу». Однако «число лиц, участвующих в совещательных трудах, не так значительно, как в других государствах»: «Те классы населения, которые по своему образованию преимущественно должны призываться к таким трудам, относительно малолюднее, и потому на каждого участника может ложиться двойное и тройное бремя. В других странах редко встречаются лица, одновременно состоящие членами двух или трёх комиссий. У нас это составляет обыденное явление, и круг участия одного и того же лица в трудах других лиц часто бывает ещё гораздо обширнее. Весьма естественно, что при таких условиях невольно умаляются отдельные доли труда в общем деле, скорее утомляются отдельные силы и, наоборот, увеличиваются неудобства, всегда более или менее свойственные совещательным занятиям»[65]. «Не странно ли, — недоумевал Валуев, — что мы почти всегда стоим за начало самоуправления и почти всегда недовольны его результатами?»[66]. «Нам кажется, — заключал он, — что мы вообще привлекаем к каждому делу слишком большое число участников, неверно проводим границу между делами, в которых возможно постоянное участие многих, и делами, в которых оно невозможно, и в особенности неверно оцениваем различие между производительностью единоличного и производительностью собирательного труда»[67].

[64] Там же. С. 333.
[65] Там же.
[66] Там же. С. 334.
[67] Там же.

Подобный вывод звучал несколько туманно и отвлечённо, и едва ли мог быть понят обычным читателем газеты, не посвящённым в валуевские замыслы 1860-х гг. Тем не менее со временем идея необходимости «доделочной или переделочной работы» и поиска новых «сил», взамен усталых деятелей многочисленных комиссий, становится своего рода лейтмотивом «Отголосков». В своих статьях Пётр Александрович вновь и вновь возвращался к мысли о пересмотре правительственной политики 1860—1870-х гг. После покушения А.К. Соловьёва на Александра II П.А. Валуев прямо солидаризировался со своим давним антагонистом М.Н. Катковым, заявив: «Задача правительства, по верному замечанию “Московских ведомостей”, состоит не в том, чтобы обрывать листья, а в том, чтобы раскрыть и раздавить корень зла, гнездящегося в нашей общественной среде»[68]. «Нам нужно усилие воли, чтобы оглянуться назад, — убеждал он читателей в следующей же статье, — и другое, умственное усилие, чтобы измерить путь, пройденный нами в минувшие десять, пятнадцать или двадцать лет. Сравнивая Россию конца пятидесятых годов с Россией конца семидесятых, мы сознаём, что в ней почти всё переменилось, почти ничто не осталось не затронутым. Созданы новые условия и формы; возникли и возбуждены новые силы; взаимодействие этих условий, форм и сил видится и чувствуется на каждом шагу, и вместе с тем, чувствуется, что формы ещё не окрепли, силы не уравновесились, что чего-то недостаёт, и что внутреннее перерождение ещё продолжается[69]. «После пятнадцатилетних удостоверений в обновлении России, — иронизировал Валуев в июле, — мы недавно прочитали, в одной из руководящих газет, что нам “необходима общая дружная обновительная работа для блага родного края”. И так опять обновление, и обновление обновлённого! Не пора ли призадуматься над причинами и неудобствами беспрерывных перевершений?»[70].

Резче всего свою позицию Валуев выразил в начале октября 1879 г., размышляя об изменении политики Бисмарка в 1878—1879 гг. «Теперь, — писал он, — газеты говорят, о торжестве реакционной политики. Что значит реакционная политика? Разве тот порядок вещей, который под конец привёл к необходимости издания октябрьских законов против социализма, мог оставаться неизменным, и соответствовавшее ему направление бесповоротным? Поворот никогда не имеет, в государственных делах, значение простого шага назад. Он

[68] По поводу события 2 апреля // Отголоски. 1879. № 14. 8 апреля. С. 222.
[69] Одна из нравственных сил // Там же.
[70] Характеристика нашей современной печати // Отголоски. 1879. № 29. 22 июля. С. 460.

обозначает перемену в предпоставленных целях или в выборе средств к достижению целей. Опыт часто указывает на необходимость таких перемен, а когда необходимость указана, ошибкою бывают не новое направление и новые способы действия, но упорство в сохранении прежних»[71]. Аналогия с Россией, где действовали чрезвычайные законы против террористов, напрашивалась сама собой. «...Деревья познаются по их плодам, начала по их последствиям, направления по конечным целям, — указывал Валуев в ноябре 1879 г. после того, как народовольцы попытались взорвать царский поезд под Москвой. — Мы обязаны оглянуться на прожитые нами годы и проверить самих себя и то, что нами было сделано. Мы должны вспомнить, какие понятия насаждались в окружающей нас среде, какие начала господствовали, какие цели преобладали, чьи голоса брали верх и чьи были заглушаемы. Мы видим, что посреди добрых семян выросли и разрослись плевелы. Нам нужно знать, под какою личиной и во имя какого доброго семени эти сеялись»[72].

В своих статьях в «Отголосках» Валуев постепенно очерчивал основные задачи и направления той «реакционной политики», в которой, по его мнению, нуждалась Россия. Помимо строгого преследования злоумышленников, их пособников и «укрывателей», а также усиления и облегчения деятельности полиции (расширение штатов, увеличение содержания, обучение полицейских чинов, снабжение их толковыми инструкциями при сокращении делопроизводства, обеспечение их служебного и социального положения и проч.[73]) она включала целый ряд мер, не раз указывавшихся и отстаивавшихся Валуевым в 1860—1870-е гг. В частности, он вновь настаивал на том, что правительству следует внимательнее относиться к нуждам православного духовенства, поддерживать влияние Церкви на народное образование, быть снисходительнее к консервативно настроенным и лояльным к власти старообрядцам и инославным конфессиям[74].

Решительно высказывался он и в пользу значительного смягчения и принципиального пересмотра политики на западных окраинах

---

[71] Результат избирательной борьбы в Пруссии // Отголоски. 1879. № 40. 7 октября. С. 666. Осенью 1879 г. в новом прусском ландтаге, по словам Валуева, «от партий движения, нападений и ломки перевес перешёл к партиям отпора и охраны» (Там же. С. 665).

[72] По поводу злодейского замысла 19 ноября // Отголоски. 1879. № 47. 25 ноября. С. 777.

[73] О покушении на жизнь генерал-адъютанта Дрентельна // Отголоски. 1879. № 11. 18 марта. С. 173; Потребность улучшения условий полицейской стражи // Отголоски. 1879. № 48. 2 декабря. С. 493—495.

[74] Подробнее см.: *Мамонов А.В.* «Одна из нравственных сил»: вера в публицистике П.А. Валуева (1879—1880) // Богословский сборник. Вып. X. М., 2002. С. 242—258.

империи, почти не затронутых революционным движением в конце 1870-х гг. Валуев категорически возражал против звучавших в печати (прежде всего в «Московских ведомостях») обвинений «относительно особого участия в социально-революционных замыслах и злодействах, приписанного польским подданным Всероссийского государя и польским гражданам Всероссийской империи». Ссылаясь на политические процессы 1870-х гг., а также на то, что в апреле 1879 г. виленскому генерал-губернатору (в отличие от московского, киевского и временных петербургского, харьковского и одесского) не были предоставлены чрезвычайные полномочия, Пётр Александрович заявлял: «Мы предпочитаем почву, на которой, вместо начал разделения и розни, мы встречаемся с началами единения, общих усилий, общих жертв и общих подвигов. Мы напомним о недавно оконченной победоносной войне. На всех полях сражений, где новою славою покрылись наши знамёна, под этими знамёнами были в огне, рядом с русскими офицерами и солдатами, офицеры и солдаты, принадлежавшие, по происхождению, к разным окраинам империи. В списках раненых и павших везде встречались, рядом с русскими именами, кавказские, остзейские, финляндские и польские имена. Поляки, пролившие свою кровь за честь и славу России на тех полях, от Дуная и Плевны до Балканов, от Ардагана и Карса до Эрзерума, заслужили, чтобы на их соотчичей не возводились, произвольно, бездоказательные обвинения»[75].

Не меньшее негодование вызывала у него и «хроническая односторонность взгляда» российской печати на «дела наших прибалтийских губерний», при которой «всё сводится к желанию более или менее радикальных перемен». Валуев, напротив, призывал дорожить традициями и особенностями края. «Что же касается до привычек, до привязанностей, до веры в то, что принесло пользу и освящено опытом и до некоторых опасений в отношении к тому, что опытом ещё не изведано, то такие чувства слишком естественны, — полагал Пётр Александрович, — чтобы к ним не относиться с некоторою бережливостью и даже чтобы не признавать за ними бесспорной цены. Гражданские нравы создаются такими чувствами и на них опираются. Лишь тот может ценить настоящее и считать себя подготовленным к будущему, кто умел дорожить прошлым»[76].

При этом в газете он весьма оптимистично изображал характер и перспективы взаимоотношений центра и окраин империи. Как

[75] Необходимость в принятии чрезвычайных мер // Отголоски. 1879. № 16. 22 апреля. С. 253.

[76] О Прибалтийском крае // Отголоски. 1879. № 33. 19 августа. С. 523—524.

ему представлялось, «в истории постепенного разрастания русского государства отражаются общие законы тяготения меньших масс к большей и притягательного воздействия плотных тел на тела менее плотные»: «Около массивного однородного центра улеглись, одна за другою, менее однородные оболочки». А потому «те же самые силы, которые их привлекли и закрепили, то же самое действие времени, которое способствовало их привлечению и закреплению, должны постепенно сглаживать взаимные различия и заменять внешнюю связь внутренним единением». «Странно, — удивлялся Валуев, — что часто мы сами как будто не доверяем своим силам и пренебрегаем союзною помощью времени. Исторические процессы не могут быть насильственно сокращаемы. Задача государственного центра, по отношению к окраинам, явно состоит в упразднении центробежных и в развитии центростремительных сил. Развитию таких сил не способствуют отталкивающие приёмы»[77].

Но так или иначе Валуев осознавал, что прочность положения империи определяется прежде всего силой и «плотностью» её центра. Именно поэтому наиболее важным ему представлялся пересмотр правительственной политики в деревне. Валуев исходил из того, что «сельскохозяйственная промышленность имеет первенствующее значение для нашего отечества»: «Она представляет поистине “жизненный узел” нашего народно-хозяйственного организма; в ней источник нашей экономической силы, в развитии её — залог нашего движения вперёд. Чем полнее и обильнее будет течь этот источник, тем более выиграют и интересы государственные, и богатство народное. Вот почему всё то, что может дать толчок к поднятию сельского хозяйства, заслуживает особого внимания правительства»[78]. При этом Валуев с сожалением отмечал, что «у нас вообще не придают достаточного значения той производительной силе, которая заключается в частных хозяйствах средних размеров, и в особенности в тех хозяйствах, на которых сосредоточивается личная и потомственная заботливость вотчинного хозяина»[79]. Именно этим хозяйствам Валуев придавал «особое и весьма важное значение» «в общем экономическом и гражданском строе страны»[80]. «...Такие хозяйства, — полагал Пётр Александрович, — не требуют слишком значительных оборотных капита-

[77] Необходимость в принятии чрезвычайных мер // Отголоски. 1879. № 16. 22 апреля. С. 253—254.

[78] Мелкие винокуренные заводы и сельское хозяйство // Отголоски. 1879. № 10. 11 марта. С. 160.

[79] Одна из экономических сил // Отголоски. 1879. № 15. 15 апреля. С. 238.

[80] Содействие Министерства финансов земледелию и сельскому хозяйству // Отголоски. 1879. № 35. 2 сентября. С. 555.

лов, но и не лишены той вспомогательной силы, которая заключается в известном запасе денежных средств, дающих возможность вводить самонужнейшие улучшения и разнообразить эксплуатационную систему хозяйства. С такими средствами большею частью соединяется и высший уровень сельскохозяйственных сведений и преемственность сельскохозяйственной деятельности»[81].

Обширные имения рассматривались Валуевым как редкое, чуть ли не экзотическое явление. В будущность же крестьянского хозяйства он и вовсе не верил. «Крестьянское хозяйство, — утверждал он в "Отголосках", — при всей своей кажущейся дешевизне, потому что в нём труд не принимается в расчёт, не может ни совершенствоваться, ни быть усиленно производительным. Общее пользование землёю, переделы и шаткость отдельных домохозяйств противупоставляют тому непреодолимые преграды»[82]. Выступая против организации льготного кредита для покупки земли крестьянами, Валуев не сомневался в том, что «с точки зрения общих интересов земледельческой производительности, нет повода поощрять расширение общинного землевладения», поскольку «данное пространство земли всегда будет производить более в руках частного владельца, чем в руках общины, которая властна переделять угодья между своими членами, и в среде которой всегда будут находиться члены маломощные или нерадивые, неспособные извлекать из земли возможные для других выгоды»[83]. «Между тем, — напоминал Пётр Александрович, — извлечение этих выгод составляет общественный и государственный интерес, несогласимый с желанием, чтобы сделались невыгодными добровольные и были предупреждены вынужденные переуступки земель»[84].

При общинном землевладении, констатировал Валуев, «понятие о крестьянине-собственнике есть неизбежная законодательная фикция». Но и тогда, когда приобретаемые крестьянами земли «становятся частною, а не общинною собственностью», крестьянское хозяйство устойчиво, лишь будучи многосемейным. При неизбежном же семейном разделе оно распадается на несколько одиноких дворов, каждый из которых, при неблагоприятной случайности, рискует оказаться маломощным[85].

Весьма велики были, по мнению Валуева, и непроизводительные затраты крестьян. Так, определяя размер прямых налогов и питейных сборов на душу населения (1 руб. 6 коп. и 3 руб. 75 коп. соответственно), Валуев отмечал, что в 1876 г. среди европейских держав «Россия

[81] Там же.
[82] Там же. С. 555—556.
[83] О крестьянском кредите // Отголоски. 1879. № 2. 14 января. С. 29.
[84] Там же.
[85] Там же. С. 28.

занимает последнее место по значительности обложения прямыми налогами, и первое по значительности питейных платежей». «...При этом, — добавлял он, — следует заметить, что цифра поступающего в казну питейного дохода ещё не обозначает всей цифры действительных платежей населения по этой статье. Вся прибыль того класса торговцев, который промышляет раздробительною продажей питей, составляет добавочный сбор с населения...»[86]. «Питейный доход, — полагал Валуев, — доказывает обилие наличных платёжных средств, и доказывает его тем неопровержимее, что господствующий у нас неравномерный, неправильный и злоупотребительный способ потребления крепких напитков неизбежно сопровождается гибельною растратою времени и сил, которые могли бы быть обращены на производительный труд»[87].

Повышенный интерес правительства и общества к положению крестьянства в 1860—1870-е гг. представлялся Валуеву неоправданным и даже опасным. «Нельзя насиловать естественного хода вещей и водворять или распространять благосостояние в народе непрактическими искусственными мерами», — предостерегал он в январе 1879 г.[88] Год спустя, характеризуя заботу образованного меньшинства «о менее обеспеченном и менее довольном большинстве», он вновь писал о том, что «опасно возбуждать или поощрять неосуществимые надежды и ожидания»[89]. Ещё сильнее Валуева беспокоило то, что благосостояние крестьян будет «искусственно» улучшаться за счёт и в ущерб землевладельцам средней руки, к которым он упорно пытался привлечь внимание правительства. «Русский помещик как-то не популярен в мире наших экономических теорий, — сетовал Пётр Александрович. — Он и в других общественных кругах не пользуется, по-видимому, особым расположением. Он как будто в чём-то провинился и потому не возбуждает тех попечительных симпатий, которые в наш век довольно щедро расточаются на разные стороны»[90]. Собственно намеченная Валуевым «реакционная политика» и должна была изменить правительственный курс в интересах русских помещиков, которым, в свою очередь, предстояло бы обеспечить экономическое и общественное развитие страны.

Одной из мер в этом направлении должно было стать преобразование местного самоуправления, при котором основным звеном

[86] Прямые налоги и питейно-акцизный сбор // Отголоски. 1880. № 10. 9 марта. С. 146.
[87] Государственная роспись на 1880 год // Отголоски. 1880. № 3. 20 января. С. 35.
[88] О крестьянском кредите // Отголоски. 1879. № 2. 14 января. С. 29.
[89] Современные стремления и задачи // Отголоски. 1880. № 2. 13 января. С. 18.
[90] Одна из экономических сил // Отголоски. 1879. № 15. 15 апреля. С. 238.

«земской жизни» становились бы уже не губерния и уезд, а «всесословная» или «территориальная» волость (или «выть»). «При отмене крепостного права, — напоминал Валуев, — было признано желательным оградить, по возможности, от посторонних влияний внутренний быт призываемых к гражданской самостоятельности крестьянских обществ... Возведение народных масс, с одного раза, на степень полноправного гражданства предоставило их своим собственным силам и порвало прежние связи с внешними нравственными силами, под влиянием которых они находились в продолжение столетий. От самой полной, во всех отношениях, подчинённости и зависимости, крестьяне перешли к самоуправлению в таких широких размерах, какие никогда не были предоставлены так называвшимся привилегированным сословиям, и какие ныне не присвоены самоуправлению земства, которое есть совокупность всех сословий. С тем ограждением от посторонних влияний... крестьяне ограждались, во многих случаях, и от полезного для них участия и наставительного руководства»[91]. Валуев с середины 1860-х гг. безуспешно стремился обеспечить «сближение крестьянских властей с более образованными элементами местного населения»[92]. В 1880 г. он вновь вернулся к этой теме в «Отголосках». На практике это означало допущение помещиков к посту волостного старшины или к аналогичной распорядительной должности на территории выти. Это действительно приблизило бы органы самоуправления к населению и его нуждам. Но одновременно землевладельцы становились бы фактически полновластными (в отсутствие иных властей) хозяевами на местах. Не в этом ли должны были воплотиться те преимущества «единоличного труда», о которых Валуев туманно рассуждал весной 1879 г.?

Другим средством обеспечить позиции и влияние «средних землевладельцев» являлся знаменитый проект создания при Государственном совете Съезда государственных гласных, составленный Валуевым в 1863 г. и повторно обсуждавшийся в правительственных сферах зимой 1879/80 гг. И хотя проект снова не встретил сочувствия, его автор не сомневался, что к нему ещё предстоит вернуться. В то же самое время Валуев вовсе не сочувствовал привлечению к законосовещательной деятельности широких слоёв русского общества. Напротив, чрезмерная демократизация избирательного права представлялась ему неуместной даже в Англии. «Колебания в настроении масс не подчинены точным законам, — отмечал он в марте 1880 г. по

[91] О развитии начатков земской жизни // Отголоски. 1879. № 14. 6 апреля. С. 209—210.

[92] Там же. С. 210.

случаю поражения на выборах британских консерваторов. — В особенности трудно подмечать и с некоторою достоверностью предопределять ту степень податливости в известную минуту, тот наклон или готовность к наклону в ту или другую сторону, от которых зависит окончательный результат всеобщей электоральной борьбы... Где голоса считаются сотнями тысяч, там доводы, основанные на толковании Берлинского трактата, или на определении научной границы Индии, не могут иметь общедоступного значения. Впрочем, и доводы противной стороны не слишком понятны для масс»[93].

В условиях «постоянного стремления расширять базис народного представительства» английская избирательная практика, по мнению Валуева, свидетельствовала о том, что «чем шире этот базис, тем крупнее становится та доля законодательной фикции, которая неразлучно сопряжена... со всеми системами выборных представительств»[94]. «Сознательное участие масс в делах государственного управления, — утверждал Валуев, — возможно только в отношении к некоторым видам дел и в некоторых, в форме определительного вопроса представляющихся, случаях. Во всех других случаях и по всем другим делам участие бессознательно. Оно тогда имеет свойство бланковой доверенности, данной выборным представителям масс»[95]. «Но доверие, предоставляющее такую доверенность, — рассуждал Валуев, — должно быть на чём-нибудь основано и чем-нибудь приобретено. Здесь, в свою очередь, обнаруживаются разные степени сознательности и бессознательности. Некоторым лицам, более других известным своими дарованиями, свойствами, действиями или образом мыслей, доверие может принадлежать, так сказать, по праву; другими оно снискивается испрашивается, или даже выманивается»[96]. Пример британских избирателей убеждал Валуева в том, что «чем сплочённее их органическое устройство, чем теснее и однороднее их круг, на почве сословий или на почве общих местных интересов, тем прочнее может быть их гражданское или даже политическое настроение» и «тем более последовательности в выборе своих представителей». «Наоборот, — писал он, — чем шире или, так сказать, расплывчатее избирательный базис, чем слабее внутренние органические связи, чем многочисленнее состав избирателей, одним словом, чем ближе выборная система подходит к началам определённого арифме-

[93] Результат парламентских выборов в Англии // Отголоски. 1880. № 13. 30 марта. С. 194—195.
[94] О требованиях достоверности при ссылках на исторические и современные факты // Отголоски. 1879. № 21. 25 мая. С. 323.
[95] Там же.
[96] Там же.

тическими приёмами поголовного представительства, тем изменчивее и бессознательнее настроение и выражение воли избирателей»[97]. По-видимому, и Съезд государственных гласных Валуев считал возможным «сознательно» сформировать лишь на основе сравнительно небольшой и сплочённой социальной группы. Не случайно весной 1879 г. он жаловался А.А. Половцову на то, что состав земства чрезмерно демократичен[98].

Таким образом, в 1879—1880 гг. на страницах «Отголосков» П.А.Валуев публично развивал и обосновывал программу той «реакционной политики», которую он упорно отстаивал тогда в своей правительственной деятельности. Газета представляла собой нечто вроде разноплановой пояснительной записки к его замыслам и политическим инициативам, большая часть которых уже выдвигалась им на протяжении 1860—1870-х гг. Не для того ли и было задумано это издание?

Кроме того, роль Валуева в издании «Отголосков» в правительственных сферах не составляла секрета, он получал достаточно редкую для высокопоставленного чиновника возможность — открыто высказываться относительно дел и вопросов, лежавших вне круга его непосредственных должностных полномочий. Формальная анонимность статей позволяла ему избегать обвинений во вторжении в сферу деятельности коллег по правительству, но по существу она ничего не меняла — всем было известно, чьи мнения звучат в «Отголосках». Валуев активно этим пользовался, пространно рассуждая о финансовой и железнодорожной политике[99], бюджете[100], гимназическом образовании и руководителях Министерства народного просвещения[101],

---

[97] Там же.

[98] ГА РФ. Ф. 583. Оп. 1. Д. 14. С. 9—10.

[99] Заметки по вопросу о денежном обращении // Отголоски. 1879. № 5. 4 февраля; № 7. 18 февраля; № 9. 4 марта; № 11. 18 марта; Деятельность особой комиссии по железным дорогам // Там же. № 10. 11 марта; О податной реформе // Там же № 13. 1 апреля; Наши финансовые дела // Там же. № 25. 24 июня; Наши финансовые дела в связи с заграничным курсом // Там же. № 27. 8 июля; Содействие Министерства финансов земледелию и сельскому хозяйству // Там же. № 35. 2 сентября; О положении наших железных дорог // Там же. 1880. № 25. 22 июня; О наших финансах // Там же. № 29. 20 июля; Наше финансовое положение // Там же. № 45. 9 ноября.

[100] Заметки по государственной росписи // Отголоски. 1879. № 4. 28 января; № 6. 11 февраля; № 8. 25 февраля; Государственная роспись на 1880 год // Там же. 1880. № 3. 20 января.

[101] Значение у нас классического и реального образования // Отголоски. 1880. № 5. 3 февраля; Граф Толстой и Министерство народного просвещения // Там же. № 18. 4 мая; По поводу г[осподина] управляющего Министерством народного просвещения // Там же. № 41. 12 октября.

губернаторской власти и местной администрации[102], сенаторских ревизиях[103] и проч. Разумеется, откликался он и на такие события как покушения на императора и государственных деятелей, упразднение III отделения с.е.и.в. канцелярии[104] и т.д. Всё это превращало «Отголоски» в своего рода публичный дневник П.А. Валуева, каким не располагал тогда ни один сановник. Конечно же, он был далеко не столь откровенен и выразителен, как его «интимный» дневник. В «Отголосках» излагались не сокровенные чувства и личные наблюдения, а открыто занимаемые Валуевым в тот или иной момент позиции. Даже стилистически его статьи резко отличались от собственно дневниковых записей своей манерной витиеватостью, насыщенностью, а иногда и туманностью. Всё это как нельзя лучше соответствовало отзывам современников об «официальных» выступлениях Валуева.

В правящих кругах публицистическая деятельность Валуева воспринималась по-разному. Если, к примеру, А.В. Головнин готов был оказывать ей содействие, то министр финансов С.А. Грейг не скрывал недовольства «еретическими воззрениями» и «редким невежеством» статей «Отголосков» «по вопросам финансовым и народного хозяйства»[105]. Были претензии к «Отголоскам» и у Главного управления по делам печати. Так, 29 мая 1879 г. член Совета Главного управления тайный советник В.М. Лазаревский обратил внимание на опубликованную в № 21 «Отголосков» статью «Отношение Финляндии к России». По мнению цензора, «как общий тон статьи, так и отдельные её фразы нельзя не признать, по меньшей мере, нежелательными». Совет постановил «представить об означенной статье на благоусмотрение г. министра внутренних дел». 5 июля Л.С. Маков (в 1860-е гг. служивший при П.А. Валуеве сначала чиновником по особым поручениям, а затем — правителем канцелярии) оставил на журнале Совета резолюцию: «Иметь в виду, а редактору газеты “Отголоски” мною даны будут надлежащие указания»[106]. Объяснялся ли министр

[102] О значении губернаторской власти // Отголоски. 1880. № 22. 1 июня; К вопросу о переустройстве нашей губернской администрации // Там же. № 44. 2 ноября.

[103] По поводу сенаторских ревизий // Отголоски. 1880. № 36. 7 сентября; Цель и направление сенаторских ревизий // Там же. № 44. 2 ноября.

[104] Покушение на жизнь ген.-ад. Дрентельна // Отголоски. 1879. № 11. 18 марта; По поводу события 2 апреля // Там же. № 14. 8 апреля; По поводу злодейского замысла 19 ноября // Там же. № 47. 25 ноября; По поводу покушения 5 февраля // Там же. 1880. № 6. 10 февраля; По поводу покушения на жизнь графа Лорис-Меликова // Там же. № 8. 24 февраля; По поводу упразднения Третьего отделения // Там же. № 33. 17 августа.

[105] Подробнее см.: *Чернуха В.Г.* Правительственная политика в отношении печати. С. 116—117.

[106] РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 19. Л. 178—179.

с Карновичем или Валуевым, неизвестно. Однако, хотя текст данной статьи не принадлежал самому Валуеву, она несомненно была им прочитана и отредактирована, так как политике на окраинах он уделял особое внимание. Так въедливый цензор вступал в заочный спор с одним из наиболее влиятельных государственных деятелей о том, в чём именно состоят никем нигде точно не сформулированные «виды правительства»...

В 1880 г. положение П.А. Валуева существенно изменилось. По мере укрепления позиций гр. М.Т. Лорис-Меликова всё резче проявлялось отличие его «либеральной системы» от тех рекомендаций, которые продолжали звучать в «Отголосках». Статьи Валуева, посвящённые политике в отношении печати, крестьянства и духовенства, о финансах и местной администрации и проч., всё сильнее указывали на то, что он фактически утрачивал влияние на направление правительственного курса (с которым ему к тому же приходилось формально и нехотя солидаризироваться). В этих условиях дальнейший выпуск газеты терял уже всякий смысл, и её реорганизация в журнал, лишённый программных передовиц, была вполне логичной.

«Отголоски» 1879—1880 гг. — единственный в своём роде пример, когда один из наиболее видных сановников империи не только руководил периодическим изданием, но и постоянно выступал в нём в качестве публициста. Едва ли этот опыт можно было признать успешным. Будучи перегружен ведомственными, правительственными и придворными делами, Валуев не мог полностью сосредоточиться на своей работе в газете, и это заметно сказывалось на качестве его статей. Они часто выходили одновременно многословными и незавершёнными, обрывавшимися на обещании вновь вернуться к поднятой теме. Относясь, безусловно, к «качественной» печати, «Отголоски» в то же время стояли в стороне от чиновничье-журнально-профессорских кружков, определявших «повестку дня» в российской прессе, и, по сути, не участвовали в их борьбе. Публикуя анонимные статьи, которые к тому же должны были соответствовать его программе и вкусам, Валуев мало что мог предложить своим сотрудникам, кроме денег. Всё это не шло на пользу изданию, лишая его возможности оказывать существенное влияние на общественное мнение. Не оказали «Отголоски» сколько-нибудь заметного воздействия и на борьбу в правительственных сферах. В каком-то смысле они так и остались манифестом неосуществлённой «реакционной политики» П.А. Валуева и ещё одной главой его литературного автопортрета.

В.В. Зверев

С.Ю. Витте и Г.П. Сазонов: личные отношения на фоне кризиса Российской империи

С.Ю. Витте и Г.П. Сазонов несопоставимы по масштабу дарований, результатам деятельности и следу, оставленному в отечественной истории. Тем не менее хранящиеся в РГИА материалы личного архива Сазонова позволяют уточнить особенности их контактов, деловых связей, симпатий и антипатий на протяжении четверти века знакомства. Сохранившиеся в них сведения не только погружают в атмосферу разнообразных интриг в русской элите конца XIX — начала XX в., но и отражают существовавшие в ней идейные разногласия, её лихорадочные поиски выхода из сложившейся в стране ситуации. И предельно лаконичные оценки, данные в мемуарах отстранённого от власти и находившегося в опале Витте, могут стать лишь отправной точкой в процессе изучения этих документов.

Некогда всесильный, но отлучённый от власти чиновник нарисовал в воспоминаниях весьма нелицеприятный портрет Сазонова, изобразив его человеком двуличным, склонным к наживе, подчинившим жизнь исключительно извлечению собственной выгоды. Следствием этого якобы стала его беспринципность во взглядах, изменявшихся в зависимости от складывавшейся политической конъюнктуры. Так, по утверждению Витте, Сазонов в юности был близок к народовольцам (по слухам — даже дружен с Желябовым), затем, ещё придерживаясь на словах левых убеждений, заискивал перед власть предержащими, в том числе и перед министром финансов, в годы революции примкнул к «Союзу русского народа», а после сблизился с Г.Е. Распутиным[1]. Столь негативная характеристика не оставляла у читателя сомнений в словах Витте о том, что Сазонов никогда ему «не внушал доверия», и поэтому виделся он с этим авантюристом «очень редко», стараясь не допускать его к себе. Неприязненное отношение к явно нечистому на руку проходимцу ещё более усиливало мимоходом брошенное замечание о том, что, когда Витте покинул пост председателя Совета министров, Сазонов был одним из тех, кто хотел его убить[2]. Однако

[1] См. подробнее: *Витте С.Ю.* Воспоминания. Т. 3. М., 1960. С. 563—569.
[2] Там же. С. 563, 564.

действительность была не столь однозначна. Не случайно В.Н. Коковцов в своих мемуарах называл Сазонова «полу-дельцом, полу-литератором», который то поклонялся Витте, то враждовал с ним[3].

На известную пристрастность Витте указывает и его признание в том, что он знал Сазонова довольно давно, ещё с момента совместной поездки в Среднюю Азию в 1890 г. Между тем по неписанным правилам в случае серьёзных сомнений в моральной чистоплотности некоего лица с ним немедленно следовало разорвать отношения. Однако этого сделано не было. Более того, Витте продолжал знакомство и даже принимал Сазонова в своём доме. Так, 10 апреля 1896 г. его покорнейше просили пожаловать к «министру финансов» на квартиру «сегодня, среду, ...в 8 час. веч.»[4]. Полуофициальный тон приглашения, лишённый эмоциональной окраски, свидетельствует, что и характер встречи, да и сами отношения между Витте и Сазоновым имели сугубо деловой оттенок. По всей видимости, они оба нуждались друг в друге. Витте всегда был внимателен, если не сказать предупредителен, к представителям прессы, прекрасно понимая её возросшую роль и серьёзное влияние на жизнь общества.

Сазонов к этому времени уже приобрёл определённый авторитет, его работы о состоянии российской экономики были известны не только в неославянофильских кругах, но и лично Александру III. Ходили слухи об оказываемом ему патронаже со стороны тогда ещё влиятельного К.П. Победоносцева. Правда, некоторые идеи, с которыми носился Сазонов, казались Витте излишне радикальными, а иные его шаги он даже именовал в мемуарах «прямо преследуемыми уголовным законом». Но доказательств преступных деяний Сазонова обнаружено не было, да и никаких расследований в их отношении никогда и не предпринималось. Единственно в чём Сергей Юльевич был точен, так это в констатации того, что к середине 1890-х гг. Сазонов «написал несколько книг, причём являлся ярым проповедником общинного устройства»[5].

При этом Сазонов не просто был адептом общины, а видел в ней единственное средство спасения русского крестьянства от бед и невзгод рыночного хозяйства. В частности, в своём докладе «Быть или не быть общине?», сделанном 22 ноября 1893 г. в III Отделении Вольного Экономического общества, он последовательно опровергал все аргументы противников общинного владения (низкий уровень агрокультуры, чересполосица, переделы земли, которые не способствуют улучшению

[3] *Коковцов В.Н.* Из моего прошлого. Воспоминания. 1903—1919 гг. Кн. 2. М., 1992. С. 19.
[4] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 23. Л. 1.
[5] *Витте С.Ю.* Указ. соч. С.564.

обработки полей) и доказывал, что подворное владение поставит крест на надеждах крестьян выбиться из нужды и обеспечить себе сносный достаток. «Разрушив общину и создав майорат или минорат, — заявлял он, — придётся земельные участки сделать таких размеров, при которых возможно было бы вести действительно хорошо хозяйство подворному владельцу... Мы не сомневаемся, что хозяйство будет прекрасно идти у счастливой трети населения, но в каком положении будет две трети? Куда денутся десятки миллионов? Из них не переселишь и десятой части. Это будут кадры безземельного пролетариата. Найдут ли они себе достаточный для прожития заработок? Никогда... Никогда нам не создать такую промышленность, которая потребляла бы десятки миллионов рабочих просто потому, что нам некуда будет сбывать продукты, нет и не будет таких мировых рынков... Представьте же теперь 1891 г. при бродячих беспокойных голодных десятках миллионов. Тут действительно страшно и подумать о последствиях... Всё вышеизложенное обязывает не разрушать, а оберегать, поддерживать и устроить общину... Будем надеяться, здравый смысл и истинное понимание наших государственно-народных задач и вековых национальных заветов удержат так легкомысленно занесённую на общину руку и тем оградят государство от неминуемых грозных катастроф»[6]. Нет сомнения, что эта гневная филиппика была известна Витте, который в это время также выступал за сохранение общины и мог испытывать интерес к публицистической деятельности, созвучной собственным настроениям.

Но что привлекало Сазонова в Витте? Какие качества министра были ему симпатичны и какие собственные цели он преследовал? В воспоминаниях Сазонов лаконично писал о личных отношениях с Витте: «Они сложились давно, особенно окрепли с назначением министром финансов. Характеризовались... искренностью и доброжелательством. Временами создавалось очень частое общение. Только в 1905—1906 гг. это общение прекратилось»[7]. Впрочем, их связи не были окончательно разорваны и тогда. В архиве Сазонова сохранилось несколько телеграмм и писем Витте, отправленных как из России, так и из-за рубежа (Франция, Биарриц). В основном это краткие деловые послания или слова благодарности за внимание к здоровью адресата[8]. Пожалуй, наибольший интерес представляет письмо Витте, датированное 15 декабря 1914 г. Судя по нему, Сазонов отсылал на просмотр часть подготовленных воспоминаний, озаглавленных «Гр.

---

[6] Быть или не быть общине? (Доклад члена Г.П. Сазонова 3-му Отделению Вольного Экономического общества 22 ноября 1893 года) // Труды Императорского Вольного Экономического общества. 1893. № 6. С. 265—266.

[7] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 63. Л. 84.

[8] Там же. Д. 23. Л. 4—11, 14—16.

С.Ю. Витте». Ответ был корректен, но холоден: «Долгом считаю возвратить при сем корректурный оттиск части историко-библиографического труда Вашего и принести Вам искреннюю благодарность за доставленную возможность прочесть его. Надеюсь, что по выходе труда из печати, я буду иметь возможность прочесть его в полном виде»[9].

Что же послужило причиной подобной реакции? Что могло не понравиться Витте в прочитанных мемуарах? Ведь Сазонов писал, что «человека столь одарённого сильной волей, энергией, пламенным темпераментом», он никогда более не встречал. Витте в его изображении представал неординарной, до конца во многом неразгаданной личностью, способной буквально заворожить своей целеустремлённостью и напором, а по своим талантам превосходящей даже такого признанного в правительственных и научных кругах авторитета, как И.А. Вышнеградский. «...Горит, пылает, всё готов сделать...», — вспоминал Сазонов о начале деятельности Сергея Юльевича на посту министра финансов[10].

Особо отмечалась проницательность Витте. К примеру, как-то в 1894 или 1895 году некто Серебренников пытался при поддержке А.П. Игнатьева и Т.И. Филиппова получить ссуду для строительства судостроительного завода. Предоставить её мог только министр финансов. Зная о близости Сазонова к Витте, предприниматель обратился к журналисту за протекцией и даже выражал готовность стать пайщиком газеты, которую собирался издавать Сазонов, обещая выделить на неё значительную по тем временам сумму в 30 тыс. рублей. Сазонов однажды попытался замолвить за Серебренникова слово, но неожиданно услышал в ответ, что его протеже — человек не государственных интересов, и наверняка обманет как государство, так и своего ходатая перед министром финансов. Сазонов продолжал настаивать. Витте нехотя распорядился выделить кредит. В результате «Серебренников ссуду получил, обещание не исполнил», а когда «впоследствии в отсрочке ссуды было отказано, это окончательно подорвало дело Серебренникова»[11].

Приведённый пример явно свидетельствовал о достаточно тесных контактах между министром финансов и журналистом. Не каждому дано ходатайствовать о деле, где явно присутствует собственный интерес, и при этом добиваться требуемого результата. Такое становилось возможно лишь в случае предоставления обоюдных услуг, которые были тогда в большей чести и моде. К тому же рассказчик прозрачно намекал на то, что обманувший проситель в дальнейшем лишился ассигнований не без его участия.

[9] Там же. Л. 17.
[10] Там же. Д. 63. Л. 63, 64, 86 об.
[11] Там же. Л. 84 об., 85.

Высоко оценивал Сазонов и деловые качества Витте, отсутствие которых бросалось в глаза при общении с другими представителями бюрократии. По словам мемуариста, он никогда не сталкивался с государственным деятелем, который «так быстро схватывал дело и давал ясное заключение, как Витте. А главное, никто не мог дать такой мощный толчок делу, раз становилось ясною его полезность». Это умение увидеть перспективу даже в весьма спорном начинании также подтверждалось, в свою очередь, двумя примерами. В 1900 г. известный владелец грозненских нефтяных промыслов И.А. Ахвердов вместе со своим компаньоном Мамиконовым составил проект прокладки нефтепровода в сторону Черного моря. Однако Витте не дал делу хода, поскольку до него дошли сведения о намерении предпринимателей вывозить нефть в Европу. Узнав о причине негативной реакции министра, Сазонов экспромтом предложил проложить нефтепровод в Астрахань. Эта идея неожиданно увлекла Витте, было быстро собрано совещание, и уже через месяц состоялось постановление, реализовать которое, правда, не удалось по причинам как объективного, так и субъективного свойства[12]. В другой раз сам Сазонов выступил с проектом проведения нескольких каналов, которые должны были усовершенствовать систему навигации в России и связать её с другими странами. Так, по его расчётам весьма выгодным представлялось соединение Каспийского и Азовского морей через пересохшее русло Маныча. Другой, ещё более масштабный, но абсолютно фантастичный проект был нацелен на соединение Каспия с Персидским заливом. Сазонов и сам признавал, что обе идеи не только отличались «узкими местами» и непроработанностью деталей, но и были весьма спорны в научном отношении. Однако, услышав о них, Витте увидел, пусть и весьма призрачную, выгоду страны, и даже обещал финансирование[13].

В сазоновском очерке Витте резко противопоставлялся тем чиновникам, которые заботились в первую очередь о собственном благополучии, не стесняясь запускать руку в государственный карман: «Витте совсем не любостяжатель. Натура не та, психология другая». Сазонов опровергал слухи о якобы нажитых Витте миллионах, хотя и не отрицал и того, что около Сергея Юльевича, принципиально не допускавшего «хищений, злоупотреблений», могли твориться отнюдь не похвальные вещи[14].

Вместе с тем буквально на первых страницах мемуарист признавался: «Справедливость требует присоединить, что ни в ком другом я не наблюдал большего противоречия между данными природою да-

[12] Там же. Л. 85—85 об.
[13] Там же. Л. 86.
[14] Там же. Л. 87 об.

рами и неподготовленностью к той роли, которая суждена была ему». Образование, полученное Витте в Новороссийском университете, объявлялось недостаточным и легковесным: «Это, в сущности, пассажир с ручным багажом. Ум и чутьё, видимо, подсказывали ему сознание неподготовленности». Припоминалось при этом и не слишком удачное сотрудничество Витте с газетой «Русь», и его неудачные доклады в «Обществе содействия русской промышленности», которые никто не замечал[15]. Между тем нехватка научно-теоретической подготовки сочеталась у него с непомерным самомнением, превалировавшим при принятии решений: «Раз он в чём убедился, раз ему показалось, что он владеет истиной, ...закусывал удила, надевал на глаза шоры и всеми силами валил по избранному пути. Само по себе, быть может, это и хорошо. Но приняты ли все меры познать истину? Именно в этом весь вопрос. Категорически утверждаю, меры Витте, если и принимал, то редко, и в этом одна из серьёзных трагедий его жизни»[16].

Отказывал Сазонов Витте и в, пожалуй, главном для государственного деятеля качестве — умении в критической ситуации принять единственно верное решение, найти выход из трудного положения, недоступный простым смертным. Ещё в пору его пребывания на посту министра финансов, наряду с кипучей активностью Сазонов нередко наблюдал «неспокойный взор, какой-то мятущийся дух, скакание по вопросам», которые выдавали «неуверенность, неустойчивость, растерянность перед надвигавшимися задачами». Такое же смятение духа он увидел и в 1905 г., когда Витте «растерялся перед наступавшими событиями, создавшимися в значительной части как результат его деятельности». Более того, у него «складывалось убеждение в невозможности противодействовать ходу событий, чувствовалась как бы роковая обречённость России идти тернистым путём к гибели»[17].

Именно недостаток образования, отсутствие навыка грамотного научного анализа происходивших в стране событий в сочетании с неуверенностью и нерешительностью стали причиной всех бед вполне успешного в начале своей карьеры сановника. Главным же недостатком его деятельности Сазонов считал непоследовательность и постоянное стремление подстраиваться под обстоятельства, а не управлять ими, что вело к непродуманным, а порой и гибельным шагам.

Особое неприятие у Сазонова, защитника общины, вызывал крутой вираж Витте по отношению к сельскому хозяйству и русскому мужику — основному труженику страны. Если в начале Витте взялся

[15] Там же. Л. 83.
[16] Там же. Л. 89 об.
[17] Там же. Л. 83 об., 88.

за создание кредита земледельцу, выступал за содействие развитию кустарной и иной мелкой промышленности, то затем неожиданно изменил свою позицию и перешёл к поддержке крупной индустрии[18]. Изменчивость взглядов и непоследовательность действий являлись, по мнению Сазонова, отличительными чертами натуры бывшего премьер-министра. Причём он действовал так всегда: сначала талантливая защита общины, затем апологетика её разрушения, сначала утверждение о несовместимости земства с самодержавием, затем подготовка Манифеста 17 октября 1905 г. «Таковы, — писал мемуарист, — горестные плоды отсутствия убеждений, обоснованных широким знанием истории родины, самого народа, его экономического и хозяйственного положения, бытового строя и т.д. А при отсутствии убеждений, твёрдо обоснованных, человек оказывается без руля и без ветрил. Финансовый и капиталистический шквал могучим порывом захватил Витте, вознёс на высоту, а затем швырнул его вниз»[19].

В целом в воспоминаниях Сазонова был нарисован портрет политика-неудачника, оказавшегося у «разбитого корыта» собственных начинаний и потерявшего доверие общества и императора. Едва ли подобное изображение могло удовлетворить даже менее амбициозного и самолюбивого человека. К тому же горькую пилюлю повествования отнюдь не подслащивали и откровения Сазонова о личных отношениях с Витте.

В этой части мемуаров перечисление несомненных достоинств также сочеталось с оговорками, перечёркивавшими сказанное ранее. При этом автор явно старался оттенить собственную значимость и по возможности подчеркнуть непредвзятость в суждениях. «С моей стороны, — утверждал Сазонов, — отношения к Витте были доброжелательные, но независимые... Сам Витте не пытался действовать на меня в смысле зависимости». Мемуарист уверял, что он как думал, так и говорил и в личных беседах с высокопоставленным чиновником, и на страницах печати[20]. Между тем характер отношений «ты — мне, я — тебе» заставлял внимательно прислушиваться к любым нареканиям со стороны более влиятельного партнёра, каковым, без всякого сомнения, выступал Витте. Да и сам Сазонов нередко проговаривался об оказываемых ему услугах, что, безусловно, накладывало на него серьёзные обязательства.

Конечно, некоторые вольности в личном общении он мог себе позволить. Так, когда заходил разговор о частой смене взглядов Витте, тот «видимо, был недоволен и старался разговор замять». Однако, как вынужден был признать Сазонов, его научный авторитет не имел для

[18] Там же. Л. 83 об.—84.
[19] Там же. Д. 63. Л. 84.
[20] Там же. Л. 87.

собеседника большого значения: «Разговоры, вернее, споры по существенным вопросам русской экономики, были не часты. Видимо, обмен мнений мало Витте интересовал. Да и времени для этого не имелось. К тому же его натура, самонадеянная, самовлюбленная»[21].

Безусловно, ужиться со столь самолюбивым и весьма властным человеком было крайне трудно, и требовалось сохранять некий пиетет и дистанцию, что Сазонов и делал, видимо, в глубине души осознавая то место, которое отводил ему в своих расчётах Витте. По крайней мере, он чистосердечно признавался, что в его жизни «бывали настолько крутые в материальном отношении обстоятельства, что служить в финансовом ведомстве, вероятно, не отказался бы». Но Витте никогда этого не предлагал, «и, пожалуй, при его деспотическом характере я как человек независимый, едва ли мог быть желанным служакой». Нежелание быть обязанным, вероятно, сыграло свою роль и в случае, когда в 1893 или 1894 гг. учёный секретарь Министерства финансов Н.Н. Кассовский с подачи Витте готов был хлопотать о выделении Сазонову значительной пенсии, в знак признания его научных заслуг, но тот, поблагодарив за высокую честь, отказался[22]. Трудно сказать, что больше повлияло на это решение: стремление к независимости или молчаливое согласие на принцип «услуга за услугу», оставлявшее Сазонову некоторую свободу действий и не так ущемлявшее его самолюбие? Возможно, не последнюю роль сыграло и желание быть востребованным со стороны влиятельного сановника.

Такой случай представился, когда Сазонов стал редактором-издателем газеты «Россия». В историю отечественной журналистики этот печатный орган вошел после публикации злой сатиры на царствующую династию — фельетона А.В. Амфитеатрова «Господа Обмановы». В воспоминаниях Витте не преминул упомянуть о данном случае, правда, перепутав название фельетона (переделав его в «Семейством Обмановых»)[23] и «запамятовав» написать о том, как сам пользовался услугами Сазонова.

Умолчал об этом и Сазонов. Напротив, в воспоминаниях он несколько раз повторял, будто предвидя возможные упрёки в отстаивании интересов министра финансов, что «в многолетней деятельности редактора никогда услуг Витте не оказывал, да он их и не искал». По собственным словам, он «старался быть и был только справедлив и беспристрастен»: «Ни в “России”, ни в других моих газетах не было ни одной статьи-дифирамба Витте, хорошее называл хорошим, дурное — дурным». Однако С.Ф. Шарапов, Л.В. Ходский и другие всё-таки упрекали его в «потвор-

[21] Там же. Л. 89 об.
[22] Там же. Л. 87, 86 об.
[23] *Витте С.Ю.* Указ. соч. С. 564.

ствовании» Витте и отсутствии серьёзной критики его курса. Настаивая на своей объективности, Сазонов объяснял это тем, что: «могла действовать и личность Витте, исключительно даровитая и обязательно предупредительная по отношению ко мне». К тому же не разделял он и методов борьбы, характерных для противников Витте[24].

Клятвенным заверениям Сазонова можно было бы и поверить, если бы он не был излишне настойчив и не переусердствовал в попытках отвести вполне обоснованные подозрения. В очередной раз повторяя мысль о том, что в газете «Россия» не было ни одной статьи в «услужающем или хвалебном по отношении к Витте тоне», он решил сослаться на публикацию статей К.Ф. Головина[25]. Но поскольку сотрудничество известного консервативного журналиста и экономиста с «Россией» носило эпизодический характер, речь могла идти только о статье «По поводу доклада министра финансов», напечатанной 12(25) января 1902 г. История же её появления на страницах газеты опровергает заявления Сазонова.

В статье жёсткой критике была подвергнута вся экономическая политика Витте, которая в начале века поставила страну перед серьёзными, в том числе, и финансовыми проблемами: увеличение внешнего долга, низкая доходность железнодорожной сети, уменьшение поступления доходов в государственную казну. Вывод, согласно логике Головина, напрашивался сам собою — необходимо хотя бы на время отказаться от внешних займов, прекратить строительство казённой железнодорожной сети и увеличить вывоз за границу «сырых продуктов», более надёжных «как материал обмена» по сравнению с продукцией отечественных фабрикантов. Известный сторонник преимущественно аграрного развития страны, Головин видел выход в увеличении продуктивности российского земледелия и расширении его позиций на зарубежных рынках[26].

Публикация подобной статьи могла стать весьма неприятным событием для министра финансов. Опасаясь неудовольствия Витте, Сазонов решил заранее ознакомить с ней влиятельного патрона. Осторожный и предусмотрительный политик предпочёл ответить полуофициально. Составленное от его имени письмо было напечатано на машинке, но не на бланке Министерства финансов.

«Милостивый государь Георгий Петрович,

Благодарю Вас за присылку корректуры статьи К. Головина. Не разделяя во многом его взглядов, я отношусь, однако, к нему и к его

[24] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 63. Л. 87 об., 88.
[25] Там же. Л. 89.
[26] *Головин К.* По поводу доклада министра финансов // Россия. 1902. 12(25) января. № 974. С. 1—2.

трудам с полным уважением и не хотел бы делать затруднений для напечатания его статьи без всяких изменений или смягчений, несмотря на преувеличенно мрачный тон статьи и многие неясные места.

Было бы, однако, необходимо оговорить, в примечании или редакционной заметке, некоторые допущенные автором статьи, конечно, не намеренно, фактические ошибки или явно неправильные выводы. Материал для этих поправок Вам посылается.

8 января 1902 г.»[27].

Таким образом, Витте не портя отношений с известным публицистом, одновременно предоставлял в распоряжение Сазонова сведения, которые ему было бы трудно использовать от собственного имени. Редактор-издатель «России» прекрасно понял намёк и расценил прозвучавшее пожелание как руководство к действию. Но добиться этого оказалось далеко не просто. Как сознавался Сазонов в письме к министру внутренних дел Д.С. Сипягину по поводу закрытия «России», ему стоило больших усилий поместить в последнем номере газеты ответ против статьи Головина от имени редакции. В лучшем случае ведущие сотрудники соглашались на форму письма в редакцию. Но Сазонов буквально «продавил» необходимое ему решение[28]. Без сомнения, существенную помощь в этом ему оказали высланные Витте материалы. По крайней мере, цифровые показатели и подсчёты Сазонова были выверены, целенаправленны и подтверждались богатым фактическим материалом[29].

Скорее всего, в данном случае Сазонов сознательно возложил на себя роль защитника интересов Министерства финансов и лично Витте. Сделано это было, очевидно, с надеждой на его поддержку в будущем. Но, устремившись к поставленной цели, Сазонов допустил непростительный промах и «проглядел» антимонархический фельетон Амфитеатрова. За это проштрафившийся журналист был сослан во Псков, а сама газета закрыта.

Витте отнёсся безучастно к беде, постигшей Сазонова. Его возвращение в столицу произошло, вероятно, благодаря заступничеству В.К. Плеве и К.П. Победоносцева, что, конечно, не могло не оставить горького осадка у опального редактора. Не способствовало их сближению и игнорирование влиятельным чиновником «несомненных заслуг» журналиста в области изучения аграрных отношений в русской деревне, которыми он весьма гордился. Когда Витте был назначен председателем «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности», Сазонов

[27] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 23. Л. 2.
[28] ГА РФ. Ф. 102 (ОО), 1898. Оп. 226. Д. 13, ч. 12. Л. А, 27, 28 об.
[29] *Сазонов Г.П.* К статье К.Ф. Головина // Россия. 1902. 13(25) января № 975. С. 2.

послал ему поздравление, видимо, рассчитывая на использование своего опыта, но получил более чем сдержанный ответ. 20 декабря 1904 г. Витте, на этот раз на официальном бланке за № 892, поблагодарил его за добрые пожелания. «Не забыл Ваших работ, — заверял он, — и, если по ходу занятий представится случай, надеюсь воспользоваться Вашим ценным сотрудничеством»[30]. По своей сути это был вежливый отказ, больно задевавший честолюбие и, наверное, нарушавший далеко идущие планы Сазонова. Как бы то ни было, именно на 1905 г. приходится период наибольшего охлаждения отношений между ним и Витте. Сам Сазонов об этом писал так: «В 1905 г. я решительно пошёл против Витте, за 2 месяца до его падения обратившись к нему с открытым письмом»[31]. Сделано это было, однако, анонимно, хотя в тексте и указывалось на их давнее знакомство, что исключало сохранение тайны авторства[32].

В «Открытом письме гр. С.Ю. Витте» председатель Совета министров обвинялся во всех смертных грехах — в ошибках и просчётах, которые привели к революции. К их числу Сазонов относил целенаправленное и сознательное насаждение капитализма в России, а также преследование представителей народнической мысли, (к ним Сазонов относил и себя), выступавших против этой гибельной политики. Но главный грех Витте, по мнению автора, состоял в избрании им в качестве эталона марксистской модели экономического развития, чуждой русским национальным интересам. Более того, сам министр финансов объявлялся скрытым марксистом: «В правительственных сферах никто не только не понимал, а даже не знал учения Маркса, признавая его кабинетной теорией. Один Вы усвоили эту теорию»[33]. Для подтверждения этого далеко не бесспорного упрё-

[30] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 23. Л. 3.

[31] Там же. Д. 63. Л. 88.

[32] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 4. Л. 99. После Февральской революции Сазонов собирался опубликовать «Открытое письмо гр. С.Ю. Витте». Для этой цели он даже подготовил небольшое вступление, в котором изложил историю его написания и распространения. В нём утверждалось, что анонимное «Открытое письмо» было разослано «в немногих экземплярах». В числе узкого круга лиц, ознакомившихся с ним, был И.А. Гофштеттер, к которому обращались с настойчивыми просьбами дать прочесть письмо и другим. Сазонов согласился на это только при условии, если Гофштеттер назовётся его автором, и «напор, видимо, был столь энергичен, что он, человек исключительно правдивый, согласился на неправду». Но очень скоро между Сазоновым и Н.А. Хвостовым состоялся следующий разговор: «—Крайне интересное открытое письмо Витте мы прочитали. Вы читали его? — Да, читал. — Гофштетер автор? — Кажется, он. — Ну, а “Неотчуждаемость крестьянских земель” тоже он написал?, — Лукаво улыбаясь, спрашивает Хвостов. — Да ведь это же моя книга. — Ах, да, да! — смеясь, закончил он» (РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 4. Л. 3).

[33] Там же. Д. 63. Л. 18.

ка Сазонов использовал все имеющиеся в его распоряжении факты, не очень заботясь об их достоверности. Так, Витте будто бы окружил себя учениками и последователями Маркса (В.И. Ковалевский, Н.И. Кутлер, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский), считавшими, что на первом этапе становления капитализма все усилия должны быть направлены на разрушение пережитков феодализма[34].

Наиболее ярким, по мнению Сазонова, свидетельством марксистских симпатий Витте являлось его отношение к сельскому хозяйству. С момента создания Министерства земледелия он «стоял к нему спиной» и проявлял «враждебное отношение». Даже выделяя незначительные кредиты на мелиорацию и кустарную промышленность, он «обставлял» это такими фортификационными сооружениями в виде бюрократических проволочек и «волчьих ям», что только «отчаянно нуждавшиеся» могли к ним пробираться. На всё министерство, отвечающее за аграрное производство, выделялось средств меньше, чем на один Департамент торговли и мануфактур в финансовом ведомстве. Издевательски звучали и слова Витте и Ковалевского о земледелии как «ремесле нищих». Иначе как ненавистью к исконно национальному способу производства нельзя было, по мнению Сазонова, объяснить заявления, сделанные министром финансов во всеподданнейших докладах о том, что крупная промышленность даёт стране и народу продуктов более, чем земледелие. Доказывалось это простым манипулированием цифрами, когда стоимость сырых продуктов земледелия заносилась в ценность «произведений крупной промышленности». Кроме того, «путём тарифов и постройкой железных дорог на окраинах, предназначенных природою для скотоводства, создавалась конкуренция хлебу, сбивая цену». «Сберегательными кассами, — продолжал автор, — вытянули из кармана народа свыше миллиарда рублей, пустив их на капиталистические предприятия. Деревня осталась без денег. Ведь одним денежным голодом можно разорить народ»[35].

Заканчивая перечисление «осознанных вредоносных» действий, подрывавших российские устои, Сазонов прямо указывал на причину того, почему «вся деятельность Министерства финансов была направлена против нужд и потребностей земли». «Понять этот яростный гнев против земли не трудно, — писал он, — если знать, что занятие земледелием создаёт консервативный характер, преданность к порядку, влияет на развитие религиозности, так как урожай в руках Божьих. На этой почве не взрастишь чертополох неверия, не посеешь смуту, прелестями запада её не обойдёшь»[36]. Итак, измена поселилась в самом

[34] Там же. Л. 20, 21.
[35] Там же. Л. 22—25.
[36] Там же. Л. 25.

бюрократическом аппарате, и возглавлял заговор против российской государственности не кто иной, как Витте. Именно этим объяснялось и его отношение к русской общине: «Общинник — консерватор и инстинктивный патриот. Не сломивши эту крепость народного духа, не разрушив эту национальную твердыню, торжествующий анархизм не водрузит красное знамя над дымящейся кровью землёю». Поэтому против общины ополчилось сонмище её противников (В.М. Лахтин, П.П. Бильдерлинг, А.А. Кофод и др.), за которыми стояли Витте и «Особое совещание». Все подведомственные ему писаки бранили общину, «валили» на неё «недостатки административного общества» и превозносили достоинства хуторского хозяйства, забыв, что ещё в 1860—1870-е гг. экономисты высчитали: «Для торжества хуторского хозяйства придётся треть населения обезземелить, чтобы дать хуторам земельный и хозяйственный простор». Что же будет с российской государственностью, если случится неурожайный год, и поднимутся не 100 тыс. бастующих рабочих, а миллионы «безземельного бродячего люда»?[37]

Требование предоставить крестьянам право выделяться из общины без согласия мира, заявленное в «Записке», подготовленной Витте по итогам деятельности Особого совещания, до глубины души возмущало Сазонова. «Тогда от “неприкосновенной общины” нередко и следа не останется, — предсказывал он. — Ведь уже один общинник, закрепивший за собой надел, уничтожает передел, а это поведёт к расхищению мирской земли». Все эти предложения, настаивал Сазонов, прямо вытекали из теории Маркса[38]. Опасным представлялось ему и уничтожение волостного суда, намеченное врагами национального пути развития России. В этом случае крестьянство лишалось бы института, входившего в его нужды, а в определённых условиях и защищавшего от кулака-ростовщика[39]. Тем самым обрушилась бы ещё одна опора общественной жизни.

Положение промышленности было, по мнению публициста, столь же плачевно. Развитие её не только шло в ущерб земледелию, но и привело к кризису, вследствие чего многие из созданных фабрик закрылись. Весьма сомнительны оказались и финансовые преобразования Витте, а «золотая валюта до сих пор имеет противников». «Винная монополия, — признавал Сазонов, — широко задумана и мощно проведена в жизнь. Но заброшена, захирела и вызывает в обществе недовольство, благодаря бьющим в глаза недостаткам. Важнейшее — уличное пьянство, подорвать которое, казалось бы, так не трудно»[40].

---

[37] Там же. Л. 26—28.
[38] Там же. Л. 34.
[39] Там же. Л. 38—39.
[40] Там же. Л. 13, 72.

Не случайно, однако, развитию промышленности, финансов и транспорта Сазонов уделял в «Открытом письме» гораздо меньше внимания, чем социальным последствиям начавшейся индустриализации. Всё же отрицать несомненные успехи, достигнутые Россией в 1890 е гг., в том числе и благодаря реформам Витте, было, по меньшей мере, затруднительно. Страна за десятилетие превратилась из аграрной в аграрно-индустриальную и укрепила свой экономический потенциал. Однако, отмечал Сазонов, «в то время как промышленность гигантски росла, подталкиваемая могучим содействием государства, о рабочих никто не вспоминал» и «они были предоставлены своим силам». «Ведь это целые армии, сплочённые под видом нужд политическими и социалистическими идеями, — писал Георгий Петрович. — Это кадры стойкие. И если государство не сумеет, не сможет эти армии направить по мирному пути, от государства камня на камне не останется»[41].

Между тем «бездействием правительства рабочие поставлены в тяжёлое положение, что не могло не вызвать недовольства». «Не было ли это бездействие злоумышленным?», — вновь риторически вопрошал Сазонов[42]. Ответ для него был вполне очевиден. Результаты политики Витте и его команды привели к гигантским выступлениям городских мастеровых. Мало того, к ним присоединились и учащиеся, что также стало следствием непродуманных действий Витте, выступившего с инициативой отдавать участников студенческих волнений в солдаты: «Нельзя придумать ничего другого, способного так глубоко оскорбить и раздражить молодёжь. Эти меры били по обнажённым нервам, доводили до ненависти к бесправному строю»[43]. Видимо, желая вставить любое лыко в строку, Сазонов упрекал Витте даже за чрезмерное внимание к инженерно-техническому образованию: в то время как на Петербургский университет средства отпускались «с Плюшкинской скаредностью», на политехникум было израсходовано 12 млн руб., а именно его студенты стали во главе противоправительственных выступлений[44].

Все эти «прегрешения» Витте не могли не влиять на характер общественного устройства страны, «национальный путь» развития которой преимущественно состоял в поощрении аграрной отрасли, при самом пристальном внимании к крестьянскому хозяйству как основе стабильности российской монархии. Но это отнюдь не препятствовало широкому внедрению местного самоуправления.

[41] Там же. Л. 63—64.
[42] Там же. Л. 67, 66.
[43] Там же. Л. 73.
[44] Там же. Л. 74.

В своих работах Сазонов неоднократно обращался к деятельности земств, усиленно пропагандировал их достижения, насколько возможно защищал от произвола чиновников. В «Открытом письме» органы местного самоуправления изображались уголками, где теплились лампады добра и света, очагами борьбы с бедностью, с невежеством и болезнями. И это при том, что поле их деятельности постоянно искусственно сужалось администрацией. С 1890 г. положение земства, ставшего «сословно дворянским», сделалось просто невыносимым: «Управа введена в табель о рангах и втиснута в мундир бюрократии. Предводители без избрания стали гласными и т.д.»[45]. К этому, как утверждал Сазонов, Витте также приложил руку. Благодаря его усилиям у Александра III сложилось стойкое убеждение, что «земство — учреждение не только конституционное, но и революционное». Вследствие этого позднее попал в опалу И.Л. Горемыкин, а К.П. Победоносцеву будто бы даже был воспрещён въезд в Царское Село, Гатчину, в Зимний и Аничков дворец[46].

Подручным Витте в деле удушения земств Сазонов называл недалёкого и безвольного Д.С. Сипягина. Именно им, составившим дуумвират, не предусмотренный никакими законами Российской империи, удалось совместными усилиями провести закон о предельности земского обложения, согласно которому «земство как бы признавалось расточительным». Затем и важнейшее продовольственное дело было передано в руки администрации. При этом земство с цинизмом обвинялось в голоде 1891 г., хотя именно МВД и Министерство финансов оставляли без внимания его многочисленные ходатайства, а когда стали очевидны масштабы катастрофы, в срочном порядке обратились к помощи земцев[47]. Сазонов сетовал также на ограничение земского книгоиздательства, прекращение сбора статистических сведений, на то, что «воспрещены сношения между земствами». Верхом коварства, по его мнению, являлась разработка проекта упразднения губернских земских учреждений как «бюрократического органа». «А между тем, — восклицал он, — именно губернское земство и сослужило родине историческую службу почином законодательных вопросов, не говоря уже об огромных результатах и на месте». Не случайно также земства были отстранены от деятельности Особого совещания, и местных комитетов — их представители не согласились бы с задуманным противогосударственным деянием[48]. «Вы, Сергей Юльевич, —

[45] Там же. Л. 42— 45.
[46] Там же. Л. 46—47.
[47] Там же. Л. 48—51.
[48] Там же. Л. 51— 53.

писал Сазонов, — сделали все, чтобы усилить недовольство, удесятерить озлобление против правительства и достигли цели. Но когда Плеве стал чуть не кипятком ошпаривать земцев, вы начали привлекать к себе оппозиционные элементы, стали оказывать им поддержку, выдавая себя сторонником самоуправления»[49].

Эти заигрывания изображались в «Открытом письме» как часть далеко идущего плана: не напрямую, а намёками земцев подводили к убеждению, что в сложившихся условиях «интересы земства, т.е. всей земли», несовместимы с самодержавием, которое «отжило свой век и как таковое должно уступить своё место». Одновременно с этим, напоминал Витте Сазонов, «в салонах Мещерского, Татищева и К° Вы с пеной у рта клялись, что оторвёте голову тем, кто выступит против самодержавия, приводя в восхищение придурковатых покровителей». «Вы, г. Витте, — без обиняков утверждал Сазонов, — напрягая все силы России к развитию капитализма, сознательно шли на нарушение исторически сложившегося строя»[50].

Но антигосударственная деятельность главы Совета министров проявлялась не только во внутренней политике. «Острым деятелем смуты», великим бедствием для страны стала война с Японией, и в этой «трагедии со многими действующими лицами» Витте, по мнению Сазонова «сыграл роль политического авантюриста». Ему принадлежал безумный проект переориентации усилий российской дипломатии с Европы на Дальний Восток. Для этой цели была построена Транссибирская железнодорожная магистраль, проходившая через Маньчжурию, и «заставили Россию истекать кровью сначала в смысле перебрасывания на восток сил и средств..., а затем резко полилась и кровь народная»[51]. Когда же начались боевые действия, вскрылось, что основные средства шли не на укрепление Порт-Артура, а на благоустройство Дальнего, ставшего базой японцев. В целом же, по убеждению Сазонова, во всём была виновата «Манжурка»: железную дорогу надо было прокладывать на Владивосток по российской территории, «с веткой к одному из заливов, граничащих с Кореей, почти не замерзающих»[52]. Полагая, что имя Витте «золотыми буквами впишется в историю... Японии», Сазонов отвергал любые оправдания: «Не говорите, что это не ваша компетенция: вы всегда, где желаете, являетесь со своей компетенцией»[53]. Между тем Сергей Юльевич никогда не был сторонником вооружённого столкновения с набирав-

[49] Там же. Л. 55.
[50] Там же. Л. 81—83.
[51] Там же. Л. 56—57.
[52] Там же. Л. 60.
[53] Там же. Л. 60, 58.

шим силу японским милитаризмом, напротив, выступал за последовательное экономическое проникновение и закрепление на Дальнем Востоке, освоение которого обещало стране несомненные выгоды.

Влияние и популярность Витте, преследовавшего свои собственные интересы в ущерб родине и государству, Сазонов объяснял его умением добиться расположения прессы, которая постоянно пела ему дифирамбы: «Тянули в унисон Суворин и кн. Мещерский, кн. Ухтомский и Колышко, Меньшиков и Нотович, Струве и Пропер, Гурьев и с известного момента Шарапов». Благодаря этому в Витте читающая публика видела единственного спасителя отечества. По словам Сазонова, столь благосклонное отношение щедро оплачивалось. К примеру, кн. В.П. Мещерский как-то сказал «в интимных беседах», что убытки его «Гражданина» составляли в начале века («несколько лет назад») свыше миллиона рублей. Однако он по-прежнему продолжал выходить. По слухам и благодарность Витте зарубежной прессе была «поистине царственной»[54].

Более того, для поддержки своей политики министр финансов фактически создал новое направление в экономической науке. Никому ранее не известные авторы изводили тонны бумаги, тратили казённые деньги для доказательства правильности избранного курса: «12 экономистов в огромном исследовании научно доказали, что в земледельческой стране, где крестьянин сам землевладелец, низкие цены на хлеб ему, производителю, выгодны»[55].

Но если бы проведённые Витте реформы увенчались успехом, «экономическое положение народа в совокупности, во всех частях должно быть блестящим»: «Крестьянин сыт, доволен, дворянство богатеет, промышленность могуче развивается. Просвещение во всей гамме от низов до верхов достигло пределов совершенства. Самоуправление честное и полное от первоначальных местных форм до высших политических даёт незыблемый покой стране. Государственное могущество и международный авторитет стали как никогда»[56]. Действительность же оказалась противоположной этой благостной картине. Витте и его подручные делали всё для того, чтобы ввергнуть страну в непоправимую беду.

Ужаснее же всего в годину выпавших на долю России испытаний было нахождение во главе правительства человека, повинного в постигших её страданиях. В результате «вместо того, чтобы начать с установления порядка, потребовать подчинения закону, правительство разрабатывает общие вопросы», создаёт комиссии, собирается «печь

[54] Там же. Л. 7— 9.
[55] Там же. Л. 9.
[56] Там же. Л. 10—11.

реформы, словно блины». Министры уподоблялись пожарной команде, которая, приехав на пожар, начинает обсуждать меры предупреждения пожаров. Такую команду, писал Сазонов, «следовало бы посадить в сумасшедший дом». Нигде и никогда, напоминал он, уступки, реформы и колебания не обуздывали смуту: «Только сознание своей силы, энергия в установлении порядка, требование безусловного подчинения законам спасали государственность. А трусливые уступки, вынужденные реформы вели к кровавым революциям»[57].

Общая тональность письма и выдвинутые против Витте обвинения выдавали в авторе не просто сторонника незыблемости самодержавия, но и противника капиталистических новаций, искренне полагавшего, что благо страны и народа состоит в консервации социальных институтов, оберегаемых и защищаемых властью. По своим убеждениям Сазонов — консервативный народник, сторонник альтернативной модели развития, исключающей рыночное ведение хозяйства, но предполагающей опору на сильное государство. В России, по его убеждению, единственно возможной формой правления могло быть только полновластие определённого лица, опирающегося на поддержку Земского собора, наделённого законосовещательными функциями. В целом система его взглядов, сложившаяся ещё в годы его ранней юности, представляла собой причудливое сочетание славянофильских и народнических идей отнюдь не радикального толка. И в его выступлении против Витте эмоционально выплеснулось не только переживание революционного кризиса начала века, но и длительное несогласие с устанавливавшимися в стране порядками и горечь безуспешных попыток изменить ход событий. Естественно, не последнюю роль играло и игнорирование властью предлагавшихся лично Сазоновым мер по поддержке общинного крестьянского хозяйства, а также и уязвлённое самолюбие.

Заключительные строки «Открытого письма» полны сугубо нелицеприятных характеристик: Витте именовался «космополитом», «фанатичным апостолом разрушения», личностью, поклоняющейся самому могущественному из богов, богу злата[58]. В устах Сазонова это были самые страшные обвинения, которые только можно было предъявить человеку.

В «Открытом письме» обнаруживается прямая перекличка с более поздними воспоминаниями Георгия Петровича. В частности, в нём отмечалось несовпадение «крупных дарований» Витте и его неподготовленности к роли государственного деятеля. По словам Сазонова,

[57] Там же. Л. 89—90.
[58] Там же. Л. 92—94.

его ум остался «не дисциплинирован школой государственного разумения»: «Он не подготовлен знанием, изучением нужд всенародных. Математик по образованию, железнодорожник по профессии — как-то ничтожно мало, чтобы править государством, да ещё таким безгранично сложным организмом как Россия»[59]. Упоминалось и об отсутствии у Витте твёрдых убеждений, что вело «к беспринципности, неустойчивости, нравственной безразличности в разрешении даже коренных вопросов»[60]. По сути, основные обвинения, прозвучавшие ещё в «Открытом письме», в воспоминаниях были лишь «причёсаны и приглажены» в надежде на то, что Витте не обратит на них пристального внимания. Однако всё произошло иначе. В подготовленном, по-видимому, уже в 1917 г., предисловии к «Отрытому письму» Сазонов указал, что за полгода до своей смерти Витте был им чем-то недоволен. На письмо о причине его нерасположения Витте «ответил, уверяя, что решительно ничего нет». Но тон письма показался Сазонову неискренним[61].

Любопытно, что и в «Открытом письме», и в воспоминаниях оценки Витте целиком зависели от того, соответствовали ли его действия и поступки собственным представлениям автора. Поскольку Сазонов считал правомерным и целесообразным лишь созыв совещательного Земского собора, выборы в Государственную думу ему представлялись несвоевременными и бесполезными. «Представительство земли превыше всех задач русской истории, — заявлял он, — и если бы сознательно вели к тому государственность и шли бы честно прямым путём, Вам при жизни следовало бы поставить памятник из чистого золота. Но при глубоком уважении к Вам я не вижу в Вас этой царственной идеи. Вы не взлелеяли, не выносили её. А путь, которым Вы прошли к ней, внушает отвращение»[62].

Конечно, эмоции у Сазонова обычно превалировали над непредвзятым и обстоятельным анализом, некоторые его обвинения звучали неубедительно, а «причисление» Витте к когорте марксистов, вполне возможно, было подсказано врагами премьер-министра. Напрямую об этом Сазонов не говорил, но его рассказы о настроениях, царивших тогда в консервативных кругах столицы, весьма показательны. Он был явно доволен, что «Открытое письмо» активно обсуждали в кружке К.Ф. Головина, на квартире В.И. Гурко[63].

Верил ли сам Сазонов в то, что Витте сознательно вёл страну к анархии в 1905 г.? В дальнейшем, общаясь, они, видимо, не раз обра-

[59] Там же. Л. 95—96.
[60] Там же. Л. 98.
[61] Там же. Л. 4.
[62] Там же. Л. 99.
[63] Там же. Л. 2.

щались к этой теме. «Он сознавался, — писал Сазонов, — что немало сделал ошибок, но в смуте 1905 г. неповинен. Последнее доказывал документально, но с условием не оглашать. И я убедился, что виновен не он один, а все власть имущие. Но в подготовке к смуте, остаюсь убеждён, он повинен. Сознательно ли шёл к смуте, или невежество и темперамент вели его, решить не берусь»[64]. Таким образом, Сазонов перешёл от мысли, что «во всём виноват... Витте», к убеждённости в совокупной ответственности всех власть предержащих.

Так или иначе, в «Открытом письме» напрочь отказался от прежних заявлений о несомненных заслугах Витте и, казалось, сжигал все мосты в своих личных с ним отношениях. Однако разрыва не произошло. Напротив, уже в конце 1906 г. в их «дружбе-вражде» начался новый этап.

Причину этого необъяснимого на первый взгляд факта, по всей видимости, следует искать в тривиальной необходимости поддержки друг друга в новых обстоятельствах. Отправленный в отставку Витте не оставлял надежд снова вернуться к власти, несмотря на стойкую неприязнь к нему царя и его супруги. При отсутствии серьёзной практической работы он не прочь был занять себя менее значимыми делами. И здесь интересы Витте и Сазонова вновь пересеклись.

Активный и деятельный журналист ещё со времени поездки в Среднюю Азию в 1890 г. лелеял идею обводнения Закаспийской области, которая могла принести России существенные выгоды. По его расчётам, затраты были не столь значительны, а результаты могли превзойти самые радужные ожидания. В годы революционных потрясений ему показалось, что его идеи могут заинтересовать многих во властных структурах, и он развил кипучую деятельность, организовал по примеру государственных структур частное совещание, к участию в котором привлёк многих известных чиновников, учёных, общественных деятелей. Ему важны были имена «посвящённых» в столь масштабное начинание. В их числе оказался и Витте, который, по заверениям Сазонова, принял в обсуждении проектов самое активное участие, после чего их отношения даже укрепились[65]. Вероятнее всего, конечно, Витте ничего не забыл и ничего не простил. Он просто воспользовался предоставленной возможностью для поддержания нужных ему контактов с известными влиятельными людьми, а частное совещание по перспективному, хотя и спорному вопросу, давало такую возможность. Но не более того.

Не мог не повлиять на улучшение отношений и факт близкого знакомства Сазонова с Г.Е. Распутиным. В салонах Петербурга много

[64] Там же. Л. 5.
[65] Там же. Д. 4. Л. 4; Д. 63. Л. 86 об.

судачили об этом весьма странном тандеме. Было неясно: то ли Сазонов выступал в качестве наставника сибирского «варнака», то ли Распутин использовал своего подручного для достижения каких-то собственных целей. В начале знакомства журналист, видимо, знакомил «старца» с необычной и непривычной для него столичной обстановкой. Но, немного пообвыкнув, поняв нехитрые механизмы существования верхов русского общества, заручившись поддержкой царской четы, Распутин осознал, что уже не столько он зависит от Сазонова, сколько Сазонов от него. Естественно, изменение ролей произошло не сразу. Но уже к 1910 г. Распутин сам стал оказывать покровительство Сазонову. Так, в период доверительных отношений с иеромонахом Илиодором (Труфановым) Сазонов поведал ему об образовании компании «для орошения закаспийских степей и для учреждения в России какого-то хлебного банка», а также о том, что «Григорий Ефимович взялся это дело провести при дворе и главным образом достать для этих операций деньги»[66].

Впрочем, и Сазонов, по мере сил и возможностей, помогал Распутину в разного рода делах, в том числе и политических. К лету 1911 г. Распутин, сообщив журналисту о том, что Николай II утратил прежнее доверие к П.А. Столыпину и желает сменить главу правительства, прямо просил помочь ему подыскать кандидата на пост министра внутренних дел. Осторожный Сазонов предложил назначить премьер-министром Витте, а на пост министра внутренних дел пригласить нижегородского губернатора А.Н. Хвостова. Как следует из воспоминаний Витте, «в конце июля или августа» не по почте, а использовав подвернувшуюся оказию, Сазонов известил его во Франции о предполагаемой комбинации. Фигура Витте требовалась «дабы дать авторитетность новому министерству», но он был бы при этом связан в своих действиях контролем со стороны Хвостова. Естественно, Витте это совершенно не устраивало. Поэтому не было ничего странного в том, что он отвечал: «Я получил... письмо и остался в недоумении, кто из нас сумасшедший. Они, которые мне такую вещь предлагают, или я, которому они считают возможным такую вещь предлагать»[67]. Отказался от сделанного ему предложения и Хвостов. Однако у бывшего главы правительства остался, конечно же, неприятный осадок от этой истории: так беспардонно никто и никогда не пытался его использовать. Сазонов и ранее не вызывал у него тёплых чувств, а после происшедшей истории, неприязнь к нему выросла ещё больше.

---

[66] *Бывший иеромонах Илиодор (Сергей Труфанов).* Святой чёрт (Записки о Распутине) // Голос минувшего. 1917. № III. С. 48.

[67] *Витте С.Ю.* Указ. соч. С. 567.

По-видимому, именно этим объясняется то, что в воспоминаниях Витте прямо обвинил Сазонова в шантаже министра финансов В.Н. Коковцова. В его изложении журналист выглядел членом банды, возглавляемой Распутиным. В неё входили также профессор П.П. Мигулин и его тесть — профессор Харьковского университета М.М. Алексеенко, ставший в дальнейшем председателем финансовой комиссии Государственной думы — люди столь же «расплывчатой нравственности и убеждений», как и Сазонов. Издавая «чрезвычайно посредственный еженедельный журнал “Экономист”», они в каждом номере печатали нападки на министра финансов. В конце концов, не выдержав давления, Коковцов «дал “Экономисту” прямые и косвенные субсидии в виде объявлений», после чего тональность публикаций о политике Министерства финансов изменилась кардинально. Но полученных субсидий для Сазонова и компании оказалось мало. Ими был разработан «проект Хлебного банка, который будто бы имеет целью устранить железнодорожные залежи, происходящие после урожая». В дальнейшем он был преобразован в Английский банк, устав которого шантажисты продали за 250 тыс. руб. На полученную долю Сазонов создал газету «Голос земли», занимавшуюся восхвалением Коковцова и пользовавшуюся его поддержкой. Так, по имевшимся у Витте сведениям, по прямому указанию министра финансов директор кредитной канцелярии однажды потребовал от директоров банка организовать подписку и собрать 100 тыс. руб. на поддержку этого периодического издания[68].

В данном случае Витте ничего не выдумал, а просто пересказал статью «К истории основания одной газеты», опубликованную 17(30) января 1912 г. в выходившей на немецком языке «St. Peterburger Herold». Он только изменил указанную в этой публикации сумму за перепродажу устава Английского банка с 150 на 250 тыс. руб. да снял, видимо, показавшееся ему лишним, уточнение о том, что сбор в пользу «Голоса земли» с каждого из участников собрания директоров банка составил 10 тыс. руб.[69] Скорее всего, эта история, попавшая на страницы пусть даже и не русскоязычной печати, не была выдумкой журналистов. Косвенно о верном её освещении свидетельствуют и воспоминания Коковцова, который утверждал, что старался всячески уклониться от попыток Сазонова познакомить его с «Григорием Ефимовичем». Глава финансового ведомства и правительства якобы не искал подобной поддержки и не хотел, чтобы кто-либо имел право сказать, что он посажен Распутиным или сохраняет свой пост его милостью. А самого «старца» в мемуарах, вышедших, правда, уже после революции, Коковцов именовал не иначе как типич-

[68] Там же. С. 565, 566.

[69] St. Peterburger Herold. 1912 г. 17(30) января.

ным сибирским бродягой, умным, приладившим себе личину простеца и юродивого, но в действительности способным на всё[70]. Во всём этом настораживает только одна деталь: Коковцов даже не пытался опровергнуть ходившие слухи о его поддержке триумвирата Распутин—Сазонов—Мигулин, а подобное умолчание заставляет, по крайней мере, оставить его «в подозрении», как говорилось в дореформенном суде.

В растянувшейся же на четверть века «дружбе—вражде» Витте и Сазонова, казалось бы, можно поставить точку. В своих мемуарах они дали «исчерпывающую» характеристику друг друга, стараясь одновременно максимально обелить собственную персону. В этом нет ничего экстраординарного для воспоминаний. Если прошлое нельзя изменить, то всегда можно дать выгодную для себя его интерпретацию. Ни Витте, ни Сазонов не изобрели ничего нового, как не был новым и характер их отношений, когда за фасадом мнимой добропорядочности и уважения скрывалась тривиальная забота о собственном благополучии, расчётливая услужливость и стремление использовать в собственных целях «нужного человека».

Но история их взаимоотношений получила неожиданное продолжение в более поздние времена и в иных декорациях. Падение царизма мало отразилось на жизни Сазонова. Правда, ему пришлось отвечать на вопросы Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений царского режима о личности Распутина и своих отношениях с ним. Однако Сазонов сумел убедить следователей в том, что в 1913 г. между ними произошло серьёзное охлаждение, и впоследствии он уже не поддерживал тесной связи с фаворитом царской семьи. В конце концов, его оставили в покое[71], и он решил использовать впервые появившуюся в стране свободу печати для публикации воспоминаний. Осуществить это ему не удалось, но сохранившиеся черновые наброски дают возможность представить, в каком свете Сазонов собирался предстать перед российской читающей публикой. А изображал он себя альтруистом, абсолютно чуждым духа чистогана и выгоды, чья деятельность была «направлена на вопросы блага народного и она вся бескорыстна». «На почве этого бескорыстия, — сетовал Сазонов, — нередко создавалось положение, затруднительное в смысле необеспеченности, нужды»[72]. Буквально на следующей же странице говорится, что вся его жизнь была омрачена «хронической нуждой», хотя он был «далёк... от роскоши, от трат на лошадей, автомобили, на карты, кутежи и

[70] *Коковцов В.Н.* Указ. соч. С. 19—20, 33.
[71] См. подробнее: *Зверев В.В.* Григорий Распутин и Георгий Сазонов: из истории одной «дружбы» // Родина. 2012. № 3.
[72] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 3, Л. 83.

пр.». Но даже тяжесть жизненных испытаний не могла заставить его пойти на небезвозмездные услуги предпринимателям. Никто, по словам журналиста, не посмел бы указать «в сильно влиятельной “России”, “Русской Земле”, “Голосе Земли”, “Экономисте России”, во многих моих книгах и множестве статей на слова поддержки дельцов»[73].

Думается, этим уверениям можно доверять в такой же мере, как и объективности суждений Сазонова о социально-экономической политике Витте. Кстати, готовя к публикации воспоминания, он в очередной раз дезавуировал собственные слова о независимости от бывшего министра финансов и главы правительства. Увлечённый повествованием о своём почти нищенском существовании, автор проговаривался, что после первой российской революции он просил Витте помочь ему в подыскании заработка (на сумму до 200 рублей в месяц). По его словам, Витте был крайне удивлен тем, что Сазонов, к которому он ранее был исключительно расположен, «не позаботился о себе»[74]. Но то ли удивление было ложным, то ли не совсем точно мемуаристом переданы ироничные интонации Витте. Впрочем, и эти слова опровергаются самим Сазоновым, без зазрения совести утверждавшим, что порой «вынужден был иногда вступать в дела, но с строгим разбором, поддерживая только те, которые соответствовали государственным интересам». Так, в своё время он не поддержал фактического владельца газеты «Россия» М.О. Альберта, добивавшегося прокладки черноморской железной дороги, поскольку считал её несвоевременной и слишком затратной, хотя мог иметь с этого предприятия огромный аванс и большие дивиденды. Дела же, за которые он брался, или ничего не приносили, или давали немного. В качестве удачных операций Сазонов называл получение доли от продажи по просьбе его приятеля Герасимова в середине 1890-х гг. большого массива ценного леса. А в 1911 г. он помог устроить Русско-Английский банк. «По этим делам получил крупные суммы, — писал Сазонов. — Из последних уплатил долги и израсходовал на издание газеты “Голоса Земли” и другие издания значительные для меня деньги»[75]. О точном размере вознаграждения по операции с уставом Русско-Английского банка он стыдливо умалчивал. Таким образом, ещё ничего не зная о свидетельствах Витте по этому вопросу, Сазонов фактически их подтверждал[76].

---

[73] Там же. Л. 82.

[74] Там же. Л. 83.

[75] Там же. Л. 82.

[76] В целом можно утверждать, что сообщение Витте о финансовой афере Сазонова было абсолютно достоверно. Да и сам Сазонов уже в советские времена, просматривая воспоминания, счёл нужным на полях карандашом добавить фразу: «Подтверждает в “Воспоминаниях” и Витте» (РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 3. Л. 82).

После прихода к власти большевиков Сазонов, как это ни покажется странным, страны не покинул. Трудно сказать, что повлияло на его решение: надеялся ли он при новых правителях реализовать какие-то свои планы или ему был «горек хлеб чужбины». Однако он по-прежнему проживал в Петрограде на Кирочной, 12.

Несмотря на то, что в 1917 г. Сазонову исполнилось уже 65 лет, он по-прежнему сохранял боевой задор, активность и предприимчивость, в целом далеко не всегда свойственные людям его возраста. Обрушившиеся на страну Гражданская война и разруха подтолкнули его к идее воспользоваться имевшимся у него опытом ликвидации голода 1891 г. Неуклонное приближение этого бедствия ощущалось многими, но именно Сазонов выступил инициатором объединения усилий группы учёных по созданию «новых продуктов питания». В неё вошли 12 специалистов, среди которых были такие признанные «мировые авторитеты» как «химико-физиолог акад. Данишевский и ихтиолог Гримм». Была разработана целевая программа, которую направили в Совнарком. «К главе правительства в 1918 г. делегировали меня и сына члена группы большевика А.М. Игнатьева, — вспоминал Сазонов. — Владимир Ильич *продержал* (подчёркнуто Сазоновым. — *В.З.*) нас на аудиенции 4 часа. Принял братски родственно. Впечатление неизгладимое»[77].

То, что такая встреча состоялась, подтверждает «Биографическая хроника В.И. Ленина», в которой отмечено: в конце 1918 г. «Ленин заслушивает доклад учёного экономиста, общественного деятеля Г.П. Сазонова об организации нового типа культурных хозяйств»[78]. Выдвигавшиеся научные проекты, включавшие и такие фантастичные, как изготовление хлеба из древесины, привлекли внимание «великого мечтателя», и он старался контролировать их разработку и в дальнейшем. «Уже тяжело больной Владимир Ильич при посредстве Н.А. Семашко интересовался работой Общества учёных, — писал Сазонов. — Обещана аудиенция»[79].

---

[77] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.

[78] Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870—1924. Т. 6. М., 1975. С. 379.

[79] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 1. Л. 30—31. В своих воспоминаниях Сазонов часто после нескольких общих слов, не разъясняющих сути событий и предпринимаемых действий, подробно излагал наблюдения, относящиеся к условиям работы и характеристике деталей. Это, если и не подтверждает правдивость рассказчика, то, по крайней мере, создаёт иллюзию достоверности. Автор явно пытался заставить поверить его словам, точно и эмоционально передавая колорит времени и сознательно выдвигая на первый план яркие, легко воспринимаемые, но второстепенные обстоятельства. При этом действительно существенные черты случайно или намеренно стушёвывались. Именно так он описывал и работу Общества учёных. Мимоходом упомянув, что в нём участвовало до 100 чело-

Но Сазонов не был бы Сазоновым, если бы ограничился только организацией научных изысканий. В 1920 г. он создал Совещание учёных с целью заключения с правительством государственного займа на закупку 500 млн пудов продовольственных, кормовых, семенных продуктов. Через 16 часов после получения постановления Совета учёных из СНК пришла телеграмма в 136 слов. «Моя идеология..., — сообщал Сазонов, — целиком признана отвечающей самым великим возвышенным заданиям государственности... В течение трёх дней требовалось прислать делегатов в Москву для окончательного разрешения вопроса». Однако дальнейший ход дела застопорился, а «обстоятельства крайне горестного характера заставили закрыть Совещание»[80]. Что стояло за этими словами воспоминаний, Сазонов не расшифровывал, и остаётся только гадать, возникли ли сомнения у власти в отношении возможности в условиях военного коммунизма проводить столь масштабные закупки или были какие-то другие причины.

По всей видимости, Сазонов пытался реализовывать свои замыслы по отработанной ещё в дореволюционное время методике сближения с людьми, имеющими вес и влияние во властных структурах. Порой этому способствовал и Его Величество Случай. Вот как описывал Сазонов одно из знакомств, сыгравших существенную роль в его дальнейшей судьбе: «В 1918 г. в вагоне Октябрьской дороги разговорился с соседом. Молодой гражданин производит особо выгодное впечатление. Крупный ум, талантливость, большие знания бросались в глаза. Любознательность изумительная». Этой личностью оказался не кто иной, как Н.А. Милютин, занимавший тогда пост «зам. комтруда». С ним «установились наилучшие отношения», и Сазонов рассказал ему о своих разработках, касающихся преобразования про-

---

век, причём «приглашались деятели заслуженные, высшего в науке авторитета» и «никто не отказался», Сазонов затем перешёл к выразительному описанию частностей: «Работа шла с радостным подъёмом, с превеликим одушевлением. Совершенно бескорыстная, без какой-либо поддержки. Только на многочисленные собрания с трудом удавалось исхлопотать 2—3 автомобиля. Отпускались большей частью грузовики. И умилительно и тягостно было видеть, как мировые авторитеты и заслуженные деятели, как акад. Бородин, акад. Курнаков, Немешаев, преклонных лет, иногда даже больше, подсаживая друг друга, тесно усаживались на полу платформы. И только высоко подскакивая, лица искажались страдальчески. Не останавливала и мерзость климата. Вспоминается ряд комических сценок. В действительности совсем не комично. Ночью возвращаемся с Немешаевым под ручку. Снег, слякоть, буря, отчаянная гололедица. На Марсовом поле Немешаев, не удержавшись за меня, шлепнулся навзничь. Ушибленная больная нога заставила застонать. Стараясь поднять, повалился и я. Кругом никого. Потребовались невероятные усилия, чтобы подняться» (РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 1. Л. 31—32).

[80] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.

изводительных сил России, над которыми он трудился давно, таясь в царское время и от власти, и даже от близких. Как предполагал Сазонов, именно Милютин информировал о его идеях М.И. Калинина.

Когда в начале 1923 г. Георгий Петрович прибыл в Москву делегатом от Общества учёных, у него состоялся разговор со «всероссийским старостой», который попросил дать почитать «Проблемы богатств», как назывался уже подготовленный к этому времени труд. Сазонов предложил для начала прочесть хотя бы те или иные его части, относящиеся к пяти наиболее важным проблемам, но Калинин возразил, что хотел бы прочесть всю рукопись, несмотря на её объём (200 страниц): «Дайте все. — Сказал он. — На такие вопросы время найдётся. Завтра возвращу». На следующий день рукопись действительно была возвращена с пометами. «Неожиданно на рукописи оказалась пространная резолюция. Высоко оценив “Проблемы”, Михаил Иванович высказался за необходимость устройства на Всерос[сийской] сел[ьско]хоз[яйственной] выставке отдела экономических проблем. Вскоре в выставочный комитет обратилось несколько комиссаров — Милютин, Яковенко, Семашко..., Аванесов с таким же предложением»[81].

Вдохновенный такой поддержкой, Сазонов решился опубликовать «Проблемы богатств» и обратился к редактору «Известий» Ю.М. Стеклову. Тот первоначально отказывался его принять «по причине занятости». Тогда Сазонов отрекомендовался секретарю Стеклова как бывший редактор газеты «Россия», и сразу же был принят. «— Очень рад видеть Вас, уважаемый Г[еоргий] П[етрович], — начал беседу Стеклов. — Ваши многочисленные труды оказали нам, коммунистам, громадную помощь. Глубокая благодарность Вам. Мы изучали, воспитывались на них. И как изучали! Я, напр[имер], знаю Ваши труды лучше Вас». Далее последовало перечисление работ Сазонова с указанием года их выхода: «Неотчуждаемость крестьянских земель» (1888 г.), «Крестьянская земельная собственность» (1890 г.)... Были названы все 20 сочинений. Главный редактор «Известий» даже приводил запомнившиеся ему детали, например, о том, как в «Ростовщичестве—кулачестве» Ив. Степанов, разорённый и загнанный в петлю, решил убить грабителя: «Ружьё достал, а пули нет. Зарядил картошкой»[82].

Такая расположенность к автору, естественно, позволила ему быстро добиться публикации части материалов уже подготовленной книги в газете. Более того, по свидетельству Сазонова, с мая 1923 г.

[81] Там же. Л. 33—34.
[82] Там же. Л. 34.

они стали спешно печататься[83]. Вероятно, подобный интерес был вызван потребностью новой власти в масштабных проектах преобразования природы, которые одновременно позволяли бы существенно изменить общество, вдохновив трудящихся на подвиг построения царства добра и справедливости на земле.

Никогда не отличавшийся скромностью в оценке собственной персоны и результатов своего труда, Сазонов писал, что «Проблемы богатств» «встрепенули, взбудоражили общественность»: «Подобная возбуждённость, помнится, бывала иногда только в газете “Россия”». Вновь оказал помощь Стеклов: «По его инициативе “Новая Москва” решила издать Проблемы...». Но неожиданно возникли серьёзные трудности: «Вдруг барометр дал резкий скачок. Атмосфера стала враждебной. Предисловие и некоторые ценные проблемы отвергнуты. Дана нелепая обложка “Скрытые силы”. Заговорили, что книга не пойдёт, деньги пропали». Однако пессимистические прогнозы не оправдались. Книга «разошлась в издательстве в неделю, в магазинах — в месяц». «Факт ошеломляющий, — отмечал Сазонов. — Заведующие магазинами заявили, что догадались по газетным публикациям, что за “Скрытыми силами” скрыты Проблемы»[84].

Казалось, все трудности остались в прошлом. Учитывая успех книги, в Институте экономических исследований было решено сделать серию из 10—12 докладов по её материалам, даже напечатали «обширные программы»: «И вдруг президиум НКФ постановляет: Проблемы выходят за пределы интересов НКФ. Одновременно по таким же малоговорящим основаниям Губполитпросвет отказывается утвердить программу лекций в Политех[ническом] музее. Затем 10 издательств отказались дать второе издание Проблем. Наконец, эти и подобные непонятные факты стали понятны. Крупный деятель НКФ сказал:

— Напрасно махнули рукой: против Вас злостная интрига.

— Чувствую это и в других учреждениях, но не понимаю, в чём дело.

— Сокольникову поднесли “Воспоминания” Витте. Утверждает, что Вы — член союза рус[ского] народа. Понятно, ни один коммунистический орган не может оказывать поддержку столь помпезной персоне»[85].

---

[83] Речь идёт о нескольких статьях, напечатанных в 1923 г. в газете «Известия», которые в 1924 г. вошли в брошюру «Проблемы богатств СССР (Скрытые силы)». В ней Сазонов изложил проект социально-экономических преобразований в стране, сочетавший утопические идеи (поворот сибирских рек на юг, перекрытие Берингова пролива) и вполне реализуемые предложения (строительство каналов, обеспечение быстро растущих городов водой и др.).

[84] РГИА. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 1. Л. 35—36.

[85] Там же.

Эта новость оказалась для Сазонова полной неожиданностью. Желая опровергнуть прозвучавшие со стороны Витте обвинения, он подготовил для Г.Я. Сокольникова, возглавлявшего Народный комиссариат финансов, оправдательную записку, но она была признана неубедительной. По словам Сазонова, «наверху» посчитали, что разрешение выступить с докладами будет «как бы признанием Витте клеветником». Однако Сазонов не оставлял надежд, «в интересах самозащиты» написал второе письмо, сославшись на новые, ранее необнародованные факты. Наконец, «Сокольников сдался»: «Доклады состоялись в 7 комиссариатах. Но записка получила огласку только на вершинах служебного Олимпа»[86].

Ни о каком продолжении научной и руководяще-организационной карьеры при новой власти теперь уже не приходилось мечтать. Интерес к личности Сазонова быстро угас. Для него это было, может быть, и к лучшему. Носить в Советской России клеймо черносотенца было небезопасно.

Правда, Сазонов не смирился. По свидетельству В.И. Вернадского, он пытался выхлопотать себе пенсию, указывая на свои научные заслуги, исписал кучу бумаги, «дошел до Калинина», но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. В 1932 г., когда ему уже было за 80, он сильно нуждался, подрабатывал случайными заработками[87].

В феврале 1933 г. Сазонов стал распродавать свой архив. За 200 руб. передал в Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики 10 наименований рукописей[88]. По свидетельству В.Д. Бонч-Бруевича, аналогичные поступления бывали и в дальнейшем. По крайней мере, объём документов в фондах музея увеличился[89]. В то же время свидетельства о жизни Сазонова окончательно исчезают.

...Так и хочется закончить словами об иронии истории. Если Витте и собирался «отблагодарить» Сазонова за его двуличие, самомнение и доставленные неприятности, никакой более утончённой мести он не мог бы придумать. Только едва ли у него могло возникнуть даже предположение о том, в какие времена и при каких обстоятельствах это произойдёт.

---

[86] Там же.

[87] *Вернадский В.И.* Дневники: 1926-1934.М., 2001. С. 232.

[88] НИОР РГБ. Ф. 369. Бонч-Бруевич. К. 449. Д. 46. Л. 1—3.

[89] *Бонч-Бруевич В.* Новые поступления в Московский Литературный музей // Литературное наследство. 1934. № 15. С. 307.

С.П. Карпачёв

Василий Алексеевич Маклаков: русский масон

Литература о видном русском либерале, «наиправейшем кадете» Василии Маклакове весьма значительна[1]. Существует также огромный комплекс источников, отражающих его жизнь и деятельность[2]. Однако масонская судьба В.А. Маклакова не привлекала ещё пристального внимания историков, хотя принадлежность его к цеху вольных каменщиков сегодня не является секретом[3]. Что подвигло талантливого, состоявшегося адвоката с 37-летнего возраста связать свою жизнь с масонским братством? Воспитание? Мировоззрение? Впечатления от западной цивилизации? Влияние друзей? Политическая деятельность? И вообще, почему становятся масонами? А главное — почему остаются?

Василий Алексеевич вырос в высококультурной дворянской семье, будучи сыном отца-дворянина, «разночинца по духу», и матери, принадлежавшей к старинному, богатому роду. Она умерла, когда Василию было 11 лет. Дед Маклакова по отцовской линии — талантливый фантазёр: начинал как врач, выводил особую породу бойцовских петухов, изобретал вечный двигатель, беспроигрышную систему игры в рулетку, заводил молочное хозяйство с сыроварнями, написал драму «Богдан Хмельницкий», поставленную в Малом театре, на старости выучил английский и переводил Шекспира. Его сын — Алексей Маклаков стал профессор офтальмологии Московского университета, являлся автором научных трудов и членом разнообразных учёных обществ, а также гласным городской думы и губернского земства. Он

---

[1] См., например: *Адамович Г.В.* Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек. Париж, 1959; *Дедков Н.И.* Консервативный либерализм Василия Маклакова. М., 2005; *Секиринский С.С.* Маклаковский «ров» и милюковская «пропасть» // Российская история. 2011. № 1. С. 216—218.

[2] *Маклаков В.А.* Речи: судебные, думские и публичные лекции. 1904—1926. Париж, 1949; *он же.* Первая Государственная дума (воспоминания современника). Париж, 1939; *он же.* Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954; *он же.* Власть и общественность на закате старой России: Воспоминания современника. Т. 1—3. Париж, 1936; «Совершенно лично и доверительно!»: В.А. Бахметев — В.А. Маклаков: Переписка. 1919—1951 / Под ред. О.В. Будницкого. Т. 1—3. М.; Стэнфорд, 2001—2002.

[3] *Карпачёв С.П.* Масонская интеллигенция России конца XX — начала XX века. М., 1998; *Серков А.И.* Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001.

был в меру верующим, либеральным и патриотически настроенным сторонником реформ 1860—1870-х гг., выступал за доведение их до конца — до «увенчания здания», под которым понимали тогда конституцию. Алексей Николаевич ценил культуру и образованность, народофильские учения считал просто несерьёзными, а революционные — опасными и мешающими делу реформ. Вторым браком он женился на Лидии Филипповне Ломовской — писательнице, публиковавшейся под псевдонимом «Л. Нелидова». Мачеха Василия состояла во многих обществах и организациях, устраивала лекции, концерты, чтения, вела обширную переписку с общественными и литературными деятелями, в юности была близка к революционным кругам[4].

Домашнее образование Василия Маклакова было типичным для дворянских отпрысков. Дома учили правописанию, арифметике, географии, истории, музыке. В специальной детской библиотеке были книги Ф. Купера, В. Скотта, Ж. Верна. С гувернанткой Василий «научился свободно болтать по-французски», позже появилась англичанка. Немецкому, по воспоминаниям Маклакова, учились плохо, немецких учителей не любили, тем не менее, Шиллера он мог читать в подлиннике. Как и во многих других семьях, учением руководила мать. С её смертью домашнее обучение закончилось[5].

По настоянию отца, который опасался дамского тепличного домашнего воспитания и хотел, чтобы ребёнок пораньше узнал настоящую жизнь с её тёмными сторонами, Василия, вопреки воле матери, отдали в 5-ю московскую гимназию. Гимназист учился отлично, «не был ленив, имел хорошую память», латынь и древнегреческие тексты его не отталкивали. В выпускной характеристике было отмечено, что он «с особенной любовью занимался изучением труднейших отделов грамматик древних языков». Его выпускная работа по латинскому языку была признана лучшей в округе, но золотую медаль он не получил в связи с «дурным поведением»[6].

В.А. Маклакову, как и многим его современникам, университет «казался обетованной землей, оазисом среди мёртвой пустыни», но привлекал он отнюдь «не специальными знаниями, которые в нём преподавали». Выбор факультета поэтому представлялся делом второстепенным. В пику учителям гимназии, ожидавшим от него поступления на историко-филологический факультет, юноша выбрал естественное отделение физико-математического, но вскоре разочаровался: изучение ана-

[4] Русские ведомости. Сб. статей. М., 1913. С. 108; *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. С. 11, 14, 15—16, 21—23, 25, 27, 30—31, 121—123; *Адамович Г.* Указ. соч. С. 15; РГАЛИ. Ф. 331. Описание фонда.

[5] См.: *Маклаков В.А.* Из воспоминаний. С. 32—33.

[6] Там же. С. 37.

томии, ботаники и других специальных дисциплин оказалось для него делом скучным. Студента больше привлекали лекции на гуманитарных факультетах. В 1890 г. Маклаков за участие в студенческой сходке был арестован и исключён из университета. Благодаря хлопотам отца, в университете удалось восстановиться, заодно перейдя на историко-филологический факультет. Здесь под руководством одного из крупнейших русских медиевистов — П.Г. Виноградова он стал серьёзно заниматься наукой. Уже в студенческие годы Маклаков опубликовал статью «Об избрании жребием в Афинском государстве». Университетский курс был окончен с дипломом первой степени. Но к этому времени Василий стал внутренне сознавать, что научная карьера не для него и жилки настоящего учёного, ищущего истину ради её самой, у него нет. К тому же в 1895 г. в возрасте 57 лет скончался его отец, встал вопрос о заработке. В новых жизненных условиях Маклаков решил заняться адвокатурой. Впрочем, это было продиктовано не только материальными соображениями. «Мой короткий жизненный опыт, — писал он, — открыл мне, ... что главным злом русской жизни является безнаказанное господство в ней “произвола”, беззащитность человека против “усмотрения” власти, отсутствие оснований для защиты себя». В торжестве «права» над «волей» — сущность прогресса, полагал Маклаков, а служение этому — призвание адвоката. Однако для того, чтобы стать присяжным поверенным, надо было преодолеть «одно маленькое» препятствие — получить диплом юридического факультета. В 1896 г., после трёхмесячной подготовки, Маклаков экстерном сдал экзамены за весь курс юридического факультета, до конца жизни считая это своим главным «спортивным достижением». В 27 лет он начал адвокатскую практику[7].

Ещё ранее на 20-летнего Василия огромное впечатление произвела первая его поездка с отцом в Париж. Здесь он проявил неподдельный интерес к общественному и государственному устройству республики, обзавёлся друзьями и связями. Русский вояжёр принял деятельное участие в работе парижской студенческой ассоциации, быстро акклиматизировался в новой социальной среде. «Я так привык к свободной жизни во Франции, она стала мне казаться настолько “естественной”, — вспоминал он позднее, — что я почти позабыл уроки России, ту строгость и произвол, которые я испытывал на себе ещё в гимназии»[8]. С конца XIX в. Маклаков «усвоил привычку» ездить за границу, прежде всего — в Париж, на Рождество и Пасху.

В общественную жизнь Маклаков включился со студенческой скамьи, войдя в московское университетское землячество и став од-

[7] Там же. С. 55, 220, 225.
[8] Там же. С. 108.

ним из организаторов панихиды по скончавшемуся 17 октября 1889 г. Н.Г. Чернышевскому. Василий мечтал о создании легальной студенческой организации, наподобие парижской. Во время студенческих беспорядков 1890 г. он пытался уговорить своих товарищей «не губить начатого дела», не мешать формированию уже разрешённого студенческого общества. Однако его арестовали вместе со всеми, поместили в Бутырскую тюрьму, обвинив в принадлежности к «социал-революционной партии», и исключили из университета. После восстановления в нём, Маклаков председательствовал в хозяйственной комиссии при университетском хоре и оркестре, представлявшей собой некое подобие органа самоуправления. Именно с её деятельностью связана первая большая публичная речь будущего адвоката: во время голода 1891 г. он предложил сбор от традиционного концерта в пользу неимущих студентов передать голодающим. Убедив в этом членов комиссии, Маклаков приобрёл репутацию прославленного оратора.

В студенческие же годы он пережил увлечение учением Льва Толстого, и даже провёл одно лето в колонии толстовцев. Конец её был закономерен и поучителен: узнав, что господа очень добрые и злу не противятся, крестьяне для начала увели у колонистов лошадь, а затем пришли и за всем остальным. Несмотря на разочарование в практическом применении идей Льва Николаевича, к самому Толстому Маклаков до конца жизни испытывал глубокое уважение. Будучи дружен с ним и его семьёй, Василий Алексеевич отмечал большое влияние писателя и мыслителя на становление своего мировоззрения.

Унаследованный от родителей общественный темперамент привёл Маклакова в освободительное движение. Во время своих регулярных поездок за границу он делал доклады о положении в России перед специально приглашённой публикой, собиравшейся у П.Б. Струве, М.М. Ковалевского, народника К.В. Аркадского (Добриновича). Несколько позже Маклаков стал сотрудничать с «Освобождением», доставляя в журнал материалы и документы. В России он вошёл в либеральный кружок «Беседа», заняв в нём должность секретаря.

Сам Маклаков начинал отсчёт своей политической деятельности с учредительного съезда кадетской партии, на который, как и в её Центральный комитет, он, по собственному мнению, попал «по недоразумению», однако затем «от всей души принял участие» в партийной работе и стал признанным лидером правых кадетов[9]. Испытывая почти физиологическое отвращение к любым формам массовых революционных движений, он отстаивал путь соглашения с «традиционной

[9] Там же. С. 85, 108, 147, 295, 303, 312, 339, 347; *Маклаков В.А.* Власть и общественность на закате старой России. Т. 1. С. 469, 475, 479.

властью» и убеждал товарищей по партии, что революция не менее опасна, чем самодержавие.

«Домасонский путь» В.А. Маклакова, его родословная духа были типичны для российских вольных каменщиков начала XX столетия. Дворянско-интеллигентские семьи, родители — участники общественного движения, разностороннее домашнее образование, гимназия, университет, увлечение политикой. Всё это было характерными вехами биографий подавляющего большинства отечественных масонов[10]. Но такое же воспитание, такие же условия жизни были у многих представителей русской интеллигенции, не имевших понятия о масонстве или настроенных против него. Яркий пример — младший брат Василия — Николай Алексеевич Маклаков (1871—1918). Братья с небольшой разницей в возрасте, воспитанные в одной семье и занявшие противоположные политические и мировоззренческие позиции. Николай был убеждённым, твёрдым монархистом, оставшись таковым и перед расстрелом ВЧК. Крайний консерватор, реакционнейший министр внутренних дел, неоднократно предлагавший царю в 1913—1915 гг. совершить государственный переворот и разогнать Думу. Здесь есть загадка не только для историков, но и для психологов. Ответ на неё можно найти как в философии и истории масонства, так и в анализе жизненного пути В.А. Маклакова.

Русское масонство возникло под влиянием и в тесном взаимодействии с западной культурой в 1740-х гг. и получило определённое развитие в конце XVIII — начале XIX в. В нём преобладали консервативные течения и настроения. Не случайно специалисты по русскому консерватизму считают масонство того периода его частью[11]. Однако в нём присутствовал и социально-политический радикализм — достаточно вспомнить принадлежность целого ряда декабристов к масонским ложам. Особенностью «королевского искусства» является сочетание в нём самых различных идейных позиций, а культуру масонства смело можно назвать «диалоговой».

Ликвидация масонства 1 августа 1822 г. указом Александра I в значительной мере прервала «диалоговую нить» русской культуры, способствовала распространению идейной нетерпимости русской мысли и чрезвычайной жёсткости общественных отношений, приводивших к социальным взрывам. После указа, вследствие слабой укоренённости ростков западной культуры на русской почве, отечественное масонство постепенно сошло на нет. Только в 1860—1880-х гг. в иностранные (преимущественно во французские) ложи стали вступать

[10] *Карпачёв С.П.* Масонская интеллигенция.

[11] *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм в первой четверти XIX века. Воронеж, 2011.

некоторые российские подданные. В условиях нарастания революционного кризиса в России в их среде возникла идея создания на родине масонских мастерских. Главным инициатором и организатором задуманного стал М.М. Ковалевский, с которым, как уже отмечалось, Маклаков поддерживал контакты с 1890-х гг.

19 апреля 1906 г. Маклакову как члену ложи «Масонский авангард» Великого Востока Франции был выдан масонский диплом. Этот документ представляет собой складывающуюся по вертикали вчетверо книжку (в развёрнутом виде размером 45 на 25 см, в сложенном — 10 на 25 см), обильно украшенную масонской символикой. Из его содержания следует, что Маклаков вступил в ложу 18 апреля 1906 г. и сразу был инициирован в третью степень мастера. Диплом скреплён печатями мастерской и Великого Востока Франции, а также подписями руководителей ложи и Совета ордена. Сохранились также два письма М.М. Ковалевского к Маклакову, датированные 3 и 17 мая 1905 г. В первом из них говорится о возможном приёме Маклакова в масоны в ближайшие дни, а второе уже содержит обращение «дорогой собрат». Это наводит на мысль, что Маклаков ещё в мае 1905 г. был принят в неизвестную мастерскую, а через год перешёл в «Масонский авангард», чем и объясняется приём его сразу в третью степень[12].

Впоследствии Маклаков стал членом-основателем первых в XX в. российских лож «Полярная звезда» (С.-Петербург) и «Возрождение» (Москва). В «Возрождении» он был первым надзирателем[13]. На его петербургской квартире происходила инсталляция «Полярной звезды» в мае 1908 г. высокопоставленными эмиссарами Великого Востока Франции[14]. На ритуале Маклаков исполнял должность оратора[15]. В это время он был возведён в 18-ю, «розенкрейцеровскую» степень Древнего и принятого шотландского ритуала, являющуюся его сердцевиной.

После инсталляции «Полярной звезды» и «Возрождения» русские масоны начали образовывать ложи в провинциальных городах, установили контакты с рядом иностранных орденов, создали свой руководящий орган — Верховный совет, расширили Капитул 18-й степени. Всё это сопровождалось увеличением численности отечественных масонов.

---

[12] Из архива В.А. Маклакова // Российский архив. Вып. 5. М., 1994. С. 426—427.

[13] 2-я офицерская должность в иерархии масонской мастерской, после руководителя ложи — «Досточтимого мастера» или «венерабля».

[14] По масонским правилам на создание ложи должно было последовать разрешение высшего руководства соответствующего масонского ордена, но официальным открытием мастерской являлась её инсталляция (утверждение существования), проведённая по особому ритуалу.

[15] 4-я офицерская должность в иерархии масонской ложи. На обязанности оратора лежит ответственность за соблюдение конституции ордена и правил выполнения обрядов.

Наряду со «старыми» вольными каменщиками, прошедшими школу французского «королевского искусства», в нём появились новые лица, политически ещё больше озабоченные, чем их старшие собратья. Они в 1910 г. смогли оттеснить группу Ковалевского и перевели русское масонство на исключительно политические рельсы, что само собой подразумевало нарушение всех правил и конституций масонских орденов, запрещавших на собраниях касаться политических и религиозных вопросов. Новые русские «дети вдовы» создали парамасонский орден — «Великий Восток народов России» (ВВНР), преследовавший цель объединить в тайную нелегальную организацию представителей всех оппозиционных самодержавию сил. Он разорвал все контакты с мировым масонством, стал проводить чрезвычайно упрощённый обряд посвящения, принимать в свои ряды женщин. Фактически он решал те же задачи, что и созданный в 1915 г. Прогрессивный блок, только на другом — неформальном, личностном или «дружеском» уровне[16].

По отношению к «политическому масонству» Маклаков занял принципиальную позицию: когда ему предложили примкнуть к движению, он заявил о своей готовности содействовать его регуляризации путём установления, как того требуют масонские правила, соответствующих связей с действующими мировыми орденами, но в деятельности «Великого Востока народов России» участия не принял.

Черты масонского мировоззрения проявились и в думской деятельности Маклакова[17], избиравшегося депутатом II—IV Государственных дум и, по общему признанию, являвшегося одним из наиболее ярких и талантливых думских ораторов. Речи депутата определялись, конечно, прежде всего, его политической позицией. Однако на них влияли и его профессия (по ироничному выражению П.Н. Милюкова он и в политике оставался адвокатом), и, в определённой мере, принадлежность к ордену. Большинство его выступлений было посвящено правовым вопросам. Он был ярым и неутомимым сторонником правового государства. С его созданием в России Маклаков связывал прогресс в развитии страны[18]. Речи о военно-полевых судах, о неприкосновенности личности произносились для защиты прав человека. В вопросе об амнистии он продолжил линию

[16] *Карпачёв С.П.* Масонская интеллигенция. С. 56—57; *он же.* Масоны. Словарь. Великое искусство каменщиков. М., 2008. С. 368—370.

[17] Подробнее о думской деятельности Маклакова и других отечественных «детей вдовы» см.: *Карпачёв С.П.* Масонская интеллигенция. С. 179—209.

[18] При этом не до конца прояснённым остаётся вопрос о причинах, пусть косвенного, но соучастия В.А. Маклакова в убийстве Г.Е. Распутина. Можно предположить, что «свинцовые мерзости» российской действительности и чувство бессилия толкали даже искренних законников к крайним неправовым мерам.

своего «собрата» Ковалевского, стремившегося к примирению с традиционной властью. Особо выделяются его думские выступления о веротерпимости, национальном равноправии, о реформировании суда, по проблемам рабочего законодательства, о политической ситуации в стране, о думском регламенте. В III Думе он выступал 128, а в IV Думе — 95 раз, его речи занимают более 950 страниц опубликованных стенографических отчётов.

Как оратор, он часто рассуждал с точки зрения своего предполагаемого оппонента, развивая её внутреннюю логику и показывая, куда она ведёт. При этом ему были присущи осторожность, ответственность, склонность к компромиссу и консолидации сил.

Являясь одним из наиболее известных адвокатов России, Маклаков участвовал в самых громких судебных процессах начала века (в том числе дела о восстании на броненосце «Георгий Победоносец», о вооружённом восстании на Пресне, дело председателя Петербургского Совета рабочих депутатов, Н.Э. Баумана и др.)[19]. Его защита рабочих Сормовского завода, обвинявшихся в проведении политической демонстрации 1 мая 1902 г., привлекла внимание М. Горького. Считая Выборгское воззвание крупной ошибкой, Маклаков тем не менее 1—18 декабря 1907 г. защищал на процессе цвет русской интеллигенции, бросившей вызов самодержавию. Всероссийский и мировой резонанс получило «дело Бейлиса», которого, кроме Маклакова, защищали такие знаменитости, как О.О. Грузенберг и Н.П. Карабчевский. Однако, по единодушному свидетельству лиц, присутствующих на суде, именно речь Маклакова оказала решающее значение на исход дела.

Особенностью его адвокатской манеры было то, что он никогда не произносил речей для общественности или газетных отчётов, всегда обращаясь исключительно к присяжным заседателям или членам суда в интересах и на пользу подзащитных. Не выражая собственных политических взглядов, он оставался исключительно в рамках юридической компетентности. Это свидетельствовало не только о его высоком профессионализме, но и о неуклонной приверженности идее правопорядка как краеугольного камня общественного устройства.

Как и все ведущие адвокаты страны, Маклаков принимал участие в общественно-юридической и литературно-юридической деятельности: делал доклады на собраниях московских присяжных поверенных, входил в комиссию по выработке их резолюций, был делегатом Всероссийских съездов адвокатов. Работы Маклакова внесли вклад в развитие отечественной юриспруденции, в частности, конституционного права.

[19] Подробнее см.: *Карпачёв С.П.* Масонская интеллигенция. С. 210—219.

После Февральской революции Маклаков был назначен Временным правительстом послом во Францию, что вполне соответствовало его желанию (однажды он, шутя, сказал министру иностранных дел П.Н. Милюкову, что охотно бы стал консьержем русского посольства в Париже). 7 ноября 1917 г., в день победы большевистского восстания в Петрограде, Василий Алексеевич прибыл в Париж, став, таким образом, «послом несуществующей страны», а затем одним из лидеров русской эмиграции.

В конце ноября 1917 г. в Париже было образовано Совещание послов, в котором Маклаков стал одной из ключевых фигур. В конце декабря 1918 г. он, будучи членом Русского политического совещания, претендовавшего на руководящую роль в Белом движении, вошёл в состав Русской политической делегации, пытавшейся отстаивать интересы России на Версальской мирной конференции[20].

В эмиграции, сначала выполняя функции посла Временного правительства во Франции, а затем, по мере того как дипломатическая миссия всё более теряла своё реальное значение, в качестве руководителя русского Эмигрантского комитета Маклаков постоянно выступал в роли общепризнанного представителя, помощника, заступника, ходатая, советчика тысяч и тысяч русских людей, пытавшихся найти приют в чужой стране. При фашистской оккупации Франции он за свою общественную, в том числе и масонскую деятельность был арестован и пять месяцев просидел в тюрьме.

Во Франции в начале XX в. соперничали и сотрудничали две Великие ложи: Великий Восток Франции (ВВФ) и Великая ложа Франции (ВЛФ). Их позиции отражали извечный вопрос масонства: трудиться во имя Великого Архитектора Вселенной, совершенствуя «дикий» камень собственной души, или сосредоточиться на улучшении жизни общества, проводя в жизнь моральные установки «королевского искусства». ВВФ был более социально ориентирован, а в ВЛФ основное внимание уделяли моральному совершенствованию своих членов. Бóльшая часть русских эмигрантов, среди которых преобладали консервативно-православные настроения, вступала в ВЛФ. Этому также способствовало и то, что ВВФ поначалу не осудил большевистский режим. В резолюции его Конвента, принятой 21 декабря 1919 г., отмечалась необходимость беспристрастно рассмотреть доктрины и методы республики Советов, акции большевистского

[20] *Будницкий О.В.* Деньги русской эмиграции: Колчаковское золото. 1918–1957. М., 2008. В соответствии с державно-государственническим сознанием русской интеллигенции начала прошлого века, в том числе и Маклакова, национальные интересы России отождествлялись с русским империализмом и колониализмом.

правительства и полученные ими результаты, после чего «масонство должно сопоставить доктрину и практику большевиков с собственным идеалом и принципами..., сформулированными в декларации прав человека и гражданина»[21]. Позиция ВВФ стала меняться лишь в 1920 г. под влиянием массовых свидетельств эмигрантов, вырвавшихся из советской России. Окончательный разрыв с коммунизмом и большевистской социально-экономической и политической практикой последовал только в 1922 г. после IV конгресса Коминтерна, потребовавшего выхода коммунистов из масонских лож. Определённый вклад в эволюцию ВВФ внёс и Маклаков.

Находясь в Париже, Маклаков вернулся 18 февраля 1920 г. в ложу «Масонский авангард» Великого Востока Франции. В ней он неоднократно выступал с «зодческими работами», посвящёнными Первой мировой войне, русско-германским отношениям накануне её, положению в Российской коммунистической партии (большевиков). Посещал он и другие французские масонские мастерские. В частности, в марте 1920 г., практически сразу после возвращения в «Масонский авангард», он участвовал в заседании ложи «Социалистические работники Франции». В конце 1920-х гг. Василий Алексеевич был возведён в степень рыцаря Кадош (30°), соответствующего Ареопага, Суверенного Трибуната (31°), Консистории (32°), а затем достиг вершины масонского посвящения — Генерального инспектора 33-го и последнего градуса Верховного совета Древнего и принятого шотландского устава для Франции. Для получения высших степеней в Философском совете Великой коллегии ритуалов Маклаков прочитал зодческую работу о мировоззрении Л.Н. Толстого[22]. В 1934 г. Маклаков покинул французскую ложу, сосредоточившись на деятельности в русских масонских мастерских. Ещё в конце 1924 г. он вошёл в число основателей русской ложи Великого Востока «Северная звезда» и занимал в ней до середины 1930 г. должность оратора, в 1926 и в 1931—1932 гг. представляя мастерскую на Конвенте Великого Востока Франции. Оставаясь братом мастерской до своей кончины, Маклаков становится в 1930 г. почётным членом ложи, а в 1948 г. — её почётным Досточтимым мастером.

Вместе с известными писателями русского зарубежья М.А. Осоргиным и М.А. Алдановым В.А. Маклаков готовил текст ритуала ложи, участвовал в разработке проектов резолюций «Северной звезды» для Конвентов Великого Востока Франции 1929 и 1930 гг., обсуждавших

[21] Цит. по: *Соловьёв О.Ф.* Масонство в мировой политике XX века. М., 1998. С. 71—72.

[22] *Серков А.И.* Русское масонство. С. 1185, 1186, 1187, 1188, 1191, 1212, 1218.

масонские идеалы и отношение к социализму и социалистическим доктринам. «Зодческие работы» Маклакова в мастерской были посвящены деятельности масонов в «профанском мире» (1926 г.) и положению русской эмиграции (1927 г.). Он также активно участвовал в обсуждении работ братьев («Масонство и демократия», «О масонском воспитании»), в подготовке к приёму в орден новых членов, в частности, дал рекомендацию для вступления в ложу видного деятеля сионистского движения В.Е. Жаботинского[23].

На рубеже 1920—1930-х гг. в «Северной звезде» наметилось два направления. Лидером одного из них был Осоргин, считавший, что обсуждение политических вопросов противоречит уставам масонства, другое представлял М.С. Маргулиес, видевший в борьбе с большевизмом противодействие тёмным силам, обязательное для каждого масона[24]. В результате, в 1931 г. из «Северной звезды» выделилась крайне политизированная ложа «Свободная Россия». Маклаков стал одним из её учредителей, одновременно продолжая работы в своей материнской мастерской. О его деятельности в «Свободной России» до сих пор ничего не известно. Перед войной ложа фактически распалась.

После Второй мировой войны, несмотря на более чем почтенный возраст, Маклаков продолжал масонскую деятельность. 13 мая 1948 г. в ложе состоялось его чествование в связи с 80-летним юбилеем. 8 декабря 1949 г. на праздновании 25-летней годовщины «Северной звезды» Маклаков поделился воспоминаниями о русском масонстве начала XX в., признав, что «масонство было одним из способов политической борьбы». При этом он настаивал на том, что «королевское искусство», в отличие от религии, является уделом избранных. Своими воспоминаниями и личными впечатлениями он делился и при праздновании 50-летия первой русской революции, и на траурном заседании ложи, посвящённом памяти одного из её учредителей — М.А. Алданова[25].

Вскоре после возобновления масонских работ во Франции Маклаков был восстановлен в правах масона 18-й розенкрейцерской степени. При его активном содействии на рубеже 1920—1930-х гг. среди парижских русских вольных каменщиков началось создание лож высших градусов. Большую роль в этом играл и собрат Маклакова по русским мастерским начала XX века — известный российский общественный деятель М.С. Маргулиес. Оба они были хорошо известны как во французских политических кругах, так и среди русской

[23] *Серков А.И.* История русского масонства XX века. Т. II. СПб., 2009. С. 88, 93, 96, 98, 101, 103—104, 109.

[24] Там же. С. 112—113, 119, 126—127.

[25] Там же. Т. III. СПб., 2009. С. 276, 279, 290, 294; РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Д. 527. Л. 4.

эмиграции. Ходатайство об открытии Капитула 18-й степени было подано Маргулиесом в декабре 1928 г., но официально его работы начались только в декабре 1931 г., когда численность русских масонов Великого Востока 18-го градуса достигла 12 человек, что было необходимо для открытия данной структуры. В капитуле Маклаков занял привычную для себя должность оратора.

На протяжении всей своей жизни Маклаков проводил большую благотворительную работу: принимал участие в оказании помощи голодающим крестьянам, был членом комитета помощи нуждающимся студентам Московского университета, содействовал московскому обществу взаимопомощи домашней прислуги. Перечень русских эмигрантских благотворительных организаций, в которых он состоял, занял бы несколько страниц. Волею судеб Маклаков стал одной из главных фигур, распоряжавшихся деньгами русской эмиграции, а в 1950-е гг. он являлся последним и единственным владельцем их остатков. В соответствии с филантропическими идеалами масонства больной, более чем 80-ти летний старик продолжал помогать русским приютам за границей[26].

В. А. Маклаков был яркой и, в значительной мере, типичной фигурой для русского масонства, ориентированного на либерально-демократический Великий Восток Франции с его секулярной практикой и активным участием в социальной жизни. Как и большинство русских вольных каменщиков начала XX в., он имел фундаментальное гуманитарное образование, обладал рационалистическим мышлением, тяготел к европоцентризму, отличался мощным общественно-политическим темпераментом, активно занимался филантропической деятельностью, добивался отмены смертной казни и входил в Лигу её противников. Ему была присуща такая масонская добродетель как патриотизм — желая установления правового государства и включения русской цивилизации в мейнстрим мирового развития, он в то же время хотел сохранить Россию «великой и неделимой» империей и колониальной державой. Как один из руководителей Белого дела и участник французского Сопротивления, он вёл последовательную борьбу с коммунизмом и фашизмом[27]. Особенностью Маклакова-масона было стремление к экстерриториальности масонства, т.е. переноса части его работ в «профанский мир» и неизжитая ещё с дореволюционных времён склонность к политизации «королевского искусства».

---

[26] *Будницкий О.В.* Указ соч. С. 410—413.

[27] В известном эпизоде посещения советского посольства во Франции в феврале 1945 г. проявился скорее опыт политика и дипломата, использовавшего масонскую добродетель — стремление к компромиссам — для смягчения участи эмигрантов, над которыми нависла угроза их репатриации французскими властями. См.: *Толстой Н.* Жертвы Ялты. Париж, 1988.

К.Н. Морозов

Судьба Абрама Гоца[1]

Имя Абрама Рафаиловича Гоца, так же, как и имя его старшего брата Михаила, хорошо известно исследователям истории революционного движения. Судьба братьев сложилась так, что оба они не просто заняли место в руководстве партии социалистов-революционеров, но и сыграли видную роль как в её деятельности, так и в истории русской революции. А.Р. Гоца теоретик ПСР В.М. Чернов в 1917 г. называл вторым человеком в партии: «Самая крупная после Чернова роль неизменно выпадала на долю Абрама Гоца. Очень многое соединилось для того, чтобы выдвинуть его на первый план. ...Ореол, окружавший память рано умершего старшего брата, бросал отражённый свет и на младшего, который напоминал его многими внешними и внутренними чертами. В эпоху самой ожесточённой борьбы партии с самодержавием Абрам Гоц сменил общепартийную пропагандистско-агитаторскую деятельность на специально-боевую, террористическую деятельность, которая в партийном сознании имела наиболее героическую репутацию. При всем этом Абрам Гоц обладал, подобно брату, огромным запасом энергии и умственной настойчивости, вооружённой большим практическим здравым смыслом и "маневренным чутьём", свойственным политику. От старшего брата его существенно отличал, однако, один привходящий психический ингредиент: известная доля воспитанной в атмосфере политического маневрирования хитрости... В то время как Михаил Гоц подкупал сердца величайшей порывистой непосредственностью и искренностью, Абрам Гоц заменял их большим прирождённым тактом и ловкостью, не исключавшими известной скрытности, и уменьем быть, что называется, "себе на уме". Абрам Гоц умел обращаться с людьми, лавировать, избегать резкой постановки вопросов, сглаживать острые углы, "быть с иудеями, как иудей, чтобы приобрести иудеев, и с язычниками, как язычник, чтобы приобрести язычников". В его натуре лежала некоторая намеренная не-

[1] Статья написана в рамках научно-исследовательской работы по теме «Альтернативные левые концепции государственного переустройства России: причины неудачи», выполняемой в ЦГИ РАНХиГС в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2013 год.
Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-01-00322) и Фонда Герды Хенкель (стипендия 2010 г., проект «Нереализованная альтернатива: партия социалистов-революционеров в эпоху войн и революций (1914—1922) и её "третий путь"»).

договорённость и склонность не выступать с вполне открытым забралом; игру "в закрытую" он предпочитал открытой. Непосредственное ощущение своего подлинного "искусства политического маневрирования" направило одно время этого крупного политического работника в мелководное русло так называемой конъюнктурной политики и даже в ещё более мелкое русло политики чисто кулуарной. ...Из революционера Абрам Гоц превращался в дипломата, в хитроумного политического шахматного игрока, чей успех зависит от уменья до конца разгадать план противника, свой же план замаскировать до полной неразгадываемости. Абрам Гоц неустанно плёл эту тонкую политическую ткань — нити рвались, плетенье распускалось, Абрам Гоц снова связывал концы, чинил, заплетал и продолжал закруглять своё политическое кружево. Происходи всё это в нормальное, устоявшееся время, когда течение исторической жизни нашло свое естественное русло, эта работа имела бы, вероятно, свой конструктивный смысл; но в эпоху революционного половодья она поражала своей бесплодностью и сгущала вокруг себя атмосферу нетерпения. Предаваться ей значило дразнить массовую стихию, и без того доведённую почти до белого каления»[2].

И в то же время Чернов восклицал в своих мемуарах: «Гоц обладал абсолютной отвагой — так, как бывают люди, обладающие абсолютным слухом. Эта его отвага, эта его абсолютная неустрашимость звучала в каждом звуке его голоса, светилась в каждом его взгляде, ощущалась в каждом его жесте. Чувствовалось, что он олицетворение негнущейся воли. Она гипнотизировала, она обескураживала, давала раз и навсегда понять, что от неё не отделаешься никакой выходкой. К тому же этой воле соответствовала не менее абсолютная выдержанность. "Железная рука в бархатной перчатке" была у него (не культивирована искусственно; это было соединение как будто натуральное и прирождённое)»[3].

Очень ёмкую характеристику А.Р. Гоцу дал М.В. Вишняк, знавший его с детства: «Гоц имел влечение к науке и данные к тому, чтобы ею заниматься. Но жизнь — и сознание долга — увели его от науки. Не греша склонностью к марксизму, Гоц принадлежал не к тем, кто, по словам Маркса, ищут, как объяснить мир, а к тем, кто считают необходимым "изменить мир"»[4].

Личные судьбы обоих братьев полны драматизма, и жизни их оборвались преждевременно. Старший умер в 1906 г. от опухоли спинного моз-

---

[2] Протоколы заседаний ЦК Партии социалистов-революционеров (июнь 1917 - март 1918 г.) с комментариями В.М. Чернова / Под ред. Ю.Г. Фельштинского и Г.И. Чернявского // Вопросы истории. 2000. № 8. С. 5–6.

[3] *Чернов В.М.* В партии социалистов-революционеров: Воспоминания о восьми лидерах / Под ред. А.П. Новикова и К. Хузер. СПб., 2007. С. 389.

[4] *Вишняк М.В.* Дань прошлому. Нью-Йорк, 1953. С. 144.

га, развившейся в результате травмы позвоночника, нанесённой ударом приклада винтовки во время «усмирения» вооружённого выступления 33-х политических ссыльных в 1884 г. («якутская трагедия»). Младший умер в 1940 г. в Краслаге. Написанное об А.Р. Гоце его современниками и историками[5] позволяет лучше понять как значимость этого человека, так и тот трагический путь, который он прошёл до самого конца.

По свидетельству М.Р. Гоца, его с Абрамом родители в 1867 или 1868 г. переселились в Москву из Ковенской губ., где семья бедствовала (дети ходили босиком). «Молодые годы не предвещали в нём будущего купца, — вспоминал М.Р. Гоц об отце в своих так целиком и не опубликованных мемуарах[6]. — Один из тех бедных еврейских юношей, которые своими способностями и ранним пониманием сложных вопросов талмудистики выделяются в общине и предназначаются к раввинскому званию, он был отправлен своим отцом-шинкарём маленького городка в знаменитый “ешибот” (высшее духовное училище). Может быть, его побуждало к этому смутное семейное предание, что из среды нашего семейства вышло много знаменитых раввинов, что один из них своим прозванием дал нашу фамилию (gaon zedek — “святой мудрец” — из начальных букв Goz). В те времена молодые “учёные” высоко ценились еврейскими богатеями. Слух о больших талантах отца распространился по всей округе, результатом чего была женитьба отца на дочери одного из таких богатеев. И вот под давлением нужды — учёный обратился в приказчика. Погибли мечты только начавшего развиваться ума. ...Редко я встречал человека, который при наружной холодности был

---

[5] *Вишняк М.В.* Указ. соч.; *Зензинов В.М.* Пережитое. Нью-Йорк, 1953; В.М. Перед бурей. М., 1993; *он же.* В партии социалистов-революционеров...; *Jansen M.* The Trial of the Socialist Revolutionaries, Moscow 1922. Martinus Nijhoff Publishers, 1982; *Янсен М.* Суд без суда. 1922 год. Показательный процесс социалистов-революционеров. М., 1993; *он же.* Е.М. Тимофеев и другие члены ЦК ПСР после процесса 1922 г. // Минувшее. Вып. 7. М., 1989. С. 193—214; Партия социалистов-революционеров после октябрьского переворота 1917 года: Документы из архива П.С.-Р. / Под ред. М. Янсен. Амстердам, 1989; *Ерофеев Н.Д.* Гоц Абрам Рафаилович // Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия. М., 1996. С. 162; Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь—август 1922). Подготовка. Проведение. Итоги / Сост. С.А. Красильников, К.Н. Морозов, И.В. Чубыкин. М., 2002; *Морозов К.Н.* Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние (1922—1926): этика и тактика противоборства. М., 2005; *он же.* Историко-правовые аспекты реабилитации подсудимых процесса социалистов-революционеров 1922 года // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. Т. 2. Вып. 1. Новосибирск, 2006. С. 47—55.

[6] Попытки издать их предпринимались в 1920-е гг. как за границей, так и в России, куда переслали рукопись, сохранившуюся в фонде М.Р. Гоца в ГА РФ. В одном из недавних выпусков альманаха «Еврейский архив» опубликована статья о М.Р. Гоце с обширными цитатами из его воспоминаний.

так сильно проникнут любовью к семье. ...Не забуду никогда его ужасного лица, когда полицейские уводили меня, арестованного, его печали, насильно подавляемой, во время наших тюремных свиданий»[7].

Рафаил Гоц поступил приказчиком к тестю, занимавшемуся чайной торговлей (позже ставшему известным чаеторговцем-миллионером), и первые годы жизни Михаила Гоца семья ютилась в «подвальных этажах домов столицы». Позже пришло благосостояние и даже богатство.

Семейная атмосфера была противоречивой, и не она толкнула Михаила и Абрама на путь революции и борьбы за высокие общественные идеалы. «Всё, что касалось наших материальных удобств, делалось, а в остальном предоставлялась полная свобода, — отмечал М.Р. Гоц. — Так искони было заведено в том маленьком городке, где проживали несколько поколений нашей семьи, перенесено и в новую лощёную столичную обстановку. Западали в нашу душу случайно хорошие впечатления от хороших людей, — являлась возможность высшего развития. Не было бы этого, мы повторили [бы] органический рост первых поколений, поделались бы купцами, адвокатами и пр. Но, не влияя сознательно, зала вносила своё растлевающее влияние не менее успешно. Устав от своих дел, от вечной погони за средствами существования, затем — обеспеченности, старшие члены семьи знали только одно удовольствие — карты. ...Конечно, это удовольствие не замедлило перейти в детскую»[8].

Схожая обстановка в целом сохранялась в семье и в юношеские годы Абрама. Решающее влияние на выбор его пути оказал старший брат, о чём сам Абрам проникновенно напишет В.С. Гоц (вдове Михаила) в Париж в феврале 1931 г. по дороге из ульяновской ссылки в казахстанскую: «Помнишь, Веруша, как я в 96 (или 97 году) впервые приехал к вам — к Мише и тебе, — отбывавшим тогда ссылку на поселении в Кургане, юным гимназистиком? Помнишь, как выскочил раздетый из вагона и бросился на шею маленького бородатого человека, которого я знал только по письмам и карточке? До того — старший брат был для меня отвлечённым образом, загадочным и таинственным, почти запретной темой, о которой дома говорили с нами — младшими детьми — неохотно. Я только знал, что у меня на каторге есть брат, который пострадал за правду. Но за какую — я тогда ещё не знал и не догадывался. Но образ этого брата, заброшенного в далёкую холодную Сибирь и оторванного от семьи, волновал моё юное воображение и мечта когда-либо повидать этого человека была моей самой заветной. Ещё не зная его, ещё не понимая его идей — я уже верил, что правда на его стороне. И когда я увидал его — такого добро-

[7] Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (Nanterre, France) (BDIC). F delta Res 806 Carton 4/10.
[8] Ibidem.

го, чуткого, сердечного, так не похожего на всех людей, которых я видел дома, я всей душой полюбил его, и он вошёл сразу в мою душу не только как брат, но и как наставник, руководитель, высший моральный авторитет. Идти по его пути — стало для меня высшей целью»[9]. «Увидев их вдвоём, — вспоминал Чернов, — я скорее подумал бы об отце и сыне, чем о двух братьях. В нежности Михаила к брату проскальзывало ещё больше заботливо-отцовского, чем братского чувства; а тот в свою очередь, видимо, перед старшим братом благоговел и преклонялся»[10].

Годы не изменили этого отношения. В честь своего старшего брата Абрам назвал своего первенца, передав своим детям глубокое уважение к Михаилу[11].

Идеи общественного и революционного движения привлекли А.Р. Гоца ещё во время учёбы в реальном училище, в которое он поступил в 1896 г. После его окончания Абрам по совету брата поступил вольноопределяющимся в полк близ Одессы, где в это время обосновался после курганской ссылки Михаил Гоц. В 1900 г. А.Р. Гоц отправился учиться на философский факультет Берлинского университета и стал одним из членов кружка «грызунов науки» (М.Р. Гоц), «галлов» (О.С. Минор), или «германо-эсеровского выводка» (В.М. Чернов) — группы студентов, в 1899—1904 гг. слушавших лекции в Берлинском, Галльском и Гейдельбергском университетах (А.Р. Гоц, Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов, И.И. Фондаминский, В.В. Руднев, Д.О. Гавронский, М.О. Цейтлин и др.). В 1899—1900 гг. центральной фигурой этого «выводка» был Авксентьев, чьё лидерство признавали, по словам Чернова, все члены «целого кружка незаурядных людей, сыгравших немалую роль в истории партии социалистов-революционеров то как единое целое, то порознь»[12]. Как утверждал Чернов, в кружке «жил какой-то культ двух людей, которых иные, впрочем, знали больше понаслышке, чем по личному опыту: Михаила Гоца и Матвея Исидоровича Фондаминского, брата известного впоследствии Ильи Исидоровича Фондаминского-Бунакова»[13]. Члены кружка твёрдо решили, что прежде чем они уйдут с головой в партийную работу, они должны как следует к этому теоретически подготовиться. Большинство из них изучали философию и хотели «под народническую политическую

[9] Ibid. Carton 1/4/12.
[10] *Чернов В.М.* В партии социалистов-революционеров... С. 372.
[11] «Верушенька, — писала его жена Сара к В.С. Гоц в феврале 1931 г., — ты наверно не получила письма от Олески (младшая дочь Абрама и Сары Гоц. — *К.М.*), в котором она просит тебя выслать ей большой портрет дяди Миши» (BDIC. F delta Res 806 Carton 1/4/14).
[12] *Чернов В.М.* Перед бурей. С. 189.
[13] Там же. С. 187.

программу и неонародническую философию» подвести «не столько Лаврова и Михайловского, сколько Канта и Риля»[14].

В.М. Зензинов вспоминал об ироническом отношении М.Р. Гоца к «философским увлечениям» своего брата и его друзей (включая самого мемуариста): «Их позитивистическое поколение, старше нашего на 12—15 лет, считало философию излишней роскошью в арсенале революционера и общественного деятеля. Мы же полагали, что под наши революционные чувства необходимо прежде всего подвести фундамент философии и науки»[15].

Весьма любопытно, что в 1903 г. после ареста Г.А. Гершуни и разгрома целого ряда эсеровских организаций (в том числе саратовской, выполнявшей функции ЦК), когда многие руководители партии стали всерьёз опасаться за её судьбу, М.Р. Гоц и О.С. Минор, отправившись в Германию, попытались призвать «галлов» поехать в Россию, спасти ситуацию. По словам В.М. Чернова, в течение суток они пытались убедить Н.Д. Авксентьева, А.Р. Гоца и В.М. Зензинова, «что никогда ещё в развитии партии не было такого ответственного и критического момента, когда сплочённый кружок мог бы золотыми буквами вписать своё имя в её историю. ...Группа, и особенно Авксентьев, стояла на своём. “Нельзя ничего делать наполовину, все мы будем партии полезнее, доведя до конца своё академическое образование”, — говорил Авксентьев. Вернувшись в Женеву, Михаил Гоц в раздумье говорил: “Почём знать? Может быть, они и правы. Они имеют лишние против нас шансы дожить до той счастливой поры, когда и полнота академического образования будет иметь большое значение. А мы, “старики”, знаем, что на наш век хватит тюремного академического стажа”»[16].

Сам Чернов также бы склонен оправдывать «грызунов»: «Отправься они на работу тогда же, в 1903 году, они, быть может, растерялись бы, попав прямо на свежее пепелище партийного пожара, и обжегши себе пальцы, томились бы по гиблым местам ссылки. А позже, на рубеже 1904—1905 годов, они застали в России конъюнктуру, как нельзя более благоприятную. ...Именно в этот момент выход на политическую арену целой группы образованных, хорошо спевшихся между собой и развивших свои способности как ораторов и полемистов молодых людей дал максимум своего эффекта»[17].

Быстрее, чем у всех остальных, прервалась партийная карьера у А.Р. Гоца, с 1904 г. занимавшегося организационной работой в Мо-

[14] Там же. С. 190.
[15] *Зензинов В.М.* Пережитое. С. 81.
[16] *Чернов В.М.* Перед бурей. С. 192.
[17] Там же. С. 208.

скве. В недатированном письме к брату, говоря о партийном хозяйстве, он восклицал: «Только теперь чувствуем все, сколь ощутительно для хозяйства твоё отсутствие, нет головы... Иван — крупный человек, с большой волей и большой выдержкой, но не политик, не государственный ум, а он ведь самый выдающийся»[18]. Увы, но только несколько лет спустя А.Р. Гоц узнает, что был у «Ивана» — Е.Ф. Азефа — ещё один очень важный «недостаток» — служба платным секретным сотрудником Департамента полиции.

По свидетельству В.М. Чернова, А.Р. Гоц, вступив в Московский комитет ПСР, взялся за подготовку покушения на градоначальника графа П.П. Шувалова, вскоре убитого членом московской боевой дружины. В ноябре 1905 г. А.Р. Гоц формирует в Петербурге рабочие боевые дружины, а через месяц просит разрешения вступить в Боевую организацию ПСР и становится её членом. «Он сразу же был принят и встал на работу, — писал Чернов, — под видом извозчика он ведёт слежку за дачей министра внутренних дел Дурново. И вот почему я не встретил его на Иматровском съезде. План БО состоял в почти одновременном уничтожении министра внутренних дел и его соратника, министра юстиции Акимова»[19].

В.М. Зензинов позже вспоминал о своей конспиративной встрече с «извозчиком» Гоцем: «На углу стоял извозчик. Извозчик, как извозчик — таких в Петербурге тысячи. Не лихач, но и не “Ванька”, как зовут плохих. Он сидел в полуоборота на козлах, в зубах была папироса. Неужели это Абрам? Не может этого быть! Я прошёл мимо, но заметил, что извозчик вглядывался из-под тяжелой шапки в меня. Я повернулся, как будто вдруг что-то вспомнил и громко его окликнул: — “Извозчик!” — Он встрепенулся. — “Пожалуйте, барин, пожалуйте!” — Он бросил окурок. — “Свободен?” — Теперь я его узнал. Его глаза смеялись»[20]. Гоц рассказал о своей «извозчичьей» жизни: «...Знаешь, это оказалось не так трудно, как я думал. Надо было, конечно, привыкнуть, научиться ходить за лошадью, за санями. На нашем дворе меня уважают: “Алёша — парень обстоятельный, на него можно положиться”. Выезжаю я аккуратно по утрам, целый день на работе. Иногда до трёх рублей в день зарабатываю.

...Однажды его неожиданно остановил на улице городовой близ Царскосельского вокзала. Остановил и стал пристально в него вглядываться.

— А ведь ты, сукин сын, жид! Идём в участок!

Абрам сорвал с головы шапку и закрестился.

— Что ты, дядюшка, Христос с тобой, какой я жид!

---

[18] BDIC F delta Res 806 Carton 1/4/12.

[19] *Чернов В.М.* В партии социалистов-революционеров... С. 383.

[20] *Зензинов В.М.* Пережитое.

Потом он быстро расстегнул на груди кафтан и показал городовому нательный крест.

— Господи! Какой же я жид?! Никогда таким не был. Я из Рязани. Служил ефрейтором в Самогитском полку, имею знаки отличия за отличную стрельбу. В Петербург вот приехал, думал копейку заработать, а ты лаешься: жид!..

Городовой улыбнулся.

— Ефрейтором, говоришь, был? Я — тоже ефрейтор.

Через минуту они разговаривали уже дружелюбно.

— Ну, поезжай, поезжай, не задерживай движения. Ефрейтор!

С большим юмором Абрам рассказывал, что в него влюбилась кухарка с соседнего двора. Он уклонялся от её любовных авансов, объясняя своё поведение тем, что он уже "крутит" с кем-то любовь...

Забегая немного вперёд, скажу, что эта кухарка сыграла в его жизни роковую роль. Когда Абрама Гоца через четыре месяца арестовали уже совсем по другому делу (он следил в Царском Селе за царскими выездами — тогда готовилось покушение Боевой организации на царя; на этот раз Гоц был одет богатым барином), ему предъявили обвинение, что он переодетым извозчиком ездил по Петербургу для подготовки покушения. Гоц это с негодованием отрицал. Но вдруг на суде появилась новая свидетельница — эта самая влюбившаяся в него кухарка. Увидав его, кухарка всплеснула руками и крикнула: "Алёша, милый ты мой!". Дальше отрицать свою роль Абрам Гоц уже не мог. Он получил восемь лет каторги»[21].

Арестован А.Р. Гоц был в Царском Селе, где он изучал возможности покушения на царя. «Я по Вас, мои родные, очень стосковался, — писал Абрам своему брату Михаилу 24 августа 1906 г. из Петропавловской крепости, — много о вас думаю и мечтаю о свидании. Когда-то? "Темна вода в облацех". Ничего в волнах не видно... Капризы истории, как и пути Господни, неисповедимы. "То улыбнётся, как ребенок, то захохочет как русалка"... Да, история великая фантазёрка; в лучах её фантазий меркнут и бледнеют все наши даже самые смелые мечтания и планы в стиле 1001-ой ночи. Порой она завязывает такие замысловатые узлы и

[21] Там же. Этой странице своей жизни А.Р. Гоц посвятил небольшой мемуарный очерк, написанный им уже в 1920 г. в Бутырской тюрьме. Отдельные листы, изъятые чекистами при переписке, были приобщены к следственному делу (ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Фонд судебного процесса с.-р. 1922 г. «Дело по обвинению А.Гоца и др.». Т. 104. «Дело по обвинению Гоца Абрама Рафаиловича»). Тем не менее рукопись всё же была передана товарищам за границу и отрывок из неё опубликовали уже после того, как стало известно о смерти автора (*Гоц А.Р.* Из недавнего прошлого: (Отр[ывок] из воспоминаний) // За Свободу. Издание Нью-Йоркской группы ПСР. 1947. № 18. С. 144—147).

причудливые петли, что смертному остаётся молча снять шляпу и преклониться перед её иронией. ...Мне вспоминается фигура Петра Бернгардовича, который — a la строитель Сольнес, карабкается по куполу нашего византийско-татарского храма, чтобы увенчать его шпицем в пуританском стиле в виде учения “King in parliament”. До чего может доводить умных людей страсть к прожектёрству. Лёгкое дуновение ветра и наш lex fundamentalis оказывается совсем не фундаментальным и рассыпается как туман предутренний от восхода солнца. Слабая волна и величественное здание свободы, как карточный домик, рушится вмиг, и лишь прах и пыль говорят о том месте, где легкомысленные новгородцы пытались взрастить древо свободы. Да, история великая фантазёрка. Но её фантазии всегда глубоко поучительны. ...Какие перспективы на будущее открывают все эти события, что “день грядущий нам готовит” — не знаю. Из моего маленького решётчатого окна вдаль не видать»[22].

А.Р. Гоц стоически переносил заточение, но во втором письме к брату, написанном в это же время, проскальзывала нотка горечи за то, что многие его письма не доходят до адресатов, а посланные к нему также «теряются в канцелярских песках»: «Аукаешь, аукаешь, но никто не откликается, ажно и самому надоедает кричать. ...О себе много писать нечего. Много читаю, думаю, в общем время проходит довольно незаметно и прытко, хотя бывает порой и тоскливо и тошно. Тоскливо — потому что разлинованная и размеренная жизнь, какую приходится вести, мне не по нутру. Тянет туда, где кипит и бьёт ключом жизнь. “Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края”... Погрузиться всецело в науку, погасить в себе все порывы на этот раз не удаётся; слишком ярка и определённа та жизнь, из которой вырвала судьба, слишком сильны её впечатления, чтобы скоро примириться со своим вынужденным бездельничеством. Ведь тюрьма это сплошное и непрерывное бездельничество. Однако кончаю, больше 4 страничек нам не полагается, до следующего раза. Пока до свидания, мои горячо любимые. Когда-то увидимся? Моя телега, кажется, всеми 4-мя колесами увязла в песку, а кругом... мёртвая зыбь. “Мы ждали бури, бури нет, её тревожные раскаты неслись, минуя нас”... Значит, нескоро! Пока, крепко обнимаю»[23].

Известие о смерти Михаила застало Абрама в тюрьме и тяжело им переживалось. «Моя родная, дорогая Веруша, — писал он жене брата 19 февраля 1907 г., — я не писал тебе так давно, потому что не мог освободиться от гнёта мыслей и воспоминаний, вызванных известием о смерти Миши. За последние 3—4 месяца меня всё время не покидало какое-то тёмное предчувствие, я чувствовал, что наше свидание в мае

[22] BDIC F delta Res 806 Carton 1/4/12.
[23] Ibidem.

было последним. Нехорошо, что так долго утаивали от меня правду. Такие вещи не скрывают, они одинаково болезненно переживаются и никогда не забываются при всякой обстановке. Ну, да об этом толковать теперь нечего... Мне очень больно, что я не мог быть тебе полезным в трудную минуту, да и сейчас, чем я могу тебе помочь? Я могу лишь дать тебе мою глубокую любовь и моё глубокое горе»[24]. Чуть позже А.Р. Гоц спрашивал жену брата: «Я слышал, что Павел (Б.В. Савинков. — *К.М.*) собирается писать биографию Миши. Так ли это? Я был бы очень счастлив, если бы это оказалось правдой. Никто лучше — убеждён — с этой задачей не справится. Напиши мне — беседовала ли ты с ним об этом. ...Доследование закончено и дело снова направлено в судебную палату»[25].

В 1907 г., по окончании следствия А.Р. Гоца перевели из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения. «С этого дня было точно известно, когда выводили на прогулку группу Гоца, — вспоминал М.В. Вишняк, — взрывы громкого смеха то и дело врывались в моё окно. Гоц наладил регулярный обмен письмами. Его письма, как правило, были интересны, порой остроумны, но стилистически старомодны. Он не боялся стереотипных выражений, образов и сравнений. Фразы его были громоздки — на немецкий лад. Теоретически же социология Зиммеля оставалась для него вершиной мудрости, оспаривать которую он сам не решался, а попытки других не одобрял»[26].

Пребывание в Доме предварительного заключения Вишняк назвал «переломным периодом в личной жизни Гоца»: «По окончании медицинского образования за границей, проездом в свою Пензу, приехала в Петербург жизнерадостная и очаровательная Сарочка, как все её называли, Рабинович, с которой Гоц и я были давно знакомы, а я особенно подружился перед своим отъездом из Берлина. Ко мне на свидание она придти не решалась и ограничилась присылкой роз. К Гоцу же Сарочка пришла на свидание по праву дальнего свойства»[27]. Их отношения стремительно развивались, и с 1908 г. Сара Рабинович начинает хлопотать о разрешении выйти замуж за каторжанина А.Р. Гоца.

В марте 1908 г. Гоц был приговорён к восьми годам каторги. «Проездом из Питера во Владимир был в Бутырской тюрьме, — 7 августа того же года писал он Вере Гоц. — Пребывание в ней пробудило целый рой старых, старых полудетских и почти забытых воспоминаний о моём первом посещении этой тюрьмы. ...О себе писать интересного

[24] Ibid. Carton 1/4/13.
[25] Ibid. Carton 1/4/12.
[26] *Вишняк М.В.* Дань прошлому. С. 143—144.
[27] Там же. С. 144.

нечего. Чувствую себя прекрасно, засел опять за серьёзные занятия, благо условия благоприятные. Я очень доволен, что устроился в России, здесь как то не так остро чувствуешь своей оторванности и заброшенности. Авось сюда и вести от друзей будут чаще долетать. ...Пиши мне, Веруша, побольше и почаще. Мой адрес: Владимирское исправительное арестантское отделение, одиночный корпус, каторжанину-»[28].

Впрочем, пребывание в Бутырке было отмечено не только воспоминаниями о прошлом, но и вымогательством начальника тюрьмы, который откровенно «доил» богатого отца каторжанина, не останавливаясь даже перед требованием «хорошего нового пианино»[29]. «Сегодня ровно семь месяцев со дня произнесения приговора и если бы только я не потерял года по вине адвокатов, тогда бы теперь мне было совсем рукой подать до вольной команды, — 5 октября 1908 г. писал Абрам Вере Гоц. — Занятия понемногу наладились. Трудно систематически работать, сидя вдвоём в одной камере. Физически чувствую себя прекрасно, здоров и бодр как всегда. Одно меня лишь сильно огорчает — за время сидения у меня несколько ослабла память, а сижу-то всего 2½ года, ежели так дальше пойдёт, то мне угрожает приятная перспектива превратиться в Анютку беспамятную»[30].

В январе 1909 г. А.Р. Гоца перевели в одну из московских тюрем. «Вот уже ровно год как он в Москве, — сообщала его невеста Сара В.С. Гоц 19 января 1910 г. — Теперь всё-таки лучше, чем в прошлом году. Он теперь много занимается философией. Кроме того изучает франц[узский] язык. Настроение у него ничего себе. С ним в камере сидит ещё один интеллигент доктор. Я ужасно рада. Он их стукает, слушает, и даёт разные практические советы, как всего лучше сохранить себя. ...У меня почти всё по-старому, работаю в больнице и целый день верчусь то туда, то сюда. Немножко утомительно, что у нас слишком много знакомств и поэтому совсем не приходится заниматься, но утешаю себя, что у Абика хватит образованности на нас 2-х, а затем всё думаю наверстать в Сибири. Боюсь, впрочем, что нам долго не дождаться её»[31].

Очевидно, речь шла о Бутырской тюрьме, в которой в 1906 г. было создано каторжное отделение, но в целом она продолжала называться Московской центральной пересыльной тюрьмой, штамп которой стоит на письме Абрама к Вере Гоц от 6 августа 1911 г. В нём он сетовал на то, что родные ему подолгу не пишут: «Такие перерывы крайне тягостны потому, что навевают настроение оторванности и отчуждённости. Чувствуешь, как

[28] BDIC F delta Res 806 Carton 1/4/13.
[29] *Чернов В.М.* В партии социалистов-революционеров... С. 383.
[30] BDIC F delta Res 806 Carton 1/4/13.
[31] Ibidem.

между тобой и родными вырастает стена непонимания и отчуждённости. ...Немного внимания с их стороны, и жизнь наша была бы окрашена в более радостные цвета»[32]. Судя по письмам Сары Рабинович к В.С. Гоц в январе и феврале 1911 г., А.Р. Гоца чуть было не перевели в Шлиссельбург из-за какого-то навета на него, очевидно, как-то связанного с выступлением заключённых в столярной мастерской Бутырок в январе 1911 г.[33]

5 сентября 1911 г. Сара Рабинович была арестована вместе с группой эсеров и выслана в Тверь[34], откуда 28 марта 1912 г. писала В.С. Гоц: «Сегодня Аб[рама] отправляют в Александровск. Мы оба довольны очень. Так хочется верить, что всё будет хорошо, что это начало нашей будущей жизни, и в то же время так тревожно. Так бы хотелось приподнять завесу и заглянуть в будущее. Чувство радости во всяком случае у нас сейчас преобладает: может, там повенчают и сможем жить вместе»[35].

А.Р. Гоц отправился в знаменитый Александровский централ близ Иркутска, а в апреле 1912 г. Сара добилась разрешения на переезд из тверской ссылки под гласный надзор в Иркутск, о чём радостно сообщала В.С. Гоц: «Еду точно не в ссылку, а в какую-то Аркадию»[36].

Наконец, 8 августа 1912 г. Сара Рабинович и Абрам Гоц обвенчались. «Венчались мы крайне торжественно, — писала Сара Вере Гоц. — Всё было, как у людей... Даже белый букет был преподнесён женихом. Посторонних никого не допустили, зато администрация была вся в парадной форме и вся налицо. После венчания у нас было час личное свидание, а затем начался “пир” у меня дома. Пришли все командские дамы и проч[ая] публика. Аб[рам] очень счастлив, что повенчался, теперь не дождётся рабочей команды. Принципиально всё решено, но чинятся всё какие-то препятствия. ...Приехала я сюда на месяц и с тоской думаю, что осталось всего две недели»[37].

В эти же дни А.Р. Гоц писал своему отцу: «Дорогой, горячо любимый папа, третьего дня мы, наконец, повенчались с Сарочкой. Сбылась мечта, о которой я так много и долго думал, к которой стремился всеми силами души. Венчал нас иркутский раввин, очень милый и интеллигентный человек, который передал мне, между прочим, привет от тебя, — проездом он был у тебя в Москве. И мне было только мучительно жаль, что тебя не было рядом с нами, и ты не мог радоваться вместе с нами нашей радостью. И меня и мою Сарочку одина-

[32] Ibidem.
[33] Ibidem.
[34] Государственный архив Тверской области. Ф. 56. Оп. 1. Д. 1 3386. Л. 1. Сведения предоставлены О.В. Ванюшиной.
[35] BDIC F delta Res 806 Carton 1/4/14.
[36] Ibidem.
[37] Ibidem.

ково огорчала мысль, что первыми не могли обнять тебя и её стариков. И мы утешались только тем, что душой вы всецело с нами... В физическом отношении чувствую себя прекрасно, давно уже не чувствовал себя таким бодрым, как теперь. А настроение, да разве может быть у меня плохое настроение, когда я знаю, что рядом со мной живёт и моя Сарочка. Занимаюсь пока довольно мало, всё ещё никак не могу наладить регулярные занятия, ну, да это неважно — впереди ещё много, к сожалению, слишком много, свободного, незанятого времени»[38].

В декабре 1912 г. А.Р. Гоц, судя по его письму к В.С. Гоц, вышел в рабочую команду: «Первые дни “свободы” пронеслись так быстро, незаметно, что я буквально не успевал ничего делать. Только сейчас начинаю понемногу приходить в себя, до сих пор ещё не могу поверить, что то, о чём я так долго напряжённо мечтал — сбылось... Я переживаю сейчас лучшие дни моей жизни. ...Сижу сейчас я в избушке у моей Сарочки»[39].

В следующем году супруги Гоц стали родителями. «...Получили твое поздравительное письмецо, — писала Сара Вере Гоц 13 октября 1913 г. — Спасибо тебе родная наша не бабушка, а сестрица. Мишутка наш очаровательный уже доставляет нам много радостей. Аб[рам] счастлив и ухаживает трогательно за ним. Он счастлив, что он носит имя Миша, и потому он ему особенно дорог»[40]. «Вчера, т.е. 5 февраля, я разменял последний год, — сообщал ей Абрам 6 февраля 1914 г. — Теперь только 364 дня отделяют меня от свободы»[41].

В 1915 г. А.Р. Гоц вышел на поселение в с. Усолье. «Это большое село-курорт, — писал он 18 мая В.С. Гоц, — расположенное от Иркутска в 2½ часах езды, а от Александровска в 15 верстах. Я очень рад, что нам таким образом удалось устроиться: и от Ирк[утска] близко, и тихо, и Сарочка сумеет летом полечиться. Мишутке тоже будет полезно полечиться»[42]. Позже Гоц перебрался в Иркутск, где, будучи «циммервальдцем», возглавил группу ссыльных эсеров, стал активно писать в народническом журнале «Сибирь» и сблизился с такими видными меньшевиками, как И.Г. Церетели и Ф.И. Дан. Последнее обстоятельство имело впоследствии немалое значение. «Я теперь очень увлечён газетной работой, — признавался он В.С. Гоц 13 марта 1916 г., посылая ей номер газеты “Сибирь” со своими статьями, — и если не помешают внешние обстоятельства, буду и впредь работать. Из статей этих ты узнаешь и о моём отношении к переживаемым событиям. Я лично вполне присоединяюсь к точ[ке] зр[ения] Виктора. ...Отношение к призы-

[38] Ibid. Carton 1/4/12.
[39] Ibid. Carton 1/4/14.
[40] Ibidem.
[41] Ibidem.
[42] Ibid. Carton 1/4/16.

вцам самое отрицательное. Мне лично очень больно, что пришлось разойтись с Ильёй во взглядах на такие важные, основные вопросы. Его точка зрения представляется мне глубоко ошибочной. Только полная оторванность от родины может подсказывать такие решения и выводы, к которым они частенько приходят»[43].

После Февраля 1917 г. А.Р. Гоц активно участвует в создании в Иркутске Комитета общественных организаций, Совета рабочих депутатов и Военной организации, но уже через две недели едет в Петроград, где стремительно выдвигается как один из ведущих руководителей своей партии, серьёзно влиявший и на «большую политику». Гоц был избран членом Президиума Всероссийского совещания советов рабочих и солдатских депутатов (от эсеров) и введён в Исполком Петросовета, в котором стал лидером эсеровской фракции. На III съезде ПСР его избрали товарищем председателя съезда и членом ЦК партии. На I Всероссийском съезде советов он вошёл в Президиум, а с июня являлся членом Президиума ВЦИК первого созыва. Во время июльских событий Гоц осудил вооружённую демонстрацию большевиков. По решению VII Совета ПСР в августе 1917 г. его включили в число обязательных кандидатов в члены Учредительного собрания. В Предпарламенте он занял место в Президиуме[44].

В примечаниях к протоколам ЦК ПСР В.М. Чернов дал жёсткую оценку А.Р. Гоцу и позиции, занятой им в 1917 г.: «Когда лидер правого центра Авксентьев открыто выступил с защитой позиций крайнего правого крыла партии, с защитой коалиции во что бы то ни стало, сам голосовал и других приглашал голосовать за неё, то, несмотря на происшедшее при этом формальное нарушение дисциплины ЦК, существенно ничего не менялось. ...Но открытое присоединение к нему А. Гоца, коренного “центровика” из группы так называемых “сибирских циммервальдцев”, лидера эсеровской фракции в совете — было партийной сенсацией. И в особенности сенсацией было то, что Гоц, всегдашний ратоборец за партийную дисциплину, в своём повороте направо не отступил перед нарушением постановлений ЦК, прошедших при его деятельном участии. С отходом Гоца направо — отходом временным, но для партруководства роковым, ибо выпал на самый критический, решающий, поворотный момент в жизни партии и всей революционной страны — в руки правого крыла переходил, в сущности, весь организационный аппарат партии, непосредственно руководимый А. Гоцем и В. Зензиновым»[45]. По мнению Чернова, всё это предопределило про-

[43] Ibid. Carton 1/4/14.

[44] *Ерофеев Н.Д.* Гоц Абрам Рафаилович. С. 162.

[45] Протоколы заседаний ЦК Партии социалистов-революционеров (июнь 1917 — март 1918 г.) с комментариями В.М. Чернова / Под ред. Ю. Г. Фельштинского и Г.И. Чернявского // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 25.

должение коалиционной политики, потерю авторитета партии эсеров в рабочих и солдатских кругах и победу большевиков.

Много лет спустя А.Р. Гоц произвёл переоценку той линии, которую он вместе с рядом других социалистов проводил в жизнь в 1917 г. Он сделал это в 1937 г. в своих собственноручных показаниях, которые алма-атинские чекисты переслали в Москву[46]. Его показания, занимающие около полутора сотен страниц текста, были получены с применением пыток, и данное обстоятельство, конечно, заставляет с большой осторожностью подходить к этим трагическим страницам. Тем не менее, похоже, Гоц подвёл в них итог своим двадцатилетним размышлениям о линии ПСР в 1917 г. и в годы Гражданской войны. Нужно иметь в виду, что историческая часть показаний уже не могла принести никакого вреда ни ПСР, ни товарищам Гоца. Даже публикация их властями в своих интересах была немыслима, так как Гоц, критикуя политику ПСР и её лидеров как ошибочную, доктринёрскую, высокомерную и т.п., ни разу не написал о её «предательском характере», что к тому времени уже давно вошло в новые большевистские учебники истории. Ещё более важным представляется то, что в узловых своих пунктах высказывания Гоца 1937 г. совпадают с критикой его позиций в 1917 г. Черновым. Видимо, «центровик» Гоц, качнувшийся в 1917 г. вправо, 20 лет спустя переоценил свои «правоэсеровские» колебания с центристских позиций.

Указав на раскол партии на «оборонцев» и «интернационалистов», которые весной 1917 г. как будто нашли общий язык на почве «революционного оборончества», Гоц восклицал: «Но несмотря на то, что революционное оборончество всё более становилось оффициальной доктриной партии, разное отношение к войне бывших призывовцев и быв[ших] интернационалистов продолжало разрыхлять и без того рыхлую ткань политической идеологии партии с.-р. и форсировать процесс развития отдельных течений, группировок, формаций в пределах партии. Этот парламент мнений, пестрота политических воззрений и обилие течений с течением времени всё более подрывали политическую дееспособность партии и обрекали её в решающие моменты революции, когда счёт времени вёлся на часы и минуты, на роль дискуссионного клуба, в котором перманентно спорили и жевали и пережёвывали одни и те же вопросы. ...Необходимо также подчеркнуть, что росту центробежных сил, раскалывавших партию с.-р., в значительной мере содействовал и тот факт, что партия с.-р. вступила в революцию без общепризнанного вождя. ...К этому следует прибавить,

[46] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 95. Позже в ЦА ФСБ РФ этот документ был приобщён к фонду процесса эсеров 1922 г. под названием «Показания члена ЦБ террористической повстанческой орг. ПСР Гоц. II том».

что руководство партии с.-р. совершенно не понимало того значения, какое имеет в революции инструмент партии. Руководители партии с.-р. с головой ушли в “высокую политику”, с увлечением передавались игре в верхушечные комбинации, и уделяли очень мало внимания организации и мобилизации своей партии. Участие Керенского в правительстве в докоалиционный период приводило к тому, что партия с.-р., не имея возможности влиять на ход политики Временного правительства, тем не менее несла всю полноту ответственности за все шаги его. ...Совершенно ясно, конечно, что вина за положение, которое только что обрисовал, всецело ложится на Центральный комитет партии с.-р., который в силу своей бесхребетности мирился с ними, плыл покорно по течению событий, не пытался ими руководить»[47].

Не ограничиваясь анализом организационно-кадрового состояния ПСР, Гоц дал весьма точную обобщающую характеристику причин, приведших партию с.-р. к поражению: «Позиция революционного оборончества, занятая партией с.-р. с первых дней революции, привела к тому, что у с.-р. национально-революционный пафос вытеснил пафос социальный. Оборонческая проблема по существу могла быть разрешена двояким путём: или с рабоче-крестьянскими массами против буржуазии, или с буржуазией, но против наиболее революционной и передовой части пролетариата. Первый путь предполагал предварительное решение всех основных социальных проблем, волновавших рабочий класс и крестьянство, с тем, чтобы в дальнейшем переключить энтузиазм народных масс, порождённый сознанием своей победы внутри страны, на дело обороны страны против воинствующего германского империализма. Социализация земли, конфискация всех предприятий оборонной промышленности, обобществление всех средств производства, банков и т.п. — таковы были бы первые вехи на этом пути. Второй путь приводил к необходимости подморозить революционную энергию рабочего класса, сковать его революционные порывы, не приступать к политике широких революционных мероприятий пока страна не выйдет из опасной полосы, чреватой возможностью военного разгрома и договориться с представителями ”честной буржуазии”. Партия с.-р. выбрала второй путь и этот выбор предопределил в основном всю политическую линию партии с.-р. в февральской революции. ...В земельном вопросе оборонческая позиция партии также наложила свой роковой отпечаток. Из-за опасения, что раздел земли в разгар военных действий может вызвать повальный отлив крестьянства из армии в деревни, и считаясь с тревожными воплями наших продовольственников, что немедленный раздел земли может поставить под угрозу всё дело снабже-

[47] Там же. Л. 5—6, 23—25.

ния действующей армии и вызвать полный крах фронта, мы вынуждены были вести кунктаторскую политику, политику затяжек и задержки в земельном вопросе, которая вызвала недовольство и разочарование деревни, требовавшей немедленной реализации своих вековых чаяний»[48].

«Недовольство политикой В[ременного] П[равительства] в этот период было очень велико среди руководителей ВЦИКа первого созыва, — вспоминал Гоц. — Но борьба наша с ВП носила очень своеобразный характер. Соотношение сил было таково, что мы — руковдители с.р.—меньшевистского блока — в любой момент могли бы сбросить это правительство. Но так как мы продолжали пребывать в плену у идеи коалиции, то перспектива взять на себя всю полноту власти как раз больше всего нас страшила, и заставляла нас мириться с тем, что от одного правительственного кризиса к другому состав Временного Правительства становился всё более и более бесцветным и тусклым... По мере того, как для нас становилось всё более очевидным, что ВП, руководимое Керенским, не только не может руководить событиями, но всё более теряет способность даже ориентироваться в них, у нас назревало решение заменить Керенского другим лицом. Но это “героическое” решение наше так и оказалось нереализованным до октября, потому что среди руководителей с.р.—меньшевистского блока мы не могли найти подходящего заместителя!!... Единственная кандидатура, на которой все сошлись, была — военного министра ген[ерала] Верховского, но последний категорически отказался принять это предложение, считая его “нелояльным” по отношению к Керенскому»[49].

Тем самым Гоц не только не отказался от революции, течение которой обрушило его личную судьбу, но и остался до конца своей жизни подлинным демократом и социалистом, остро переживавшим прошлые ошибки своей партии, оторвавшие её от народных масс и революции. В его рассуждениях нет оправдания большевизма, особенно позднего, показавшего свою антинародную и антидемократическую суть, но чувствуется горечь осознания того, что сами эсеры оказались не на высоте положения и не смогли остаться во главе масс на гребне революционной волны, вздымавшейся всё выше и выше.

В те послеоктябрьские дни А.Р. Гоц активно боролся с большевиками буквально с первого же дня захвата ими власти и продолжал считаться одним из самых авторитетных руководителей в быстро обновившемся ЦК ПСР. 22 октября он участвовал в совещании у командующего Петроградским военным округом Г.П. Полковникова, а позже вошёл в Комитет спасения родины и революции и в качестве его

[48] Там же. Л. 14—17.
[49] Там же. Л. 40—42.

председателя руководил восстанием юнкеров в ночь на 29 октября. По словам, сказанным М.Я. Ракитиным-Броуном на процессе с.-р. в 1922 г., Гоц обратился к одному из военных руководителей восстания — А.А. Краковецкому с просьбой принять меры, чтобы при взятии Смольного «никто не пострадал, особенно Ленин и Троцкий»[50].

В работе IV съезда ПСР Гоц, скрывавшийся тогда от большевиков, участия не принимал. Он прислал приветствие съезду и был избран на нём членом ЦК партии. По прибытии в Петроград 18 декабря 1917 г. Гоц, как и другие члены Союза защиты Учредительного Собрания, был арестован, но уже на следующий день освобождён по распоряжению наркома юстиции левого эсера И.З. Штейнберга. В Учредительное собрание Гоц был избран от Минского и Пензенского избирательных округов и от Румынского фронта. Чуть позже он входил в военный штаб «Союза возрождения» в Петрограде, занимался переброской вооружённых групп на Волгу[51]. Как свидетельствовали в 1922 г. эсеровские ренегаты Г.И. Семёнов и Л.И. Коноплёва, А.Р. Гоц в начале и в середине 1918 г. давал им от имени ЦК санкцию на покушение на Ленина. Однако сам Гоц на судебном процессе с.-р. это категорически отрицал[52]. «Не желая демонстрировать разброд в рядах ЦК п.с.р., — писал он в показаниях 1937 г., — руководящая пятёрка обязала всех участников процесса стоять в вопросе о позиции партии в терроре на точке зрения большинства ЦК и категорически отрицать прикосновенность партии к теракту против Володарского и покушению Фани Каплан. ...Фани Каплан я лично не знал и никогда в жизни не встречал её. В момент её выступления меня не было в Москве (я был в Пензе в это время в ожидании переправы в Сызрань) и об обстоятельствах самого покушения узнал лишь из беседы с Донским после возвращения в Москву и на самом процессе»[53]. Покушение на Володарского, по словам Гоца, было совершено самочинно рабочими-боевиками Сергеевым и Козловым.

Летом 1918 г., вспоминал Гоц в 1937 г., «по решению ЦК ПСР в Москве было оставлено лишь небольшое бюро из членов ЦК в составе Тимофеева Е.М., Ратнер Е.М., Донского, а все остальные члены ЦК должны были направиться либо на Волгу, либо на север, в Архангельск»: «Мне было предложено выехать немедленно в Архангельск, но по семейным обстоятельствам (болезнь жены) я вынужден был задержаться на значительное время под Москвой, в дачном поселке Ильинском, где я устраивал свою семью. В это время уже в связи с выступлением чехосло-

[50] См.: Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь—август 1922). С. 862.
[51] Там же.
[52] Там же.
[53] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 95. Л. 110—111.

ваков и захватом ими железнодорожной лини Пенза—Самара, выяснилось, что Волжский район, по-видимому, станет главной ареной, на которой развернутся основные события. ...Поэтому я решил переправиться за Волгу. Если не ошибаюсь, в конце июня или июля я направился вместе с Рабиновичем Б.Н. в Казань, чтобы оттуда уже перебраться за фронт. Но под Волгой я был опознан курсантами, бывшими петроградскими рабочими, двигавшимися на Казань, и арестован. По решению местной военной комендатуры я был направлен под конвоем в Москву в ВЧК, но не доезжая Москвы, около Мурома я выскочил из поезда и благополучно скрылся. Пожив некоторое время в кругу своей семьи в поселке Ильинском, я отправился в г. Пензу, чтобы оттуда добраться до г. Сызрани, которая уже была занята войсковыми частями Самарского Комитета УС. В Пензе я застал членов ЦК ПСР Тимофеева и Федоровича, которые застряли там ввиду того, что связь с Сызранью была нарушена. В Пензе я и Тимофеев прожили довольно долго в ожидании, когда, наконец, восстановится путь. В те дни Пенза была переполнена эсерами, направлявшимися за Волгу, так что длительное пребывание там грозило провалом. Ранней осенью я и пензенский рабочий-металлист А.В. Кузовлев (меньшевик) выехали на паровозе в г. Кузнецк, а оттуда уже пешком кружным путём двинулись на Сызрань. Так как нам приходилось идти по району, занятому частями Красной армии, то наше путешествие сильно затянулось и когда, наконец, мы вышли к Сызрани, мы узнали, что она уже занята красными, и решили вновь вернуться в Пензу»[54].

«Руководящая тактическая идея», которая должна была быть положена в основу эсеровской политической работы на востоке и на севере, формулировалась Гоцем так: «Борьба на два фронта, борьба и против большевизма, и против монархической реакции и контрреволюции»[55]. После неудачной попытки пробраться за линию восточного фронта Гоц и Тимофеев вернулись в Москву. Так как в конспиративном отношении пребывание Гоца в Москве было опасно, ЦК ПСР предложил ему «съездить на Украину и на юг, чтобы ориентироваться в создавшемся там положении». По пути в Киев он узнал о формировании там нового украинского правительства, составленного из украинских эсеров и меньшевиков. Надежды Гоца найти в них «политических единомышленников, а на Украине, руководимой ими, благоприятные условия для развёртывания деятельности русских эсеров» не оправдались, так как украинские эсеры заняли по отношению к своим русским товарищам «враждебную позицию»: «Они с неудовольствием терпели само наше пребывание в Киеве, зажимали нашу

[54] Там же. Л. 83.
[55] Там же. Л. 80—83.

прессу, часто конфискуя издававшуюся русскими эсерами киевскую газету, стесняли нашу политическую работу и где возможно, постоянно отмежёвывались от нас как от *русской* партии»[56].

Поняв, что «русским эсерам в Киеве делать нечего», Гоц отправился в Одессу. Там власть тогда официально принадлежала муниципалитету, во главе которого стояли эсеры и меньшевики, «а фактически в городе орудовали разведка Добрармии и союзная контрразведка»[57]. Вместе с находившимися в Одессе членами ЦК ПСР Е.М. Тимофеевым и В.В. Лункевичем А.Р. Гоц вошёл в Южное Бюро ЦК ПСР, которое «пришло к следующим выводам»: «1) Опыт интервенции, имевшей место на востоке и на севере, показал, что интервенты всюду выступают как сила анти-демократическая, поддерживающая монархическую реакцию. Поэтому партия с.р. должна занять к интервенции отрицательную позицию. 2) Основной задачей партии с.р. по-прежнему является борьба с советской властью, но в этой борьбе эсеры должны опираться только на широкие народные массы, внутри страны. 3) Борьба с советской властью должна была вестись только социалистическими партиями, потому никакие коалиции с цензовыми, буржуазными партиями недопустимы. 4) Командировать одного из членов ЦК за границу, чтобы ознакомить социалистические партии Франции, Англии, Бельгии и др. с интервенционистской политикой их правительств в России. Исключить Бунакова из партии за участие в Ясском совещании и предложить членам ЦК вернуться в Советскую Росси»[58].

Вскоре после этого Гоц в числе других эсеров покинул Одессу и отправился в Москву, где собирались остальные члены ЦК ПСР, работавшие ранее на севере и востоке. «Первые же заседания ЦК, — указывал он в показаниях, — были посвящены подведению итогов работы партии с.р. с момента организации фронта за Волгой и на севере до его ликвидации, и выработке новой тактической линии партии на ближайший отрезок времени. ...Среди членов ЦК ПСР уже не было ни одного сторонника интервенции. Слишком ясна была роль интервентов в качестве союзников монархической контрреволюции, и слишком очевидна была ошибка руководства партии, поддержавшей интервенцию, если не на словах, то на деле. Большие споры вызвала ...идея борьбы на два фронта. ...Вместо того, чтобы подвергнуть пересмотру самые основы политики, приведшей к позорным провалам за Волгой и на Севере, ЦК ПСР при рассмотрении причин, вызвавших поражение партии, свёл принципиальную критику в критику персо-

[56] Там же. Л. 94—95.
[57] Там же. Л. 95.
[58] Там же. Л. 97—98.

нальных ошибок, допущенных тем или иным лидером. ...В итоге концепция “борьбы на два фронта”, несмотря на волжский и архангельский опыт, сохранялась как основа эсеровской тактики, но в неё были внесены следующие поправки. Против диктатуры белых генералов эсеровским организациям предлагалось вести борьбу вооружённой рукой, а против советской власти политическую борьбу. ЦК предостерегал партию от тактик отдельных путчей, террора и вспышкопускательства, партизанщины, авантюристических выступлений, приводящих лишь к бесплодному расточению народных сил и распылению партийных кадров. Вместо этого ЦК предлагал внутри Советской России перейти к восстановлению организационных связей с крупными предприятиями и деревней, к оживлению работы нелегальных типографий и постановке новых»[59].

19 мая 1920 г. А.Р. Гоц был арестован, содержался во Внутренней тюрьме ВЧК, а 5 августа его перевели в Бутырскую тюрьму, откуда вместе с другими членами ЦК, также оказавшимися за решёткой в результате систематических арестов, он отправил целый ряд директивных писем российским и заграничным эсерам.

По свидетельству Гоца, «специфические условия тюремного режима того времени привели к тому, что политическое руководство партией осталось в руках ЦК. Правда, арестованные члены ЦК были лишены возможности принимать участие в организационной жизни партии, но у них сохранилась возможность обсуждать и принимать решения по всем основным вопросам политики. Эти решения в дальнейшем передавались Центральному бюро, который их опубликовывал. Сношение с волей для нас облегчалось благодаря практике арестов, применявшейся в то время в ВЧК. Перед каждым революционным праздником ВЧК производила массовые изъятия проживавших в Москве эсеров. Это давало нам возможность обсуждать и проводить так сказать в спокойной обстановке целые конференции со своей партийной периферией. Обычно этих людей освобождали через месяц—полтора, и через них мы передавали на волю всё, что нам было нужно...». Когда после X Совета партии ЦБ в вопросе о вооружённом восстании заняло более радикальную позицию, чем ЦК, бутырцы-цекисты обратились к партии и к Совету с обращением, в котором старались выправить линию ЦБ и подчеркнуть особо настойчиво, что на ближайший отрезок времени вооружённое восстание не стоит в порядке для партийной тактики. «...Но чем решительней отмежёвывались эсеровские цекисты от вооружённого восстания как метода борьбы с большевизмом, тем настойчивей они подчёрки-

[59] Там же. Л. 98—101.

вали тот факт, что они отнюдь не отказываются одновременно от *права* на вооружённое восстание», — признавал Гоц[60].

24 февраля 1922 г. Президиумом ГПУ Гоц был включён в список эсеров, которым было предъявлено обвинение в антисоветской деятельности. Рассуждая о причинах организации большевиками в 1922 г. открытого судебного процесса над ПСР, меньшевик Б.И. Николаевский полагал, что «политически наиболее дальновидные руководители коммунистической партии во главе с Лениным хотели сговора с арестованными»: «Дзержинский несколько раз приезжал в тюрьму для "бесед", в результате которых Лениным было внесено в Центральный Комитет предложение об освобождении А.Р. Гоца и предоставлении ему возможности издавать легальный орган. ...Материалы, которыми оперировали обвинители во время этого процесса, были превосходно известны и Дзержинскому в то время, когда он вёл свои беседы с Гоцем и Тимофеевым, и Ленину, когда он вносил своё предложение в Центральный комитет. Они тогда не мешали переговорам. Процесс стал неизбежен, когда было решено сделать невозможными самые разговоры о соглашении с социалистами-революционерами и с социалистами вообще, — как в России, так и в интернациональном масштабе»[61].

На судебном процессе А.Р. Гоц фактически возглавил группу «нераскаявшихся» подсудимых. По свидетельству боевиков-эсеров К.А. Усова и С.Е. Кононова, Гоц, находясь в соседней с ними камере и пользуясь «тюремным телеграфом», рекомендовал им «уже от данных показаний отказаться» и на суде помнить, «что интересы партии прежде всего»[62].

Свои выступления на процессе Гоц рассматривал как своеобразный отчёт перед партией: «Мы, члены центрального комитета, оторванные от родной партии в продолжение уже двух или трёх лет, которые не имели возможности за наше прошлое отчитаться перед ней, дать отчёт перед теми лицами, которые выдвинули нас в качестве своих вождей, мы вам признательны за то, что вы дали нам возможность с высоты этой трибуны дать полный, ясный и открытый ответ о нашем прошлом, о всей нашей прошлой деятельности и о том, как мы считали бы сейчас возможным вести партию, какие пути мы считали бы нужными, чтобы партия следовала во имя спасения революции, во имя реализации наших конечных целей демократии и социализма. И мы признательны вам за то, что вы дали нам возможность этот ответ высказать полностью, и если эта наша исповедь, которую мы здесь высказали, волею судеб явится нашим завещанием, то мы считаем, всё-таки, что мы

---

[60] Там же. Л. 103—105.
[61] *Б.Н.* Е. Ратнер // Социалистический вестник. 1931. № 21. С. 14.
[62] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 4. Л. 167.

свой долг выполняем до конца и выполним его до самого последнего конца, так как подобает его выполнить революционерам. И что бы вы нам сейчас ни судили, мы, если вы нас осудите, мы умрём как революционеры мужественно, глядя смерти в глаза. Если нам суждена жизнь, то мы будем жить как социалисты, работая во имя социализма, как мы работали до сих пор и как мы этот социализм пониманием»[63].

«Свобода это душа социализма, — восклицал Гоц, — это — основное условие самодеятельности масс. Если вы этот жизненный нерв, эту основную сущность, если вы этот нерв перережете, тогда, конечно, от самодеятельности масс ничего не останется и тогда уже лишь прямой путь — путь к той теории, которую здесь вслед за гражданином Крыленко развивал гражданин Луначарский — к теории о непросвещённых тёмных массах, которым вредно слишком много соприкасаться с политическими партиями, могущими их, неопытных, неискушённых, тёмных, сбить, увлечь за собою, вовлечь в такое болото, из которого они, бедненькие, никогда и не вылезут. Да что же это такое, как не классически выраженная теория Победоносцева. Что это по своей социалистической сущности, как не то же стремление Победоносцева уберечь православный чистый народ от тлетворного влияния западной демократии, которая может только замутить чистоту его сознания, которая может только развратить его, в которой он бессилен будет разобраться и, как ребёнок, которому дают острый нож, может нанести себе только острые опасные раны»[64].

Жена Д.Д. Донского Наталья Михайловна, присутствовавшая на процессе, много лет спустя вспоминала об атмосфере в зале суда: «Обвиняемые резко защищали свои позиции. Как-то при свидании лидера эсеров А.Р. Гоца и председателя процесса Ю. Пятакова последний спросил: “Разве вы не понимаете, что ваши резкие выступления повлияют на приговор?”. Подсудимый ответил: “Наша судьба не может иметь значения для наших выступлений”»[65].

За три дня до вынесения части обвиняемых (включая А.Р. Гоца) смертного приговора переодетый в форму красноармейца-конвоира чекист подслушал и донёс по начальству мимолётный, но в высшей степени важный разговор между Н.В. Крыленко и А.Р. Гоцем, происходивший 4 августа: «После окончания своей речи [Гоц] встретился с тов. Крыленко, который спросил Гоца, неужели они всё ещё по-старо-

[63] Международный институт социальной истории (Амстердам). Архив ПСР. Д. 867; Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь—август 1922). С. 778.

[64] Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь—август 1922 г.). С. 762—763.

[65] Донской Дмитрий Дмитриевич. Сборник документов и материалов / Сост. Я.А. Яковлев. Томск, 2000. С. 141—144.

му, на что Гоц ответил утвердительно и, подымаясь по лестнице, сообщил о своём разговоре с Крыленко Гендельману и др.»[66]. Несмотря на косноязычие чекиста, понятно, что интересовало Крыленко. Самый «талантливый прокурор России», как его характеризовали подсудимые 1-й (нераскаявшейся) группы, не спрашивал Гоца о связи с интервентами и пр. — он хорошо понимал цену таким обвинениям. Он пытался понять, неужели эти люди готовы пойти на расстрел за свои старые интеллигентские и народолюбивые представления в то время, когда большевики показали, как можно манипулировать массами. Крыленко и большевистская элита расстались со своим «старым» ради власти и искренне удивлялись людям, готовым идти за это на смерть.

Встречавшиеся с обвиняемыми иностранные защитники — представители II Интернационала Э. Вандервельде и Т. Либкнехт (брат К. Либкнехта), которых большевики не допустили до трибуны, сказали С.Н. Гоц и Н.М. Донской: «Ваши мужья держатся как герои»[67].

7 августа 1922 г. А.Р. Гоц в числе 12 подсудимых 1-й группы был приговорён Верхтрибом ВЦИК к высшей мере наказания, но исполнение приговора было отложено Президиумом ВЦИК, что превратило «смертников» в заложников на случай активной (прежде всего террористической) деятельности эсеров. Подсудимые же 2-й группы, сотрудничавшие с обвинением и также получившие приговоры, были по ходатайству Верхтриба помилованы Президиумом ВЦИК и освобождены от наказания. Так, Семёнов собственноручно отравлявший пули, которыми был ранен Ленин, поехал после процесса вместе с Коноплёвой в санаторий. Видимо, и у каждого из 22 осужденных 1-й группы была возможность купить себе свободу ценой предательства не только на предварительном следствии, но и после процесса.

Верхтриб ВЦИК тянул с извещением (под расписку) о состоявшемся 8 августа постановлении Президиума ВЦИК о приостановлении исполнения смертного приговора. В середине августа уже сами чекисты обращались к «коллегам» с просьбой ускорить извещение об этом заключённых[68]. Нетрудно понять, какое нервное напряжение царило среди осуждённых эсеров, что вряд ли устраивало чекистов, желавших отныне властвовать над ними безраздельно. В случае же возможных эксцессов (голодовок, обструкций и т.п.) «расхлёбывать» последствия медлительности верхтрибовцев пришлось бы уже чекистам. Фактиче-

[66] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 48. Л. 269.

[67] Донской Дмитрий Дмитриевич... С. 141—144.

[68] См., например, телефонограмму зам. председателя ГПУ Уншлихта 16 августа 1922 г. в Секретариат Верхтриба: «В виду, что по делу ЦК партии эсеров приговор суда обвиняемым до сего времени не объявлен, [обращаемся] за присылкой» (ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 43).

ски эсерам была устроена настоящая моральная пытка — сначала они в течение полумесяца не знали, кому из них вынесен смертный приговор, а затем «смертники» ожидали приведения его в исполнения вплоть до 15 сентября, когда им, полностью изолированным от внешнего мира и лишённым свиданий с кем бы то ни было, объявили о постановлении Президиума ВЦИК. До этого тюремные надзиратели обращаясь к ним, использовали выражение «приговорённый к смертной казни»[69].

Казалось бы, после окончания процесса руководители ГПУ должны были с радостью снять с себя заботы по тюремному содержанию осуждённых. Но, они, напротив, поставили перед Политбюро вопрос «о передаче тюремного ведения НКЮСТА в ведение НКВДела», а затем полтора месяца добивались от Президиума ВЦИК разрешения содержать осуждённых во Внутренней тюрьме ГПУ, создав для них особый режим[70].

Примечательно также, что чекисты не передали охрану «особоизолированных» эсеров администрации ведомственной тюрьмы ГПУ, но специально назначили ещё несколько дежурных Секретного отдела ГПУ, которым вменили в обязанность «проверку охраны цекистов ПСР». Так, например, помощник начальника СО ГПУ Андреева, являвшаяся своеобразным куратором заключённых эсеров, 3 раза в месяц дежурила во Внутренней тюрьме ГПУ, заходя в камеры 22-х осуждённых по процессу, наблюдала за постановкой внутренней и наружной охраны, собирала заявления заключённых, доводя их до сведения Уншлихта. Обо всём остальном она докладывала помощнику начальника СО ГПУ Дерибасу[71].

Излишне говорить, какое значение руководство СО ГПУ придавало охране эсеров-«цекистов», если пошло на установление круглосуточного дежурства и поручило его собственным сотрудникам. Фактически заключённые находились под двойным присмотром — как со стороны надзирателей, так и со стороны дежурных СО ГПУ. Памятуя о том, что в России строгость законов смягчается небрежным их исполнением, чекистское руководство установило постоянный круглосуточный контроль и за внешней охраной, и за надзирателями, да и в целом за администрацией тюрьмы. Была составлена также «Инструкция для дежурных СО ГПУ по проверке охраны цекистов ПСР», подписанная Дерибасом 2 сентября 1922 г.[72]

Под бдительным оком чекистов из СО ГПУ не отставало в служебном рвении и тюремное начальство. Согласно докладу начальника тюремного отдела ГПУ Дукиса, 3 ноября 1922 г. он лично проверял посты внутренней и внешней охраны 5 раз, его помощник — 13 раз,

[69] Точно известно, в частности, что так обращались к Л.Я. Герштейну.

[70] *Морозов К.Н.* Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние... С. 501—502.

[71] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 48. Л. 118.

[72] Там же. Л. 17.

а дежурный помощник — 3 раза. Кроме того, были осмотрены решётки, окна, двери, стены, пол и потолок каждой камеры, а сами «камеры проверялись через каждые 5 минут»[73]. Для проверки заключенных поднимали и по ночам (очевидно, желая удостовериться в их наличии). Такой перестраховки практика царских тюрем не знала.

О суровости первоначального режима содержания заключённых С.Н. Гоц в октябре 1922 г. писала Ф.Э. Дзержинскому (через Е.П. Пешкову она обращалась к нему с просьбой о встрече, но он предложил написать письмо). Так, А.Р. Гоц, у которого наблюдались «симптомы цинготного заболевания ноги», не получил казённого головного убора и в течение полутора осенних месяцев, выходя на прогулку в дождливую погоду, наматывал на голову казённые брюки... Но «особенно тягостно вынужденное бездействие и отсутствие книг»: «Книги выдаются в 2—3 недели не более 2—3 за раз, при этом самого неожиданного подбора. Мужу, напр., достался учебник по зоологии и „Антропология“ Канта». По словам С.Н. Гоц, сами осуждённые считали условия, в которые их поставили, карцерным режимом и испытанием физической выносливости. Гоца и его товарищей ждали несколько лет «тюремного противостояния» с властью, носившего порой весьма драматический характер: многочисленные голодовки с балансированием на грани жизни и смерти, самоубийство С.В. Морозова в декабре 1923 г., неудавшееся самоубийство Е.А. Ивановой в 1926 г. Чекисты и Политбюро были вынуждены отступать, смягчая режим, отменив в январе 1924 г. смертные приговоры и снизив всем эсерам сроки заключения[74].

11 января 1924 г. Президиум ЦИК СССР заменил А.Р. Гоцу смертную казнь 5 годами лишения свободы со строгой изоляцией (с окончанием содержания под стражей 20 мая 1925 г.). Между тем в представлении Секретного отдела ГПУ указывалось на нецелесообразность уменьшения тюремного заключения Гоца до срока менее 10 лет, поскольку он входит в число лиц, которые «являются крупными политическими фигурами и с.-р. убеждений и активности не потеряли и до настоящего времени»[75].

Отбыв срок, А.Р. Гоц был отправлен в ссылку в Ульяновск, и уже 4 июня 1925 г. писал члену ЦК ПСР Д.Ф. Ракову, остававшемуся в Бутырской тюрьме: «Милый Митяй, просись непременно к нам сюда. Правда, здесь очень глухо, и вся жизнь носит отпечаток уездно-провинциальный. Знакомых нет, но я надеюсь, что тебя не страшит уединение. После Бутырок пожить отшельником тебе будет только приятно. Зато в

[73] Там же. Л. 125.

[74] Подробнее см.: *Морозов К.Н.* Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние... С. 496—562.

[75] Там же.

смысле заработка — ты устроишься немедленно же. В климатическом отношении город тоже для тебя хорош. Я ведь знаю, что Волгу и жигулёвское пиво ты не променяешь ни на какую туркестанскую экзотику. Без тебя сижу я уныло перед бутылкой пива: Мишук не дорос ещё, а С.Н. — как столичная особа — не питает уважения к сему напитку. Приезжай же ты, друг, утешить меня. Пусть Анна Дмитриевна не боится: буду держать тебя на строгой пайке — бутылка в день...»[76]. «Милый, дорогой Мишенька, —писал Гоц 20 июня 1925 г. другому своему сопроцеснику — М.А. Лихачу, — не могу удержаться, чтобы не поделиться с Вами своей новостью: пишу вам эту открытку, а в двух шагах от меня красуются четыре клумбы, обнесённые бордюрами, обложённые кирпичом — со 100 левкоями, 60 гвоздиками, 60 флоксами, анютиными глазками и т.п. Рассаду купил очень дёшево и недурную. Клумбы устроил сам. Эх, не хватает вас, Миша, а то бы могли разделать прямо артистически! Мои ребята мне помогают. А как наш Бутырский садик? ...Как-то вы все, дорогие, поживаете? Крепко вас всех обнимаю и целую. Ваш Аб.»[77]. Впрочем, оба эти письма не дошли до адресатов. Чекисты задержали даже письмо его сына Михаила, отправленное 19 июня 1925 г. Д.Ф. Ракову: «Дорогой Дмитрий Федорович. Писал Люке, но он не отвечает. Надеюсь, что вы напишете — как живёте? С папой очень хорошо...»[78].

Однако в ссылке «держать особо крепко» видных эсеров было значительно сложнее, чем в тюрьме, и Ф.Э. Дзержинский вновь потребовал у Политбюро санкции на арест А.Р. Гоца и Е.М. Тимофеева. При этом он утверждал, что готовится их побег, а эсеры вот-вот начнут террор, и т.д.[79] Получив разрешение, чекисты 11 и 12 июля 1925 г. арестовали Гоца и Тимофеева, которые в ответ объявили голодовку. Допрошенный 21 июля 1925 г. А.Р. Гоц держался весьма мужественно, недвусмысленно отказавшись изменить прежние взгляды и отмежеваться от Чернова: «Что касается моего отношения к Чернову В.М. и Заграничной делегации, то заявляю, что я являюсь единомышленником В.М. Чернова: мы оба примыкаем к одному и тому же течению в партии. Заграничная же делегация была в своё время выбрана ЦК партии, и я как член ЦК, конечно, несу политическую ответственность за всю её работу»[80].

На последний вопрос о том, намерен ли он «вести партийную работу в будущем», Гоц ответил: «Относительно своей будущей работы я сейчас сказать ничего не могу. Я могу говорить и нести ответственность только

[76] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 60. Л. 185 об.
[77] Там же. Л. 170 об.
[78] Там же. Л. 186 об.
[79] РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 154—155.
[80] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 104. Л. 98 об.

за то, что было. Больше ничего добавить не могу»[81]. Подписывая протокол, Гоц попросил дописать: «Ответ на последний вопрос дополняю следующим: как старый политический деятель я, конечно, понимаю те последствия, которые повлекла бы за собой моя работа, и в таком случае не протестовал бы против ответственности, связанной с ней»[82].

Информация об аресте Гоца и Тимофеева и об их голодовках просочилась на Запад, и 5 сентября 1925 г. В.М. Молотов получил телеграмму от советского полпреда в Лондоне, просившего известить его о причинах ареста и ситуации вокруг этого дела[83]. На запрос Молотова Г. Ягода 7 сентября 1925 г. сообщал: «ОГПУ полагает, что ввиду особой активности Гоца и Тимофеева и их влияния на эсеровские партийные круги, необходимо обоих заключить в политизоляторы ОГПУ»[84]. Политбюро согласилось с предложением Ягоды и на заседании 9 сентября 1925 г. предложило ОГПУ «приговорить Гоца и Тимофеева к тюремному заключению на 2 года»[85]. И всё же благодаря давлению на советских дипломатов их французских и английских коллег, а также групповой «развезённой» голодовке осуждённых по процессу с.-р. в октябре 1925 г., не имевшей аналогов в истории российского освободительного движения, власти вскоре вынуждены были частично пересмотреть своё решение[86]. Судя по документам, тюремное заключение Гоцу заменили домашним арестом.

«Жизнь моя так монотонна, однообразна, — писал он Вере Гоц 29 июня 1926 г., — так бедна внешними впечатлениями, что напоминает тюремное житьё-бытьё, когда собственно не живёшь, а только регистрируешь промелькнувшие дни, а мыслью зарываешься в туманную даль грядущего. И странное ощущение, хорошо знакомое всем узникам, — всё кажется, что настоящая жизнь — это жизнь только “начерно”, а “набело” ещё впереди»[87].

А.Р. Гоц был освобождён в 1927 г. и прожил в Ульяновске до конца 1930 г. Поскольку «все члены ЦК ПСР, проходившие по процессу, были разбросаны по разным городам Союза, а вместе с тем были рассеяны и другие видные партийные работники», в отличие от предыдущего периода (1920—1925 гг.), который «проходил под знаком собирания партийных сил, объединения и сплачивания их, консолидации всех рассеянных бурей Гражданской войны партийных организаций», на новом этапе дея-

[81] Там же. Л. 99 об.
[82] Там же.
[83] АП РФ. Ф. 3. Оп. 59. Д. 18. Л. 100.
[84] Там же. Л. 102.
[85] Там же.
[86] Подробнее см.: *Морозов К.Н.* Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние... С. 563—604.
[87] BDIC F delta Res 806 Carton 1/4/14.

тельности ПСР, по мнению Гоца, «главное внимание должно быть уделено вопросу о сохранении основных кадров эсеровской партии»: «Важно не допустить, чтобы эти кадры, рассеянные по ссылкам и отдалённым городам Союза, не растворились в окружающей среде, не потеряли своё политическое лицо, не утратили свою связь с партией, не перестали сознавать себя в качестве членов эсеровской партии. Как бы ни истончалась организационная связь, — идеологическая связь должна сохраниться. Ибо если оборвётся и эта идеологическая связь, то кадры эсеровской партии будут окончательно потеряны, а с исчезновением основных кадров исчезнет и сама партия, так как притока новых членов в эсеровские организации ожидать не приходится... Но для того, чтобы эсеровские кадры не растаяли в своём окружении, как пена на воде, необходимо было особенно чётко и резко противопоставлять себя большевикам, подчёркивать глубину пропасти, отделяющей эсеров от большевиков. Поэтому мы, руководители эсеровской нелегальной партии, постоянно подчёркивали, что хотя мы на данный момент по тактическим соображениям и не ведём политической борьбы с большевиками, но мы продолжаем оставаться на *позициях борьбы* с советской властью, не допуская никаких компромиссов с большевиками, и резко враждебны к системе диктатуры. ...В соответствии с основной задачей — сохранением нелегальных эсеровских кадров — теперь эсеровская организационная тактика принимала формы личного общения, личных бесед руководящих членов партии с окружающей их партийной периферией, обсуждение с ними в беседах, носивших иногда даже случайный характер, всех очередных проблем как внутренней, так и внешней политики, конечно, под углом критики большевизма и противопоставления ему идеологии эсерства. Это общение облегчалось благодаря той системе постоянных переброс с места на место, которую применяли органы НКВД»[88].

В начале 1931 г. Абрам Рафаилович был отправлен в ссылку в Семипалатинск. Проезжая Курган, он писал В.С. Гоц: «35 лет прошло уже с момента нашей первой встречи на курганском вокзале и когда теперь — пятидесятилетним человеком, в достаточной мере помятым жизнью и закалённым в жизненных битвах — я вновь очутился на перроне курганского вокзала, я не мог удержать слёз при воспоминании о первой встрече с Мишей и с тобой, его мужественной спутницей. И тебя, милая Веруша, ведь я узнал тогда впервые. И когда, наконец, поезд снова унёс меня вдаль и оторвал от этого дорогого мне места, я мысленно ещё долго возвращался к Кургану, где протекали мои самые прекрасные юные годы. Знаю, что тебе, Веруша, пришлось много пережить за эти 35 лет, но Курганский период тоже, вероятно,

[88] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 95. Л. 114-118.

один из самых святых в твоей жизни. Ну, будь здорова, моя родная, от души желаю тебе побольше сил, здоровья и бодрости»[89]. «Вступаем в новую полосу жизни, — тогда же делилась с ней своими переживаниями Сара. — Едем в Семипалатинск. Говорят, город ничего. Небольшой, но хлебный. За последние месяцы пришлось столько перенести тяжёлого, что ни о чём другом сейчас не думаю, как только радуюсь, что опять смогу отдохнуть возле Абика. Так наши жизни спаялись вместе, что порознь бесконечно, невыносимо тяжело быть»[90].

Вскоре их отправили в Алма-Ату, откуда 8 мая 1934 г. Абрам Гоц написал Вере: «Алма-Ата удивительно красивый город, особенно ранним летом. Правда, весна в этом году запоздала и частенько перепадают дожди, но я уже совершил несколько экскурсий в горы и даже купался, хотя вода горных речек ещё очень холодная. К сожалению, ни Сарочка, ни Олечка не могут принять участие в экскурсии. Олечка так [занята] подготовкой к испытаниям, что у неё все выходные дни заняты. Сейчас мы переживаем неприятные дни в связи с угрозой выселения нас из квартиры. ...В Алма-Ате при её перегруженности [найти квартиру] дело чрезвычайно трудное»[91].

Их жизнь в Алма-Ате также отразилась в переписке Е.П. Пешковой с сестрой А.Р. Гоца Р.Р. Познер, которая весной 1935 г. была обеспокоена в Париже отсутствием вестей от С.Н. Гоц, писавшей ранее «2 раза в месяц», а теперь молчавшей уже 4 месяца[92]. С.Н. Гоц извещала Е.П. Пешкову, что «очень погрузнела, т.к. мало ходит», но «много работает в Научно-исследовательском институте и в детской амбулатории»[93]. В конце того же года А.Р. Гоц обращался за содействием в Красный Крест к М.Л. Винаверу, прося о прописке дочери Ольги в Москве[94]. Хлопоты увенчались успехом, и Винавер телеграфировал Гоцу: «Алма-Ата. Дом правительства. Госплан. Геологу Гоц. Дочери препятствий не будет»[95].

7 февраля 1937 г. А.Р. Гоц был арестован по приказу Н.И. Ежова. Этому предшествовала докладная записка, направленная в конце января наркомом внутренних дел Союза ССР И.В. Сталину и В.М. Молотову. В ней утверждалось, что «в результате агентурной и следственной работы нам удалось вскрыть и приступить к ликвидации широко развет-

---

[89] BDIC. F delta Res 806 Carton 1/4/12.
[90] Ibid. 1/4/14.
[91] Ibid. Carton 1/4/13.
[92] ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1334. Л. 72—72 об.
[93] Там же. Л. 73 об., 75.
[94] «Сообщаю, что согласно полученной справке, — писал М. Винавер О.А. Гоц, — ГУРКМ дано распоряжение 4/X — с.г. за 38734 о прописке Вас в Москве, Арбат, д. 35, кв. 32» (Там же. Л. 76).
[95] Там же. Л. 74.

лённого эсеровского подполья, руководимого ссыльными членами ЦК партии левых и правых эсеров»[96]. Согласно записке, чекисты «вскрыли» эсеровское подполье прежде всего в тех областях страны, в которых социалисты-революционеры пользовались влиянием до революции и в годы Гражданской войны — «в Свердловской, Воронежской (чекисты взяли те её районы, которые прежде были охвачены «антоновским движением». — *К.М.*), Куйбышевской, Московской областях, Западно-Сибирском и Азово-Черноморском краях». Нарком подробно излагал и технологию «вскрытия»: было арестовано несколько ссыльных эсеров, давших «признательные» показания (к докладной записке прилагались протоколы допросов Павлова, Горяинова, Бессонова, Петелина, Осипова, Корнюхина, Кулябко-Корецкой). Из троцкиста Л.Г. Вицмана выбили заявление, будто А.Р. Гоц, возглавляющий эсеровскую организацию, лично ему говорил, что она «активно работает в целом ряде краёв и областей» и «стоит на позициях индивидуального террора в отношении рукводителей ВКП(б) и советского правительства»[97].

В докладной записке, насчитывавшей 14 машинописных страниц (без приложений), рассказывалось о деятельности подполья во всех указанных областях и краях, с «привязками» к ним конкретных членов ЦК ПСР и ЦК ПЛСР, «осуществлявших руководство» местными эсерами. Например, «в г.г. Куйбышеве, Ульяновске, Пензе и районах: Никольском, Вишкейском и Ширяевском» «эсеровская организация в Куйбышевской области» руководилась «активными кадровыми эсерами, быв[шими] членами Поволжского комитета ПСР, действовавшими по директиве члена ЦК ПСР Агапова (отбывает ссылку в Кудымкаре Свердловской области) и члена ЦК партии левых эсеров Спиридоновой», находившейся в Уфе[98]. Авторов записки не смущало то, что в некоторых регионах страны эсеровское движение было возможно лишь в воображении чекистов, и они придумали «эсеровскую организацию в Казахстане» во главе с Гоцем. Кроме высказываний Вицмана, ей ставилось в вину то, что «Гоц поддерживает организационную связь с зарубежом и получает денежные средства для нужд организации»[99].

Примечательно, что уже в этом документе прорисовывался сценарий будущего «бухаринского процесса», хотя сам Н.И. Бухарин был ещё на свободе. «Ещё в 1933 году, — докладывал Ежов, — руководящий центр организации правых обсуждал вопрос об установлении связи с эсерами, в частности членами ЦК — Гоцем, Тимофеевым и

[96] ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 87. Л. 27.
[97] Там же. Л. 37.
[98] Там же. Л. 36.
[99] Там же. Л. 38.

Спиридоновой. В 1933 г. Бухарин, связанный с активным эсером Семёновым (бывш[ий] руководитель боевой эсеровской организации при ЦК ПСР в 1917—1918 гг.), вёл переговоры с ним о привлечении его к террористической деятельности нелегальной организации правых. Семёнову Бухарин поручил подготовить и совершить террористический акт против тов. Сталина и тов. Кагановича»[100]. Говорилось также и о связях левых и «правых» эсеров с троцкистами и децистами.

По мнению наркома, «нелегальными эсеровскими организациями в Союзе руководит ЦК ПСР Гоц А.Р., Тимофеев Е.М., Гендельман М.Я, Агапов В.В., Артемьев Н.И., Подбельский Ю.Н., Ракитников Н.И., и члены ЦК левых эсеров Камков Б.Д., Спиридонова М.А., Майоров И.А., Самохвалов М.Д., Каховская И.К. и Измайлович А.А.», которых необходимо арестовать «в целях полного разгрома эсеровского подполья»[101].

Начиная с ареста в 1937 г., судьба Гоца прослеживается по документам «личного дела заключённого»[102]. В постановлении о его аресте, выданном 7 февраля 1937 г. и санкционированном прокурором Казахской ССР, безапелляционно утверждалось, ещё до какого-либо следствия, что «Гоц является руководителем нелегальной антисоветской организации эсеров, член ЦК ПСР». В тот же день он оказался «под стражей в следственной тюрьме НКВД КССР»[103]. Во время обыска, который проводился пятью чекистами, были изъяты письма от сына и невестки, Е.М. Тимофеева, М.Я. Гендельмана, Власова и др., а также «папка, содержащая письма от брата М. Гоц, относящиеся к 1900 годам», «свёрток писем Гоца к жене», «адреса Цейтлина, Ракова и др.», «две тетради, написанные в тюрьме, переводы, фотокарточки и воспоминания о работе в ПСР»[104], «альбом карточек Александровского централа», «письма из заграницы», «фотокарточек тридцать штук» и многое другое (всего 29 пунктов по описи)[105].

Из Алма-Аты в конце августа А.Р. Гоц был отправлен в Москву «в распоряжение 4 отдела ГУГБ НКВД СССР», содержался в Бутырской тюрьме. В декабре 1938 г. ему «под расписку» было объявлено, что отныне он числится «за прокурором СССР», которому направлено его дело. В январе 1939 г. главный военный прокурор Н. Розовский направил начальнику Бутырской тюрьмы письмо, сообщая: «Числящихся

[100] Там же.
[101] Там же. Л. 39.
[102] Ряд ксерокопий из «личного дела заключённого № 1696» был в 1992 г. предоставлен сотрудником ЦА МВД РФ В.П. Коротеевым И.И. Осиповой и хранится ныне в архиве «Мемориала».
[103] Архив «Мемориала».
[104] Возможно, речь шла о воспоминаниях, написанных А.Р. Гоцем в Бутырской тюрьме ещё в 1920—1921 гг. и посвящённых его участию в Боевой организации ПСР в 1906 г.
[105] Архив «Мемориала».

за нами арестованных Гоц Абрама Рафаиловича и Тимофеева Евгения Михайловича, прошу с сего числа перечислить содержанием за Военной коллегией Верховного суда Союза ССР». Вплоть до суда Гоц продолжал находиться в 321 камере Бутырской тюрьмы. 15 июня 1939 г. дежурный 9-го корпуса обнаружил у него «отточенную зубную щётку» (это лишний раз выдаёт в нём опытнейшего сидельца), после чего было решено «арестованного Гоц лишить одной очереди лавки»[106].

20 июня 1939 г. под председательством бригвоенюриста Алексеева и при участии двух членов — бригвоенюриста Детистова и военюриста 1 ранга Климина, при секретаре младшем военном юристе Филатове, состоялось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда Союза ССР. Подсудимых А.Р. Гоца и Е.М. Тимофеева обвинили «в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР». Им инкриминировалось то, что «оба они не прекратили борьбы и продолжали свою к/р деятельность до дня ареста»: «Находясь в ссылке, Гоц и Тимофеев не порвали связи между собою, а с 1929 года повели работу по объединению нелегальных эсеровских антисоветских групп, под руководством т.н. Центрального Бюро партии эсеров, стремясь активизировать к/р деятельность названных групп. Являясь основными руководителями Центрального Бюро партии эсеров, Гоц в г. Алма-Ата, а Тимофеев в г. Ташкенте установили организационные и политические связи с эсеровскими антисоветскими группами в Чимкенте, Семипалатинске, Куйбышеве, Тобольске, Новосибирске и др. городах, которым, через своих связистов, давали установки на развёртывание борьбы против ВКП(б) и Советского Правительства, путём применения террора и предательства. Они же неоднократно проводили нелегальные сборища эсеровских подпольных групп, на которых обсуждались вопросы террора в отношении руководителей ВКП(б) и Советского Правительства и вопросы вредительства в промышленности, в сельском хозяйстве. Кроме того установлено, что как Гоц, так и Тимофеев пытались установить политический и организационный блок с различными антисоветскими центрами нелегальных организаций б[ывших] левых эсеров, меньшевиков и др., для совместной борьбы с Советской властью»[107].

На основании этих обвинений Военная коллегия приговорила Гоца и Тимофеева «к тюремному заключению, сроком на двадцать пять лет каждого, с поражением в политических правах на пять лет каждого, и конфискацией всего, лично принадлежавшего им, имущества. Срок тюремного заключения исчислять Гоцу с 7 февраля 1937 г., а Тимофееву 5-го февраля 1937 г.».

[106] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 95.
[107] Архив «Мемориала».

26 октября 1939 г. начальник санчасти Бутырской тюрьмы подписал справку, что Гоц «практически здоров» и «к физическому труду годен». Личное дело А.Р. Гоца № 1696 по наряду Главного тюремного управления НКВД СССР от 14 ноября 1939 г. было направлено в Красноярский лагерь. В декабре туда же в город Канск под усиленным конвоем отправился и сам Гоц. 10 января 1940 г. на него была уже заведена карточка Красноярского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР. Меньше чем через восемь месяцев он скончался в больнице Ингашского ОЛП, о чём был составлен «Акт о смерти № 99», объявлявший её причиной «кровоизлияние в мозг». В справке, предназначенной начальнику ОАГС УНКВД Ленинграда, 4 сентября 1940 г. начальник 2 отдела Управления Красноярского ИТЛ сообщал, что А.Р. Гоц умер 4 августа 1940 г. в Канске. В справке указывался и его последний, ещё петроградский (видимо 1917—1918 гг.) адрес — Набережная Шмидта, д. 13, кв. 1[108]. Место нахождения его могилы неизвестно.

Но судьба оказалась безжалостна к Абраму Гоцу и после смерти. Имя его в современной России забыто, а 28 мая 2001 г. помощник генерального прокурора Российской Федерации Н.С. Власенко утвердил «Заключение об отказе в реабилитации», составленное А.Г. Абрамовым и подписанное прокурором отдела реабилитации И.О. Ковалевской. «Гоц, — говорилось в нём, — признан виновным в том, что, будучи одним из влиятельнейших членов ЦК партии социалистов-революционеров (правых), поддерживал и разделял установку ЦК на вооружённое свержение рабоче-крестьянской власти в России. В прошлом участвовал в организации в контрреволюционных целях вооружённых восстаний и вторжений на территорию России вооружённых отрядов и банд, участвовал в попытках захвата власти в центре и на местах и насильственном расторжении договоров, заключённых РСФСР, отторжении от Республики некоторых частей её. Кроме того, руководил деятельностью террористических партийных групп, готовивших покушения на Ленина, Троцкого, Берзина и поезд Совета Народных Комиссаров, убийство Володарского. В основной своей части предъявленное Гоцу обвинение подтверждено его собственными показаниями, данными в суде, в которых он заявил, что считает себя полностью ответственным за все решения ЦК партии, направленные на организацию вооружённой борьбы с советской властью, подтвердил, что сразу же после свержения правительства Керенского он принимал меры к свержению власти большевиков и с этой целью выезжал в войска под Петроградом, в том числе к генералу Краснову, для организации их выступления на Петроград. Показаниями Паевского, Игнатьева, Семёнова, Коноплёвой, Ракитина-Бро-

[108] Там же.

уна, Краковецкого подтверждено, что Гоц принимал активное участие в подготовке юнкерского восстания в Петрограде в конце октября 1917 года, когда основные революционные силы были брошены на борьбу с корниловским мятежом (так! — *К.М.*). По его настоянию руководителем восстания был назначен полковник Полковников. Входил в военную организацию и штаб "Союза возрождения", куда входили и представители буржуазных партий, координировал деятельность "Союза " и партии эсеров по борьбе с советской властью. Семёнов, Коноплёва подробно рассказали, что именно Гоц поддержал их решение об организации убийства Володарского, слежку, а затем и покушение на Ленина, причём поддержал не только от своего имени, но и от имени ЦК партии эсеров... Доказанные Гоцу преступные действия содержат состав инкриминированных ему преступлений. На основании изложенного, руководствуясь ст. 4 Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" в реабилитации Гоца Абрама Рафаиловича отказать»[109].

Вспоминаются слова бельгийского социалиста Э. Вандервельде, выступавшего на процессе с.-р. защитником 1-й группы подсудимых и заявившего по возвращении из Москвы в Европу: «Большевики выставили против с.-р. четыре обвинения: 1. С.-р. с оружием в руках защищали Временное правительство. С.-р. признают этот факт и гордятся этим. 2. С.-р. с оружием в руках защищали Учредительное собрание. С.-р. признают это и жалеют, что им не удалось этой защиты довести до конца. 3. С.-р. вели вооружённую борьбу с советской властью. С.-р. признают, что это несомненно исторический факт. Но все три обвинения теперь падают, так как советская власть издала по этим деяниям акт об амнистии и даже легализировала партию. 4. С.-р. принимали участие в убийстве Володарского и покушении на Ленина. Но этому нет ни одного доказательства, ни одного свидетеля — кроме признаний провокаторов Семёнова и Коноплёвой, словам которых никто не верит»[110].

Почему же стал возможен отказ в реабилитации А.Р. Гоца и некоторых других осуждённых в 1922 г. эсеров? Согласно статье 4 принятого 18 октября 1991 г. закона «О реабилитации жертв политических репрессий», реабилитации не подлежали «обоснованно осуждённые судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в совершении следующих преступлений: а) измена Родине в форме шпионажа, выдачи военной или государственной тайны, перехода на сторону врага; шпионаж, террористический акт, диверсия; б) совершение насильственных действий в отношении гражданского населения и военнопленных, а так-

[109] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 1. Ч. II. Л. 105—106 об.

[110] См.: Голос России. 1922. 25 июня. № 999.

же пособничество изменникам Родины и фашистским оккупантам в совершении таких действий во время Великой Отечественной войны; в) организация бандформирований, совершавших убийства, грабежи и другие насильственные действия, а также принимавших личное участие в совершении этих деяний в составе бандформирований; г) военные преступления, преступления против мира, против человечности и против правосудия». «Кроме того, — как указано в законе, — не подлежат реабилитации направленные в административном порядке на спецпоселение лица из числа репатриированных советских граждан (военнопленных и гражданских лиц), служивших в строевых и специальных формированиях немецко-фашистских войск, полиции, если имеются доказательства их участия в разведывательных, карательных и боевых действиях против Красной армии, партизан, армий стран антигитлеровской коалиции и мирного населения, за исключением тех, кто впоследствии принимал участие в боевых действиях против немецко-фашистских войск в составе Красной армии, партизанских отрядов или в движении Сопротивления».

Таким образом, возникла парадоксальная ситуация, при которой данная статья, призванная воспрепятствовать реабилитации шпионов и военных преступников, помимо воли разработчиков, позволила современным прокурорам распространить отказ в реабилитации и на участников Гражданской войны. Так, сопроцессника Гоца — члена ЦК ПСР и министра труда в антибольшевистском архангельском правительстве М.А. Лихача не реабилитировали, фактически обвинив в измене Родине и пособничестве оккупантам: «На полученные от иностранных антисоветских миссий деньги, переданные ему Игнатьевым, выехал для организации антисоветского восстания в Вологду, откуда, ожидая антантовский десант, перебрался в Архангельск, войдя в состав антисоветского правительства “Северной области”, опирающегося на антантовские военные силы, по существу оккупировавшие эту территорию, т.е. фактически перешёл на сторону врага, ведущего войну с Советской Россией»[111].

В результате Абрам Рафаилович Гоц, боровшийся за свободу российского народа против авторитарного (царского) и тоталитарного (советского) режима, оказался вдруг в современной и формально республиканской по своему политическому устройству России, официально провозглашающей себя демократической и свободной страной, на одной доске со шпионами, пособниками фашистских захватчиков и организаторами сталинского «Большого террора», среди которых числятся и его палачи[112].

---

[111] ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 1. Ч. II. Л. 123, 123 об.

[112] Подробнее см.: *Морозов К.Н.* Историко-правовые аспекты реабилитации подсудимых процесса социалистов-революционеров 1922 года. С. 47—55. Кроме А.Р. Гоца Генеральная прокуратора также отказала в реабилитации подсудимым 1-й группы Д.Д. Донскому, М.А. Лихачу, Н.Н. Иванову и Е.А. Ивановой.

А.Ю. Морозова

В тени старшего брата: Виктор Савинков

Виктор Викторович Савинков всю жизнь оставался в тени своего знаменитого старшего брата и внутренне страдал от этого, хотя, несомненно, любил Бориса. Биография Виктора Савинкова никогда ещё не была предметом специального рассмотрения исследователей, и пока возможно более или менее подробно осветить лишь те периоды его жизни, о которых свидетельствуют сохранившиеся в архиве документы и упоминания в написанных им автобиографических «Записках». Заключительный период жизни Виктора известен нам практически только по рассказам его сына — Сержа, родившегося в 1941 г. и помнящего своё детство с отцом в Бандоле (городке на Лазурном берегу).

К сожалению, как это часто бывает, и без того немногочисленные источники порой противоречат друг другу, затрудняя реконструкцию исторической реальности. Путаница начинается уже с установления дня рождения Виктора Викторовича. Так, в официальном документе, выданном ему Российской дипломатической миссией при Польском правительстве 10 апреля 1921 г., записано, что он родился 27 ноября 1886 г., а в свидетельстве о натурализации В. Савинкова и его последней жены во Франции стоит другая дата: 6 декабря 1886 г.[1] Каким бюрократам верить — российским 1921 г. или французским 1947 г. — решить сложно. Хорошо хоть, что место рождения в обоих случаях указано одно и то же — Варшава.

Судьба семьи Савинковых, при всей своей драматичности и переменчивости, в то же время вполне типична для людей их круга в те переломные для России годы. В ней было шестеро детей: братья Александр, Борис и Виктор и сестры Вера (домашнее имя Руся), Надежда и Софья. Как вспоминала их мать — Софья Александровна Савинкова (родная сестра известного художника-передвижника Ярошенко, писавшая под псевдонимом С.А. Шевиль), пока её старшие сыновья не приняли участие в оппозиционном движении, семья жила в Варшаве вполне мирно, «как все тогда жили в провинции: без особых забот, без особых общественных интересов, без запросов... так себе, изо дня в

[1] ГА РФ. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 48. Л. 3.

день, как живут чиновники»[2]. Отец семейства «служил по Министерству юстиции на западной окраине и получал хорошее содержание», будучи порядочным интеллигентным человеком, «чрезвычайно чутким к справедливому и широкому толкованию законов, не видевшим никакой разницы между евреем, русским и поляком, между интеллигентом и рабочим, между богачом и бедняком», он не кривил душой при принятии решений и не поддавался воле начальства. Всего этого было достаточно, чтобы «среди сослуживцев он приобрёл славу человека неуживчивого и красного, что его, впрочем, нисколько не огорчало»[3].

Жизнь переломилась надвое, когда в 1897 г. на первые свои каникулы из Петербурга приехали Александр и Борис (первый учился в Горном институте, второй — в университете). После ночного обыска обоих арестовали и увезли в Петербург, и для матери начался долгий период хождения по полицейским и судебным инстанциям в попытках вначале хотя бы выяснить что-либо о судьбе детей, а потом — добиться свидания с ними и облегчить их участь. «Наше отношение к обществу и знакомым со времени ареста сына очень изменилось, — вспоминала впоследствии С.А. Савинкова, — испытав теперь настоящее горе, мы инстинктивно стали сторониться людей с чиновничьим кругозором, и у нас взамен образовался небольшой, но очень тесный кружок единомышленников. Мы же с мужем, под влиянием событий, стали тревожно присматриваться к действиям администрации и из людей мирных, довольствовавшихся чиновничьим благополучием, мало-помалу обратились в людей, относящихся критически к правительственному произволу. Факты нашей жизни сами собой на это нас наталкивали»[4].

Так или иначе, ещё в годы учёбы в варшавской гимназии, пришедшиеся на революционный 1905 г., Виктор достаточно внятно продемонстрировал свои политические пристрастия, принимая участие в работе «тайных революционных организаций», как он сам их называет в своих «Записках». Это вряд ли удивило кого-либо из членов его большой семьи. К тому времени отец был отстранён от должности за революционные взгляды, мать, состоявшая членом Шлиссельбургского комитета, обвинялась Департаментом полиции в сборе средств на боевые предприятия партии эсеров и позднее на 2 года была лишена права въезда в Петербург, а Борис, к этому времени уже кооптированный в ЦК ПСР, являлся одной из ключевых фигур в эсеровской Боевой организации.

1905 г. потряс семью Савинковых не меньше, чем всю страну. За несколько месяцев до окончания срока ссылки в далёком Олёкминске

[2] *Савинкова С.А.* Годы скорби // Былое. 1906. № 7.
[3] Там же.
[4] Там же.

застрелился Александр Савинков. Не выдержав всех потрясений, связанных с арестами и ссылками сыновей, ночными обысками в доме и напечатанным во всех газетах сообщением о поимке опасного государственного преступника и бомбиста Бориса Савинкова (которое оказалось ошибкой — арестован был совсем другой человек, а знаменитый террорист в это время находился за границей), Виктор Михайлович Савинков лишился рассудка и скончался в ноябре 1905 г., не узнав о смерти старшего сына.

Виктор Викторович в 1905 г. поступил в Петербургский университет. Происходившие тогда в стране события предопределили судьбу его поколения, кардинально отличавшегося от предыдущего и особенно от следующего, чьё формирование и взросление пришлось на эпоху реакции[5]. Однако и к своим сверстникам Виктор относился довольно скептически: «А моё поколение едва ли принесло России много пользы. В сущности, из него ничего особенного не вышло: угар революционный поры; исчезли, растворившись в обывательщине, идеалы. Для того, чтобы ни то, ни другое не облетало, как одуванчик, надо быть практичным. А это значит, что надо уметь не только говорить высокие слова и геройствовать тогда, когда геройствуют все и не геройствовать невозможно, но практически проводить в обыденную жизнь, в будни, в мелочи и идеалы и геройство. Этого-то, как раз мы и до сих пор, несмотря на все потрясения, пожалуй, не умеем»[6].

В середине 1906—1907 учебного года учёбу пришлось прервать, так как в начале февраля 1907 г. Виктор по настоянию врачей, которые «пообещали ему горловую чахотку, если он останется в Петербурге»[7], был вынужден уехать за границу, где намеревался пробыть «месяца 4, а то и больше»[8]. Несмотря на пребывание в тёплом (по сравнению с Петербургом) европейском климате, диагноз подтвердился, но сам больной отнёсся к нему с удивительным оптимизмом. «Хотя слово страшное, — писал он про “чахотку” Борису, — но болезнь сама по себе по-видимому совершенно не страшна, т.к. я жил несколько месяцев и не подозревал её существования...»[9]. Судя по всему, лечение было успешным, ибо ни в одном из последующих документов мы не встретим упоминания об этой болезни Виктора. Даже в тяжелейших условиях Степного похода, когда приходилось делать многочасовые

[5] Любопытно, что именно это слово, широко использовавшееся советскими историками и отвергаемое ныне вместе с советской историографией, употребляет В. Савинков.
[6] ГА РФ. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
[7] Там же. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 177. Л. 7.
[8] Там же. Л. 9 об.
[9] Там же. Л. 10—10 об.

переходы под проливным дождём, сменявшимся снегом, и ночевать в холодных сараях, а то и просто на улице, чахотка никак себя не проявила, видимо, будучи окончательно вылеченной в 1907 г.

События следующих нескольких лет жизни Виктора практически никак не отразились в сохранившихся фрагментах семейной переписки. Некоторые сведения о его перемещениях в это время мы можем почерпнуть из документов Департамента полиции, который не оставлял без внимания никого, хоть раз попавшегося ему на глаза. А уж родному брату Бориса Савинкова подобное пристальное внимание было гарантировано. Так, например, не осталась незамеченной короткая поездка Виктора из Москвы в Петербург в мае 1912 г., когда московской охранкой он был «сдан с рук на руки» филёрам наружного наблюдения петербургского охранного отделения. «Наружка», ведшая его под кличкой «Воротниковский», так описала приметы В. Савинкова: «Лет 23—25, выше среднего роста, брюнет, среднего телосложения, лицо немного корявое, усов и бороды нет, одет — чёрно-серое пальто, чёрный котелок и тёмно-синие брюки»[10]. Филёры зафиксировали также все его немногочисленные контакты во время трёхдневного пребывания в столице: мать, сестра Надежда с мужем — подполковником В.Х. фон Майделем, Д.С. Старынкевич, С.С. Ольденбург. Однако цели поездки остались полиции неизвестны.

Судя по другим источникам, в 1912 г. Виктор развёлся со своей первой женой Верой Николаевной Рукиной, от брака с которой у него был сын Николай (в его судьбе он позднее принимал некоторое участие). О второй жене В. Савинкова — Ольге (фамилия, вероятно, Бокова) известно лишь то, что в апреле 1914 г. она родила ему сына. Роды были тяжёлыми, и это сильно отразилось на семейном бюджете, но, к счастью, не на здоровье мальчика. Накануне Первой мировой войны семейство Савинковых жило в Новочеркасске, и жизнь Виктора в его собственных глазах выглядела очень однообразно, как и должно быть в таком городе. «Днём работаю, вечером 2—3 партии в шахматы с самим собой, а затем до 3—4-х часов утра чтение. Два раза в неделю этот порядок нарушается скачками. Последние, впрочем, кончаются в это воскресенье. Предстоит 2—3 месяца такие же, безо всякой надежды на спасение. Лето здесь ужасное: жара, сушь, жаркие ветры, дующие 4—5 суток без перерыва (похуже вашего сирокко). Два дня такого ветра и зелень становится бурой, трава выгорает и высыпают недозревшие хлеба. Ночи душны и безросны. Куда ни пойдёшь — всюду поля, пыль, местами ковыль, режущий блеском глаза и солнце, солнце, солнце. Так и сидишь

[10] Там же. Ф. 102. ДП ОО. 1906. Д. 115. Т. 17. Л. 158.

неделями в пределах двора»[11]. К тому же и занятия живописью шли не очень успешно — Виктор жаловался брату на то, что никак не может закончить автопортрет: «Вместо лица, сколько ни бьюсь, всё лезет сильно смахивающая на лицо разбойничья рожа»[12]. Немного скрашивало монотонную скуку провинциальной жизни чтение, хотя новинки до пыльного южного городка доходили с большим запозданием. Сын рос и «становился похожим на человека», начал узнавать мать и няню.

Однако семейная идиллия (если она и была таковой) и на этот раз длилась недолго: весну следующего, военного, года Виктор встречал в Москве уже в одиночестве. Всю зиму и весну он был всецело поглощён живописью: «около 45 рисунков натурщиц, каждый минимум 2 сеанса, обыкновенно же 3, 2 натурщицы во весь рост в натуральную величину и 12 nature morte'ов (масляными красками). Часто работал по 10 часов в сутки, а обыкновенно 6—8»[13]. Между тем художественная жизнь Москвы этого периода производила на него гнетущее впечатление, во всех её сторонах он видел проявления кризиса современного искусства, обещавшего, правда, рождение чего-то нового после войны.

Живописью Виктор занимался вполне серьёзно, о его успехах и направлении творчества говорит тот факт, что он показывал свои натюрморты, пейзажи и рисунки на выставках группы «Бубновый валет» в Москве в 1910—1916 гг. и в Санкт-Петербурге в 1913 г., а также на «Выставке живописи 1915 г.» в Москве. На одной из выставок даже произошёл забавный случай. Довольно известный критик А.А. Койранский (сам, кстати, изредка участвовавший на выставках как художник), был введён в заблуждение на «Бубновом валете» этикеткой с именем Пикассо, случайно прикреплённой к натюрморту художника В.В. Савинкова (работы Пикассо то ли запаздывали, то ли, объявленные на афише и в каталоге, вообще остались не присланными). В газетной рецензии критик очень одобрительно отметил скромный натюрморт «заграничной знаменитости», его композицию и колорит. «А селёдки и чёрного хлеба он не заметил!» — негодовали руководители «бубнововалетцев» в Письме в редакцию.

В начале лета 1915 г. Виктор поехал в Новочеркасск, но надолго там не задержался, и лето провёл у сестры Нади в Финляндии. Причиной тому был, судя по всему, полный разрыв с женой, ибо 28 сентября в письме Е.И. Зильберберг (жене Б.В. Савинкова) он писал: «Вы спрашиваете меня, как я провёл время “дома”. “Дома” у меня нет (да и не было): я ездил в Новочеркасск для того, чтобы навсегда уехать оттуда. Для Вас и

[11] Там же. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 177. Л. 13—13 об.
[12] Там же. Л. 14.
[13] Там же. Д. 483. Л. 3.

для Бориса это, пожалуй, неожиданность. На самом деле это длинная и скучная история»[14]. Попытки вернуться к занятиям живописью были не слишком успешны, потому что он «всё ещё не мог сосредоточиться и так втянуться в работу, как в прошлом году». По его словам, этому мешали две причины: «Во-первых, поиски заработка, т.к. единственный мой ресурс — вера в то, что я “пан птицы небесной”, во-вторых, неопределённость, возникшая благодаря построению жизни на столь зыбком основании. Всё-таки я работаю три, четыре, а в случае удачного распределения времени — шесть часов в день. Но всё же работа идёт вяло, больше по привычке, больше по невозможности не работать, чем по охоте»[15]. Кроме того, начинали сказываться и трудности военного времени. «Насчёт живописи дела плохи, — сообщал он Е.И. Зильберберг, — товарищи, с которыми я снимал студию, тоже вскоре будут призваны. Дело надо бросать, тем более, что наша мастерская отапливалась антрацитом, которого невозможно достать в Москве иначе как в очень больших количествах. Вот вторая неделя, как краски пришлось бросить и удовлетворяться небольшими рисунками, которые я делаю дома. У меня есть работа, за которую я давно уже собирался приняться и которой удавалось заниматься лишь урывками, но она меня мало удовлетворяет: я скучаю по краскам. Заработка нет и не будет; теперь я уже оставил надежду найти что-нибудь. Всюду вопрос — а как насчёт воинской повинности? И затем отказ: на два месяца брать невыгодно. Впрочем, возможно, что кое-что удастся заработать пустяковыми рисунками или плакатами»[16].

В этих условиях после объявления в газетах о том, что «будут призваны к пересмотру освобождённые от воинской повинности», Виктор решил не дожидаться призыва и пойти на фронт добровольцем. 23 ноября 1915 г. он отослал документы в Константиновское артиллерийское училище, занятия в котором должны были начаться 1 января 1916 г. и через 5 месяцев завершиться получением звания прапорщика. Особой надежды на успех не было, ибо «наплыв прошений был громадный». Однако перспектива не поступить в это училище не слишком его пугала, поскольку он готов был «удовольствоваться пехотным училищем», что позволяло не уезжать из Москвы до отправки на фронт. Перемена же места жительства стала для Виктора весьма нежелательна, ибо он «решился ещё один раз, последний раз, совершить глупость, которую совершал уже дважды, т.е. жениться. Должно же когда-нибудь повезти человеку!»[17] Его избранницей стала Алек-

[14] Там же. Л. 5.
[15] Там же.
[16] Там же. Л. 6 об.
[17] Там же. Л. 7.

сандра Юрьевна (её девичья фамилия не установлена), красавица-балерина, нежно и преданно любившая мужа до самой своей смерти. Они поженились в начале 1916 г., когда Виктор ожидал зачисления в артиллерийское училище (повенчались в феврале 1917 г.). Материальное положение семьи в это время, как это часто бывало потом в их жизни, оставляло желать лучшего: у мужа-художника заработка не было никакого, жена-балерина получала 60 рублей, мать ежемесячно посылала им по 25 рублей. Помогала им также сестра Виктора Надя, а пару раз присылала деньги вторая жена старшего брата — Е.И. Зильберберг, с которой Виктор в это время вел оживленную переписку [18].

В училище Савинков был зачислен в конце мая 1916 г., а уже 22 декабря 1916 г. его произвели в офицеры и направили в находившуюся в Москве 1-ю запасную артиллерийскую бригаду, где он, в ожидании отправки на фронт, занимался обучением солдат. По его мнению, у него это получалось ничуть не хуже, чем у других штатских, никогда не мечтавших о погонах, но оказавшихся весьма способными к военному делу. Ритм жизни мужа и жены решительно не совпадал: он уходил на службу в 7.30 и, вернувшись к пяти, немедленно ложился спать, чтобы выспаться в два приёма, так как жена служила в театре и возвращалась к позднему ужину. Тем не менее Виктор был доволен жизнью и считал, что «живётся неплохо, даже наоборот — хорошо». Огорчали его только сильные, непривычные для февраля морозы и невозможность заниматься живописью, что воспринималось как «огромное лишение, наказание, почти истязание»[19].

Февральская революция круто изменила более или менее налаженный быт. Волнения и беспорядки начали проникать с улиц в солдатские казармы, и офицерам пришлось приложить немало сил для того, чтобы сохранить дисциплину и порядок. 22 марта 1917 г. Виктор писал своему старшему брату: «...Последние дни я возвращался домой постоянно поздно и настолько усталым, что не хватало духу взяться за перо. Даже в воскресенье я был занят. Словом, с 28-го февраля я не имел ни одного свободного дня, ни одного дня отдыха. Надеюсь отдохнуть в это воскресенье, т.к. всё у нас уже понемногу приходит в порядок (я говорю про нашу бригаду и про мой взвод в частности, т.к. нельзя того же сказать о некоторых других частях войск, где ещё не наладилась нормальная работа)»[20].

В первой части своих «Записок» (главы 3 и 4) В. Савинков подробно описал, что происходило в это время в казармах и как отразились рево-

[18] Там же. Л. 8.
[19] Там же.
[20] Там же. Д. 177. Л. 5 об.

люционные события на более или менее размеренной жизни запасной бригады. «Повторяю, — отмечал он, как и многие другие мемуаристы, — мне в голову не приходило, что я стою лицом к лицу с долгожданной революцией; я сробел перед событием, которое сам считал частным и маловажным: перед солдатским бунтом, который, несомненно, так или иначе будет ликвидирован»[21]. «Военный бунт во время войны мне казался делом преступным — вспоминал В. Савинков, — возможность революции мне и в голову не приходила, — но в тоже время мои "убеждения" не позволяли мне принять участие в подавлении того самого бунта, который я считал преступным. После довольно-таки продолжительных и мучительных колебаний я пришёл к самому "интеллигентному" решению: я решил приложить все силы к мирному и безболезненному разрешению мятежа, если бы таковой возник; если же со стороны начальства будут приняты меры к насильственному подавлению бунта — от участия в подавлении отказаться»[22]. «Конечно, я знал, — признавался он три года спустя после описываемых событий, уже имея за плечами опыт участия в Гражданской войне, — что отказ от участия в подавлении бунта — отказ от выполнения приказа — в условиях военного времени карается смертью, однако, это меня нисколько не оправдывает: во мне сказались самая обыденная двойственность и нерешительность, приводящие к пассивности; мне не приходило в голову, что я должен делать то, что в настоящий момент считаю самым важным для дела войны, для России, не думая совершенно о себе самом и о чистоте своих трафаретных "убеждений" — раз уж я не мог стать на сторону бунта. Весьма возможно, что будучи судим и осуждён, я умер бы "геройскою смертью", с какой-нибудь "революционной" фразой на устах: пафос такого пассивного героизма понятен. Очень вероятно, многие считали бы меня действительно героем, и может быть, я был бы причислен к лику "жертв революции". Но факт остается фактом: в решительную минуту, когда более всего нужны были именно твёрдость, цельность, решимость, их у меня не оказалось; когда нужна была широта и проницательность — их не было — их место занимал трафарет; когда нужно было думать об общем, о целом — о России, я думал о маленькой, ничтожной частности: о чистоте своего трафарета»[23].

Несмотря на то, что тогда Виктор был далёк от политики (если не считать политической работу по недопущению «разложения армии», которая рассматривалась офицером как долг), он обратился к П.Н. Милюкову с просьбой содействовать возвращению в Россию Бориса Савинкова. Подобное обращение к министру буржуазного пра-

[21] Там же. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 3. Л. 24.
[22] Там же. Л. 23.
[23] Там же. Л. 24.

вительства с ходатайством за политического эмигранта-социалиста, известного террориста и борца с царским режимом, несколько смущало Виктора, однако, поразмыслив, он пришёл к выводу, что иных путей помочь брату у него нет. Кроме того, он решил, что раз ответственность за посылку телеграммы лежит на нём, то и достоинство брата соблюдено, «насколько это было возможно»[24].

В первых числах мая 1917 г. В. Савинков был направлен на Румынский фронт в (115-ю артиллерийскую бригаду), затем служил в Минске в IV политическом отделении штаба Западного фронта. После октября 1917 г., получив отпуск, он вместе с женой уехал на Дон, где, по слухам, формировались части для борьбы с большевиками. Вступив в партизанский отряд полковника Семилетова, В. Савинков прошёл с ним от начала до конца Степного похода. По возвращении в Новочеркасск после расформирования отряда летом 1918 г. он некоторое время служил в донском Министерстве земледелия и землеустройства, а когда стало ясно, что дни атаманства П.Н. Краснова сочтены, явился в главный штаб Донской армии и получил назначение в тяжёлую морскую артиллерию. Вскоре он вновь оказался в Сводно-партизанской дивизии и в составе семилетовского артиллерийского дивизиона дошёл до Новороссийска, откуда казаков, преследуемых красными по пятам, должны были эвакуировать. Но к этому времени все пароходы уже ушли, и 13 марта 1920 г. группа казаков и офицеров, решивших пробиваться через горы к своим, была арестована и доставлена в штаб третьей бригады 33-й Кубанской дивизии. Всем пленным было предложено служить в Красной Армии и сформировать гаубичную батарею. После некоторых раздумий и споров бывшие белые офицеры решили всё же эту батарею сформировать, но так, чтобы впоследствии её можно было использовать в своих целях. В неё взяли только «своих» — проверенных совместной службой и боями однополчан. Некоторое время спустя батарею отправили в Екатеринодар, где заканчивалось формирование дивизиона. Здесь В. Савинков, по его словам, решил, что «настало время», «переговорил с двумя в высшей степени надежными казаками и сообщил им свой план противобольшевистской организации»: «Не ставя себе в настоящее время никакой конкретной боевой задачи, так как таковая могла возникнуть всегда, я предложил объединить казаков по принципу тройки, но самым конспиративным образом, призывая только близко известных, абсолютно надёжных и исключительно казаков, делая исключение только для наших бывших партизан, которых мы хорошо знали»[25]. В многочисленных анкетах, заполнявшихся бывшими офице-

[24] Там же. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 177. Л. 6.
[25] Там же. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 6. Л. 22.

рами, Савинков записывал себя «анархистом-индивидуалистом», и под этим предлогом отказывался от вступления в коммунистическую партию, что несколько раз предлагал ему комиссар части[26].

В конце мая 1920 г. батарея в составе дивизиона выступила в поход на Польский фронт. Ей предстояло дойти до Новочеркасска, откуда ожидалась отправка по железной дороге. Савинков, получив короткий отпуск, приехал в Новочеркасск к жене, которая, как и при белых, служила в канцелярии сельскохозяйственной части Министерства земледелия и землеустройства. Тогда же, прощаясь, он сообщил ей и нескольким близким друзьям и родным, что при первой же возможности уйдёт в Польшу.

С середины июня В. Савинков воевал против поляков, а в ночь с 20 на 21 августа, когда уже ясно было, что Красная Армия потерпела поражение, бежал из батареи с ещё одним офицером и двумя вахмистрами. В последующие дни ушли от красных, перейдя границу с Германией, и остатки его батареи. Перебежчиков взяли в плен, доставив этапом, а затем поездом в Варшаву, где Виктор, наконец, узнал, что его брат Борис жив и находится здесь же. Добившись разрешения на выход из лагеря и узнав через Красный Крест адрес брата, Виктор явился к нему в гостиницу, произведя своим появлением сильный эффект: не сумев через ростовские газеты найти его или жену в Новочеркасске, все родственники были убеждены, что он погиб во время Степного похода.

В Варшаве В. Савинков сперва не принимал участия в работе Русского политического комитета, организованного его старшим братом, и только писал статьи о Красной Армии в газету «Свобода». Затем, состоя начальником экспозитуры Русского политического комитета при отряде генерала Булак-Балаховича, он участвовал в неудачном походе на территорию Советской России, после которого все воинские части, вернувшиеся в Польшу, были вновь интернированы.

В январе 1921 г. Виктор возглавил созданное в Варшаве при Русском политическом комитете Информационное бюро. Согласно сохранившемуся в архиве отчёту о деятельности этой организации, работа её с 1 июня по 1 октября 1921 г. «протекала в четырёх направлениях: 1) сплочение русских антибольшевистских элементов в Польше вокруг Народного союза защиты родины и свободы[27]; 2) упрочение и развитие сети пограничных пунктов; 3) революционная работа за границей; 4) разведка и контрразведка»[28]. Основной

[26] Там же. Л. 6.

[27] В июне 1921 г. в Варшаве прошёл съезд, воссоздавший «Союз защиты родины и свободы» и добавивший к названию слово «Народный». В состав руководящих органов Союза вошёл и младший брат его организатора.

[28] ГА РФ. Ф. 5872. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.

задачей Информационного бюро являлась организация разведывательной сети на территории Советской России и сбор сведений о политическом и экономическом положении в стране, о частях Красной Армии, настроениях в обществе и т.п.

В октябре 1921 г. под давлением РСФСР Б.В. Савинков и его ближайшие сподвижники были высланы из Польши, так как их деятельность нарушала условия Рижского мирного договора. Виктор Савинков оказался в Праге. Там же обосновалась его сестра Руся с мужем (А.Г. Мягковым) и детьми и ещё несколько руководителей НСЗРиС. К концу января Виктору с женой удалось найти небольшую квартирку на окраине города, недалеко от Руси, и потекла однообразная эмигрантская жизнь. Формально НСЗРиС продолжал существовать: в Праге действовало его отделение, в Варшаве выходила газета «За свободу», в которую Виктор по настоянию брата писал статьи и рассказы, печатавшиеся за его подписью и под псевдонимами (Александр Корнаков, Никита Смолин, Станичник[29]). Однако фактически организация медленно умирала, а отношения людей, связанных одновременно узами родства и членства в Народном союзе, становились всё хуже. Борис Савинков был в Париже и оттуда пытался рассудить, кто прав, а кто виноват в этом затянувшемся конфликте. Судя по письмам, он склонялся к тому, что делом больше занимается Мягков, в то время как Виктор склонен к созерцательности и лени. В письмах Мягкову Борис порой весьма нелицеприятно отзывался о младшем брате. «Где люди, Александр Геннадьевич? — вопрошал он 22 октября 1922 г. — Ведь в конце концов, это чёрт знает что: 35-летняя орясина, целый год получающая пособие и за целый год не придумавшая себе занятие!»[30]. Виктору же приходилось отвечать на упрёки в ничегонеделании. «Я не знаю, как именно доказал тебе А.Г. свою работу, — писал он 10 августа 1923 г. Борису. — Не знаю, как можно её вообще доказывать из Праги в Париж. Да и нужно ли вообще-то доказывать? Одно могу сказать: никто, в том числе А.Г., не делал много, ибо дела-то как такового, на мой взгляд, не было. Вот и я наравне с другими делал или ничего не делал — как хочешь. Результаты моей работы, которые можно видеть и в Париже — в “Свободе”. Правда, я писал мало: за 22 год с октября месяца мои статьи печатались 6—7 раз в месяц. Первые месяцы 23-го четыре-—пять. Не было ничего только в июле этого года. За 22-й год напечатано около 5000 строк, за 23-й — несколько больше. Но не “нервы” и не “настроение”, как у барышень, тому причиной»[31].

[29] См.: Там же. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 42.
[30] Там же. Ф. 6756. Оп. 1. Д. 20. Л. 33.
[31] Там же. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 11. Л. 51 об.

Борис вообще всё время упрекал Виктора, что тот мало пишет для газеты, хотя, как ему казалось, в чешской жизни и чешских газетах можно найти достаточно материала для еженедельных обзоров. Виктор же отвечал, что писать не о чем, поскольку местные газеты помещают материалы местного значения, а если и появляются какие-то интересные новости, то и они утратят свою остроту и злободневность за те дни, пока письмо будет идти от Праги до Варшавы. «Наконец, — признавал он в том же письме, — как вероятно, всякий журналист поневоле, не имеющий к тому призвания и способностей, я пишу долго и трудно. Может быть, это тебе отчасти объяснит, почему я пишу так мало»[32]. Впрочем, когда написанные Виктором статьи всё же появлялись в газете, старший брат неизменно откликался на них и поддерживал начинающего журналиста. «Статьи твои читаю и нахожу неплохими, хотя язык у тебя иногда шершавый, — сообщал он о своих впечатлениях 14 декабря 1923 г. — Но ведь не боги горшки обжигают, и ты мало-помалу стал журналистом почти “першей кляссы”. Радуюсь этому за тебя и за газету»[33].

Страницы писем Бориса и Виктора Савинковых, Веры (Руси) Савинковой-Мягковой и А.Г. Мягкова на протяжении нескольких лет заполнялись взаимными упрёками, обвинениями, попытками выяснить недоразумения и недопонимание. Каждая из сторон считала себя абсолютно правой и настаивала на этой своей правоте. К лету 1923 г. из-за конфликта с Мягковыми Виктор счёл своё дальнейшее пребывание в Пражской группе НСЗРиС бессмысленным и вышел из неё. Этому предшествовала оживлённая переписка между братьями, в ходе которой младший пытался убедить старшего в необходимости реорганизации Союза в целом и Пражской группы в частности, а также в непригодности Мягкова для такого рода деятельности. «Я никогда не считал Пражские дела важными, — заявлял он 20 июля 1923 г. — В этом моё первое расхождение с А.Г., придающим не только пражским делам, но и своей деятельности преувеличенное значение <...> В личных и далёких отношениях — а близких у меня с А.Г. никогда не было и быть не может — он очень милый человек, но в деловых — нестерпим... Однако меня всегда удерживало прежде всего лояльное отношение к организации (Я и теперь предпочитаю уехать, чем компрометировать её, хотя не для меня же тайна, что организация давно уже — фикция). Во-вторых, я всегда полагал, что первейшая обязанность каждого из нас — в глазах русских и иностранцев беречь достоинство и престиж организации и “не спускать революционного

[32] Там же. Л. 52.
[33] Там же. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 24. Л. 8.

флага". От сохранения престижа, по-моему, зависит не только субсидия, но и твоё имя. Такая точка зрения вовсе непонятна А.Г., хотя он и готов постоянно толковать о том же. По его же мнению, надо "заслужить", "заработать" у чехов деньги, "проявляя" энергию, попросту — подлизываясь и превращая газету в рекламу для чехов. Вот в этом-то и есть самое коренное расхождение между А.Г. и мной»[34].

Однако Борис Савинков встал на сторону Мягкова. «Благодаря новому положению я в организации становлюсь бесполезным, — 27 июля 1923 г. ответил на это Виктор. — Оставаясь в ней, я оказался бы участником дальнейшей компрометации организации, твоего и своего собственного имени. Не видя в этом никакой нужды и не зная целей, ради которых это было бы необходимо, не могу не уйти из "Пражской группы". Из имеющихся в моём распоряжении исходов выбираю наименее болезненный как для других, так и для себя. Не желая порывать с Союзом вообще, я хотел бы продолжать сотрудничество в газете, но, конечно, вне всякой зависимости от А.Г.»[35]. Родственные отношения между братом и сестрой также свелись к минимуму: Виктор считал, что сестра чрезмерно опекает и контролирует его, пытаясь обрядить в «детские штанишки» и мешая жить своим умом[36].

Что касается отношений между братьями, то они оставались довольно напряженными, хотя оба признавали наличие глубокого родственного чувства между ними при одновременном фатальном непонимании и расхождении по деловым вопросам и невозможности выяснить все недоразумения в переписке, без личной встречи. «Жаль, — сетовал Виктор 2 ноября 1923 г., — что невозможно встретиться. Часто я испытываю глубокую потребность видеть тебя, тем более, что мне кажется: наши отношения могли бы быть лучше»[37]. «Вот, мы с тобой тоже как будто чужды и далеки друг от друга, — констатировал он 6 марта 1924 г. — Однако, как бы ни менялось твоё отношение ко мне, за всеми переменами я чувствую нечто неразрушимое. Полагаю, что это есть чувство, "сердечное отношение". Уверен, что и ты знаешь о таком же неразрушимом чувстве моем к тебе»[38].

После возвращения Бориса Савинкова в Россию, ареста, пребывания на Лубянке и, самое главное, публичного признания советской власти брат и сестра разошлись окончательно. Руся сочла решение Бориса «делом его совести». «Если признал, значит надо признать, тебе в России виднее, что там делается. Я люблю тебя, как любят ма-

[34] Там же. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 11. Л. 45.
[35] Там же. Л. 47.
[36] Там же. Л. 63 об.—64.
[37] Там же. Л. 59 об.
[38] Там же. Л. 66.

тери, всё принимая и всё понимая», — писала она ему на Лубянку 18 ноября 1924 г.[39] Виктор же, напротив, присоединился к тем, кто открыто осуждал поступок его брата, о чём и объявил на страницах газеты «За Свободу» 23 сентября 1924 г.[40]

Последней же каплей стал всегда остававшийся острым в условиях хронического эмигрантского безденежья финансовый вопрос. Все жившие в Праге Савинковы получали пособие от Министерства иностранных дел Чешской республики как политические эмигранты, насильно выдворенные из Польши. Деньги эти получал от чешских властей и распределял А.Г. Мягков. После смерти Б.В. Савинкова пособие было сокращено, а между тем Мягковы решили, что необходимо поддержать «Лёвиньку» — сына Бориса от брака с Е.И. Зильберберг, который в это время был ещё мальчиком и жил с матерью и старой больной бабушкой. Деньги для Лёвы Савинкова Мягков решил взять из доли Виктора, ссылаясь на то, что тот в течение ряда месяцев не посылал денег своему сыну Николаю (на которого получал пособие) и теперь должен возвратить долг, помогая племяннику. Виктора подобная ситуация решительно не устраивала, и он в категорической форме потребовал от Мягкова возврата причитающихся ему денег, напоминая, что тот не имел права принимать подобные решения единолично, если же Мягковы хотят помогать племяннику, то могут делать это из своих средств, а не за его счёт. Кроме того, он ссылался на необходимость возвращать долги, возникшие из-за того, что единовременную ссуду, полученную от правительства после смерти жены, он отдал сестре, ездившей в Париж для устройства дел после смерти Бориса. Особо он настаивал на том, что его отношения с сыном[41] никоим образом не должны никого касаться.

После фактического разрыва отношений между сестрой и братом переписка между ними прекратилась, и о дальнейшем пребывании В. Савинкова в Праге мы знаем только то, что он увлекается буддизмом, восточными религиями, теософией, оккультизмом. В середине 1920-х гг. он также прочёл там ряд лекций в Студенческом доме: «Сущность оккультизма» (22 марта 1924 г.), «Мировоззрение прошлого и будущего» (21 октября 1925 г.), «Господь Благодати — Господь красоты» (26 ноября 1925 г.), «Царство счастия» (26 ноября 1926 г.), «Эволюция», «Теософия и религия», «О Пришествии», «Эволюция» (цикл из 7 лекций с 21 января по 4 марта 1927 г.), «О русском и украинском национализме»[42].

---

[39] Там же. Ф. 6756. Оп. 1. Д. 42. Л. 3.
[40] См.: Там же. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 42. Л. 29.
[41] В это время Николай вместе с матерью оказался за границей.
[42] ГА РФ. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 29. Л. 1—22.

Свой последний Новый год в Праге Виктор Савинков встречал невесело: вот уже почти два года прошло с тех пор, как умерла жена (Александра Юрьевна скончалась 12 апреля 1925 г. от туберкулёза), погиб любимый старший брат, ещё раньше умерла мать[43], старшую сестру Надежду в 1920 г. расстреляли большевики[44], с оставшимися в живых сёстрами Соней и Русей отношения были практически прерваны, средств к существованию найти не удавалось... Правда, можно было тряхнуть стариной и взяться за краски и кисти, ведь когда-то он рисовал и неплохо, и мать с братом, когда ещё были живы, неоднократно призывали его к этому, полагая, что ремеслом рисовальщика можно заработать на жизнь. Впрочем, тогда же, несколько лет назад, он объяснял им: «...Я семь лет не держал в руке ни карандаша, ни кисти. Чтобы добиться хотя бы приблизительно той степени умения, которой я обладал и без которой никуда и сунуться невозможно, я должен много месяцев работать как ученик... Из каких средств обзавестись крайне дорогими здесь материалами? Чем оплачивать натуру или право посещения мастерской, где бы я мог натурой пользоваться?»[45].

Отчаявшись найти заработок в Чехии, В. Савинков реализовал своё давнее намерение (о котором когда-то писал брату, прося его помочь достать визу) и перебрался во Францию. Произошло это, видимо, не ранее конца 1927 г., так как на последней странице заключительной части его «Записок» стоит пометка: «Прага, ноябрь 1927 г.»

Как и на что жил он во Франции первое время, неизвестно, с родственниками он отношений не поддерживал и переписки с ними, судя по всему, не вёл. Так и не узнали бы мы ничего об этом последнем периоде жизни Виктора Савинкова, если бы не чудесная встреча его

---

[43] Узнав о смерти матери, Виктор 7 апреля 1923 г. писал брату: «Конечно, мама была человеком необыкновенным. К сожалению, я-то понял это сравнительно недавно и слишком поздно. Я не мог к ней относиться так, как относился к ней ты, так как благодаря ей испытал много горьких, никогда не забываемых часов. И много нужно было времени, много нужно было понять и увидеть, чтобы сгладилось и забылось то далёкое от благодарности чувство, которое я долго испытывал по отношению к матери. Примириться с ней мне было трудно. Я рад и тому, что это удалось мне всё-таки задолго до её смерти» (ГА РФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 11. Л. 41—41об.).

[44] Эмигрировавшая часть семьи узнала об этом из письма сына Надежды — Глеба Майделя своей бабушке — С.А. Савинковой. Очень скупо он сообщал о смерти от осложнений после тифа своей сестры Лили, долгой болезни младшей сестры Тани и его самого и смерти матери от «болезни» — по цензурным соображениям в обычном письме нельзя было называть вещи своими именами. См.: ГА РФ. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 22. Л. 1—2. 13 апреля 1922 г. Б. Савинков отвечал сообщившему ему об этом письме В. Савинкову: «Мысль о Наде не выходит у меня из головы. Вот, взяли и расстреляли ни в чём не повинную женщину, мать троих детей, полустаруху. Разумеется, расстреляли только за то, что она наша сестра. О, сволочи» (ГА РФ. Ф. 5901. Оп. 1. Д. 24. Л. 2—2 об.).

[45] ГА РФ. Ф. 5831. Оп. 1. Д. 11. Л. 35 об.—36.

младшего сына Сержа с племянницей (дочерью своего сводного брата Николая) в небольшом ресторанчике на Лазурном берегу. Благодаря воспоминаниям и изысканиям Сержа, собравшего немногочисленные документы о жизни отца, известно, что в конце концов Виктор Савинков поселился на юге Франции, в тихом благословенном месте, вдали от шума и суеты крупных городов. 29 октября 1941 г. был зарегистрирован его брак с Ильзой ван Сон, родившейся 14 июля 1907 г. в Гамбурге, а затем вместе с семьёй бежавшей от преследований нацистов. Однако даже коротенькое свидетельство о заключении этого брака, сообщающее помимо прочего и о том, что брачный контракт супругами не составлялся, задаёт загадку: как в нём записано, Виктор Савинков был разведён с некоей Софией Бочановой[46], о которой вообще ничего неизвестно. Таким образом, Ильза ван Сон была пятой женой Виктора, будучи моложе его на 20 лет. 26 декабря 1941 г. у них родился сын, наречённый Сергеем и крещённый 29 июня 1942 г. в Воскресенской церкви Тулона. Восприемниками мальчика стали есаул Войска Донского Иван Романович Бирюков и француженка Жермен Плювье.

Для нового семейства это были тревожные времена: южное побережье Франции было занято нацистами, и само крещение Сержа устраивалось в том числе и для того, чтобы обезопасить его (в документе, правда, всё равно фиксировалось иудейское происхождение матери)[47]. К счастью, никаких особых гонений на семью не обрушилось, если не считать общих тягот жизни на оккупированной территории во время войны.

О последних десяти годах жизни Виктора Савинкова можно судить лишь по воспоминаниям его сына Сержа: «Наш домик тогда прятался вдали от города. Последний отрезок дороги, ведущей к нему, даже не был заасфальтирован... Этот удалённый, мало застроенный участок назывался “кварталом кюре”. Здесь действительно тянулись вдоль моря владения епископа Ниццы. Мы снимали маленькую виллу, и каждый год в одно и то же время отец возвращался мрачный от “кюре”, “непомерно” повышавшего арендную плату. Но такова была цена за то, чтобы жить в тишине и покое, в самой простой, но мирной обстановке»[48].

Жизнь в маленьком семейном мирке текла размеренно, согласно раз и навсегда заведённому распорядку. По утрам все занимались своими делами, а в полдень окрестности оглашались зычным голосом Виктора, который звал своего сына обедать: «“Серё-о-о-о-жа-а-а! Серё-о-о-жа-а-а! Серё-о-о-о-жа-а-а-а-а!” — нёсся крик из сада. Ве-

[46] Личный архив С. Савинкова.
[47] Там же.
[48] Личный архив автора статьи.

ликолепный, сильный, зычный, чуточку диковатый голос разносился очень, очень далеко... Он звучал настоятельно и категорично, как приказ, не подлежащий обсуждению. Все головы вскидывались на этот зов... Люди бросали работу, откладывали инструменты, переводили дух, зная, что пора идти за стол. Нередко можно было услышать: “А, уже полдень! Русский зовёт своего сына”». Как правило, Виктор встречал сына у калитки их маленького сада: «Худощавый, с узловатыми суставами, немного сутулый, в сандалиях, торс с выступающими рёбрами обнажён, кожа, бронзовая от загара, выдублена временем, на лице следы прожитых лет». После скромной трапезы глава семейства выкуривал «ритуальную» сигарету, рассказывая уютно устроившемуся у него на коленях сыну о далёкой России, её истории и природе.

Какой бесконечно далёкой, наверное, казалась она эмигранту, в саду у которого вместо яблонь росли оливы, а по границам участка — не берёзы, а старые кипарисы... И лишь растущие на скалах вдоль самого берега моря южные сосны напоминали о природе родных мест. Эти огромные исполины, чудом пустившие корни в расщелины между камнями, поражают воображение каждого, кто их увидит. Склонившие свои ветки и кроны в сторону побережья и иногда даже растущие сверху вниз, прячась за скалы, под воздействием неумолимого мистраля, эти деревья не один раз давали вдохновение Виктору-художнику. В эти годы он много рисовал — и красками, и карандашом. Сохранившиеся у его сына картины и рисунки прекрасно передают не только красоту здешней природы, но и настроение художника, несомненно, тосковавшего по родине в этом райском уголке.

Впрочем, кажется, каждый, знакомый с русской природой, попав в «квартал кюре» и особенно пройдя дальше на запад по вершинам скал, поросших соснами и кустарником, будет поражён удивительным и совершенно неожиданным сходством здешней растительности с суровой красотой русского Севера: карельскими соснами, высящимися на каменных лбах скал, «танцующими» берёзками на берегах Белого моря, невысокими кустарниками, корнями и ветвями цепляющимися за выступы отвесных берегов и за ветки друг друга в попытке устоять перед натиском всё подчиняющего себе ветра.

Умер Виктор Савинков 5 июня 1954 г. в городке Бандоль на юге Франции, где он и похоронен, и где сейчас живёт его сын Серж и внучка Элиза, которые носят его фамилию...

Т.А. Филиппова

Образы «немца» и «турка» в русской журнальной сатире эпохи Первой мировой войны

Многим исследователям хорошо знакомо состояние, которое возникает при погружении в *свою* тему — когда нужная книга сама попадается под руку или открывается на нужной стране. Случаются и более счастливые совпадения. Поход в Музеи Московского Кремля на выставку «*Карл Фаберже и мастера камнерезного дела. Самоцветные сокровища России*» в мае 2011 года подарил именно такое «совпадение».

Среди роскоши драгоценных поделок «серебряного века», чудом переживших век двадцатый, выделялось собрание необычных работ. Все они резко контрастировали с прихотливым изыском бесконечных вазочек, табакерок, портсигаров и прочих произведений школы знаменитого ювелирного мастера. За стёклами витрин разместились занятные фигурки-аллегории, изображающие... врагов России в Первой мировой войне. Казалось, эти карикатурные образы сошли со страниц российских сатирических журналов и военных плакатов, обретя объём, «материальность» и злую, предметную выразительность. Из самоцветных камней и драгоценных металлов умелой рукой художника были мастерски созданы жёсткие пародии на государства-противники России.

Серая жаба в красной феске — Турция — с испуганно выпученными глазами и скованными цепью передними лапами, к цепи приделан снаряд, который жаба держит во рту: любое движение грозит взрывом незадачливому «земноводному», опрометчиво ввязавшемуся в мировую бойню. Вошь в фуражке, изображающая Фердинанда I Кобургского, алчно впилась в натуралистично выполненное алое, кровоточащее человеческое сердце — Болгарию, когда-то братскую страну, за свободу которой было пролито столько русской крови, но по прихоти политиков попавшую в стан врагов. Старенькая, скрюченная, седая обезьянка (Франц-Иосиф) сидит на краю разбитого корыта — ироничного символа прежде великой «Дунайской империи»: грустная зверюшка озадаченно чешет затылок, тоскливо взирая на разбитый герб Габсбургов, коим как правящей династии не суждено будет пережить Великой войны.

И, наконец, главный враг — Германия — предстаёт сразу в двух образных вариантах злого осмеяния. Змея с головой Вильгельма II, архетипический образ вселенского зла, более похожа в авторской трактовке на мерзкого червяка. Крылатый «ангел мира», столь же архетипический

персонаж подобных аллегорий, с философским спокойствием попирает ногой извивающуюся гадину, к шее которой прикована цепь; на одном конце цепи — снаряд, на другом — пластина с изображением герба, одноглавого орла с надписью внизу «ГЕРМАНИЯ». Во втором, более жёстком и многозначном варианте изображён сам кайзер Вильгельм II, в кирасе, шлеме, в крагах и ботфортах, гордо восседающий на жирной свинье, вольготно расположившейся на подушке, на которой разбросаны обломки могильных крестов. Подушка с наглой парочкой лежит на постаменте из человеческих костей и черепов. На белых ступенях лестницы, ведущей к постаменту с надписью «Wilhelm II», видны кровавые следы от сапог императора. Каменная аллегория Германии предстаёт своего рода апогеем русской антигерманской сатиры военного времени, совмещая в трактовке образа врага большинство стратегий осмеяния и критики, свойственных карикатуре как особому визуальному жанру.

Противоречивое сочетание искусного камнерезного мастерства, ценности поделочных материалов и сокрушительной шаржированности образов, создававшихся талантливым художником Алексеем Козьмичом Денисовым-Уральским[1] на протяжение военных лет, не может не поразить зрителя. Создавая свои стилистически парадоксальные скульптурные карикатуры, *художник* заставляет *историка* задуматься над разнообразием способов портретирования врага, характерных для русского общества эпохи беспрецедентного столкновения народов и империй. Однако насколько новой была эта обострившаяся риторика вражды в адрес того или иного противника? Был ли тогдашний язык «свежим продуктом» военной пропаганды?

Для того, чтобы понять особенности и специфику «репертуара» образов врага эпохи Первой мировой войны, важно выяснить, в какой мере за процессами отражения общественных фобий стояло изобретение новых форм визуализации и трактовки неприятеля, а в какой — лишь актуализация стереотипов и мифологем, издавна пребывавших в культурных «депо» исторической памяти социума. Это позволит точнее определить уровень мобилизационного потенциала конкретно-исторических «образов врага», создававшихся средствами русской журнальной сатиры по горячим следам военных баталий.

---

[1] Перечисленные экспонаты являются частью патриотической серии аллегорических фигур «Воюющие державы», созданной А.К. Денисовым-Уральским в Петрограде. Долгое время она считалась вымышленной или утерянной. В настоящее время хранится в Пермской государственной художественной галерее. Подробнее см.: *Мунтян Т.Н.* «Патриотическое художество» А.К. Денисова-Уральского // Антиквариат. 2006. № 6. *она же:* Самоцветные богатства России. Фаберже и Денисов-Уральский // Карл Фаберже и мастера камнерезного дела. Самоцветные сокровища России. М., 2011.

* * *

«Враг с Запада» и «Враг с Востока» — два направления исторической вражды, два стереотипа «чуждости», два воплощения общественных фобий. Порождены они были как «органикой» общественного развития России, этнической мифологией, исторической памятью народа, опытом отношений с соседями, так и «механикой» государственных задач империи, геополитических планов, стратегий продвижения в Азии и укрепления позиций в Европе. Подобную двойственность бытования «образов врага» нельзя упускать из виду при анализе их отражения и интерпретации в сатирической прессе, этом зазеркалье политической «кухни», производящей медийные «продукты» вражды. Исток этой исторической двойственности восприятия — безотносительно к конкретному адресату враждебности — глубоко укоренён в русской традиции.

По мнению Ю.М. Лотмана, «Восток» и «Запад» в «культурной географии России неизменно выступают как насыщенные символы, опирающиеся на географическую реальность, но фактически императивно над ней властвующие. Характерно, что в русской литературе география становится одним из доминирующих художественных средств выражения»[2]. Глубоко укоренённое в русском историческом самосознании ощущение себя на границе между «Западом» и «Востоком» — в перекрестии их вызовов, угроз, соблазнов — периодически обострялось реальными столкновениями с тем или иным внешним врагом: «Дихотомия Востока и Запада в русской культуре то расширяется до пределов самой широкой географии, то сужается до субъективной позиции отдельного человека. Г. Гейне однажды написал: “Когда мир раскалывается надвое, трещина проходит через сердце поэта”. Мы можем сказать, что, когда мир раскалывается на Восток и Запад, трещина проходит через сердце русской культуры»[3].

Неудивительно, что общественная и личная рефлексия на эту тему в своих наиболее ярких и талантливых проявлениях воплощалась в острое культурное переживание, обретая к началу XX века пульсирующий, всё более нервный ритм, задававшийся общей «партитурой» внешнеполитических и цивилизационных процессов в Европе и Азии.

Образ «турка», впитавший в себя к XX веку все прежние архетипы «врага с Востока», и образ «немца» (германца и австрийца), формировавшийся в тот период как концентрированное воплощение «врага с Запада», представляют в контексте данной темы особый интерес и значимость. Мифологема «турка» и Турции обладала в русском сознании исторической глубиной и политической «нагруженностью»

[2] *Лотман Ю.М.* Современность между Востоком и Западом // Знамя. 1997. № 9.
[3] Там же.

давних смыслов и традиционных фобий[4]. Обобщённый же образ немца — жестокого противника, врага цивилизации, свирепого агрессора был в значительной степени сформирован реалиями Первой мировой войны и задачами пропаганды военного времени. Новизну такого портретирования немца не раз подчёркивали исследователи, отмечая тот шок, который испытало с началом войны русское общество, традиционно привыкшее воспринимать немца как культуртрегера, носителя европейской учёности. Прецеденты критики «пруссачества» или «тевтонства» как синонимов агрессии, свойственной «германскому духу», проявлялись в российском обществе и в более раннее время, но лишь подчёркивали многомерность восприятия темы и не были до поры свидетельством глубокой враждебности к Германии в целом и, собственно, к немцу — как «внешнему», так и «внутреннему»[5].

Так могла ли исключительно Первая мировая война спровоцировать ту мощнейшую и разнообразнейшую риторику вражды в адрес немцев, которая проявилась тогда в русской сатирической печати?[6]

---

[4] *Сопленков С.В.* Дорога в Арзрум. Российская общественная мысль о Востоке. М., 2000; «Восток в зеркале русской литературы». М., 2004; *Шеремет В.* «Мужикистан» и «Туретчина» // Российский исторический журнал «Родина». 1998. № 5—6.

[5] См., к примеру: Чёрная Книга германских зверств. СПб.,1914; *Дякин В.С.* Первая мировая война и мероприятия по ликвидации так называемого «немецкого засилья» // Первая мировая война. 1914—1918. М., 1968; «Немецкая армия... может конкурировать с воинами каннибалов» // Военно-исторический журнал. 1998. № 3; *Jahn H.* «Kaiser, Cossaks and Kolbasniks». Caricatures of the German in Russian Popular Culture // Journal of Russian Popular Culture. 1998, Spring; *Филиппова Т.* «Аспиды» и «готтентоты». Немцы в русской сатирической журналистике // Родина. 2002. № 10; *idem.* Von der Witzfigur zum Unmenschen — Die Deutschen in den Kriegsausgaben von «Nowyj Satirikon» und «Krokodil» // Traum und Trauma. Russen und Deutsche im 20. Jahrhundert. Wilhelm Fink Verlag. 2003; *Сенявская Е.С.* Противники России в войнах XX века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006; *Амиров В.М.* Образ врага в российском журналистском дискурсе разных войн // Известия Уральского государственного университета. Сер.: Проблемы образования, науки и культуры. 2009. № 1/2(62); *Гатагова Л.* «Хроника бесчинств». Немецкие погромы в Москве в 1915 г. // Германия и Россия в XX веке. В 3-х томах. Т. 1. М., 2010; *Олейников Д.* От рыцарства до презрения. Влияние Первой мировой войны на отношение к немцам // Там же; *Колоницкий Б.* Метаморфозы германофобии // Там же.

[6] Среди наиболее массовых, популярных и хорошо сохранившихся сатирических журналов-еженедельников выделялись традиционные по формам и стилистике «Шут» и «Бич»; новаторские по творческим идеям и авторскому составу «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», более примитивные, ориентированные на однозначную критику врага издания военного времени «Забияка» и «Кривое зеркало». Разные по уровню профессионализма, масштабу культурных и общественных задач, они имели общее свойство — они были непременным атрибутом тогдашней городской повседневности. Рассчитанные на обывателя различной степени образованности, журналы в определённой мере формировали темперамент и направленность общественных настроений. Этим они и

В геополитическом и цивилизационном пространстве Балкан, Кавказа, Ближнего Востока и Средней Азии в начале «века войн и революций» между европейскими и евроазиатскими державами возникали острейшие коллизии, многократно усугублявшиеся процессами модернизации в странах Востока, стартовавшими в первое десятилетие XX века. Конкуренция моделей переустройства традиционных империй и соперничество западных проектов, которые стояли за этими процессами, существенно драматизировали восприятие журналистами-сатириками ближайших геополитических «соседей» России на фоне хронически воспалённого «восточного вопроса». Всё это проявлялось в отношении реформ, революций и гражданских войн в империях Османов и Каджаров, Итало-турецкой и двух Балканских войн, соперничества империй Романовых и Габсбургов, присутствия Германии в зоне Проливов накануне мирового конфликта и проч. Знакомство с карикатурными рисунками, юмористическими стихами, фельетонами и анекдотами, появлявшимися на страницах русских сатирических журналов убедительно свидетельствует о понимании сатириками того, сколь взрывоопасными становились «*дела азиатские*» для мировой стабильности, и сколь значительную роль в них играют те, кого тогдашние журналисты стереотипно называли «лукавыми доброжелателями» с Запада. Прежде всего, это относилось к кайзеровской Германии, претендовавшей на особое положение в Османской империи, потрясаемой младотурецкими преобразованиями, ростом внутренней напряжённости и внешней агрессивности режима партии «Единения и Прогресса».

Характерно, что именно «восточная» тематика в первое десятилетие XX века стала полигоном для отработки и продвижения принципиально нового образа врага-германца, опосредованного столкновением российских и германских интересов в южном, традиционно чувствительном «подбрюшье» Российской империи. Модернизация уклада жизни в империи Османов, бурно стартовавшая в результате революции 1907—1908 годов, виделась русским сатирикам как германский (и частично австрийский) проект закабаления Турции инвестициями, милитаризацией экономики, и — главное! — как путь к превращению территории «больного человека Европы» в плацдарм для агрессии Берлина против России[7].

представляют интерес, позволяя проникнуть в тематику, психологию и эмоциональный настрой сатиры для «среднестатистического» адресата. «Идеология» журналов не претендовала на серьёзное участие изданий в жизни общества, но была, скорее, проявлением силового поля «политической озабоченности», столь свойственной русскому складу ума и души, особенно — в военное время.

[7] *Филиппова Т.* «Благословенная страна». Образ турка в журнале «Сатирикон» // Родина. 2011. № 1; *она же:* «Дела персидские». Конституционная революция в Иране в оценке русской сатирической печати начала XX века // Родина. 2011. № 12.

«Азиатский» аспект жестокостей и зверств младотурок появляется на страницах российских сатирических журналов именно в контексте «европейского» (германского и австрийского) воздействия на внутренние процессы, характерные для эпохи заката Османской империи. Более того, готовность воспринять немца как *актуального врага* первоначально формировалась в русской сатире именно на основе *восточной*, главным образом *турецкой* темы. С началом и в ходе Первой мировой войны эта тема обретёт новое звучание и особую остроту, превратившись в реальность Кавказского фронта.

Весь комплекс сатирических публикаций предвоенного времени свидетельствует о понимании отечественными журналистами того факта, что с приходом к власти на берегах Босфора младотурок ничто принципиально не изменилось: нравы турецких правителей по-прежнему жестоки, жители бесправны, а реформы носят поверхностный характер, лишь декорируя на европейский манер старые стены османской «твердыни»[8]. Неизменно саркастически изображались и особые отношения Германии с Турцией. Так, в журнале «ШУт» находим примечательную карикатуру под заголовком «Истинный друг». На рисунке — Турция в женском образе просительно склоняется перед немецким бюргером «Михелем» (клишированным изображением «немца» в русской сатирической традиции), а неприятного вида человечек в ночном колпаке досадливо отстраняет от себя покорную просительницу, напуганную алчностью своих беспокойных «соседей» по Балканам:

«Турция. Михель! Ты мне истинный друг?

Мих. О! та!..

Турция: И ты сильный? Тебя все боятся?

Мих. О! та!..

Турция. Но почему не крикнешь ты им всем, ведь они меня всю растащат!?..

Мих. Фот клюпий женщин! Как бы я крикнул, если у меня во рту трупка»[9].

Отметим, что такая «эротическая» трактовка турецко-германских отношений довольно точно символизировала политическую специфику момента[10]. Действия Германии и в самом деле отличались от политики других европейских держав. Если страны Антанты по-прежнему разрабатывали планы раздела Османской империи на сферы влияния,

[8] Подробнее см.: *Филиппова Т.А.* «Враг с Востока». Образы и риторики вражды в русской журнальной сатире начала XX века. М., 2012.

[9] ШУт. 1911. № 40.

[10] См.: *Филиппова Т.* «И пуст сераль, и смолк его фонтан...». Эротика как сатирическая стратегия изображения Турции и турка на страницах российских журналов начала XX века // Родина. 2011. № 10.

то германские государственные власти и крупный капитал стремились добиться финансово-экономического и военно-политического доминирования в ветшающей империи, сохранить её целостность и в нераздельном виде получить этот «почётный приз». Не случайно после свержения Абдул Хамида II в ходе младотурецкой революции кайзер, не раз демонстрировавший личные симпатии к султану и его режиму, быстро наладил столь же покровительственные, сколь и небескорыстные отношения с новыми властями Турции[11]. И даже позволял себе с высокомерной иронией называть её «*Энверланд*» (по имени одного из лидеров младотурок — германофила Энвер-паши)[12].

Присутствие германских военных советников в высшем командовании турецкой армии, масштабное железнодорожное строительство на Ближнем Востоке, массированное проникновение немецкого капитала в экономику Турции — все эти инструменты геостратегического проникновения Германии наглядно свидетельствовали о том, что «*друг Михель*» с пользой для себя умело манипулировал внешней и внутренней незащищённостью «*покорной просительницы*».

Вторая Балканская война, короткая, но «самая кровавая кампания»[13], изменила соотношение сил в регионе, позволив «турку» на время отыграть часть потерянных ранее территорий. Для русской же сатирической печати в ходе этого конфликта было важно подчеркнуть роль России как миротворца, способного (в отличие от западных держав и, прежде всего, Германии) урегулировать ситуацию между бывшими балканскими союзниками. При этом сатирики старались продемонстрировать, *кто именно* стоит за кулисами войны, провоцируя очередное обострение обстановки на Балканах.

Карикатура героико-патриотического свойства сопровождала газетное сообщение о том, что «Австрия и Германия крайне озабочены вмешательством России в спор славянских союзников, т.к. готовились крупно поживиться в случае сербо-болгарской войны... Очень недовольны таким оборотом и турки...». На рисунке был изображён былинный русский богатырь, собирающийся разрубить мечом «гордиев узел» сербо-болгарского конфликта. За натянутым канатом, завязанным в сложный узел, видны нелепые фигурки покалеченного в боях турка, старенького австрийца и большого, неуклюжего немца. В их уста художник вкладывает «жалобную» реплику: «Ну, зачем такую дорогую верёвочку портить — ведь можно же новую конференцию со-

[11] Подробнее см.: *Галкин И.С.* Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905—1912 гг. М., 1960.

[12] *Kinross J.P.* The Ottoman Centuries. The Rise and Fall of the Turkish Empire. N.Y., 1977. P. 600—604.

[13] Ibid. P. 592.

брать и обсудить: с какой стороны к узелку подойти и откуда начать развязывать!»[14].

С особой яркостью визуализировался при этом образ Австрии: дряхлый, немощный седенький старичок-император, впрочем, довольно зловредный. «Дряхлость» противника, как представляется, символически означала не только «возраст» Австрийской империи, но и историческое измерение давнего геополитического соперничества в регионе империй Габсбургов и Романовых. Устойчивый образ германца — крупного, крепкого, брутального вояки — также сформировался в сатирической печати ещё до начала Первой мировой войны, причём также именно в контексте «турецких» сюжетов.

Фальшивость миротворческих устремлений Габсбургов и Гогенцоллернов в Балканских войнах русские сатирики делают дежурной, едва ли не центральной темой своих публикаций. Очередной всплеск балканско-ближневосточной «тревоги» был связан с прибытием в Стамбул в декабре 1913 года миссии германского генерала Лимана фон Сандерса. Заключённое в ноябре того же года соглашение об отправке в Турцию германской военной миссии из 42 офицеров для реорганизации турецкой армии, уже начавшей перестраиваться под германским руководством, вызвало и опасение, и возмущение Петербурга[15].

Русские сатирики откликнулись на прибытие миссии фон Сандерса на Босфор серией едких рисунков, критикующих поведение и наглых «гостей», и сервильных «хозяев». На карикатуре «Шута» под названием «Как дома» толстый немецкий военный (в правой руке трубка, в левой — непременная кружка пива как символ «германскости») по-хозяйски развалился на подушках на фоне мечетей Стамбула. Перед ним в позе покорного слуги услужливо склонился турок. В уста толстощёкого немца автор вкладывает пренебрежительную реплику: «Ну, вот опять я на старом пепелище... Эй, Абдулка, сними сапоги!..»[16]. Изображая турецкие унижения перед лицом германского присутствия, сатирики стремились показать всю опасность втягивания Турции в военный союз с Германией, приближающий вероятность мирового конфликта. Меж тем, как писал исследователь хитросплетений цивилизационных судеб России и Турции В.И. Шеремет, «империя Романовых и империя Османов приближались к последнему для обеих династий роковому столкновению»[17].

---

[14] Шут. 1913. № 23.

[15] См.: *Оруджев М.Г.* Из истории проникновения германского империализма в Турцию (кон. XIX в. — 1914 г.). Баку., 1961.

[16] Шут. 1913. № 47.

[17] *Шеремет В.* «Мужикистан» и «Туретчина». С. 23.

Начало Первой мировой войны ожесточило настрой сатирической прессы, образ врагов военного времени приобрёл новые свойства. Новым откликом сатиры на «германский выбор» Турции, в начале августа 1914 г. заявившей о своём нейтралитете, но уже в октябре вовлечённой в военные планы центральных держав, стала обложечная карикатура в одном из сентябрьских номеров «Нового Сатирикона». На рисунке Вильгельм II, отбиваясь от противника при помощи тщедушного турка, бодро обещает ему: «Не бойся, Махмудка, ни один волос не спадёт с твоей головы». Только вот голова бедного «Махмудки» из-за энергичных действий его германского покровителя уже оторвалась[18].

Образ немца как открытого врага России с началом войны обретает более чётко оформленные негативные характеристики. Реальность вооружённого противостояния, первые потери, бурный всплеск патриотических настроений, переходящих в «патриотическую тревогу», находили отражение в творчестве сатириков. Аркадий Аверченко, глава «Нового Сатирикона», «золотое перо» и остроумнейший журналист, выступил с фельетоном «Немецкий заступник», представлявшим собой длинный диалог *Блондина*, нападающего на немцев-агрессоров, и *Брюнета*, вроде бы защищающего их, но в весьма своеобразной манере:

«Блондин: Ну и скоты же эти немцы!

Брюнет: Ну, за что же это Вы так... Просто озверелый народ, на котором плёнка культуры была тоньше папиросной бумаги... Подуло ветром — она и слетела.

Блондин: Вы бы ещё и поцеловали немца!..

Брюнет: Целовать я его не буду, но не понимаю этих несправедливых нападок... Просто люди опились пивом, завалили сердце жиром и чувствуют себя превосходно со своим толстокожим кайзером. Неужели на них за это обрушиваться? ...Ведь у них шкура толще гиппопотамовой, мозги совершенно заспиртовались в угаре своей безнаказанности и миражного владычества над всем миром... А немка глупа, холодно-развратна, продажна без темперамента и приторно сентиментальна...»[19].

Разница между прежней и новой тональностью становится ощутима не только в накале сатиры, но и в её объекте: мишенью становятся уже не только «прусская военщина» или германские «верхи», но немец как таковой. Вернее — те особенности национального характера, которые сатирик расценивает как этнопсихологическую подоплёку германской агрессии. И это было только начало того переворота

[18] Новый Сатирикон. 1914. № 39.
[19] Там же. № 40.

в изображении немцев и всего германского, который происходил по мере расширения военных действий.

Появившийся в самом начале войны злой и агрессивный журнал «Забияка» вообще отказывал немцам (особенно военным) в каких-либо человеческих свойствах. Страницы этого издания были полны аналогиями со *свиньями, крысами* и прочими малопочтенными животными, а императоры Франц-Иосиф и Вильгельм II чаще всего изображались уродцами — сиамскими близнецами, заспиртованными в банке[20]. Журнал «Кривое зеркало», несколько позднее подключившийся к сатире на военную тематику, направлял большинство своих «стрел» в адрес вражеской печати, дезинформирующей общественность откровенной ложью по поводу исхода тех или иных сражений. Резкое осуждение германских жестокостей на занятых территориях сопровождалось в издании весьма не лестными характеристиками немцев как нации[21]. Из этих и подобных им многочисленных публикаций напрашивался вывод: если образец таков, то чего уж ждать от тех, кто пытается ему подражать, перенимая германский государственный опыт, к тому же ценою собственной безопасности?!

И здесь вновь возникал турецкий сюжет, наглядно свидетельствовавший о злокачественности военно-политического союза Гогенцоллернов и младотурок. В язвительном фельетоне А. Аверченко «Отцы и дети», появившемся в одном из ноябрьских номеров «Нового Сатирикона» в момент, когда после объявления Россией войны Турции бои уже активно шли на эрзерумском направлении, сатирик выстраивал два любопытных диалога. В первом немецкий военный по-отечески бранил турка за то, что тот и крепость строит неверно, и порох не тот закупил, и артиллерийским делом не владеет: мол, какая же это армия?.. Во втором диалоге уже турецкий военный распекал немецкого за то, что тот на поле боя раненым глаза не выколол, пленным ноги не переломал, местных обывателей не повесил, в общем — не справился с «боевой» задачей. Автор явно намекал, что союзникам есть ещё чему друг у друга поучиться, особенно — по части «цивилизованного» ведения боевых действий[22].

В дальнейшем развитие немецко-турецкой темы вдохновило Аверченко на целую серию фельетонов, в которых довольно неоднозначно выразилось отношение сатирика к «турку» и Турции как противнику. Смесь осуждения, иронии и жалости здесь достигает особой «густоты». Так, в убийственно саркастическом фельетоне «Карьера певицы Дусиной» сатирик подводит итог всем необдуманным устремлениям

[20] Забияка. 1914. № 1, 3, 5.
[21] Кривое зеркало. 1914. № 6, 9, 11.
[22] Новый Сатирикон. 1914. № 44. С. 2.

Османской империи напоследок вырваться «в свет» и любой ценой найти «покровительство» сильного партнёра. Когда-то могущественная восточная держава под злым и остроумным пером сатирика предстаёт в образе третьесортной шансонетки, «в неискусно заштопанных чулках, с грязной шеей, до обморока надушенная дешёвыми немецкими духами». А ведь когда-то, в лучшие времена, не ведая соблазна и искушений, «жила девушка на чёрной половине и горя не знала. Если её не особенно уважали, так зато над ней и не смеялись:

— Известно, Турция. Что с неё возьмёшь!

И вот познакомилась эта затрапезная девушка с Вильгельмом — говоруном, лихачом и воякой. Чёрт его знает, чем он её обольстил, но только нет уже прежней девушки... Бедная, обманутая, поглупевшая Турция. Была Турция скромной диковатой девушкой, ходила в затрапезном платьице — и если её никто особенно не уважал, то и не смеялись над ней... А теперь, когда поступила Турция в шансонетные певицы — так это всё смешно, что и сказать нельзя»[23].

Представление о потребительском, утилитарном обращении Германии с Турцией присутствует в целой серии карикатур, своей частотой и последовательностью напоминающих комиксы. Десятки номеров «Нового Сатирикона» зимы 1914/15 гг. пестрят рисунками, на которых Вильгельм II выражает готовность воевать «до последнего турка», германские военачальники заряжают артиллерийские орудия вместо ядер головами турок, а офицеры из миссии фон Сандерса заводят в Стамбуле гаремы, чтобы рождённых от турчанок детей готовить в солдаты для войны с Россией[24]. При этом образ рядового турка всё более отдаляется (в пространстве сатирического восприятия врага) от образа младотурецкого режима, персонифицированного в лице главного германофила — Энвер-паши. Типичная в этом смысле журнальная острота: Вильгельм II собирается наградить своего «верного союзника» Энвера орденом «За заслуги», а турки уже готовы вручить ему «орден деревянный на шёлковом шнурке» — «И не он висит на человеке, а человек висит на нём»[25].

На протяжении 1915 года русской сатире всё труднее было сохранять выдержку и юмористическую интонацию в критике противника как такового, будь то турок или немец. Военные поражения весны-лета сопровождались для всех очевидным внутренним кризисом — продовольственным, топливным, металлургическим, железнодорожным. Обилие жертв войны порождало феномен «юмора в морге», когда «каннибаль-

[23] Там же. № 50.
[24] Там же. № 48, 49, 50.
[25] Там же. № 46.

ские темы» немецкой жестокости и патологоанатомические подробности сражений выливались в истероидную смесь смеха и отвращения.

Нервозная внутренняя атмосфера серьёзно влияла на характер подачи материалов по «немецкой тематике». Под стать «турецким зверствам» изображались и ужасы германского «*стиля*» ведения войны — несколько запоздавшая к началу войны индустрия военной пропаганды начинала навёрстывать упущенное[26]. Из номера в номер тиражировались карикатуры, изображавшие младенца Христа, поджариваемого немецким офицером на вертеле, разделку немецкими «мясниками» «туш» военнопленных и проч., и проч. Появлялись, со ссылкой на западные источники, рассказы о немецких монашках — сёстрах милосердия, кинжалами добивавших раненых русских солдат на поле боя. Далее, уже «по материалам немецкой печати», сообщалось об изобретении в Германии автоплуга, в скоростном режиме роющего могилы[27].

После гибели британского корабля, сопровождавшейся огромным числом утонувших, получила известность жутковатая цитата из «Neue Freie Presse»: «Рыбы, омары и спруты, обитающие в Адриатике, давно уже не переживали столь счастливых времён». Её сопровождала новосатириконовская карикатура А. Юнгера, на которой Вильгельм II с демоническим выражением лица приказывал своим подданным: «Ешьте крабов и омаров до тошноты, до расстройства желудка... Нужно, чтобы по крайней мере каждый съел в сумме по одному англичанину»[28]. Сопоставление восточных («турецких») и западных («германских») зверств военной поры на страницах сатирических изданий не могло не навести читателя на мысль, что, пожалуй, и султанскому режиму, и младотуркам было далеко до такого свирепого «цивилизованного» цинизма...

Однако, когда в русской сатирической журналистике затрагивалась тема отношения младотурецкого режима к грекам, ассирийцам и особенно армянам, характерные при других обстоятельствах иронические ноты сочувствия к турку-противнику исчезали. Воплощение в образе «турка» традиционных *восточных жестокостей*, усиленных младотурецкой агрессивностью, подпитанной Германией, с особой силой выразилось в сюжетах 1915 года, связанных с резнёй армян.

Репрессии в отношении армянского населения попадали в центр внимания российских журналистов-сатириков задолго до трагических событий 1915 года. Примечательно, что они подчёркивали ужасающую

[26] См.: *Коровина Л.* «Боеприпасы без патронов». Антигерманские настроения и пропаганда в русской армии во время Первой мировой войны // Германия и Россия в XX веке. Т. 1. М., 2010.

[27] Новый Сатирикон. 1915. № 9—12.

[28] Там же. № 30.

деловитость и будничность резни — как своего рода *рутины* османского «администрирования», старого и нового. Действия же младотурок привели к тому, что визуальная трактовка армянской темы в русских изданиях существенно отличалась от интерпретации других сюжетов. Средства сатиры оказались здесь уже неприменимыми: запредельным ужасом веет от рисунков, изображающих сцены резни, насилия и унижения целого народа[29]. Пожалуй, только тут во внешнем облике обобщённого «турка» полностью исчезали черты человека, а сам этот образ наполняется неким потусторонним, зверино-демоническим содержанием, становясь синонимом абсолютного зла. Характерно, что в то трагическое время, вызвавшее настоящий шок у мировой общественности, русские сатирики указывали не только на «восточное», но и на «западное» происхождение этих небывалых зверств. Размах сражений на фронтах Первой мировой войны, рост числа жертв, столкновение с невероятно жестокими реалиями сражений новейшей эпохи вызвали шквал остро-сатирических публикаций, обличавших сомнительную цивилизованность германцев[30]. «Звериный оскал» свирепствующего на полях сражений немца-врага, увиденный журналистами-сатириками под маской «культурного европейца», заставлял усиливать и критику порочной зависимости Турции от своего германского «покровителя» — турецкие зверства — как на поле боя, так и внутри собственной страны — представлялись закономерным и наглядным проявлением военно-политического союза Гогенцоллернов и младотурок[31].

Меж тем победы русской армии на Кавказском фронте зимой—весной 1916 года — взятие крепости Эрзерум, занятие Трапезунда, наступление на мосульском и багдадском направлении, взятие Керманшаха — дали сатирикам ещё один повод продемонстрировать политический цинизм Германии в отношении её слабеющего сателлита. На карикатуре под названием «Друг» немецкий военачальник обращался к лежащему у его ног калеке-турку, у которого готого отрублены все конечности (знак катастрофического сокращения территории Турции в ходе войны): «Рук мне твоих не жаль, Ахмет, — они мало мне помогали, а ног жалко. Сколько бы фатерлянд заработал на поставке тебе обуви!»[32].

К концу войны риторика вражды в русской журнальной сатире утратила свою адресную чёткость, всё меньше завися от конкретных событий на полях сражений. Стушёвывается образ «турка» и державы Османов, «австриец» до неразличимости сливается с обобщённым

[29] Шут. 1912. № 39; 1913. № 42. См. также: *Barber N.* Lords of the Golden Horn. L., 1976. P. 176—177.
[30] Новый Сатирикон. 1914. № 44.
[31] Там же. 1915. № 2, 11, 18.
[32] Там же. 1916. № 16.

«немцем», исчезает «старичок Габсбург». Образ «немца», изначально раздробленный на кусочки политически актуальных мифологем («старина Михель», «грозный Вильгельм», «свиньи в чистых уборных», «голодный Ганс», «тупой колбасник»), наскоро трансформируется под воздействием социально-политических катаклизмов в России и мире. Так, в 1917 году в одном из весенних номеров журнала «Бич», появился примечательный рисунок: на символическом корабле, уходящем в историческое забвение, собралась толпа «бывших» — правителей и монархов, среди которых, наряду с Николаем II, выделяется своей феской с полумесяцем дряхлый турок, ожидающий поднимающегося на борт Вильгельма Гогенцоллерна[33].

Динамика отражения немецкой и турецкой темы в предвоенные и военные годы позволяет судить о своеобразии мировоззренческих реакций российской умеренно-либеральной, патриотически ориентированной интеллигенции и обывателей — создателей и потребителей русской журнальной сатиры этого направления. Гротесковое изображение «немца» как противника России проделало примечательный для своего времени путь: от осознания культурной и цивилизационной инаковости — через национальную и этнопсихологическую неприязнь — к «метафизическому» уровню восприятия его образа как «мета-врага». Образ же Турции (сервильного «Абдулки», несчастного «Махмудки», «восточной одалиски», немецкой содержанки, обманутой «шансонетки», жертвы европеизации и милитаризации) всё чаще трактовался русскими сатириками в «страдательном залоге», за исключением лишь армянских сюжетов.

В процессе интерпретации «восточной темы» накануне и в ходе Первой мировой войны у российских журналистов-сатириков зарождается внутренняя убеждённость в том, что «немец» (австриец и германец) является совратитель «Азии», носителем цивилизаторского «соблазна» — опасного искушения решить проблемы дряхлеющей восточной государственности с помощью навязываемой модернизации (азначит, и милитаризации!). В итоге в обстановке мировой войны это закономерно порождает социальные и гуманитарные катастрофы, которые исследователь деликатно назовёт «агрессивными формами активности»[34].

---

[33] Бич. 1917. № 23.

[34] См.: *Наумова Н.Ф.* Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ресурс человечества?. М., 1999. С. 9—15, 95.

В.П. Булдаков

Поэтические завихрения «Красной смуты». 1917 – 1920 гг.

Современным служителям Клио подобает изображать наукообразие. Большинство из них этим злоупотребляет, упорно укладывая «живое» прошлое в прокрустово ложе каменеющих доктрин. Применительно к истории России это смотрится особенно нелепо. Сергей Секиринский был одним из тех немногих, кто упорно противостоял «засушиванию» прошлого, — можно сказать, что тема данной статьи подсказана им.

К настоящему времени опыт описания «Красной смуты» привычными методами близок к когнитивному истощению. У истоков революции обычно стоят доктринёры, её результаты, как правило, препарируют политики, к ним присоединяются всезнающие (в пределах простейших причинно-следственных связей) социологи, которым вторят растерянные историки. Как результат, от теории революционной синергетики мы оказываемся далеки. Поэтому есть смысл в подключении к известным наработкам качественно иного материала, в частности художественно-воображаемого.

Казалось бы, воссоздание картины столкновения эмоциональных потоков русской революции — задача безнадёжная в силу разномастности источников. На деле это не так, и попытки — пусть односторонние — её решения уже имели место[1]. За доминирующими трендами тогдашних страстей проследить несложно, используя такой источник, как «газетная» поэзия 1917—1920 гг. Поэты не умеют «врать», точнее, «врут искренне». Их тексты представляют настроения, надежды, иллюзии людей в наиболее «чистом» виде. При этом реальное и воображаемое сливается у них в господствующую символику эпохи.

Разумеется, далеко не все творческие люди разделились на «красных» и «белых». «А я стою один меж них / В ревущем пламени и дыме /

[1] См.: История русской советской поэзии. 1917—1941. Л., 1983; *Миронец Н.И.* Революционная поэзия Октября и Гражданской войны как исторический источник. Киев, 1988; *Мельниченко В.Ю.* Правда історіі та художня література // Український історичний журнал. 1988. № 5. С. 16—26; *Поршнева О.С.* Знаково-символическое пространство стихотворных текстов красного лагеря периода Гражданской войны на Урале // Историк, текст, эпоха. Тезисы IV Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2012; *Gachon-Bréneau C.* La poésie prolétarienne Russie. 1914—1925. Annexe. [2] Paris, 2000; и др.

И всеми силами своими / Молюсь за тех и за других», — писал М. Волошин в ноябре 1919 г.[2] Антибольшевистские газеты, продолжая традиции дореволюционной печати, публиковали лирические стихи, каковых почти не видно в прессе их противников. Поэтому имеет смысл сфокусироваться на творчестве «рабоче-крестьянских» поэтов, с одной стороны, и любительской поэзии их антагонистов — с другой.

Разумеется, в «чистом виде» ни тех, ни других не существовало. Многие занимались сочинительством в конъюнктурных целях, будущие советские поэты использовали «буржуазную» прессу. Тем не менее разделение «за—против» революции оставалось заметным. Особенно показательны в этом отношении не признанные мэтры, о которых немало написано[3], а нетерпеливые рифмоплёты, искренне и неуклюже откликавшиеся на злобу дня.

Феномен пролетарских и крестьянских поэтов изучался. С их антагонистами, представлявшими куда более широкий спектр «интеллигентских» эмоций, ситуация сложнее. Тем не менее даже поверхностный контент-анализ общего массива произведений легко выявляет главные потоки страстей. Задачу облегчают соответствующие подборки стихотворений[4]. Дополнив их газетной информацией по принципу случайной выборки, стихами из сборников и антологий, можно составить объёмное представление об эмоциональном пространстве Гражданской войны в России.

Игнорировать поэзию турбулентного времени — значит рано или поздно упереться в познавательный тупик унылого позитивизма. Исход военного противоборства определяется не только численностью комбатантов, их боевым оснащением и подготовкой. Громадное значение имеет «неуловимый», но признаваемый всеми, «дух» сражающихся, агрегированная «воля и победе». Это определяющая коммуникативная доминанта переломных моментов истории.

Когда-то П.А. Сорокин заметил, что в революции просыпается не только зверь, но и дурак. Ещё ранее В.О. Ключевский писал о том, что историк мудрее философа потому, что ему приходится изучать не умнейших, а глупейших людей. Работу историка усложняет ещё один «изъян» человеческого сознания: чем сложнее явление, тем сильнее соблазн навязать ему простейшую логику. Именно этим обусловлен успех конспирологической «попсы», заполонившей сегодня книжные прилавки.

---

[2] Гражданская война в лирике и прозе. Т. 1. М., 2012. С. 35.

[3] *Hellman B.* Poets of Hope and Despair. The Russian Symbolists in War and Revolution (1914—1918). Helsinki, 1995.

[4] *Голдин В.Н.* Поэзия Гражданской войны в периодических изданиях Урала: 1917—1919 годы. Кн. 1—2. Екатеринбург, 2006; Белая лира. Антология поэзии Белого движения. Смоленск, 2006; Гражданская война в лирике и прозе. Т. 1.

Итак, зададимся «простым» вопросом: какие социальные силы доминировали в 1917—1920 гг. в эмоциональном отношении?

Цвета и звуки Февраля

Россия начала XX века была перенасыщена страстями. «И чёрная, земная кровь / Сулит нам, разрывая вены, / Все разрушая рубежи, / Неслыханные перемены, / Невиданные мятежи», — предупреждал А. Блок в «Возмездии». Менее известный «крестьянский» поэт Н. Власов-Окский заявлял, что ненавидит мещан и любит тех, «кто как колокол вещает / О борьбе и отомщенье»[5].

Поэты предугадывали грядущие коллизии. События 1917—1920 гг. были заранее отрефлексированы на эмоциональном уровне. Естественно, творческие элиты реагировали на злобу дня не так, как доктринёры, социальные верхи видели ситуацию иначе, нежели низы. Там, где политики усматривали революцию/контрреволюцию, прогресс/регресс, писатели и поэты различали скорее стихию, смуту, хаос, пугачёвщину. То, что страшило представителей элит, воспринималось в народе как справедливое возмездие. Всевозможные маргиналы и диссипанты вносили в поэтическую ауру революции сумбур оголтелости. Возникает вопрос: можно ли уловить «логику хаоса», отслеживая поведение не только порождаемых им аттракторов, но и движение «тёмных» и «неразумных» масс?

Так называемое пролетарское сознание и соответствующие претензии на общественную гегемонию вовсе не являлись социал-демократической выдумкой[6]. Известного рода теории не просто проникали в среду рабочих, но и смыкались там с традиционными иллюзиями, фантазиями, утопиями. Марк Стейнберг отмечает, что до революции у поэтов-рабочих доминировала лексика духовной обездоленности, преобладали мотивы грусти, печали, скорби, угрызений, муки, жертвенности, страдания, тоски, меланхолии, томления[7]. Но не только. Крестьянскому парню, резко оторвавшемуся от деревенской «глуши» и сумевшему адаптироваться к грохоту машин, завод и город помогали совершить своего рода идентификационный переворот, по аналогии с которым, казалось, можно осуществить более масштабное — социальное — чудо. Так, Иван Логинов в своих поэтических грёзах устремлялся «дальше, дальше от равнин, / В царство фабрик и машин. / В город

---

[5] *Власов-Окский Н.* Песни безвременья, стихотворения. Тверь, 1917. С. 32.

[6] См.: *Полищук Н.С.* Отражение самосознания рабочих в их песенном репертуаре // Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония. М., 1970. С. 164—180.

[7] *Steinberg M.* Proletarian Imagination: Self, Modernity and the Sacred in Russia, 1910—1925. Ithaca, NY, Cornell University Press. 2002. P. 232.

шумный и суровый, / Где зачатки жизни новой». При этом он утверждал: «Шум заводов — мощь народов / Я давно уж полюбил.../ Клич призывный, коллективный / Мне до смерти будет мил»[8]. Впрочем, пролетарии его склада представляли, скорее, переходный социальный тип; их отношение к индустриально-урбанизированной среде оставалось амбивалентным[9]. Именно потому им казалось, что преодолеть стресс «чужеродности» можно через резкий — «революционно-коллективистский» — психосоциальный сдвиг.

Перемещение в новое культурное пространство активизирует иллюзорность сознания. Фабричное производство, атомизируя отброшенную социальность, порождало стремление слиться с новообретённым социумом ради материализации известного рода надежд (зародившихся, правда, в традиционалистской среде). Завод представлялся Логинову храмом, позволяющим «в массе раствориться»[10]. Элементы молитвенного идолопоклонства Машине заметны и у других авторов[11]. Отсюда иллюзии преумножения индивидуальных сил и возможностей. «Я могуч, — писал Власов-Окский. — Мне мир сей тесен. Я про новый мир пою»[12]. Владимир Кириллов видел в пролетарии «железного мессию», который «к вечному братству народы зовёт»[13]. Михаил Герасимов представлял пролетария сгорающим «на огненном кресте»[14].

Революционная поэзия Власова резко контрастировала с его ранними «унылыми» стихами. «Почему живём мы плохо?», — задавался он тогда вопросом и отвечал: «Потому, что плохи сами, / Потому, что мы привыкли / Под опекой жить рабами». После Февраля пессимизм «безвременья» сменился на безудержный оптимизм. Возникло ощущение «красного чуда»: «Красные флаги, красные банты, / Красные песни, красные речи... / Красные люди, красное дело / Дружно свершили...»[15]. Социалистические надежды на мировую революцию легли на благодатную почву. «Красные Зори горели Пожарами. / Вот-вот займётся весь мир!» — утверждал он в стихотворении «Красный пир»[16]. Красный цвет в полном смысле слова неистовствовал. Ассоциации были противоречивыми: красный — красивый, красный — кровь, крас-

---

[8] *Логинов Ив.* У станка. Стихи. Петербург, 1917. С. 6, 7.

[9] Характерно, что в дореволюционной пролетарской поэзии деревня занимала даже большее место, нежели город. См.: Сборник пролетарских писателей / Под ред. М. Горького, А. Сереброва и А. Чапыгина. Пг., 1917.

[10] *Логинов Ив.* Указ. соч. С. 13.

[11] См.: *Дозоров М.* Мы посягнули // Сборник пролетарских писателей. С. 111—113.

[12] *Власов-Окский Н.* Песни свободы. Стихотворения. Тверь, 1917. С. 7.

[13] Цит. по: *Gachon-Bréneau C.* Op. cit. P. 66.

[14] Сборник пролетарских писателей. С. 3.

[15] *Власов-Окский Н.* Песни безвременья. С. 15; *он же.* Песни свободы. С. 9.

[16] *Власов-Окский Н.* Красные зори. Стихотворения. Тверь, 1917. С. 7.

ный — заря, красный — огонь. «Красный цвет, / Алый цвет — / Цвет победы! Крови лик, / Воли крик... / Солнца всход», — перебирал их А. Кораблёв[17]. Сибирский поэт П. Второв восторгался «тысячами красных знамён»[18]. Эмоциональная контагиозность — тогдашний способ нейтрализации страхов перед контрреволюцией — не случайно сфокусировалась у левых на наиболее яркой части цветовой гаммы.

Забегая вперед, стоит отметить, что тема огня и пожаров появилась и в белогвардейской поэзии — однако с противоположной коннотацией. Николаю Шестакову слышался «яростный гимн безлюдью, полыханью алых зарниц». В другом его образе «кто-то там, на небе чёрном мешал зарево с зарёй»[19]. Но чаще огонь воспринимался как стихийная напасть. С «заревом горящих деревень» ассоциировалась гражданская война у некоего «В. Ск.»[20]. «Заревом негаснущих пожаров озарён несчастный русский край», — вторил ему в Сибири А. Ляпунов[21]. «Скажи-ка, дядя, ведь не даром / Вся Русь, объятая пожаром, / Совдепам отдана?» — вопрошал в Крыму известный фельетонист Ядов[22].

А пока параллельно с образом торжествующего пламени нарастала тема насильственной переделки мира. В. Кирилов в 1917 г. писал: «Я узнал, что мудрость мира вся вот в этом молотке, / В этой твёрдой и упорной и уверенной руке». Эти песни ему якобы «пропели миллионы голосов». По его представлениям, пролетарий — это пришедший с фабрик «спаситель, земли властелин, владыка сил титанических», который «всем несёт... радость и свет». Молот, как символ преумноженной мускульной мощи, отмечали и другие авторы[23].

«Гегемония пролетариата» носила отнюдь не платонический характер. В.В. Князев связывал её с образом «красного петуха», то есть поджога, от имени которого декларировал: «Я нёс на помощь мужику / Свои пылающие крылья... / Кукареку!»[24] Брутальная стилистика превалировала. «Мы обнажили меч кровавый, / Чтоб гнёт разрушить

---

[17] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 19; Южный Урал (Оренбург). 1917. 12 марта.
[18] Сибирская жизнь (Томск). 1917. 20 апреля.
[19] Военные ведомости (Новониколаевск). 1919. 22 мая, 2 июля.
[20] Надежда России (Новониколаевск). Общедоступная народная газета. 1919. 10 октября.
[21] Военные ведомости. 1918. 31 декабря.
[22] Таврический голос (Симферополь). 1919. 25 февраля (9 марта). Примечательно, что Ядов (одесский поэт Я.П. Давыдов, прославившийся как автор «Бубличков»), со временем предоставил своё сатирическое перо в распоряжение большевиков.
[23] См.: *Дозоров М.* Мы посягнули // Сборник пролетарских писателей. С. 111; *П. Красноярский.* Сегодня // Алтайская мысль (Барнаул). Общественно-литературная и политическая газета. 1919. 1мая.
[24] *Князев В.* Красные звоны и песни. Пг., 1918. С. 15.

вековой», — утверждал Кириллов[25]. Впрочем, его сподвижники были пока настроены миролюбиво. «Я пою семью народную, / Что зовётся демократией, / За её борьбу природную / С темнотою и апатией», — надеялся Логинов в 1917 г.[26]

Характерно, что избавление от самодержавия вызвало наплыв «пасхальных» ассоциаций. П. Второв так передавал царившее настроение: «В сердцах зажглись пасхальные огни, / И с новой властью сердцем и мечтами / Сольёмся мы в святые эти дни»[27]. А. Беленников провозглашал: «Вечная память погибшим в борьбе... Мы умиравшую Русь воскрешаем»[28]. Власову казалось, что «настали Воли дни, / И Солнце льёт лучи. / Ликует весь Народ. / Точь-в-точь Пасхальный день!»[29]. Календарное пришествие Пасхи усилило «воскресенческие» настроения. В. Прохоров в стихотворении «Красный звон» передавал «привет проснувшейся отчизне!» и сообщал, что «о новой светлой, ясной жизни / Смеясь, поют колокола!»[30]. «Русь проснулась, в самом деле... / И, взглянув вокруг, / С вековой своей постели / Соскочила вдруг! / ...В пробудившейся России / Сам Христос воскрес», — так виделось происходящее Л.В. Исакову[31].

Некоторым казалось, что близок всеобщий — военный и социальный — мир. 15 марта некий Н. Анзоре опубликовал в Оренбурге «Гимн празднику свободы», в котором возвещал: «Ликуйте... пал старый строй / Нет ему больше возврата / Нет Каинов прежних, их свергли долой! / Теперь не пойдёт брат на брата». Аноним «С.М.» также был уверен: «Солнце горит... / Светильник тиранов навеки разбит / И к прошлому нет возвращенья». Постепенно на первый план выдвигалась тема отмщения. Анонимному автору из Перми казалось, что «колышутся красные волны и грозный несётся напев!» «Песнь рабочих» И.Н. Антонова («Изгнанника») содержала такие строки: «Мы скованный мир ненавидим / И ложным богам не кадим; / Грядущую правду мы видим...». В.М. Силин призывал: «Крепче держите свободное знамя... / Жгите священное пламя». Б. Горбунов вспоминал «убитых за правду»[32]. Впрочем, в

[25] Цит. по: *Gachon-Bréneau C.* Op. cit. P. 62, 68.
[26] *Логинов Ив.* Указ. соч. С. 15.
[27] Сибирская жизнь. 1917. 4 марта.
[28] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 10; Оренбургское слово. 1917. 12 марта.
[29] *Власов-Окский Н.* Песни свободы. С. 4.
[30] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 127; Зауральский край (Екатеринбург). 1917. 9 апреля.
[31] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 17—18; Свободное слово солдата (Оренбург). 1917. 11 апреля.
[32] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 4, 28, 45, 15, 182, 66; Оренбургское слово. 1917. 6, 15, 23 марта; Пермская земская неделя. 1917. Март; Вестник Пермского края. 1917. 30 марта.

дальнейшем «правда» чаще встречалась в названиях газет, чем в стихах. Наряду с потоками весеннего славословия зазвучали и сетования на то, что «слишком нежное созданье, наша юная Свобода»[33].

Скоро в пролетарской поэзии обнаружились нотки нетерпения. «Образы. Образы. Символы. / Публика / Многих из них не поймёт в первый раз. / Крупным на знамени словом / Республика! — / Не приведёшь уж в экстаз. / Символы. Образы. Новое в старое / Вмиг превращается», — такие мысли посещали Власова[34]. Нарастала также антивоенная тема. «К концу идёт кровавый сенокос, / Начинают просыпаться бедняки... / Только этот вал с лица земли сметёт / И войну и ненасытный капитал», — писал Логинов[35]. Пролетарские поэты так адресовались «зарубежным братьям»: «Смотри, во что превратился мир: / Он весь — израненный труп, / А война касанием страшных губ / Пьёт кровь людей, как вампир»[36]. Через неожиданно возникающие ассоциации и образы люди словно пытались слиться в молитвенном экстазе.

Между тем, в том, что под покровом «передовых» идей происходила ревитализация не только христианских, но и языческих символов и представлений, не было ничего странного. Даже диссипативным натурам, отрицающим, казалось бы, всю мораль старого мира, не удаётся вырваться из культурных объятий прошлой эпохи. Точнее сказать, чем яростнее они пытаются порвать с ней, тем беспомощнее становятся перед лицом старых, как мир, утопий.

От нот сомнения к мелодии разочарования

Человек особо остро реагирует на крах ближайших — «гарантированных», казалось бы, — надежд. А тем временем революционная обыденность способна была вызвать настоящий эстетический шок. Впечатляющий образ российской вольницы предложила М. Цветаева: «Свобода — гулящая девка на шалой солдатской груди». «И целый день, своих пугаясь стонов, в тоске смертельной мечется толпа», — так воспринимала происходящее А. Ахматова[37]. К. Бальмонт в середине июля 1917 г. осуждал «бегство предателей, отступление этих подлых, обезумевших трусов на фронте», и надеялся, что в будущем «это стадо бегущих свиней да будет ...истреблено»[38]. А.П. Семе-

[33] Сибирская жизнь. 1917. 13 апреля.
[34] *Власов-Окский Н.* Красные зори. С. 8.
[35] *Логинов Ив.* Указ. соч. С. 15.
[36] Цит. по: *Gachon-Bréneau C.* Op. cit. P. 66.
[37] *Ахматова А.* Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1987. С. 135.
[38] *Андреева-Бальмонт Е.А.* Воспоминания. М., 1996. С. 493, 499.

нов-Тян-Шанский (сын известного географа) в стихотворении «Нашим демагогам» требовал суда над «народными трибунами», из-за которых «огромная страна» была «безвластью вручена»[39]. Позднее у дальневосточного анонима промелькнул ещё один образ — «свобода для сумасброда». Футурист Венедикт Март пояснял ситуацию так: «Темень, невежество наше / Мозг замутили, изъели сердца»[40].

Рабоче-крестьянских авторов происходящее, разуется, не смущало. Даже к лету 1917 г. они не умерили свой пыл. На Урале некий Ардин так клеймил позором буржуазию: «Капитал / Обирал, / И пощады не знал / Человеческой кровью питался. / Воевал, / Убивал, / Беззастенчиво лгал». Подобным заклинаниям сопутствовала растущая жажда мира. Самодеятельная сочинительница Е. Десятова требовала: «Пора кончать войну скорей»[41]. Некий Марсий опубликовал ещё один «Красный звон». Развязка виделась ему так: «Миллионы, миллионы / Погибают на войне... / Но наступит единенье / Всех народов, всех племён, / Зазвучит над всех землёю / Долгожданный Красный звон!»[42]. А. Климов в конце ноября 1917 г. прислал из действующей армии стихотворение «Я верю», в котором выражал надежду, что скоро «на плуги пушки перельют»[43]. Тем временем крестьянский поэт П.В. Орешин пел такие «Песни свободы»: «Взрывами огненных сил / Сердце поёт.../ Развёрнуты алые стяги». Несколько позднее он уверял: «Вспыхнул золото-огонь / Лапотного края»[44]. Многие авторы словно видели в мирном крестьянском труде средство преодоления мирового урбанистического несчастья.

Одновременно «пасхальный» цвет «большевизировался». 25 октября 1917 г. «Рабочий путь» опубликовал «Гимн пролетариата», в котором вновь буйствовали пламенные цвета и грохот «красного звона». В унисон большевистскому органу Павел Арский воспевал «праздник грозы огнеликой» и «всемирный пожар», которому предстоит «опоясать шар земной»[45]. Казалось, люди впадали в экстаз самопожертвования. В декабре 1917 г. Л. Пальмин в «Реквиеме» заклинал: «Шагайте без страха по мёртвым телам, / Несите их знамя вперёд!»[46].

Пролетарская поэзия, конечно, не была идентична большевистским постулатам. Коммунистических критиков раздражало в ней

[39] Биржевые ведомости (Вечерний выпуск). 1917. 21 июля.
[40] Владивосток. 1919. 12 февраля.
[41] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 29, 72; Уральская правда (Екатеринбург) 1917. 7 июня, 30 июля.
[42] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 93; Пермская жизнь. 1917. 20 августа.
[43] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С . 86; Вольный Урал (Екатеринбург). 1917. 29 ноября.
[44] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 109—110; Вольный Урал. 1917. 29 октября; За волю (Пермь). 1918, № 4.
[45] *Арский П.* Песни борьбы. Изд. 6. Петербург, 1919. С. 6, 29.
[46] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 122; Вольный Урал. 1917. 14 декабря.

обилие религиозных метафор и символов[47]. Действительно, уже в конце 1917 г. иные авторы воображали, что они «с крестом на Голгофу тащились», в 1918 г. появлялись призывы: «Да здравствует Совет / Грядущего царства Христова!»[48], а Василий Князев опубликовал сборники «Красное Евангелие» и «Красные звоны и песни» (1918)[49]. Перверсии символики (как и идентификационные кульбиты) сопровождают всякую социальную революцию.

Тем временем в антибольшевистской поэзии всё отчётливее звучала тема перерождения революции в охлократию, наметившаяся ещё в середине 1917 г. Уральский поэт писал: «Нет, враг не пал! Ещё сильны / Инстинкты варварства в народе. Подонки общества страшны / Своею дикостью в свободе»[50]. Разочарование в плодах революции нарастало. И.А. Козловский («Батрак») в августе 1917 г. сообщал, что в душе его «воскресла вера», а в апреле следующего года проклинал «безумный мир, кровавый мир», где «царствуют вампир» и «демон тьмы»[51]. Перепады настроения встречались постоянно.

7 октября 1917 г. Андрей Чагин так адресовался к «Русскому народу»: «Стонет бессильно земля... / Лозунги “равенства, братства” / Стали бессильно мертвы... / Граждане стали рабами / Буйной погромной толпой, / Сеют насилие сами, / Свергнув насильственный строй». Обращаясь к «Гражданину» он призывал: «Довольно разгула, пьяного царства рабов». 1 ноября он возмущался тем, что «бесчинствует хам, оскверняющий храм», а 15 ноября 1917 г. утверждал, что страшнее черни «нет в мире палачей». Концовка стихотворения по-своему символична: «Христос! Явись на землю в дни пожара, к молитвам вновь верни сердца людей»[52].

В.Н. Голдин отмечает, что с этого стихотворения в лексиконе «белых» появляются новые слова: «чернь», «шайка», «ухорезы», «праздный раб», «хам», «рожа», «бандиты», «громилы»[53]. Часть этих терми-

---

[47] *Steinberg M.D.* Op. cit. P. 281.

[48] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 81, 197; Уральский рабочий (Екатеринбург). 1917. 3 декабря; Крестьянин и рабочий (Курган). 1918. 22 марта.

[49] До революции Князев, словно аккумулируя в себе заряд ненависти, намеревался «долго ждать грядущего», «когда народ взойдёт на трон» (см.: *Князев В.* Первая книга стихов. (1905—1916). Пг., 1919. С. 13, 40), а после Февраля словно свихнулся на красном цвете и набатном звоне. См.: *Князев В.* Песни красного звонаря. Пг., 1919; *он же.* О чём пел колокол. Пг., 1920.

[50] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 31; Думы Урала (Екатеринбург). 1917. 19 июля.

[51] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 8; Свободное слово солдата. 1917. 2 августа; Голос трудового казачества (Оренбург). 1918. 22 апреля.

[52] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 29—31; Южный Урал. 1917. 7 октября; Крестьянский союз (Оренбург). 1917. 15 ноября.

[53] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 11.

нов обнаруживалась раньше. К ним добавились характерные образы: «красные — кровавые пираты», «кровавые сатрапы», «красный злой палач», «красный зверь», «красный дьявол», «стая псов», «безумные палачи, служащие сатане»[54]. В стихотворении В. Маркова «Пробуждение Потока богатыря» (языческий образ, воспетый А.К. Толстым), наличествовал такой набор эпитетов: «Хамы, сволочь, жульё, да тюремно гольё...»[55]. Всему этому некий «Б.С.» противопоставлял надежды на то, что «раздастся клич победный, и грянет “белое” могучее ура!»[56].

Уже события конца 1917 года вызвали волну растерянности и уныния в интеллигентской среде. Строки А. Блока о Христе, выступившем своего рода поводырём анархистов, смотрелись странноватым исключением. Е. Радомирский (Козлов) причитал: «Сказка погибла... Пожары, проклятья, вражда... / Где восторг, упоение народа? / О, ужель унеслась навсегда, навсегда / Золотая карета Свободы». Д. Фомин горевал: «Верилось в будущность светлую ясную, / Но иное свершилось: / Смят и поруган святой идеал; / Зверь по Руси бесшабашный шатается, / Катится всё разрушающий вал»[57]. К. Бальмонт вспоминал генерала Корнилова, называя его «прямодушным человеком» в стране, «что ложью обессилена»[58]. Но противопоставить стихии было нечего. А. Липецкий в декабре 1917 г. сознавался, что «битвой со злом изнурённый... измучил свой дух возмущённый»[59].

Первые эмигрантские авторы в массе своей последовали «веховской» традиции. «Злой кошмар Октября! / Красный смех над свободой и правом... / Золотая заря / Утонула в потоке кровавом», — так представлялась им большевистская победа в 1920 г.[60]. В другой прибалтийской газете сходное настроение передавали так: «Кошмары страшные нависли, / В смятенье многие умы. / Томится дух. Бушуют страсти...»[61].

---

[54] См.: Военные ведомости. 1919. 11 июля, 2 ноября; Либавское Русское Слово. Ежедневная беспартийная независимая газета. 1920. 16 декабря; Надежда России. 1919. 23 сентября, 11 октября; За родину! Издание Объединённого Комитета Архангельских Общественных Организаций. 1919. 8 июня; Ачинский край. Просветительно-осведомительная, беспартийная газета. 1919. 12 октября.

[55] Голос Руси (Царицын). 1919. 27 сентября. Должно быть, по причине нехватки бумаги этот номер газеты вышел в малиновом цвете (ранее появлялись «жёлтые» и «розовые» номера).

[56] Вестник Северо-Западной армии. 1919. 12 октября (29 сентября).

[57] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 11, 130, 160; Уральское хозяйство (Екатеринбург). 1918. Январь; 1917. Октябрь..

[58] Утро России. 1917. 15 октября. Нечто подобное можно найти и у М. Цветаевой.

[59] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 84; Пермская земская неделя. 1917. № 40. Декабрь.

[60] Либавское Русское Слово. 1920. 22 октября. Автор стихотворения «Листки из истории» подписывался Lolo. Скабрезные и ёрнические псевдонимы были унаследованы от дореволюционных сатирических изданий.

[61] Мир. Беспартийная газета (Юрьев). 1920. 18 марта.

Довольно точно отобразил кризис интеллигентского народолюбия К. Бальмонт в 1918 г.: «Ты ошибся во всём. Твой родимый народ — / Он не тот, что мечтал ты, — не тот»[62]. Летом 1919 г. А. Смоляков жаловался, что «мечты наши прежние с корнем загублены... Порывы благие толпою поруганы»[63]. Позднее отчаяние переросло в самоуничижительную ностальгию. «Россия построена заново / Другими, — не нами, без нас», — писал И. Северянин в 1939 г.[64]

Скоро в адрес «черни» зазвучали угрозы: «Мы не позволим черни злобной / Свершить насилье и разбой». Разумеется, осуждалась большевистская демагогия. «Беспощаден, хамски — жаден, / Дерзок на язык; / Вот портрет — он непригляден: / Это — большевик», — уверял «Ф.Т.». А Кузьма Беспалый именовал большевиков «детьми тьмы и преступленья». В стихотворении «Комиссародержавие» он рисовал такую картину: «Самовластной стала чернь... Самодурствовал с толпою / Коммунар — державный царь; / Про свободу забывая, / Правил бешеный разгул, / И жандармов Николая / Даже за пояс заткнул»[65]. Некий «Изгнанник» обещал «Родине»: «Я народу позора простить не сумею, если крестные раны Твои он забудет»[66]. Сходным образом А. Ляпунов заклинал: «Пусть же будет стыд тебе, “народ свободный” / За позор страны, за пролитую кровь! / Где-ж, скажи мне, разум твой природный?! / Где-ж, ответствуй, к Родине любовь?!»[67]. Помимо выкриков отчаяния звучали амбивалентные заявления. «Всюду — везде пробиваясь вперёд, — / Новь возвещает простыми устами / Русский дремучий народ!», — писал В.Н. Март[68].

У пролетарских леваков на всё имелись заученные ответы. Так, Логинов заявлял: «Пусть моралисты и эстеты / О нашей грубости кричат,/ Но мы, рабочие поэты, / Ещё сильнее бьём в набат: / Когда республика Советов / Окружена со всех концов, / Не до лирических сонетов, / Не до лирических стихов!»[69]. Василий Князев выражался ещё яснее: «К дьяволу вашу мораль! — Революция несёт смерть вашей морали!»[70] Старые ценности отбрасывались демонстративно.

Характерно, что в ходе Гражданской войны у белых эпизодически проявлялись надежды не только на мужика, но и на рабочего. Поэт Эм-

---

[62] *Бальмонт К.* Революционер я или нет. М., 1918. С. 39.
[63] Военные ведомости. 1919. 12 июня.
[64] Цит. по: История русской советской поэзии. 1917—1941. Л., 1983. С. 112.
[65] Надежда России. 1919. 20 сентября; *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 33, 41; Уральское хозяйство. 1917. 17 декабря; 1918. 19 августа.
[66] Надежда России. 1919. 26 октября.
[67] Военные ведомости. 1918. 31 декабря.
[68] Владивосток. 1919. 12 февраля.
[69] *Логинов И.* Набат. Стихотворения. Пг., 1919. С. 15
[70] *Князев В.* Красное Евангелие. Изд. 3. Пг., 1918. С. 34.

венский приписывал крестьянам, сбежавших от большевиков, такие слова: «Мы за Русь постоим, жизнь свою отдадим»[71]. «И встают и мужик, и рабочий, / Ко кресту вновь, как встарь / На святой наш алтарь...», — уверял В. Марков[72]. Вл. Покровский приписывал мужикам, начитавшимся белогвардейских газет, такие слова: «Постоим за Русь святую, все пойдём вперёд»[73]. Призыв сбросить иго большевиков прозвучал и в «Песне ижевского батальона смерти»[74]. А за подписью «Жупел» появилась стихотворная пародия с пометкой «Из подслушанных песен»: «Твой приходит черёд комиссар-большевик, / Вспомнишь ты лихолетья годину! — / Обольщённый тобою так нагло мужик, / Уже взял в свои руки дубину»[75]. «Дубинушка» эксплуатировалась всеми политическими сочинителями и всегда невпопад — народ жил своей жизнью.

Организационная слабость контрреволюции по-своему отразилась в поэтических произведениях. Некоторые авторы продолжали надеяться на лучшее. А. Микульчик так размышлял о происходящем: «Народные думы, могучие думы, / Шумя и волнуясь, как волны, бегут, / Пускай они злобны, и вечно угрюмы — / Они нам свободную долю несут». Другие поэты злорадствовали в связи с тем, что «победившие» большевики столкнулись с той самой «чернью», с помощью которой «углубляли революцию». Так, автор, подписавшийся Кунгуряк, 9 декабря 1917 г. многозначительно напоминал, что громилам «всё равно / эсдеки и буржуи». А потому большевики, что посеяли, то и пожнут[76]. В сущности, так и было, но политики заметили это куда позднее поэтов.

По ком звонит красный колокол?

Проблема источниковой базы остаётся поистине «роковой» для российской Клио почти на протяжении столетия. Было время, когда основным «источником» был дышащий политической злобой «Краткий курс», затем его сменили конъюнктурно перетолковываемые произведения В.И. Ленина. Россия не прошла школы средневековой схоластики, а потому феномен историко-партийной талмудистики сделался неизбежен. Его притяжение ощущается до сих пор: люди определённой генерации, включая меня самого, не могли даже пред-

[71] Надежда России. 1919. 16 августа.
[72] Голос Руси (Царицын). 1919. 27 сентября.
[73] Надежда России. 1919. 19 августа.
[74] Военные ведомости. 1918. 17 декабря.
[75] Вестник Северо-Западной армии. 30 (17) октября 1919.
[76] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 97, 81; Пермская земская неделя. 1918. Январь; Народная воля (Пермь). 1917. 9 декабря.

ставить, что революция может быть представлена не в политическом, а поэтическом дискурсе (извиняюсь за невольный каламбур).

1918 год был самым хаотичным периодом революционного цикла и, вместе с тем, временем всеобщего краха непомерных ожиданий. Наиболее историософски глубоко отобразил это Леонид Леонов: «А ночь темна... Поля покрыты мутью / А по полям веригами гремя, / Бредёт страна к желанному распутью / На эшафот прославленного дня». В отличие него, менее проницательные современники пытались привнести в хаос происходящего малую толику своего собственного «понимания».

Романтичные леваки по-прежнему славословили революцию. Н.М. Востриков в апреле 1918 г. продолжал бубнить: «Старым порядкам позорный конец, вечная слава борцам за свободу» и т.п.[77]. Ширились и ряды «обездоленных». Самодеятельная пролетарская поэтесса Старкова взывала к женщинам: «Спешите к свободе!»[78]. Упоминавшийся М.П. Герасимов посвятил поэму «Мона Лиза» «безгрешным мадоннам» — проституткам[79] (их особенно пылко оплакивали анархисты). Мир словно перевернулся — и этически, и эстетически.

Некоторые по инерции проклинали Керенского. Так, П. Косовский в феврале 1918 г. грозил свергнутому экс-премьеру: «Я тебе предатель всенародный, / С фронта голос подаю... / Державный штык, от крови брата, / Приду и в грудь тебе всажу[80]». Росло озлобление и против «предателей» революции. Б. Ганцев в апреле 1918 г. сообщал: «Россия кровью истекает... / Распни её! Распни её! / Кричат всех стран искариоты»[81]. Феномен предательства/измены, как известно, обладает особой силой морально-эстетического внушения.

Неудивительно, что в интеллигентской поэзии стала выстраиваться галерея фаталистических образов. Е. Радомирский в январе 1918 г. возвещал: «“Часы истории” — зловещие часы». В. Пермский опубликовал стихотворение «Смерть». «Идёт она кровавыми полями..., — писал он и взывал. — О, скоро ль мы придём к заре освобождения, забыв раздор в стране родной![82]». «Мы в тисках роковой неизбежности, мы в

---

[77] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 11; Голос трудового казачества (Оренбург). 1918. 11 апреля.

[78] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 143; Уральский рабочий. 1919. 28 декабря.

[79] Цит. по: *Gachon-Bréneau C.* Op. cit. P. 26. Эта тема повторялась и в других произведениях (Ibid. P. 70). В целом мотив сострадания к женской доле, а позднее восхищения перед подвигами революционерок в пролетарской поэзии весьма заметен. См.: Сборник пролетарских писателей. С. 80—82; За власть Советов. Сборник. М.; Л., 1925 (серия «Красные платочки»). Вып. 2.

[80] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 221; Крестьянин и рабочий.1918. 21 февраля.

[81] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 13; Голос трудового казачества. 1918. 6 апреля.

[82] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 131, 125; Уральское хозяйство. 1918. январь; Уральский кооператор (Пермь). 1918. № 36—37. Сентябрь.

пучине слепой безнадежности», — признавался Lolo[83]. Тема непреодолимого рока сопровождалась проклятьями в адрес большевиков.

Среди народников, вроде бы повенчанных с идеей борьбы, тема бессилия перед происходящим также усиливалась. Н. Сутма в апреле 1918 г. сообщал о «тихом ропоте печали» в собственной душе. Через год он констатировал: «Мы же — слабеем душою». А. Аштук в июле 1918 г. сообщал, что тоскует «по ночи глубокой». Некий «Е.Я.» продемонстрировал ещё большую степень унылости: «Как раненый витязь томится, страдает, / ...родная страна... / А даль беспросветна, глуха и страшна»[84]. Волны фрустрации докатились до Дальнего Востока. Н. Амурский сообщал, что «неутолимая тоска волнует грудь, терзает ум»[85]. Своего рода апофеозом отчаяния звучали строки анонимного уральского автора: «Мой мозг болит... Душа тоской объята. Безумен ум»[86]. Отчаянием безнадёжности отмечено стихотворение (1919 г.) «Где спокойнее?» некоего «Белоруса»: «...Теперь мертвец вставать боится / И гниёт спокойно в душной мгле, / Оттого, что в гробе слаще спится, / Чем теперь живётся на земле»[87].

Противники большевиков не знали, на кого опереться. В середине 1918 г. наблюдался всплеск надежд на чехословаков, которым посвящались настоящие оды[88]. «Слава о ваших деяниях в русских сердцах не умрёт», — уверяла некая «Беженка» в стихотворении «Чехам, павшим в бою»[89]. В Архангельске взахлёб превозносили англичан (в том числе на английском языке, пусть с ошибками)[90]. Но постепенно отношение к интервентам становилось более сдержанным. Дальневосточный поэт Н. Шилов писал о них иронично: «За полком идёт полчок — / Люб им Дальний наш Восток, — / Да, но мы не любы им, / По суждениям моим»[91].

Заметный эмоциональный подъём в антибольшевистской поэзии наметился в связи со становлением организованного белогвардейского движения. «Ну спасай же Русь святую, Адмирал Колчак», — такие

---

[83] Либавское Русское Слово. 1920. 18 декабря.

[84] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 185, 187, 196, 158; Земля и воля. 1918. 25 апреля, 30 июля; Тобольское народное слово. 1919. 3 апреля; Власть народа. 1918. 20 июля.

[85] Владивосток. 1919. 30 января.

[86] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 25.

[87] Военные ведомости. 1919. 20 июля.

[88] См.: *Булдаков В.П.* Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2010. С. 855, 875, 876, 916; Сибирский голос (Иркутск). 1918. 26 октября.

[89] Надежда России. 1919. 4 октября.

[90] Их именовали «дети Британии, рыцари чести», «рыцари страны, / Где святы честь, права, законы...» (Отечество (Архангельск). Ежедневная, беспартийная, общественно-политическая газета национального объединения. 1919. 27 мая).

[91] *Кириллова Е.О.* Дальневосточная гавань российского футуризма. Кн. 1. Владивосток, 2011. С. 18.

слова вложил в уста сибирских крестьян В. Покровский[92]. «Поступью смелой и гордой / Пойдём, куда скажет Колчак», — такие строки содержались в «Песне уржумских стрелков генерала Каппеля»[93]. Некий Риголли по случаю приезда адмирала в Пермь взывал: «Слава тебе, наш Верховный Правитель, / Вздумавший Русь воссоздать... / Бросим теперь мы все распри, раздоры, / Снова построим разрушенный храм, / Вспомним, что трупов у нас уже горы»[94]. Многие противники большевиков осознали необходимость «белой» диктатуры.

Всплески оптимизма, не лишённого, однако, истеричности, наблюдались обычно в связи с временными победами. «Заря поднимается.../ Светлое, яркое, / Солнце над Русью взойдёт», — писал И. Силов, добавляя, что «Россия воскресла, Россия живёт!»[95]. Разумеется, сказывались пропагандистские усилия. Так, бывалые журналисты, опираясь на опыт Первой мировой войны предлагали создать в особой газете для солдат литературный отдел, где были бы представлены не только стихи и рассказы, но и анекдоты и шутки[96]. Нечто подобное уже существовало, теперь антибольшевистская пропаганда должна была стать более целенаправленной[97]. Вряд ли эти планы могли реализоваться. Тыл был равнодушен к фронту, в чём постоянно признавались противники большевиков[98]. Обывательское безразличие возмущало белогвардейцев. «Пусть отлетит равнодушье! Пусть люди воскликнут в восторге: “Рады за Родину биться!..”», — взывал А. Ляпунов[99]. Поэт-фельетонист Ядов называл обывателей и предпринимателей наживающимися на войне «безрогими баранами и «бескопытными свиньями»[100].

Подчас упаднические настроения маскировались сатирической бравадой. Георгий Никифоров так представлял себе прошлое и будущее: «Был царь Николашка, / Был патриотизм, / Была и каталажка, / Был и коммунизм... / Потеряли волю / И не можем встать, / И мечтаем “Колю” (Николая II — *В.Б.*) / Снова к нам позвать». Реставраторские настроения сопровождались «оптимизмом» особого рода: «Будет много водки, Мирно будем жить». С такими пожеланиями со-

---

[92] Надежда России. 1919. 19 августа.
[93] Военные ведомости. 1919. 20 мая.
[94] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 119—120; Сибирские стрелки (Пермь). 1919. 18 февраля.
[95] Голос Руси (Царицын). 1919. 20 октября.
[96] Сибирский вестник (Томск). 1918. 15 сентября.
[97] *Молчанов Л.А.* Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (октябрь 1917 — 1920 гг.). М., 2002. С. 177.
[98] См.: Военные ведомости. 1919. 15 мая; Надежда России. 1919. 23 октября.
[99] Военные ведомости. 1918. 8 декабря.
[100] Таврический голос (Симферополь). 1919. 27 мая (9 июня).

седствовали призывы «К оружию мысли! К оружию слова! Под знамя отчизны святой»[101].

Интеллигентные люди не замечали, что культурная пропасть между ними и низами расширяется. А поляризация культуры в смутные времена приводит к возобладанию архаики.

Шум и ярость борьбы

«Можно холодным умом осмыслить события, которые совершались в пылу страстей?» — задавался вопросом Ричард Пайпс[102]. Но стоит ли нормальному исследователю вообще противопоставлять «ума холодные наблюдения» сердечным «горестным заметам»? Не лучше ли надеяться, что эмоциональный шок подтолкнёт разум? Впрочем, трудно ожидать, что на это способен человек, втянутый в водоворот неподвластного ему насилия.

Даже в дни побед в белогвардейской эмоциональной гамме преобладали ненависть и отчаяние, перерастающие в истерию. В январе 1919 г. в «Освобождении России» появились стихи, названные «Безумье и ужас». Их автор вроде бы побывал в большевистском застенке, где «творили кошмар»: «дробили мозг, груди». По его словам, большевики «раздули пожар животных страстей» в «невеждах и хамах», «безумных и больных холопах». Метафоры трансформировались в настоящие цветовые галлюцинации: «Смех чудится красный / Зверей-палачей... / Когда-то прекрасный, / Манивший вперёд, / Нас ныне цвет красный / Лишь давит и гнёт». А. Филиппов так адресовался «красным»: «Разрушить вы могли. Но вы не создадите — / Вы не учились создавать... / Расплаты близок час»[103]. Впрочем, для архангелогородского фельетониста «Мистэра Кепстэна» большевистские зверства стали привычным газетным штампом. «За прошлый год потешили / Себя большевики; / Стреляли, били, вешали, садили на штыки», — сообщал он, как о чём-то естественном, в своих «Новогодних думах»[104]. Но чаще звучали глубоко трагические ноты. Н. Уфимцеву, находящемуся вроде бы далеко от поля боя, в стихотворении «Братская могила» виделся «молодой курган»,

[101] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 207—208, 154; Пулемет (Челябинск). 1918. № 2; Отечество (Тобольск). 1918. № 3.

[102] *Пайпс Р.* Россия при большевиках. М., 1997. С. 603.

[103] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 192; Освобождение России (Пермь). 1919. 16 января; Сибирский стрелок (Тобольск). 1919. 1 июня.

[104] Возрождение Севера (Архангельск). Ежедневная областная общесоциалистическая газета. 1919. 1 января.

который «стоит уныло, всеми позабытый»[105]. Напротив, красные на жертвы в своих рядах реагировали стандартно. Михаил Панов уверял, что «павший боец... за смерть отомстить нам велел»[106]. Борис Богомолов в стихотворении «Революция» утверждал: «Идёт она, великая, / Идёт она, прекрасная! / Трагичен грозный лик ея / И воля буревластная!»[107].

Конечно, большевиков старались высмеять. Некий «В. Ст.» опубликовал 8 марта (!) 1919 г. «Советские частушки». Текст был незатейлив: «Не ходите вы, девчонки, / С коммунистами гулять. / Коммунисты вас научат / Воровать и пировать». Цитировались и клозетные тексты из «Совдепии»: «Кому живётся весело, вольготно на Руси? / Большевикам — изменникам, ах чёрт их разнеси»[108]. Впрочем, теперь превалировала иная тональность. Некто «Взводный» жаловался: «Русь, моя матушка, родина милая!... / Плачу о том, что коммуна постылая / Русской владеет душой». Этот автор отчаянно надеялся, что «вспыхнет над родиной милой жизни Христовой заря». Публиковались и совсем плаксивые вирши. Так, Порфирий Шмаков надрывно взывал: «Выйди на ниву, душа благородная, / Много видавшая гроз! / Выйди и сей семена утешения, / Духом ослабших бодри»[109]. Напротив, пролетарский автор Вл. Соболь оставался полон набатного оптимизма: «Мы силой крепки, духом юны, / Мы светлой воли кузнецы... Вставай рабы, вставай народы! / Нас зори светлые зовут!»[110].

Тревога по-прежнему не покидала белогвардейцев. Полковник Н.А. Лебедев опубликовал «Гимн России (Молитва офицеров 4-го Степного Сибирского кадрового полка)», содержащий вроде бы обнадёживающие строки: «С нами Верховный Правитель / С верой в Тебя, Вседержитель, / К славе Россию ведёт». Однако Н. Лубнин заявлял: «Утомился в напрасной борьбе я, устал / И судьбе покорился с тоскою... / Впереди я лишь мук ожидаю»[111]. Со своей стороны Иннокентий Дмитриев признавался, что «уж нет силы винтовку держать — так ослаб я в неравном бою»[112]. Как ни странно, в контрреволюционной поэзии появились мотивы всепрощенчества. А. Елфимов заклинал «Умей любить»: «Если смерть утомлённого скосит, ты оби-

[105] Владивосток. 1919. 31 января.
[106] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 123; Уральский рабочий. 1919. 21 ноября.
[107] Товарищ. Иллюстрированный еженедельный журнал. 1919. № 1. С. 3.
[108] Надежда России. 1919. 4 ноября.
[109] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 51—53, 55, 144; Сибирские стрелки. 1919. 8 марта; Сибирские огни (Пермь). 1919. 2 марта; Пермская земская неделя. 1919. № 10.
[110] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 142; Уральский рабочий. 1919. 12 декабря.
[111] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 175, 176; Тобольские епархиальные ведомости. 1919. № 11; Сибирский стрелок. 1919. 25 мая.
[112] Военные ведомости. 1919. 18 июня.

ды забудь и прости![113]». А офицер Ю. Ревердатто полагал, что ему осталось «смежить усталые веки, лечь, засыпая навеки»[114].

Кратковременные эмоциональные взлёты приобретали антисоциалистический и националистический оттенок, расцвеченный соответствующей символикой. Так, некий «А.Г. — Юнкер» с негодованием обращался к «недавним властителям» (социалистам): «Не смейте говорить: — "Мы родину любили!" / Её унизивши, глумились вы над ней, / ...Властители из шайки палачей». А в «Песне 1-го Среднесибирского корпуса» были такие строки: «Прочь, враждебные, красные флаги, / Наше бело-зеленое знамя, вперёд!... / Не страшны нам мадьяры-гусары, / Латышей и китайцев отряд, / Перед нами бегут комиссары... Пепеляев наш корпус ведёт!» Некий Н. Арнольд утверждал, что «спасать Святую Русь в Москву, с порывом страстным, / К древнейшим стенам Русского Кремля, / Не с красным знаменем, а бело-сине-красным / идёт могучая военная семья». По его мнению, спасти от «красного засилья» должны «мы, русские»[115]. Довольно долго у белых сохранялась «немецкая тема». «Стонет Русь. В дыму пожарищ / Уже много, много дней. / Немцем купленный «товарищ» / Издевается над ней», — утверждал Пётр Лямин[116]. «Дядя Митрич» устами бывшего красноармейца обещал пойти «на немецких вассалов, к московским кремлёвским палатам»[117].

Заметен был и антисемитизм. «Поскобли комиссара, окажется жид... Поскобли совдепию, окажется монархия», — такие якобы надписи, обнаруживались в большевистских клозетах[118]. В мае 1920 г. в марше дроздовцев появились такие строки: «Ни латыш, ни китаец, ни Жлоба не чинят нам в дороге препон»[119]. Характерно, что при этом белогвардейские пропагандисты не уставали подчёркивать, что в их рядах воюют не только чехи, но и поляки, сербы, хорваты, словенцы и карпаторуссы[120].

Напротив, у красных военные неудачи обычно сопровождались пылкими воззваниями. «...Вперёд, друзья, вперёд — Отечество зовёт!» — призывал Князев в стихотворении «Отечественная война»[121]. Аноним-

[113] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 162; Сибирский стрелок. 1919. 9 апреля.
[114] Цит. по: Белая лира. С. 318. Неудивительно, что в 1922 г. Ю. Ревердатто кончил жизнь самоубийством.
[115] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 37, 38, 41; Сибирские стрелки. 1919. 18 февраля, 4 апреля; Освобождение России. 1919. 22 марта.
[116] Голос Руси (Царицын). Экстренный выпуск. 1919. 19 августа.
[117] За Россию (Архангельск). 1919. 19 (6) октября.
[118] Надежда России. 1919. 4 ноября.
[119] Военный голос. Газета Военно-Общественная (Севастополь). 1920. 3 сентября / 20 октября.
[120] См.: *Булдаков В.П.* Хаос и этнос. С. 877, 915, 960, 985.
[121] *Князев В.* Красные звоны и песни. Пг., 1918. С. 32.

ный «Пулемёт» 7 ноября 1919 г. взывал: «Спасайте Красную Россию»[122]. Ему вторил В. Кириллов: «Пора, пора, сыны народа, / Седлайте огненных коней, Вас кличет Красная Свобода, — / Разите злобных палачей»[123].

Иной раз красный цвет прорывался на страницы антибольшевистской прессы. Так, в газете самарских приказчиков некий «Южанин» предупреждал: «Чёрная сотня повсюду ползёт... Не запятнайте красное знамя»[124]. А 1 мая 1919 г. алтайская газета опубликовала следующие строки П. Красноярского: «В мире клич боевой прозвучал / И победное вспыхнуло пламя. — / Это мир угнетённых поднял / Пролетарское красное знамя». Ему вторил Г. Днепров, провозгласивший «Славу святому труду!»[125].

Широко практиковалась у белых демонизация и бестиаризация большевистских правителей. «А в Кремле Совнарком — / Что за хари кругом», — писал А. Марков[126]. Сочинялись и эпиграммы на отдельных большевистских вождей[127]. Автор, подписавшийся «Старый воробей», опубликовал «Колыбельную песню Ленина». Большевистский вождь якобы признавался, что он в «Бресте мир писал с похмелья» и «оптом Русь продал». Но, имея «чужой паспорт в кармане», обещал: «Чуть что... на аэроплане с Троцким улечу». А некий Г. Гусляр клеймил противников в псевдонародном стиле: «Все — одни большевики, Настоящи дураки». Другие авторы вышучивали красную пропаганду и большевистский быт: «комиссар несётся на лихаче», а над ним плакат прославляет «подарок от Совета» — «выдают селёдку на талон». Некий «Шершень» нарисовал такой портрет: «Вид всегда имеет дерзкий, / Смотрит он на всех по-зверски, / Груб, нахален, сер и дик / Современный большевик!... / Вор, грабитель, жулик, шпик — / Вот и вышел большевик»[128]. Однако от подобных проклятий красные словно черпали силы. Князев изображал революционную жертвенность: «Приди и пей. Сие есть кровь / Из сердца красного поэта, / Жизнедарующая новь, / Источник Нового Завета»[129].

---

[122] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 129.

[123] Товарищ. 1919. № 1. С. 2.

[124] Наша жизнь. Еженедельный орган Самарского профессионального общества Служащих Торгово-Промышленных и Общественных учреждений г. Самары и губернии. 1918. 30 октября.

[125] Алтайская мысль. 1919. 1 мая.

[126] Голос Руси. Царицын. 1919.

[127] Либавское Русское Слово. 1920. 27 октября, 9 ноября. Как правило, всё это сочеталось с всевозможными выдумками о покушениях на Ленина и Троцкого, ссорами между ними. Так, писали, что Ленин увлечён «девушкой от революции» — «голубоглазая, с золотой косой». См.: Там же. 27 октября.

[128] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 144, 69, 130, 141, 143; Заря народоправства (Екатеринбург). 1919. 18 января; Горный край. 1919. 19 января; Современная Пермь. 1919. 12 июля; Сибирские стрелки. 1919. 6 апреля.

[129] *Князев В.* Красное Евангелие. С. 9.

Надежда на некую внешнюю силу была особенно заметна у интеллигенции. Так, Д. Бронин адресовался колчаковцам: «Привет героям из Сибири, пришедшим Пермь спасти от бед». Некий Рустэний выражался проще: «Идут спасительной толпою... Сибирские стрелки вперёд». Некий «Горемыка» в стихотворении «На помощь» напоминал, что «враг терзает мать», а В. Григорьев восторгался тем, что: «простодушный [сибирский] богатырь» несёт освобожденье, «теряя розы алой крови / На белом девственном снегу»[130]. В далёком Архангельске «Дядя Митрич» вдохновлял читателей тем, что Колчак со своей дружиной «гонит всюду эту рвань» (большевиков)[131].

Вновь и вновь и у красных, и у белых всплывала пасхальная тема: «Как в день Христова воскресенья, раздайся, красный перезвон». С другой стороны звучал «Русский гимн» (автор «Н.О.»): «Простор и свобода в России царят... / Небесные силы её да хранят»[132]. «Очисти душу и — воскресни / Во имя Красного Христа!», — требовал Князев[133]. Появился у белых и конкретный «спаситель». С. Михеев взывал к Святому Георгию, надеясь, что его «копьё вонзится в последний раз». К «победоносцу Георгию» обращали свою молитву А. Ляпунов и некий «Граф Н. Подгоричанин»[134]. В конце 1919 г. И. Бунин опубликовал в одесской газете стихотворение «Егорий Заступник», а рядом с ним проф. М. Попруженко сочинил подобие баллады о «Егории Храбром»[135]. Напротив, пролетарские поэты продолжали твердить: «Богов всемогущих не надо... / Наш бог — трудовой коллектив»[136].

Эсеры все активнее поносили большевиков. Некий «А.Р.» именовал их «вождями позора», утешая себя тем, что народ, «презреньем будет их клеймить». Правые, в свою очередь, нападали на эсеров — одурманенный их речами, народ «на трон возносит палача»[137]. А один из штатных фельетонистов «Кот Сибирский» в стихотворении «Революционная температура» обвинял меньшевиков и эсеров в том, что они заразили своей горячностью Россию. Чуть позднее в стихотворении с не менее многозначительным названием «Кладбищенская бал-

[130] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 67, 68, 50, 121; Освобождение России. 1919. 2, 15 апреля; Сибирские стрелки. 1919. 27 февраля, 9 марта.
[131] За родину! 1919. 14 мая.
[132] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 67—68, 98, 100; Сибирские стрелки. 1919. 9 марта; Пермская земская неделя. 1919. июнь; Освобождение России. 1919. 13 июня.
[133] *Князев В.* Красное Евангелие. С. 36.
[134] Военные ведомости. 1918. 10 декабря.
[135] Южное слово (Одесса). 1919. 9 декабря.
[136] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 118; Уральский рабочий. 1919. 28 декабря.
[137] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 151—152, 146; Земля и воля. 1919. 26 февраля; Современная Пермь. 1919. 5 апреля.

лада», уверял, что Господь определил кадета в рай, эсера — в чистилище, а большевика низверг во тьму[138].

Поэзия времён Гражданской войны сохраняла свой — пусть неустойчивый — политический спектр. Его изучение могло бы отчётливее представить динамику истощения тех или иных партийных лозунгов. Заметно было и то, что противники большевиков, вынужденные «демократически» терпеть друг друга, подчас питали к своим соседям не меньшую злобу, чем к большевикам.

Утопия и лира

Исследователи давно предлагают изучать революцию в парадигме «трагедии соревнующихся невозможностей»[139] или «состязания эстетизированных утопий», стимулирующих не прорыв в будущее, а рождение (прежнего?) порядка из хаоса[140]. В синергетических процессах «малые возмущения», не улавливаемые позитивистскими методами, приобретают непомерное значение. Анализ поэтического аккомпанемента «политических альтернатив» мог бы указать на реальную не/возможность их воплощения, ибо всякая доктрина мертва без её социально-энергетического (чаще ложного) наполнения. Мир движется великими идеями, но справедливо и то, что их «подталкивают» глупцы, которых, вспоминая Пушкина, бесполезно оспаривать.

В России даже здравомыслящие люди привыкли жалеть себя. И этому есть объективные основания, субъективно запрятанные в психике русской интеллигенции. Обычно её представители не могут понять, почему их красивые идеалы либо нелепо резонируют с народными иллюзиями, либо грубо отторгаются низами.

Вероятно, поэтому жертвенные стенания и жалостливые причитания в стане белых не прекращались. «Прощай, не плачь, моя родная! / Перекрести меня напутственным крестом, / Чтоб там, на поле брани умирая, / Я мог уснуть покойным вечным сном», — заклинал некий Ю. Коробейников. Этот «сын Руси великой» искренне готов был «победить или умереть», чтобы отразить «вызов силы дикой»[141]. «Мы

[138] Владивосток. 1919. 4, 8 февраля.

[139] *Rosenberg W.G.* Interpreting Revolutionary Russia // Critical Companion to the Russian Revolution, 1914 — 1921. London, 1997. P. 30—32.

[140] *Cramer F.* Schonheit als dynamisches Grenzphanomen zwischen Chaos und Ordnung — ein neuer Laokoon // Selbstorganisation. Bd. 47. Asthetik und Selbstorganisation. Berlin. 1993. S. 79—102.

[141] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 77; Сибирские стрелки. 1919. 3 апреля.

ляжем в поле боевом / Все, все до одного!», — обещал Георгий Д.[142]. Вл. Костинский уверял, что хотя «Судьба порой карает нас жестоко, но мысли ясные не убьёт»[143]. «Я верю, что чашу страданья / Испьём мы без трепета к жизни, / Пока не исполним желанья / Дать счастье уставшей отчизне», — клялся Д. Попов в стихотворении «Я верю», посвящённом добровольцам[144]. Увы, и вымученный оптимизм, и демонстративная жертвенность отдавали танатоманией.

Весьма сложную и, вместе с тем, показательную гамму эмоций представил поручик П. Яковлев. В одном стихотворении он голосом больного требовал: «Уйдите! Дайте мне остаться одному», а в другом, названном «На отдыхе» (Рондо)», пылко взывал: «Целуй меня, ты — женщина... Я воин»[145].

Спектр эмоций у противников большевиков был весьма широк. Одни, как Вячеслав Волков, намеревались спасать родину, которая виделась ему в «венце терновом», в «ризе окровавленной и рваной»[146]. А. Красницкий в газете «Молодая Русь» размышлял с оттенком самолюбования: «Куда же нам теперь идти? / Везде один колючий терний»[147]. Офицер Евгений Лесовой воспевал тех, кто «честен и чист молодою душой» и «любит отчизну»[148]. С. Лурье в «Освобождении России» жаловался на одиночество; штабс-капитан Макаров, оплакивая полковника Зелинского, вспоминал о «призраке смерти». А. Малинин возмущался: «Как можно думать в эти дни, / В дни злой большевистской напасти, / Об эгоизме, личном счастье... / Как можно в эти дни кричать, / О низких деловых делишках, / Наживе, алчности, картишках... / И тем отчизну предавать»[149]. «Мистэр Кепстэн» постоянно обличал обывателей, буржуазию, «тыловых героев» с «длинными языками», «раскисляев нытиков», паникёров и спекулянтов[150]. Ему вторил некий Фёдор Сун-в: «Слухи... Сплетни... Разговоры... Пьянство... Взятки... Карты... Воры»[151]. Ситуация в дальнем тылу и вовсе напоминала пир во время чумы. «Бутылка в кармане — мой якорь защиты», — заявлял дальневосточный поэт[152].

Примечательно, что из стихотворного лексикона белогвардейцев исчезло слово демократия. Зато поражает обилие библейских, бы-

[142] Надежда России. 1919. 23 сентября.
[143] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 77—78; Освобождение России. 1919. № 10.
[144] Военные ведомости. 1919. 2 февраля.
[145] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 148, 149; Русское приволье (Пермь). 1919. № 3.
[146] Военные ведомости. 1919. 26 марта.
[147] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 90.
[148] Военные ведомости. 1918. 8 декабря.
[149] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 85, 89—91; Сибирские стрелки. 1919. 22 марта.
[150] См.: Возрождение Севера. 1919. 14, 23 сентября, 4, 7, 10, 16, 17 октября.
[151] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 146; Наш Урал (Екатеринбург). 1919. 23 марта.
[152] *Кириллова Е.О.* Указ. соч. С. 163.

линных и «славянофильских» образов, ревитализация православных и фольклорных архетипов. С другой стороны, у красных невозможно встретить упоминаний о социализме. Его заменил яркий, но расплывчатый образ светлого будущего.

Пролетарско-крестьянские авторы оставались неуёмными оптимистами. «Сторонись честной народ! / По дороге / Красна гвардия идёт...», — писал П. Орешин[153]. «Чашу с кровью — всемирным причастьем / Нам испить до конца суждено!» — требовал Николай Клюев в «Красной песне»[154]. «И пусть прольются крови реки, — / Они потопят старый мир», — утверждал Князев[155]. Ещё более устрашающе мотив «оптимистической трагедии» звучал у В. Марта в стихотворении, написанном под впечатлением похорон красногвардейцев: «И как знамёна красные гробы грядущее вещали»[156].

Агрессивный напор сторонников большевиков казался поистине неисчерпаемым. А. Крайский взывал к «Свободной России», которая «перевернула весь наемнический строй», за что её «враги и хищники на части злобно рвут». Но он был уверен, что «сердце красное в груди её пылает... всё ярче, всё сильней...», и от этого непременно «вспыхнет мир... и в нём восторжествует свободный, вольный труд!». Н.С. Тихомиров в стихотворении «Вера» убеждал, что «не убить свободы красной»[157]. П. Орешин предупреждал: «Красный стяг загорелся на хате, / ...Но не дремлет и чёрная сила», а В. Март требовал «выколоть глаза дракону капитала»[158].

Большевистская поэзия была пропитана наступательностью. Некая Киселёва так утверждала свой «Символ веры»: «Мы идём к заветной цели, и насильники падут». Л. Матлин в стихотворении «За лучший мир» заявлял: «Нам крови не надо, нам чужды насилья, / Мы витязи сильной идейной борьбы, ... / Тяжёл и колюч наш терновый венец, но время в рассвет, в лучезарную долю, / Даёт нам надежду прекрасный конец». К. Муран заклинал: «Крепись крестьянин-богатырь... / Врагам пощады не давай / Храни свободной нашу ширь. / Храни от белых урожай». В конце 1919 г. М. Рычков убеждал «рабочего»: «Люди оце-

[153] Примечательно, что эти строки были опубликованы в Архангельске в антибольшевистской газете. Здесь же приводилось стихотворение Н. Власова-Окского «Судьба», где поэт спорил с «Беззубой Старухой — лукавой судьбой». См.: Возрождение Севера. 1919. 28 декабря.

[154] Товарищ. 1919. № 1. С. 3.

[155] *Князев В.* Красное Евангелие. С. 18.

[156] *Кириллова Е.О.* Указ. соч. С. 122.

[157] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 80; Трудовая коммуна (Пермь). 1918. № 13; *он же.* Указ. соч. Кн. 1. С. 153; Уральский рабочий. 1918. 23 июня.

[158] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 111; За волю. 1918. № 4; *Кириллова Е.О.* Указ. соч. С. 123.

нят твой труд»[159], а Н. Щипачёв так обращался к «красной молодёжи»: «Стряхни с себя оковы лжи, спеши скорей из мрака ночи к восходу пламенной зари»[160]. Пролеткультовец Князев обнаружил способность мимикрировать под крестьянина. «Ой ты, гой еси, царство мужицкое, / Мужицкое, большевицкое!» — взывал он[161]. Известный поэт С.Я. Алымов в 1920 г. утверждал: «Крепкой рукой титанической / Солнце рабочий притянет / И на медали космической / Ленина лик отчеканит»[162].

Разумеется, у красных появлялись свои кумиры. В. Курочко так обращался к юным последователям большевиков: «Привет тебе, воитель юный, / Весны грядущей богатырь, / Союз рабочей молодёжи / В борьбе священной поводырь». Он верил, что «положен путь, победа близко». Марш «Красноармейская звезда» содержал такие слова: «Не Марс нам светит с высоты, / Не кровожадный бог войны.../ Мы в бой с насилием идём. / Как в чистом поле алый мак / Наш боевой сверкает знак». Сочинителю мерещилось, что «слышен в страхе стон врагов»[163]. Иных левых авторов словно распирало от избытка витальности. «Сердце каждого — алое знамя, кровь несётся быстрее гонца», — уверял Алымов[164].

В конечном счёте «красная» поэзия эмоционально превзошла «буржуазную» лиру не за счёт особых дарований, а в силу того, что вела за собой особую — конгениальную по духу — единую в своей ненависти к «барам» массу. «Растерянная» цивилизация становится жертвой «безнравственного дикаря», которому всё сложное кажется ложным, и потому подлежащим тотальному уничтожению.

В современном историческом сознании то и дело поднимается сакраментальный вопрос: почему красные победили белых? При всей своей наивности он естественен, ибо происходит от ложной идентификации вопрошающих, представляющих себя в стане интеллектуально и духовно близких комбатантов. Однако история — не лавка древностей, в которой каждый примеряет приглянувшийся ему наряд. Сравнивая поэтические эманации противоборствующих сторон, поневоле приходишь к выводу, что побеждает та из них, которая несёт в себе всесокрушающий заряд веры, особенно впечатляющий на фоне безверия и безволия более «умудрённого» оппонента.

---

[159] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 166, 177, 179, 181; Известия Тюменского губернского и уездного исполнительного комитета Советов. 1919. 22 мая; Тобольская коммуна. 1919. 11 ноября, 14 сентября, 15 декабря.

[160] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 35; Красная молодёжь (Оренбург). 1919. 30 ноября.

[161] *Князев В.* Красные звоны и песни. С. 47.

[162] Цит. по: *Кириллова Е.О.* Указ. соч. С. 191.

[163] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 83, 46—47; Известия Пермского губернского исполнительного комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Армейских депутатов. 1918. 12 октября.

[164] *Кириллова Е.О.* Указ. соч. С. 192.

* * *

При всей пестроте поэзии революционного времени в ней проглядывает нечто единое. В рождественском выпуске сибирской газеты (1917 г.) появилось стихотворение Дм. Вифлеемского «Но в эту ночь». В нём утверждалось, что «Россия жертвенным путём идёт к своей печальной тризне» и что «мы с каждым днём сильней клянём мелькнувший свет свободной жизни». Тем не менее автор уверял, что в рождественскую ночь он «снова верит в возрожденье»[165]. В сущности, вся масса представителей поэтического цеха пыталась по-своему уловить «метаисторическую» логику переживаемого хаоса. Революция и гражданская война воспринимались как неразрывный цикл «смерти—возрождения» России (а также, подспудно, авторитарной государственности). «Верь, воскреснет она [страна] обновлённая, в светлом подвиге царства добра», — утверждал 1 января 1919 г. К. Донских. Неунывающий ученик VI класса из Кургана мечтал о времени, когда «уставшею стихией / Междоусобица замрёт, / И над свободною Россией / Заря счастливая взойдёт!»[166] «Воскреснет всяк, кто был убит», — утверждал Князев[167]. Аноним «П.Я.» так представлял будущее: «Кровь тёплая бойцов и слезы их мучений / Лишь почву умягчат, чтоб дать сторичный плод... / Свершится дивный сон — и светлых райских синей / Достигнет человек и станет богом сам!»[168] Позднее дальневосточный поэт-эмигрант А.И. Журин выразил надежду, что «опять Москва Россию соберёт, / Вновь русское взовьётся гордо знамя / И всех людей в одну семью сольёт!»[169]. Но кто мог это сделать?

Как известно, каждая культура предполагает особое отношение к смерти. Время и субкультуры вносят в него характерные нюансы. Для белых смерть оставалась индивидуализированным несчастьем, несущим в себе «перспективу» всеобщего небытия. Напротив, у красных страх смерти был смикширован утопией классового сознания и квазирелигиозного прорыва в «светлое будущее».

К концу Гражданской войны некоторым казалось, что цикл «Красной смуты» близок к завершению. Но каков будет его итог? Жуткую перверсию главного христианского образа по-своему отразил М. Волошин (апрель 1921 г.): «Зима в тот год была Страстной неделей / И красный май сплелся с кровавой Пасхой, Но в ту весну Христос не воскресал»[170]. Однако многие «рабоче-крестьянские» поэты воспринимали произошедшее вполне «орто-

[165] Сибирская жизнь. 1917. 25 декабря.
[166] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 1. С. 198, 213; Народная газета (Курган) 1919. 1 января; Курганское свободное слово. 1918. 3 сентября.
[167] *Князев В.* Красное Евангелие. С. 52.
[168] *Голдин В.Н.* Указ. соч. Кн. 2. С. 113; Пермская земская неделя. 1919. апреля.
[169] *Кириллова Е.О.* Указ. соч. С. 310.
[170] Цит. по: Гражданская война в лирике и прозе. Т. 1. С. 42.

доксально». Бывают времена, когда аксиологически истощённые люди готовы придать возвышенным символам земное воплощение.

Можно ли говорить об «объективности» эмоциональных трендов революции и Гражданской войны, отображённых тогдашней поэзией? Думается, что базовые образы массового сознания представлены точно. Во всяком случае, ни один источник не передаёт столь ощутимо определяющий «дух» того времени, как поэзия. А без осознания психоментальных оснований революционной эпохи работа историка обессмысливается. Что касается эмоциональных инверсий и перверсий, то они естественны, а потому поддаются «расшифровке» по обычным принципам герменевтики.

Несомненно, революция оправдала ожидания немногих левых художников слова — тем более что они улавливали в произошедшем не «классовую» логику, а традиционную русскую смуту. Оставалось только вдохновлять себя её «обновляющим» содержанием. Отсюда подспудная готовность последовать за «победителями от истории» — большевиками, точнее за их идеализированным подобием. Белогвардейские авторы, напротив, воспринимали происходящее как бессмысленный хаос, спровоцированный социалистами. Среди них не заметно того контагиозного оптимизма, которым пропитывался лагерь их союзников. У красных, со своей стороны, не было заметно и тени интеллигентской рефлексии и, тем более, самобичевания. Но и те, и другие, вольно или невольно смыкались на теме «возрождения» России.

Бывают исторические «тупики», выход из которых подскажет инстинкт, а не «просвещённый» разум. Исследователь не вправе об этом забывать. Творческие люди различных политических ориентаций улавливали в революции циклично-синергетическое, а не прогрессивно-поступательное движение. В этом настрое смыкались стихийные «революционеры» и «контрреволюционеры». Точнее ощущали исторический смысл происходящего именно они, а не высоколобые доктринёры. Иначе и быть не могло. Во взбаламученной традиционалистской среде, реактивированные архетипические импульсы судорожно впитывались творческими суб/элитами. А потому изучение революции как *нелинейного* процесса требует качественного обновления источниковой базы. Иных возможностей постижения смысла видимой «бессмыслицы» быть не может.

Между тем наша историческая наука по-прежнему задыхается в дисциплинарных перегородках. Выхолащивание эмоционального содержания прошлого дипломированными занудами открывает оперативный простор всевозможным конспирологам, тупо занимающимся расчленением живой плоти прошлого. «Переломные» события истории следовало бы описывать «кровью сердца» (разумеется, сохраняя при этом холодную голову). Немногие авторы понимают это так же отчётливо, как понимал Сергей Секиринский.

М.Г. Вандалковская

Г.П. Федотов и его прогнозы построения постбольшевистской России

Россия, её история и культура занимали одно из главных мест в творчестве замечательного русского историка, мыслителя, религиозного философа и публициста Г.П. Федотова. В 1912 г. он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и был оставлен при кафедре истории средних веков для подготовки к профессорскому званию. Впоследствии критическое отношение к советской действительности, трудности быта, гонения на свободную творческую мысль заставили его эмигрировать из России.

Жизнь в эмиграции усилила склонность Федотова к российской истории. Будучи учеником известного медиевиста, представителя культурно-исторической школы И.М. Гревса, Федотов продолжал создавать яркие исследования и по истории средневековой культуры. В своём научном творчестве он успешно сочетал западную и российскую тематику. Его труды «Абеляр», «Святой Филипп Митрополит Московский», «Святые Древней Руси», «И есть, и будет», «Социальное значение христианства», «Эсхатология и культура», многочисленные статьи в журналах «Новый град», «Путь», «Вестник РСХД», в «Новом журнале» и др. сохраняют свою научную ценность и по сей день. Этому способствовали высокий профессионализм, талант, эрудиция и огромная трудоспособность автора.

Как и для многих российских эмигрантов-интеллектуалов, обращение к истории и культуре России являлось для Федотова не только академическим занятием, но и попыткой понять судьбу и будущее Родины. «Всё, что мы писали в эмиграции, — обобщал он эту мысль, — мы делали для будущего нашей России».

Незаурядность учёного проявлялась и в его методе анализа исторического материала. Он широко и масштабно мыслил. Причины изучаемых им исторических явлений он искал не в отдельных фактах, а в общем ходе исторического процесса, в котором сочетались противоречивые тенденции и лишь постепенно выявлялись ведущие линии. Обращение Федотова к ключевым проблемам российской истории разных эпох диктовалось стремлением понять их сущность и осознать перспективы развития страны. Современность он стремился постичь, изучая события прошлого, будущее становилось для него понятным при осмыслении современности.

Научный подход к пониманию исторического процесса обеспечил содержательность и обоснованность созданной Федотовым программы Возрождения России. Он неизменно верил в будущее новой постбольшевистской России. Многие положения этой программы сохраняют своё значение и в настоящее время.

Будущее устройство России, по его мнению, было предопределено прошлым — той почвой, которая была создана в Советской России. Советское время Федотов считал «подобным петровскому времени», «бесконечно» углубившим ров между Россией и Западом. Возможность «засыпать этот ров» он связывал с развитием капиталистического производства. Новая Россия должна была стать экономически независимым государством, хозяйственной автаркией, что возможно лишь при развитии капиталистического производства.

В ответ на возражение современников о том, что капитализм на Западе исчерпал себя и дальнейшее развитие западных стран связано с идеей социализма, Федотов признавал: учитывая запросы современности, «поправки на социализм» вполне возможны — многие идеи, в том числе и идея парламентаризма «поизносились» и к ним следует относиться исторически, и к тому же Россия и Запад по-разному и на разном уровне их воспринимают и трансформируют. Но будущая Россия должна идти своим путём, опираясь как на опыт Европы, так и на самобытное развитие. «Русское творчество» он видел в том, «чтобы не брать последнее слово уже дряхлеющей идеи, а её глубокое историческое содержание, найти для неё формы, соответствующие духу времени и духу нации»[1].

Осмысливая опыт европейского и российского развития и осознавая многосложность общественной атмосферы и в Европе, и в России, Федотов считал необходимым активизировать творческую мысль русского зарубежья для понимания возможностей эмиграции и сплочения сил в противоборстве с большевизмом.

В эмигрантской литературе, начиная с 1920-х гг., активно обсуждался вопрос о форме правления в будущей России. Федотов считал, что современное поколение россиян примет любую власть, способную обеспечить минимум гражданской свободы (бытовой, хозяйственной и культурной). При этом он рассматривал разные формы власти и их применимость в постбольшевистской России.

Преимущества монархической власти Федотов видел в традиционной вере народа в ответственность единодержавного правителя, а также в её роли хранителя культурных ценностей. Вместе с тем исчезновение и изжитость монархической идеи в общественном сознании

[1] *Федотов Г.П.* Проблемы будущей России // *Федотов Г.П.* Собрание сочинений в 12 т. Т. V. М., 2008. С. 144.

он признавал фактом русской жизни. Установление монархии казалось ему утопией. Более того, реставрация династии Романовых представлялась ему большой опасностью для страны.

Наиболее же приемлемой формой государственного устройства будущей России, не требующей ломки в народном сознании, Федотов признавал республику. Советская республика, по его мнению, содержит «дух трезвости, расчётливости, хозяйственности», эгалитарности и поэтому может существовать. Однако она лишена романтического пафоса и нуждается в воспитании на «героических республиканских идеалах Греции и Рима», на православном народоправстве Новгорода. Только тогда она может стать «положительным идеалом», обогащённым элементами национальной религиозной культуры[2].

В размышлениях о будущей России Федотов признавал и «неизбежность» диктатуры, установление которой объяснялось пассивностью масс и слабостью правового сознания: «Если власть не может опираться в своей самозащите на правовое чувство нации, — она вынуждена опираться на силу. Иначе она будет сметена»[3].

Важно заметить, что установление диктатуры Федотов считал возможным при разных формах государственной власти, в том числе и при демократии. В истории России Федотов усматривал разные воплощения диктаторской власти. Царская Россия имела «удобную почву» для деспотизма, но ему препятствовала влиятельная прослойка интеллигенции, одушевлённая пафосом свободы, а также наличие самоуправления и общественного мнения. В Советской России произошло «вытравление чувства свободы», что создавало условия для установления диктатуры: «Мы вернулись политически, — писал Федотов, — в обстановку XVII века». Смута и аморфность общества указывали на необходимость установления диктатуры, которую он, однако, рассматривал как временную меру[4].

Целесообразность установления диктатуры Федотов обосновывал и потребностью сохранить единство страны. «Это спутанный узел национальных проблем. Русскому народу, — полагал он, — придётся ещё многие годы вести отчаянную борьбу за сохранение единства России. В этой борьбе победа возможна лишь при сохранении внутреннего единства нации»[5].

Федотов признавал три вида диктатуры: единоличную, партийную и монархическую. Под партийной диктатурой он имел в виду дикта-

---

[2] Там же. С. 162—167.

[3] Там же. С. 159.

[4] Там же. С. 159—160; *Федотов Г.П.* Падение советской власти. Над книгой Дмитриевского // *он же*. Собрание сочинений. Т. V. С. 196—204.

[5] *Федотов Г.П.* Проблемы будущей России. С. 160.

туру коммунистической партии, которая при определённых условиях может продлится и в постбольшевистское время. Но партия, по его словам, уже «износилась как самостоятельная политическая форма», превратилась в «единоличную диктатуру» и функционирует как её политический аппарат. Вместе с тем он отмечал, что единоличная диктатура может иметь самое различное политическое и социальное содержание, и способна либо стать мостом к монархии или демократии, либо попытаться утвердить собственную политическую форму.

Советскую власть и фашистский режим Федотов рассматривал как разновидности идеологической диктатуры, удушающей свободу и творчество. Однако фашизм, как «самый вредный вариант», был неприемлем для России, в то время как советский строй создавал определённую основу для новой, постбольшевистской России.

Федотов много размышлял о положительных и отрицательных чертах демократии и о возможности демократического устройства в будущей России. Демократия понималась им как власть народа, источником которой является народная воля, а мистическим символом — имя народа: «В демократии всё вершится именем народа, как в Англии именем короля»[6]. Вместе с тем народ при демократии несёт не только государственное служение, но и ответственность, а его воля выражается не только на уровне управления страной, но и в деятельности местного муниципального и профессионального хозяйственного самоуправления. Без этой основы демократия не защищена от перерождения в цезаризм.

Основными ценностями демократии Федотов, считавший её единственной формой правового государства, провозглашал неотъемлемость прав и свобод личности, которые, однако, необходимо было «очистить» от сомнительных примесей, размежевавшись с буржуазной свободой собственности.

В межвоенный период западноевропейские парламентские демократии, по мнению Федотова и его современников, находились в кризисном состоянии. Их слабость заключалась прежде всего в том, что они были неспособны решать всё возрастающие социальные проблемы вследствие отсутствия парламентского большинства, обязанного обеспечить стабильность и работоспособность власти. Резкой критике Федотов подвергал погрязшие в интригах и демагогии политические партии, современных политиков, переставших быть подлинными вождями народа, парламенты, которые всё более заполняют «ловкие ораторы» и «сомнительные дельцы». Для управления государством и решения социальных задач требовались иные качества. Между тем, констатировал Федотов, «люди культуры, просто поря-

[6] *Федотов Г.П.* Наша демократия // *он же*. Собрание сочинений. Т. V. С. 255.

дочные люди всё более уходят из политической жизни», а «политика стала делом презренным, парламентарии предметом глумления»[7]. В результате народ не узнает себя в своих представителях и не станет защищать своих избранников, а без этого парламентский режим невозможен, ибо он основан на доверии и воле народа.

Буржуазный рационализм, как полагал Федотов, исказил лик демократии. Эти искажения проявились прежде всего в деятельности политических партий, подчиняющих своим интересам «индивидуальные воли», в пропорциональной системе выборов, разбивающей единство национальностей в угоду отдельным кликам, и, наконец, в несостоятельности исполнительной власти, у которой нет времени и свободы действий для продуманных и ответственных решений.

Диктаторские режимы с их абсолютистской идеологией становились «могильщиками демократии», ведя к цезаризму или к всевластию партии, превращающейся в новую касту. Однако в дальнейшем Федотов не исключал возможности их демократической эволюции. По его мысли, демократическая эволюция была заложена в советской корпоративной системе организации и самоуправления трудящихся масс, которая воспринималась им как переходная ступень к новой социальной демократии. Этому должно было способствовать наличие профессионального и территориального принципов в избирательной системе Советского Союза.

Главными условиями создания новой органической демократии Федотов считал экономические преобразования, обеспечивающие «внутренние скрепы», устойчивость и жизнеспособность общественному строю. Большое значение он придавал также духовной революции: «Дух должен проснуться в человеке». Все социальные отношения и преобразования должны были освящаться христианской религией[8]. В то же время «ересям» парламентской демократии следовало противопоставить иные подходы к вопросам формирования и реализации демократической власти: «Власть не пирог, который делится между сотрапезниками, не акционерная компания для общей прибыли. Власть общее дело».

Соответственно и участие в управлении — не право личности, а её долг. Всеобщность голосования — школа общей жертвенности и ответственности. Равенство избирательных голосов не является преимуществом системы выборов, а законные интересы личности обеспе-

[7] Там же. С. 252; *Федотов Г.П.* О демократии и формальной и реальной // *он же*. Собрание сочинений. Т. V. С. 265—269.

[8] *Федотов Г.П.* Наша демократия. С. 250—264; *он же*. И есть, и будет // *он же*. Собрание сочинений. Т. V. С. 5—7.

чиваются её правами, а не властью. Видя в представительстве народа «отбор лучших, мудрых и справедливых», Федотов утверждал, что народный избранник должен быть способен не только выражать народную волю, но и избавляться от привычных идей и предрассудков, руководствуясь исключительно интересами дела и совестью. Если он принадлежал к какой-либо партии, ему следовало выйти из неё во время выборов. Однако этому идеалу, по мнению Федотова, даже Боярская дума или Витанагемот англосаксонских королей соответствовали в большей степени, чем парламент.

Опираясь на исторический опыт, выборы Федотов рекомендовал проводить на основе оценки не программ, а личных качеств кандидатов, что было осуществимо лишь в узких профессиональных группах. Профессиональная структура оставалась единственным наследником, которому умирающая партийная демократия могла передать своё наследство. Новая же органическая демократия должна была стать корпоративной или синдикальной[9].

Противники корпоративной демократии опасались, что она приведёт к утрате идеи государственного единства. Возражая им, Федотов ссылался на то, что в государстве корпораций идея целого представлена центральной властью и поэтому сильная и независимая власть, особенно в период её становления, необходима. От народа она получает лишь общие указания и должна реализовываться как искусство водительства народа, а не служба приказчика, выполняющего хозяйственные указания. Талантливый вождь, полагал Федотов, подобен художнику.

В намеченной Федотовым программе построения будущей России существенное место занимали аграрные и индустриальные преобразования. «Программной предпосылкой» решения земельного вопроса в постбольшевистской России Федотов считал невозможность реставрации помещичьей собственности. Учитывая, что «крестьяне боятся и тени помещика», Георгий Петрович признавал необходимость прочного закрепления за ними земли (исключение делалось лишь для усадеб и мелких владений). При этом он ожидал, что опыт «насильственного коммунизма» необычайно поднимет идеал личного, собственнического хозяйства.

Важно отметить, что Федотов всегда уделял особое внимание психологии народа, трансформации его настроения и представлений. Поэтому он призывал с большой осторожностью относиться к советскому наследию в аграрной сфере, осуждал ужасы коллективизации и разорение деревни, предвидел возможность нового крестьянского передела земли самими крестьянами без участия государства. «Лучше

[9] *Федотов Г.П.* Наша демократия. С. 259—262.

санкционировать торопливую не всегда справедливую крестьянскую делёжку, — писал он, — чем спускаться во львиный ров растревоженной обезлюденной деревни. Урок 1917 года всем памятен»[10].

Вопрос о национализации земли Федотов связывал с «правовым титулом государственного вмешательства». Признавая участие государства в этом процессе неизбежным, он отводил ему регулирующую роль, ограничивающую максимум земельного надела и предотвращающую дифференциацию в деревне.

При решении аграрных проблем власти следовало учитывать пестроту местных условий и изменчивость крестьянских желаний. Общинное и подворное хозяйство должны были сосуществовать друг с другом, пока время не решит вопрос о преимуществе той или иной формы собственности. «Русская аграрная проблема, — утверждал Федотов, — становится проблемой агрономической». Большевики, по его мнению, «чётко отразили исторический момент обострённого внимания к проблемам механизации сельского хозяйства» и мерам, необходимым для эффективного ведения хозяйства (орошение, удобрение, агрономия и т.д.). «Приходится смиренно сознаться, — писал Георгий Петрович, — что Микула Селянинович никогда не умел хозяйничать, и русское земледелие было непроизводительной растратой человеческой рабочей силы». Лишь революция уничтожила психологические препятствия для рационального хозяйства (традиционализм быта, этика равенства, социальная зависть), освободив скованную энергию народа. Обязанность обучить крестьян обрабатывать землю и пользоваться новой техникой Федотов возлагал на государство.

Между тем он предвидел, что технический переворот в земледелии освободит большое число сельских жителей, и аграрное перенаселение станет грозной проблемой России, решить которую возможно лишь в общей системе народного хозяйства под эгидой государства[11].

Перестройку в отраслях промышленности Федотов признавал ещё более сложной, чем в сельском хозяйстве. Во главу угла он ставил проблему производства, а не распределения. Больше всего его волновал вопрос о собственности в промышленности и о роли государства в ходе индустриальных преобразований. «Если дорожить экономической мощью русского государства, его влиянием на общую хозяйственную жизнь страны, то нельзя, увлекаясь духом антикоммунистической реакции, разделывать всё сделанное, разбазарить, раздарить или продать с торгов всё государственное достояние России, — полагал Федотов. — Здесь национальный интерес ограничивает чисто экономическую логи-

[10] *Федотов Г.П.* Проблемы будущей России. С. 135—136.
[11] Там же. С. 134—137.

ку». По мнению Федотова, «государство, как общий принцип», может отдавать лишь то, с чем оно не в силах справиться, сохраняя, однако, в своих руках «значительные возможности хозяйственного регулирования». Это «завоевание революции» казалось ему полезным и в постбольшевистской России «не по доктринёрски-социалистическим мотивам», а из-за слабости русского промышленного класса.

Одновременно с этим он настаивал на установлении рыночных отношений и денационализации промышленности, что, впрочем, не означало её реституции, поскольку возвращение промышленных предприятий при невозможности возмещения потерь тех, кто владел земельной, денежной или движимой собственностью, воспринималось бы как очередная несправедливость. Кроме того, следовало учитывать и то, что в ходе индустриального строительства в годы советских пятилеток были созданы значительные технические ценности, а население в массе своей одобряло национализацию промышленности. Поэтому Федотов призывал к осторожности и указывал на необходимость пристального внимания к особенностям русского национального характера.

В частности, денационализация не должна была вылиться в продажу с публичного торга. Промышленное или торговое предприятие рассматривалось Федотовым как личное, творческое дело, тесно связанное с действиями и репутацией предпринимателей (и их семей), от которых во многом зависели и кредитные возможности, и пути сбыта продукции. Федотов напоминал, что Россия помнит и гордится многими талантливыми родами, лишёнными собственных капиталов, но готовыми участвовать в восстановление разрушенного. Он также допускал и возможность участия иностранцев в преобразовании российской промышленности, предостерегая, однако, о том, что в условиях денационализации они могут захватить отдельные её отрасли, и только умелая охранительная политика и «воля отстоять национальное достояние» способны предотвратить установление зависимости от иностранного капитала и превращение России в колониальную страну. Для того, чтобы избежать этого, Россия должна была превратиться в индустриальную державу, засыпав экономический ров, образовавшийся между ней и Западом в XIX веке и углубившийся в советское время. Определённые предпосылки для проведения индустриализации Федотов усматривал в политике большевиков, в их «чутком», обострённом внимании к проблемам техники и индустрии. «Разрушители русской промышленности, — заявлял он, — они мечтают продолжить дело Витте, окарикатурив его до сталинской пятилетки» [12]. Осуществить индустриализацию России Федотов рассчитывал

[12] Там же. С. 144—157.

лишь за 50 лет, но и тогда в силу своих естественных богатств она, в отличие от западноевропейских стран, оставалась бы преимущественно аграрной. Вместе с тем она могла и должна была самостоятельно перерабатывать своё сырьё, обеспечить снабжение армии и стать независимым хозяйственным миром.

Однако её экономическое и культурное возрождение требовало установления приоритета производства над распределением и обязательного сохранения государственного регулирования «весьма острых и чувствительных» отношений между трудом и капиталом. Рабочий, предполагал Федотов, «не скоро позабудет хмель своего призрачного царствования», а «избалованное классовое самосознание» будет чрезвычайно чутко «ко всякому моральному и политическому унижению». Поэтому, «отменив пролетарское дворянство», государство не должно допускать и нового крепостничества на фабрике, оставив в силе большевистский кодекс законов о труде: «Освобождённая Россия должна показать своему мятежному сыну, что для неё нет пасынков»[13].

По мысли Федотова, во многом именно от политики первых постбольшевистских лет зависело, удастся ли направить профессиональную и политическую деятельность рабочих в национальное русло или они вновь вернутся в лоно Коммунистического интернационала. К тому же, как прозорливо предсказывал Федотов, если в 1920-е гг. «красная Москва» сильно воздействовала на сознание европейского пролетариата, то в будущем это соотношение изменится и западное влияние на постбольшевистскую Россию окажется преобладающим. Соответственно государству и особенно интеллигенции нужно было провести большую разъяснительную работу, дабы «приобщить красных варваров к русской национальной культуре» и внушить им, что они «вступают в наследство великих отцов». Для этого же важно было обеспечить их материальное положение и предоставить им досуг для духовного развития.

Размышлял Федотов и о возрождении традиций российской торговли, вспоминая о вечевых республиках Древней Руси и отмечая, что большевистская деревня выдвигала из своих рядов коммерческую аристократию. Психологическим тормозом для развития торговли на разных этапах истории России Федотов считал как «дворянское презрение» к ней, так и «неразборчивость» русской интеллигенции, путавшей спекуляцию и эксплуатацию с предпринимательством. Восстановление класса предпринимателей казалось Федотову совершенно необходимым. При этом он надеялся на то, что технический романтизм новой интеллигенции, являющийся залогом хозяйствен-

[13] Там же. С. 137—144.

ного возрождения, в соединении со стихийной энергией деревни создадут нужную атмосферу для возникновения нового типа национального предпринимателя. Воспользовавшись ею, следовало активно заняться экономическим просвещением, переоценкой морального значения хозяйства, этизацией капиталистической деятельности и постижением опыта международной экономики.

Особую значимость Федотов придавал решению в будущей России национальных проблем, которые он признавал гораздо более сложными, чем хозяйственные. По его мнению, многое зависело от того, «будет ли существовать Россия как империя, как государственный союз народов, или она вернётся к исходному племенному единству в старомосковских границах Великороссии». Симптомы сепаратизма представлялись ему опасной болезнью, способной разрушить государство. Его сильно тревожило забвение самого имени России, превращение её в географическое и этнографическое пространство. Между тем, как с гордостью утверждал Федотов, «гегемония России почти для всех (впрочем, не западных) её народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечеловеческой русской культуре». Поэтому структуру СССР Федотов считал «черновым наброском будущей карты России», особо указывая на необходимость сохранения её целостности. Просчёт советской национальной политики он видел в отсутствии идеи «единства трёх основных племён — русских, малорусов и белорусов», которая должна была стать основой формирования нового русского национального сознания.

Напротив, в «омертвении великороссов», в потере ими «национальной активности», в размытости их этнических и духовных приоритетов Федотов усматривал большое препятствие для возрождения государства. Это состояние представлялось ему глубокой болезнью, ответственность за которую несли «три главнейшие силы, составляющие русское общество» — народ, интеллигенция и власть. Не без основания Федотов утверждал, что русская западническая интеллигенция часто смешивала национальную идею с идеологией самодержавия: «Всё национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциации насилия или официальной лжи. Для целых поколений “патриот” было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством»[14]. Национальное сознание, которым, по мысли Федотова, в полной мере обладала Московская Русь, постепенно, начиная с петровских времён, «выветривалось». Крепостное рабство воздвигало стену между

[14] Там же. С. 144—157.

государством и народом, которому стали недоступны исторические судьбы страны и ее международная политика. В дальнейшем «падение царской идеи повлекло за собой падение идеи русской». Народ «распался», «распылился» на «зёрнышки деревенских мирков», к чему добавился и отлив материальных и духовных сил от великорусского центра на окраины империи.

Сепаратизм Украины и Кавказа представлялся Федотову исторически объяснимым явлением. Сложности украинского самосознания он связывал с генетическими свойствами, с влиянием «польской самостийной гордыни», с антирусской ориентацией полонофильских или германофильских кругов украинской интеллигенции, ошибочно понимавших историческую идею украинского народа. Рассматривая малороссов как южно-русское племя, создавшее русское государство, Федотов призывал щадить их национальное самоутверждение и способствовать развитию на Украине общих с Россией традиций. «Наше национальное сознание, — писал он, — должно быть сложным в соответствии со сложной проблематикой новой России (примитив губителен!). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским, для малороссов, не потерявших сознание своей русскости. Эта формула получит следующий вид: малорусское, русское, российское»[15].

Обеспечить мирное сотрудничество народов «под водительством великой нации», по мысли Федотова, должно было сверхнациональное государство, опирающееся на мощный экономический базис и представляющее собой единый хозяйственный организм, действующий как в дореволюционной, так и в советской России, объединённый великой русской культурой, оплодотворяющей другие традиции, и национальной политикой, приемлемой для других народов, а также исторической ролью суперарбитра в международных конфликтах. Это, в свою очередь, требовало как наличия благоприятных политических и моральных условий, так и гибких и твёрдых юридических форм, которые одновременно выражали бы единство и многоплановость национального устройства России и гарантировали свободу каждого народа. При этом следовало учитывать различие их культурного уровня, а это заставляло искать иную модель государственного устройства, нежели симметричная федерация (конфедерация), не способная создать благоприятные отношения между народами.

Их духовное притяжение к России Федотов связывал, как и многие эмигрантские мыслители, с великими достижениями русской культуры. Нивелируя их, уничтожая образованный слой и отчуждая

[15] Там же. С. 153.

народные массы от источников высокой культуры, большевистская власть, осуществившая «искусственную выгонку целого поколения в марксистском парнике», оставила, по словам Федотова, «трагическое наследие». «Буйная демократизация» вызвала резкое снижение культурного уровня и «измельчание духовных вод», а планомерное истребление дворянства и буржуазии сокращало источники пополнения интеллигенции. «Опасным» казался Федотову и советский варвар-специалист, «относящийся с презрением к высшим культурным ценностям».

Созданный нэпом «духовный тип» интеллигента, отличавшийся формализмом и духовной нищетой, не соответствовал задаче возрождения России. «Мы стоим, — писал Федотов, — перед фактом духовного искалечения народа, искусственно питаемого фальсифицированными продуктами или определёнными ядами»[16].

Воссоздание культурного слоя и «выпрямление духовного вывиха целой нации» требовало уничтожения большевизма и утверждения свободы, после чего государство должно было удовлетворить культурный голод народных масс, обеспечить технический прогресс и сохранить высшие формы национальной культуры.

Для этого в новой России следовало материально и морально поддерживать интеллигенцию, воспитывать уважение к ней. Только союз власти и интеллигенции, полагал Федотов, способен создать условия для возрождения страны. Однако он «требует большого самоограничения с обеих сторон: для государства отказа от идеологических притязаний, от всякой идеократии, софократии и прочих лжетеократий; для интеллигенции — установления широкого идейного фронта и величайшей осторожности (воздержания) по отношению к чисто политическим и социальным задачам государства»[17].

Особая миссия возлагалась при этом на «Лигу русской культуры» — свободный союз, созданный для выполнения «национального долга» по строительству новой России и пропаганды русской идеи в массах. Не являясь партией и будучи лояльной государству, Лига должна была действовать на известной дистанции от него.

Весьма важным представлялось Федотову воссоздание разрушенной системы гуманитарного образования — историко-филологических и юридических факультетов в университетах, классических гимназий. Он предлагал также создавать элитные школы, в которых могли бы учиться и лучшие выпускники учебных заведений, «открытых революцией для низов» (рабтехникумов и т.п.). Эти школы воспитывали

[16] Там же. С. 178—187.
[17] Там же. С. 187.

бы учителей и готовили к поступлению в университет, что способствовало бы расширению образованного слоя. А «иначе неизбежно снижение качества в образовании..., растворение в пошехоньем море». Наряду с этим Федотов ратовал и за развитие «реального» образования, обеспечивающего научно-технический прогресс. Осуждая идеологизацию и политизацию научной работы в советском обществе (и, в частности, ограничение преподавательской деятельности старой профессуры), Федотов вместе с тем отмечал, что свободная наука может попираться и диктатурой, и демократией, и даже самими учёными во имя автономии. Поэтому «только культура может спасти культуру»[18].

Возрождение России Федотов не мыслил без изменения положения в стране религии и Церкви. Он решительно осуждал «богоборческую ярость» советской власти, из-за которой происходило отчуждение от религии широких масс населения и нарастал религиозный индифферентизм. Однако у него не было сомнений в том, что гонения не уничтожили православную Церковь, проявившую большую духовную силу и способность к творчеству. Федотов верил в восстановление истинного христианства, в оцерковление культуры и осуществление такого «религиозно-культурного единства, при котором Церковь не противостоит культуре, но творит её в своих недрах». При этом ему казалось, что «если грядущая Россия будет страной народовластия, то она найдёт церковные формы его освящения»[19].

Федотов признавал социализм общественным устройством, в котором могут воплотиться христианские нравственные ценности. Однако это было не по силам ни западной социал-демократии, чуждой романтики, морализма и пафоса защиты угнетённых, ни большевикам, осуществлявшим тиранию и растворявшим личность в партийном и классовом коллективе. В будущей России он надеялся увидеть иной, истинный социализм, способный решить все нравственные и социальные задачи человечества[20].

Созданная Г.П. Федотовым программа возрождения России ярко свидетельствовала о высоком профессиональном мастерстве историка-эмигранта и его преданности интересам Родины[21].

---

[18] Там же. С. 183—184.

[19] Там же. С. 188—195.

[20] *Федотов Г.П.* Социальный вопрос и свобода // *он же.* Судьба и грехи России. Т. 1. СПб., 1991. С. 286, 300—301; *он же.* С.-Петербург, 22 апреля (5 мая) 1918 г. // Там же. С. 39—41.

[21] Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».

О.В. Будницкий

Записки с «тонущего корабля»: о дневниках Л.В. Шапориной и М.М. Пришвина

Дневники сталинского периода советской эпохи уже по меньшей мере полтора десятилетия привлекают к себе внимание исследователей. Собственно, дневники, как и другие эго-документы, служат для историков материалом для изучения «советской субъективности». Историков по большей части интересует становление «нового человека»; преимущественное внимание уделяется тому, как советские люди учились «говорить по-большевистски», как даже «ущербные» в социальном плане занимались «самовоспитанием», пытались «встроиться» в современную эпоху, овладеть её языком[1]. Именно под этим углом зрения Йохен Хеллбек рассматривает дневники 1930-х годов[2]. Замечу, что работы Хеллбека и Игала Халфина, основанные на эго-документах и посвящённые советской субъективности, вызвали довольно оживлённую полемику и резкую критику. Гораздо меньше внимания уделялось протестным настро-

[1] *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley; Los Angelos; London, 1995; *Halfin I., Hellbeck J.* Steven Kotkin's «Magnetic Mountain» and the Soviet Subject // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Vol. 3 (1996). P. 331—342; *Halfin I.* From Darkness to Light. Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000; *idem.* Looking into the Oppositionists' Souls: Inquisition Communist Style // Russian Review. Vol. 60. №. 3 (July, 2001). P. 316—339; *idem.* Terror in My Soul. Communist Autobiographies on Trial. Cambridge: MA, 2003; *Hellbeck J.* Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931—1939) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1996. № 3. P. 344—373; *idem.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia // Kritika I/1 (Winter 2000); *idem.* The Last Soviet Dreamer: Encounters with Leonid Potemkin // Cahiers du monde russe. 50/1 (January—March 2009). P. 139—152 и др. Интервью Халфина и Хеллбека и критический, временами очень резкий, анализ их работ, так же как проблемы советской субъективности, предпринятый Александром Кустаревым, Дэвидом Хоффманом, Джереми Смитом, Светланой Бойм, Ильёй Герасимовым, Аллой Сальниковой, Дитрихом Байрау и Ясухиро Мацуи см. в журнале Ab Imperio (2002. № 3. С. 209—417).

[2] *Hellbeck J.* Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, Mass.; London, 2006. См. содержательную рецензию Юлии Херцберг на эту книгу в журнале «Отечественная история». 2008. № 1. С. 200—202.

ениям[3]. Не вдаваясь в историографические подробности, отметим одну особенность: исследователей прежде всего привлекали дневники молодых людей, причём рассматривались они преимущественно как источник по формированию «души» человека сталинского времени, нежели, скажем, как источник по истории повседневности 1930-х годов.

Но дневники вели и «старые» русские интеллигенты дореволюционного времени, говорить по-большевистски не научившиеся, сформировавшиеся как личности совсем в другую эпоху и пытавшиеся сопротивляться, приспосабливаться и/или выживать в условиях сталинского режима. «Сопротивление» их носило, правда, исключительно «внутренний» характер. Так, беспрецедентны (особенно по меркам сталинского СССР) по объёму, подробности, откровенности дневники Михаила Михайловича Пришвина (1873—1954), знаменитого писателя, проходившего в советскую эпоху скорее по «ведомству» детской литературы, путешественника, охотника, знатока русской природы, и Любови Васильевны Шапориной (1879—1967), создательницы театра марионеток, художницы, переводчицы.

Оба были «бывшими» людьми, однако вовсе не изгоями в советском обществе, более того — принадлежали к его элите, а Пришвин — почти к её верхним слоям. «Почти» — поскольку, когда приходила пора отметить писателей, награждался, скажем, орденом «Знак Почёта», в то время как Самуил Маршак — орденом Ленина. Однако же, как писал Пришвин в укор Беталу Калмыкову, первому секретарю Кабардинско-Балкарского обкома ВКП(б), обещавшему, но не обеспечившему писателю, приехавшему в Кабарду в творческую командировку, жильё и машину: «По моему письму Молотов прислал мне машину через два дня в полное распоряжение, Сталин дал квартиру в Москве и т.д.»[4]. Впрочем, поразмыслив, Пришвин фразу о милостях Молотова и Сталина вычеркнул.

Шапорина (урожденная Яковлева) была женой композитора Юрия Шапорина; брак был крайне неудачным и большую часть супружества — скорее условным, хотя распался далеко не сразу. Впрочем, «статус» Шапориной, её знакомства и «вхожесть» в дома знаменитых деятелей русской/советской культуры определялись прежде всего её личными качествами, нежели положением мужа.

Дневник Пришвина беспрецедентен по объёму и хронологическому охвату: первые записи относятся к 1905 году, последние — к 1954-му. Дневник Пришвина — это работа писателя, он систематичен и «обо

[3] Редкое исключение — книга Сары Дэвис. См.: Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia: Terror, Propaganda and Dissent 1934—1941. Cambridge; N.Y., 1997 (рус. пер.: Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие. 1934—1941. М., 2011).

[4] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. СПб., 2010. С. 158. Запись 4 мая 1936 г.

всём» — об охоте, лесе, собаках, птицах, женщинах, детях, путешествиях, быте, семейных проблемах. Значительную часть текста составляют философские рассуждения, хотя не похоже, что Пришвин был выдающимся мыслителем. Самое, на наш взгляд, интересное и важное для историка в дневнике — записи разговоров людей, с которыми жизнь сводила Пришвина, мнений, впечатлений, настроений окружающих, так же как, разумеется, его собственных размышлений о происходящих событиях. Собеседники Пришвина — по большей части «простые» люди: он долго жил в Загорске, ездил в пригородном поезде, подолгу жил в деревне, постоянно бывал в разъездах, в том числе на собственной машине (в материальном отношении советская власть видных писателей не обижала). Пришвин был «своим», при нём не стеснялись говорить.

Дневник Шапориной не столь систематичен: первые записи датируются 1898 годом, однако вплоть до начала 1930-х годов они фрагментарны. Собственно, только тогда дневник по-настоящему становится дневником, как раз в тот период, когда дневники вести боялись, а многие люди их уничтожали. В результате сложился текст, который его публикатор Валерий Сажин справедливо назвал «не имеющим аналогов среди опубликованных на сегодняшний день дневников советского периода». Это «путеводитель абсолютно по всем аспектам жизни 1920—1960-х гг.: повседневному быту; умонастроениям интеллигенции, рабочего класса, крестьянства; политической истории и истории культуры — театра, музыки, живописи... это дневники человека, которому чужда власть, правящая страной, и который на протяжении дневника (собственно, всей жизни) искренне пишет об этом»[5].

Биограф Пришвина Алексей Варламов называет его «лояльным гражданином своей страны и искренним (безо всякой фиги в кармане) советским писателем»[6]. Вот уж «совсем не похож» был Михаил Михайлович на советского писателя и, если мы отождествляем страну с господствующим в ней режимом, на лояльного гражданина. По крайней мере в мыслях, поведанных дневнику в 1930-е годы. Впрочем, не так: старался быть лояльным, объяснить, понять и принять. Но плохо получалось. Возможно, умозаключения Варламова объясняются тем, что он опирался на фрагменты, а не на полный текст дневника Пришвина 1930-х — начала 1940-х годов.

Послушаем самого Пришвина: «Сколько раз мне мелькало как счастье взять на себя подвиг телеграфиста, утонувшего на “Лузитании”: он, погибая, до последнего вздоха подавал сигналы о спасении

[5] *Сажин В.Н.* Институтка: автопортрет в советском интерьере // *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. М., 2011. С. 6.

[6] *Варламов А.* Пришвин. М., 2008. С. 376.

гибнущих людей. И мне казалось, что в писаниях своих я займу когда-нибудь положение этого телеграфиста. Но где они, те люди, которых я стал бы вызывать на помощь: те, кого я знал, все сошли, и чем они жили, больше не имеет смысла, те же, кто будет впереди»[7].

«Лояльный гражданин», уподобляющий страну, в которой он живёт, тонущей «Лузитании»... В другом месте он и вовсе пишет, что считает себя «в смертельной оппозиции»[8].

Впрочем, оппозиционность Пришвина — сугубо «вегетарианская» (дневниковая), он приспосабливается к окружающим реалиям по мере сил и возможностей, и внешне, и внутренне: пишет книгу о Канале (именно так, с большой буквы); ездит на Соловки, общается с чекистами; сочиняет рассказ для маленьких детей «Утёнок-стахановец»[9]; ищет исторического оправдания большевизму. Будучи внутренним оппозиционером, он принимает правила игры. Он в самом деле волнуется о том, что наградили его всего лишь орденом «Знак Почёта», в то время как его «смертельного врага» Маршака — орденом Ленина. Уточним: «смертельным врагом» Маршак был для Пришвина, но был ли таковым Пришвин для Маршака, неизвестно.

Оба текста — и Шапориной, и Пришвина, — нечастые свидетельства о 1930-х годах, записанные сразу, в дни террора; свидетельства людей, так и не научившихся говорить по-большевистски, хотя Пришвин временами и старался, отлично сознавая, что это — мимикрия, попытка купить себе не только право на безбедное существование, но и на собственный голос.

Особый интерес представляет отражении и осмыслении в их дневниках «большого террора» 1930-х годов, так же как и предшествующего и последующего «террора малого», который «малым» можно счесть разве что в контексте советской истории.

Любовь Шапорина живет в стране, где «обыватели» знают не только то, что часть населения, «самая работящая и хозяйственная», «расстреливается и пускается по миру»[10], но и как именно расстреливается: «У нас расстреливают в спину, в затылок, чуть ли не в упор. Можно ли придумать более подлую казнь, более подлый народ? Меня начинает искренне возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ подлый, а не правительство, и, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы согнуть в такой ба-

---

[7] *Пришвин М.М.* Дневники. 1938—1939. СПб., 2010. С. 415. Запись 6 сентября 1939 г.

[8] Там же. С. 443. Запись от 11 октября 1939 г..

[9] Вышел в 1938 г. под более пристойным названием «Изобретатель. Рассказ о диком утёнке».

[10] *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. С. 86. Запись 24 января 1930 г.

раний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у мужика при делёжке покосов»[11].

Противоречие очевидное и не единственное в дневнике: автор винит власть в расправе с мужиками, запись о расстрелах самой работящей части населения относится к пику «сплошной коллективизации», и тут же славит правительство, сумевшее справиться с их звериными инстинктами. И — добавим уже от себя — поставить звериные инстинкты части населения себе на службу. «Жуткое ощущение щупальцев спрута, от которых не уйти. И мы маленькие, маленькие мыши», — записывает Шапорина 23 октября 1930 года. И, через десять дней: «Уже с месяц, как я никого не вижу и нигде не бываю. И должна сказать, что никуда не тянет. Сейчас люди не верят своей собственной тени, — а вдруг она служит в ГПУ?»[12].

Это не 1937-й, а 1930-й год.

Дневник Шапориной за 1930-е годы — это хроника террора. Насилие принимает разные формы, применяется по разным поводам и к разным людям. В 1933 году «язва египетская — “парилки”». Знакомого врача держат в «парилке» (в камере, в которую, по рассказам, нагнетают горячий воздух, а заключённых кормят селёдкой, не давая им воды), чтобы тот сдал золото. Врач где-то проболтался, что у него есть золотые портсигары и другие ценные вещи. В итоге после восьми дней заключения у него всё забрали и выпустили с распухшими ногами. Сидели и ещё несколько знакомых Шапориной. Тогда же происходят высылки в связи с паспортизацией: паспорта давали далеко не всем, и люди были вынуждены уезжать из Ленинграда в течение десяти дней, уезжать неизвестно куда: «Россия сейчас похожа на муравейник, разрытый проходящим хулиганом. Люди суетятся, с смертельным ужасом на лицах, их вышвыривают, они бегут, куда глаза глядят или бросаются под поезд, в прорубь, вешаются, отравляются».

Шапорина пытается как-то объяснить происходящее, и вдруг начинает «говорить по-большевистски». «Что всё это: просто непроходимая глупость или контрреволюционное вредительство, иноземное озорство?», — спрашивает она. Когда-то, в дни революции, ей представлялось, что она чувствует ветер истории: «Тогда мы неслись в бездну. Теперь мне представляется, что мы уже на дне, и смрад кругом, все свалились друг на друга, кто жив, кто мёртв — не разберёшь, все копошатся, надеясь куда-то вылезти, не догадываясь, что вылезти некуда, неба не видно. И вот ползают, отталкивают, сбрасывают слабых, кусают, царапаются, стонут. Ужас, вырывают корки хлеба. А над всем

[11] Там же. С. 102. Запись 11 октября 1930 г.

[12] Там же. С. 103. Записи 23 октября и 2 ноября 1930 г.

этим благополучная верхушка, подкуп писателей и всех, кто может делать рекламу»[13].

Пришвин принадлежал к той самой «благополучной верхушке», которую упоминает Шапорина, и кормился от власти; это не делало его наблюдения и оценки менее точными и жёсткими; он многое видел, хотя не всё понимал.

Чрезвычайно интересно отношение авторов дневников к «московским процессам» 1936—1938 гг. Если обычно жертвы террора, о которых встречаются записи в дневниках, «свои», если и не знакомые лично, то не принадлежащие, во всяком случае, к власти, то здесь дело совсем другое. Во-первых, подсудимые — большевики, ещё вчера принадлежавшие к властной элите, во-вторых, значительная часть из них — евреи. Пришвин счёл процесс Зиновьева, Каменева и других (он называет процесс «троцкистско-зиновьевским»), «в сущности, еврейским процессом»[14]. Это наводит его на следующие размышления: «Революция подвела к двурушничеству как бы всюдному. Но особенно яркие типы в этом отношении, конечно, евреи... Но единственное средство борьбы с “жидом” — это пассивное сопротивление, выжидание и доказательство беды фактами (напр., порча языка). Народность должна выжить, победить и всё расставить на своё место»[15].

Поясним, что «порчей языка» Пришвин считал, к примеру, стихи С.Я. Маршака. Дневник Пришвина пронизан антисемитскими мотивами, как на историософском, так и — в меньшей степени — на бытовом уровне. Не вдаваясь в подробное обсуждение этой темы и поиски корней интеллигентского антисемитизма в стране интернационалистов, отметим то, что лежит на поверхности: во-первых, признание евреев некой единой, возможно, международной силой, действующей солидарно и в интересах своего народа, во-вторых, неприятие того, что евреи стали играть несвойственные, «не положенные» им роли. Пришвин вполне признаёт «полезность» равенства евреев в правах. Однако не право еврея быть русским писателем, а то и «законодателем мод» в литературе. Читателем — пожалуйста: «В Союзе писателей канцелярист еврей, маленький, самого плюгавого вида оказался моим усердным читателем и умно и трогательно, как читатель, высказал ряд мыслей, близких к моим. А сколько раз так было! и как редко встречал я такое понимание в русских. Так выходит, что как граж-

[13] Там же. С. 129—131. Записи 21 февраля и 5 марта 1933 г.

[14] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 301. Запись 30 августа 1936 г. Двумя днями позднее он записывает: «По газетам в Польше героев еврейского процесса считают мучениками, а Зиновьева сравнивают со св. Петром» (Там же. С. 302. Запись 1 сентября 1936 г.).

[15] Там же. С. 301. Запись 30 августа 1936 г.

данин я их ненавижу, а как писатель жить в России без них не могу. Тут идёт отрава как бы с двух сторон: отрава национализмом и отрава гражданства моего путём признания со стороны евреев моего творчества. Куда ни кинься, в Москве современной везде находишь еврея»[16].

Размышления и эмоции Шапориной аналогичны пришвинским. 7 декабря 1933 года она записывает: «Прочла полкниги Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара" и страдаю физически от отвращения и злобы. Сметь поднять руку на Грибоедова, на Пушкина. А почему нет? (С акцентом.) Мы взрываем Симонов монастырь, "Утоли моя печали", "Николу Большой крест" и т.д. — вы молчите, мы многое делаем ещё другое — вы терпите, ну так теперь выкупаем в помоях ваше последнее, вашу первую любовь, вы всё стерпите, так вам и надо»[17].

Возможно, что наряду с прочим «архаисты» Пришвин и Шапорина реагируют подобным образом и на современную литературу, усматривая в ней и «порчу языка» и — почему-то — выполнение установок власти. Шапорина, в целом вполне понимавшая постановочный характер процессов, так же как и то, что признания подсудимых объясняются какими-то специальными мерами воздействия на них («Фейхтвангер заинтересовался, почему такая откровенность, — наивник! А гипноз на что?»), в то же время верит в заговор, причём еврейский. Она вспоминает по случаю второго «московского процесса» («Пятакова—Радека») «бумажонку», которую ей показывал сосед по имению в 1917-м году, несомненно, «Протоколы сионских мудрецов», и записывает: «Всё в ней было понятно, непонятно только было в этом плане, как можно социализировать землю, раздробить, а потом вновь восстановить частную собственность, для перехода её в новые, уже сионские руки. И вдруг оказывается, что у господина Троцкого уже всё предусмотрено, готово, аппарат налажен. Потрясающе»[18].

Подозрения относительно «сионского заговора» не мешают ей, как это нередко бывает с «идейными» антисемитами, дружить с отдельными евреями. Близким другом Шапориной был заведующий ленинградским отделением «Известий» литератор Александр Осипович Старчаков. После его ареста, приговора к «10 годам без права переписки» и последовавшего затем ареста и отправки в лагерь его жены Шапорина берёт на воспитание двух несовершеннолетних дочерей Старчаковых. Поступок по тем временам просто отчаянный: и с политической и, возможно, ещё в большей степени с бытовой точки зрения.

---

[16] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. М., 2012. С. 576. Запись 10 сентября 1941 г.

[17] *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. С. 150. Запись 7 декабря 1933 г.

[18] Там же. Запись 30 января 1937 г.

Пришвин рассматривает процессы как эпизоды борьбы внутри большевистской элиты и, похоже, верит в заговоры против власти: «Те же, кого сегодня будут судить (Радек и др.), скрытые претенденты на трон: их не жалко, им “поделом”: их казнят, но если бы им удалось, то они бы ещё больше казнили»[19]. Писатель как будто на стороне власти и переживает относительно её устойчивости: «Каждый раз после смертных процессов чувствуешь в себе ослабление уверенности в прочности власти. Напротив, вспоминаешь манифесты: это власть в глазах общества укрепляло. Но, может быть, эти наши обывательские чувства ничего не значат, — и это возможно»[20].

Объясняется пришвинское сопереживание победителям опасениями, что ослабление власти может привести к порабощению страны внешними силами: «Процесс почти без всякого моего внимания к нему действует очень глубоко какою-то своей скрытой силой. Главное, что вернулась после стольких лет идея пораженчества. Процесс ставит перед нами альтернативу: или пораженчество, или Сталин. И когда остаёшься со Сталиным, то видишь, как всё непрочно у нас в партии и как быстро надо ему закреплять за собой народ и, главное, крестьянство. Процесс открывает глаза... Из всего этого, между прочим, видно, что наше положение более трудно, чем казалось. Казалось, напр., что мы могли бы в военном деле нанести удар, а какой же это был бы удар при троцкистах! Казалось, что ГПУ гораздо сильнее. Казалось»[21].

Весьма любопытны записи Пришвина о пораженчестве, под которым, несомненно, понимается готовность «принять» иноземную власть. Она явно воспринималась некоторыми (по-видимому — многими) жителями счастливой страны СССР как избавительница от большевистского режима. Ближайшим кандидатом являлась Германия, очевидно, и потому, что была постоянно «на слуху» после прихода нацистов к власти, и как противник в недавней войне. Да к тому же часто упоминалась на процессе: «И есть ещё у каждого русского мысль, к которой он “приходит”, это: немцы... N сказал: — Немца я не боюсь, никакого агрессора, завоевателя: на моё место никто не станет, потому что никто не может делать того, что делаю я, и никому моё место не нужно»[22].

Пораженческие настроения в Москве и её окрестностях наблюдались задолго до начала войны с Германией, во всяком случае, они зафиксированы в дневнике Пришивна за четыре с половиной года до

[19] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 453. Запись 23 января 1937 г.
[20] Там же. С. 454. Запись 25 января 1937 г.
[21] Там же. С. 454—455. Записи 26, 27 и 28 января 1937 г.
[22] Там же. С. 610. Запись 5 июня 1937 г.

неё. Постоянной темой его дневника является двурушничество, двойничество: «Двойной человек у нас — внутренний про себя думает, а наружный говорит то, что ему велят. Возникает вопрос о том, кто же из них есть настоящий человек. Сейчас приходит в голову, что "внешний"-то и есть настоящий, а другой как "внутренний враг". Как будто вообще с коммунизмом, вернее, в его нынешней практике, внутренняя жизнь человека есть нечто враждебное, подлежащее ликвидации... внешний человек — каким надо быть, и внутренний — каким каждому в отдельности хочется, должны каким-то образом развиваться. Внутренний содержит в себе разгром. Внешний — ложь»[23].

Соединение «внешнего» и «внутреннего» не произошло и после начала войны. Пришвин записывает после «примирительной» («братья и сёстры») речи Сталина 3 июля 1941 года: «Речь Сталина вызвала большой подъём патриотизма, но сказать, действительный ли это патриотизм или тончайшая подделка его, по совести не могу, хочу, но не могу. Причина этому — утрата общественной искренности в советское время, вследствие чего полный разлад личного и общественного сознания. Бывало, скажут: "копни человека...", но теперь его ничем не прокопнёшь: загадочный двойной человек»[24].

Эта речь, о которой едва ли не с умилением вспоминают многие современники событий, в особенности сформировавшиеся в советскую эпоху, не вызвала у Шапориной ничего, кроме раздражения, если не злости: «После объявления диктора, что будет говорить Председатель и т.д. и т.д., раздался дрожащий голос: "Братья и сёстры", затем бульканье наливаемой воды в стакан и лязг зубов о стекло. "Друзья мои", — и опять стук зубов о стекло. Мужичьё сиволапое. Робкий грузин!»[25].

Вернемся, однако, в 1937 год. Записи Пришвина воспроизводят «атмосферу террора»: «Приумолкли дикторы счастья и радости, с утра до ночи дикторы народного гнева вещают по радио: псы, гадюки, подлецы, и даже из Украины было: подлюка Троцкий. У нас на фабрике[26] постановили, чтобы не расстреливать, а четвертовать, и т.п. Достоевский продолжает оставаться единственным описавшим бесов»[27].

Достоевский вновь приходит Пришвину на ум по случаю обвинительной речи Вышинского на процессе «как выражения народного гнева (скептики говорят: "организованный самосуд"). Слова Достоевского: "И всё растечётся в грязь"»[28]. Достоевский приходит на ум

[23] Там же. С. 465. Запись 11 февраля 1937 г.
[24] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 503. Запись 3 июля 1941 г.
[25] *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. С. 256. Запись 16 сентября 1941 г.
[26] Речь идёт о трикотажной фабрике в Загорске.
[27] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 455. Запись 28 января 1937 г.
[28] Там же. Запись 29 января 1937 г.

и Шапориной: «Великий, великий Достоевский! Мы сейчас видим наяву всё великое стадо нечистых, вселившихся в свиней, видим так, как никогда ещё в мировой истории никто не видал»[29].

Наконец процесс, сопровождавшийся шумной пропагандистской кампанией, завершился. К разочарованию наэлектризованных «простецов», вроде рабочей трикотажной фабрики, недавно приехавшей в город из Смоленской глубинки Тони и некой Пани, «приговор самый неожиданный: ничего не было! а Паня с Тоней так втравились, что ждут, когда “псам и гадам” будут отнимать члены, рубить пальцы и т.п. Некто вечно дурачимый — кто это?»[30].

«Ничего не было» означает в данном случае, что к расстрелу приговорили «всего лишь» 13 подсудимых из 17[31], а наиболее заметная фигура на процессе — активно сотрудничавший с его «постановщиками» К.Б. Радек, был приговорен к 10 годам тюремного заключения, как и другой видный советский деятель — Г.Я. Сокольников. Через два года их убьют в тюрьме, а двое других, В.В. Арнольд и М.С. Строилов, «отделавшиеся» 10 и 8 годами тюремного заключения соответственно, будут расстреляны в сентябре 1941 года в числе других заключённых Орловского централа.

Интересно, что Пришвин (по-видимому, его запись отражает и разговоры, ходившие в его окружении) связывал надежды на демократизацию советского общества как с грядущими выборами по новой конституции, так и с уничтожением лидеров «троцкистов»: «Теперь, если не будет войны, благодаря выборам по новой конституции могут быть выбраны и порядочные люди (не одни “бесы”, т.е. исключительно политики), стахановцы помогут. После расправы с троцкистами нужен резкий переход к свободам и церкви. (Так говорят)»[32].

Особенно пикантна, конечно, надежда на стахановцев. В связи с процессом, в ходе которого говорилось о связях подсудимых с нацистской Германией, и публикацией в советской печати статей Лиона Фейхтвангера, этого вольного или невольного «сталинского соловья», писашего, в числе прочего, и об особенностях германского фашизма, Пришвин записывает собственные мысли о фашизме. Точнее, о сходстве фашизма и коммунизма, нацистов и большевиков. К этой теме он и впоследствии будет неоднократно обращаться в дневнике: «И фашизм, и коммунизм... Фейхтвангер пишет о фашизме, а мы всё это видим в коммунизме. Общее в том и другом нечто, с точки

[29] *Шапорина Л.* Дневник. Т. 1. С. 220. Запись от 11 марта 1938 г.
[30] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 455. Запись 30 января 1937 г.
[31] В отличие от первого «московского процесса», когда были расстреляны все 16 подсудимых.
[32] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 455. Запись 28 января 1937 г.

зрения талантливого еврея, оглупляющее: немцы — пишет он — поглупели. Но ведь и мы поглупели невероятно, и всё от тех же причин, которые у фашистов носят название “чистой расы”, у нас “класса рабочих”. Там и тут как главный фактор вводится варвар. Так на одной стороне варвар, на другой космополитический интеллигент, быть может, с евреем во главе. Но это очень приблизительно и, может быть, неверно. Надо выяснить, почему оба фактора, и чистая раса и рабочий класс, производят одинаково оглупляющее действие и направлены против интеллигента. Почему до сих пор возле талантливого и честного специалиста стоит и мешает ему глупый и необразованный коммунист. По-видимому, тут борьба совершается государственно-родового начала с личным: и оттого оглупение на одной стороне и накопление вооружённых сил на другой»[33].

Тем временем террор усиливается, на очереди теперь военные: «Вчера вечером узнали о конце Гамарника. Осень революции: осыпаются листики»[34]. Через десять дней последовала лапидарная запись по случаю известия о скоротечном процессе по «делу Тухачевского»: «Новости: казнь маршалов»[35]. Пришвин фиксирует общее состояние неуверенности: «Если Гамарник и Тухачевский, то в чём гарантия, что не Чкалов и Громов? Я хочу сказать, что даже перелёт Москва—Сан-Франциско не гарантирует: можно перелететь и изменить»[36].

9 июня 1937 г. — дневник позволяет «протоколировать» наблюдения и впечатления — Пришвин встретил на дороге человека с «жёлто-зелёным лицом». Путник шёл тихо, покачиваясь: «— Откуда? — Из Архангельска. Семь лет работал, всех похоронил, а изба цела. И за 7 лет не заработал обратной дороги»[37].

Совершенно понятно, кто это и откуда — раскулаченный в 1930-м году возвращался домой из ссылки. Под свежим впечатлением этой — а, вероятно, и не единственной — встречи, Пришвин написал обращение к Молотову: «Глубокоуважаемый т. Молотов, решаюсь обратить Ваше внимание на одно некрасивое явление в нашей стране. Вот как только наступило летнее тепло, на шоссейной северной дороге появились люди с жёлто-зелёными лицами, идущие как черепахи. Спросите, откуда они идут, — “из Архангельска”. Иногда это уже дети кулаков, а сами кулаки кончились на лесозаготовках. Идут они месяца по два. Неужели же они лет за пять работы своей на северных реках по лесосплаву не заработали себе билет на обратный проезд, хотя бы в то-

[33] Там же. С. 456. Запись 30 января 1937 г.
[34] Там же. С. 607. Запись 3 июня 1937 г.
[35] Там же. С. 627. Запись 12 июня 1937 г.
[36] Там же. С. 698. Запись 30 июля 1937 г.
[37] Там же. С. 622. Запись 9 июня 1937 г.

варном вагоне? Не говоря о человеческом <*зачёркнуто:* возмущении> чувстве сострадания, которое возбуждают эти воистину несчастные тени прошлого, такое пешее хождение, ночёвка в деревнях в течение месяцев, мне думается, политически нам сейчас крайне нежелательны. Ведь даже если они научились на севере вовсе молчать, то не молчит их вид, до последней степени тягостный и никак не отвечающий той картине жизни счастливой страны, которую все мы стремимся создать»[38].

К сожалению, неизвестно, было ли отправлено это письмо адресату. Комментаторы дневника не установили это немаловажное обстоятельство. Рискнём, однако, предположить, что письмо не было отослано. Уж очень оно было не ко времени, и Пришвин, демонстрировавший в этот период осторожность, вряд ли этого не понимал. Молотов со товарищи хорошо знали о «некрасивом явлении». Вот только решать проблему они собирались иначе, чем, по-видимому, рассчитывал Пришвин. До издания 30 июля 1937 года приказа наркома внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» оставалось немногим более полутора месяцев. Путников с «жёлто-зелёными лицами» было решено просто уничтожить или отправить туда же, откуда они возвращались. Только на сей раз не в ссылку, а в лагеря.

Как вести себя в условиях террора? Как не попасть (используем избитое сравнение) в его жернова? Ответ как будто прост: минимизировать общение, разговоры со знакомыми и особенно незнакомыми, встречи с потенциальными жертвами. Вскоре после окончания первого «московского процесса» Пришвин записывает: «Мне надо непременно и не откладывая бросить всякую болтовню в Москве, держаться строго, недоступно-независимо, появляться, говорить до крайности скупо. Решение: как решено было бросить курить и бросилось. Так точно о деле охраны своего “места и минуты” с этого дня думать ежедневно и записывать, считая все ошибки и случаи забывчивости. Ни с кем свободно, кроме немногих своих»[39].

В мае 1937 года Пришвин предпринимает попытку стать «своим»: объясняется со сталинскими порученцами по части литературы, руководителями Союза советских писателей В.П. Ставским и А.А. Фадеевым. Пришвин вполне сознаёт, с какого рода публикой он имеет дело: «Говорят, что Фадеев был исполнителем и собственной рукой расстрелял множество людей. Между тем улыбочка у него очень симпатичная, и вообще как будто человек здоровый, нормальный, — никак не подумаешь»[40].

[38] Там же. С. 622—623. Запись 10 июня 1937 г.
[39] Там же. С. 301. Запись 30 августа 1936 г.
[40] Там же. С. 594. Запись 27 мая 1937 г.

В данном случае неважно, расстреливал ли кого-нибудь партизанский комиссар и участник подавления Кронштадтского восстания Фадеев лично, или же его палаческая деятельность ограничивалась «подготовкой» передачи некоторых собратьев по литературному цеху в руки сотрудников НКВД. Важно, что Пришвин его считает палачом, однако же не гнушается присягать на верность. Пришвин заявил Ставскому, генеральному секретарю Союза советских писателей, в прошлом сотруднику особого отдела ВЧК: «Последние события заставили меня пересмотреть отношения свои к либералам, подобным Воронскому[41], и убедиться, что это всё претенденты на трон, что только теперь стала понятна пропасть между художником, сидящим на своём троне, и употребляющим то же слово “Свобода” претендентом на государственный трон. — Я все это пересмотрел, — сказал я, — и понял, что надо держаться мне государственной линии, в данном случае сталинской. — Вот именно, сталинской, — подчеркнул Ставский, как будто хотел этим сказать: государственной — это ещё ничего не значит, а вот именно сталинской. Сказать сталинской, и не надо говорить государственной, а скажешь государственной надо прибавить сталинской. Надо говорить короче и яснее»[42].

На следующий день Пришвин делает длинную запись, в которой перемежаются самоосуждение и самооправдание: «Дома подумал о том, что сказал, и так всё представилось: на одной стороне высылают и расстреливают, на другой “государственной”, или “сталинской”, всё благополучно. И значит, вместо “сталинской” линии я мог бы просто сказать, что держаться надо той стороны, где всё благополучно. В таком состоянии, вероятно, и Пётр от Христа отрекался. Скорей всего так. Но я думаю, что это не всё: по Розанову, напр., та сторона, где вешали, была и более выгодной стороной»[43].

Пришвин проводит параллель с царским временем, сопоставляя сторонников власти и оппозицию: «В царское время... общество черносотенцев было действительно подлое, воистину “черносотенцы”. С другой стороны были все порядочные люди, начиная от внешнего (кадеты), кончая нравственным миром (эсеры). То же самое, наверно, и теперь. Сравнить только общество <*зачеркнуто:* Иванова-Разумни-

[41] Воронский Александр Константинович (1884—1937), большевик, литературный критик; в 1921—1927 гг. главный редактор ведущего советского «толстого» журнала «Красная новь». Организатор и лидер группы «Перевал» (1923—1932), в которую входил Пришвин. Сторонник Л.Д. Троцкого. В 1927 г. исключён из ВКП(б), в 1927—1930 гг. в ссылке. С 1930 редактор отдела классической литературы Гослитиздата. В 1935 г. арестован, 13 августа 1937 г. расстрелян.

[42] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 594. Запись 27 мая 1937 г.

[43] Там же. С. 596. Запись 28 мая 1937 г.

ка>, Воронского, <*зачеркнуто:* Лундберга[44]> и др. «троцкистов» с обществом Ставских, Панфёровых, Фадеевых...».

Однако не всё так просто: подчёркивая нравственное превосходство противников царской власти, Пришвин их одновременно осуждает и в то же время стремится показать принципиальную разницу между противниками власти до революции и после неё. Показать, почему убийца великого князя Сергея Александровича эсер Иван Каляев, как будто и не стремившийся скрыться с места покушения, мог сравнивать свою предстоящую казнь с жертвоприношением Христа, а противники и жертвы Сталина — нет: «В этом глубокая правда, что многие держались в оппозиции к царю из-за “порядочности”. В глубине этой “порядочности” находится то самое полотенце, которым вытирал свои руки Пилат, отдавая Христа. “Чистые руки” — вот источник упрямой порядочности кадетов...В то время существовало некое единство этическое всех факторов революции, не мудрствуя лукаво, рядовой гражданин чувствовал “правду”. В настоящее время этого этического единства факторов, действующих против Сталина, кажется, нет: их множество, гораздо больше, чем при царе, но этического единства, допускавшего каляевские страдания относить к Христовым, нет. Теперь пока всё это неудавшиеся претенденты на трон, и в свете этом все они жалки. Да, конечно, мы, обыватели, теперь-то уж можем различить Христовы и эти страдания. Нынешние революционеры потому не могут создать этического единства, что сами власти попробовали (“троцкисты”) и какой-нибудь этикой или даже просто “лучшим” никого не обманут. Птица сломает крыло, упадёт навсегда, и чувствуешь к ней сожаление, а троцкист упадёт, и нет: он власти попробовал. Есть, однако, ни в чём не повинные “кулаки”, “инженеры” и всякого рода страдальцы-неполитики. Их страдание праведное, там у них, конечно, есть этический центр, просвечивающий конечной победой. И эта победа будет, когда чувство единства в народе пробудится, станет общим достоянием. Мне кажется, мы для этого все должны покориться, смириться, перенести, пережить “Сталина”: переживём, и он отойдёт без революции с нашей стороны»[45].

Характерно поведение Пришвина по отношению к Разумнику Васильевичу Иванову-Разумнику (1878—1946), литературному критику, некогда его «открывшему», а теперь пребывавшему в постоянной немилости у советской власти. В тот же день, когда Пришвин записывает о своём решении вести себя крайне осторожно, он, однако же, пишет о намерении вести борьбу за Иванова-Разумника, как за «чест-

[44] Лундберг Евгений Германович (1883—1965), прозаик, литературный критик; член группы «Скифы».

[45] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 597—598. Запись 28 мая 1937 г.

ного человека»[46]. Иванов-Разумник был арестован в 1933 году по обвинению в создании «идейного центра народничества», с 1933 года отбывал ссылку в Саратове. Пришвин ежемесячно посылал Разумнику 200 рублей, что позволяло тому не заботиться о заработке и заниматься литературными трудами. Видимо, намерение Пришвина вести борьбу за Иванова-Разумника объяснялось тем, что срок ссылки его друга заканчивался.

С сентября 1936 года Иванов-Разумник, отбывший ссылку, поселился в Кашире под Москвой. Он бывал у Пришвина, более того: Пришвин взял на хранение (закопал в саду) рукопись записок Иванова-Разумника о его аресте, допросах, тюремном заключении и ссылке.

На следующий день после разговора со Ставским в мае 1937 года Пришвин «пришёл к полной убеждённости в “ничего общего” с Разумником» и просил своего сына Лёву «прямо сказать ему, что ночёвка его в Москве на нашей квартире не должна быть. Расстаюсь без сожаления, без упрёков совести: они всё такие же разрушители, какими были, ничему не научились, и им не за что стоять»[47]. Окончательный разрыв, тем не менее, произошёл позднее.

Год спустя после записи о намерении вести борьбу за Разумника Пришвин «короткими строчками» отклоняет приезд к нему недавнего ссыльного[48]. Разница между 1936 и 1937 годами была разительной. Мотивы Пришвина понятны и, как показало совсем недалекое будущее, обоснованы: уже в сентябре Иванов-Разумник был арестован вновь. Забегая вперёд, скажем, что Разумник уцелел и, что было нечастым случаем, обвинений не признал и был освобождён в июне 1939 года «за прекращением дела». Нас интересует в данном случае прежде всего поведение Пришвина и в особенности его рефлексия по поводу разрыва с Разумником. Пришвину как будто надо было убедить самого себя, что прекращение отношений вызвано не только вполне понятными опасениями. Он сравнивает своё поведение с поведением А.М. Горького в отношении его самого: «Отказ Горького от свидания со мной и отказ мой от свидания с Разумником Вас. = то же самое. Следовательно, у Горького имелись относительно меня очень определённые сведения. Кроме того, и главное, он был сам убеждён в принципах советской власти, и моё критическое отношение к ней ему было неприятно»[49].

Пришвину нелегко даётся прекращение отношений. Он «расстраивается», поскольку Разумник «ищет свидания», и «объясняется» сам с со-

[46] Там же. С. 301. Запись 30 августа 1936 г.
[47] Там же. С. 595. Запись 28 мая 1937 г.
[48] Там же. С. 707. Запись 9 августа 1937 г.
[49] Там же. С. 715. Запись 17 августа 1937 г.

бой: «Ничего не было, но просто время пришло, я рассмотрел, разлюбил, охладел к такого рода людям». Единственный вопрос, который его волнует: уклониться от объяснения или всё же объясниться с Разумником[50]?

Пришвин набрасывает письмо другу (переходящему в категорию бывших): «Дорогой Разумник Васильевич! <*Зачёркнуто:* по некоторым обстоятельствам <*зачёркнуто* (мудрено о них говорить)> Я на некоторое время не могу встречаться с Вами и с некоторыми другими лицами, находящимися в Вашем положении. <*Зачёркнуто:* Не сердитесь и не думайте в худую сторону, но подошла полоса <*зачёркнуто:* подобная как была у нас с Вами в начале революции>: на некоторое время мы не должны встречаться. Я Вам сообщу, когда «полоса» пройдёт.> Не сердитесь, всех находящихся в Вашем положении я тоже предупредил. Вашу рукопись я укрывал не потому, что боялся уж очень её, а не нравится она мне, случится что-нибудь — и мне стоять в ней не за что. А когда не за что стоять — я величайший трус и в себе этого труса не стыжусь»[51].

Письмо осталось неотправленным. В конце концов Пришвин всё-таки написал — что мы узнаём из воспоминаний Иванова-Разумника — и попросил своего опасного друга забрать спрятанную у Пришвина рукопись. Кроме того, Пришвин дал понять объекту своей благотворительности, что им не следует «некоторое время» общаться — ни устно, ни письменно[52].

Иванов-Разумник для Пришвина — пушкинский Евгений из «Медного всадника». В 1937 г. Пришвин определённо на стороне «всадника», на стороне государства. Точнее, он как будто хочет убедить себя в этом и объяснить смысл происходящих событий себе и другим. Он разъясняет смысл «политической современности» некоему Петру Карловичу: «Это выметают последние остатки тех людей, которые разрушали империю и теперь ждут за это награды. История безжалостная»[53].

Пришвин и понимает свою чужеродность советской действительности, свою несовместимость с ней, и стремится к ней приспособиться: «В нашем Союзе написать хороший роман так же трудно, как обворовать госбанк. И если напишешь — тебя забьют, и если украдёшь — некуда деть... Живу в советском государстве как на капусте подсолнух: земля подходящая, можно расти, но»[54]. Пришвин записывает о ком-то (не о себе ли?): «Ему страшно было искренно среди людей высказать своё мнение: “а вдруг, — думал он, — моё мнение как

[50] Там же. С. 720. Запись 19 августа 1937 г.
[51] Там же. С. 721—722. Запись 21 августа 1937 г.
[52] *Иванов-Разумник Р.В.* Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М., 2000. С. 94—95.
[53] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 710. Запись 11 августа 1937 г.
[54] Там же. С. 709. Запись 10 августа 1937 г.

раз и совпадёт с тем, что думали расстрелянные враги народа". И он маялся не потому, что таил в себе какую-то вредную мысль, а что боялся неведомого»[55].

Пришвин боялся вполне конкретного обстоятельства: после одной из своих поездок на север, на одну из строек социализма, он написал очерк о руководителе комбината «Апатит» в Хибиногорске В.И. Кондрикове. В 1937 г. Кондриков был арестован по обвинению в троцкизме (впоследствии расстрелян). Это ввергло Пришвина в настоящую панику, и он написал письмо Сталину, в котором подчёркивал, что беседовал с Кондриковым лишь несколько часов в присутствии сопровождавшего писателя представителя ОГПУ: «В настоящее время Кондриков оказался врагом народа, и вследствие этого постановления я признан халтурщиком и подхалимским писателем, подлежащим проверке в своих связях с врагом народа». Пришвин писал вождю о своей ценности, ссылаясь при этом на отзывы Горького и «всемирно известного учёного Гексли». Письмо Пришвин намеревался сопроводить английским изданием своей книги «Север», вышедшей с аннотацией Гексли. Видимо, впавший со страху в наивность писатель думал тем самым подчеркнуть свою международную известность. Пришвин обращался к Сталину с просьбой восстановить его «опороченное имя», чтобы он мог «опять ездить по северу, не рискуя получить от первого встречного кличку подхалима и врага народа»[56].

Неясно, было ли отправлено письмо, черновик которого набросан в дневнике, или дело обошлось объяснениями со сталинскими назначенцами по части литературы. Впрочем, соответствие «линии» могли теперь удостоверить лишь в одной организации, и это был не Союз писателей: «Встретился один толстый из НКВД с орденами, и глаза у него такие, будто он когда-то кого-то допрашивал с недоверием, презрением и после того не вернулся к себе: с такими глазами и остался. Я спросил его, то или нет я взял направление. — Правильно, — ответил он»[57].

При каких обстоятельствах Пришвину встретился «толстый из НКВД», в дневнике не говорится. Ясно, что встреча произошла не на улице и вряд ли случайно. В одной из записей августа 1937 г., особенно насыщенного размышлениями о смысле происходящего, Пришвин рассуждает о том, что в лице Ленина «последний русский интелли-

[55] Там же. С. 720. Запись 19 августа 1937 г.

[56] Там же. С. 615-616. Запись 8 июня 1937 г. Пришвин относится к той категории советских граждан, аресты которых не вызвали бы удивления у окружающих: «В Загорске все говорят *опять* (курсив мой. — *О.Б.*), что меня "взяли". Кого возьмут — не горюйте: чем больше печали, тем легче смерть», — записывает Пришвин 1 мая 1938 г. (*Пришвин М.М.* Дневники. 1938—1939. С. 84.)

[57] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 728. Запись 27 августа 1937 г.

гент» отринул нигилизм и решил взять власть: «И Сталин вслед за тем сказал о необходимости в жизни счастья (раньше интеллигент не имел права быть счастливым)»[58].

И Пришвин старается быть счастливым: «Проснулся в Москве в той именно обстановке, в какой должен жить порядочный человек: это именно то "все так живут", о чём с такой болью тайно мечтал я и явно отстранял, маскируясь охотником и "паном"»[59]. Интеллигент наконец-то почти слился с народом: «В парке Культуры и Отдыха видел много людей простых, неплохо одетых и относительно довольных: это всё новая страна... без "уклончика"»[60].

О «счастливых обывателях» писала и Шапорина: «Просыпаюсь утром и машинально думаю: "Слава Богу, ночью не арестовали, днём не арестовывают, а что следующей ночью будет — неизвестно". Всякий, как Lafontaine'овский ягнёнок, имеет все данные быть схваченным и высланным в неизвестном направлении»[61].

«Всякий», как мы знаем теперь, не было преувеличением. Для Шапориной это были люди её круга, друзья, знакомые. 6 марта 1938 года она записывает: «Вчера утром арестовали Вету Дмитриеву. Пришли в 7 утра, их заперли в комнату, производили обыск. Позвонили в НКВД: "Брать здесь нечего". Вета, прощаясь с Танечкой (4 года), сказала: "Когда вернусь, ты уже будешь большая"»[62].

34-летняя Елизавета Долуханова (в замужестве — Дмитриева), знаменитая красавица, хозяйка «литературного салона» в 1920-е годы, приятельница Тынянова, Шкловского и прочих формалистов, подруга Лидии Гинзбург, не вернулась. В июне того же года она была расстреляна на Левашовской пустоши под Ленинградом (по другим сведениям — погибла под пытками во внутренней тюрьме). Через две недели Шапорина звонит своей приятельнице поэтессе Елене Тагер и слышит в ответ, что у неё высокая температура. Шапорину это не насторожило: она знала, что у Тагер ангина. К концу дня Шапорина отправилась к Тагер и узнала от её дочери, что болезнь гораздо серьёзнее — «маму взяли в НКВД». Вернулась она в Ленинград через 18 лет, после 10 лет лагерей, повторного ареста и новой ссылки.

Шанс быть арестованным, высланным или расстрелянным имел на самом деле «всякий». Им мог стать 77-летний Нечай — «царскосельский старый лакей, поляк, у которого в Польше души живой не осталось» или театральный бутафор, «глупенький Лёва»: «С таким

[58] Там же. С. 724. Запись 23 августа 1937 г.
[59] Там же. С. 727. Запись 26 августа 1937 г.
[60] Там же. С. 728. Запись 26 августа 1937 г.
[61] *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. С. 218. Запись 22 ноября 1937 г.
[62] Там же. С. 220. Запись 6 марта 1937 г.

же успехом можно арестовать стул или диван». Лёву выслали без следствия, когда жена принесла ему передачу, ей сказали: Чита. «Уж никаких статей теперь не говорят, чего стесняться в своём испоганенном отечестве»: «Морлоки хватают своих жертв, жертвы исчезают, очень многие бесследно»[63].

Пришвин ощущает то же самое, однако пытается найти происходящему какое-то высшее (не уточняя, какое) объяснение: «Чкалов погиб, и ему отдаются все почести, как герою. Но люди прекрасные частенько погибают сейчас у нас на глазах без всяких почестей, просто, как будто на твоих глазах люди проходят куда-то совсем “без права переписки” с оставшимися. Есть что-то великое, библейски беспощадное в этой непрерывной смене людей: уходят без благодарности, проходят, не оглядываясь на предшественников. Мало-помалу должна же прошибить всех мысль о том, что не в нас тут дело...»[64].

Шапорина думает не о великом и «библейски беспощадном», а о страданиях людей, исчезающих «без права переписки»: «У меня тошнота подступает к горлу, когда слышу спокойные рассказы: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян — это слово висит в воздухе, резонирует в воздухе. Люди произносят эти слова совершенно спокойно, как сказали бы: “Пошёл в театр”. Я думаю, что реальное значение слова не доходит до нашего сознания, мы слышим только звук. Мы внутренно не видим этих умирающих под пулями людей»[65]. Пять месяцев спустя под впечатлением от очередного показательного процесса и происходивших каждую ночь арестов, в том числе её коллег и знакомых, она отмечает: «Но жить среди этого непереносимо. Словно ходишь около бойни и воздух насыщен запахом крови и падали»[66].

Пришвин, повторим ещё раз, пытавшийся приспособиться и найти что-то вроде исторического оправдания террора, тем не менее, на пике славы «железного наркома» Ежова, две недели спустя после пышных празднований 20-летия ВЧК—ГПУ—НКВД записывает: «Губы Ежова сложились с губами злого неудачника учителя моего в реальном училище Силецкого и ещё одного рабочкома из Алексина, ненавидевшего не меня, а в лице моём весь какой-то “класс”. И их таких всех, и Печорина тоже, свойство, что их злоба не персональная, а вытекает как бы из мировой скорби: мир или класс — это всё равно... Этот тип, по словам Пети (сына Пришвина. — *О.Б.*), очень сейчас распространён среди молодёжи. И особенность их сравнитель-

[63] Там же. С. 220—221. Записи 6 и 11 марта 1938 г.
[64] *Пришвин М.М.* Дневники. 1938—1939. С. 237. Запись 17 декабря 1938 г.
[65] *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. С. 214. Запись 10 октября 1937 г.
[66] Там же. С. 221. Запись 11 марта 1938 г.

но с прежними индивидуалистами (демонами), что они могли свою злость удовлетворять. Ежов — это всё тот же "демон", закончившийся в палаче. (Кто знает, сколько скуки в искусстве палача.) Нет, тут наконец-то человек мировой скорби получил себе нескучное занятие... Этим кончаются благие намерения спасти род человеческий (наверно, нечто подобное было и во времена Робеспьера)»[67].

Шапорина существует в «зоне риска». Дворянка, из «бывших», долго жила заграницей, брат-эмигрант, дружила или приятельствовала с множеством арестованных. Она имеет гораздо больше шансов, чем «всякий» быть «схваченным и высланным». Но 22 ноября 1937 года, в разгар террора, Шапорина пишет: «Хорошо мне, я отношусь к этому совершенно спокойно и равнодушно. Но ведь большинство же в невыразимом страхе»[68]. Шапорина — нет. Она не пытается затаиться, не прекращает общения с родственниками арестованных. Более того, как говорилось выше, после ареста Евгении Павловны, жены А.О. Старчакова, последовавшего через год после ареста её мужа, забирает их детей — 7-летнюю Галину и 9-летнюю Марианну (Мару) из распределителя НКВД[69] и берёт на содержание и воспитание до возвращения матери. На самом деле — на более длительный срок, ибо после возвращения из лагеря Е.П. Старчакова не имела возможности забрать дочерей. При этом Шапорина ведёт «расстрельный» дневник и нисколько не стесняется в оценках советской власти, вождей партии большевиков и товарища Сталина лично.

В дневнике Пришвина также более чем достаточно «материала для следователя», попытки найти какой-то исторический смысл в вакханалии террора перемежаются записями, вроде: «Жестокость ("без права переписки") власти безмерная, невозможная — это тёмное пятно в нашем Союзе: для народа — всё, для личности — смерть»[70]. Или: «<*Зачеркнуто:* Рабство> Хомут крепостного права и <*зачеркнуто:* рабство> хомут колхозного права, — какая разница?»[71].

Пришвин понимает краеугольную роль Сталина в складывающейся системе и как будто отдаёт ему должное как «строителю» российской государственности: «Надо помнить, что Ставский, Панферов и кто бы там ни был не являются постоянными величинами, прочными представителями государственности, партии и т.д. Нет никого: ни Молотова, ни Ворошилова, и только один треугольник: Народ, Сталин и "я". <*Зачеркнуто:* (Царь, Бог и народ — как было раньше)>»[72].

---

[67] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 828. Запись 23 декабря 1937 г.
[68] *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. С. 218. Запись 22 ноября 1937 г.
[69] Там же. С. 216—218. Запись 2 ноября 1937 г.
[70] *Пришвин М.М.* Дневники. 1938—1939. С. 188. Запись 13 октября 1938 г.
[71] Там же. С. 408. Запись 31 августа 1939 г.
[72] *Пришвин М.М.* Дневники. 1936—1937. С. 725. Запись 23 августа 1937 г.

Шапорина никаких иллюзий в отношении Сталина не строит, ничего кроме ненависти и презрения он у неё не вызывает. Осенью 1941 года, когда стало понятно, что предвоенные заявления о мощи Красной армии и разгроме потенциального противника «малой кровью, могучим ударом», не более чем пропагандистская болтовня, в ставшем уже блокадным Ленинграде, она пишет: «Что думают и как себя чувствуют наши неучи, обогнавшие Америку. На всех фотографиях Сталина невероятное самодовольство. Каково-то сейчас бедному дураку, поверившему, что он и взаправду великий, всемогущий, всемудрейший, божественный Август»[73].

Любовь Шапорина подмечает одну чрезвычайно важную вещь: молодые люди, выросшие в советское время, не знавшие никакой другой реальности, кроме советской, воспринимают эту реальность как норму: «Вася (сын Шапориной. — *О.Б.*) часто возмущается, что я не хожу в кино, в театр. По ним, по современной молодёжи, впечатления скользят, не доходя до сознания. С детства они привыкли к ужасу современной обстановки. Слова “арестован”, “расстрелян” не производят ни малейшего впечатления. А каково нам, выросшим в Человеческой, а не звериной обстановке; впрочем, зачем я клевещу на бедных зверей»[74].

Возможно, одна из самых впечатляющих записей в дневнике Шапориной относится к реплике Мары Старчаковой, которую советская власть фактически сделала сиротой: «Мара как-то сказала, читая “Буратино”: “Как это Папа Карло не знает, где счастливая страна? Я думала, что все знают, что это СССР!”»[75]. Что это было: неспособность 10-летнего ребёнка понять, кто виноват в том, что она лишилась родителей? Или «всё ещё длящийся испуг»? Как бы то ни было, росло поколение, уверенное в том, что счастливая страна — это СССР, и благодарное товарищу Сталину за счастливое детство.

Записки людей, «выросших в человеческой обстановке», о нечеловеческом времени, на удивление, сохранились и дошли до тех, кто «будет впереди». То есть, до нас. Дело профессиональных историков — использовать этот первоклассный источник по истории сталинизма. Дело общества — понять смысл посланий этих случайно уцелевших пассажиров затонувшего корабля.

---

[73] *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. С. 274. Запись 14 октября 1941 г.
[74] Там же. С. 223. Запись 18 апреля 1938 г.
[75] Там же. С. 220. Запись 6 марта 1938 г.

Д.И. Олейников

С войной наперегонки: игры «аппарата» и несостоявшийся матч Алёхин – Ботвинник

Эту «единицу хранения» — дело в красной папке с золотым тиснением «Совершенно секретно» — до сих не выдают в общий читальный зал Государственного Архива Российской Федерации. Может быть, именно поэтому историки культуры, исследователи эмиграции, биографы двух великих шахматистов А.А. Алёхина и М.М. Ботвинника пока обходились без существенного источника: «Совершенно секретно. Управление делами Совнаркома Союза ССР. Дело № 035—30. “О проведении матча на мировое шахматное первенство между тов. Ботвинником и Алёхиным (Франция)”. Начато 27 марта 1939 г. Окончено 22 марта 1940 г.»[1]. Дело это представляет интерес не только для биографа или историка шахмат (все предыдущие работы основывались на очень ценных, но весьма неполных по информации воспоминаниях М.М. Ботвинника «У цели»)[2]. История несостоявшегося матча эмигранта-невозвращенца Александра Алёхина и советского чемпиона Михаила Ботвинника повествует о нечастых в то время позитивных контактах «Руси советской» и «Руси зарубежной», а также показывает, каким же медленным и неповоротливым был правительственный аппарат СССР в тяжёлую эпоху 1939—1940 годов.

Всё началось с того, что энергичный 27-летний советский чемпион Михаил Ботвинник нашёл способ обойти очередь претендентов на матч с чемпионом мира по шахматам Александром Алёхиным. Воспользовавшись возможностью личной встречи во время сильнейшего АВРО-турнира в Голландии в 1938 г. (Ботвинник — третий, с победами над чемпионом мира и экс-чемпионом — Капабланкой; Алёхин — только шестой) он 29 ноября быстро получил принципиальное согласие Алёхина на организацию матча. На встрече было решено даже сам

[1] ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 24а. Д. 322. Листы дела подшиты в обратном хронологическом порядке, и соответственно пронумерованы по убыванию, начиная с Л. 56.

[2] Последнее, наиболее полное издание этих мемуаров в сборнике: *Ботвинник М.М.* Шах двадцатому веку. М., 2010. Интересные дополнения к ним — в последних подробных интервью с Ботвинником в фильме «Осень шахматиста. Михаил Ботвинник». Режиссер В. Виноградов. М., 1990.

факт переговоров держать в тайне — до тех пор, пока Ботвинник всё не согласует, а Москва официально не объявит о матче[3].

Любопытно, что для маскировки своего намерения отправиться играть матч в СССР Алёхин провёл открытые для прессы переговоры о матче с П. Кересом «где угодно», всем своим видом давая понять, что именно эстонского гроссмейстера считает главным претендентом на шахматный трон. Была в этих переговорах одна существенная деталь: выразив желание сыграть с Кересом, Алёхин настоял на том, что время и условия они обговорят позднее[4].

К тому времени отношение к Алёхину, «эмигранту-невозвращенцу»[5], в СССР изменилось. В конце 1920-х годов характерной была формулировка, озвученная А. Ильиным-Женевским в идеологической «передовице» к сборнику партий матча на первенство мира Капабланка—Алёхин 1927 г. С одной стороны, Алёхин, «уехав в 1921 г. с разрешения Советской власти за границу, порвал всякие связи с советской шахматной жизнью и, наконец, докатился до белогвардейских подонков Парижа», поставив себя «в ряды наших непримиримых политических врагов». С другой стороны: «Кем бы ни был Алёхин в политическом отношении, он продолжает оставаться крупнейшим шахматистом нашего времени. Наше изучение шахматного искусства будет неполным, если мы выкинем из него Алёхина. По партиям Алёхина будет учиться и повышать квалификацию наша шахматная молодёжь»[6].

В свою очередь Алёхин в одном из интервью в мае 1929 г. говорил: «Сейчас я вообще не связан с политикой. По взглядам я убеждённый демократ, но не в такой чрезмерно левой форме, как нынешнее российское руководство. При этом я всей душой приветствую все попытки советского правительства развивать и поддерживать шахматную активность в СССР»[7]. «Оттепель» в отношениях обозначилась к 1935 г., когда Алёхин прислал поздравление советским шахматистам с годовщиной Октябрьской революции[8]. Подобные поздравления присылали и публиковали в

---

[3] *Ботвинник М.М.* Указ. соч. С. 121.

[4] *Skinner L.M., Verhoeven R.G.P.* Alexander Alekhine's Chess Games, 1902—1946: 2543 Games of the Former World Champion. McFarland&Company, 1998. P. 631. *Хеуэр В.* Пауль Керес. М., 2004. С. 265, 268.

[5] Каким-то чудом об Алёхине ни словом не упомянуто в добротной работе: *Генис В.Л.* Неверные слуги режима. Первые советские невозвращенцы (1920—1933). Опыт документального исследования в 2-х книгах. Кн. 1. «Бежал и перешел в лагерь буржуазии...» (1920—1929). М., 2009.

[6] *Ильин-Женевский А.* Несколько слов об Алёхине // *Левенфиш Г.Я., Романовский П.А.* Матч Алёхин—Капабланка на первенство мира. Л., 1928. С. 4.

[7] Brooklyn Daily Eagle. 1929. 19 May. P. 7.

[8] «Не только как долголетний шахматный работник, но и как человек, понявший громадное значение того, что достигнуто в СССР во всех областях культурной

советской шахматной периодике многие именитые шахматисты (Э. Ласкер, М. Эйве, С. Флор). Однако только вопрос о публикации телеграммы Алёхина рассматривался на высшем уровне. В записке на имя Секретаря ЦК ВКП(б) тов. Сталина (копия: председателю Совнаркома СССР тов. Молотову) нарком юстиции и патрон советских шахмат Н.В. Крыленко предложил поздравление «ренегата и белогвардейца» напечатать, но начать с отповеди: «Политическое предательство и ренегатство не искупаются так легко..., никакие таланты не спасут Алёхин от того заслуженного презрения...» и т.д. Но лично Сталин наложил резолюцию, под которой подписались Каганович, Микоян, Калинин, Орджоникидзе, Косиор, Ежов и другие.: «Напечатать без комментариев». Так и было сделано[9]. В 1936 г. Ботвинник, участвуя вместе с Алёхиным в Ноттингемском турнире в Англии, «ничем не выделял его среди других участников». «Я туда был призван не преследовать эмигрантов российских, а я был послан для того, чтобы играть в шахматы», — вспоминал он[10].

Алёхин рассказал о своих переживаниях только в 1945 г., в открытом письме в британский журнал «Chess»: «Около двадцати лет я ношу прозвище “белого русского”, что мне особенно больно, так как это делало для меня невозможным связь с моей Родиной, хотя я никогда не переставал любить её и восхищаться ею. ...В течение 1938—1939 г.г., я надеялся в результате переговоров и переписки с чемпионом СССР Ботвинником положить конец этой нелепой легенде путём организации в Советском Союзе матча между нами, который был практически решён»[11].

Конечно, всё это не было известно в 1938—1939 годах, и любые контакты с Алёхиным по личной инициативе (а предложение об организации матча исходило непосредственно от Ботвинника) казались подозрительными[12]. Советский чемпион вспоминал много лет спустя: «Я решил взять “грех” на свою душу. Вообще, я всегда так действовал. Когда я считал, что это выгодно советскому народу, советскому государству, я иногда даже нарушал инструкции. Потому что я считал, что самая главная инструкция — это действовать на благо советского народа»[13].

жизни, шлю искренний привет шахматистам СССР по случаю 18-й годовщины Октябрьской революции».

[9] «Никакие таланты не спасут Алёхина...» // Источник. 1997. №6. С. 141.

[10] Осень шахматиста. Михаил Ботвинник.

[11] Цит. по: *Шабуров Ю.Н.* Алёхин (серия ЖЗЛ). М., 2001. С. 194.

[12] На всякий случай даже на конфиденциальную встречу с Алёхиным Ботвинник пошёл со свидетелем — гроссмейстером С. Флором: «Всё-таки я человек осторожный и хотя у меня были добрые отношения с Александром Александровичем, я все-таки помнил, что он эмигрант и мне нужен был свидетель для того чтобы всегда можно было бы объявить о том, о чём, собственно, мы с ним говорили» (Осень шахматиста. Михаил Ботвинник).

[13] Осень шахматиста. Михаил Ботвинник.

Вернувшись, Ботвинник воспользовался своим знакомством с Н.А. Булганиным, в то время — главой правления Госбанка и заместителем Предсовнаркома, и отправился к нему на приём: ведь матч на первенство мира должен был финансироваться не частными лицами, не фондом, а государством. Ботвинник совершенно чётко изложил свою аргументацию: «Можно будет показать, насколько возросло значение Советского Союза вообще и в мировой культуре в частности, когда даже такой маленький вопрос, как вопрос о шахматном первенстве мира, не может быть правильно разрешён без помощи социалистической страны»[14]. Булганин советовал написать официальное письмо прямо на имя председателя Совнаркома.

Примерно через месяц фельдъегерь вручил Ботвиннику правительственную телеграмму от 21 января 1939 года: «Если решите вызвать шахматиста Алёхина на матч, желаем Вам полного успеха. Остальное нетрудно обеспечить»[15]. Подписана телеграмма была «Молотов», но Ботвинник был уверен, что составил её Сталин: «Вспоминая этот эпизод, я случайно произнёс текст телеграммы с кавказским акцентом и понял, что, скорее всего, она была продиктована Сталиным. Это его стиль: особенно характерно “Желаем” (а не желаю) и “нетрудно обеспечить”»[16].

Ботвинник быстро ответил, причём следом за выражением благодарности в его письме шла просьба начать официальные переговоры о матче как можно скорее. Однако теперь, когда всё зависело не от прямых контактов инициативного Ботвинника с высшим руководством, а от работы «аппарата», о скорости пришлось забыть.

Риск матча с Алёхиным, точнее, риск проигрыша «невозвращенцу», был опасен не только для Ботвинника, но и для его руководства. Только что назначенный руководить Всесоюзным комитетом по делам физической культуры и спорта при СНК СССР В.В. Снегов занял место арестованного «контрреволюционера» А.В. Зеликова[17] и не мог чувствовать себя уверенно на новом посту. В конце зимы, уже имея на руках правительственную телеграмму, Ботвинник после первой же встречи со Снеговым констатировал: «Не могу найти общего языка с лицом, от которого зависит моя шахматная деятельность. Молчание, перемежающее недружелюбными замечаниями... Недру-

[14] ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 24а. Д. 322. Л. 14.
[15] Там же. Л. 31.
[16] *Ботвинник М.М.* Указ. соч. С. 126.
[17] А.В. Зеликов, член ВКП(б), образование неполное среднее, арестован 25 декабря 1938 г., осужден 15 апреля 1939 г. по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, расстрелян на следующий день. Реабилитирован в августе 1956 г.

желюбие Снегова было первым проявлением противодействия матчу с Алёхиным. Тогда я не выяснил, чем это было вызвано»[18].

А между тем, Алёхин ждал (и тщетно) реакции Москвы, оговоренного официального объявления о вызове на матч, едва ли догадываясь, что по истечении условленного между шахматистами срока бюрократическая машина только начала сдвигаться с места.

26 марта 1939 г. Снегов всё-таки открыл бумажный поток и направил секретное письмо Молотову: «Комитет по делам Физкультуры и спорта просит санкционировать организацию означенного матча и дать указания по основным условиям регламента матча». Идеологическая подоплёка была выражена совершенно явно: «Решая принципиальную сторону этого проекта, необходимо учесть, что сам факт вмешательства советской физкультурной организации в область организационных вопросов буржуазного спорта беспрецедентен и будет иметь значение, далеко выходящее за пределы одних только интересов советского физкультурного движения»[19]. При этом Снегов осторожно оставлял пути для отступления: «При решении этого вопроса, однако, необходимо учесть, что А. Алёхин является невозвращенцем, хотя в последние годы и проявляет в своих выступлениях в печати лояльное и благожелательное отношение к Советскому Союзу, но фактически, не сделавшим достаточно определенных и искренних заявлений, осуждающих его прежнее враждебное отношение к СССР. Это обстоятельство приобретает тем больший вес, что Алёхин обязательным условием для проведения матча ставит возможность своего приезда в СССР на 15 дней за 2—3 месяца до начала состязания, для участия в небольшом турнире, с целью ознакомления с условиями шахматных соревнований в СССР и некоторой акклиматизации». «Значительная продолжительность всего матча, — отмечал Снегов, — необходимость в связи с этим длительного пребывания Алёхина в СССР и тот огромный интерес широких масс, который будет проявляться к матчу на всём его протяжении, заставляют особенно серьёзно остановиться на таком политически важном моменте, как приглашение Алёхина в СССР. Тов. Ботвинник, который вполне учитывает данную ситуацию, в случае отрицательного решения вопроса о проведении матча в СССР, выдвигает идею провести матч в одном из маленьких городов Англии, где он уже имел успешную практику игры (Ноттингем), хотя это является для него менее приемлемым. Учитывая однако, моральное и психологическое преимущество, даваемое Алёхину при проведении матча вне СССР, а также ту помощь, которую по ходу матча может получить Алёхин от симпатизи-

[18] Позже Ботвинник считал, что всё дело было только в зависти: См. *Ботвинник М.М.* Указ. соч. С. 127.

[19] ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 24а. Д. 322. Л. 4.

рующих ему первоклассных профессионалов, в то время как Ботвинник будет лишён всех этих преимуществ, Всесоюзный Комитет по делам физкультуры и спорта считал бы целесообразным организовать указанный матч в СССР». Во всяком случае, по мнению Снегова, «политическая одиозность приглашения Алёхина в СССР может быть с избытком компенсирована фактом победы Ботвинника, которая в условиях проведения матча в Советском Союзе является наиболее вероятной»[20].

Излагая предложения Ботвинника (и понимая, что они уже одобрены «наверху»), Снегов тем не менее не мог не изложить собственную позицию. Судя по письму, Ботвинник для Снегова — чуть ли не случайно попавший в восьмёрку сильнейших шахматистов мира представитель СССР, и его матч с чемпионом — дело рискованное. Не лучше ли, предлагал Снегов, вместо прямой встречи с Алёхиным организовать в СССР турнир восьми претендентов, а товарищу Ботвиннику пока присматриваться, «вести переговоры с нынешним “клубом восьми” в плане высказывания отдельных мыслей о целесообразности изменения существующей системы розыгрыша мирового шахматного первенства»[21]. Внешне Снегов охранял государственные интересы и престиж страны Советов, который мог пострадать, если бы советский чемпион проиграл эмигранту-невозвращенцу! Внутренне же Снегов явно перестраховывался: за неудачу отвечать ему, и если нельзя её предотвратить, то потом можно будет хотя бы сослаться на свои «здравые», «альтернативные» предложения.

И тем не менее СНК своих позиций не изменил: «дело Ботвинника» снова попало к заместителю предсовнаркома Н.А. Булганину, который в конце марта 1939 г. дал разрешение проводить матч с Алёхиным в СССР, в Москве. Сразу после этого официальный вызов Алёхину был отправлен. Правда, сделано это было с чудовищным опозданием. В конце ноября 1938 г. Алёхин дал Ботвиннику больше месяца «запаса», предложив направить вызов по адресу в Тринидаде и Тобаго, где намеревался пробыть до февраля 1939 г., чтобы давать сеансы одновременной игры и прицениваться к земельным участкам. Письмо с вызовом было отправлено только после 26 марта, после разрешения Булганина. Алёхина в Тринидаде и Тобаго уже давно не было.

Пауза в ожидании ответа усложнила позицию Ботвинника: пришло время для очередного чемпионата СССР и любое место в нём, кроме первого, давало козыри противникам матча с Алёхиным. Целый месяц, с 15 апреля по 16 мая 1939 г. Ботвиннику пришлось доказывать, что он действительно является сильнейшим шахматистом СССР. Дело дви-

[20] Там же. Л. 32—34.
[21] Там же. Л. 2—3.

нулось дальше после того, как Ботвинник занял первое место, пройдя чемпионат без поражений и выиграв в последнем туре принципиальную партию с А. Котовым (победа в ней определяла чемпиона). Тут же на подмогу Ботвиннику выдвинулся журнал «Шахматы в СССР», начавший готовить общественное мнение к официальному объявлению о матче с Алёхиным: «Блестящая победа гроссмейстера-орденоносца Михаила Ботвинника в XI чемпионате..., его исключительная одарённость — убедительно говорят о том, что в лице чемпиона СССР шахматный мир имеет бесспорного претендента на мировое первенство. Вопросом сегодняшнего дня должны стать подготовка и проведение матча между нашим чемпионом и чемпионом мира. Советский Союз, обладающий самой мощной, самой массовой шахматной организацией в мире, должен завоевать мировое шахматное первенство. И нет сомнений, что звание чемпиона мира по шахматам в самом недалёком будущем перейдёт в руки шахматисту страны советов, ибо по классу своей игры Михаил Ботвинник не уступает ни одному из прославленных гроссмейстеров, в том числе и носящему титул чемпиона мира. Это единое мнение советских шахматистов, высказанное всеми участниками чемпионата, должна реализовать Всесоюзная шахматная секция»[22].

В СНК Молотов перепоручил вести дело Ботвинника А.Я. Вышинскому, своему новому заместителю, утверждённому на сессии Верховного Совета СССР 31 мая 1939 г. «Команда» Вышинского ещё в 1938 г. унаследовала многие заботы расстрелянного тогда наркома юстиции Н.В. Крыленко, теперь на её долю пришлось и прославившее (и отчасти погубившее) Крыленко покровительство шахматам[23].

На справке, излагавшей суть предложений Ботвинника, Вышинский начертал лично: «Согласен, надо разрешить вопрос о порядке установленных сроков и правил». В мае по настоянию Ботвинника было отправлено ещё одно письмо-вызов Алёхину: на этот раз по его парижскому адресу. Оно ждало возвращения Алёхина из турне по Южной Америке[24]. Едва вернувшись в Париж, 20 июля чемпион мира немедленно ответил полным энтузиазма письмом, которое можно было считать официальным согласием на проведение матча в

[22] Цит. по: *Воронков С.* Под колесом судьбы. [Электронный ресурс] http://chesspro.ru/_events/2007/voronkov_rc39.html (дата доступа 08.05.2013).

[23] Первым сигналом шаткости позиции Крыленко стала публичная критика его увлечения шахматами, туризмом и альпинизмом в ущерб советской юстиции: см. речь депутата М.Д. Багирова на сессии Верховного Совета СССР 17 января 1938 г., публиковавшуюся 18 января во всех центральных газетах.

[24] Почти по популярному в то время стихотворению С. Маршака «Почта»: *«Мчалось по морю вдогонку, / Понеслось на Амазонку. / Вслед за мной его везли / Поезда и корабли...»*.

Москве: «Я с тем большей готовностью принимаю Ваш вызов, что помимо встречи в ответственнейшем состязании с лучшим представителем нашего искусства в СССР — он даст мне желанную возможность посетить Вашу родину и раз навсегда выявить моё истинное отношение к ней»[25]. На дачу Ботвинника в Луге, из Москвы под Ленинград, немедленно помчался зав. отделом шахмат В. Снегирёв. На следующий день он уже докладывал руководству Комитета по физкультуре и спорту о готовности Ботвинника. После этого Комитет окончательно определился со сроками и обеспечением матча: его было решено проводить в Колонном зале Дома Союзов (или аналогичном, не менее, чем на 1500 мест), смета расходов составляла 600 тысяч рублей.

В этом месте Ботвинник в своих мемуарах задёргивает занавес со словами: «1 сентября началась Вторая мировая война, и первый этап переговоров о матче был окончен»[26]. Архивные документы показывают, что история имела довольно богатое продолжение.

25 сентября 1939 года Вышинский одобрил как идею проведения матча в Доме Союзов, так и предполагаемое его финансирование. Уже шла мировая война, но будущее оставалось туманным, а согласно условиям Алёхина, официальное приглашение на матч должно было быть направлено ему в Буэнос-Айрес, где в августе—сентябре проходила Всемирная шахматная Олимпиада (СССР тогда в таких «буржуазных» соревнованиях принципиально не участвовал). Необходимо было спешить, и на срочном письме, направленном в Наркомат финансов, А.Г. Звереву, синий карандаш Вышинского указывал на срочность и важность дела: он требовал ответа в пятидневный срок и сообщал помощникам: «*Лично* обеспечить *своевременное* получение ответа. При задержке доложить мне. 3 октября 1939».

Однако даже такое жёсткое требование, даже в критических условиях военного времени, было медленно приторможено опытными управленцами. Ответ Наркомфина последовал не через 5 и не через 10 дней, а почти через две недели, 16 октября (Алёхин между тем уже не ждал ответа в Буэнос-Айресе, а выехал с гастролями в Уругвай, в Монтевидео). Да и ответ был нерешительным: можно дать дотацию в 150 тысяч рублей, остальное пусть обеспечивает Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта. На перемещение бумаг ушла ещё неделя, и 23 октября 1939 г. Всесоюзный комитет по делам физической культуры признался, что без помощи Наркомфина таких денег дать не может. К тому же Снегов получил шанс ещё потянуть: 26 октября пришло сообщение ТАСС о том, что

[25] ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 24а. Д. 322. Л. 38.

[26] *Ботвинник М.М.* Указ. соч. С. 133. «И всё было кончено» — вариант из видеорассказа Ботвинника, см. «Осень шахматиста».

Алёхин ведёт переговоры совсем о другом матче. Со ссылкой на сообщение «Associated Press» из Буэнос-Айреса, ТАСС утверждал, что шахматный матч на первенство мира между Алёхиным и Капабланкой состоится в Буэнос-Айресе в апреле 1940 г. (этого матча-реванша мир ждал почти 15 лет, после проигрыша Капабланки в Буэнос-Айресе 1927 г. Соперники никак не могли договориться об условиях поединка и на долгое время стали врагами, но Мировая война сделала обоих уступчивее)[27].

Докладывая «наверх» 1 ноября Снегов не мог не рапортовать, что пока информация не подтвердилась, «работа будет продолжаться». Однако он тут же добавлял: «Если всё же окажется, что Алёхин действительно пренебрёг взятыми на себя обязательствами и односторонне нарушил данное им обещание, то этот факт является неоспоримым доказательством истинного отношения Алёхина к Советскому Союзу и позволяет сделать из него необходимые выводы»[28]. Дело снова притормозили. Вышинский перепоручил заняться возникшей коллизией своему помощнику: «Т. Тишенкову. Тов. Вышинский просит дать заключение по этому вопросу и доложить ему весь материал с проектом решения. 3 ноября»[29].

А «Большая история» делала всё новые и новые ходы на всемирной шахматной доске: в тот же день, 3 ноября 1939 г., войска Ленинградского военного округа и Балтийский флот получили приказы готовиться к войне с Финляндией. Война началась 26 ноября.

Примерно тогда же Тишенков предоставил справку: «считать возможным организацию матча Ботвинник—Алёхин». Словно и год не прошёл! Из СНК были спущены официальные распоряжения: «Вышинский — Снегову и Звереву (Наркомфин). СНК Союза ССР поручает тов. Снегову разработать и представить в СНК СССР свои пред-

---

[27] В действительности история этих переговоров такова. С предложением о проведении матча между Алёхиным и Капабланкой выступил 13 сентября 1939 г. президент Аргентинской шахматной федерации Аугустодель Муро. Он воспользовался тем, что оба соперника были на Олимпиаде в Буэнос-Айресе и сделал им предложение о матче. Капабланка и Алёхин ответили 16 и 18 сентября соответственно. Капабланка был готов играть на любых, в том числе (наконец-то!) «Алёхинских» условиях. Алёхин ответил: «Как я уже объяснял французскому делегату ФИДЕ, я подлежу мобилизации как официальный переводчик запаса. Соответственно, в настоящий момент для меня невозможно брать на себя обязательства на длительное время, такие, какие нужны для матча за титул. Тем не менее... я не вижу причины, по которой этот запланированный матч не мог бы состояться, когда это позволят условия». (Chess. 1939. 20 Oct. P. 34; Winter Ed. Capablanca. McFarland&Co., 1989. P. 240). В 1941 г. уже Алёхин, стремящийся вырваться из оккупированной нацистами Европы, отправит вызов Капабланке в Нью-Йорк, но вскоре произойдёт нападение на Пёрл-Харбор, США вступят в войну, а Капабланка скончается в Нью-Йорке 8 марта 1942 года. Ещё один долго ожидаемый поединок шахматных гигантов не состоится...

[28] ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 24а. Д. 322. Л. 44.

[29] Там же. Л. 44а.

ложения о порядке организации и проведения матча. Наркомфину установить дотацию бюджета 100 000 рублей (вместо 150 000)»[30].

27 декабря 1939 г. наверх было доложено:

«Тов. Вышинскому

Всесоюзный Комитет по делам физкультуры и спорта при СНК СССР сообщает Вам, что в исполнении указанного выше решения тов. М.М. Ботвинником в начале декабря с.г. послана телеграмма Алёхину следующего содержания:

"Независящим от меня причинам ответ задержался тчк условия письма 20 июля в основном приняты тчк реализация мероприятия намечена осенью сорокового года в Москве тчк По получении Вашего телеграфного согласия последует официальное объявление"

Телеграмма эта на русском языке, написанная латинским шрифтом была отправлена по имевшемуся у нас адресу Алёхина — в Буэнос Айрес.

По получении ответа немедленно поставим Вас в известность

Снегов»[31].

Теперь можно было взять паузу в ожидании ответа Алёхина. Однако в очередной раз неповоротливость аппарата превратила паузу в ещё одно промедление: телеграмма почему-то была отправлена в Буэнос-Айрес, где Олимпиада давным-давно закончилась, и её участники либо вернулись домой, либо остались пережидать военную грозу на безопасном континенте. Алёхин к тому времени провёл три месяца в Уругвае, в Монтевидео, где, среди прочего, перечислял сборы от своих выступлений в пользу польского Красного Креста. 30 декабря 1939 г. он отплыл обратно в Европу, и в январе уже давал сеансы одновременной игры в казино Эсторил в Португалии.

Прождав ответа более двух месяцев, Снегов (видимо, с чувством облегчения) доложил Вышинскому, о том, что «никакого ответа на телеграмму, посланную тов. Ботвинником Алёхину в Буэнос-Айрес в начале декабря не получено». Заодно, припомнив новости полугодовой давности, добавил: «Сообщаем также что циркулировавшие одно время слухи о заключении Алёхиным договора с Капабланкой о матче на мировое первенство не подтвердились»[32].

Между составлением и отправлением новой телеграммы Алёхину «в никуда» и новыми шагами Снегова прошла целая советско-финская «зимняя» война: 12 марта был заключён мирный договор с Финляндией. К тому времени Снегов, видимо, понял, что телеграмма была отправлена по слишком старому адресу. Согласовав действия с Нарко-

[30] Там же. Л. 47.
[31] Там же. Л. 49.
[32] Там же. Л. 50.

матом иностранных дел (с «тов. В. Деканозовым»), он 17 марта снова обратился в СНК к Вышинскому «с просьбой о разрешении послать повторный запрос Алёхину, находящемуся в Испании, о получении им посланной в декабре 1939 года тов. Ботвинником телеграммы о проведении матча на первенство мира по шахматам»[33]. Алёхина, кстати, в Испании уже не было. Теперь над ответным ходом задумались в СНК, да так, что 27 марта 1940 г. измученный ожиданием Ботвинник отправил письмо от своего имени непосредственно Вышинскому:

«Хотя мне неприятно вновь самому поднимать вопрос о моём матче на первенство мира, но считаю необходимым сообщить правительству следующее:

1) Прошло более года как я получил (21 января 1939 года) телеграмму от тов. В.М. Молотова (и сейчас я перечитываю её с чувством искренней благодарности). С тех пор события развернулись следующим образом:

1. Комитет Физкультуры поставил вопрос о месте проведения матча. Ответ пришел 26 марта — тов. Н.А. Булганин распорядился проводить матч в Москве.

2. Я написал вызов Алёхину, который Комитет Физкультуры отправил по просроченному адресу (в Южную Америку). По моему настоянию копия письма в мае месяце была послана по парижскому адресу Алёхина — она была им получена.

3. В августе месяце я получил от Алёхина подробный ответ, в котором он просил сделать официальное объявление о матче до 20 сентября и сообщил свой адрес до этого же числа. Мной своевременно было составлено ответное письмо, которое, как я потом узнал, не было послано комитетом. Мотивировка — якобы отсутствие окончательного решения СНК.

4. СНК утвердил смету матча в ноябре. Комитет Физкультуры послал за моей подписью телеграмму Алёхину опять-таки по просроченному адресу. Ответа не последовало.

В таком положении вопрос находится по сей день»[34].

Снегов наверняка получил от аккуратного и соблюдавшего правила аппаратной игры Ботвинника копию письма, и отреагировал буквально на следующий день, написав Вышинскому, что Ботвинника стоит официально выдвинуть, уже не как просто гроссмейстера, а как представителя СССР в «кандидаты на первенство мира», а затем снова послать его вызов Алёхину. На докладе резолюция Вышинского: «Тов. Мишунину. Соберите все материалы по этому вопросу, разберитесь и перегов[орите] со мной»[35].

---

[33] Там же. Л. 52, 53.
[34] Тамже. Л. 21.
[35] Тамже. Л. 25.

Через четыре дня Мишунин предложил «разрешить Всес[оюзному] Комитету по делам ф[изкультуры] и с[порта] опубликовать в советской печати обращение т. Ботвинника к Алёхину[36] по вопросу о проведении первенства мира по шахматам». Вышинский предложение одобрил, но с публикацией решили не спешить: ждали какой-либо реакции Алёхина. На дворе стоял апрель 1940 г., и договорённость с ним была сильно просрочена. Где находится Алёхин, в Комитете физкультуры не знали. Видимо, не без хлопот Ботвинника, и с помощью переехавшего в СССР на постоянное жительство чешского гроссмейстера Сало Флора (свидетеля переговоров 1938 г.), в Комитет физкультуры попала вырезка из эмигрантской газеты о том, что Алёхин в Париже в одном из небольших клубных турниров занял первое место, выиграв 11 партий из 11. При этом он немедленно по возвращении во Францию явился к военным властям (началась «странная война») и получил уже назначение переводчиком. Снегов мог спокойно вздохнуть: Алёхин ушел на войну, и до её окончания вряд ли выберется за границы Франции. Самое время было пустить в ход классический механизм затягивания ситуации — просить у начальства «указаний»:

«Заместителю председателя СНК Союза ССР тов. А.Я. Вышинскому

А.А. Алёхин немедленно по возвращении явившийся военным властям получил уже назначение переводчиком.

Об изложенном Всесоюзный Комитет по делам физкультуры и спорта при СНК СССР считает необходимым довести до Вашего сведения и просит Ваших указаний о порядке дальнейших переговоров с Алёхиным

17 апреля 1940. В. Снегов».

Рапорт пролежал в папке у Вышинского ещё два месяца, а 26 июня 1940 г. его перечеркнула резолюция «Вопрос в настоящее время снят. Тов. Снегову сообщено (по телефону) 1 июля 1940 года». Да и всплыла-то бумага, видимо, только потому, что 22 июня 1940 г. Франция признала своё поражение в войне с гитлеровской Германией.

Ботвинник не знал, что 47-летний Алёхин в тщетной надежде вырваться из оккупированной Франции, из гибнущей Европы, демобилизовался, добрался до Марселя и 15 июля отправил телеграмму в кубинское консульство, чтобы получить визу и отправиться в Америку для переговоров о матче с Капабланкой[37]. Ответа он не получил и ближайшие годы провёл на территории «тысячелетнего Рейха», Испании и Португалии в тяжелейших условиях.

В конце 1945 г. к вопросу о матче вернулись на правительственном уровне. «Инициатива снизу» была проявлена членами сборной СССР по шахматам, только что разгромившей сборную США в товарищеском ра-

[36] Напечатанное перед фамилией «т.» (т.е. товарищу) — зачёркнуто.

[37] *Skinner L.M., Verhoeven R.G.P.* Op. cit. P. 656.

диоматче. Как вспоминал Ботвинник: «После победы со счётом 15½:4½ участники нашей команды втайне от меня по инициативе Рагозина направили Сталину письмо с предложением о проведении матча Алёхин — Ботвинник. Сталин решил вопрос положительно, он этого очень хотел»[38]. Советский спорт тогда возглавлял уже не Снегов, а куда более решительный Н.Н. Романов, добившийся реальной профессионализации советского спорта и начала выступлений сборной СССР на всемирных Олимпиадах. Ботвиннику были созданы все условия для похода за чемпионством. В особой статье учитывались «Личные нужды Ботвинника», в частности, «увеличение продовольственного лимита из расчёта 2 кгр сливочного масла, 1,5 кгр зернистой икры, 5 кгр фруктов, 2 кгр шоколада»[39]. Стоит отметить, что все решения вновь принимались на высшем правительственном и партийном уровне, а переписка шла под грифом «Секретно»[40].

Алёхину была отправлена телеграмма: «Я сожалею, что война помешала нашему матчу в 1939 году. Я вновь вызываю Вас на матч за мировое первенство. Если Вы согласны, я жду Вашего ответа, в котором прошу Вас указать Ваше мнение о времени и месте матча. 4 февраля 1946 года. Михаил Ботвинник».

Алёхин узнал о том, что Ботвинник готов сыграть матч на первенство мира, о котором они «почти» договорились более 7 лет назад, всего за несколько дней до начала «холодной войны». Когда же вслед за этим к чемпиону мира пришли вести о «Фултонской речи» Черчилля о железном занавесе, он воскликнул в отчаянье: «Как же я несчастлив! Мир обезумел и снова идёт к войне. Похоже, мой матч с Ботвинником так и не состоится!»[41]

Алёхин немедленно начал подготовку к важнейшему поединку, однако сил и здоровья ему не хватило (сердце, печень, очень высокое давление...). 24 марта 1946 г. в нетопленом номере отеля «Эшториал» Алёхин ушёл из жизни. За шахматами. Непобеждённым. У истории возвращения на Родину одного из ярчайших деятелей культуры мирового уровня не случилось хорошего конца.

А в мае 1948 г. Ботвинник выиграл звание чемпиона мира в Москве, на матч-турнире сильнейших шахматистов мира, — почти через 10 лет с того момента, когда он в последний раз встретился с Алёхиным после голландского АВРО-турнира.

---

[38] Сталин хотел, чтобы я сыграл с Алёхиным // Красная звезда, № 187(21474), 17 августа 1994 г. (Беседа М.М. Ботвинника с С. Железным).

[39] ГА РФ. Ф. 7576. Оп. 21. Д. 89 (Материалы по подготовке первенства мира по шахматам в 1946 году). Л. 4—5.

[40] См., например: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 473. Л. 40.

[41] *Moran P.* A. Alekhine: Agony of a Chess Genius. McFarland&Company, 1989. P. 276—277.

О.В. Хлевнюк

Государственный Комитет Обороны СССР. Структура, функции, архивные фонды

Государственный Комитет Обороны СССР (ГКО СССР[1]) был образован 30 июня 1941 г. Постановление, изданное от имени Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР, формально предусматривало коренные изменения: ГКО наделялся всей полнотой власти в государстве «ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу»[2]. На самом деле это решение, принятое 30 июня на встрече группы членов Политбюро на даче И.В. Сталина, вносило лишь некоторые коррективы в существующую систему власти. Отражая реакцию советского руководства на тяжелейшие поражения первых дней войны, создание ГКО являлось важным символическим шагом, демонстрировало решимость в борьбе с врагом. Вместе с тем короткое совещание на даче Сталина, на котором советские вожди договорились о формировании и составе ГКО, имело более глубокое политическое значение, скрытое от посторонних глаз.

Фактически под названием ГКО СССР была образована очередная узкая руководящая группа Политбюро. На сохранение за Политбюро приоритетного положения в системе власти указывало уже то, что сам ГКО был создан, а после войны упразднён решениями Политбюро. От имени Политбюро принимались решения об изменении персонального состава ГКО, о создании и изменении его комиссий и т.д.

В целом, руководящие группы ещё с ленинских времён являлись традиционной структурой в системе большевистского руководства. При Сталине они создавались и периодически перекраивались как в довоенные, так и в послевоенные годы. Накануне войны Сталин предпринял очередную реорганизацию руководящей группы, так называемой «пятёрки», заменяя выдвиженцами старых соратников. В мае 1941 г. Сталин сменил В.М. Молотова на посту председате-

[1] В документах также часто использовалась аббревиатура ГОКО СССР.

[2] Правда. 1 июля 1941 г. Решение о создании ГКО было утверждено Политбюро (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1317. Л. 19–21).

ля СНК и при этом назначил своим первым заместителем молодого председателя Госплана при СНК СССР Н.А. Вознесенского. Другой представитель нового поколения сталинских соратников, А.А. Жданов, руководил аппаратом ЦК ВКП(б)[3]. Крайне сложная обстановка начала войны заставила Сталина заключить своеобразный негласный договор со старыми соратниками в ущерб выдвиженцам. Подтвердив полную лояльность вождю, члены Политбюро получили взамен восстановление некоторых процедур «коллективного руководства». При создании ГКО произошло возвращение к консолидации власти на основе традиционной партийной иерархии старшинства и революционных заслуг. Молотов вновь стал вторым в ряду советских вождей.

Первоначально, 30 июня 1941 г., в состав ГКО были включены И.В. Сталин (председатель), В.М. Молотов (заместитель председателя), К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Все они одновременно входили в Политбюро. В дальнейшем состав ГКО пополнялся за счёт привлечения новых членов и кандидатов в члены Политбюро. В феврале 1942 г. в ГКО ввели Н.А. Вознесенского, А.И. Микояна, Л.М. Кагановича. В ноябре 1944 г. К.Е. Ворошилова заменили Н.А. Булганиным[4]. Эта последняя реорганизация являлась исключением из общего правила. Булганин не входил в Политбюро, однако был включён в него на первом же послевоенном пленуме ЦК ВКП(б). К концу войны из наиболее влиятельных членов ГКО сложилась новая руководящая группа Политбюро. После того как 4 сентября 1945 г. ГКО был упразднён, руководящую группу Политбюро («пятёрку») составили Сталин, Молотов, Берия, Маленков и Микоян[5].

Единство персонального состава руководящей группы Политбюро и ГКО определяло процедуры работы обоих этих органов. По свидетельству Микояна, «официальных заседаний ГКО Сталин не собирал»: «Вопросы обычно решались оперативно, по мере их возникновения, узким составом Политбюро. В полном составе заседания бывали крайне редко; чаще всего нас присутствовало пять человек. Собирались мы поздно вечером или ночью и редко во второй половине дня, как правило, без предварительной рассылки повестки заседаний»[6]. Эти воспоминания подтверждаются информацией, содержащейся в журнале регистрации посетителей кремлёвского каби-

[3] Подробнее см.: *Хлевнюк О.В.* Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. С. 409—444.

[4] *Горьков Ю.А.* Государственный Комитет Обороны постановляет (1941—1945). Цифры, документы. М., 2002. С. 31.

[5] О принятии этого решения см.: Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945—1953 / Сост. О.В. Хлевнюк и др. М., 2002. С. 21.

[6] *Микоян А.И.* Так было. Размышления о минувшем. М., 1999. С. 463.

нета Сталина[7]. Неразделённость заседаний Политбюро и ГКО предопределяла, в свою очередь, способы ведения делопроизводства этих органов. Имеющиеся документы подтверждают ещё одно свидетельство Микояна: решения руководящей группы, заседавшей в кабинете у Сталина, «в зависимости от содержания» оформлялись либо как постановления ГКО, либо как постановления Политбюро или СНК СССР[8]. Правила ведения протоколов заседаний Политбюро и ГКО были одинаковыми. Это не удивительно, поскольку ГКО не имел своего технического аппарата. Его делопроизводством занимался Особый сектор ЦК ВКП(б), выполнявший также функции секретариата Политбюро и Сталина. Решения ГКО, как и решения Политбюро, оформлялись в виде подлинных и подписных протоколов[9]. Судя по визам и резолюциям, этим занимались одни и те же сотрудники Особого сектора во главе с его заведующим А.Н. Поскрёбышевым.

Являясь результатом решений одной и той же руководящей группы или персонально Сталина, протоколы заседаний ГКО и Политбюро различались, однако, по тематическому принципу. В соответствии со сложившейся специализацией от имени ГКО оформлялись решения о производстве вооружений, военной техники и развитии военных отраслей промышленности. Значительная часть постановлений ГКО регулировала создание новых воинских соединений, образование стратегических резервов, распределение наличных ресурсов между фронтами. От имени ГКО решались вопросы подготовки военных кадров, назначения на многие руководящие и командные должности. Распоряжениями ГКО оформлялись мандаты различных уполномоченных ГКО. В протоколы заседаний Политбюро включались решения политического характера, в том числе по международным вопросам, а также по кадровым назначениям. По понятным причинам, заметно увеличилось количество постановлений Политбюро о награждениях. Часть решений, принятых руководящей группой или Сталиным, оформлялась от имени СНК СССР. Это были преимущественно постановления экономического характера, касающиеся тех отраслей народного хозяйства, которые не входили в круг компетенции ГКО. Можно предположить, что такая специализация имела определённый практический смысл. Она позволяла классифициро-

[7] На приёме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924—1953 гг.) / Под ред. А.А. Чернобаева. М., 2008. См. также: *Печенкин А.А.* Государственный Комитет Обороны в 1941 году // Отечественная история. 1994. № 4—5. С. 130.

[8] *Микоян А.И.* Указ. соч. С. 464.

[9] Всего с 30 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. было принято 9 971 постановлений и распоряжений ГКО.

вать многочисленные директивы, принимаемые высшими органами власти в годы войны, по уровню приоритетности.

Поскольку протоколы заседаний ГКО оформлялись в аппарате Особого сектора ЦК ВКП(б), они попали на хранение в его архив, в будущем — архив Политбюро (VI сектор Общего отдела ЦК КПСС), преобразованный позднее в Архив Президента Российской Федерации. Отсюда протоколы были переданы в 1989 и 1995 гг. в Российский государственный архив социально—политической истории (РГАСПИ)[10].

Однако постановления ГКО, утверждённые руководящей группой во главе со Сталиным, охватывали лишь часть вопросов, требующих решения. Для оперативного рассмотрения многочисленных текущих проблем нужны были иные механизмы. С учётом этого структура ГКО усложнялась. Подразделениями ГКО считались различные комиссии и комитеты, ответственные за решение отдельных задач экономического и военного характера. С конца 1942 г. от его имени действовало Оперативное бюро ГКО, образованное постановлением Политбюро 8 декабря 1942 г.[11] для оперативного решения сравнительно второстепенных вопросов и подготовки решений ГКО, выносимых на утверждение высшего руководства. К ведению Оперативного бюро были отнесены «контроль и наблюдение за текущей работой» основных наркоматов тяжёлой промышленности и транспорта, а также контроль за составлением и исполнением планов производства и снабжения этих ведомств. Остальные вопросы управления экономикой предполагалось решать через Бюро СНК СССР. Членами Оперативного бюро ГКО были назначены Молотов (председатель), Берия, Маленков, Микоян.

Судя по документам, Оперативное бюро ГКО с самого начала выполняло две основные задачи. Во-первых, в полном соответствии со своим названием, осуществляло оперативное руководство важнейшими отраслями промышленности. Во-вторых, в качестве подготовительной инстанции координировало разработку ключевых постановлений о развитии этих отраслей, подлежащих утверждению Сталиным. Эти функции формально закреплялись постановлением Политбюро от 18 мая 1944 г.[12] Помимо контроля над работой основных наркоматов тяжёлой промышленности и транспорта, Опера-

[10] Путеводитель по фондам и коллекциям документов КПСС // Справочно-информационные материалы к документальным и музейным фондам РГАСПИ. Вып. 4 / Под ред. Ю.Н. Амиантова и др. М., 2008. С. 222—225.

[11] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1356. Л. 120—121. Постановление Политбюро «О составе и работе Оперативного бюро ГОКО и Бюро Совнаркома СССР». Решение о создании Оперативного бюро ГКО было также продублировано постановлением ГКО от 8 декабря 1942 г. (Там же. Ф. 644. Оп. 2. Д. 116. Л. 56—57).

[12] Там же. Д. 1406. Л. 167—168.

тивному бюро этим постановлением поручалось «рассмотрение и внесение на утверждение председателя ГОКО проектов решений по отдельным вопросам», квартальных и месячных планов производства ключевых наркоматов и «снабжения народного хозяйства металлом, углём, нефтепродуктами, электроэнергией». Оперативное бюро официально получило право (которым, судя по всему, пользовалось и ранее) решать текущие вопросы деятельности подведомственных наркоматов, принимая соответствующие постановления и распоряжения. Кроме того, в связи с упразднением Транспортного комитета при ГКО на Оперативное бюро возлагалось рассмотрение планов перевозок на железнодорожном, морском и речном транспорте.

Формальное упорядочение функций Оперативного бюро ГКО произошло в связи с утверждением нового персонального состава этого органа, которое было проведено 15 мая 1944 г. решением Политбюро. Его председателем вместо Молотова стал Берия, а членами назначены Маленков, Микоян, Вознесенский, Ворошилов[13]. Судя по документам, под руководством Берии с мая 1944 г. деятельность Оперативного бюро приобрела заметную процедурную упорядоченность и активность. Работа в Оперативном бюро занимала значительную часть времени членов ГКО. На достаточно частые заседания приглашалось большое количество руководителей наркоматов и ведомств. Решения фиксировались в протоколах[14]. По крайней мере с мая 1944 г. работу Оперативного бюро обслуживал специально созданный секретариат[15], архив которого (где, скорее всего, сохранились подготовительные материалы к протоколам заседаний), пока недоступен.

Оперативное бюро стало своеобразной моделью для создания других, более специализированных, подразделений ГКО. Одним из первых в феврале 1942 г. был образован Транспортный комитет при ГКО СССР под председательством Сталина[16]. Необходимость в такой руководящей и координирующей структуре возникла в связи с исключительно тяжёлым положением на транспорте. Включение в состав комитета Сталина, а также всех руководителей транспортных отраслей должно было повысить его влияние и оперативную эффек-

[13] Там же. Л. 27.

[14] Путеводитель по фондам и коллекциям документов КПСС. С. 223—225. Один из комплектов протоколов заседаний Оперативного бюро за 23 февраля 1943 г. — 28 августа 1945 г. был передан в РГАСПИ из Архива Президента РФ в 1995 г.

[15] РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 336. Л. 12. Распоряжение ГКО СССР от 21 мая 1944 г. По совместительству секретариат Оперативного бюро ГКО возглавлял заведующий секретариатом заместителя председателя СНК СССР Берии Г.А. Ордынцев.

[16] Там же. Д. 36. Л. 173. Постановление ГКО от 14 февраля 1942 г.

тивность. Транспортный комитет получил широкие полномочия. Он принимал окончательные решения о планировании, регулировании и увязке работы железнодорожного, морского и речного транспорта, а также разрабатывал решения о развитии его материально-технической базы, подлежавшие затем утверждению ГКО. Несмотря на то, что 18 мая 1944 г. постановлением Политбюро Транспортный комитет был упразднён, его архивный комплекс содержит материалы, датированные концом 1944 г. Скорее всего, какое-то время после упразднения комитета его аппарат продолжал ещё выполнять свои обязанности.

Техническое обеспечение деятельности Транспортного комитета осуществлял СНК СССР (в здании которого находился и его аппарат)[17]. Тесная привязка к правительству предопределила формирование архива комитета как части архива СНК СССР. В настоящее время документальный комплекс Транспортного комитета составляет одну из описей фонда Совета Министров СССР в ГА РФ[18]. Включённые в неё дела отражают основные направления работы Транспортного комитета: планы работы, общие планы и графики перевозок и перевозок отдельных грузов, документы о материально-техническом снабжении транспорта и строительстве новых транспортных средств, отчёты и сводки о продвижении грузов и т.д. Протоколы заседаний Транспортного комитета в описи отсутствуют[19].

На определённом этапе Транспортный комитет взаимодействовал с Комиссией по эвакуации при ГКО СССР, созданной постановлением ГКО от 22 июня 1942 г. под председательством Н.М. Шверника и действовавшей до начала 1943 г.[20] Быстрое продвижение герман-

---

[17] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 88а. Д. 231. Л. 8, 9.

[18] Там же. Д. 1—460.

[19] Существуют свидетельства, что протоколы велись, по крайней мере, в начале деятельности Транспортного комитета. Так, в личном фонде Кагановича отложился третий экземпляр протокола № 1 заседания Транспортного комитета, состоявшегося 16 февраля 1942 г. (РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 297. Л. 1—2).

[20] Там же. Ф. 644. Оп. 2. Д. 72. Л. 77. Предшественниками Комиссии по эвакуации при ГКО были несколько других органов, которые в литературе ошибочно относят к структурам ГКО. Постановлением Политбюро от 24 июня 1941 г. «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» был создан Совет по эвакуации (Отечественные архивы. 1995. № 2. С. 29). 16 июля 1941 г. ГКО СССР принял постановление «О составе Совета по эвакуации». Ю.А. Горьков считает, что в этот день произошло переподчинение Совета по эвакуации ГКО (*Горьков Ю.А.* Указ. соч. С. 33). Это мнение получило широкое распространение. Однако в постановлении 16 июля говорилось лишь об изменении состава Совета по эвакуации, но не упоминалось о его переподчинении ГКО (РГАСПИ. Ф. 664. Оп. 2. Д. 5. Л. 150). Ни в постановлении Политбюро от 24 июня, ни в постановлении ГКО от 16 июля вообще не указывалась ведомственная принадлежность Совета по эвакуации. Однако 16 августа

ской армии к Волге и Северному Кавказу вновь, как и в начале войны, выдвинуло на первый план вопросы перемещения материальных ресурсов и населения. Как и другие аналогичные подразделения ГКО, Комиссия по эвакуации являлась одновременно исполнительной и подготовительной инстанцией, решая многочисленные оперативные вопросы и составляя для утверждения ГКО постановления и планы по эвакуации[21]

В своей работе она опиралась на аппарат СНК СССР. Соответственно, и её документы отложились среди материалов Управления делами СНК за 1942 г.[22] Тематически сформированные дела Комиссии по эвакуации содержат её переписку с различными наркоматами, документы об эвакуации отдельных объектов и регионов, докладные записки направленных на места уполномоченных Комиссии, доклады Шверника Сталину о ходе эвакуации и т.д.

Важной структурной частью ГКО был Трофейный комитет[23], образованный постановлением ГКО от 5 апреля 1943 г. под председательством Ворошилова. В его функции входила организация «сбора и вывоза всего трофейного имущества и вооружения, в том числе

1941 г. ГКО постановило: «Ввести в состав Совета по эвакуации при СНК СССР заместителя начальника Главного управления тыла Красной Армии генерал-майора тов. Захарова Матвея Васильевича (Там же. Д. 13. Л. 73). На принадлежность Совета по эвакуации к структурам СНК, а не ГКО однозначно указывают также документы фонда Совета по эвакуации при СНК СССР (ГА РФ. Ф. Р-6822). 25 октября 1941 г. ГКО СССР образовал также Комитет по эвакуации из прифронтовых зон продовольствия и промтоваров. Институциональная принадлежность Комитета в постановлении ГКО не указывалась (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 23. Л. 94). 25 декабря 1941 г. ГКО СССР принял решение «для разгрузки транзитных и всяких иных застрявших надолго грузов на железных дорогах» образовать Комитет разгрузки. Совет эвакуации был расформирован, а его аппарат передан Комитету разгрузки. Институциональная принадлежность Комитета разгрузки также не указывалась (Там же. Д. 30. Л. 179).

[21] В журналах учёта документов Комиссии по эвакуации последние документы датированы январём 1943 г. (ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 44а. Д. 10768, 10769). Скорее всего, к этому времени комиссия существенно снизила свою активность, пик которой приходился на лето и осень 1942 г.

[22] Там же. Оп. 43а. Д. 7935—8012.

[23] В соответствии с постановлением ГКО СССР от 22 марта 1942 г. при ГКО были созданы две постоянно действующие комиссии — Центральная комиссия по сбору трофейного вооружения и имущества под председательством С.М. Будённого и Центральная комиссия по сбору чёрных и цветных металлов в прифронтовой полосе под председательством Н.М. Шверника. Кроме этого, в составе Главного управления тыла Красной Армии создавалось Управление по сбору и использованию трофейного вооружения, имущества и металлического лома (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 43. Л. 90—94). Эти структуры являлись непосредственными предшественниками Трофейного комитета и при его создании были ликвидированы. Их аппараты передавались Трофейному комитету.

лома чёрных и цветных металлов, сортировки и разработки плана использования этого имущества»[24]. Информация о наличии архивного фонда Трофейного комитета при ГКО пока неизвестна. Ряд его документов, включая протоколы немногочисленных заседаний, отложился среди материалов секретариата заместителя председателя СНК СССР Ворошилова[25].

4 июля 1943 г. постановлением ГКО был образован Совет по радиолокации при ГКО, на который возлагалось руководство развитием радиолокационной промышленности и техники. Возглавил его Маленков, который и представил на утверждение Сталина проект постановления ГКО о создании Совета. С функциональной точки зрения он не отличался от других комиссий ГКО, осуществляя оперативную координацию разработки и производства средств радиолокации, а также готовя и согласовывая проекты постановлений ГКО по вопросам своей компетенции[26].

На заключительном этапе войны постановлением 25 февраля 1945 г. при ГКО СССР под председательством Маленкова создаётся Особый комитет[27]. Ему поручались «выявление и учёт подлежащих вывозу в СССР с территории Германии, а также с территории Польши [...] оборудования, железнодорожных рельс, паровозов, вагонов, пароходов и др. видов транспортных средств, сырья, готовой продукции», а также подготовка и внесение на утверждение ГОКО предложений о вывозе этих материальных ценностей и передаче их различным ведомствам «с указанием направления использования». Особый комитет контролировал эти процессы, давал соответствующие указания наркоматам, направлял ответственных работников и инженеров, «необходимых для обеспечения демонтажа оборудования и вывоза материальных ценностей». Таким образом, Особый комитет выполнял функции подготовительной комиссии ГКО СССР. Он координировал разработку решений по репарациям, а также осуществлял оперативное руководство их проведением. О приоритетах деятельности Особого комитета на момент его создания свидетельствовал пункт 5, который не вошёл в окончательный вариант постановления 25 февраля 1945 г., так как был вычеркнут Сталиным при утверждении документа. В нём говорилось: «5. Обязать Особый Комитет при ГОКО в первую очередь обеспечить вывоз в СССР следующих материальных ценностей: а) железнодорожных рельс, как находящихся на складах и

[24] Там же. Д. 149. Л. 116.
[25] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 81с. Д. 187. Л. 1—44; Д. 188. Л. 1—3.
[26] РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 184. Л. 130—135.
[27] Там же. Д. 454. Л. 30—31.

заводах, так и за счёт разборки, без ущерба для действующих фронтов, вторых путей и подъездных путей к предприятиям; б) оборудования автомобильных заводов; в) оборудования предприятий по производству синтетического горючего и синтетического каучука; г) оборудования заводов по производству авиационных и танковых моторов; д) лабораторного оборудования научно-исследовательских институтов и экспериментальных заводов»[28].

Фонд Особого комитета при ГКО СССР находится в ГА РФ на секретном хранении[29]. Однако представление о его возможном составе дают некоторые публикации, успевшие появиться в начале 1990-х годов, в период большей открытости материалов СНК СССР, а также документы, исходившие из Особого комитета при ГКО и сохранившиеся в других архивных фондах. Обычная деятельность Особого комитета состояла в координации работы его уполномоченных, составлявших предложения о вывозе тех или иных предприятий и материальных ценностей. Вместе с Госпланом и заинтересованными ведомствами Особый комитет оценивал целесообразность демонтажа и вывоза оборудования и материалов. Свои рекомендации он готовил в виде проектов постановлений ГКО, которые выносились на утверждение вышестоящих инстанций — в ГКО, а затем СНК (Совет Министров) СССР, как правило, на имя Сталина[30]. Решения по делам Особого комитета, а также часть сопроводительных материалов к ним можно найти в комплексе постановлений ГКО СССР. Всего ГКО и СНК СССР со 2 марта 1945 г. по 2 марта 1946 г. приняли 986 постановлений о демонтаже 4 389 промышленных предприятий в Германии, Польше, Австрии, Венгрии, Чехословакии и Маньчжурии[31]. Такие масштабы репараций во многом объясняют большие размеры архивного фонда Особого комитета в ГА РФ.

Одной из наиболее известных структур ГКО является его Специальный комитет, руководивший под председательством Берии советской атомной программой. Он был создан решением ГКО от 20 августа 1945 г.[32], вскоре после ядерных бомбардировок США японских городов. На Специальный комитет возлагалось «руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана». С административной точки зрения Специальный комитет действовал по

[28] Там же. Д. 454. Л. 31.

[29] ГА РФ. Ф. Р-7056 (Особый комитет при Совете Министров СССР). 7 581 ед. хр. 1945—1947 гг. Особый комитет был переподчинен СНК (Совету Министров) СССР после упразднения в сентябре 1945 г. ГКО СССР.

[30] *Кнышевский П.Н.* Добыча. Тайны германских репараций. М., 1994. С. 23—24.

[31] Там же. С. 22.

[32] РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 533. Л. 80—84.

отработанному принципу исполнительной и подготовительной комиссии при ГКО СССР. Он получил право принимать оперативные меры, издавать распоряжения, а в случаях, требующих решения правительства, вносить свои предложения непосредственно на утверждение председателя ГКО Сталина. Исполнительной инстанцией Специального комитета выступало Первое главное управление при СНК СССР. Специальный комитет определял и утверждал бюджет этого управления, планы выделения для него рабочей силы и материально-технических ресурсов. Первое Главное Управление и подведомственные ему учреждения и предприятия получали чрезвычайные права, освобождались от регистрации штатов в финансовых органах и выводились из-под контроля других ведомств, кроме Специального комитета при ГКО.

В силу особой секретности деятельности структур Специального комитета его архив долгое время входил в состав архива Политбюро. В настоящее время он передан в ГА РФ, где находится на секретном хранении[33]. Однако значительная часть материалов Специального комитета, отражающая состав его архивного фонда, была опубликована в многотомном издании «Атомный проект СССР»[34].

Помимо комиссий и комитетов, создававшихся для реализации крупных военно-экономических задач и действовавших на протяжении значительного времени, ГКО образовывал и временные комиссии, нацеленные на решение сравнительно узких вопросов. Так, комиссии «по вопросу Наркомата обороны» под руководством Микояна, созданной 5 сентября 1941 г., поручалось в трёхдневный срок представить проект постановления ГКО «о выявлении мёртвых душ по линии численности армии и соответственном сокращении последней приблизительно до 7—8 миллионов» и «о разбивке армии на 3—4 категории, с сокращением пайков для менее важных категорий»[35]. Аналогичная комиссия «по делам армий и дивизий, оставшихся под Сталинградом после ликвидации Донского фронта» была создана 18 февраля 1943 г. во главе с Маленковым. Ей следовало «привести в ясность состояние дивизий и армий, оставшихся под Сталингра-

[33] ГА РФ. Ф. Р-10208 (Специальный комитет при Совете Министров СССР). 1719 ед. хр. 1945—1953 гг. После упразднения в сентябре 1945 г. ГКО СССР Специальный комитет был переподчинён СНК (Совету Министров) СССР.

[34] Атомный проект СССР. Документы и материалы / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Т. 1—3. М.; Саров, 1999—2007. В первом томе опубликованы материалы за 1938—1945 гг., отражающие предысторию и начальный этап создания советского ядерного оружия. В семи книгах второго тома помещены документы о реализации атомного проекта. В третьем томе представлены документы о создании водородной бомбы.

[35] РГАСПИ. Ф. 664. Оп. 2. Д. 16. Л. 159.

дом, средств их усиления и всякого рода специальных частей»[36]. Материалы временных комиссий необходимо выявлять специально, поскольку они могли отложиться в архивных фондах различных партийно-государственных структур в зависимости от рода деятельности их руководителей и членов. Например, некоторые документы о работе комиссии «по вопросу Наркомата обороны» отложились в ГА РФ среди материалов секретариата А.И. Микояна[37]. Протоколы заседаний постоянной комиссии по делам восстановления танков при ГКО за март—май 1943 г. сохранились в делах секретариата заместителя председателя Совета Министров СССР В.А. Малышева, который возглавлял эту комиссию[38].

Наличие заметного количества документов ГКО в фондах секретариатов заместителей председателя СНК СССР объясняется всё тем же фактическим единством руководящей группы Политбюро и ГКО СССР. Молотов, Микоян, Берия, Вознесенский, Ворошилов были заместителями председателя СНК СССР и в силу этого их секретариаты в составе аппарата СНК СССР одновременно выполняли функции секретариатов членов ГКО. Исключение составляли секретариат Маленкова, который как секретарь ЦК ВКП(б) был сосредоточен на работе в аппарате ЦК[39], и секретариат Сталина, функции которого выполнял Особый сектор ЦК ВКП(б)[40].

Однако, несмотря на ведомственную принадлежность секретариатов большинства членов ГКО к аппарату СНК СССР, их материалы не в полной мере отложились в архивном фонде Совета Министров СССР в ГА РФ. Причиной этого являются некоторые особенности со-

---

[36] Там же. Д. 138. Л. 23.

[37] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 98с. Д. 342. Л. 7—8, 13. Часть материалов по этому вопросу отложились также в личном фонде Микояна в РГАСПИ. См., например: Записки НКО СССР председателю ГКО, справочные документы о численности Красной Армии за 24 августа — 10 сентября 1941 г. (РГАСПИ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 80).

[38] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 86с. Д. 13.

[39] Материалы, отражающие деятельность Маленкова как члена ГКО СССР, откладывались в архиве Особого сектора ЦК ВКП(б) (архив Политбюро). Из Архива Президента Российской Федерации они в 1995 г. поступили в РГАСПИ (Ф. 644. Оп. 4). См.: Путеводитель по фондам и коллекциям документов КПСС. С. 222—225.

[40] Некоторые документы о деятельности Сталина в годы Великой Отечественной войны в качестве председателя ГКО представлены в его личном фонде (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11). Однако основная часть документов такого рода отложилась в тематических делах архива Политбюро в Архиве Президента Российской Федерации. Об их содержании и составе позволяют судить публикации документов военного периода, предпринимаемые на основании тематических дел Политбюро. См., например: Вестник Архива Президента Российской Федерации. Война: 1941—1945. М., 2010.

ветского политического процесса и, соответственно, формирования архивных фондов высших советских руководителей. К примеру, Молотов в течение долгого времени занимал пост председателя СНК СССР, а затем заместителя председателя СНК (Совета Министров) СССР, однако материалы его секретариата в составе фонда Совета Министров[41] отличаются чрезвычайной скудностью, так как в июле 1957 г., после разгрома так называемой «антипартийной группы», они были изъяты из аппарата Совета Министров и переданы в архив Политбюро, где вместе с другими документами составили личный фонд Молотова, переданный в 1995 г. из Архива Президента Российской Федерации в РГАСПИ[42]. Большая группа дел личного фонда относится к его деятельности в качестве члена ГКО СССР[43]. Напротив, документальный комплекс секретариата заместителя председателя СНК и члена ГКО Берии сохранился в составе архива Совета Министров в полном объёме[44], а материалы секретариатов других членов ГКО (Микояна, Кагановича, Ворошилова) по разным причинам оказались поделёнными между архивом Совета Министров и личными фондами, сформированными в архиве Политбюро и переданными затем в РГАСПИ.

Состав документов секретариатов и личных фондов членов ГКО напрямую зависел от обязанностей каждого из них. Круг этих обязанностей периодически определялся специальными постановлениями ГКО. Так, 4 февраля 1942 г. на Молотова был возложен контроль за выполнением решений ГКО по производству танков, на Маленкова и Берию — по производству самолетов, моторов и формированию авиаполков. Помимо этих совместных обязанностей они получили персональные задания: Маленкову поручалось контролировать выполнение решений по Штабу миномётных частей Ставки Верховного главнокомандования, а Берии — по производству вооружения и миномётов. Вознесенский курировал выполнение решений по производству боеприпасов и по чёрной металлургии. Микоян отвечал за вещевое, продовольственное, денежное, артиллерийское снабжение и обеспечение горючим Красной Армии[45]. В последующем происхо-

[41] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 82. 195 ед. хр.

[42] Справочно-информационные материалы к документальным фондам РЦХИДНИ. Вып. 2. Путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения / Под ред. Ю.Н. Амиантова., М. 1996. С. 314—316.

[43] РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 834—883.

[44] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 83с, 113. В рассекреченной части архива секретариата Л.П. Берии за период войны представлена преимущественно переписка, сформированная в дела по корреспондентскому принципу, в основном по наркоматам. Значительную долю составляла переписка с наркоматами вооружения и боеприпасов.

[45] Источник. 1995. № 2. С. 117.

дило перераспределение функций членов ГКО. Например, 12 февраля 1942 г. Вознесенского освободили от руководства производством боеприпасов, поручив ему «контроль за выполнением решений ГКО по производству чёрных и цветных металлов, нефти, угля и химикатов». Промышленность вооружений и боеприпасов перешла в ведение Берии[46], а с 16 февраля 1942 г. производство самолётов, моторов и деятельность ВВС, были сосредоточены в руках одного Маленкова[47]. Постановлением ГКО от 1 октября 1942 г. Берии передавали «наблюдение и оказание повседневной помощи Наркомнефти», чем ранее занимался Вознесенский[48]. В декабре 1942 г. в связи с созданием Оперативного бюро ГКО Берия, Маленков и Микоян разделили между собой ряд других обязанностей, ранее выполнявшихся Вознесенским[49]. 5 июля 1943 г. «ввиду перегруженности работой» Молотов уступил Берии контроль над производством танков[50].

Подлинные причины неоднократного перераспределения полномочий между членами ГКО (выше перечислены лишь некоторые из подобных решений) требуют специального исследования. Очевидно, что их могли стимулировать различные факторы: изменение общей обстановки и возникновение новых приоритетов, перераспределение функций между ветвями государственной власти, наконец, соперничество в окружении Сталина. Личные фонды, а также материалы секретариатов членов ГКО СССР содержат важные источники для изучения деятельности высших советских руководителей в годы войны, ГКО и всей системы партийно-государственного управления. Отложившиеся них документы отчётного и инициативного характера были важным элементом механизма принятия решений.

* * *

Характеризуя деятельность руководящей группы в годы войны, А.И. Микоян писал: «Часто крупные вопросы мы решали телефонным разговором или указанием на совещании или на приёме министров. Очень редко прибегали к письменным документам. Поэтому, если искать документы о работе ГКО, Политбюро и др., будет очень трудно, так как их было очень мало, может создаться впечатление, что ничего не делалось»[51]. Однако многолетняя работа историков даже в полуоткрывшихся архивах не даёт оснований для особого скептициз-

[46] РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 36. Л. 150; Источник. 1995. № 2. С. 118.
[47] РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 37. Л. 45.
[48] Там же. Д. 96. Л. 1.
[49] Там же. Д. 116. Л. 56—57.
[50] Там же. Д. 184. Л. 159.
[51] *Микоян А.И.* Указ. соч. С. 465.

ма. Прежде всего, стоит отметить, что военный период с точки зрения обеспеченности источниками не выглядит намного беднее, чем предвоенные или послевоенные годы. Отмеченная Микояном тенденция неформального принятия решений, игнорирования формальных процедур и институтов была характерна для всех этапов сталинской диктатуры. Применительно к 1930—1950-м годам в целом историки располагают комплексами решений высших органов власти и испытывают недостаток в стенограммах заседаний, дневниковых записях, письмах и т.п., которые могли бы пролить свет на логику и основания принятия решений. Во всех случаях историки располагают значительным комплексом рутинной бюрократической переписки, поток которой не ослабевал даже в чрезвычайных военных обстоятельствах. Это не означает, конечно, что военный период с точки зрения сохранности и распределения архивных фондов не имеет специфики. Формальное усложнение структур высшей власти, легализация руководящей группы Политбюро в виде ГКО СССР способствовали рассредоточению сначала делопроизводства партийно-государственных структур, а впоследствии и их архивов. Разделение документов между многими фондами и разная степень их открытости мешают исследованию системы высшей власти в годы войны в целом и деятельности ГКО, в частности. Однако это препятствие не является непреодолимым.

В.А. Невежин

Церемониал дипломатических приёмов Сталина 1941 – 1945 гг.

В последнее время в российской историографии получили распространение подходы «новой политической истории». Исследователи, работающие в этом русле, рассматривают преимущественно сюжеты, связанные с различными проявлениями политической культуры и анализируют социокультурный контекст власти и её символические системы, в частности, церемониалы[1].

Церемониал — это традиционный порядок проведения какого-либо действа, торжественное совершение того или иного обряда по установленным правилам. Церемониалам свойственны высокая степень стандартизации, стилизации, повторяемость и известная устойчивость. Они проводятся в специальных помещениях, в определённое время, по значимым поводам, являясь экспрессивными, непосредственно совершаемыми действиями. Дипломатическим приёмам (банкетам) И.В. Сталина, которые устраивались в 1941—1945 гг. для представителей стран-союзников СССР по антигитлеровской коалиции, обладавших высоким социальным статусом, был присущ собственный, во многом оригинальный церемониал. Его эксклюзивный характер обусловливался вмешательством советского лидера, имевшего собственный взгляд на протокольные нормы и по-своему их корректировавшего.

После нападения Германии международное положение СССР коренным образом изменилось. Советский Союз превратился в главного военно-политического партнёра Великобритании и США. Необходимость чёткой координации военной, политической и дипломатической деятельности, конечной целью которой являлось достижение победы над общим врагом, потребовала постоянного обмена мнениями между руководителями союзных стран. Москва превратилась в своеобразную Мекку, которую в период Великой Отечественной войны постоянно посещали политические лидеры, дипломаты и военные деятели союзных стран.

К этому времени в СССР в основных чертах сложился порядок организации и проведения дипломатических приёмов, являющийся

[1] Новая политическая история. СПб., 2004.

составной частью протокола, одной из общепринятых форм деятельности внешнеполитических ведомств, а также законодательных и исполнительных органов власти. Они являлись выражением обязательного знака внимания по отношению к высоким зарубежным гостям. На эти банкеты приглашались представители дипломатического корпуса и главы союзных государств и правительств, что вполне соответствовало основным правилам протокола. Одним из важных поводов для их организации являлось подписание двусторонних или многосторонних договоров и соглашений основополагающего характера. Помимо этого, дипломатические приёмы практиковались с целью оказания почестей или гостеприимства высшим должностным лицам, находившимся с визитами в СССР в составе официальных делегаций.

Летом 1941 г. начался процесс юридического оформления боевого союза против Германии и её сателлитов, завершившийся к середине 1942 г. В процессе формирования и дальнейшего развития антигитлеровской коалиции установились личные контакты И.В. Сталина с руководителями союзных стран[2]. Будучи председателем Совета Народных Комиссаров (главой Правительства СССР), Сталин обладал необходимым статусом для организации дипломатических раутов, в ходе которых обсуждались и решались важнейшие вопросы ведения войны.

В 1941—1945 гг. было организовано несколько официальных визитов в Москву представителей высшего руководства стран антигитлеровской коалиции. 12 августа 1942 г. в Москву прибыли премьер-министр Великобритании У. Черчилль и личный представитель президента США А. Гарриман. В ходе их переговоров с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым окончательно выяснилось, что в 1942 г. союзники не планируют открытия второго фронта в Европе, что естественно вызвало недовольство Сталина[3]. Обстановка немного разрядилась лишь после того, как Сталин пригласил Черчилля и Гарримана на официальный приём. С 19 по 30 октября 1943 г. в Москве проходила конференция глав внешнеполитических ведомств СССР, Великобритании и США, предварявшая встречу лидеров антигитлеровской коалиции в Тегеране. Советскую делегацию возглавлял народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов, американскую — государственный секретарь К. Хэлл, а британскую — министр иностранных дел А. Иден. По завершении конференции вечером 30 октября 1943 г. в Кремле состоялся дипломатический приём[4].

---

[2] *Быстрова И.В.* Поцелуй через океан: «большая тройка» в свете личных контактов (1941—1945 гг.). М., 2011.

[3] Документы внешней политики СССР. Т. XXV. Кн. 2. М., 2011. № 304, 309.

[4] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина. Документы и материалы. М.; СПб., 2003. С. 334—339.

К антигитлеровской коалиции присоединились и правительства некоторых оккупированных Германией стран, находившиеся в вынужденной эмиграции. 30 июля 1941 г. чрезвычайный полномочный посол И.М. Майский и премьер-министр польского правительства генерал В. Сикорский подписали в Лондоне соглашение о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Польшей. Советское правительство выразило согласие на создание на территории СССР польской армии[5].

6 августа 1941 г. командующим этими частями был назначен генерал В. Андерс. Вопрос о дальнейшей судьбе данного воинского формирования и другие проблемы советско-польских взаимоотношений обсуждались на переговорах в Кремле 3 декабря 1941 г. По их завершении, вечером следующего дня, И.В. Сталин устроил дипломатический приём в честь В. Сикорского и В. Андерса[6].

В 1943 г. дипломатические отношения между СССР и польским правительством в эмиграции были прерваны. Позднее на политическую арену вышла новая политическая сила. В новогоднюю ночь 1944 г. в Варшаве была создана Крайова Рада Народова (КРН), провозгласившая своей главной задачей вооружённую борьбу против немецких оккупантов вплоть до полного освобождения Польши. Председателем КРН был избран Б. Берут, представлявший Польскую рабочую партию (ППР). С образованием 31 декабря 1944 г. Временного правительства Польши председатель Крайовой Рады Народовой Берут стал именоваться президентом КРН. 4 января 1945 г. СССР признал Временное правительство Польши и установил с ним дипломатические отношения. С 19 по 24 апреля 1945 г. в Москве находилась польская делегация во главе с Берутом, подписавшим 21 апреля Договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве между Польшей и СССР. На другой день Сталин приветствовал польскую делегацию на торжественном приём в её честь[7].

13 июля 1941 г. были возобновлены дипломатические отношения с правительством Чехословакии во главе с президентом Э. Бенешем, находившимся в эмиграции в Лондоне. Весной 1943 г. возникла идея подписания советско-чехословацкого договора о взаимопомощи. Первоначально Великобритания не одобрила этой идеи, но в октябре 1943 г., на Московской конференции после дебатов между В.М. Молотовым и А. Иденом было принято решение о возможности подписания такого договора, а его проект прошёл предварительное обсуждение. 11 декабря 1943 г. Бенеш и сопровождающие его лица прибыли

[5] Документы внешней политики СССР. Т. XXIV. М., 2000. № 136.
[6] *Невежин В.А.* Сталин о войне. Застольные речи 1933—1945 гг. М., 2007. С. 152—153.
[7] Там же. С. 225—226.

в Москву, где были встречены с такими же почестями, какие незадолго до того оказывались главам внешнеполитических ведомств Великобритании и США. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин провёл в Кремле приём в честь президента Чехословацкой республики, на котором присутствовал И.В. Сталин[8].

После подписания советско-чехословацкого договора Бенеш с 13 по 22 декабря вёл переговоры со Сталиным и Молотовым о перспективах сотрудничества между Чехословакией и СССР и организации чехословацких воинских частей на советской территории, о судьбах Германии и Венгрии после окончания войны, об отношении к Австрии, Румынии, Югославии, Франции, Италии и т.д. 22 декабря Сталин устроил в честь Бенеша дипломатический приём[9]. С 17 по 31 марта 1945 г. состоялся второй за период Великой Отечественной войны официальный визит Бенеша в Москву. В ходе его, 28 марта, для чехословацкой делегации был организован банкет[10].

7 марта 1945 г., в соответствии с рекомендациями Ялтинской конференции И.Б. Тито, занимавший к этому времени посты председателя Национального комитета освобождения, главы правительства, министра обороны и верховного главнокомандующего вооруженными силами, сформировал Временное народное правительство Демократической Федеративной Югославии, которое было официально признано СССР, Великобританией и США. Для обсуждения советско-югославских отношений 5 апреля 1945 г. в Москву прибыла югославская делегация во главе с Тито. После переговоров, в которых с советской стороны принимали участие Сталин и Молотов, 11 апреля был подписан Договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве между Советским Союзом и Югославией. В день подписания договора Сталин пригласил Тито на официальный ужин[11].

В 1944—1945 гг. контакты лидеров стран антигитлеровской коалиции в Москве особенно активизировались. В октябре 1944 г. состоялся визит Черчилля и Идена. Основное внимание на переговорах Черчилля со Сталиным уделялось польскому вопросу, но обсуждались и перспективы вступления СССР в войну против Японии, судьба Германии после победы союзников, а также наказание немецких военных преступников. Последняя официальная беседа между Сталиным и Черчиллем прошла 17 октября 1944 г., а на следующий день в Кремле был дан торжественный приём в честь британской делегации[12].

---

[8] Там же. С. 193—196.
[9] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 374.
[10] *Он же.* Сталин о войне... С. 216—218.
[11] *Он же.* Застольные речи Сталина... С. 444.
[12] *Он же.* Сталин о войне... С. 205—206.

Вслед за Черчиллем в начале декабря 1944 г. в Москву прибыл Ш. де Голль. И.В. Сталин предложил ему подписать советско-французский договор при условии, что Франция признает Польский Комитет Национального Освобождения. В то же время он отрицательно отреагировал на высказанную де Голлем надежду на возвращение Франции статуса великой державы, которая осуществляла бы контроль над побежденной Германией наравне с СССР. Казалось, переговоры зашли в тупик. Неожиданно вечером 9 декабря 1944 г., буквально накануне отъезда де Голля на родину, Сталин устроил в Кремле прощальный банкет для французской делегации. Обычно такого рода кремлёвские приёмы знаменовали достижение дипломатического или военного соглашения СССР с тем или иным иностранным государством. В данном случае французы отправились на банкет, будучи уверенными в том, что всё уже потеряно, и договор с СССР не будет подписан. Однако, в конечном счёте, обе стороны достигли консенсуса, и подписание соглашения состоялось[13].

Все перечисленные приёмы проходили в парадном Екатерининском зале Большого Кремлёвского дворца. Он был отделан светлыми шёлковыми шпалерами и золотой лепкой в стиле барокко. Стены под потолком украшали вензеля императрицы Екатерины с девизом «За любовь и отечество»[14].

Пресс-атташе польского посольства в СССР К. Прушиньски, участник банкета в честь В. Сикорского в ночь с 3 на 4 декабря 1941 г., запомнил парадный Екатерининский зал Большого Кремлёвского дворца полным золота и света, с колоннами из малахита, сверкающими массивными люстрами и длинными белыми столами, уставленными хрустальной и серебряной посудой и украшенными алыми цветами[15]. Сходное описание внутреннего убранства Екатерининского зала оставил В.М. Бережков, один из переводчиков И.В. Сталина: «Зал был заставлен столами, украшенными красными гвоздиками и сервированными серебром и сверкающим фарфором»[16].

По характеру выполняемых ролевых функций участников кремлёвских приёмов можно условно разделить на две примерно одинаковые по численности группы. Первую составляли Сталин, его соратники (члены Политбюро и руководители Советского правительства) и сопровождавшие их высшие военные чины и дипломаты, а вторую — иностранные гости. Количество участников варьировалось в зависимости от значимости банкета. Так, на приеме 14 августа 1942 г. при-

[13] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 405.
[14] Там же. С.424.
[15] *Pruszyński K.* Noc na Kremlu. Warszawa, 1989. S. 93.
[16] Цит. по: *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 335.

сутствовало около 40 человек[17], 22 декабря 1943 г. — 46 (в том числе 13 членов чехословацкой делегации)[18], 9 декабря 1944 г. — около 50[19].

Судя по воспоминаниям советских и иностранных участников этих приёмов, благодаря своей харизме Сталин буквально подавлял присутствовавших, являясь не только официальным хозяином, но и ключевой фигурой застолий. Так, начальник канцелярии президента Чехословакии Я. Смутны свидетельствовал, что хотя официально приём в честь чехословацкой делегации 11 декабря 1943 г. устраивал Калинин, он был «полностью оттеснён на задний план» Сталиным[20]. «Всё, что происходит в Москве в присутствии Сталина, кажется наскоро импровизированным в соответствии с желаниями Сталина», — утверждал он[21]. Действительно, церемониал дипломатических банкетов был построен по строгому сценарию, «авторство» которого явно принадлежало советскому вождю.

Первыми в Екатерининском зале появлялись почётные гости. Они направлялись туда, минуя Зал заседаний Верховного Совета СССР, в котором проходили не только сессии советского парламента, но и съезды ВКП(б). Так, по словам Смутны, 11 декабря 1943 г. Бенеш, «приветствуемый и сопровождаемый офицерами, по лестнице со шпалерами солдат, по галерее зала заседаний Советов со статуей Ленина в передней части» проследовал в помещение, непосредственно примыкавшее к Екатерининскому залу «с накрытым для банкета столом»[22].

Спустя непродолжительное время появлялись и хозяева застолья. Прушиньски вспоминал, как через анфиладу комнат, расположенных по другую сторону парадного зала к польской делегации приблизилось несколько мужчин, шедших плотной группой и издали напоминавших рабочих, направляющихся на очередную смену[23]. «Сразу за нами, — писал Смутны, — тем же путём, что пришли и мы, проследовала процессия во главе с президентом Калининым, за которым немного сзади шёл Сталин, а за ним маршалы, генералы и цивильные коммунисты. Это несколько театральное появление замышлялось для [произведения] эффекта на ожидавших гостей, которые уже со стороны и довольно приличное время должны были смотреть на приходящего Сталина. Это, естественно, была единственная притягивающая взор личность»[24].

---

[17] *Невежин В.А.* Сталин о войне... С. 163.
[18] *Он же.* Застольные речи Сталина... С. 374.
[19] Там же. С. 424.
[20] Там же. С. 368.
[21] Цит. по: Там же. С. 367.
[22] Там же.
[23] *Pruszyński K.* Op. cit. S. 93.
[24] Цит. по: *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 367.

Несомненно, только благодаря установленному церемониалу, носившему во многом характер театральной постановки, иностранцы, независимо от их статуса, оказывались рядом с этой «притягивающей взор личностью». Фигура советского вождя особенно привлекала зарубежных гостей, поскольку для большинства из них первая встреча со Сталиным оставалась единственной. Не случайно, подобного рода контакт надолго сохранялся в памяти тех, кому довелось хотя бы недолго общаться с ним на дипломатических приёмах.

Тот же Прушиньски, наблюдавший советского вождя вблизи в течение всего лишь нескольких минут, отмечал, что одежда Сталина, простая на вид, отличалась великолепным покроем. Материал бежевого цвета, который пошёл на его костюм, был высшего сорта и лучшего качества. Брюки, хотя и заправленные по русскому обычаю в отлично пошитые сапоги с широкими голенищами, оказались превосходно отутюженными. Китель был застёгнут до последней пуговицы. Один из друзей Прушиньского, проживавший в Берлине и имевший возможность несколько раз видеть А. Гитлера, сообщал, что костюм нацистского фюрера выглядел так, словно его хозяин купил несколько предметов в магазине готового платья, даже не попытавшись создать из них нечто цельное. Подобного, считал Прушиньски, нельзя было сказать о Сталине[25]. Поскольку другие советские лидеры представали на банкетах в одежде тёмных тонов, сталинский светлый костюм выделялся особо[26].

Сталин говорил мало и спокойно, при этом внимательно слушал собеседников. Время от времени он покидал их группу и держался в стороне, предпочитая курить в одиночестве. Это уединённое молчание никто не решался нарушить. Сталин, по словам Прушиньского, всегда сам прерывал его шуткой либо замечанием, обращённым к кому-либо из участников приёма, после чего происходил обмен репликами. Манера его поведения казалась скромной и непретенциозной и характеризовалась простым умением представиться: «Сталин». Но это лишь усиливало то впечатление, которое он производил на окружающих[27].

«Сталин, — отмечал Смутный, — как личность и внешне вызывал впечатление силы и одновременно большой ловкости. Невысокий, немного сгорбленный, с седыми волосами, седыми усами. Он казался сильно уставшим, постаревшим. Взгляд как будто безучастный, но острый. Одет в бежевый маршальский мундир со звездой Героя Советского Союза»[28]. У Прушиньски осталось впечатление, что ближайшее окружение Стали-

[25] *Pruszyński K.* Op.cit. S. 93, 96.
[26] Ibid. S. 93.
[27] Ibid. S 96.
[28] Цит. по: *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 368.

на было готово в любой момент выполнять приказы советского лидера, который жаждал, чтобы его мысли и желания угадывались заранее и не было бы даже особой нужды отдавать соответствующие распоряжения[29].

«Он выдавал себя за простого, элементарно культурного человека, — вспоминал Ш. де Голль о сталинской манере поведения на банкете 9 декабря 1944 г., — несколько грубоватого, который решал самые обширные проблемы, руководствуясь собственным здравым смыслом [...] Однако под этим добродушным внешним видом распознавался боец, способный на беспощадную борьбу. Впрочем, все русские за столом, внимательные и скованные, не переставали зорко следить друг за другом. В их поведении чувствовался страх перед его сосредоточенной и бдительной властью, что было видно по взаимоотношениям между этим политическим и военным штабом и его совсем одиноким человеколюбивым вождём»[30].

Важной нормой церемониала дипломатических приёмов являлась рассадка хозяев и гостей за обеденным столом при строгом соблюдении их служебного или общественно-политического положения[31].

Сотрудники протокольной службы Народного комиссариата иностранных дел СССР, готовившие банкеты, прилагали всё своё умение и опыт, чтобы расположить их участников за главным столом. Как правило, за ним друг напротив друга садились Сталин и Молотов. Справа и слева от них размещались представители советского партийного и государственного руководства, иностранные политические деятели, дипломаты, военные, переводчики. Так, в ночь с 3 на 4 декабря 1941 г., по свидетельству Прушиньского, по правую руку от Сталина восседал генерал Сикорский, а слева — посол эмигрантского правительства Польши в Москве С. Кот, Молотов располагался напротив их. Соседями самого Прушиньского, легко обнаружившего свою визитную карточку «на менее представительной половине стола», на удалении от того места, где находился Сталин, оказались советские генералы[32]. 30 октября 1943 г. главный стол «тянулся вдоль стены, обтянутой зеленоватыми муаровыми обоями». Справа от Сталина сидел Хэлл, слева — Гарриман. С Молотовым соседствовали Иден и посол Великобритании в Москве А.К. Керр. Советские переводчики Бережков и В.Н. Павлов занимали места, соответственно, около Хэлла и Керра[33].

На приёме 22 декабря 1943 г. по правую руку от Сталина оказались Бенеш и А.А. Жданов. Слева — Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Л.М. Каганович. Справа от Молотова расположились чехословацкий

[29] *Pruszyński K.* Op.cit. S. 96.
[30] Цит. по: *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 408—409.
[31] *Лядов П.Ф.* История российского протокола. М., 2004. С. 124.
[32] *Pruszyński K.* Op.cit. S. 96-97.
[33] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 336, 340.

посол З. Фирлингер, Н.А. Вознесенский, адмирал Н.Г. Кузнецов, а по левую руку — А.И. Микоян, А.С. Щербаков, чешский коммунист З. Неедлы и другие приглашённые[34].

На банкете 18 октября 1944 г. Черчилль занимал место по правую руку от Сталина, слева от которого находился американский посол в Москве Гарриман. Иден сел по правую руку от Молотова. Места для переводчиков (А.Х. Бирса, Павлова, М.М. Потрубача и Смоляниченко) были выделены чуть дальше от центра — рядом с Черчиллем, Иденом, Гарриманом и Керром. Наконец, заместители народного комиссара иностранных дел А.Я. Вышинский и В.Г. Деканозов устроились в конце стола[35]. На приёме 11 апреля 1945 г. Тито сидел слева от Сталина и справа от Калинина[36]. По уже сложившейся традиции во время приёма 22 апреля 1945 г. в честь польской делегации почётное место в центре было отведено иностранным гостям, в то время как члены Политбюро ЦК ВКП(б) Каганович, Микоян и Маленков «замыкали» стол[37].

Помимо глав государств и правительств на дипломатических приёмах в Кремле в 1941—1945 гг. в качестве гостей присутствовали представители различных советских ведомств, в первую очередь — военного и внешнеполитического. Так, среди приглашённых на банкет 11 декабря 1943 г. были маршалы и генералы, а также «сотрудники Наркоминдела в чёрных парадных мундирах»[38]. А на приём 9 декабря 1944 г. прибыли «народные комиссары, дипломаты, генералы, высшие чиновники, почти все в блестящей форме»[39].

Много внимания уделялось и гастрономическим тонкостям. Делалось всё для того, чтобы участники застолий смогли отведать разнообразных яств и вин.

Сервировка столов имела свою специфику. Как отмечал Прушиньски, она осуществлялась с «изысканной простотой». На великолепных скатертях голландского полотна он заметил тарелки из гостиницы «Москва» с изображением старых, уже несколько поблекших виноградных гроздей и листьев. Это оказался дореволюционный сервиз императорского фарфорового завода, находившегося в Петрограде. Причём одни предметы имели монограмму Николая II, увенчанную царской короной, а другие — Александра III. В центре стола были водружены старинные хрустальные графины, а также тяжёлые сере-

[34] Переговоры Э. Бенеша в Москве (декабрь 1943 г.) // Вопросы истории. 2001. № 3. С. 20, прим. 3.
[35] *Лядов П.Ф.* Указ. соч. С. 124.
[36] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 446.
[37] *Лядов П.Ф.* Указ. соч. С. 124.
[38] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 367.
[39] Там же. С. 408.

бряные кувшины изумительной работы. Столовые приборы, наоборот, были советского производства, с изображением серпа и молота.

Персонал, обслуживавший приёмы, был хорошо вышколен. Среди них Прушиньски узнал нескольких официантов, которых ранее видел в ресторане гостиницы «Москва». Они не носили никаких ливрей, а были одеты в белые пиджаки стюардов. Примечательно, что некоторые из них говорили по-французски.

Приглашённым на приём предлагалось меню, отпечатанное по-русски и по-французски. Каждый из них имел собственную тарелку с закусками и бутылки с различными алкогольными напитками[40]. 30 октября 1943 г. на столах «красовались всевозможные закуски, бутылки с винами и напитками»: «Ответственные лица, ведавшие церемониалом дипломатических приёмов, составили особенно изысканное меню. В разложенных у каждого прибора кремовых карточках с тиснёным государственным гербом Советского Союза перечислялись блюда русской, французской и кавказской кухни»[41].

На обеде в честь польской правительственной делегации в ночь с 3 на 4 декабря 1941 г. в меню предлагались:

«Холодные закуски
Икра зернистая, икра паюсная, расстегайчики.
Сёмга, балык белорыбий, сельди с гарниром.
Ветчина, салат оливье, поросёнок.
Сыры, масло, огурцы кавказские, помидоры.

Горячие закуски
Грибы белые в сметане огратен.
Медальон из дичи пуаврад.

Обед
Суп крем из кур, консоме, борщок,
Пирожки пай.
Стерлядь в шампанском, нельма отварная.
Индейка, цыплята, рябчики.
Спаржа соус муслин и масло.
Парфе шоколадное.
Кофе, ликёры, коньяк
Пети-фур, фрукты
Миндаль жареный»[42].

[40] *Pruszyński K.* Op.cit. S. 96–97.
[41] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 335.
[42] Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны. М., 2010. С. 192–193.

Прушиньски вспоминал, что гости имели возможность отведать лосося, белугу, сёмгу, икру «всевозможных цветов и отличного вкуса». Из спиртных напитков им предлагались коньяк советского производства («российский бренди»), «зубровка», московская водка, а также «наилучшая из всех» — «Рябиновка» («красная водка»)[43].

Представители чехословацкой делегации, приглашённые в Кремль 11 декабря 1943 г., рассчитывали «на скромный ужин», и, естественно, были крайне удивлены, когда попали на «роскошнейший» (по сравнению с теми условиями, в которых они находились в Лондоне) банкет. Предложенное хозяевами меню включало в себя 26 блюд[44]. 22 декабря они оказались в аналогичной ситуации: «Опять — несметное количество блюд, одно вкуснее другого, дающее возможность произносить множество тостов»[45].

В тот день были поданы:

«Холодная закуска:
Икра зернистая, икра паюсная — расстегайчики
Сёмга
Салат «парижьен»
Поросёнок холодный с хреном
Масло
Огурцы кавказские

Горячая закуска:
Плов из молочного барашка
Стерлядь миньер с каперсами
Обед: суп-крем из пулярды (пулярки)
Консоме профитроль
Пирожки разные
Нельма разварная, соус муслин
Индейка, цыплята, куропатки с красной капустой
Валованчики Маседуан

Пломбир ореховый
Мороженое фруктовое
Кофе, ликёры, фрукты, петифур, сыры разные, миндаль»[46].

[43] *Pruszyński K.* Op.cit. S. 96—97.
[44] *Невежин В.А.* Сталин о войне... С. 194.
[45] Цит. по: *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 375.
[46] Переговоры Э. Бенеша в Москве (декабрь 1943 г.)... С. 20, прим. 3.

Для членов строптивой французской делегации 9 декабря 1944 г. в Екатерининском зале «был накрыт невообразимо роскошный стол». Им запомнился поистине «ошеломляющий обед»[47].

Всё это помогало снять напряжение, создавало неформальную, даже дружественную атмосферу застолья.

Важной составной частью дипломатических приёмов являлось произнесение тостов и здравиц. Как правило, роль неутомимого тамады выполнял Молотов, говоривший, не умолкая. Прушиньскому запомнились лишь «немногие из бесчисленных тостов», которые произносились 3 декабря 1941 г. «по адресу всех польских гостей по очереди». Они звучали своеобразными «вкраплениями в пышной и переслащенной картине» странного пиршества, «где пролетарская простота перемешивалась с тенями» ушедшей Российской империи[48]. Смутный с некоторым сарказмом и обидой описывал увиденное 11 декабря 1943 г.: «Всё происходило как бы по обязанности, со скуки, лишь для самих русских. За себя поднимали тосты, себя приветствовали, сами себя развлекали, если вообще говорили. Только много пили, когда произносили тосты. Согласно русскому обычаю, сразу при первом блюде Калинин произнёс тост за д-ра Бенеша». А затем последовал «бесконечный ряд тостов, которые сплошь произносил Молотов: за Красную Армию, за Сталина, за Калинина, за всех присутствовавших маршалов по очереди, за чехословацкую армию и т.д. Всё происходило так, как будто банкет был чисто русским мероприятием»[49].

Как правило, каждый дипломатический приём начинался с того, что Молотов и Сталин провозглашали здравицы в честь иностранных гостей. Так, на банкете в честь де Голля и других членов французской делегации 9 декабря 1944 г. Сталин «высказывал тёплые слова по отношению к Франции» и был любезен с её лидером. Затем советский вождь приветствовал США и президента Ф.Д. Рузвельта. В последовавших здравицах он также выразил уважение к присутствовавшим соратникам де Голля, Ж. Бидо и А.П. Жуэну, и тем французам, которые воевали в авиационном полку «Нормандия-Неман». В дальнейшем, как вспоминал де Голль, Сталин тринадцать раз поднимался со своего места, чтобы выпить за здоровье участвовавших в банкете своих сотрудников, маршалов, адмиралов и генералов. Обращаясь к представителям высшего командования, он «всегда подтверждал и прославлял мощь России». Со словами благодарности и одобрения советский лидер обратился к главному маршалу артиллерии Н.Н. Воронову, адмиралу Н.Г. Кузнецову, авиаконструктору А.С. Яковлеву.

---

[47] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 408.
[48] *Pruszyński K.* Op.cit. S. 99.
[49] *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 363.

При этом щедрая сталинская похвала соседствовала с прямой угрозой — он даже пообещал повесить «ответственного за тыл» (имелся в виду начальник тыла РККА генерал армии А.В. Хрулёв), если тот не будет стараться «делать как надо» своё дело. Описывая эту «трагикомическую», по его выражению, сцену, де Голль высказал предположение, что она «могла разыгрываться только с целью произвести впечатление на французов демонстрацией советской силы и власти»[50].

Участвовавший в банкете 9 декабря 1944 г. французский писатель-коммунист Ж.-Р. Блок вспоминал, что Сталин «в этот вечер был в самом жизнерадостном расположении духа»: «После того, как народный комиссар иностранных дел Молотов предложил несколько неизбежных официальных тостов, на которые иностранные гости ответили, как положено в подобном случае, поднялся со своего места Сталин, сказавший, что он хочет тоже предложить тост. Это послужило началом серии головокружительных импровизаций, в которых он перебрал все главные службы, все основные роды войск Красной Армии, и, поднимая поименно бокал за их руководителей, присутствовавших за столом, давал юмористические, остроумные характеристики каждого из этих учреждений и родов войск и при этом представлял своих маршалов и генералов генералу де Голлю»[51].

По словам Блока, после 12 (или 15) тостов Сталин, «без устали поднимавшийся со своего места» для провозглашения бесконечных здравиц, предложил выпить за здоровье подполковника П. Пуйяда — командира полка французской истребительной авиации «Нормандия-Неман», сражавшегося против немцев на территории СССР совместно с советскими лётчиками. Дальше произошло «нечто поразительное»: пройдя вдоль огромного стола до его середины, Сталин приблизился к Пуйяду и, вместо того, чтобы просто чокнуться с ним, «продел правую руку под руку французского подполковника», и они выпили вместе в таком положении, словно были связаны друг с другом». Соседи по столу объяснили изумлённому Блоку, что согласно грузинскому обычаю, «двое людей, которые выпили вместе, скрестив руки, связаны до самой могилы и считаются как бы братьями по крови». Данный эпизод вызвал «большое удивление и волнение» у присутствовавших на банкете. Блок даже считал, что необходимо «как следует поразмыслить», «ибо Сталин ничего не делает необдуманно»[52].

Среди нововведений, появившихся в церемониале дипломатических приёмов, несомненно, по инициативе Сталина, следует особо

[50] Там же. С. 410—411.
[51] Там же. С. 414—415.
[52] Там же. С. 415.

отметить кинопросмотры, которыми, как правило, завершались банкеты. После обильного ужина, сопровождавшегося многочисленными тостами, его участники из Екатерининского зала переходили в соседнюю Зеркальную гостиную, где их угощали кофе, а затем приглашали в кинозал[53].

Как известно, к кинопросмотрам Сталин относился с пристрастием[54]. В 1934 г. на месте Зимнего сада в Большом Кремлёвском дворце появился кинопросмотровый зал (кинотеатр). Кинозал имел размеры 7,5×17 м, а его общая площадь составляла менее 130 кв.м. При этом он был оснащён самым совершенным для того времени проекционным оборудованием, приспособленным для показа звуковых фильмов, и всеми необходимыми техническими средствами. Зал был очень уютным: удобные кресла, обитые тёмно-зелёным дерматином, стояли, в отличие от обычного кинотеатра, довольно просторно; для поглощения звука стены в помещении были задрапированы тёмно-зелёной, с полоской, атласной тканью, окна занавешивались непроницаемой для света такого же тона, как и стены, тёмно-зелёной тканью, простой серый ковёр полностью закрывал пол. Лампы были скрыты в карнизах потолка, а свет перед сеансом медленно гасился с помощью реостата[55].

Почётным иностранным гостям демонстрировали текущую кинохронику, советские и зарубежные художественные фильмы и даже мультипликацию. Прушиньски писал, что по окончании банкета (уже наступило 4 декабря 1941 г.) члены польской делегации оказались «в небольшой комнате с белым экраном и глубокими мягкими креслами». Сталин сел рядом со С. Сикорским, Кот возле Молотова, прочие заняли оставшиеся свободные места. Были поданы сигары, кофе и десерт. Когда в зале погас свет, поляки не без удивления увидели на экране кадры кинохроники со сценами парада на Красной площади 7 ноября 1941 г., выступления Сталина, а затем — приезда Сикорского в Россию и его торжественной встречи в Куйбышеве и в Москве. У Прушиньского осталось ощущение, что большевики, которые стремились подражать «американским темпам», сумели запечатлеть на киноплёнке «даже самые последние события», показывая на экране поляков вплоть до начала кремлёвского приёма, практически до той минуты, когда они по окончании застолья вошли в кинопроекционный зал[56].

По окончании банкета 9 декабря 1944 г. членам французской делегации, а также присутствовавшим на нём представителям Великобри-

[53] Там же. С. 425.
[54] Кремлёвский кинотеатр. 1928—1953: Документы. М., 2005.
[55] Большой Кремлёвский дворец. Изд. 2, доп. М., 2010. С. 338—340.
[56] *Pruszyński K.* Op.cit. S. 103.

тании и США (Дж. Бальфуру и А. Гарриману) были показаны советские киноленты «Если завтра война», «Волга-Волга» и мультфильмы У. Диснея. Фильм «Если завтра война», вышедший в свет в 1938 г., показался де Голлю «конъюнктурным и достаточно наивным». Сюжет его был незамысловат: в ответ на немецкое вторжение на советскую землю Красная Армия, быстро и практически без потерь отбив нападение, переходит в наступление и оказывается на вражеской территории, в Германии вспыхивает революция, а фашизм терпит поражение. Когда Сталин заметил, что «конец этой истории» «не нравится де Голлю», тот не без раздражения отвечал: «Во всяком случае, Ваша победа мне нравится. И тем более, что с начала действительной войны события между Вами и немцами происходили не так, как показано в фильме»[57].

Дипломатические приемы, которые устраивал И.В. Сталин в Кремле в 1941—1945 гг., несомненно, имели целью налаживание непосредственных личных контактов с зарубежными государственными деятелями и дипломатами стран антигитлеровской коалиции. Кроме того, они являлись одной из практиковавшихся Сталиным специфических форм общения в политической среде. Эти застолья относились к разряду мероприятий государственного масштаба. И хотя их церемониал не всегда устраивал представителей союзных держав, а порой и вызывал у них внутренний протест, в конечном счёте, он способствовал достижению договорённостей с союзниками и символизировал укрепление позиций СССР на международной арене.

[57] Цит. по: *Невежин В.А.* Застольные речи Сталина... С. 411.

А.В. Голубев

М.М. Пришвин и антигитлеровская коалиция (1941 – 1943)[1]

Данная статья не просто посвящена памяти С.С. Секиринского, она в значительной мере обязана ему своим появлением. Когда вышли два тома военных дневников М.М. Пришвина[2], Сергей Сергеевич предложил мне написать небольшую статью для рубрики «Диалог о книге». Дневники, впрочем, оказались столь насыщенными, что в статье, опубликованной в журнале «Российская история», было проанализировано восприятие писателем внешнего мира лишь в 1940 — первой половине 1941 г., т.е. накануне войны[3]. Но «идеи и мнения» М.М. Пришвина, относящиеся к внешнему миру и, более узко, к формированию и функционированию антигитлеровской коалиции уже в годы Великой Отечественной войны, представляют не меньший интерес.

По сравнению с воспоминаниями, дневники имеют то преимущество, что в них фиксируется сиюминутная ситуация, причём именно так, как её в данную минуту воспринимает автор. Помимо своих собственных впечатлений и размышлений, он фиксирует мелочи быта, высказывания друзей и знакомых, своё отношение к тем или иным значимым событиям. Всё это достаточно редко отражается в других видах источников, за исключением, пожалуй, частных писем — но там подобные сюжеты гораздо более фрагментарны, да и частных писем, не считая «писем во власть», также сохранилось немного. И потому, когда были опубликованы дневники К.И. Чуковского и И.И. Шитца, В.И. Вернадского и Л.В. Шапориной, у некоторых исследователей появилось своеобразное искушение — признать, что вот здесь, в этих достаточно откровенных и,

[1] Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». Проект «Модернизация и эволюция инокультурных представлений российского/советского общества в контексте модернизации (конец XIX — первая половина XX в.)».

[2] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. М., 2012; *он же*. Дневники. 1942—1943. М., 2012.

[3] *Голубев А.В.* Мир начала 1940-х годов глазами русского писателя // Российская история. 2013. № 3. С. 149—154.

как правило, критических, высказываниях и содержится подлинная и даже единственная правда о мыслях и настроениях советского общества.

В своё время такую же реакцию вызвала публикация информационных сводок НКВД — их тоже объявляли единственно верным отражением ситуации в стране. Впрочем, постепенно возобладало более взвешенное отношение к этим материалам, которые имеют свою специфику, и при всём богатстве содержащейся в них информации могут быть важным, но никак не единственным источником по истории советского общества.

Изучая дневник, даже самый откровенный, автор которого пытается с максимальной объективностью фиксировать всё происходящее вокруг, необходимо помнить, что мы имеем дело лишь с одним фрагментом огромной мозаики. Но это вовсе не означает, что каждый конкретный дневник не заслуживает самого пристального и разностороннего изучения.

В российской историографии прочно утвердилось мнение, что в сталинскую эпоху лишь немногие вели дневники, поскольку ведение дневника в период «Большого террора», да и не только тогда, вполне могло стать отягчающим обстоятельством в случае, если его автор оказывался под следствием. При этом преобладали дневники представителей творческой интеллигенции, которые обычно подвергали свои тексты, даже не предназначавшиеся для публикации, жёсткой самоцензуре.

Как любое общее положение, в целом верное, оно вместе с тем требует ряда оговорок. Прежде всего, неизвестно реальное число советских граждан, которые вели дневники, пусть даже по разным причинам не дошедшие до нас, и при этом неясно, какое именно количество дневников «на душу населения» можно считать высоким, а какое — низким. Во-вторых, мы можем примерно оценить количество дневников, отложившихся в крупнейших архивохранилищах, таких как РГАЛИ, рукописный отдел РНБ или, например, «Народный архив» — их действительно немного. Но кто скажет, сколько дневников хранится в местных или ведомственных архивах, в следственных делах НКВД или просто в семьях авторов? И, наконец, в последние годы в научный оборот полностью или частично вошли десятки дневников, которые вели колхозники и школьники, мелкие служащие и учителя, представители интеллектуальной и политической элиты. Причём некоторые из них охватывают большой временной период, содержат довольно обширную информацию и практически свободны от самоцензуры. Яркий тому пример — многотомные дневники академика В.И. Вернадского и записи Л.В. Шапориной. Но и здесь особое место занимают дневники М.М. Пришвина, которые он вёл практически всю свою жизнь, с 1905 по 1954 г.

Отличительной чертой дневников Пришвина на протяжении всего этого времени было пристальное внимание его автора к событиям

не только внутри страны, но и за её пределами. Богатый жизненный опыт, прекрасное образование, полученное в том числе и в Европе, юношеское увлечение марксизмом и позднейшее в нём разочарование, наконец, многолетняя привычка к напряжённому философскому анализу позволили Пришвину сформировать своё видение мира, далёкое от тех или иных привычных идеологем. С ним можно не соглашаться, можно спорить, но это видение представляет несомненный интерес и по-новому заставляет взглянуть на процессы, происходившие в советском обществе (в духовной сфере в том числе).

Однако, если говорить о восприятии внешнего мира, нельзя обойти вопрос об источниках информации, доступной, в частности, для Пришвина[4]. Как сам он образно охарактеризовал ситуацию в июле 1929 г., «наша республика похожа на фотографическую тёмную комнату, в которую не пропускают ни одного луча со стороны, а внутри всё освещено красным фонариком»[5]. В годы войны ситуация осложнялась тем, что большую часть времени писатель проводил в деревне под Переславлем-Залесским, лишь иногда выезжая в Москву. Круг его общения существенно сузился.

В эти годы главным источником информации о мире для Пришвина служили сообщения советских газет или радио. Причём по дневнику ясно видно, что те или иные положения официальной пропаганды либо принимались Пришвиным на веру, либо, гораздо чаще, воспринимались им с большой долей скепсиса, однако постепенно, незаметно для него самого, усваивались и воспроизводились. Например, 16 ноября 1942 г. он записал: «Попалась газета, из которой видно, что Черчилль вполне искренний и, наверно, хочет делать то самое, о чём говорит. Но, по-видимому, и в самой Англии думают не все так, как Черчилль, и ещё есть Америка. Следовательно, сделается не как хочет Черчилль (правительство подало в отставку — и всё), а как оно выйдет»[6]. Данная запись представляет собой характерный пример сочетания доверия к информации, содержащейся в газете, и одновременно — её критического переосмысления.

Вторым, временами не менее важным источником информации, особенно когда газеты, а это случалось нередко, запаздывали, служили слухи[7]. В данном случае их можно разделить на несколько групп.

---

[4] О том, какими путями советское общество в целом получало информацию о ситуации в мире см.: *Голубев А.В.* «Если мир обрушится на нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-е — 1940-е годы. М., 2008. С. 27—87.

[5] *Пришвин М.М.* Дневники. 1928—1929. М., 2004. С. 432.

[6] *Он же.* Дневники. 1940—1941. С. 683.

[7] О роли слухов см.: Слухи в России XIX—XX веков. Неофициальная коммуникация и «крутые повороты» российской истории. Челябинск: Каменный пояс, 2011.

Первая, самая малочисленная, это слухи, циркулировавшие среди московских знакомых Пришвина. Они могли быть основаны на малодоступной и нередко достоверной информации, однако как раз подобные слухи до Пришвина в эти годы доходили редко. Основную массу слухов он получал от окружавших его деревенских жителей, колхозников, представителей сельской интеллигенции. Эти слухи, в свою очередь, тоже можно разделить на две группы. Часть слухов возникала на основе всё той же официальной информации, нередко искажённой до неузнаваемости или перетолкованной. Например, в ноябре 1941 г. в деревне, где жил Пришвин, заговорили, ссылаясь на сообщения радио, о взятии союзниками Гамбурга. Как вскоре выяснилось, «Гамбург» оказался Ливией, где англичане захватили несколько танков[8]. Другая часть слухов, ни на чём конкретном не основанная, представляла собой простое отражение страхов или надежд их носителей. Так, в январе 1942 г. Пришвин зафиксировал слух (сам он назвал его легендой) о том, что «будто бы Америка предложила Сталину распустить колхозы и вообще бросить всю партийную политику. А Сталин ответил: Всё распущу и со всем покончу, но сейчас этого сделать нельзя: начнётся кутерьма»[9].

И тем не менее, несмотря на весьма ограниченный доступ к информации, в дневниках Пришвина сложилась если и не абсолютно адекватная, то достаточно сложная и противоречивая картина, отразившая формирование и функционирование антифашистской коалиции.

* * *

На протяжении XVIII—XIX столетий, после того, как Россия вошла в число ведущих европейских держав, она неоднократно оказывалась участником самых разнообразных коалиций. В разное время её союзниками выступали Великобритания, Франция, Пруссия, Австрия, Швеция, даже Турция. Впрочем, те же державы время от времени оказывались и в числе её противников. Не случайно появилось знаменитое высказывание Александра III об армии и флоте как единственных союзниках Российской империи. Тем не менее и в течение XX в. Россия дважды в ходе двух мировых войн выступала в составе могущественной коалиции. Неудивительно поэтому, что образ врага и образ союзника играли в сознании российского (советского) общества важную роль, в том числе, кстати, и при решении внутриполитических проблем[10].

[8] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 706.
[9] *Он же.* Дневники. 1942—1943. С. 30.
[10] Подробнее см.: *Голубев А.В., Поршнева О.С.* Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М., 2012.

Однако если в преддверии Первой мировой войны в обществе существовало достаточно ясное представление о потенциальных врагах и союзниках, то накануне Второй мировой войны ситуация была намного более неопределённой. Немало свидетельств этого можно найти и в дневнике Пришвина[11].

Первой реакцией на начало войны была растерянность. 22 июня 1941 г. Пришвин записал в дневнике: «вероятно, Гессе (так в документе. — *А.Г.*) договорился с англичанами, и они согласились мириться за счёт России, если немцы сумеют свергнуть коммунизм»[12]. Однако вскоре последовало знаменитое заявление У. Черчилля, встреченное, впрочем, с откровенным недоверием. «Читал речь Черчилля о нападении на Россию Гитлера и не поверил искренности, как, наверно, у нас и никто не верит. Думаю, что Гитлер войной с Россией хочет заработать себе мир с Англией», — писал Пришвин в своём дневнике24 июня[13]. То, что Пришвин в своём отношении к Англии был не одинок, подтверждает недавно опубликованный дневник симферопольца Х.Г. Лашкевича, который 23 июня отметил: «Говорят чаще всего на тему: Германия договаривается с Англией, чтобы покончить войну за наш счёт. Заявлению Черчилля о совместных с нами действиях просто не верят: англичане якобы обманывают нас»[14]. Очень похожая оценка содержится и в дневнике ленинградского архивиста Г.А. Князева, сделавшего 23 июня запись: «Телеграмма с речью Черчилля о всемерной помощи СССР со стороны Англии встречена весьма радостно. Мы не одни. Помню, с каким волнением мы ждали в 1914 г. после начала войны с Германией, объявления войны Англией Германии. Нечто подобное пережили мы вчера и сегодня...» Но тут же важная оговорка: «Речь замечательная. Но, читая её, плохо верят в искренность англичан, хотя и признают всю значимость этого выступления»[15].

Более того, именно с политикой Англии связывали многие само начало войны. «Англия обещает нам помогать деньгами и техникой..., — рассуждала в своём дневнике 23 июня 1941 г. известная художница А.П. Остроумова-Лебедева. — Мне, лично, их помощь кажется не очень существенной. Истощённый, утомлённый народ. Да и многие примеры их помощи: Франция, Греция, Югославия... Неужели развязавшаяся война между нами и Гитлером вызвана коварной

[11] См.: *Голубев А.В.* Мир начала 1940-х годов. С. 152—153.
[12] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 491.
[13] Там же. С. 493.
[14] *Лашкевич Х.Г.* Дневники // Москва—Крым: Историко-публицистический альманах. Специальный выпуск: Крым в Великой Отечественной войне: дневники, воспоминания, исследования. Вып. 5. М., 2003. С. 237.
[15] *Князев Г.А.* Дни великих испытаний. Дневники 1941—1945. СПб., 2009. С. 28, 30.

политикой Англии?.. Неужели это есть результат... политики "коварного Альбиона"? Неужели это они натравили разъярённого дикого быка — Гитлера на нашу страну?»[16] Подобные мысли, кстати, не чужды были и Пришвину — 9 августа 1941 г. он усматривает «в газетах ликование англичан и Америки: им удалось стравить... (так в документе. — *А.Г.*)[17]».

Возникает вопрос, насколько в действительности было распространено такое отношение к союзникам и на чём оно основывалось. Само по себе наличие таких настроений сомнений не вызывает. Например, в июле 1941 г. в Красноуфимском районе Свердловской области отдел агитации и пропаганды местного райкома при проведении работы с населением выявил «неправильные» взгляды на обстановку, которые включали, вместе с пораженческими настроениями, «непонимание позиции Англии и Америки в отношении к Советскому Союзу» и проистекавшее отсюда недоверие к западным державам[18]. Подобные суждения неоднократно высказывались и в осаждённом Ленинграде[19]. Как указывает, например, основываясь на ленинградских материалах, Н.А. Ломагин, «сближение СССР с Англией и США в первые недели войны воспринималось населением с большой настороженностью и не являлось существенным фактором в развитии настроений — война с Германией представлялась своего рода дуэлью, в которой "демократии" в лучшем случае будут играть роль честных секундантов». И потому «большой интерес к международным событиям, которые в довоенном Ленинграде скорее напоминали мечты и грёзы, нежели имели какое-нибудь реальное значение, через два месяца войны практически полностью исчез, уступив место насущным вопросам борьбы за выживание». При этом «по-прежнему по отношению к демократическим государствам доминировало недоверие»[20].

Однако вместе с тем информационные материалы 1941 года показывают, что интерес к международным событиям, а точнее, к формированию и функционированию антигитлеровской коалиции, был достаточно велик[21]. Да и недоверие к ним отнюдь не было всеобщим:

---

[16] Цит. по: *Ломагин Н.А.* Неизвестная блокада. В 2-х книгах. Кн. 1. СПб., М., 2002. С. 219.

[17] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 543.

[18] Цит. по: *Колдомасов И.О.* Эволюция образа союзников в советском обществе военных лет: от катастрофы к «великому перелому» // Проблемы российской истории. Вып. 7. М.; Магнитогорск, 2006. С. 342.

[19] См.: Международное положение глазами ленинградцев. 1941—1945 (Из Архива Управления Федеральной Службы Безопасности по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области). СПб., 1996. С. 23, 44, 48—49, и др.

[20] *Ломагин Н.А.* Неизвестная блокада. Кн. 1. С. 216, 228.

[21] См. об этом: *Голубев А.В., Поршнева О.С.* Образ союзника. С. 292—311.

уже в первые дни войны в сводках НКГБ были отмечены высказывания о том, что политика Литвинова, направленная на союз с Англией и Францией, была верной. Характерно, что подобные высказывания проходили по разделу «антисоветских», а один из говоривших об этом был арестован[22]. Очевидно, «органы» ещё не успели осознать новую международную реальность, несмотря на заявления с обещаниями помощи со стороны правительств США и Англии, прозвучавшие 22 июня. Впрочем, в дальнейшем, особенно в 1941—1942 гг., в таких же сводках НКВД сомнения относительно результативности отношений с союзниками, не совпадающие с тоном прессы на данный день, также проходили по разряду «антисоветских».

Что же касается причин подобного отношения к союзникам, проще всего объяснить их воздействием многолетней пропаганды. Действительно, на протяжении всего межвоенного периода в официальном советском дискурсе Англия выступала в качестве либо главного, либо одного из главных противников, и антианглийские стереотипы, опиравшиеся к тому же на длительную историческую традицию англо-русского соперничества, были весьма устойчивы. Однако, говоря о Пришвине, подобного объяснения явно недостаточно. Скорее речь может идти — как, кстати, и у других людей старшего поколения — об опыте Первой мировой войны, когда «настроение 1914 года»[23] постепенно сменилось разочарованием в союзниках и даже неприязнью к ним[24]. В записной книжке писателя А.И. Пантелеева за 1942 год сохранилась любопытная запись: «С первых дней мировой войны 1914 года в Англии стал популярен, стал крылатым циничный лозунг: “Англия будет драться до последнего русского солдата”. Не вспомнилась и не пришлась ли по душе эта милая шутка отцов выросшим и возмужавшим деткам?»[25]

Но в ещё большей степени недоверие Пришвина (и не только Пришвина) к союзникам определялось чётким пониманием противоречий в классовой природе и интересах членов коалиции. Ещё 1 июня 1941 г. Пришвин писал в дневнике: «Америка знает, что после поражения в Европе будет революция и господином положения станет СССР, как “третий смеющийся”. Но почему же, зная это,

---

[22] Москва военная. 1941—1945. Мемуары и архивные документы. М., 1995. С. 50—52.

[23] См.: *Поршнева О.С.* Настроение 1914 г. в России как феномен истории и историографии // Российская история. 2010. № 2. С. 185—200.

[24] Этот сюжет подробно раскрыт в книге: Россия и Запад. Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века. М., 1998. С. 275—290.

[25] *Пантелеев А.И.* Из старых записных книжек (1922—1947) // *Пантелеев А.И.* Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. Л., 1985. С. 409.

Америка поощряет Англию продолжать войну? Не потому ли, что мысль не мыслит и действует только сила вещей»[26]. И после начала Великой Отечественной войны писатель часто возвращался к мысли о том, что победа СССР означает безусловную революции в Европе, а, возможно, и в мире, и Англия и Америка не могут не понимать этого. Пожалуй, наиболее развёрнуто Пришвин высказался об этом 15 ноября 1941 г.: «Как будто после речи Сталина[27] неслышными шагами, как тень, вышел на сцену Некто в сером и стал незаметно в уголку. Но мы усмотрели его и, подумав, стали догадываться и разбираться в текущих событиях по-новому. Некто в сером — это тот, от кого зависит названный Сталиным "второй фронт" в Европе, определяющий поражение или победу Красной армии. Итак, если Некто поможет, мы подожжём европейский костёр: тогда в Германии и Франции и всюду в Европе возьмут власть левые и соединятся с Россией. Тогда пожар может перекинуться и к самому Серому. И, значит, вот почему нельзя Серому нам всерьёз помогать, он может помогать лишь настолько, насколько сопротивление Красной армии побудит Германию к миру на выгодных для Серого условиях»[28].

Можно только догадываться, кого Пришвин подразумевал под «Серым» — политическое руководство Англии и США, монополистический капитал, масонов или некие анонимные «влиятельные круги» (расхожий стереотип советской пропаганды). Во всяком случае, в дневнике 1940—1943 гг. этот персонаж больше не появляется. Основная мысль данного фрагмента, однако, предельно ясна.

И позднее 24 января 1942 г. Пришвин указывал в дневнике на «расхождение с политикой демократии (Англии—Америки): их политика в том, чтобы подстроить обоюдное уничтожение большевиков и фашистов». Кроме того, ещё 28 августа 1941 г. ему казалось, что «остаётся возможность коварства англичан, которые помирятся с немцами за счёт большевиков, но тогда возродится Германия». 11 октября 1941 г. он допускал, что «между Германией и Англией состоялось тайное решение о мире и разделе России»[29].

---

[26] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 470.

[27] 6 ноября 1941 г. на торжественном заседании, посвящённом годовщине Октябрьской революции, И.В. Сталин, в частности, сказал: «Нет сомнения, что отсутствие второго фронта в Европе против немцев значительно облегчает положение немецкой армии. Но не может быть сомнения и в том, что появление второго фронта на континенте Европы, — а он безусловно должен появиться в ближайшее время, — существенно облегчит положение нашей армии в ущерб немецкой». См.: *Сталин И.В.* О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946. С. 24.

[28] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 680—681.

[29] Там же. С. 554, 629; Дневники. 1941—1942. С. 30.

Однако сотрудничество с союзниками, несмотря на все сложности, постепенно расширялось. 12 июля в Москве было подписано советско-английское соглашение о совместных действиях против гитлеровской Германии, положившее начало оформлению антигитлеровской коалиции. Любопытно, однако, что Пришвин как будто не заметил этого события (во всяком случае, в дневнике оно не отражено). В отличие от него Г.А. Князев, например, не только пересказал в дневнике соответствующее сообщение «Правды», но и сопроводил его весьма эмоциональным комментарием: «Гитлер объявил, что вся Европа объединилась в коалицию против большевиков, в “крестовый поход” против них. Он и Геббельс сообщали всему миру, “что сыны Германии снова выступили не только на защиту своей страны, но и всего нравственного мира”. И вдруг вместо коалиции всей Европы против СССР, коалиция Англии, её доминионов и при поддержке США коалиция всего мира против Германии!»[30] Пришвин же единственный раз, и то лишь косвенно, упоминает об этом соглашении 5 августа 1941 г., приводя слова местного повара: «не надо было заключать военного союза с Англией, — “зачем это надо было себе руки вязать?” Это единственный теперь, кто высказывается: все молчат»[31].

Одним из первых существенных проявлений англо-советского сотрудничества стал ввод советских и английских войск в Иран в августе 1941 г. Впрочем, и это событие Пришвин воспринял скорее пессимистически. «Вчера было известие по радио, что англо-русские войска вступили в Иран, — записал он 27 августа. — Это известие в ночной переработке (очевидно, Пришвин имеет в виду своё осмысление известия в ночные часы. — *А.Г.*) открыло мне глаза на горестное положение Гитлера: если он займёт Россию без нефти, чем он будет воевать? Отсюда вывод: или его из России погонят, или, если наша армия распадётся и новое правительство наше заключит с немцами мир, англичане помирятся с немцами и произойдёт давно ожидаемая оккупация и раздел России». А через несколько дней, 30 августа, он отмечает в дневнике: «Вчера мы были поражены известием по радио, что Днепропетровск пал. Сразу иранская англо-русская операция потеряла свою остроту, как всякое английское вялое военное предприятие: оттуда не будет спасения»[32].

Характерно, что и в этом случае настроение Пришвина разделялось значительной частью общества. В информационных сводках НКГБ за сентябрь 1941 г. приводятся следующие высказывания мо-

[30] *Князев Г.А.* Дни великих испытаний. С. 75.
[31] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 538.
[32] Там же. С. 552—553,555.

сквичей относительно вступления советских и британских войск в Иран: «Наконец-то нашёлся фронт, с которого мы можем получать победные сводки. И как ловко, с какой демагогией проделано всё это: сначала мы перечислили все наши благодеяния, оказанные Персии, потом уже сделали вывод о взятии её за горло. Самое же главное — проделали всё это в союзе с Англией, спрятавшись за её спину. За Англией не страшно. Наше командование может драться только на кулаках... Англичане уже одурачили СССР после вступления английских войск в Иран. Они держат под ударом Баку, который раньше или позже будет у нас отобран. Сейчас англичане нами командуют, они добились полностью того, о чём мечтали два года тому назад. Такой результат следует отнести за счёт нашего слабого и неквалифицированного руководства и увлечения идеей мировой революции со стороны наших вождей..., завоёвывая Иран, мы капитулируем в угоду Англии. Это глупая авантюра, даже сама нота списана с гитлеровских нот Дании и Норвегии. Что мы заработаем на этом? Войну с Турцией и Афганистаном. Англии это выгодно, но нам вредно... Английские войска в Иране — это опасное соседство для СССР, так как англичане народ хитрый, продажный, и сами целятся на бакинскую нефть»[33]. Разумеется, были и положительные отзывы, например: «Наше командование в первый раз одумалось и решило сделать хоть один шаг, который на фоне общего и позорного бегства наших армий даёт надежду, что, может быть, хотя бы нефтяной бассейн не будут бомбить... Наконец-то мы опередили немцев, и то, что они думали, — сделали мы. Важно, что этот акт совершён вместе с англичанами — гарантия перед мировым общественным мнением»[34].

Следующим событием в истории антифашистской коалиции, привлекшим внимание Пришвина, явилось совещание представителей СССР, США и Великобритании в Москве[35]. Впрочем, комментарии Пришвина оказались на удивление лаконичны: «В связи с англо-американской комиссией в Москве является возможность ожидать амнистии и некоторых перемен в политике», — предположил он 3 октября.

---

[33] Недремлющее око спецслужб // Московский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып. 4. М., 2006. С. 549, 550; *Христофоров В.С.* Общественные настроения в СССР: июнь—декабрь 1941 г. // Великая Отечественная война. 1941 г. М., 2011. С. 462.

[34] *Христофоров В.С.* Общественные настроения. С. 461—462.

[35] Московское совещание по вопросам ведения войны против фашистской Германии и её союзников и устройства мира после её окончания состоялось 29 сентября — 1 октября 1941 г. В результате был подписан протокол, определивший квоты американских и английских поставок вооружения, промышленного оборудования и продовольствия в СССР, а также встречных поставок некоторых товаров и сырья из СССР в США и Англию для нужд их военного производства.

7 октября писатель «после целой недели пропуска времени прочитал газетку (Англо-американская комиссия) и почувствовал впервые возможность длительной войны при поддержке Америки»[36].

К примеру, тот же Г.А. Князев оценивал это совещание гораздо эмоциональнее: «Московская конференция трёх держав, которую нацисты старались опорочить как “теоретическое утешение” Советскому Союзу, истекающему кровью, является окончательным утверждением антигитлеровского фронта и концом всяких иллюзий для Германии»[37].

Между тем в обществе бытовали и иные оценки. Накануне открытия совещания, 20 августа 1941 г., была подготовлена очередная справка НКВД, из которой следовало, что информация о предстоящем совещании вызвала среди населения столицы не только положительные отклики, но и некоторые опасения и тревоги по поводу будущего государственного устройства СССР: «Теперь нами будут командовать англо-американцы. Войну мы проиграли потому, что Гитлера-то мы побьём, а результатами воспользуются Англия и Америка... Когда СССР и Германия дойдут до обморочного состояния, тогда Англия и Америка будут диктовать нам свои условия. Конференция трёх держав кладёт начало такой политике Англии и Америки»[38]. Иногда с этой конференцией связывались и вовсе уж фантастические ожидания. Так, Л.В. Шапорина 22 сентября записала в дневнике: «Теперь ходят слухи о совещании в Москве с Америкой и Англией, они, дескать, требуют, чтобы Ленинград был сдан, а по другим версиям — объявлен вольным городом»[39].

«Теперь всё человечество, весь земной шар находится в состоянии войны, — комментировал Пришвин 8 ноября 1941 г. известие о вступлении в войну Японии и Америки. — Вот теперь настало время прекратить мечту о скором конце войны и возвращении к привычной жизни». Через два дня ему «с выступлением Японии стало ясно, что война эта не может кончиться случайным сговором на коротенький мир. Война эта может быть очень длительной»[40]. Любопытно, что ещё в июле 1941 г. Пришвин ожидал вступления Японии в войну против СССР: «Япония нависла и ждёт, как морской рак ждёт, когда крупная рыба акула зацепится на крючке перемета и тогда можно ей живой выесть глаза»[41]. В эти же дни в блокадном Ленинграде Г.А. Князев утверждал: «Америка теперь почувствует, что спастись среди моря

[36] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 617, 622.
[37] *Князев Г.А.* Дни великих испытаний. С. 213.
[38] *Христофоров В.С.* Общественные настроения. С. 459.
[39] *Шапорина Л.В.* Дневник. Т. 1. М., 2011. С. 260.
[40] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 718, 719.
[41] Там же. С. 526.

огня в изоляции нельзя. Но для этого ей надо было получить хорошую затрещину. На всех материках нашей планеты небывалая и не сравнимая по масштабам с войной 1914—1918 г. Вторая мировая война». «Америка переживает приблизительно то, что мы пережили в июне, — на следующий день добавил он. — Она должна ещё собраться с силами, чтобы отразить занесённый над нею удар»[42].

В другом блокадном дневнике, который вела И.Д. Зеленская, было отмечено одно важное следствие вступления Америки в войну, о чём не сказали ни Пришвин[43], ни Князев: «Эта дьявольская война разливается как океан. Является страх за дальневосточный фронт, за доставку американского вооружения. А с другой стороны, может быть и лучше, как широко вскрытый нарыв»[44]. О том же говорили, согласно информации НКВД, москвичи: «Вступление Японии в войну — крайне неблагоприятный факт для СССР, так как этим затрудняется доставка материалов из США. С другой стороны, военные материалы, которые США могли послать нам, нужны будут теперь ей самой... За нападением на Америку последует нападение и на СССР, в результате чего японцы, по-видимому, займут не только Сибирь, но дойдут и до Средней Азии». В некоторых откликах проскальзывала, как и у Князева, определённая доля злорадства: «Отрадно, что Америка, которая привыкла обогащаться за счёт войны других стран, сама сейчас отведает вкус войны». Но всё же преобладали позитивные отклики: «Война Японии с Америкой ускорит гибель Германии, мы опять выкарабкаемся на поверхность... Весь мир втянут в войну. После окончания её мир должен выглядеть по-другому. Германия вряд ли останется, как государство, а от Японии, если Америка и Англия активно включатся в войну, только щепки останутся... Возникновение войны между Японией, Америкой и Англией — событие огромной важности. Эта война устраняет возможности возникновения для нас Дальневосточного фронта и обеспечит укрепление военного сотрудничества между СССР, Англией и Америкой»[45].

Недоверие к союзникам и у самого Пришвина, и у окружавших его людей по разным поводам будет проявляться и впоследствии, на протяжении всего периода 1941—1943 гг. (а если говорить об обществе в целом, то и в течение всей войны). И всё же в конце 1941 — начале 1942 г. писатель приходит к мысли, что «“мы” — это уже не больше-

[42] *Князев Г.А.* Дни великих испытаний. С. 345, 348.

[43] Позднее, в январе 1942 г., Пришвин зафиксирует разговор «о слабой помощи от Америки. Со времени выступления Японии вовсе нет ничего». См.: *Пришвин М.М.* Дневники 1942—1943. С. 32.

[44] Научный архив ИРИ РАН. Ф. 2. Р. 3. Оп. 1. Д. 10. Л. 40.

[45] *Христофоров В.С.* Общественные настроения. С. 471—472.

вики, а часть многонародного фронта против фашистов»[46]. Это изменение отношения, пожалуй, наиболее ярко проявилось в оценке Тегеранской конференции, которая «временно заделывает всеми ощущаемую тревогу по поводу прочности союза капиталистов с коммунистами»: «Тревога эта откладывается на будущее, а на сегодня всем радостно объявление начала конца войны. Сила конференции в том, что открывается всё больше и больше бессмыслица сопротивления немцев: когда и для немца потеряется весь смысл их войны, то всё у них, конечно, и развалится»[47].

Помимо общих вопросов, связанных с политикой антигитлеровской коалиции, советские люди активно обсуждали три темы — второй фронт, материальная помощь союзников СССР и перспективы послевоенного урегулирования. Все они нашли отражение и в дневнике Пришвина.

Впервые само словосочетание «второй фронт» он употребляет (как, впрочем, и большинство его современников) в ноябре 1941 г., после речи, произнесённой Сталиным 6 ноября. Однако надежды на военную помощь со стороны союзников были у него и раньше. «После Киева[48] можем ли мы ещё победить? — спрашивал он себя в сентябре 1941 г. — Можем, если случится помощь извне: разложение в Германии или десант Англии»[49].

20 ноября 1941 г., подсчитывая людские ресурсы «стран оси», Пришвин приходит к выводу: «Ясно, что, если бы возник в Европе второй фронт, немцам пришёл бы конец. Значит, все нити войны в руках наших союзников, что захотят, то и сделают»[50].

Но — как и большинство советских граждан — с особенным нетерпением Пришвин ждал второго фронта с весны 1942 г. После победы под Москвой новые неудачи Красной Армии воспринимались особенно болезненно, а с началом Сталинградской битвы множество людей именно с ним связывали надежды на, казалось бы, почти недостижимый поворот в войне. 30 мая 1942 г. Пришвин пишет: «Теперь после Керчи[51] ясно становится, что без второго фронта мы ничего не сделаем и если теперь же, в самое ближайшее время не явится второй фронт, немцы нас заберут»[52].

---

[46] *Пришвин М.М.* Дневники. 1942—1943. С. 61.
[47] Там же. С. 651.
[48] Киев был взят немцами 19 сентября.
[49] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 601.
[50] Там же. С. 691.
[51] Имеется в виду тяжёлое поражение советских войск в Крыму. Керчь, освобождённая в декабре 1941 г., была вновь занята немцами 15 мая 1942 г.
[52] *Пришвин М.М.* Дневники. 1942—1943. С. 179.

Заключение «Договора о союзе и сотрудничестве» с Англией в мае 1942 г. и появление советско-английского и советско-американского коммюнике, в котором легко читался намёк на возможную высадку союзников в Европе, вызвали оживление надежд на скорейшее открытие второго фронта. Впрочем, как отмечалось в спецсводке Особого отдела НКВД Сталинградского фронта от 30 июля 1942 г., «бойцы, командиры и политработники, в своих многочисленных документах, выражают недоверие к союзникам об открытии ими второго фронта в Европе, а отдельные лица высказываются о невозможности завершения победы над врагом без эффективной помощи со стороны союзников»[53].

Первоначально реакция Пришвина на подписание соглашения была достаточно оптимистичной. «Договор о втором фронте рассеял равнодушную покорность длительной войны», — удовлетворённо констатировал он 19 июня[54]. В эти же дни академик В.И. Вернадский писал в дневнике: «Сегодня, 12.VI утром по радио сообщено о возвращении Молотова из Лондона и США и подписании договора с Англией и США и образовании второго фронта в Западной Европе, ждут во Франции». И в августе Вернадский был полон оптимизма: «Ясно, что в ближайшее время будет второй фронт в Германии и Западной Европе»[55]. Пришвин, напротив, уже в июле 1942 г. крайне скептически относился к перспективам открытия второго фронта. Старое недоверие к союзникам получило новые подтверждения. 4 июля он отмечал, что союзники «неискренни и водят наших за нос вторым фронтом. Немцы же всё идут: Тобрук пал, Севастополь пал[56] и скоро возьмут украинский урожай, а второго фронта всё нет и нет». Через несколько дней появилась новая запись: «Со всех сторон после падения Севастополя и начала жатвы на Украине началось обратное течение, и договор с Америкой стали называть “приговор”. Появились пессимисты, предсказывающие выступление Турции. Становится ясно, как день, что живой силой Англия и Америка действовать не могут, что в такой большой войне никого не обманешь просто дипломатией и даже механизацией, что к этим двум силам войны должна присоединиться живая сила народа»[57].

В начале августа, когда Красная Армия терпела поражение в излучине Дона, Пришвин пришёл к выводу, что теперь остаётся либо

[53] Сталинградская эпопея. Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ. М., 2000. С. 159.
[54] *Пришвин М.М.* Дневники. 1942—1943. С. 186.
[55] *Вернадский В.И.* Дневники. Июль 1941 — август 1943. М., 2010. С. 332, 261.
[56] Тобрук, город и порт в Ливии, был взят немецкими войсками 21 июня 1942 г. Севастополь пал 9 июля 1942 г.
[57] *Пришвин М.М.* Дневники. 1942—1943. С. 205, 206.

задержать продвижение немцев до открытия второго фронта, либо заключить с Германией сепаратный мир. Впрочем, в конце данной записи он сделал ещё более трагический прогноз: «В ожидании второго фронта наше полное вымирание»[58].

Настроение Пришвина в те дни лучше всего передаёт запись, оставленная им 7 августа 1942 г.: «Безумцами считали тех, кто в свое время стремился достигнуть Северного полюса или летать по воздуху. Но пришло время — полюс открыт, пришло время — люди летают, шутя обгоняя в воздухе птиц. Почему же не может выйти так и в области завоевания мира? Сорвалось у Александра Македонского, сорвалось у Наполеона, сорвётся у Гитлера, а может быть даже у Гитлера и не сорвётся? Должен же когда-нибудь прийти конец мукам человечества, сопряжённым с осуществлением мысли в едином управлении хозяйственной жизнью народов?..»[59]

В своём пессимизме Михаил Михайлович был далеко не одинок. Примерно о том же думал тогда Г.А. Князев: «Жизнь рушится. Судьба России, а с ней и Советской родины решилась... Разговор идёт уже о том, что разгром гитлеровской Германии начнётся в 1943 году, продолжится в 1944, 1945 годах...

А Советская Россия что будет делать, один на один борясь с немецкими полчищами, подкреплёнными войсками вассалов? Истекать кровью? Отодвигаться к Волге, за Волгу, к Уралу, за Урал?.. Случится несчастье с нами — несдобровать Англии, а за ней и Америке. У Германии ведь тогда будет опять один фронт!..»[60]

В октябре в Северной Африке перешли в наступление британские войска Б.Л. Монтгомери, а в ноябре в Марокко высадились американские войска во главе с Д. Эйзенхауэром. В Казахстане академик Вернадский с удовлетворением записал: «Высадка войск США во Французской Африке. Резкое изменение обстановки. *Второй фронт приблизился* (выделено автором дневника. — *А.Г.*)»[61]. Однако Пришвин на эти события не откликнулся.

После успешного завершения Сталинградской битвы вопрос о втором фронте потерял свою остроту. Академик З.Г. Френкель в январе 1943 г. признавал в своём блокадном дневнике возросшую «независимость от помощи союзников Красной Армии и Советского государства». «Пожалуй, теперь союзникам нужно уже не для нас, а для себя поторопиться со вторым фронтом», — заключал он[62]. В марте воен-

[58] Там же. С. 231.
[59] Там же. С. 232.
[60] *Князев Г.А.* Дни великих испытаний. С. 803, 811—812.
[61] *Вернадский В.И.* Дневники. Июль 1941 — август 1943. С. 374.
[62] *Френкель З.Г.* Записки о жизненном пути // Вопросы истории. 2007. № 7. С. 49.

ный корреспондент Д.В. Фибих так определял в дневнике «характер пропаганды и агитации в данный момент»: «Воспитание воинственности, борьба со всякими “лирическими настроениями”, внедрение уверенности в том, что мы справимся с немцами и без второго фронта... На второй фронт у нас в редакции уже махнули рукой»[63].

Конечно, исход войны был ещё неясен, но предчувствие неминуемого разгрома из дневника Пришвина исчезает, и уже с позиции стороннего наблюдателя он пишет в марте 1943 г.: «Прошёл слух (“из верных источников”), что наши отдали обратно немцам Лозовую, Краматорскую, всего 5 пунктов, что немцы бросили к нам на юг все силы, а союзники сидят и ничего не делают под Тунисом и что от них и не будет ничего для нас, и что, может быть, мы ещё с немцами против них соединимся»[64].

После высадки союзников в Италии в июле 1943 г. Пришвин отметил: «По всему видно, что немцам в России сделать больше ничего не удастся, а в Европе, в Сицилии, наконец-то открылся второй фронт». Впрочем, уже в сентябре он отказался считать итальянскую кампанию вторым фронтом...[65]

Что касается союзнических поставок, то в дневнике Пришвина о них упоминается редко, в основном в связи с чужими разговорами и слухами. Так, в феврале 1942 г. он зафиксировал, что успехи советских войск под Москвой «приписываются огромному числу танков и самолётов на нашем фронте от союзников». Так же объясняли собеседники Пришвина и победу под Сталинградом[66]. Сам Пришвин неоднократно подчёркивал, что на советско-германском фронте по сути выигрывается время, необходимое для производства вооружения прежде всего в США[67]. Между тем на деле в 1941—1942 гг. СССР получил лишь 7% от общего объёма поставок из США за годы войны, и победы под Москвой и Сталинградом вряд ли можно было приписывать американской помощи. Но её моральное значение отразилось в дневнике писателя.

Отдельно упоминались им поставки продовольствия. «После поездки Молотова, в Москве повеяло Америкой, — писал Пришвин летом 1942 г., — стали говорить, что сахар, сало и на фронте даже и мясо — американские». А в августе 1943 г. он пришёл к неожиданному выводу: «Победа началась в России, когда появилась

[63] *Фибих Д.В.* Фронтовые дневники 1942—1943 гг. // Новый мир. 2010. № 5. С. 63—67.
[64] *Пришвин М.М.* Дневники. 1942—1943. С. 449.
[65] Там же. С. 528, 576.
[66] Там же. С. 83, 346.
[67] Там же. С. 34, 288.

первая банка с американской колбасой. Наелся человек и кого-то разбил...»[68]. Словно предвосхищая подобные настроения, глава Совинформбюро С.А. Лозовский в феврале 1943 г. заявил: «В Англии, США, Канаде возникли комитеты помощи Советскому Союзу. Правда, эти комитеты посылали некоторые вещи, например: медикаменты, продукты и т.д. Так вот, эти комитеты посылают запросы с просьбой сообщить им, каким образом оказанная ими помощь воздействовала на победу Красной Армии. Это значит, нужно им сообщить, как их 5 банок консервов помогли угробить 300 тыс. немцев под Сталинградом»[69].

Очертания послевоенного мира всё сильнее волновали советское общество начиная с 1943 года, но Пришвин размышлял о них с самого начала войны. Впрочем, и накануне войны, ещё не будучи уверенным, что она вскоре начнётся, он тем не менее задумывался о её возможных последствиях[70]. «Неужели расчёт на крах коммунизма, с которым рано или поздно непременно придётся сражаться и самой Америке? — спрашивал себя писатель 25 июня 1941 г. — Неужели Англия им (немцам. — *А.Г.*) сказала: “Если свергнете и устроите свой порядок в Азии, мы помиримся”. А нам сказала: “Если вы разобьёте Германию, берите проливы”. Но если мы разобьём, разве не вспыхнет в Европе революция? Неужели же борьба с Германией закрывает и Англии глаза на борьбу с революцией? Может быть, так и разумно: основной враг, Германия, будет кончен, а с другим после как-нибудь»[71].

Неоднократно Пришвин писал о том, что в послевоенном мире найдут своё место и англо-американская, и германская, и советская модели. «Мы живём на острие, имея с Германией в сущности одну цель: свержение капитализма и основание мирового планового хозяйства, — утверждал он 1 августа 1941 г. — Вот из-за того, что по существу всё равно, Германия или Россия, лишь бы не капитал, и получается такое лёгкое примирение с тем или другим концом этой войны. Кончится же тем, что Америка навяжет миру свой план, в который войдут частично идеи, руководящие Россией и Германией». «Война идёт, конечно, за единство хозяйственного управления миром, — казалось ему 15 ноября 1942 г. — Англия давно стремилась к этому, Америка тоже этим теперь занята, Россия и Германия — и говорить нечего! Все стремятся к единству, но разными путями и

[68] Там же. С. 189, 558.
[69] Цит. по: *Иванов Р.Ф., Петрова Н.К.* Общественно-политические силы СССР и США в годы войны: 1941—1945. Воронеж, 1995. С. 197—198.
[70] См.: *Голубев А.В.* Мир начала 1940-х годов глазами русского писателя. С. 154.
[71] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 495.

на путях встречаются врагами. Так что война происходит за пути к единству»[72].

Вместе с тем Пришвин, как и многие его современники, ожидал перемен во внутренней политике советской власти под влиянием союзников. Уже в сентябре 1941 г. представители московской интеллигенции высказывали опасения (которые, возможно, были одновременно и надеждами): «В настоящей войне возможно поражение Германии, но в СССР всё равно будет изменена форма правления под давлением Америки и Англии в сторону создания демократической республики по их образцу. Для этого будут использованы их войска, которые Америка и Англия ввели в пределы СССР»[73]. В.И. Вернадский 15—16 ноября 1941 г. отмечал в дневнике: «Сейчас совершается сдвиг, и, вижу, многим тоже кажется — огромного значения... Союз с англосаксонскими государствами — демократиями, в которых в жизнь вошли глубоким образом идеи свободы мысли, свободы веры и формы больших экономических изменений с принципами свободы... Впереди неизбежны коренные изменения — особенно на фоне победы нашей и англосаксонских демократий...» Позднее, уже в 1942 г., он добавил: «Союз с демократиями усилит у нас свободу мысли, свободу веры, свободу научных исканий. Полицейский режим ослабнет, а м[ожет] б[ыть], наконец уйдёт в историю»[74].

Постоянно, особенно с 1943 г., шли разговоры о предстоящей будто бы благодаря союзникам отмене цензуры, об установлении демократии и свободы совести, ликвидации колхозов. «Усиленно распространяются слухи о том, что скоро будет у нас введена свобода различных политических партий, а также свобода частной торговли, что будет выбран новый царь, что после войны миром будут руководить Америка и Англия и т.д.», — говорилось в справке о политических настроениях в Свердловске в 1943 г.[75]

Начальник отделения Управления дорожного строительства Октябрьской железной дороги И.И. Жилинский достаточно трезво полагал в своём блокадном дневнике в январе 1942 г., что союзники «имеют попытку повлиять на внутренний режим в нашей стране в

[72] Там же. С. 532; *он же*. Дневники. 1942—1943. С. 325.

[73] Недремлющее око спецслужб... С. 556. Неясно, что имел в виду автор высказывания, говоря о войсках союзников, введённых в СССР. Возможно, так была расценена совместная советско-британская оккупация Ирана: многие воспринимали этот шаг, как попытку Англии утвердиться на Кавказе. См.: Там же. С. 549—556.

[74] *Вернадский В.И.* Дневники. Июль 1941 — август 1943. М., 2010. С. 69,71. См. также: *Bailes K.* Soviet Science in the Stalin Period: The Case of V.I. Vernadskii & his School. 1928—1945 // Slavic Review. Vol. 45. N 1. P. 36.

[75] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 181. Л. 5.

смысле свободы слова и вероисповедания в полном смысле этих терминов на демократических началах. Однако наши в этом, конечно, проявят достаточно увёртливости, а Америка и Англия отступят и разрешат нам вариться в собственном соку»[76].

Однако у Пришвина подобные перспективы вызывали скорее беспокойство, нежели надежду. «Очень повторяют из декларации Черчилля—Рузвельта о целях войны: обеспечить народам свободу вероисповедания и слова. Говорят, будто бы они и у нас вели речь об этом и хотели уйти из-за этого, но получили какое-то согласие», — сообщал он по поводу Атлантической хартии[77], не скрывая своего отвращения к «либерализму, демократизму капиталистического происхождения» и убеждённости в том, что «победивший коммунизм обеспечит это по существу и для всего мира, а не иллюзорно для правящих классов, бросающих крохи благ своих демократии»[78]. Чуть позже, 14 сентября 1941 г., он уточнит свои опасения: «Слова Рузвельта о необходимости обеспечить во всём мире права людей на свободу вероисповедания — слова равносильны полному уничтожению большевиков и звучат как вызов на будущую войну с СССР после поражения немцев»[79]. И, наконец, 7 октября 1941 г. он делает вывод: «Может создаться состояние мерзкой необходимости неволи, обусловленной не нашим русским, а мировым состоянием»[80].

Подобные настроения были тогда не так уж редки. В ноябре 1942 г. красноармеец Евстегнеев (вскоре арестованный) уверенно заявлял: «Наше правительство и партия продались англичанам, если даже будет наша победа, то после войны у нас будет власть англичан, а не советская. В нашей стране создалось такое затруднительное положение, что приходится идти на все уступки англичанам. Теперь Советский Союз не сам руководит, а ему диктуют Англия и Америка»[81].

В ноябре 1941 г., по словам писателя, «распространилась легенда о близком конце войны с победой Америки»: «Говорят, будто бы Америка, победив, всё нам даст, всё починит разрушенное, всё построит вновь и что за это большевики распустят колхозы, дадут свободу торговли и религии (так и передали о свободе этой, рядом религию и

[76] *Жилинский И.И.* Блокадный дневник (осень 1941 — весна 1942 г.) // Вопросы истории. 1996. № 7. С. 6.

[77] Атлантическая хартия, призванная определить устройство мира после победы союзников, принята на Атлантической конференции британским премьером У. Черчиллем и президентом США Ф.Д. Рузвельтом, о чём было заявлено 14 августа 1941 г. 24 сентября 1941 г. к хартии присоединился и СССР.

[78] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 579.

[79] Там же. С. 582.

[80] Там же. С. 622.

[81] Сталинградская эпопея. С. 399.

торговлю). Вместе с этим из легенды предыдущей о немце как устроителе русского государства выпала всякая нравственная ответственность, и будущее представляется как легенда о порядочном господине с великолепными подарками и розами»[82]. К этому образу «порядочного господина», которого расчётливые матушки ждут в женихи для своей дочери, Пришвин возвращался не раз, поскольку в его понимании надежды на союзников свидетельствовали об отсутствии того, что он называл «нравственной ответственностью».

В 1942 г. размышления о послевоенном мире отходят на второй план: слишком велика была тогда, в глазах Пришвина, опасность поражения. Но уже осенью 1943 г. он проходит ту же эволюцию, которую проделало русское общество в 1914—1916 гг. (но, в целом, обратную тому, что испытало советское общество в годы войны). Надежды на союзников сменяются в его дневнике 1 сентября 1943 г. рассуждениями о возможном после войны альянсе с побеждённой Германией: «Мне думается, что мы вступаем в то же соотношение с миром, в каком была Германия в начале войны: всё возьму (Германия) и всё куплю (Америка). Теперь же и мы, голодные, побеждая, начинаем этот круг “всё возьму” против “всё куплю”. Естественно, что в этих условиях возникает мысль о смычке с Германией, и значит, германская идея насильной переделки мира приходит к нам, как от неё же пришёл нам социализм, и продолжается нами...»[83].

Отношение писателя к политике антигитлеровской коалиции, пожалуй, резче всего выразилось в записи, сделанной 14 сентября 1943 г. и ставшей своеобразным выводом из всего, осмысленного и переосмысленного им за первые годы войны: «Каким-то хозяевам, собственникам в Америке выгодно, чтобы нас, русских, расстреливали больше и дольше. Может быть, по высшему суду истории мы заслужили такой казни, но как понимать, за кого считать тех существ, кому выгодно уничтожение русских с их детьми и стариками? Пусть они действуют, как палачи, не своей волей, пусть даже и погибнут все славянские народы на счастье американцев, как погибли индейские племена, можно ли современной мыслящей личности молча и в этот раз пропустить в будущее такое счастье и не погрозить кулаком самому богу этого счастья?..»[84]

Впрочем, война продолжалась, исход её был ещё неясен, и тем более туманными выглядели контуры послевоенного мира. Военный дневник Пришвина был далёк от своего логического завершения...

---

[82] *Пришвин М.М.* Дневники. 1940—1941. С. 700.
[83] *Он же.* Дневники. 1942—1943. С. 563.
[84] Там же. С. 580.

Е.Ю. Зубкова

Послевоенный андеграунд и его окружение в прозе Эдуарда Кочергина

Удивительная вещь — случай. Книгу Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла»[1] я впервые увидела в руках Сергея Секиринского. «Почитай, получишь удовольствие», — опередил он мой вопрос и добавил: «Кочергин скоро будет в нашем клубе, приходи». Сергей говорил о клубе «Историк и Художник» — месте, где вопрос, может ли художник быть историком и наоборот, решался просто и наглядно, как говорится, на живом примере. Для чистоты эксперимента выступали в этом качестве поочерёдно обе стороны — и историки, и художники. Как Секиринский находил героев для этих клубных вечеров, для меня остаётся загадкой, но каждый раз это было открытие — даже если речь шла о хорошо знакомых коллегах-историках. Что же говорить о гостях из другого цеха — о художниках? «Делать открытие» — выражение, вероятно, не очень подходящее к нашему историописательскому ремеслу, но Секиринский был именно открывателем. И ещё великим придумщиком, что в принципе одно и то же. Так он открыл для меня Кочергина. И, кстати, кроме обещанного литературного удовольствия (а проза у Кочергина действительно замечательная) это был и чисто профессиональный подарок — редкий источник, рассказы «из первых рук» о послевоенной жизни советского андеграунда — людей, волею судеб и властей оказавшихся на обочине жизни. Я тогда только начала заниматься проблемой социальных маргиналов, не подозревая, сколько сложностей ожидает впереди. Не люблю затёртого словосочетания «настольная книга», но книги Кочергина с тех пор являются для меня рабочими — это точно. Спасибо Сергею Сергеевичу.

Знаменитый сценограф, главный художник Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова, лауреат всевозможных премий, в том числе литературных, Эдуард Кочергин является автором серии рассказов, объединённых в книги «Ангелова кукла» и «Крещёные крестами»[2]. О прозе Кочергина написаны уже десятки литературоведческих статей и рецензий. Для историков это пока ещё мало

[1] *Кочергин Э.* Ангелова кукла. Записки рисовального человека. Изд. 3. СПб., 2007.
[2] *Он же*. Крещённые крестами. Записки на коленках. СПб., 2009.

освоенная территория, хотя на мой — для кого-то, возможно, узкопрофессиональный (но на самом деле — прицельный и заинтересованный) — взгляд, появление книг Кочергина — это событие в мире истории, точнее историописания.

Меня, признаться, удивила дискуссия по поводу присуждения книге «Крещённые крестами» премии «Национальный бестселлер» в 2010 г. Будто бы книга Кочергина уже и не актуальна вовсе, по крайней мере, для формата премии, что она всего лишь «опоздавшая на двадцать с лишним лет повесть "Ночевала тучка золотая"» (Виктор Топоров)[3]. Дальше — больше: книга по-своему хороша (достоверность личного опыта плюс независимость интонации), но «язык описания сталинского времени... это совершенно не то, о чём сейчас следует волноваться или говорить». И вообще «книга о прошлом... просто сразу уже отодвинута из интересного, потому что более или менее все вопросы о прошлом решены или, даже будучи не решёнными, они перестали быть самыми волнующими» (Анна Наринская)[4]. В каком мире и в какой стране с «решёнными вопросами» живёт литературный критик, не совсем понятно, но в конце концов это точка зрения критика. Историк же — то есть человек, пишущий исключительно «книги о прошлом», не может не признать: к решению многих вопросов, о которых говорит Кочергин, мы ещё даже не приступали.

Книги Кочергина вызывают полемику по многим причинам, не в последнюю очередь потому, что они — необычные, выпадающие из жанра. Сам автор определил их как записки, сделанные по случаю («записки рисовального человека», «записки на коленках»). Они автобиографичны — Кочергин пишет о том, что видел и пережил сам, и исторически достоверны — не в смысле точности дат и событий, а как живое описание деталей и типажей послевоенной повседневности. И хотя такой разновидности источников нет ни в одном учебнике по источниковедению, я назвала бы записки-рассказы Кочергина *историческими этюдами* — зарисовками, сделанными по памяти наблюдательным художником и блестящим рассказчиком. В этом сочетании — художник, очевидец и рассказчик (когда рассказчик ещё и историк тоже, в *до*научном, нерасчленённом значении этих слов) — очарование и подкупающая подлинность прозы Кочергина.

Одна из центральных тем рассказов Кочергина — жизнь андеграунда, аутсайдеров послевоенного времени — бродяг, инвалидов, нищих, уголовников, городских проституток. Это тоже необычно, хотя

[3] Повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» была впервые опубликована в 1987 г. Главные герои повести, как и у Кочергина, — дети войны.

[4] Повесть о выживании и надежде. Эдуард Кочергин рассказывает о своей книге «Крещённые крестами» // URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/2074528.html — дата обращения 14 мая 2013 г.

не случайно: сын «врага народа», Эдуард Кочергин, прошёл детские приёмники НКВД, колонию, чтобы выжить, промышлял воровством, был «своим пацанком» в криминальном мире.

«В то победоносное, маршевое время этих людишек никто не замечал и не думал о них, разве что Господь Бог и легавые власти, что и понятно: они, грешные, всегда были виноваты. Но невзирая на это, человечки жили своей непридуманной жизнью, по-своему кормились, ругались, любились, развлекались и на вопрос "Как живёте?" отвечали: "Пока живём" или шутили: "Так и живём — курочку купим, петушка украдём"»[5].

«Россия!... Кто здесь крайний?» — вопрошает один из героев Кочергина[6]. Кто же они — эти «крайние», «человечки», не вписавшиеся в победный ритм «маршевого времени»? Их называют по-разному: *андеграунд, underclass, асоциальные элементы, пограничные, окраинные группы, социальное «дно»*. Однако любое из этих понятий является достаточно условным: не случайно эксперты отмечают их содержательную расплывчатость или выражают сомнение в корректности употребления некоторых из них[7]. Обозначение представителей этих групп как «маргиналов» лексически было бы вполне оправданным (от латинского *margo* — край, граница, предел), однако само понятие маргинальности является настолько нечётким и эластичным, что требует каждый раз уточнения предмета.

Наиболее адекватным предмету, на мой взгляд, является понятие *«пограничные, окраинные группы»*[8]. *Оно отражает как положение представителей этих групп по отношению к «основному» социуму*[9]*, так и уязвимость их социального статуса. Кроме того, понятие «окраинных групп» может включать в себя и так называемые группы риска, т.е. социальные категории, которые не относятся к классическим обитателям социального «дна», но вследствие своего материального и общественного положения, иногда культурной традиции находятся под*

---

[5] *Кочергин Э.* Ангелова кукла. С. 85.

[6] Там же. С. 380.

[7] Больше всего сомнений по поводу корректности употребления вызывает немецкое понятие «Asoziale» (асоциальные), которое использовалось при национал-социализме для маркирования определённых групп, подлежащих преследованию и даже уничтожению. Преследование «асоциальных элементов» стало частью расистской идеологии при гитлеровском режиме.

[8] К сожалению понятие «пограничных, окраинных групп» по отношению к социальным маргиналам пока не нашло широкого хождения в русскоязычной научной литературе, в отличие, например, от Германии, где аналогичный термин «Randgruppen» используется весьма активно.

[9] Обычно в социологии под окраинными группами понимают тех, кто дистанцирован от так называемого «основного» общества — «ядра» (Kerngesellschaft). См.: *Vaskovics L.* Marginalität // Wörterbuch der Soziologie. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart, 1989. B. 2.

угрозой быть исключёнными из «основного» общества. В советских реалиях послевоенных лет в зоне риска нередко оказывались инвалиды, беспризорные и безнадзорные дети, люди с судимостью, репатриированные, побывавшие в плену или на оккупированной территории и другие категории граждан. Получается, что Кочергин со своим вопросом «кто здесь крайний» и терминологически оказался весьма точен.

Советская реальность была отмечена целым рядом парадоксов. Один из них состоял в том, что, с одной стороны, советское государство, как и любое иное, было заинтересовано в социальной стабильности. Но, с другой стороны — своей политикой оно расшатывало, разрушало эту стабильность, выталкивая часть граждан из социума, превращая их в социальных маргиналов. Эта ситуация была особенно характерна для 1920—1930-х гг., когда шёл процесс массового вытеснения на периферию социальной жизни всех, кто по тем или иным причинам не вписывался в новый социальный порядок. После войны процесс культивирования социальных маргиналов уже не носил массового характера, но в советском обществе всегда существовали группы риска — категории населения с пониженным социальным статусом и неустойчивым социальным положением. Это те, кто стоял «на краю», отделявшем «нормальное» общество от его андеграунда.

Представителей андеграунда, обитателей социального «дна» называют людьми «без голоса»: они, как правило, не оставляют письменных свидетельств, и кроме блатного фольклора, у историка часто нет других источников, характеризующих этот мир изнутри.

Так сложилось, что жизнь андеграунда в России, и не только у нас, больше занимала литераторов, нежели историков. В конце XIX и особенно в начале XX века писатели и публицисты — С.В. Максимов, А.И. Свирский, В.В. Крестовский, В.А. Гиляровский[10] — специально изучали жизнь городских трущоб, бродяжий и нищий люд; их наблюдения, хотя и являются литературной реконструкцией, оказались весьма полезным для историка источником[11]. Сейчас этот метод назвали бы

[10] *Максимов С.В.* Бродячая Русь Христа-ради // *Максимов С.В.* Собрание сочинений в 20 томах. Т. 5. СПб., 1908; *Свирский А.И.* Мир нищих и пропойц // *Свирский А.И.* Погибшие люди: Очерки. Т. 3. СПб., 1898; *Крестовский В.В.* Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных. М., 1990; *Гиляровский В.А.* Трущобные люди. М., 2007.

[11] Эту особенность художественно-публицистических книг об обитателях социального «дна» отметил немецкий историк Хубертус Ян. Несмотря на реализм описания, речь идёт о литературных произведениях, исторической («культурной») реконструкции реальности (*Jahn H.F.* Bettler in St. Petersburg: Gedanken zur kulturellen Konstruktion sozialer Realität // Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Selbstverwaltung, Assoziierung und Geselligkeit in den Städten des ausgehenden Zarenreiches, ed. Guido Hausmann. Göttingen, 2002. P. 443).

«включённым наблюдением»: так работают современные социологи с сообществами социальных маргиналов. Кроме того, в конце XIX века, а потом и в советские 1920-е годы проводились социологические исследования положения нищих, бродяг, представителей криминального мира. За период с конца 1920-х и вплоть до середины 1950-х гг. таких источников просто нет. Проблема андеграунда была выведена из публичного дискурса, дабы социальные задворки не портили парадный фасад общества, строящего и как будто даже построившего социализм.

Основную массу доступных для историка документов советского времени составляют материалы правоохранительных органов (милиции, суда, прокуратуры), социальных служб, т.е. структур, представляющих интересы государства. Для них нищие, бродяги, проститутки, уголовники — объекты государственной политики. Взгляд с позиции субъекта в документах государственных органов почти не присутствует, он обозначен, но в виде исключения — в милицейских протоколах или опросных листах при задержаниях. Ещё реже голос людей андеграунда прорывается в письмах — просто потому, что таких писем дошли до нас единицы. Ситуация, по крайней мере на сегодняшний день, выглядит таким образом, что по архивным документам можно изучать государственную политику по отношению к социальным маргиналам[12], но реконструировать мир советского андеграунда на основе этих источников очень сложно, почти невозможно.

Рассказы Кочергина продолжают традицию «включённого наблюдения» русских писателей начала XX века, в этом смысле его книги — тоже литературно-историческая реконструкция, тем более что написаны они много лет спустя после описываемых событий. Но есть один нюанс: когда Гиляровский и Крестовский изучали обитателей городского «дна», они делали это добровольно, у Кочергина, тогда ещё ребенка, выбора не было: он «включился» (точнее его «включили») в жизнь отверженных вынужденно и он стал одним из них тоже не по своей воле. Можно сравнить милицейские сводки и зарисовки Кочергина: в них встречаются одни и те же человеческие типажи — нищие, бродяги, воры, проститутки — но Кочергин сделал из «протокольных» персонажей живых людей. Они уже не объекты, а действующие лица, настоящие актёры послевоенной повседневности — нищие Мытарка Коломенская и Гоша Ноги Колесом, старый вор в законе Мечта Прокурора, городской юродивый Ваня-жид, проститутки Шурка Вечная Каурка и Аришка Порченая, инвалиды войны Капитан и Василий Петроград-

[12] См. подробнее: *Зубкова Е.Ю.* На «краю» советского общества. Маргинальные группы населения и государственная политика. 1940—1960-е годы // Российская история. 2009. № 5. С. 101—118.

ский. Так увечные фронтовики, герои войны, оказавшись почему-то лишними в мирной жизни, соединились во времени и пространстве с ворами и нищими, стали частью одного маргинального сообщества. Кочергин это не выдумал, он просто зафиксировал, как это было.

Среда обитания героев «Ангеловой куклы» — задворки, обочина Васильевского острова и Голодая (острова Декабристов) в Ленинграде. «Островная» организация сообщества маргиналов — жизненное пространство и одновременно символ отчуждения этого своеобразного социума от «основного», «правильного» общества. Остров в данном случае и художественный образ, и реальность. Васильевский остров, например, вовсе не случайно оказался прибежищем маргиналов.

Императрица Елизавета Петровна, проезжая как-то по Петербургу в марте 1758 г., повстречала нищенку. Внешний вид женщины показался государыне настолько неэстетичным («весьма противным»), что спустя месяц появился указ: «дабы таким увечным и гнусным отнюдь не допускать здесь в резиденции таскаться, <....> в богадельни определять; чего ради оныя <....> построить на Васильевском острову, только не на больших улицах и в таком месте, где бы знатного проезда не было»[13].

Принцип «с глаз долой», как и создание таких своего рода резерваций для людей, неуместных на «больших улицах», стал традицией и много раз повторялся и в дореволюционную эпоху, и уже при советской власти. Так появился знаменитый «101-й километр» — черта оседлости для маргиналов, «отдалённые районы» — место ссылки и спецпоселений для них же, наконец, острова, где человека, особенно увечного, легко было изолировать от общества. Даже выражение «упрятать в монастырь» приобрело почти прямой смысл в стране закрытых монастырей: в некоторых из них размещались дома инвалидов, обитатели которых чувствовали себя абсолютно оторванными от нормальной жизни. Как правило, в изоляции оказывались самые социально незащищённые — инвалиды, дети-сироты, одинокие старики.

Мир андеграунда жил своей автономной жизнью, но в то же время не был отделён от остального общества «китайской стеной». Размытость состояния отчуждённости/сопричастности — одна из особенностей послевоенного социального устройства. Война смешала людей: всеобщее обнищание, бездомность миллионов, массовое сиротство, появление целой армии инвалидов, разгул криминала — всё это привело к дезорганизации социального порядка и к усилению процессов маргинализации в советском обществе.

[13] Указ «О воспрещении увечным ходить в Санкт-Петербурге для прошения милостыни» 13 апреля 1758 г. // ПСЗ-I. Т. XV. № 10824. С. 189—190.

Вместе с тем существовали места концентрации — сгущённого присутствия маргинального и криминального элемента, которые, как и в жизни законопослушных граждан, делились на «дом» и «работу». В каждом городе были свои криминальные районы, например, Голодай в Ленинграде или Марьина роща в Москве. В Калужской области с дореволюционных времён сохранились «нищенские гнезда» — сёла, жители которых почти поголовно занимались нищенством (даже создание колхозов в этом смысле ничего не поменяло). Вокзалы, базары и железная дорога традиционно служили местом промысла воров и нищих, нищие столь же привычно присутствовали на кладбищах и паперти храмов. Были свои места обитания у городских проституток, что у потребителей этого рода услуг нередко служило своеобразной «профессиональной» идентификацией.

«Знающие люди делили девиц нашей стороны на несколько разновидностей, связанных со “стойбищами” или местами жительства, с возрастом или специализацией, то есть средой обслуживания. Речные девушки (или дешёвки) обслуживали речной флот — работа сезонная; чванок снимали у ресторана “Приморский”, кооперативок — у ДК имени Промкооперации; парколенинские шкицы и промокашки, понятное дело, работали в парке Ленина. Были ещё ботанические девушки, жившие на Аптекарском острове, где у Петра Первого был аптекарский огород»[14].

Мир андеграунда не мог существовать отдельно от мира обычных граждан не только в силу «производственной» необходимости. Пересекающихся пространств было множество, в том числе и таких, где люди и интересы обоих миров относительно бесконфликтно уживались друг с другом. Одним из самых демократичных мест общения после войны стали небольшие питейные заведения — в народе их называли шалманами, забегаловками или более изысканно — «голубыми дунаями» (по распространённому названию этих точек). Впрочем, в каждом городе существовали свои — самые известные и популярные заведения, со своей историей, публикой и со своими неповторимыми, народными названиями.

На Петроградской стороне в Ленинграде популярностью пользовался кабак «Неугасимая свеча» — работал почти круглосуточно, потому так назывался и был любим. На Бармалеевой улице стояли два заведения, именуемые посетителями «Бармалеевыми заходами», а несколько питейных точек, расположенных неподалёку от проспекта Щорса, народ окрестил «Усами Щорса»[15]. В Ленинграде, в Летнем

[14] *Кочергин Э.* Ангелова кукла. С. 178.
[15] Там же. С. 164—165.

саду расположились две точки — «У Петра» и «У Ивана». Ориентирами служили Летний дворец Петра I и памятник Ивану Крылову — отсюда и названия[16]. «У Ивана» считалось местом «приличным» — со скатертями и официантами, «У Петра» — попроще, на свежем воздухе. У этих питейных мест собиралась своя постоянная публика — «элита городского бражничества», состоявшая в основном из бывших фронтовиков[17]. Начинали, как водится с «Петра» — когда деньги водились, по мере истощения ресурса «петровская» публика перемещалась к «Ивану».

Существование подобных шалманов-забегаловок — характерный феномен послевоенной повседневной жизни. Кочергин называет их своеобразными клубами, объединяющими людей, «списанных государством и не нужных мирному времени»[18]. Они и были клубами — последним прибежищем фронтового братства, местом, где тон общению задавала фронтовая ностальгия, а вездесущие соглядатаи не мешали откровенности разговоров. Ругали власть, но говорили в основном о войне. Что и понятно: оказавшись в мирной жизни где-то с краю, на обочине, они тосковали о времени, когда были на передовой.

Писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев писал, что на войне человек чувствовал себя «до необходимости необходимым» — «словно ты один в своих руках судьбу России держишь», после войны всё изменилось: «есть я, нету меня, всё по-обычному течёт»[19]. Татьяна Лещенко-Сухомлина (исполнительница русских романсов) наблюдала одну сцену: двое молодых людей, оба фронтовика, оказались с ней за одним столиком в кафе, и один из них в порыве откровенности сказал: «Мы стали как деревянные болванчики — нас давно отучили мыслить самостоятельно: живём по команде сверху. Думали, после войны будет легче дышать. Нет, ещё крепче окружили нас»[20]. В дневнике писателя Эммануила Казакевича, тоже бывшего фронтовика, есть запись от 9 мая 1950 года: «День победы <...> Я зашёл в пивную. Два инвалида и слесарь-водопроводчик <...> пили пиво и вспоминали войну. Один плакал, потом сказал: Если будет война, я опять пойду»[21]. У Кочергина те же герои и те же настроения:

«Многие бывшие слесари-водопроводчики, просто слесари-столяры, электрики и прочих ремесленных дел люди в войну, по возникшим

[16] Там же. С. 122—123.
[17] Там же. С. 123.
[18] Там же. С. 137.
[19] *Кондратьев В.* Парадоксы фронтовой ностальгии // Литературная газета. 1990. 9 мая. № 9.
[20] *Лещенко-Сухомлина Т.* Долгое будущее. Дневник // Согласие. 1991. № 2. С. 187.
[21] *Казакевич Э.Г.* Слушая время. Дневники, записные книжки, письма. М., 1990. С. 28.

обстоятельствам, благодаря своей храбрости и смётке, стали командирами взводов, рот и батальонов, подчиняя себе в боях множество людей. А выйдя на гражданку, вынуждены были снова вернуться к своим верстакам, но уже не смогли этого сделать и спивались в шалманах и пивнухах, вспоминая штурмы Кёнигсберга, Будапешта, Берлина»[22].

Невольно снова возникает ассоциация с островом — ограниченным пространством странной свободы, «шалманной демократии». Среди посетителей шалманов было не просто много фронтовиков, но и сама эта военная публика имела одну отличительную особенность:

«Среди всей этой комиссованной военной братии на одного битого было два калеченных, как тогда говорили, то есть семьдесят-восемьдесят процентов инвалидов разных мастей. И если заглянуть под столешницу, то на десять голов, возвышающихся над питейными столами-стойками, вы могли обнаружить семь-восемь пар ног, а то и меньше»[23].

Инвалиды войны — ещё одна примета послевоенного времени. До сих пор не существует точных цифр о количестве военных инвалидов в стране, историки осторожно говорят о двух-трёх миллионах человек к концу войны, но признают, что этот показатель не отражает истинный масштаб проблемы[24]. Причина тому — закрытость статистики и жёсткие практики признания инвалидности, ведущие к уменьшению абсолютных цифр. Точно так же нет достоверных данных о том, сколько инвалидов смогло вписаться в мирную жизнь («встать в строй», как тогда говорили), и сколько их осталось за бортом.

Нет статистики, но есть другие источники, есть, наконец, человеческая память. Газеты пестрели примерами, как военные инвалиды один за другим «возвращаются в строй» и совершают трудовые подвиги — часто это и был подвиг, когда увечные люди вставали к станку или садились за штурвал трактора. Но память сохранила совсем другие картины послевоенной повседневности: бывшие фронтовики, побирающиеся в вагонах и на рынках, вконец спившиеся люди, околачивающиеся около шалманов, бездомные бродяги, инвалиды, ушедшие в «теневой бизнес» или воровские шайки. И ещё запомнились странные названия, данные этим выжившим, но сильно покалеченным войной

[22] *Кочергин Э.* Ангелова кукла. С. 138.

[23] Там же.

[24] См. подробнее: *Физелер Б.* «Нищие победители»: инвалиды Великой Отечественной войны в Советском Союзе // Неприкосновенный запас. 2005. № 40/41(2—3), С. 290—297; *Edele M.* Soviet Veterans of World War II: A Popular Movement in an Authoritarian Society, 1941—1991. Oxford University Press US, 2009; *Dale R.* Rats and Resentment: the Demobilization of the Red Army in Post-War Leningrad, 1945—1950 // Journal of Contemporary History. 2010. № 45. P. 113—133.

людям: «костыли» — без одной или двух ног, «обрубки» — с ампутированным руками, «тачки» — без обеих ног, передвигавшиеся на тележке с помощью толкачей-«утюгов», «печённые» — с ожогами, большинство — танкисты, «самовары» — без обеих конечностей[25].

Кочергин за шесть лет пребывания в бегах от Омска до Ленинграда много встречал таких людей. Но один человек-«обрубок» особенно врезался в мальчишескую память:

«Голова солдатика-великана была расколота по диагонали, да так страшно и безжалостно, что смотреть на неё было невозможно, а уж я повидал в своей жизни к этому времени. Шрам, если это можно было назвать шрамом, проходил щелью почти от правого виска вниз через все лицо, уничтожив нос, то есть соединив рот и нос в одно отверстие с остатками лохматых губ. Сдвинутые, но живые куски мяса — разбитые глазницы, правого глаза не было. Война. Это было лицо войны... Более страшного живого человека я никогда не видел. Руки у него были “завязаны”. Знаете, в войну некогда было: резали, а кожу натягивали. И вот у него торчали такие “колбаски”-обрубки. На шее болталась дощечка с надписью: “Подайте инвалиду войны”»[26].

Послевоенное нищенство — проблема, о которой мы знаем совсем немного. Между тем война привела к возрождению нищенского промысла в массовых масштабах. В подавляющем большинстве среди нищих были люди, которых толкнула к этому нужда: инвалиды войны, дети-сироты, старики, не получающие пенсию, или государственная поддержка которых носила чисто символический характер. Явление приняло такой размах, что в июле 1951 г. пришлось принимать специальный указ о борьбе с нищенством[27]. Практика его применения в сущности подтвердила то, что было очевидно и так: подавляющее большинство нищих (70%) были инвалидами, в том числе и инвалидами войны. Так называемые «профессионалы» среди нищих составляли около 10%, 20% приходилось на долю тех, кто испытывал «временную нужду»[28]. Послевоенное нищенство имело, кроме того, и «голодный след»: голод 1946—1947 гг. наряду с войной стал ещё одной причиной распространения нищенства, особенно среди детей.

Несмотря на занятие одним промыслом, мир нищих был расколот, имел сложную субординацию и иерархию. Главная граница проходила между профессиональными и вынужденными нищими: «профес-

[25] *Кочергин Э.* Ангелова кукла. С. 142.
[26] Там же. С. 44.
[27] Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 г. «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами».
[28] Докладная записка Министерства внутренних дел СССР о результатах применения Указа от 23 июля 1951 г. 20 февраля 1954 г. (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 78. Л. 41—42).

сионалы» находились наверху, а вынужденные нищие (Кочергин по дореволюционной традиции называет их «истинными» нищими) — на «дне» этого своеобразного сообщества-соперничества. Апеллируя к состраданию и милосердию, мир профессиональных нищих был жесток и агрессивен, и представлял собой по сути криминальную среду: убийства, воровство детей, нанесение им увечий в целях получения большей прибыли — всё это было обычной практикой. Друг-попутчик восьмилетнего Кочергина, слепой мальчик Митя едва не стал жертвой одной из таких шаек «бандитских побирушек»[29].

В то же время деятельность нищих-«профессионалов» не обязательно носила криминальный характер, хотя эти люди всегда были не в ладах с законом, поскольку попрошайничество квалифицировалось как «паразитический образ жизни». Нищенство было ремеслом довольно прибыльным. «Заработок» в зависимости от региона, сезона и дня недели мог составлять от 20 до 100 руб. в день (данные 1954 г.). Больше подавали в больших городах, летом и в воскресные дни. Для сравнения: минимальная пенсия по старости для городских жителей до 1956 г. составляла 74 руб. 90 коп. в месяц, для сельских — 14 руб. 90 коп. При задержании у профессиональных нищих нередко обнаруживались при себе большие суммы денег — до нескольких тысяч руб. Среди тех, кто занимался нищенством систематически, многие имели дом, хозяйство, скот и т.д.[30]

В 1954 г. специальная комиссия, созданная Советом Министров СССР, провела проверку состояния борьбы с нищенством в стране. Прошло почти 10 лет после окончания войны. Профессиональное нищенство не исчезло, но больше беспокоило другое: наличие достаточно широкого слоя социально незащищённых людей, для которых нищенство стало единственным способом выживания. Процесс вытеснения «обычных» людей в андеграунд имел свои очевидные причины, факторы риска — низкий уровень доходов, отсутствие пенсии или её маленький размер, преклонный возраст, инвалидность, болезнь (в том числе алкоголизм), сиротство, многодетность, невозможность найти работу, одиночество, наличие судимости.

Важную роль играл социальный статус: для людей с пониженным социальным статусом — например, бывших осуждённых, амнистированных — возвращение к «нормальной» жизни было связано всегда с дополнительными сложностями. Иными словами: для человека, однажды исключённого из социума, возможности «обратного включения» были серьёзно ограничены. Инерция исключения продолжала

[29] *Кочергин Э.* Крещённые крестами. С. 84—86.

[30] Докладная записка о результатах проверки состояния борьбы с нищенством в РСФСР. 27 октября 1954 г. (ГАРФ. Ф. Р-8300. Оп. 2а. Д. 93. Л. 168—187).

действовать и после того, как был формально снят статус исключённого (например, при освобождении и снятии судимости).

Часто к нищенству вела совокупность факторов риска: старость была связана с болезнями, инвалидностью и одиночеством; среди многодетных матерей или бывших воспитанников детских домов (сирот) встречались люди с криминальным прошлым; инвалиды одновременно могли быть безработными или имели судимость; алкоголизмом страдали инвалиды, престарелые и вернувшиеся из заключения.

Самой многочисленной группой среди нищих по-прежнему были инвалиды и старики. По данным милицейского учёта, из зарегистрированных 20 509 человек, занимающихся нищенством, 8 895 человек (43,2%) были инвалидами и 7 558 (39%) — престарелыми людьми[31]. Среди лиц, занимающихся нищенством в 1954 г., 12,4% приходилось на инвалидов Великой Отечественной войны[32]. Эти цифры отражают реальное число инвалидов войны среди нищенствующей публики, визуально их было больше, поскольку нищие-«профессионалы» часто использовали образ героя-фронтовика в качестве камуфляжа. Данные о нищенствующих инвалидах войны расходились и по разным городам: в Ленинграде, например, доля инвалидов Великой Отечественной войны среди задержанных нищих в 1953 г. составила 21%, всего же за год в трамваях, троллейбусах, на рынках и улицах города было задержано 1 707 человек, занимающихся нищенством[33].

К сожалению, у нас нет сопоставимых обобщающих данных за более ранний период, чтобы определить динамику изменения «фронтовой компоненты» в составе нищих. Но существует одна то ли быль, то ли легенда: будто увечные люди исчезли с улиц больших городов внезапно и чуть ли не в одночасье. Речь шла не только о военных инвалидах, занимающихся нищенством: многие в конце концов просто не могли позволить себе опуститься до столь унизительного состояния. Кто-то, подобно Капитану из рассказов Кочергина, добывал свой хлеб-вино более элегантным и достойным способом[34]. Кто-то

[31] Статистические данные Министерства внутренних дел СССР о количестве лиц, занимающихся нищенством на 1 августа 1954 г. (ГА РФ. Ф. Р-9415. Оп. 3. Д. 255. Л. 261).

[32] Там же.

[33] Докладная записка «О результатах проверки состояния борьбы с нищенством и антиобщественными паразитическими элементами в г. Ленинграде». 1 ноября 1954 г. (ГАРФ. Ф. Р-8300. Оп. 2а. Д. 93. Л. 140).

[34] У Капитана, бывшего артиллериста — никто не знал его настоящего имени — была ручная курочка по прозвищу Черна. Он ходил с ней по питейным заведениям, и курочка, обученная «просить», кормила их обоих: «Сам он ничего никогда не просил. И не говорил. Всего, чем можно было говорить, он лишился в войну» (*Кочергин Э.* Ангелова кукла. С. 140).

заводил свой маленький «бизнес», приторговывал на рынке или занимался другой нелегальной по советским законам деятельностью. По тем же законам все они считались «лицами, ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни» — людьми неуместными и лишними. Кроме того, чем дальше отходила война, тем больше эти военные калеки «мозолили глаза», нарушая стройность уверений о государственной заботе, улучшении жизни и успешном преодолении «временных трудностей». За десять послевоенных лет многие военные инвалиды просто ушли из жизни — умерли от ран, болезней и от усталости чего-то добиваться и просить. Не умеющий просить Капитан умер от туберкулёза в 1953 году — провожала его в последний путь вся островная инвалидная братия. Описание этого похоронного «марша *обрубков*» — один из самых эмоциональных и ярких эпизодов книги Эдуарда Кочергина.

Но слухи о принудительной высылке инвалидов продолжали жить: они родились едва ли не сразу после войны и уже вполне устойчивым мифом дошли до наших дней. Никто не может назвать точной даты этого события, как и то, была ли это единовременная акция или серия высылок. У Кочергина есть своя версия событий:

«Через малое время после кончины усатого вождя началось массовое изгнание военно-инвалидных калек с наших островов. Их переселяли в специально созданные в бывших монастырях дома инвалидов далеко за пределы Питера»[35].

Среди военных ветеранов, отправленных тогда в далекий Горицкий монастырь на реке Шексне, приспособленный под дом инвалидов, был Василий Петроградский, известный в народе как Вася-моряк — ещё один колоритный персонаж островной жизни. Этот бывший матрос и бывший корабельный запевала, оставивший на войне обе ноги и передвигавшийся на тележке, прославился организацией знаменитого хора. Хор тот состоял из островных проституток — речных «дешёвок», которые, обряженные в матросские тельняшки, по соответствующим праздникам на виду «приличной» публики и с неизменным успехом исполняли военные и патриотические песни. Кочергин называет и возможную дату высылки Василия Петроградского — май 1954 г. Остаётся вопрос: насколько эта информация может быть подтверждена документами, или проще: было или не было?

Практика принудительного отселения инвалидов, или «добровольно-принудительного», когда у человека не оставалось выбора, после войны действительно имела место. Речь при этом шла главным образом о трёх категориях инвалидов: 1) занимающихся нищенством

[35] *Кочергин Э.* Ангелова кукла. С. 171.

и бродяжничеством; 2) не имеющих документов или прописки в данном городе (что приравнивалось к бродяжничеству); 3) не имеющих родственников, под опеку которых они могли быть переданы. Сначала такого рода акции носили точечный характер — в порядке рутинного надзора милиции за соблюдением паспортного режима. В марте 1949 г. в Ленинграде прошла, по-видимому, первая общегородская целевая операция по удалению из города нищих и бродяг. За два дня в городе был задержан 501 человек, из них 302 ленинградцев и 81 приезжих[36].

Аналогичная акция в масштабе всей страны состоялась летом 1951 г., после того, как 23 июля был принят указ против нищих и бродяг. Правда, в указе речь шла только о трудоспособных нищих, то есть инвалидов он не касался. Их судьбу определило секретное постановление Совета Министров СССР от 19 июля 1951 г. Согласно этому документу инвалиды, занимающиеся нищенством и бродяжничеством, должны были передаваться либо под опеку родственников, либо, если родственников не имелось, направляться в дома инвалидов (причём о принудительном направлении в дома инвалидов речь не шла)[37]. Однако домов инвалидов катастрофически не хватало, новые только предстояло построить, а сроки строительства постоянно срывались. Уже в силу этого обстоятельства о массовом выселении инвалидов не могло быть речи. Что касается индивидуальных отселений, то они проходили постоянно, и только иногда принимали характер целевых и относительно масштабных акций. Обычно милицейские и социальные работники обращали более пристальное внимание на бездомных и нищенствующих инвалидов после того, как по этому вопросу принималось какое-либо решение городских властей и тем более центральных. В течение 1953 г. и особенно в 1954 г. проблемой ликвидации нищенства и бродяжничества в стране занимались несколько комиссий, организованных Советом Министров РСФСР (комиссия А.М. Пузанова) и союзным правительством (комиссия Л.М. Кагановича)[38]. Комиссии проверяли деятельность социальных служб и милиции по борьбе с нищенством и бродяжничеством, что, в свою очередь, приводило к превентивной активности этих структур. Поэтому

[36] См. подробнее: *Dale R.* The Valaam Myth and the Fate of Leningrad's Disabled Veterans // The Russian Review. 2013. Vol. 72. P. 270.

[37] На «краю» советского общества. Маргинальные группы как объект государственной политики. 1945—1960-е гг. / Авторы-составители: Е.Ю. Зубкова, Т.Ю. Жукова. М., 2010. С. 59—61.

[38] Подробнее о работе комиссий см.: *Зубкова Е.Ю.* С протянутой рукой. Нищие и нищенство в послевоенном СССР // Charies du monde russe. 2008. Avril-septembre. 49/2—3. С. 441—474.

1954 год возник в памяти Кочергина не случайно, хотя проведение и в этот период каких-либо масштабных акций по «изъятию» инвалидов документально пока никак не подтверждается.

Тогда почему возникали слухи и складывались мифы? Слухи рождаются там, где есть проблема и не хватает информации о том, что предпринимается для её решения. Сам факт присутствия на улицах городов увечных фронтовиков, вынужденных просить милостыню или спивающихся на глазах у всех, был вызовом законам справедливости и человечности тоже. Не случайно современники реагировали на эту ситуацию так эмоционально и возмущались бездействием властей, хотя оценивали её причины по-разному: кто-то вслед за официальными заявлениями считал всех нищих инвалидов «паразитами», не ценящими заботу государства о них, кто-то сомневался в достаточности государственной помощи и даже был готов поделиться с инвалидами собственными скудными средствами[39].

Официальная информация о положении инвалидов войны была весьма скупой, односторонней и примитивной, воспроизводящей один и тот же сценарий — «возвращение в строй» благодаря «заботе государства». Эта схема была частью государственной политики по конструированию памяти о войне, её героях и жертвах. В ней не было места воспоминаниям о травме. Не случайно на плакатах тех лет фронтовики изображаются исключительно здоровыми и жизнерадостными людьми — инвалидов среди них нет. Редким исключением является плакат общества Красного креста и красного полумесяца с призывом: «Инвалидам Отечественной войны, доблестным защитникам — нашу любовь, нашу заботу» (1946 г., художник Г. Шубина).

Стремление изолировать фронтовиков-калек, отправив их в отдалённые дома инвалидов, тоже находилось в русле политики забвения. Символом такого рода «домов забвения» стал дом инвалидов на острове Валаам, куда свозились люди с самыми тяжёлыми увечьями[40]. Неважно, прибыли они туда по доброй воле или принудительно. Важно, что существование таких «особых» — не официально, а по факту — домов инвалидов долго будет оставаться табуированной темой. Только в 1974 году на остров Валаам будет допущен (после нескольких лет запретов) художник Геннадий Добров, он сделает серию рисунков «Автографы войны», но показать их сможет только в 1986 г. В 1982 г. на Валааме побывает писатель Юрий Нагибин и напишет свой знаменитый рассказ о забытых инвалидах — «Терпение». Поч-

[39] Подробнее о реакции граждан см.: Там же. С. 469—474.

[40] Роберт Дейл подробно исследовал происхождение «Валаамского» мифа и реальную историю дома инвалидов на острове Валаам. См.: *Dale R.* Op. cit. P. 260—284.

ти сразу режиссёр И.Г. Таланкин начнёт снимать по этому рассказу фильм[41].

Съёмочная группа фильма была на Валааме, актёры смогли всё увидеть своими глазами и поговорить с живыми людьми, которых предстояло сыграть в кино. Но тогда этой правды оказалось чересчур. Исполнитель главной роли в фильме Алексей Баталов вспоминал: «Никому не нужен был этот фильм, и вообще не хотели его снимать ни за какие деньги. Я своими глазами видел и сооружения, где они [инвалиды] жили, и там, где они ходили, и всё... И всё живое, что там было, всё живое, что я видел и знал, снимать было нельзя. Просто выбрасывали сразу»[42].

Замалчивание проблемы рождало мифы. Но миф — это тоже часть реальности. Реальность же была такова, что проблема аутсайдеров — не только инвалидов, но и других людей, в силу разных причин оказавшихся на обочине жизни — решалась по принципу их исключения, изоляции от общества. Разработка адаптационных стратегий оставалась самым уязвимым местом государственной социальной политики, причём инерция исключения, запущенная культурной традицией и политическими практиками прошлого, не преодолена по сей день. Именно в силу этой инерции скамейка аутсайдеров-«крайних» в нашей стране до сих пор исключительно велика. Почему так произошло — вопрос для историков, и не только для них. Но первыми эту проблему всерьёз стали обсуждать всё-таки не историки, а художники — Добров, Нагибин, Таланкин... И Кочергин.

---

[41] Художественный фильм «Время отдыха с субботы до понедельника» (1984 г.). Реж. И.Г. Таланкин.

[42] Цит. по: «Интернат. Преданы и забыты». Документальный фильм. Автор и ведущая З. Курбатова, реж. М. Катушкин (2010 г.)

С.В. Журавлёв

Модельер Слава Зайцев: начало биографии

Исторический контекст

В конце 1950-х — середине 1960-х гг. СССР переживал один из ярких периодов в своей истории, связанных с открытиями в космосе, с реформами в экономике и образовании, с ростом благосостояния граждан. События, подобные Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Москве в 1957 г. и Договору о сотрудничестве в области науки и культуры между СССР и США (октябрь 1956 г.), приезд в Москву первой американской национальной выставки[1] и сенсационные дефиле в столице СССР знаменитого парижского Дома моды Кристиана Диора в 1959 г. — всё это способствовало разрушению стереотипов, сближению и налаживанию контактов между людьми, оказавшимися по разные стороны «железного занавеса».

Среди самых притягательных символов обновлённого СССР в глазах мирового сообщества, наряду со спутником, очаровательной улыбкой Юрия Гагарина и первым в мире атомным ледоколом «Ленин», оказалась советская мода. Первые же модные коллекции, вывезенные для показа за рубеж во второй половине 1950-х гг., вызвали там настоящий фурор. Не столько из-за оригинальности моделей, сколько из-за экзотичности советского аналога «высокой моды» как таковой. «Интерес к советской моде был огромный. На Западе люди вообще не представляли, что в России может быть мода. И думали, что мы все ходим в валенках и в ватных фуфайках», — вспоминал модельер Александр Игманд[2], в то время начинавший свою профессиональную карьеру. Понятная всем и без знания иностранных языков, интернациональная по своей сути мода воспринималась как своеобразный «посол мира», как наглядное доказательство «нормальности» страны Советов.

С учётом новых реалий государство не только окончательно легитимировало моду, но и занялось её пропагандой. Были предприняты меры по расширению числа моделирующих организаций, открыты новые вузы соответствующего профиля. В результате в 1960-е гг. в модели-

[1] Об этой выставке см. блестящую работу британской исследовательницы Сюзен Рид: *Reid S.E.* Who will beat whom? Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in Moscow, 1959 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Vol. 9. № 4 (Fall 2008). P. 855—904.

[2] *Юшкова А.* Александр Игманд: «Я одевал Брежнева...» М., 2008. С. 79.

рующие структуры лёгкой промышленности, индивидуального пошива одежды и торговли пришёл большой отряд молодых специалистов, в значительной степени изменивших облик этих организаций. Уже в 1970-е гг. СССР не было равных в мире по численности моделирующих организаций и количеству дипломированных дизайнеров одежды.

Одновременно страна, представшая миру в новом облике, нуждалась в героях своего времени, в людях «новой формации» — молодых, творческих, профессиональных, обращённых мыслями в будущее. Одним из таких кумиров эпохи, в биографии которого, как в капле воды, отразилась сложность и противоречивость периода 1950—1970-х гг., стал модельер Вячеслав Зайцев.

В современной российской моде это персона номер один. Сегодня его называют «легендой отечественного дизайна», «символом советской моды» и «одним из основных русских брендов», а журналисты публикуют статьи с говорящим названием «Вячеслав Зайцев как феномен русской культуры»[3]. Однако биография этой действительно знаковой для своего времени личности в научном плане, с привлечением документальной базы, остаётся неизученной. Неудивительно, что вокруг биографии Зайцева накопилось немало слухов и домыслов. Впрочем, и сам модельер, вольно и невольно, в том числе в многочисленных интервью, способствовал конструированию своего жизненного пути по желаемым лекалам.

Слава пришла к молодому *Славе* Зайцеву (впоследствии журналисты полюбили эту многозначительную игру слов) стремительно и для него самого совершенно неожиданно. Конечно, важным слагаемым успеха было везение — то, что он оказался, что называется, в нужное время и в нужном месте. Кроме того, ключевую роль сыграл его яркий талант, а также умение преподнести себя вкупе с трудолюбием и упорным, целеустремлённым характером.

Истоки

Все мы «родом из детства». Неудивительно, что ответы на многие вопросы о «главном советском модельере» современному исследователю стоит поискать в его детских годах. Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 г. в рабочей семье в текстильном городке Иваново. По его словам, он был назван в честь В.М. Молотова, портрет которого

[3] *Есин С.* Технология соблазна. Вячеслав Зайцев как феномен русской культуры // Литературная газета. 2008. № 8. 27 февраля. См. также: www.theage.com.au/articles/2004/04/02/1080544685 08.html.

в детстве, подобно «иконе», висел в комнате мальчика[4]. В конце 1930-х мистический расчёт родителей был на то, что, став полным тёзкой одного из главных вождей, мальчик окажется столь же состоявшимся и успешным человеком. Но когда Слава подрос, он стал стесняться своего слишком уж «говорящего» для того времени имени-отчества.

В. Зайцев в полной мере познал тяготы послевоенного времени. Красивой одежды он не знал: мальчишке приходилось донашивать старьё, отданное знакомыми или перешедшее «по наследству» от старшего брата. После того, как отец ушёл на фронт, буквально всем для него стала мать Мария Ивановна — простая женщина с большим сердцем, в молодости мечтавшая стать актрисой, но вынужденная трудиться прачкой и уборщицей, чтобы прокормить двух детей. Будучи уже известным модельером, В. Зайцев не скрывал своего «не аристократического» происхождения и того, что его мать продолжает трудиться уборщицей. Никогда и ни о ком не отзывался он с большей теплотой и любовью, чем о своей матери. Но то, насколько сильным было это чувство и насколько глубокой эта незримая связь между ними, он ощутил по настоящему только после ее смерти в 1978 г., пережитой им крайне тяжело — на грани нервного срыва.

Типичная для послевоенного времени история: в семье Зайцевых оба брата росли без отца, жили в коммуналке, гуляли и хулиганили в одном дворе, учились в той же школе. Вот только старший брат связался с дурной компанией и попал в колонию за воровство[5], а для Славы трудное ивановское детство стало закалкой на всю жизнь.

В советские времена на вопрос о своём отце В. Зайцев предпочитал не распространяться. В некоторых интервью лишь кратко упоминал, что отец был рабочим и погиб на фронте. Только в 1990-е гг. он смог сказать правду: отец после войны был репрессирован за то, что побывал в фашистском плену. Поэтому Зайцев впервые познакомился с ним, по сути, только в 22-летнем возрасте, будучи уже взрослым семейным человеком. К этому времени его отец отбыл заключение, но он так никогда и не стал для сына по-настоящему близким человеком.

Конечно, те, «кому положено», были прекрасно осведомлены о «тёмных пятнах» семейной биографии В. Зайцева. И хотя в сталинские времена путь в военное лётное училище, куда он одно время намеревался поступать, оказался для него закрыт[6], это, однако, не ста-

[4] Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии // www.zaitsev.info/?page_id=774.

[5] По словам В. Зайцева, его брат в молодости был судим дважды и в общей сложности провёл за решёткой 10 лет.

[6] «Вдохновенность» (Беседа А. Лиханова с В. Зайцевым, опубликована в газете «Трибуна». 2004. 17 июня). Интернет-версия: www.detfond.org/uroki_nravstvennosti/zaicev.

ло впоследствии препятствием ни для получения «гражданского» высшего образования, ни для карьерного роста, ни для вступления в 1952 г. в комсомол и в 1967 г. в КПСС.

В 1945 г. Слава Зайцев пошёл в обычную ивановскую школу. В детстве он очень любил петь и танцевать в самодеятельности; не без участия матери стал заниматься в театральном кружке при местном Доме пионеров и затем, будучи уже студентом техникума, успел поучаствовать в нескольких «взрослых» пьесах на сцене Ивановского драмтеатра. В частности, он сыграл Серёжу Каренина в спектакле «Анна Каренина» и молодого Дмитрия Ульянова в пьесе «Семья», посвящённой жизни родных В.И. Ленина[7]. Впоследствии эти открытые в детстве-юности таланты и навыки, в том числе выступления перед аудиторией, очень пригодятся модельеру. Кроме того, на всю жизнь останется память о блеске софитов и стремление «быть на виду». Как впоследствии вспоминал сам В. Зайцев, после первых успехов на театральных подмостках г. Иваново он «ходил гордый, счастливый». А во время учёбы в техникуме, по его признанию, «ни один бал или концерт не обходился без моего участия»[8].

К улыбчивому, невысокого роста живчику со светлыми волосами Славе Зайцеву с детства «приклеилось» прозвище «солнечный зайчик», соответствовавшее одновременно и его фамилии, и внешности, и оптимистичному складу характера. Он вспоминал, что сначала хотел стать артистом оперетты (чтобы одновременно играть на сцене и петь), но, повзрослев, подумывал уже о популярной среди подростков послевоенных лет карьере военного. В итоге всё решил случай: в 1952 г., после окончания семилетки, он «за компанию» пошёл поступать в Ивановский химико-технологический техникум, а затем всерьёз увлёкся будущей специальностью художника по росписи тканей. «Красный» диплом факультета прикладного искусства давал ему привилегию при поступлении в профильный столичный Текстильный институт, и он решил не упускать эту возможность[9]. Правда, во время экзаменов он почти интуитивно перевёл свои документы с «художника по тканям» на более приглянувшуюся ему специальность

---

[7] В одной из пьес он сыграл сына Анны Карениной. См.: В. Зайцев «Биография — это предисловие к жизни» (интервью): www.amorozov.ru/interviews/zaytsev_vyacheslav; *Кошель М.* «Не-красный Карден предлагает красный сюртук» // Business Excellence. 2008. Ноябрь (Интернет-версия: www.stq.ru/ds/adetail.php?ID=14186).

[8] Слава Зайцев. Тайны соблазна. М., 2006. С. 45.

[9] По словам Зайцева, в то время льготное поступление распространялось на 5% лучших выпускников техникума. В результате он сдавал только два профильных экзамена в Текстильный институт — живопись и рисунок. Оба экзамена были сданы им на «четыре», но этого оказалось достаточно для поступления. См.: «Вдохновенность». Беседа А. Лиханова с В. Зайцевым: www.detfond.org/uroki_nravstvennosti/zaicev.

«модельер одежды». Так в «знаковом» для страны 1956 г. 18-летним юношей В. Зайцев приехал учиться и покорять столицу, чтобы — как он впоследствии признавался — уже никогда не возвращаться в родной провинциальный городок.

Студенческие годы (1956–1962)

Строго говоря, в Москве он впервые побывал в 1954 г.: на 3-дневной экскурсии, организованной для лучших студентов ивановского техникума. «Была зима, нас поселили в каком-то общежитии. Помню, в первый же день мы все свои деньги... проели. Лакомились мороженым, конфетами и даже пирожками... Я тогда впервые попал в Мавзолей, где лежали Ленин и Сталин... Я запомнил Москву надолго — холодной, заснеженной, неприветливой, бело-чёрной. Город был огромен, он подавлял», — вспоминал впоследствии В. Зайцев. Тем не менее, по его словам, от поездки осталось ощущение «большого счастья»: «это было очень яркое, наиболее сильное впечатление юности, которое запомнилось на всю жизнь»[10].

«Москва ошеломила»[11], — сознавался он в 1980 г. читателям молодежного журнала «Смена», вспоминая вторично испытанную им в 1956 г. растерянность перед столицей, которая подавляла провинциалов своей громадой. «Москва встретила меня недружелюбно»[12], — отмечал он в другом интервью. Такое психологическое состояние объяснялось не только масштабами многоэтажной столицы (в Иванове он всё время жил на первом этаже 4-этажки и на высоте действительно чувствовал себя немного неуютно), но и тем, что в родном «городе невест» и в текстильном техникуме — «девишнике», — с его-то талантами и с его привычкой быть всё время на виду! — Зайцев слыл «первым парнем на деревне». А в Москве он в первое время «потерялся»: «У себя на родине я привык ходить любимцем публики, а здесь сразу — полное непонимание»[13].

В отличие от многих студентов-сверстников из столичных семей, в Москве ему не на кого было положиться. «Пробиваться» приходилось самому, для чего понадобилось воспитывать упорство и трудолюбие. Даже на повышенную стипендию в столице не прожить, а после женитьбы в 1959 г. на однокурснице Марине и рождения в 1960 г.

[10] Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии // www.zaitsev.info/?page_id=774.
[11] «Капризна ли мода?» // Смена. 1980. № 15.
[12] Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии // www.zaitsev.info/?page_id=774.
[13] Там же.

сына Егора он должен был думать ещё и о семье. В. Зайцев начал подрабатывать, не чураясь никаким трудом (включая и летние стройотряды), но всё же отдавая предпочтение роду деятельности, связанному с будущей специальностью художника-модельера. Кстати, эти приработки способствовали не только пополнению бюджета, но и приобретению новых знаний, навыков, а также и полезных знакомств. Будущему модельеру, а в то время ещё школьнику Александру Игманду студент Зайцев запомнился своей чрезвычайной эмоциональностью и манерой размахивать руками при разговоре[14].

С первых дней в Москве Слава получил наглядный урок того, как много в реальной советской жизни значат связи. Когда он был зачислен в вуз, то выяснилось, что младшекурсникам не полагается мест в общежитии. Жильё требовалось искать самому. Перед отъездом ивановские знакомые «на всякий случай» снабдили паренька адресом хорошо устроившегося в Москве земляка, работавшего в Минлегпроме. И незнакомые люди пустили его к себе. Полтора года, пока он не стал институтским активистом и не получил заветного места в общежитии, Зайцев прожил в этой семье, в свободное от учёбы время в благодарность помогая по хозяйству в качестве «домработницы» и няньки (в семье было двое детей).

Он был простым в общении, непритязательным в быту и при этом оставался неисправимым максималистом. «Нет, Заяц, ты не дипломат!», — приходилось слышать от приятелей, которые, однако, признавали, что его искренняя прямолинейность, увлечённость и юношеский задор действовали подкупающе. Что же касается обострённого самолюбия, то на эту врождённую черту характера накладывалась ещё и своего рода «защитная реакция» провинциала, попавшего во «враждебную» столичную среду. На эту мысль наводят рассказы модельера о первых годах жизни в Москве, когда, как уже упоминалось выше, всё вокруг казалось ему чуждым и агрессивным — от многоэтажной архитектуры до казавшихся неприветливыми абитуриентов, видящих в нём соперника, а также товарищей по комнате в общежитии, с которыми Зайцеву, по его признанию, никак не удавалось поладить.

Но постепенно, как он выразился, «Москва меня приняла». Это означало, что он адаптировался, и вновь, как и в родном г. Иваново, оказался «на виду». Произошло это во многом благодаря активному участию в художественной самодеятельности вуза. «Я был на первых ролях в культурно-массовой деятельности, проводил вечера, пел, танцевал, читал стихи, работал [на общественных началах] в горкоме

[14] *Юшкова А.* Александр Игманд: «Я одевал Брежнева...». С. 42.

комсомола», — рассказывал Зайцев[15]. Учившийся в том же Текстильном институте, но несколькими курсами младше, Александр Игманд вспоминал, что старшекурсник Зайцев был активистом театрализованного кружка «Мода смеётся» (вела кружок зав. кафедрой моделирования Т.В. Козлова). В нём придумывались и разыгрывались пародии на несуразности моды. «Например, раньше купальников не было, и женщины часто выходили на пляж в ситцевых халатах, а порой в обычных бюстгальтерах, панталонах.., — рассказывал А. Игманд. — Слава блестяще исполнял этот номер. Наряжался женщиной: яркие губы, клипсы, сверху завязана косынка, невзрачный ситцевый халатик, а внизу бельишко — васильковые штаны на резинках и лифчик-самострок. В кульминационный момент он распахивал халатик, демонстрируя свой "купальный костюм"»[16].

Нужно сказать, что в те суровые времена подобные сценки, как и сам «наряд трансвестита», были делом весьма рискованным. Журналист Сергей Есин, направленный в конце 1950-х гг. от Всесоюзного Радиокомитета, где он работал, курировать (на общественных началах) одно из первых в столице молодёжных кафе, тоже вспоминал о том, каким успехом пользовались среди публики сатирические представления приглашавшегося сюда для выступлений театрализованного кружка Текстильного института с участием В. Зайцева. В этих шоу «на злобу дня» с помощью гротесковых одеяний высмеивались причуды западной моды и её доморощенных подражателей[17]. Тем самым в вузовской самодеятельности оказались востребованы сразу и дизайнерские, и актёрские данные В. Зайцева.

Как вспоминает бывший его преподаватель по философии профессор Валентин Толстых, будущий знаменитый модельер являлся не только активистом комсомола и самодеятельности, но и считался одним из лучших студентов[18]. Одно время он даже был Ленинским стипендиатом. Молодёжным вечеринкам Зайцев часто предпочитал библиотеки, картинные галереи и музеи, но не потому, что «так надо», а поскольку по-настоящему «фанател» от возможности, как губка, впитывать новые знания. Во второй половине 1950-х гг., благодаря, главным образом, фондам Театральной библиотеки и Библиотеки иностранной литературы, у студентов Текстильного института была возможность познакомиться с подшивками зарубежных модных жур-

[15] Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии // www.zaitsev.info/?page_id=774.

[16] Личный портной Брежнева Александр Игманд: «Передо мной Леонид Ильич ходил в семейных трусах» (www.kp.ru/daily/24182.3/390913).

[17] *Есин С.* Технология соблазна. Вячеслав Зайцев как феномен русской культуры.

[18] *Толстых В.* Мы были. Советский человек как он есть. М., 2008. С. 167, 170; Интервью В. Толстых автору данной работы 28 июня 2007 г.

налов. Работы классиков мировой моды Габриэль Шанель, Поля Пуаре, Кристиана Диора и др. произвели на него очень сильное впечатление. Неудивительно, что для впечатлительного провинциального юноши эти люди из «другого мира» казались почти «небожителями».

Ему повезло и с вузовскими преподавателями. Он специализировался по истории костюма на кафедре моделирования одежды. Профессорами Зайцева были такие признанные специалисты, как М.Н. Мерцалова и Р.В. Захаржевская, развившие и углубившие его интерес к истории народного костюма в современном преломлении. «Ещё в студенческие годы для меня высшим авторитетом была Захаржевская, преподававшая нам историю костюма... Я искал её одобрения всеми путями: если она задавала скопировать один образец, я делал пять копий. И когда, уже к концу обучения, она похвалила мою коллекцию и поддержала то, что я делаю, для меня не было высшей награды»[19], — признавался впоследствии Зайцев. В автобиографической книге «Тайны соблазна» он прямо отмечает, что обязан своим рождением как художник-модельер именно Р.В. Захаржевской[20].

Интерес молодого модельера к фольклорным традициям удачно совпал по времени с разрабатывавшейся в то время официальной концепцией «советской моды», одной из важнейших характеристик которой (в отличие от «буржуазной моды») должно было стать особое внимание именно к использованию традиций народного костюма.

«Стиляга» и молодой отец

Одновременно студент Зайцев многим запомнился и своей эксцентричностью, стремлением к эпатажу и к «стиляжничеству». Из-за этого за глаза его называли «странным», а некоторые преподаватели, по его собственному признанию, даже недолюбливали[21]. Конечно, никакой «политической» подоплёки в поведении комсомольца Зайцева не было. Просто им двигала тяга к эксперименту и юношеское желание выделиться, самоутвердиться. Он начал носить вещи, непривычные по сочетанию цветов и силуэту. «В институте шил оранжевые,

[19] *Зайцев В.* «Российская мода никому не нужна» // Новые известия. 2003. 29 октября: www.newizv.ru/print/2401. Зайцев потому старался особенно понравиться Захаржевской, что она, по его словам, сначала не приняла всерьёз «окающего» и безвкусно одетого провинциального студента (www.zaitsev.info/?page_id=774).

[20] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 12.

[21] «Негатив в себе не держу, оттого и рожа ясная» (Интервью В. Зайцева журналу «Огонёк») // www.ogoniok.com/archive/2000/4661/34-32-39.

красные рубахи, странного цвета вельветовые брюки. Ходил, как попугай. Конфликтовал со временем, вызывал возмущение у людей и считал, что был прав...», — признавался впоследствии В. Зайцев[22]. В интервью 2008 г. он вспоминал: «Когда учился в институте, ходил по Москве в цветных рубахах с аппликациями и в оранжевых штанах. Первым в столице вышел в макси-шубе из козла. Милиция смеялась, народ удивлённо показывал пальцами. Теперь я понимаю, что выглядел, как шут гороховый»[23].

Но в конце 1950-х гг., подобно другим стилягам тех лет, он так не считал. Бросая вызов условностям и считая экстравагантность одним из способов утверждения индивидуальности, Зайцев мог прийти на занятия или даже на экзамен в вызывающих нарядах[24]. Кроме того, по его костюму нередко можно было определить, кем из великих художников, которых он для себя в ту пору заново «открывал», он сейчас безумно увлечён, и в какую именно эпоху он с головой погружён. Так, М.Н. Мерцалова в своей книге «Поэзия народного костюма» (М., 1988) описала случай появления студента Зайцева в вузовской аудитории в пальто собственного изготовления по мотивам творчества известного портретиста эпохи Возрождения Ганса Гольбейна. Выглядел Зайцев в нём, конечно, странно: казалось, что «переучившийся» студент настолько глубоко погрузился в прошлое, что перепутал эпоху. «Это было забавно.., — вспоминал впоследствии сам модельер. — Первая моя модель, на третьем курсе института, когда я сшил себе пальто из какой-то войлочной шинельной ткани, пальто в стиле Гольбейна: расширенный плечевой пояс, круглая горловина...»[25].

Однако именно это оригинальное пальто, выбивавшееся из стиля времени, окажется для него добрым талисманом. Пройдёт шесть лет, и в 1965 г. журнал «Vogue» опубликует фото восходящей звезды советской моды В. Зайцева именно в этом необычном средневековом наряде. В нём он и запомнится западным читателям, не подозревавшим, что это пальто уже «с историей».

Бросающиеся в глаза упорство и целеустремлённость, желание проявить себя, как и женитьба на москвичке во время учёбы в вузе, некоторыми воспринимались за «практичность» и даже за карьеристские наклонности молодого провинциала. Аналогичного мнения

---

[22] Интервью В. Зайцева (май 1999г.) // www.amorozov.ru/interviews/zaytsev_vyacheslav.

[23] *Кошель М.* «Не-красный Карден предлагает красный сюртук».

[24] «Негатив в себе не держу, оттого и рожа ясная»...

[25] «Не понимаю модельеров, которые выходят на сцену в помоечном виде» (Интервью В. Зайцева «Новой газете» 23 апреля 2008 г.) Интернет-версия: www.novaya.com.ua/?/articles/2008/04/23/165837.

придерживалась, по словам Зайцева, и его тёща, считавшая, что «безродный зять-студент» выгодно женился на дочери обеспеченных родителей в основном из-за квартиры и московской прописки[26].

Личная жизнь сильно влияет на творчество любого художника. В. Зайцев в этом отношении не был исключением. В 1959 г. после свадьбы он переехал из студенческого общежития на квартиру родителей Марины. Однако, по его словам, они «его не поняли, не приняли», считая этот брак мезальянсом. Рождение сына Егора в 1960 г. тоже не разрядило напряжённых отношений. В результате через несколько лет родители жены купили для молодых небольшую комнату в коммуналке. Но и это не спасло семью: к концу 1960-х гг. брак трещал по швам. В 1969 г. последовал развод, а затем В. Зайцев обнаружил, что дверь коммуналки для него закрыта, и общение с сыном надолго превратилось в проблему. После чего модельер вынужден был некоторое время полулегально (так как в то время не имел постоянной московской прописки) жить у друзей или на съёмных квартирах, а после тяжёлой автокатастрофы, случившейся в августе 1971 г., его жилищем надолго стала московская больница[27].

Модельер спецодежды

Уже на старших курсах института он поставил перед собой задачу попасть на работу не куда-нибудь, а в ведущую моделирующую организацию СССР — Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком мосту. Основания для надежды действительно были: подающий надежды студент с «красным» дипломом успел хорошо зарекомендовать себя, помогая модельерам ОДМО в подготовке одной из зарубежных коллекций. Высокой оценки заслужила и его институтская дипломная работа, посвящённая актуальной в те годы теме женского делового костюма.

Однако планам В. Зайцева поначалу не суждено было сбыться. В 1962 г. в составе группы выпускников Текстильного института он был направлен по распределению на Бабушкинскую экспериментально-техническую швейную фабрику Мособлсовнархоза, расположенную на окраине столицы. На память невольно пришло, что его

[26] Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии // www.zaitsev.info/?page_id=774. «Наши семейные отношения были очень натянутые и сложные на протяжении 9 лет, пока нас не развели, и меня не выгнали из дома», — с горечью рассказывал о своей неудавшейся семейной жизни В. Зайцев (Там же). См. также: Слава России—Зайцев (Интервью В. Зайцева «Русской газете». 2005. № 33 // www.russkayagazeta.com/rg/gazeta/fullstory/slava).

[27] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 46.

дипломная работа в Ивановском техникуме тоже была посвящена спецодежде. Неужели заниматься спецовками — это его судьба?

В начале 1960-х гг. руководство Бабушкинской фабрики, выпускавшей спецодежду преимущественно для сельских тружеников Подмосковья, а также ширпотреб — женское платье для магазинов столичного региона, не думало и не гадало, что в один прекрасный день получит в свои ряды сразу группу молодых высококвалифицированных специалистов. Но как раз в это время правительство решило приблизить к канонам «высокой эстетики» тяжёлый труд доярок и механизаторов. 23 июля 1962 г. было издано Постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему производству и улучшению качества специальной одежды и рабочей обуви»[28]. В нём предусматривалось, что мода должна сойти с подиума и направить свой взор на считавшуюся «запущенной» сферу спецодежды. На соответствующих предприятиях срочно создавались экспериментальные моделирующие подразделения, сюда же направлялись молодые перспективные кадры.

27 ноября 1964 г. «Правда» сообщала о том, что Коллегия СНХ СССР в очередной раз обсудила вопрос об улучшении качества и эстетических свойств спецодежды. В результате были пересмотрены устаревшие ГОСТы на рабочую одежду и особое внимание уделено созданию новых моделей[29]. Начали проводиться Всесоюзные конкурсы на лучшие модели производственной одежды, в которых принимали участие лучшие модельеры страны. Забегая вперед, скажем, что в 1970 г. Московская (бывшая Бабушкинская) экспериментально-техническая швейная фабрика, на которой, правда, к этому времени В. Зайцев уже не работал, была выделена в ведущее предприятие по разработке новых моделей одежды для рабочих и служащих всех отраслей народного хозяйства СССР[30]. А в середине 1970-х гг. на её базе будет создан уникальный в своем роде Дом моделей специальной и рабочей одежды РСФСР.

Всё казалось логичным: если в мире есть мода на повседневную, выходную и спортивную одежду, на обувь и головные уборы, то почему не должно быть моды на рабочую одежду? Ведь в ней трудящийся человек проводит значительную часть своей жизни, а значит, спецодежда должна быть не только функциональной, но и эстетичной, модной, дарящей хорошее настроение, а в конечном счёте, влияющей на трудовую дисциплину и на производительность труда. Кому, как не

[28] О выполнении этого постановления в Виалегпроме в 1962 г. см., например: РГАЭ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 147. Л. 39.
[29] Правда. 1964. 27 ноября.
[30] Правда. 1970. 14 февраля.

СССР, выступить инициатором профессионального моделирования спецодежды с учётом тенденций моды?

Официальная позиция заключалась также в замене термина «спецодежда» на более праздничный «одежда для труда», которая должна быть, кроме прочего, «хорошо пригнана по фигуре, умело подобрана по цвету» и отражать черты современной моды. Однако, как говорилось в буклете 1967 г., изданном к международной выставке «Одежда-1967», по сравнению с обычным платьем, линии рабочей одежды «более строги, цвет продуман и оправдан назначением. Случайные, лишние детали недопустимы»[31].

Особое внимание к этому вопросу было приковано в связи с тем, что профессиональное моделирование рабочей одежды в увязке с модой представлялось советским «know-how» — своего рода новым словом в мировом моделировании. Неудивительно, что молодые дизайнеры с Бабушкинской фабрики в начале 1960-х гг. с энтузиазмом восприняли свалившуюся на них миссию первопроходцев. Возможно, Зайцеву повезло: в ОДМО он в первое время наверняка стал бы «тенью» более маститых коллег, а здесь ему сразу же поручили серьёзную самостоятельную работу, да ещё в той области, где можно было лучше узнать реальную жизнь и по-настоящему проявить себя. Молодой модельер начал посещать фабрики и колхозы; он беседовал с местными жителями, знакомился с условиями их труда, интересовался мнением по поводу спецодежды[32]. Чем больше он наблюдал, тем больше возникало желание привнести в серые деревенские будни яркие краски, почерпнутые из истории народного костюма.

Вскоре такой случай представился. В 1963 г. Бабушкинскую фабрику впервые — и это считалось большой честью — пригласили участвовать в ежегодном Всесоюзном эстетическом совещании по моде, проводившемся под эгидой знаменитого Всесоюзного института ассортимента изделий лёгкой промышленности и культуры одежды (ВИАлегпром). Для этого требовалось подготовить для показа небольшую коллекцию рабочей одежды. Назначив В. Зайцева старшим художником-модельером (фактически художественным руководителем) экспериментальной группы, директор Бабушкинской фабрики, по словам самого начинающего модельера, доверился ему и предоставил свободу для творческих поисков[33]. Чтобы лучше подготовиться к важному показу, на ставку по просьбе Зайцева была даже взята манекенщица.

---

[31] Международная выставка одежды. Москва-1967 (Буклет). М., 1967. С. 63.

[32] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 23.

[33] *Каноне С.* Слава-Зайцеву // Прямые инвестиции. 2006. № 06(50). С. 94—95.

Не раскрывая детали, он сообщил фабричному руководству, что хочет разработать спецодежду из цветных тканей. «Мне не запретили»[34], — рассказывал впоследствии Зайцев. Но мало кто подозревал, что 23-летний дизайнер уже решил, что пора «разрушать каноны», и в тайне от всех готовил «бомбу». «Я предложил сделать стеганые телогрейки из яркого хлопчатобумажного полотна, юбки из павлово-посадских платков... Для показа этой коллекции я раскрашивал обычные валенки разноцветной гуашью, а еще моделям полагались цветные чулки... Когда я показал эту коллекцию на Всесоюзном методическом совещании художественному совету — члены совета пришли в состояние полного шока. Меня обвинили в неуважении к труду сельских граждан, в том, что я "устроил им цирк"»[35], — рассказывал Зайцев в одном из интервью. В книге «Тайны соблазна» он добавляет такие оставшиеся в памяти подробности о своём первом показе: «Это было красочное действо, по тем временам очень дерзкое, смелое, если не сказать вызывающее. Комиссия была возмущена этой вакханалией цвета, и на мои попытки объяснить первопричину, меня оборвали...»[36]. Скорее всего, впечатление от вычурной «театральности» этой коллекции спецодежды было усугублено дерзким поведением молодого «выскочки», пытавшегося разговаривать на равных с заслуженными членами комиссии.

Эта первая в жизни В. Зайцева демонстрация моделей, состоявшаяся в феврале 1963 г., закончилась конфузом, но одновременно, как показали дальнейшие события, она стала важнейшей ступенькой на его пути к славе. «Показ коллекции.., по-моему, многих [присутствовавших] взволновал, но по-разному, — отмечал впоследствии Зайцев. — Эстетическая комиссия разгромила коллекцию в пух и прах» за её нежизненность[37]. Зато благодаря скандалу имя Зайцева запомнилось многим экспертам.

Относительно профессиональной оценки первой коллекции В. Зайцева с высоты сегодняшнего дня можно сказать, что это был своего рода китч, густо замешанный на юношеских амбициях и отразивший период безоглядной влюблённости начинающего модельера в яркие краски, позаимствованные из истории народного костюма. Но, конечно, члены комиссии, «зарубившие» его «непрактичную» коллекцию, были по-своему тоже правы: в отличие от подиума, цвета-

[34] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 23.
[35] «Я — служба быта» (интервью с В. Зайцевым) // http://www.business-magazine.ru/profiles/businessmen/pub271484.
[36] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 23—24.
[37] «Капризна ли мода?»...

стые телогрейки и крашеные валенки смотрелись бы особенно нелепо на фоне непролазной грязи российского Нечерноземья.

Спустя 15 лет — в 1977 году один из специалистов, присутствовавших на этом заседании, проходившем в открытом режиме во Дворце спорта «Крылья Советов» (кстати, именно здесь в 1959 г. знаменитый французский модный Дом «Кристиан Диор» впервые показывал свои модели московской публике), так рассказывал о дебютном показе тогда ещё никому не известного модельера Зайцева: «Не будем говорить теперь, что “уже тогда мы почувствовали...” Мы ничего не почувствовали — коллекция была слабой». Заметили же её потому, что она принадлежала не коллективу, а вся целиком — одному автору (что было необычным для того времени), который к тому же, нисколько не тушуясь перед ведущими модельерами и искусствоведами страны, с отчаянной храбростью выступал и защищал свои идеи[38]. Это была та смелость, которая, как оказалось, «города берёт».

Скандал как шаг к известности

Впоследствии в интервью разных лет Зайцев по-разному комментировал этот факт своей биографии. Одним журналистам он признавался, что в начале 1963 г. намеренно шёл на обострение, чтобы «зацепить» членов комиссии и тем самым заявить о себе[39]. Другим говорил, что просто был тогда молодым и необузданным романтиком, увлекался яркими красками народного костюма и искренне хотел сделать так, чтобы одежда советских людей перестала быть серой и невыразительной[40]. Впрочем, как уже говорилось выше, в характере В. Зайцева идеализм вполне уживался с эксцентричностью.

Этот скандал стал достоянием гласности благодаря появлению на показе моделей Зайцева группы из французских и советских журналистов из Агентства печати «Новости». Гидами для не говоривших по-русски французов выступили молодые сотрудники АПН Вячеслав Петухов и Юрий Абрамочкин[41]. В начале 1960-х гг. эти корифеи отечественной журналистики начинали свою карьеру, были полны честолюбивых планов и заинтересованы в поиске «звёздных» сюжетов[42]. По словам Зайцева, они «случайно оказались на методическом

[38] Художник Вячеслав Зайцев // Журнал мод. 1977. № 4.
[39] «Капризна ли мода?»...
[40] *Каноне С.* Слава-Зайцеву.
[41] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 24.
[42] Делавшие репортажи и фотоочерки о В. Зайцеве и его творчестве в 1960—1970-е гг. сотрудники АПН Ю. Абрамочкин, В. Плотников и др. ныне счита-

совещании, где громили мою коллекцию»[43]. Так ли это было на самом деле — вопрос остаётся открытым.

Тем не менее, именно благодаря «открывшим» его журналистам о 24-летнем дизайнере с Бабушкинской фабрики вдруг узнал и заговорил весь мир. Дело было так: после окончания скандальной демонстрации журналисты подошли к Зайцеву, чтобы познакомиться. Они предложили сделать о нём репортаж и попросили показать им эскизы его моделей в более непринуждённой обстановке. Тот не возражал, но, в соответствии с порядками тех лет, прежде чем пригласить к себе в коммуналку иностранцев, получил разрешение у руководства Бабушкинской фабрики. Со своей стороны, по словам Зайцева, журналисты АПН тоже согласовали в «инстанциях» вопрос о помощи в подготовке материала о Зайцеве для западного издания[44].

В комнате, где он жил с женой и сыном, с высоты холодильника, куда в поисках нужного ракурса из-за тесноты то и дело вынужден был забираться французский фотокор, и были сделаны фотографии новых эскизов. Кроме того, по просьбе французов Зайцев пригласил на импровизированную фотосессию девушек Таню, Анну, Нелли и Надю — своих первых моделей с Бабушкинской фабрики[45].

В результате в номере популярного французского журнала «Paris-Match» (Пари-матч) от 23 февраля 1963 г. появился большой, на четыре полосы, репортаж о восходящей звезде советской моды В. Зайцеве с его портретом и отрывками из его интервью, с фотографиями из коммуналки и с улиц Москвы. На них фабричные девушки-модели демонстрировали не аляповато-цветастую спецодежду (вряд ли она была способна тронуть изысканных французов), а обнаружившиеся у него в «загашнике» новые модели Зайцева, основанные на соединении классических форм одежды с колоритом советских регионов[46]. Под девизом «Горький» на снимке был представлен чёрный длинный женский костюм и сапожки. Специфику Урала, по идее, должен был отразить комплект Зайцева из шерстяного пальто на подкладке из лисицы и сапожек с загнутыми кверху носками. Тему «Владивосток» представляло кимоно из японского шелка, «Киев» — передники и

ются «классиками» советской журналистики. Уже в молодые годы они сумели сделать блестящую карьеру и получить доверие властей. Так, Ю. Абрамочкин (фотокор АПН с 1961 г.) первым снимал Ю. Гагарина в домашней обстановке, был допущен фотографировать Л.И. Брежнева, Н.С. Хрущёва и др. Он же считается одним из лучших хронографов Олимпиады-1980.

[43] *Каноне С.* Слава-Зайцеву.

[44] «Я — служба быта»...

[45] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 25.

[46] Paris-Match. 1963. 23 février. №°724. P. 62—65.

красные платки, «Ленинград» — модели редингот и кагулов, а «Москву» — классические платья для коктейля. Кроме того, в репортаже присутствовали костюм для путешествия по Транссибирской магистрали и ансамбль из органзы, названный автором «Большой театр». В результате, действительно, в номере «Пари-матч» было представлено разнообразие стилей, форм и материала, что свидетельствовало о разностороннем таланте молодого модельера.

Впечатление от импровизированного дефиле в коммуналке оказалось столь ярким и необычным, что французские журналисты именовали квартиру Зайцева «первым домом моды в Москве»[47]. Сам же репортаж в Пари-матч был назван хлёстко и с явной претензией на сенсационность: «Он диктует моду в Москве». «Наши корреспонденты Доминик Лапьер (Dominique Lapierre) и Андре Лефевр (André Lefevre) обнаружили молодого 24-летнего кутюрье. Его модели преображают советскую женщину», — такими словами начиналась статья во французском журнале. В 1963 г. подобные утверждения, конечно же, не соответствовали действительности: в это время Слава Зайцев только начинал свою карьеру модельера, и в профессиональной среде его имя не было широко известно. Однако после сенсационной публикации в «Пари-матч» западный читатель уже думал по-иному. При этом для аудитории журнала самой привлекательной стороной — что было вполне ожидаемо, учитывая большой интерес к процессам обновления в СССР периода «оттепели» — оказалась опора Зайцева на национальную самобытность и его стремление к новизне. «Слава создаёт новые модели из старых русских платьев. У Вячеслава есть цель: московская женщина должна быть красивой, но должна при этом остаться русской. “Богатство наших национальных костюмов огромно, — говорит он, — и, перемешивая их и адаптируя, я хочу создать новую моду”»[48].

Близок и понятен для иностранцев оказался и тернистый путь молодого модельера к модному Олимпу в интерпретации «Пари-матч». Читателю было сообщено, что Зайцев родился и почувствовал своё призвание в маленьком провинциальном городе Иваново, но, чтобы добиться успеха, ему пришлось завоёвывать Москву. «Славе пришлось много сражаться, так как в столице мода находится в руках бюрократов, которые ставят разного рода препятствия перед молодыми кутюрье. Но он принёс с собой революцию: до него модельеры копировали парижские и лондонские модели. Вячеслав приносит инновации. Для своей коллекции 1963 года он взял на вооружение стиль

[47] Ibid. P. 63.
[48] Ibid. P. 64.

редингот; его четыре манекенщицы представили более ста моделей, от вечернего платья до рабочей одежды крестьянки-колхозницы»[49].

Итак, 24-летний Зайцев был представлен «Пари-матч» не просто как «инноватор» и «революционер» моды, но и как смельчак, противостоящий советским бюрократам и коллегам по цеху, занимающимся якобы лишь некритическим копированием иностранных моделей. Очевидно, что подобные утверждения носили скандальный характер. Они не соответствовали действительности и были крайне оскорбительными для советских модельеров, среди которых было немало талантливых и творческих личностей. В глазах коллег Зайцев предстал выскочкой и карьеристом. Однако следует признать, что статья в «Пари-матч» сыграла огромную роль в его жизни, принеся ему неожиданную известность на Западе, но став одновременно и отправной точкой в мифологизации его биографии.

Неудивительно, что приезжавшие в Союз иностранцы и работавшие здесь журналисты западных изданий стали искать встречи с молодым модельером, просили у него интервью[50]. Но поскольку мало кто в СССР знал о статье в «Пари-матч» и об обстоятельствах её появления, столь явный интерес иностранцев к Зайцеву многим соотечественникам казался необъяснимым и даже подозрительным.

Под патронажем АПН?

Возникает закономерный вопрос: случайно ли подобная публикация в «Пари-матч» могла увидеть свет? Обратим внимание на то, что материал о Зайцеве готовился с санкции соответствующих «инстанций», по инициативе и при непосредственном участии журналистов АПН. Или же конечный результат им не удалось должным образом проконтролировать?

Внезапно свалившаяся на В. Зайцева известность за рубежом была такова, что, как сообщала в 1964 г. одна из советских газет, «ему присылают письма из самых далёких стран совсем незнакомые люди»[51]. Ситуация для СССР начала 1960-х гг. действительно необычная, ведь продолжал существовать «железный занавес» и личные контакты между людьми были ограничены. Как вести себя с иностранцами? Вступать ли с ними в переписку? Соглашаться ли на непосредственное общение?

---

[49] Ibid.

[50] *Каноне С.* Слава-Зайцеву.

[51] *Чанин В.* О Вячеславе Зайцеве — художнике-модельере // Знамя юности (Минск). 1964. 22 декабря.

«В это время на Бабушкинскую фабрику приезжали иностранные журналисты, *так за мною постоянно следили, как бы я в их присутствии чего не выкинул* (выделено мною. — *С.Ж.*)»[52], — признавался впоследствии В. Зайцев. Но были вещи, которые при всём желании скрыть не представлялось возможным. Например, что восходящая звезда советской моды работает на заштатной фабрике спецодежды, где не имеет должных возможностей для реализации своего таланта. Хорошо ещё, что кто-то в советском руководстве спустя некоторое время сообразил, что подобная ситуация бьёт по престижу страны, после чего молодой модельер был приглашён трудиться в Общесоюзный Дом моделей одежды.

В автобиографической книге «Тайны соблазна» Зайцев упоминает, что с начала общения с иностранцами после первой же публикации о нём в «Пари матч» 1963 г. он оказался под неусыпным контролем спецслужб: «Интервью, съёмки происходили при участии *журналистов из АПН и сотрудников КГБ* (выделено мною. — *С.Ж.*)»[53]. Тем самым В. Зайцев невольно помещает сотрудников КГБ и АПН «в одну лодку». Но если соотнести известные факты, то эта оговорка не выглядит столь уж случайной.

Близкое к Международному отделу ЦК КПСС советское Агентство печати «Новости» (преемник знаменитого «Совинформбюро») в 1960-е гг. считалось, по советским меркам, «либеральной» и весьма влиятельной организацией. АПН находилось на передовой идеологического фронта «холодной войны» и активно сотрудничало со спецслужбами. Среди прочего оно занималось сбором и распространением позитивной информации об СССР в мире, или, как бы сказали на современном сленге, «пиарило позитивный имидж страны за рубежом». При этом перед журналистами и фотокорами АПН была поставлена, прямо скажем, необычная по тем временам задача: они должны были выступать «ньюсмейкерами» о событиях в СССР, «перебивая» критические материалы о советской действительности. Для этого требовалось искать яркие, «задевающие» иностранного читателя сюжеты и выходить с ними на западный информационный рынок. К такой тонкой пропагандистской работе привлекались лучшие кадры. При этом журналистам АПН была предоставлена довольно широкая самостоятельность в выборе сюжетов и персонажей. К их услугам был и спецхран АПН, где имелись, например, подшивки журналов «Paris

[52] В. Зайцев: «Мне бог дал возможность прикоснуться к гармонии и подарить эту радость» (интервью казахстанскому журналу “Style”, 2007, № 13), Интернет-версия: www.planeta-imeni.narod.ru/almaata/vsaizev.

[53] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 28.

Match», «Look», «Life». То есть, при желании можно было поучиться стилистике западных публикаций о моде и культуре одежды.

Сегодня уже хорошо известно, что в руководстве и среди сотрудников АПН состояло немало бывших и действовавших советских разведчиков, имевших опыт жизни и работы за рубежом, хорошо владевших иностранными языками, прекрасно знавших приёмы западной журналистики, а также — какими методами нужно воздействовать на зарубежного читателя[54]. Что касается французского ежемесячного иллюстрированного журнала «Пари матч», то в начале 1960-х гг. он бил рекорды популярности в мире, издаваясь тиражом до 1,8 млн экз. (!) Добиться публикации в нём большого позитивного материала об СССР, подготовленного под контролем АПН, считалось несомненной удачей. Ради этого можно было пойти и на некоторые «издержки», например, в виде сенсационного, но к тому времени не соответствовавшего действительности заголовка «Он диктует моду Москве».

Неудивительно, что именно из этого номера журнала за 1963 г. о существовании В. Зайцева впервые узнал французский модельер Пьер Карден. Появление публикации с фотографиями в «Пари матч» означало, что завтра ты проснёшься знаменитым. Тем более, если речь идёт сразу и о моде, и о «русской экзотике» с валенками, и если это скандал, связанный с процессами демократизации в СССР. В особенности — если дело касается столь понятной для западного читателя темы, как борьба молодого модельера за право на творчество, на индивидуальность.

Сам Зайцев прекрасно понимал, что в первую минуту привлёк внимание журналистов «развлекаловкой»: сочетание ярких крашеных валенок и телогреек на сцене воспринималось как сплав «русской национальной экзотики» и модного на Западе авангардного искусства[55]. Однако по ходу дела этот случай заинтересовал журналистов ещё и как наглядный пример того, что, в отличие от сталинских времён, советский человек уже не боится пойти против течения и открыто высказать собственное мнение. Именно в таком контексте, по большому счёту, и был воспринят репортаж о Зайцеве, напечатанный в 1963 г. в «Пари матч».

И только позже, когда специалисты разглядели опубликованные в нём эскизы и модели Зайцева, оказалось, что журналистская «находка» ценна вдвойне: молодой советский модельер действительно очень талантлив. Факт, тем не менее, остаётся фактом: без скандала и без участия сотрудников АПН, сделавших его достоянием гласно-

[54] Интервью с историком Ю.Н. Жуковым 5 мая 2009 г.
[55] «Я — служба быта»...

сти, столь раннего «открытия» модельера Зайцева могло бы и не состояться.

Удачный случай был достоин дальнейшей «раскрутки». К тому же журналисты АПН действительно хотели (и имели возможность) помочь начинающему художнику пробиться. Но, кажется, и без них известность уже бежала впереди него. На волне интереса к СССР сенсационную заметку из «Пари матч» растиражировали информационные агентства Запада. И началось паломничество. «Ко мне приезжали журналисты из “Лайфа”, “Лука”, “Штерна”, других зарубежных изданий. Я оказался очень популярен за границей... *Но я сам ничего особенного в себе не видел — был как все* (выделено мною. — *С.Ж.*)»[56], — откровенно признавался в одном из интервью В. Зайцев.

В 1964 г. он действительно оказался единственным советским модельером, о котором написали в восторженных тонах ведущие западные издания — американский журнал «Life» и германский «Stern». А знаменитый французский «Vogue», комментируя эскизы моделей Зайцева, изрёк: «С этого дня Москва обзавелась собственной высокой модой»[57]. Это звучало как приговор.

До Зайцева на Западе знали, по большому счёту, только одного выдающегося российского и советского модельера — Надежду Ламанову.

Законодатель мод с Бабушкинской фабрики

Итак, сенсационная известность В. Зайцева на Западе в самом начале его карьеры шагала впереди его популярности в СССР. Более того, стоит признать, что это был своего рода аванс, не соответствовавший его пока что довольно скромным реальным заслугам. Одним из следствий подобной ситуации явилось то, что самим фактом формирования образа восходящей звезды советской моды перед Зайцевым изначально была поставлена чрезвычайно высокая планка, которой он теперь должен был соответствовать.

Кроме того, после «открытия», сделанного на Западе, «не замечать» его в СССР уже было невозможно. «Со мной бы не считались, но вся мировая пресса обо мне пишет, я признан в мире, и они вынуждены со мной считаться. Иначе бы они меня давно раздавили, уничтожили, как назойливую муху, которая постоянно мешает своим жужжанием»[58], — так образно впоследствии оценивал свой якобы

[56] Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии — www.zaitsev.info/?page_id=774.
[57] Morning Star. 1967. January 4. P. 1.
[58] «Не понимаю модельеров, которые выходят на сцену в помоечном виде»...

перманентный конфликт с Советской властью В. Зайцев. На самом деле, как мы увидим ниже, эти отношения носили куда более сложный и неоднозначный характер.

Тем временем вплоть до весны 1965 г. он продолжал трудиться на Бабушкинской фабрике, отрабатывая 3-летнее распределение после вуза. Разительный контраст между кружащей голову известностью за рубежом и почти «опалой» в СССР оказался непростым испытанием. Фабричное руководство решило, что своей «самодеятельностью» при подготовке скандальной коллекции и спорами с членами комиссии он подвёл коллектив. А тут еще «штрафника» почти носят на руках иностранные журналисты. «Я ушёл оттуда [с фабрики] с воспалением мозга на нервной почве и потерей зрения»[59], — рассказывал впоследствии Зайцев. За провальное выступление на подиуме «Крыльев Советов» модельер, по его словам, был удалён из экспериментального цеха и «сослан» на производство. «На фабрике меня просто затравили, устроили товарищеский суд, сняли с должности... и перевели в цех, где можно было из неликвидов, то есть, старых тканей, делать женскую одежду и сдавать её в московские магазины. Я стал работать, в результате новый престижный [столичный] магазин “Светлана” стал покупать у фабрики эту одежду»[60], — рассказывал В. Зайцев. По заданию руководства в 1964 г. он успел подготовить ещё одну коллекцию спецодежды — для работниц торговли Московской области. Основной же сферой его деятельности в 1963 — начале 1965 гг. оказалась разработка моделей повседневной одежды, партии которой тут же на фабрике пошивались, можно сказать, «из того, что было», и направлялись прямиком в магазины Москвы и области.

Можно сказать, что начинающему модельеру вновь в какой-то мере повезло. На излёте деятельности хрущёвских совнархозов, ликвидировавших многие бюрократические препоны в рамках своих регионов, лучше стимулировались прямые связи производителей и магазинов, которые в большей мере, чем раньше, начали ориентироваться на покупательский спрос и прибыль. В результате сократилось время от создания модели до её появления на прилавке. На общем фоне женская одежда преимущественно модных молодёжных фасонов, изготовленная небольшими сериями Бабушкинской фабрикой по моделям Зайцева, выглядела очень даже неплохо. Вещи быстро раскупалась, а слух о талантливом модельере, одежду которого можно было приобрести только в определённых магазинах (заключивших

[59] В. Зайцев: «Мне бог дал возможность прикоснуться к гармонии и подарить эту радость»...

[60] «Я — служба быта»...

договоры с Бабушкинской фабрикой, мощности которой были весьма ограничены), распространился среди растущего числа советских модниц. Поэтому первые публикации о Зайцеве, появившиеся в советской прессе весной 1964 г., попали на уже подготовленную почву.

Первые публикации о В. Зайцеве в прессе СССР и стран СЭВ

К сказанному выше нужно отметить, что в то время позитивный (хотя пока ещё в профессиональном плане и не вполне заслуженный) имидж, формируемый журналистами вокруг молодого модельера, играл явно на руку задачам советской пропаганды. Спустя некоторое время она решила внести вклад в его углубление. Примерно с середины 1964 г., как по команде, материалы о Зайцеве, а также его зарисовки, фотографии и интервью с ним начинают появляться на страницах советских периодических изданий, а также в культурно-пропагандистской периодике стран СЭВ. К формированию позитивного имиджа молодого советского кумира моды подключился ВЛКСМ, заинтересованный в поиске положительных героев среди советской молодёжи. К примеру, массовый молодёжный журнал «Смена» на всю обложку своего майского номера за 1964 г. поместил огромный портрет комсомольца В. Зайцева, которому только что исполнилось 26 лет, но на вид трудно было дать больше 20-ти. В заглавной журнальной статье номера, проиллюстрированной четырьмя другими фотографиями, он был пока ещё скромно охарактеризован как «молодой талантливый художник, модели которого нравятся женщинам». Если принять во внимание, насколько ответственно издатели в те времена подходили к журнальным передовицам и к персоналиям на обложках, то можно считать, что «опала» с молодого модельера была снята.

Любопытно, что в то же самое время пресса соцстран, явно знакомая с позитивными откликами Запада, уже писала о Зайцеве в куда более восторженных тонах, нежели советская печать. В апреле 1964 г. выходящий в ГДР иллюстрированный журнал «Freie Welt» (Свободный мир) — орган Общества германо-советской дружбы в статье с «говорящим» названием «Moskauer Chic» (Московский шик) представил немецким читателям Славу Зайцева как восходящую звезду моды. Германский корреспондент описал виденную им лично сцену в московском магазине «Светлана», когда в течение 15 минут к продавцу одна за другой подходили 10 молодых женщин и спрашивали, нет ли в продаже одежды, сшитой по моделям Зайцева. Для потребителей его модели казались «шикарными», и это был знак несомненного успеха. Корреспондент из ГДР называет его не иначе, как «московским Диором», «забывая», правда,

сообщить читателям, что герой репортажа скромно трудится на фабрике спецодежды. Сравнение Зайцева с великим Кристианом Диором было, конечно, более чем лестным и не случайным: после смерти французского кутюрье в 1957 г. мир моды был занят поиском ему достойного преемника[61]. И вот, возможно, он нашёлся, причём, именно в СССР!?

Показательно, что визуальный ряд для этой статьи в «Freie Welt» был предоставлен всё тем же советским АПН, корреспонденты которого, судя по всему, будто заправские папарацци, «выслеживали» молодого модельера не один день. В этой публикации получил отражение популярный в то время жанр фотоочерка, связанный с отказом от постановочных кадров и искусственных инсценировок, что создавало иллюзию приближения к реальной жизни и смотрелось в итоге очень выигрышно. На одной из фотографий в «Freie Welt» крупным планом изображен одетый «с иголочки», коротко стриженый худощавый молодой человек, который держит в обеих руках большие листы бумаги с эскизами своих новых моделей. На другом фото В. Зайцев заботливо поправляет наряд манекенщице, готовящейся к выходу на подиум. На следующем с подписью «Слава моделирует не только для “больших дам”» — Зайцев поясняет что-то закройщицам детского платья рядом с поставленной для удобства прямо на раскроечный стол маленькой «манекенщицей» — девочкой лет 3-х. Здесь же десяток зарисовок разных моделей Зайцева — зимней меховой и домашней одежды, летнего платья, рабочей одежды и проч. Всё это создавало впечатление о молодом дизайнере как о не по возрасту зрелом модельере универсального плана, полном творческих идей и уже готовых разработок.

Но, вероятно, самая выигрышная фотография из помещённого журналом «Freie Welt» фотоочерка имеет заголовок «Модные впечатления в московском метро». Поджав ногу, В. Зайцев стоит на одной из станций метро, прислонившись к стене и в творческом порыве не обращая внимания на проносящиеся мимо поезда. Брошенный прямо на мраморный пол портфель совершенно забыт, так как модельер старательно зарисовывает в альбом свои новые идеи, чтобы не «растерять» их по дороге. Вероятно, он специально вышел для этого из трясского вагона, не доехав до нужной остановки. Остаётся только гадать, были ли навеяны эти идеи впечатлениями от архитектуры столичного метро или наблюдениями за случайно встреченными им столичными модницами. Рекламный характер данной публикации несомненен.

[61] Нужно сказать, что это сравнение прижилось: впоследствии иностранная печать часто именовала Зайцева «красным Диором» или «советским Диором», а иногда представляла его своим читателям подобно боксеру на профессиональном ринге — «Слава “Красный Диор” Зайцев».

Одновременно имя советского модельера В. Зайцева начал активно продвигать на Западе и издающийся в СССР на английском языке иллюстрированный журнал «USSR. Soviet Life Today» (СССР. Советская жизнь сегодня). Это издание, предназначенное для распространения в США в обмен на поступавший в СССР журнал «Америка», занималось пропагандой советского образа жизни и достижений с акцентом на культуру, науку и образование. Июльский выпуск 1964 г. подробно рассказал американцам о модельере В. Зайцеве, а также — что было весьма неожиданным — о той самой его раскритикованной в феврале 1963 г. коллекции рабочей одежды, о которой первым когда-то поместил заметку «Пари матч». То есть, спустя год после разгромной критики на Эстетической комиссии советское пропагандистское издание выдавало эту коллекцию за достижение и превозносило талант молодого модельера. На обложке номера «USSR. Soviet Life Today» и в большом материале под заголовком «Слово о московских моделях — 25-летнему дизайнеру Славе Зайцеву»[62] читатель мог ознакомиться с серией его новых зарисовок платьев, а также с фотографией самого модельера (склонившаяся за рабочим столом коротко стриженая голова, сосредоточенный взгляд и сдавленный кулаком подбородок, символизирующий напряжённую работу мысли) на фоне многочисленных авторских эскизов. На обороте обложки журнала вновь видим модели Зайцева из этой коллекции, а также ещё один портретный снимок модельера с поясняющей надписью: модельер В. Зайцев представляет в этом журнале экспериментальные направления моды в народном костюме разных регионов СССР на 1965 год. И вновь это было явным преувеличением, поскольку таких заданий на Бабушкинской фабрике Зайцев не получал.

Практически одновременное появление материалов в разных пропагандистских изданиях СССР и соцстран заставляет задуматься о спланированном характере подобных действий. Но, кажется, начинающему модельеру с задатками актёра не только льстило внимание, но и было интересно вживаться в образ «важной персоны». В декабре 1964 г. минская молодёжная газета «Знамя юности» в рубрике «Модный профиль» поместила статью под былинным названием: «О Вячеславе Зайцеве — художнике-модельере». На вопрос корреспондента о моде будущего, быстро вошедший в образ умудрённого опытом специалиста молодой модельер глубокомысленно заметил: «Если говорить правду, то иногда, за чашкой кофе, я невольно предаюсь размышлениям о том, что с модой станет, ког-

[62] USSR. Soviet Life Today. 1964. № 7. P. 30—33. К моменту выхода номера журнала Зайцеву уже исполнилось 26 лет.

да меня уже не будет...»[63] Тем, кто хорошо знал Зайцева, оставалось только рассмеяться в ответ на подобную сентенцию. Однако оказалось, что корреспондент своим вопросом попал в точку: некоторое время спустя модельер действительно оказался ответственным в СССР за «моду будущего».

Первые шаги в коллективе Общесоюзного Дома моделей одежды (1965 – 1967 гг.)

Весной 1965 г. происходит резкий поворот в карьере В. Зайцева. Руководство Министерства лёгкой промышленности СССР проявило благосклонность к 27-летнему сотруднику своей Бабушкинской фабрики, имя которого к тому времени уже прозвучало на Западе и быстро становилось популярным внутри страны. Зайцева приглашают на работу в советский «храм моды» — Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком мосту, о котором он мечтал со студенческой скамьи. Как следует из архивных документов, с 1 марта 1965 г. В. Зайцев начинает трудиться рядовым художником-модельером в его Подготовительно-методическом цехе.

Любопытно, что уже при зачислении, в соответствии с приказом министра, В. Зайцеву был установлен повышенный персональный оклад в 120 руб., тогда как должностные оклады других модельеров ОДМО колебались в это время от 90 до 115 руб., и даже замдиректора Дома моделей Р.И. Разбаш получал ненамного больше — 175 руб. в месяц[64]. Персональная надбавка к жалованью, означавшая наличие влиятельных покровителей или признание особых заслуг, считалась по тем временам слишком необычным делом, чтобы остаться не замеченной в коллективе. Неудивительно, что в первое время к В. Зайцеву там отнеслись настороженно. Впрочем, спустя несколько месяцев буквально фонтанирующий новыми идеями перспективный молодой модельер смог расположить к себе руководство Дома моделей и коллег. К тому же привыкший всегда быть на виду комсомолец Слава Зайцев с удовольствием включился и в общественную деятельность,

[63] *Чанин В.* О Вячеславе Зайцеве — художнике-модельере.

[64] Приказ по ОДМО № 41 от 2 марта 1965 г. «Принять Зайцева В.М., 1938 г.р., художником-модельером по лёгкому женскому платью подготовительно-методического цеха № 4 с окладом 120 руб. с 1 марта 1965 г.» (РГАЭ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 200. Л. 486). В соответствии с приказом № 55 от 16 марта 1965 г. об установлении квалификационных категорий по оплате труда, В. Зайцеву была присвоена 1-я категория, которую, к примеру, получили и его коллеги Н. Аршавская, Т. Осмеркина, Л. Телегина и др. (Там же. Л. 404, 464).

что впоследствии стало основанием для рекомендации его в члены КПСС[65].

ОДМО был необычной организацией — нечто среднее между научно-исследовательским институтом, конструкторским бюро, фабрикой, выставкой, ателье и бюро пропаганды. Он был создан ещё в 1948 г. на базе организованного на излёте войны, в 1944 г., Московского Дома моделей. В 1960—1970-е гг. его коллектив насчитывал уже более 700 человек, включая около 60 художников-модельеров и примерно столько же конструкторов одежды. В ОДМО разрабатывалось более 4 тыс. (!) новых моделей одежды в год, причём едва ли не каждая модель доводилась здесь от эскиза до изготовления промышленных лекал. Таким количеством модельеров и подобной производительностью не мог похвастаться ни один модный дом мира.

Считалось, что на Кузнецком мосту собраны лучшие профессионалы своего дела в СССР, у которых есть чему поучиться. Это в целом соответствовало действительности. Работа в 1965—1978 гг. в ОДМО стала для В. Зайцева большой профессиональной школой. Здесь он набрался опыта и окончательно сформировался как модельер. Здесь смогли раскрыться разные грани его дарования. Благодаря возможностям Общесоюзного дома моделей он стал по-настоящему знаменит. Здесь, наконец, он сделал блестящую, по советским меркам, карьеру.

Главная моделирующая организация Советского Союза отличалась многофункциональностью. Структура ОДМО второй половины 1960-х гг. включала в себя цеха, специализированные участки и отделы: мужской одежды, женской верхней одежды, женского лёгкого платья, детской одежды, меховых изделий и головных уборов, промышленных лекал, внедрения, выкроек для населения, пропаганды моды и выставочных залов, а также подготовительно-методический цех № 4. В последний и был зачислен В. Зайцев. Директором ОДМО являлся Н.Н. Никифоров (в 1968 г. его сменил В.И. Ягловский), художественным руководителем — модельер Л.Ф. Турчановская, заместителями директора — Е.С. Воробей и Р.И. Разбаш (по производству), начальником Отдела кадров и спецчасти был А.М. Минаев.

На Кузнецком мосту дважды в год создавались сезонные коллекции двух видов: приближенные к «высокой моде» *направляющие коллекции*, то есть, дающие моделирующим организациям страны ориентир в отношении перспектив моды на несколько лет вперёд, а также

[65] Например, Александр Игманд вспоминал, как в конце 1960-х гг. трое молодых модельеров Экспериментального цеха ОДМО — В. Зайцев, С. Качарава и А. Игманд — с интересом делали стенгазету под названием «Мода» (*Юшкова А.* Александр Игманд: «Я одевал Брежнева...». С. 43).

разработанные на их основе *промышленные* коллекции, модели которых считались готовыми к внедрению, поскольку, в отличие от моделей «направляющей» коллекции, они были уже «адаптированы» к жёстким нормативам по расходу тканей и к ограниченным технико-технологическим возможностям массового фабричного производства. Все новые модели ОДМО проходили процедуру утверждения Худсоветом, руководил которым замминистра лёгкой промышленности СССР.

Центральным направлением работы ОДМО традиционно считалось регулярное обеспечение «промышленными» моделями швейных предприятий Мосшвейпрома, расположенных в столице и области. Эти фабрики обязаны были регулярно обновлять свой ассортимент, поэтому они на хоздоговорных началах либо заранее заказывали в ОДМО разработку определённых моделей одежды[66], либо могли купить здесь уже готовые «выставочные» экземпляры.

В. Зайцев попал на Кузнецкий мост в период больших перемен в стране и в коллективе, и атмосфера этих перемен не могла не увлечь его. Об этом он многократно упоминал и в своих интервью. В середине 1960-х гг. в советском обществе сохранялись ожидания либеральных реформ. После упразднения региональных совнархозов и возвращения ОДМО в ведение воссозданного Минлегпрома СССР, существенно усилились общесоюзные функции столичного Дома моделей одежды как центра координации и методического обеспечения деятельности республиканских и региональных моделирующих организаций. В соответствии с приказом Минлегпрома СССР от 18 сентября 1969 г., на ОДМО было непосредственно возложено методическое руководство вопросами промышленного и перспективного моделирования и конструирования одежды, разработки и распространения методических материалов, а также оказания практической помощи региональным и республиканским Домам моделей[67]. В результате у специалистов с Кузнецкого моста появилась возможность исколесить за государственный счёт всю страну, что было, безусловно, привлекательным как в профессиональном, так и в познавательном плане. К тому же им приятно было осознавать свою значимость, ведь в регионах к модельерам из Москвы относились с большим пиететом.

Другим важным новшеством стала заметная активизация международного сотрудничества. В середине 1960-х гг. по поручению Пра-

[66] Заявки на разработку моделей от фабрик ОДМО принимал более чем за год вперёд: к примеру, заявка к одежде на сезон «весна—лето 1966 г.» оформлялась до 15 января 1965 г.

[67] РГАЭ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 1638. Л. 14.

вительства ОДМО готовил одну за другой коллекции одежды для зарубежных показов, причём все они должны были соответствовать мировому уровню как в части моделирования, так и непосредственно дефиле, в которые стали вноситься элементы режиссуры[68]. Необходимость достойно представлять советскую моду на международных форумах открывала более широкие возможности для изучения иностранного опыта моделирования и конструирования одежды, в том числе путём освоения ставшей более доступной западной литературы, модных журналов, регулярных загранкомандировок и проч. Как видно из документов, к 1960-м гг. относятся и попытки советских специалистов наладить сотрудничество с ведущими парижскими Домами моды, включая ознакомительные поездки, взаимные демонстрации, зондаж возможностей для стажировки советских модельеров во Франции, обмен информацией о тенденциях моды и проч.

В связи с расширением международных контактов возникает потребность в создании подобия советской «высокой моды» на базе «направляющих» коллекций одежды. В этих условиях разработка «подиумных» моделей превратилась в один из приоритетов ОДМО и других ведущих моделирующих организаций СССР. Вырос и удельный вес моделей «высокой моды». Так, судя по ежегодным отчётам ОДМО, во второй половине 1960-х гг. они составляли до одной трети от общего числа разработок Кузнецкого моста[69]. Однако для создания по-настоящему конкурентоспособных моделей мирового уровня требовались и модельеры нового типа, обладающие оригинальностью мышления, творческой жилкой и быстрой реакцией на изменения тенденций мировой моды. А также — что немаловажно — «узнаваемые» на Западе.

Многообещающие перемены в работе коллектива Кузнецкого моста происходили и в связи с экономическими реформами в стране — совершенствованием хозрасчёта, повышением самостоятельности предприятий и др. С 1966 г. ОДМО перешёл на работу со швейными фабриками по прямым договорам и с учётом заказов торговли.

---

[68] В документации ОДМО 1965—1970 гг. рефреном звучит обязательность соответствия мировому уровню новых моделей и конструкций одежды. Не случайно на 1966 г. перед коллективом ОДМО прямо ставилась задача «перейти на внедрение моделей, разработанных на высшем техническом уровне лучших отечественных и международных стандартов» (РГАЭ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 200. Л. 32). Одним из первых профессионально поставленных дефиле стало выступление советских манекенщиц на международной выставке ЭКСПО-67 в Монреале. В. Зайцев принимал активное участие в создании этой коллекции.

[69] С 1962 по 1969 гг. количество моделей для выставок и показов, разработанных модельерами ОДМО заметно выросло, а «промышленных» моделей несколько сократилось. Так, в 1969 г. Худсоветом ОДМО было принято 2 730 «промышленных» и 1 354 моделей для выставок и демонстраций (РГАЭ. Ф. 467. Оп. 1. Д. 1638).

Несколько ранее, с 1962 г., начался переход к моделированию одежды для населения на основании новой, более совершенной и разнообразной шкалы типоросторазмеров. Это не только способствовало прогрессу в моделировании, но и означало, что значительно большее количество советских людей смогут подобрать себе по фигуре готовую одежду в магазинах. Между тем «революция типоросторазмеров» обусловила почти полную смену коллектива манекенщиц и манекенщиков ОДМО, которые перестали соответствовать новым стандартам типовых фигур. В результате только в 1962 г. отсюда уволилось 23 демонстратора одежды[70]. Одновременно выделилась группа молодых «элитных» манекенщиц, параметры которых соответствовали принятым в то время в мире моды. Они привлекались для зарубежных показов, а также для демонстрации направляющих коллекций[71].

Указанные выше изменения стимулировали смену поколений и привлечение в коллектив молодых талантливых профессионалов. Совершенствовалась и структура ОДМО. В новых условиях заметно усилилась роль ранее выполнявшего вспомогательные функции Подготовительно-методического цеха № 4. В 1965 г. его состав расширили до 51 человека. Начальником цеха являлась Н.В. Завитаева, а художественным руководителем — старший художник-модельер Т.И. Кучинская. Цех № 4 выделялся своим молодёжным творческим коллективом, в котором, к моменту прихода сюда Вячеслава Зайцева трудились модельеры Светлана Кочарава, Тамара Файдель, Тамара Мокеева, Юлия Денисова и др. В 1965 г. сюда были приглашены модельеры, специализировавшиеся на предметах женского туалета. В 1966 и 1967 гг. коллектив цеха пополнился только что окончившими Текстильный институт дизайнерами мужской одежды Александром Игмандом и Геннадием Зейналовым[72]. В конце 1960-х гг. на базе Подготовительно-методического цеха будет создана Экспериментальная группа (затем — цех) ОДМО. «В одном цехе вместе собрались очень талантливые художники, каждый из которых... смог бы организовать свой собственный Дом моделей, — вспоминал впоследствии Александр Игманд. — В течение почти двенадцати лет Слава [Зайцев] фактически возглавлял экспериментальную группу, где сложился очень хороший коллектив единомышленников: никаких раздраев, перепалок у нас никогда не было»[73].

---

[70] РГАЭ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 222. Л. 11—13, 40—41, 64.

[71] Модели для направляющих коллекций примерялись и пошивались сразу на конкретную манекенщицу, что обусловило прикрепление «элитных» манекенщиц к подготовительно-методическому цеху.

[72] РГАЭ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 208. Л. 125.

[73] *Юшкова А.* Александр Игманд: «Я одевал Брежнева...». С. 43.

Подготовительно-методический (затем — Экспериментальный) цех ОДМО отвечал за создание направляющих коллекций одежды, а также за подготовку коллекций для зарубежных показов. Для этого необходимо было постоянно отслеживать и изучать тенденции мировой моды, творчески использовать передовой опыт. Его сотрудники изучали модные журналы и вели переписку с моделирующими организациями и специалистами из разных стран мира. Одновременно это подразделение работало в методическом плане с республиканскими и региональными Домами моделей, информируя их о тенденциях моды и добиваясь единства подходов к моделированию и конструированию одежды в масштабах всей страны. Как следует из вышесказанного, важными особенностями работы подготовительно-методического цеха являлось то, что, во-первых, он не был непосредственно «завязан» на обслуживание отечественных швейных фабрик. Во-вторых, от его деятельности во многом зависело то, как будет выглядеть советская мода на международной арене.

Первые публикации в «Журнале мод»

С первых дней работы в ОДМО в свободное время В. Зайцев часто забегал в редакцию «Журнала мод» — главного «гламурного издания» СССР, располагавшуюся в том же здании на Кузнецком мосту, только этажом выше. «Журнал мод» был, конечно, тесно связан с ОДМО — главным центром моды в СССР тех лет. Однако формально он являлся органом ВИАлегпрома, что давало редакции определённую независимость, тем более, что сам ВИАлегпром располагался в другом районе столицы. Зайцеву импонировала доброжелательная, творческая обстановка в коллективе журнала, редактором которого была искусствовед Антонина Донская. Быстро распознав в молодом модельере талант и узнав о материальных трудностях, она взяла В. Зайцева под свою опеку. Донская приглашала его рисовать иллюстрации к готовящимся номерам журнала. По его признанию, почти сразу же он начал воспринимать себя внештатным сотрудником «Журнала мод». Здесь он многому научился и познакомился с лучшими модельерами страны и с их работами.

Одновременно у Зайцева появилась возможность усовершенствовать свои навыки в области модной фотографии, которой он всерьёз увлёкся с 1963 г. Штатным фотографом «Журнала мод» являлся один из лучших профессионалов страны Эдуард Крастошевский. Он стал брать не чуравшегося черновой работы молодого модельера на съёмки в качестве стилиста и ассистента по свету[74].

[74] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 28—29.

Судя по архивным документам и публикациям, признание в довольно консервативной профессиональной среде художников-модельеров, не очень-то жаловавших новичков, пришло к Зайцеву где-то к осени 1965 г. То есть, примерно через полгода после начала работы на Кузнецком мосту. В этом смысле, вероятно, наиболее показательный пример — материал о нём, помещённый явно с подачи Донской в первом номере за 1966 г. «Журнала мод» (по информации на обложке, номер был сдан в производство еще 9 сентября 1965 г.).

В это время журнал решил пойти на эксперимент и поближе познакомить читателей с лучшими модельерами страны, в особенности — с работами талантливой молодёжи. В результате в нём появилась рубрика «Предлагают художники», в которой стали публиковаться интервью с модельерами, сопровождавшиеся их фотографиями с биографическими данными, а также фото или зарисовки авторских моделей.

Показательно, что первым же в новой рубрике читателям был представлен именно Слава Зайцев. Причём, фотография одной из его работ из весенней 1966 г. коллекции ОДМО была даже помещена на обложке этого «Журнала мод» (1966. № 1). Материал о его творчестве в общей сложности занял четыре страницы, а вот помещённые следом в том же номере публикации о его коллегах с Кузнецкого моста — модельерах Лине Телегиной и Светлане Кочарава оказались куда более скромными по объёму.

С 1967 г. В. Зайцев стал регулярно выступать на страницах «Журнала мод» как один из признанных модельеров страны. В подшивках тех лет можно найти его модели как женской, так и мужской одежды разного предназначения. Например, «Журнал мод» № 3 за 1966 г. напечатал фотографии его авторских пиджаков, предназначенных для повседневной носки, а во № 2 за 1967 г. появилась ещё одна 4-страничная публикация под названием «Предлагает художник В. Зайцев», в которой читателю были представленные его новые авторские работы, вошедшие в состав одной из «экспортных» коллекций ОДМО.

В начале 1970-х гг. Центральный Дом народного творчества начал проводить конкурсы современных и бальных танцев среди советской молодёжи. Поскольку организаторам хотелось, чтобы форма непременно соответствовала содержанию, они обратились к профессионалам из ОДМО за помощью в разработке моделей танцевальных костюмов. В результате появились оригинальные модели В. Зайцева для молодёжных танцевальных вечеров, которые тут же растиражировал главный модный журнал страны.

Важность позитивной тональности первых публикаций о творчестве В. Зайцева в «Журнале мод» заключалась в том, что к мнению

этого массового и самого авторитетного модного издания в СССР прислушивались не только в профессиональных кругах модельеров, искусствоведов и конструкторов одежды, но и среди десятков тысяч интересующихся модой рядовых советских граждан. По мере того, как имя модельера Зайцева становилось всё более узнаваемым внутри страны и люди всё больше прислушивались к его мнению, — вне зависимости от того, хотел ли он или власть признавать это, — он начал превращаться в публичную фигуру.

1965 г.: встреча с Пьером Карденом

Вскоре после того, как В. Зайцев приступил к работе на Кузнецком мосту, в апреле 1965 г. в Москву прибыла делегация французских мастеров культуры. Популярного шансонье Жильбера Беко сопровождала группа артистов и художников, в том числе известные парижские кутюрье Ги Ларош, Пьер Карден, креативный директор Дома моды «Кристиан Диор» Марк Боан и др. По словам В. Зайцева, через коллег — журналистов он знал о приезде французской делегации и мечтал встретиться с кумирами моды. Однако приход 24 апреля на Кузнецкий мост французской журналистки, выполнявшей в делегации обязанности гида-переводчика, стал неожиданностью как для него, так и для руководства Дома моделей. Она сообщила, что утром следующего дня, 25 апреля, П. Карден и М. Боан хотели бы встретиться с модельером В. Зайцевым в холле гостиницы «Киевская», где они остановились.

Пьер Карден, начинавший свою карьеру в 1945 г. простым манекенщиком у Кристиана Диора, в середине 1960-х гг. считался уже известным парижским модельером. Он был также знаменит своими «левыми» взглядами, симпатией к СССР (здесь он бывал довольно часто, в том числе по линии Общества советско-французской дружбы), приятельскими отношениями с влиятельным министром Е.А. Фурцевой и с известными советскими деятелями культуры. Ситуация была щекотливая. Просто проигнорировать пожелание П. Кардена о встрече с В. Зайцевым, например, не поставив последнего в известность, было невозможно. Поэтому, как вспоминает Зайцев, 24 апреля 1965 г. он был вызван к руководству ОДМО. Здесь ему сообщили о визите журналистки, передали её просьбу, но настоятельно посоветовали не идти на эту встречу[75]. Дело в том, что существовал

[75] Информация РИА «Новости» с официального сайта В.М. Зайцева: Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии www.zaitsev.info/?page_id=774. Интервью впервые опубликовано в газете «Независимая Молдова» 14 марта 2003 г.

строгий порядок: для общения с иностранцами требовалось согласование с КГБ и Министерством, но времени на это уже не оставалось. «Моё руководство... категорически запретило мне идти на встречу»[76], — вспоминает Зайцев. Она не была санкционирована «инстанциями», а брать на себя ответственность никто не хотел.

Однако молодой модельер решил проигнорировать запрет. Его реакцию нетрудно было предугадать. «Боже мой! Быть такого не может! Я никогда не поверю, что могу стоять рядом с Пьером Карденом!»[77], — вспоминал он впоследствии своё приподнятое состояние. Желание встретиться с кумирами моды, перед которыми он, в тайне мечтая о столице мировой моды, преклонялся со студенческих лет[78], было столь велико, что Зайцев стал действовать на свой страх и риск. По его словам, он принарядился, в назначенное время поехал к гостинице «Киевская» и столкнулся в фойе с возвращающимися с завтрака французами. Увидев среди них Кардена, он окликнул его, был, в свою очередь, узнан по фотографии в «Paris Match» и представлен оказавшимся поблизости иностранцам. Среди них, между прочим, оказался редактор американского модного журнала «Women's Wear Daily» (Женская повседневная одежда), находившийся в приятельских отношениях с французскими модельерами.

После беглой встречи в фойе Зайцев был зазван Карденом в гостиничный номер, где они, оставшись уже без переводчицы и с грехом пополам понимая друг друга, договорились о дальнейшей программе на день: совместном с французской делегацией посещении Оружейной палаты Кремля, обеде в ресторане «София» и ужине в «Арагви». В. Зайцев впоследствии вспоминал о своей крайней растерянности и смущении в тот момент: «я почувствовал себя аборигеном, плебеем, пробормотал что-то невразумительное...»[79]. Общение осложнялось слабым знанием молодым человеком английского языка, на котором пришлось вести беседу ввиду не владения французским (Карден тоже не знал русского)[80].

День 25 апреля 1965 г., который сам В. Зайцев называет судьбоносным в своей жизни[81], выдался очень насыщенным. Он впервые побывал в Оружейной палате, а вечером вместе с приглашённой французами ведущей советской манекенщицей Региной Збарской

---

[76] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 55.
[77] Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии- www.zaitsev.info/?page_id=774.
[78] Впервые В. Зайцев посетил Париж в 1988 г., но, по его словам, мечтал о нём и видел его во сне многие годы.
[79] *Каноне С.* Слава-Зайцеву.
[80] Slava Zaitsev. СМИ: фрагменты биографии — www.zaitsev.info/?page_id=774.
[81] Слава Зайцев. Тайны соблазна. С. 58.

отужинал в «Арагви»[82]. Во время обеда в ресторане «София» сидели за столиком втроём: Зайцев, Карден и Боан. Затем к ним подошли Ги Ларош и Филипп Гибурж, чтобы вместе посмотреть и обсудить зарисовки новых моделей, «случайно» захваченных с собой Зайцевым. Сопровождавшие французскую делегацию фотожурналисты, среди которых были и сотрудники АПН, засняли этот момент.

Спустя некоторое время после отъезда французов Зайцеву прислали издание «Women's Wear Daily» со статьёй и фотографией под сенсационным заголовком: «Встреча королей моды». Этой публикацией в издании, которое за влиятельность в мире западного дизайна негласно именовали «библией моды», советский модельер, сам того не подозревая, был поставлен в один ряд с известнейшими французскими кутюрье.

После хвалебного материала 1963 г. в «Пари-матч» это был второй крупный аванс в карьере В. Зайцева, который ещё предстояло оправдать.

[82] Там же.

Леонтьева Т.Г.

Художник помогает историку? Современный женский детектив в роли исторического источника

В XX в. историки, не исключая приверженцев традиционных историографических жанров, стали осознавать необходимость обновления Клио — информационная революция не оставила выбора. Но как, за счёт чего это сделать? Где найти источник культурно-антропологического оживления «засоциологизированного» прошлого? Сергей Сергеевич Секиринский, блестящий знаток русской литературы и мемуаристики, одним из первых предложил соединить позитивистское упорство историка и фантазийную раскованность филолога для «объёмного» воспроизведения прошлого.

Драма отношений художника с «заземлённым» миром стара и даже банальна. Человек, вкусивший яд художественного воображения, видит современность по-своему, улавливает «тонкую материю» бытия. Почему это не использовать историку в своих собственных исследовательских интересах? Но как?

Когда-то, устав от «своих» сюжетов, я попыталась (по подсказке Сергея Секиринского) разнообразить свой профессиональный интерес за счёт кинематографа в сборнике «История страны / история кино» (М., 2004), удостоенном премии Гильдии российских кинокритиков. Это было неожиданно. Тогда я не вполне поняла, насколько основательно Сергей опередил своё время в источниковедческом отношении. В погоне за максимальной аутентичностью источника, историки постоянно забывают, что прошлое всегда предстаёт перед нами в «отражённом свете» — через вольный или невольный, непосредственный или сознательный — но непременно *вымысел*. А потому историки обязаны научиться «прочитывать» прошлое через *любой* источник, а не занудно перетолковывать его через наиболее удобный или доступный «исторический» документ или «выгодно» препарированную статистику.

В своё время «дамская компания» из Тверского госуниверситета задумала рассмотреть современный женский детектив — сей феномен и сегодня заставляет задуматься о ролевых перверсиях нашего общества — с позиций лингвиста, литератора, историка, социолога и философа. Я ухватилась за этот проект. С соответствующим пристрастием были прочитаны книги Александры Марининой, признанной к тому

времени королевой жанра. Сергей Сергеевич поддержал это начинание из своих — не вполне нам тогда ясных — соображений. В первом и втором номерах «Историка и Художника» за 2005 г. появилась серия статей под шапкой «"Убийца поневоле" Александры Марининой: язык, образ и реалии времени»[1]. Данный текст подготовлен в развитие этой публикации и одной из статей[2].

Сразу оговорюсь: я не поклонница женской прозы. Литература и искусство (как и история) существует вовсе не для гендерной самопрезентации, а для целей более серьёзных. И если в прошлом «зеркалом жизни» был *роман*, то почему не вообразить, что в наше время его место занял — может не к добру — вездесущий *детектив*. Ну а «женская тема», как таковая, может послужить ключом для проникновения в «мужские» возможности современного общества, то есть в проблему жизнеспособности современного мироустройства как такового.

Социальная реальность глазами мента в юбке

Полки нынешних книжных магазинов поражают обилием «дамского» детектива — книг специально сочинённых (в значительной степени мужчинами) в качестве релаксанта именно для женской аудитории. На этом фоне Маринина пишет почти «по-мужски» и не только для утомлённых заботами женщин. Это «чтиво» тяготеет к напряжённому психологизму, призванному отразить «глубину грехопадения» современного общества. Примечательно, что Маринина, как и всякий нормальный историк, берёт на себя «диагностическую», а не «терапевтическую» часть работы.

Оставим в стороне вопрос о художественных достоинствах сочинений Марининой, а равно и о том, насколько реалистично она передаёт работу современной милиции (полиции). Историк — не филолог. Для него нет «лёгких» источников, а потому он вправе игнорировать эстетическое их наполнение. И если верно, что человек — это стиль, то стилистика, если угодно, поэтика произведений Марининой меняется в соответствии с нравственно-эстетическими запросами времени.

---

[1] *Ищук-Фадеева Н.* В несовпадающих ракурсах // Историк и Художник. № 1. 2005. С. 57; *Гладилина И., Усовик Е.* Стереотип*тап* поневоле: языковая игра или иллюзия независимого бытия // Там же. С. 58—64; *Ищук-Фадеева Н.* Героиня нового типа // Там же. С. 91—101; *Леонтьева Т.* Женский детектив и неуловимые коллизии российского общества // Там же. С. 102—112.

[2] См.: *Леонтьева Т.Г.* Феминистка поневоле: За страницами «женского» детектива в современной России // The Soviet and Post-Soviet Review. 2004. Vol. 31. No. 2. P. 173—204.

На сегодняшний день она написала несколько десятков романов, двигаясь от «чистого», авантюрного и психологического детектива к «социальному роману» (нечто подобное проделал в своё время Жорж Сименон). Её творчество изучают во всём мире, сложилось целое исследовательское направление. Ясно, что не обошлось без поветрия феминизма. Попытаемся же уловить через востребованную «попсу» психосоциальные тренды того, что принято называть *contemporary history* (текущей, непосредственно наблюдаемой историей). Для анализа выбраны наиболее показательные романы, которые лучше отражают «динамику предмета», позволяют получить «более или менее адекватный слепок времени»[3].

Совершенно очевидно, что жанр детектива склонен подминать жизненные реалии «под сюжет». Но не всегда. Иной раз слишком болезненную действительность приходится не гиперболизировать, а скорее наоборот — микшировать. Можно также извлекать из неё готовые триллеры.

Первые тексты Марининой появляются в 1990-е годы — именно тогда преступность врывается в повседневность россиян. Недоумевающий и испуганный обыватель становится невольной жертвой: слухи о бандитах всех мастей, СМИ, так называемая жёлтая пресса, бульварные романы наперебой, будто соревнуясь, преподносят всё новые и новые примеры насилия над личностью — обман, издевательство, убийство, вымогательство. В массовой культуре не просто «приживаются», а начинают доминировать такие жанры, как детектив и детективный сериал. Это не случайно: в детективном произведении прочитывался конфликт, порождённый временем, он развивался у всех на глазах, увлекал, пугал, возмущал и... притягивал. Эффект усиливался тем, что в издавна популярном жанре стали лидировать женщины: преступность обрела «женское лицо», заслонившее его привычную «мужскую физиономию».

Разумеется, женщины совершали преступления во все времена и при всех политических режимах, но в СССР, стране победившего социализма, правонарушения относили к сугубо «мужским» занятиям, что вполне соответствовало представлениям о роли женщины

[3] Историк и Художник. № 1. 2005. С. 57. Для анализа привлекались произведения А. Марининой, отражающие события 1990-х и «нулевых» годов: «Стечение обстоятельств» (1992), «Игра на чужом поле» (1993), «Смерть и немного любви» (1995), «Убийца поневоле» (1995), «Шестёрки умирают первыми» (1995), «Не мешайте палачу» (1996), «Стилист» (1996), «Имя потерпевшего — Никто» (1996), «Реквием» (1998), «Когда боги смеются» (2000), «Закон трёх отрицаний» (2002—2003), «Соавторы» (2003—2004), «Воющие псы одиночества» (2004), «Замена объекта» (2005), «Пружина для мышеловки» (2005), «Городской тариф» (2005—2006), «Смерть как искусство. Правосудие» (2011).

в советском обществе. В постсоветское время ситуация изменилась: женскую преступность уже невозможно было завуалировать лукавой статистикой, более того, она стала важным фактором криминогенной обстановки, а женщины — не только изощрёнными нарушителями закона и общественного порядка, но и успешными сыщиками, в этом нас — читателей и зрителей — убеждают современная беллетристика, кинематограф, телевидение. Возникает ряд вопросов, которые не могут не волновать исследователей — историков, социологов, психологов: является ли подобная ситуация следствием запоздалой (но форсированной) гендерной революции? какова роль женщин в деструктивных процессах рубежа XX—XXI вв.? и, наконец, замечают ли мужчины подобные инверсии ролей и смыслов?

Размышлять на эту тему проще всего, опираясь именно на детективные произведения: за свойственной жанру сюжетной канвой здесь непременно проглядывает «документ эпохи», точнее не самая приглядная и потому потаённая её часть. Сознательно или нет, автор выходит за узкие рамки художественной формы и насыщает плоскую криминальную фабулу неожиданными социокультурными коллизиями, отражающими качественно новые роли мужчин и женщин из различных социальных слоёв. Преимущество Марининой в сравнении с конкурентами по цеху (иные «написали» уже сотни сюжетно избитых книг) в том, что она профессиональный юрист, обладающий к тому же кандидатской степенью, бывшая сотрудница МВД, словом, автор, владеющий уникальной информацией. Всё это позволяет усложнить сюжет, укрупнить характер героя, ярче высветить проблемы правосудия и справедливости, семьи и одиночества, любви и ненависти, отцов и детей, верности и адюльтера, преступления и наказания.

Её наблюдения не только интригуют читателя, но и озадачивают обществоведа. На глазах одного поколения не только меняется власть, трансформируется государственность, разрушаются некогда казавшиеся незыблемыми нравственные устои, но и создаётся новая реальность, которая не только провоцирует преступление, но и препятствует борьбе с преступностью. Последнему специально посвящён роман «Городской тариф» (устоявшаяся такса за сокрытие преступления): к середине «нулевых» стали обыденными явления срастания криминала с властью и правоохранительными органами, а прецеденты «оборотня в погонах» или «ментовской крыши», равно как бессильных честных сыщиков, «виноватых перед всеми», уже никого не удивляют. Возникают бесчисленные «почему», на которые мы не научились самостоятельно находить ответы.

Устами своего героя — сотрудника специального фонда для анализа криминогенных тенденций — Маринина предлагает своё видение

ситуации. Нами «просто пользуются», считает он. Руководство страны просто хочет держать руку на пульсе, чтобы принимать нужные для себя управленческие решения, которые позволяют поддерживать относительную стабильность. Никто не собирается оздоравливать наше несчастное общество, потому что та ситуация, которая сложилась сегодня, позволяет им воровать и оставаться безнаказанными. И они не за что не захотят эту ситуацию менять[4].

Современные обществоведы признают, что нынешний рубеж веков и тысячелетий стал по-своему переломным в общественной жизни. С чем это связано? Только ли с процессами в верхах? Будущие историки, скорее всего, ещё более основательно сосредоточат своё внимание на экономике и политике. Но будет ли этого достаточно для понимания произошедшего?

От девяностых к двухтысячным Маринина показывает, как уровень психической контагиозности становится критическим и в орбиту противозаконных действий втягиваются не только представители социальных «низов» (их-то мы видим всё реже и реже), но и люди творческих профессий — учёные, артисты, «компьютерщики» и т.п. Достаточно вспомнить музыкантшу Вальтер, певца Славу Зотова, библиотекаря Киру, программиста Илью Бабицкого, театрального актёра Никиту — для решения собственных психологических проблем они готовы посягнуть на чужую жизнь. Причина понятна: изменилось соотношение между реальным и воображаемым, люди стремятся не столько *быть*, сколько *казаться*.

Соответственно у Марининой театр — уже не только новая площадка для раскрутки детективного сюжета, это настоящий живой организм, остро реагирующий на современные пороки, то есть своеобразный камертон общественных настроений и нестроений. Будущему историку предстоит усвоить, что на рубеже столетий границы между частным и публичным в России удивительно сместились, человек перестал бояться подглядываний через замочную скважину.

И, разумеется, марининский детектив фокусируется на фигуре бизнесмена. Это уже не пошлый «новый русский». Людей, продуманно рвущихся наверх, объединяют нереализованность амбиций, зависть к чужому успеху, жажда «быстрых» и больших денег. В такой психической атмосфере размывание этических «норм» на фоне ощущения тотальной «отверженности» (никто не защитит, никто не позаботится, никто не поможет *даже по закону*) и толкает людей на прямое преступление. Труд перестаёт быть источником достойного образа жизни, да и само понятие *достойного* размывается, и в результате обычное столкновение индивидуальных интересов нередко перерастает в уголовное деяние.

[4] *Маринина А.* Городской тариф. М., 2006. С. 192.

Обычно историк использует статистику правонарушений, улавливает уровень девиантности социальной среды, но с трудом добирается до первопричин социально деструктивных процессов. Хороший детектив (особенно если он лишён элементов авторского морализаторства), так или иначе, вольно или невольно, подскажет то, на что не обращает внимания бюрократическая сводка.

Маринина тонко подметила феномен новой криминогенности — рост преступлений нравственного характера. Ей, знатоку изнаночной стороны жизни, совершенно очевидно, что некоторые антизаконные деяния трудно «подогнать» под статью Уголовного кодекса. Наказанием за такого рода «преступления» могут стать только муки совести. Последний самоутешительный мотив звучит в целом ряде произведений («Реквием», «Замена объекта», «Городской тариф», «Пружина для мышеловки»).

Но что такое совесть в наши дни? Однозначно ответить на этот вопрос затруднительно. К счастью, в романах отсутствует сакрально-мистическая составляющая, иначе мы запутались бы в поисках ответа. Остаётся замерять уровень «совестливости» социальной среды с учётом поколенческих преференций и возрастных «стандартов». Например, для Каменской (главной героини почти всех романов), её семьи, основной массы сослуживцев и «возрастных» начальников эталоны нравственности сопряжены с «общечеловеческими» ценностями. Напротив, поколению, воспитанному медийной культурой, ближе «ценности» «Дома-2», «Последнего героя» и «Каникул в Мексике». Мораль деформируется внешними атрибутами Успеха. «Фасадное» благополучие («брендовые» вещи, аксессуары, «салонный» образ жизни) может и должно быть достигнуто любой ценой, включая пересечения нравственных границ. Случайно или нет, но по части распущенности снова лидируют девушки (школьница Сонечка, дочь «мента» из «Городского тарифа»; школьница, затем студентка Лера из «Реквиема»; разборчивая содержанка Олеся Подрезкова, одновременно «любящая» своего мужа и его отца — из «Пружины для мышеловки», и др.). Возникает нешуточный вопрос: какими же будут преступление и преступники лет через 10—15? Ведь скорого излечения от этих социально-нравственных болезней, похоже, не предвидится.

«Инь» и «янь» в меняющемся социокриминальном пространстве

Содержание детектива удивительно эфемерно — оно забывается буквально сразу же после прочтения последней страницы. Потребитель этого жанра не призван размышлять. Но историку всё же стоит этим заняться, прочитав детектив под «своим» углом зрения.

Несмотря на то, что в детективе фигурируют мужчины и женщины, которые, как и положено, любят и ненавидят, встречаются и расстаются, этот жанр можно признать асексуальным. Логика специфического нарратива выводит на первый план более интригующие сюжеты — преступления, которые от романа к роману становятся всё изощрённее. Особенно те, что задумали и совершили женщины. Похоже, что именно они небезуспешно стремятся к лидерству в криминальном мире. Тот же феномен наблюдается и в «лагере» сыщиков — порой раскрывать преступления и ловить злодеев успешнее удаётся женщине. Более того, в плоский сюжет детектива — «найти и обезвредить» — многочисленные женские образы вносят специфическую напряжённость. Итак, каковы же они, современные мужчины и женщины, призванные автором для создания качественно новой интриги?

Героини Марининой делятся на две категории: «новые» — реализующие себя и живущие своими интересами и «традиционные» — полностью зависимые от мужчины (мужа, отца, любовника). В первой категории выделяются те, которые, с одной стороны, воплощают в себе творческое начало (в том числе и деформированное), а с другой — реактивируют «демонический потенциал» женщины, то есть коварной мстительницы, злоумышленницы. В последнем случае, в сущности, представлены персонажи традиционалистской ментальности, агрессивно вписавшиеся в современность.

Идеальный тип женщины постсоветской эпохи воплощает главная героиня Марининой — сыщица (оперативница с Петровки), а затем главный эксперт-консультант информационно-аналитической службы Главного управления внутренних дел Москвы, наконец, частный детектив Анастасия Павловна Каменская. Впервые она появляется в повести «Стечение обстоятельств» (1992) и с тех пор становится главной героиней Марининой. Располагая набором знаково-притягательных черт — интеллигентные родители, хорошее образование (знает пять иностранных языков), она состоит из феминистски «простительных» недостатков — ленива, по-своему капризна, не умеет готовить, не признаёт туфли на каблуках, от макияжа у неё появляется ощущение, что «в глаза песку насыпали». Вдобавок она постоянно курит под растворимый кофе и полагает, что женщине не обязательно рожать детей. У неё, по собственному признанию, дурной характер, слабое здоровье, а с возрастом появляются типичные женские комплексы.

Социально востребованное гендерное самоутверждение? Намёк на то, что современный мир не способен решать существующие проблемы, руководствуясь «мужской» логикой?

Каменская «по-мужски» профессионально востребована, затмевает сослуживцев по части аналитики (они, по сути, работают на неё),

раскрывает «нераскрываемые» преступления «особым методом». А главная её черта — умение составлять безупречные логические цепочки «по каким-то одной ей понятным схемам», находить общий язык как с интеллектуалами, так и с представителями криминала. Она не любит ходить на работу, но работает как типичный трудоголик, в конце 1990-х годов она в 37 лет —майор милиции, в «нулевые» — уже полковник.

Ещё одна знаковая деталь: её не только ценят коллеги, но и любит бесконечно преданный человек (позднее — муж), профессор-математик с мировым именем, который не только всегда находит нужные слова и подходящую интонацию, чтобы успокоить её, но и помогает «решать задачки», хитроумно составленные преступниками. Их скромная квартирка одновременно и мозговой центр Петровки, и прибежище вечно голодных, но жадных до работы сыщиков. Держатся дом и хозяйство исключительно радением профессора, который между лекциями и написанием научных трудов умудряется заполнить холодильник продуктами, приготовить сносную еду. Наконец он способен, что немаловажно для укрепления семейной жизни, умело поддержать разговор о трупах, убийцах и маньяках, которыми во сне и наяву озабочена его благоверная супруга. Словом, идеальная семья эпохи постмодерна.

Видимо, образ *такой* семьи — попытка литературного преодоления комплекса социальной неполноценности интеллигентной женщины советских времён, который, в свою очередь, перекочевал в соцповседневность из предшествующих патерналистких культур, признававших за женщиной территорию кухни, церкви, спальни и детской.

Антиподом Каменской в романах Марининой выступает внешне благополучная женщина-преступница, как правило, мстительница за свою несостоятельность-невостребованность, действующая с помощью (или посредством) других мужчин. Месть фигурирует как средство расправы с мужским миром, непременно подавляющим женщину. Образы мстительниц многогранны и меняются от романа к роману[5]. За каждой из них — банальная жизненная история, которая оборачивается драмой в новых социальных координатах. Женственно-притягательная спортсменка-снайперша Кира не хочет смириться со скромной должностью (а главное — зарплатой) библиотекаря, ремесло киллера, как ей кажется, повысит её самооценку, доход, позволит ощутить силу и превосходство над мужчинами («Шестёрки

[5] Подробнее см.: *Леонтьева Т.Г.* Женский детектив и неуловимые коллизии российского общества // Историк и Художник. 2005. № 2. С. 103—104.

умирают первыми»). Доктор наук, несостоявшаяся актриса Анита Волкова («Закон трёх отрицаний»), дочь преуспевающего бизнесмена Женечка («Когда боги смеются») и как замыкающее звено криминальной жути — фабричная работница, не принятая в литературный институт, циничная жёсткая красавица Лена Шляхтина которая ходит по пятам убийцы-маньяка и пишет «с натуры» захватывающие не столько сюжетом, сколько извращённым психологизмом, романы. Ужас последнего преступного поведения отягощается тем, что маньяк — её сумасшедший брат, а его жертвы — случайные невинные дети («Пружина для мышеловки»).

Этот новый типаж преступника вытесняет старые собирательные образы «советских» уголовников: расхитителей социалистической собственности, идейных врагов социализма, валютчиков-фарцовщиков, маргиналов и пьяниц-насильников. Женщина-преступница у Марининой «крупнее» — она умело организует изощрённые, виртуозно спланированные преступления, умеет выжидать и безжалостно наносить удары прямо в цель, что позволяет говорить о феномене женского протеста против миропорядка, устроенного мужчиной. Месть выступает как родовая черта российского (постсоветского) феминизма.

Тема мести прекрасного пола упорно акцентируется в творчестве Марининой. «Нет ничего страшнее, чем месть отвергнутой женщины», — не раз повторяет она[6]. «Бабы ... не такие корыстные, как... мужики, — полагает она. — Но зато они ужасно мстительные»[7]. Примечательно, что даже Каменская бессознательно (?) мстит своему бывшему любовнику, отвергая его любовь после долгой разлуки («Стилист»). В романе «Смерть и немного любви» маньяк-шизофреник «подставляет» некую несчастную женщину, совершая преступления под прикрытием «её» мести. Олеся Подрезкова, терпеливая хищница, смертельно ранит любовника, отца своего мужа, в отместку за запрет родить ребенка («Пружина для мышеловки»). А Елена Шляхтина была в своей одержимости возмездием искусна настолько, что придуманная ею схема продолжает свою разрушительную работу даже после её смерти и, по сути дела, разрушает судьбу обидчика, осмелившегося отвергнуть её демонстративно обнажённое тело («Пружина для мышеловки»). Маринина подчёркивает элементы своеобразно женской эстетизации жестокости. Так, Елена («Убийца поневоле») «с каждым актом возмездия расцветала, встряхивалась». Месть женщины — не одноактное действие, она растянута во

[6] *Маринина А.* Стилист. М., 1996. С. 422; *она же*. Игра на чужом поле. М., 1994. С. 190.

[7] *Она же*. Закон трёх отрицаний. Т. 2. М., 2003. С. 50.

времени («Воющие псы одиночества», «Пружина для мышеловки», «Городской тариф»). Кроме того, мстит женщина не только конкретным обидчикам-мужчинам, но и обществу, гендерно редуцирующему её как личность. Наиболее яркой, символически знаковой выглядит фигура старухи-пианистки Регины Аркадьевны Вальтер, которой в СССР из-за хромоты и семитского происхождения не удалось попасть на большую сцену («Игра на чужом поле»). Она сочиняет музыку для порнофильмов, где сексуальное извращение заканчивается смертью — в орбиту творимого ею возмездия попадают и мужчины, и женщины. За что же мстят женщины? «Ежегодно в России четырнадцать с половиной тысяч женщин погибают от рук своих мужей, это статистика, а не больная фантазия», — поясняет Маринина[8].

Не менее выразителен образ женщины традиционного типа: декоративно-биологическое существо, призванное прислуживать сильным (например, Ирочка Милованова из «Имя потерпевшего — никто») или паразитировать в качестве содержанки (последние показаны через образы представительниц «новорусской» формации). Для Марининой они малоинтересны, а если и вызывают некоторую симпатию, то только как исключение из правил. Понимая, что для таких женщин утрата связи с «патроном» — настоящий жизненный крах, она упорно отстаивает роль женщины — полноправного партнёра мужчины (в том числе и по части «права» на преступление).

Мужские персонажи во всей детективной серии выглядят куда более тускло, они чётко делятся на «исчезающую породу» талантливых одиночек и умножающееся племя всевозможных подонков (последние заметно обогащаются интеллектом). Первые представлены ближним окружением главной героини. Муж Каменской сознательно культивирует детскость (или инфантильность) своей супруги и порой недвусмысленно даёт ей понять, что готов принять её и в скромной роли домохозяйки. Брат Каменской — преуспевающий банкир — появляется в романах нечасто, но вызывает сочувствие читателя: он некрасив, приобретать благосклонность женщин ему помогают деньги, от этого он комплексует. Сослуживцы героини, начальники-мужчины и коллеги — люди умные, порядочные и работоспособные, не лишены обычных мужских слабостей: частенько выпивают, увлекаются женщинами, позволяя себе даже адюльтер. Если мужчина этого типа чего-то боится, с чем-то не справляется, чего-то не понимает, то ему на помощь стоит послать женщину — таков смысл некоторых установок Марининой.

«Прочие» представители мужского мира заметно раздражают Маринину примитивностью организации, реакциями на трудности быта,

[8] *Она же.* Когда боги смеются. Т. 2. М., 2000. С. 282.

нереализованными амбициями, «животностью» инстинктов — извращёнными представлениями о непомерной женской сексуальности[9]. Именно среди этих особей больше всего кандидатов в преступники.

Между такими типажами балансирует некая промежуточная группа, состоящая из комплексующего интеллигента, способного к самореализации только при поддержке женщины, и примыкающего к нему «интеллектуального преступника», по-своему поддерживаемого общественным мнением — своими действиями они «всего лишь» компенсируют недостатки закона.

Современная мужская преступность представлена Марининой во всём её отвратительном своеобразии: это уже не советские «урки», зарабатывающие на жизнь «профессией», отмеченной только в Уголовном кодексе, и не бесшабашное хулиганьё. В обновляющейся России в ряды преступников встают бывшие рядовые советские граждане, решившие «выбиться в люди», ухватив свой кусок ставшего бесхозным советского пирога. Возглавляют созданные на новой «регулярно-коммерческой» основе преступные группы вполне респектабельные субъекты. Именно с ними в первую очередь борется Каменская.

Такова парадигма расстановки полов и их взаимоотношений в творчестве известной детективщицы. В её интерпретации «проклятое» советское прошлое и «счастливое» демократическое будущее подобны двум мирам, пропасть между которыми никак нельзя перескочить одним махом, как пытались в своё время сделать «прорабы перестройки». Между прошлым и будущим лежит «пространство неопределённости», заполненное людским возбуждением, и пройти его Маринина пытается с помощью рассудка, точнее — пресловутой женской логики. По её мнению, в 1990-е годы в России обособились не только социумы преступников и добропорядочных граждан, мужчины и женщины также стали жить в «параллельных» мирах. Если в советском прошлом их социальные роли определялись известного рода патерналистскими установками, то теперь положение изменилось: женщины способны сделать этот мир лучше, вытеснив мужчин с лидирующих позиций в обществе. Хаос создаётся Мужчиной, а преодолевается Женщиной. Для выполнения этой задачи Женщина берёт на себя роль мстителя и судьи, приговор которого выполняет Мужчина. Как только всё возвращается на круги своя и восстанавливается порядок — Женщина может занять привычное место. Тем самым, феминизм для Марининой не столько социальный императив, сколько *временное* средство преодоления общественных неурядиц и недугов.

[9] *Она же*. Воющие псы одиночества. М., 2004. С. 308.

Историки до сих пор спорят о времени пришествия в Россию сексуальной революции. Одни относят её к 1920-м гг., указывая на тогдашние эпатажные выходки типа «Долой стыд!», другие ухитряются связывать её с Великими реформами XIX в. Маринина по-своему убедительно показывает, что сие долгожданное событие произошло в 1990-х гг. и последствия его глубже, чем можно было ожидать.

Насколько осознанно и откровенно Маринина конструирует *такую* реальность и насколько считает её иллюзорной, сказать сложно. Стоит ли соглашаться с Марининой, с её странноватым (почти мужским) оптимизмом? Есть в её произведениях маленькая деталь: успехам героини непременно сопутствует «случай» или «стечение обстоятельств». Это не удивительно: человек, вышедший из советского прошлого, ещё долго будет надеяться на чудо. «Женское» чудо «мужской» Власти?

«Новая» Маринина: замена объекта или его усложнение?

Говоря о «новой Марининой» я имею в виду не книжную серию, под новой обложкой которой скрываются старые произведения — этот привычный для нашего времени мелкий издательский обман не потянет даже на плохонький детектив, а проблему «обновления» авторского взгляда на мир в связи с происходящими в нём усложнениями.

Современный читатель довольно снисходительно относится к авторскому самоуправству в обращении с реальностью. Но *всякое* ли может случиться в действительности? Плохо, когда знаменитое: «Не верю!» произнесёт не маститый режиссёр, а неискушённый зритель. Где найти приемлемую последним середину — если не золотую, то хотя бы позолоченную?

Что и говорить, мы, как и Маринина с её героями, пережили целую революционную эпоху. За это время старая «совковая» обыденность куда-то ушла, а то, что ранее казалось недопустимым, превратилось в привычное. Но изменились ли люди? Стали они лучше или, напротив, потрясения выявили худшие стороны их естества?

В 2005 г. «королева детектива» издаёт роман «без Каменской» со знаковым (?) названием «Замена объекта». Опытный следователь-мужчина, угнетённый, однако (при всей своей профессиональной проницательности), известного рода подозрениями в адрес своей жены, через социальные сети Интернета раскрывает деяния целой банды, прикинувшись бизнес-леди. Виртуально «поменяв пол», он входит в доверие к недалёкой жене опытного преступника, которая, заподозрив пошлый адюльтер, невольно приоткрывает завесу над со-

всем иной, тайной деятельностью своего мужа. В результате, помимо удовлетворения от раскрытия запутанного дела, следователь оказывается «вознаграждён» верностью собственной, горячо любимой жены. Мораль или мечтания о восстановлении моральных устоев? Не проще ли вернуться к «чистому» детективному жанру? И да, и нет. Теперь Маринина пытается придать детективу не вполне обычную для этого жанра актуальность и витальность.

В романе «Городской тариф» (2005—2006) в основе преступных интенций оказывается взятка, ставшая естественным элементом жизнедеятельности системы. Как грустно констатируют руководители борьбы с преступностью, существуют руководители, которые «взяток не берут, они чистенькие, но они впрямую заинтересованы в том, чтобы все вокруг брали и давали, потому что ими можно управлять»[10]. Более того, «наша правоохранительная система устроена таким хитрым образом, что она живёт как бы отдельно от людей, которых, по идее, должна защищать и оберегать», и потому за спиной ординарных мздоимцев всё более уверенно действуют куда более опасные фигуры, раздающие «правильные» инструкции, и остающиеся неподсудными с точки зрения уголовного права, а государство естественно закрывает глаза на деяния тех, чьими «спонсорскими» деньгами пользуется[11].

Историкам данная ситуация знакома: в России государство на протяжении веков ухитряется существовать отдельно от собственных подданных. Те же не только не замечают этого, но и, напротив, готовы постоянно ожидать от власти благодеяний, на которые она не способна по самой своей природе. Невероятно, но, похоже, Маринина через окуляры детектива разглядела то, что не желают замечать историки, особенно «патриотичные».

Разумеется, вхождение в «новую» современность, как и в «старое» прошлое, даётся нелегко. Столкнувшись с аномальными явлениями, Каменская начинает думать, что «в этом мире другие нравственные нормы, другие мерки» и потому она — «пережиток прошлого, который в этих нормах и мерках просто не может существовать»[12]. Всё это похоже на сомнения историка, испытывающего трудности при освоении приёмов герменевтики.

Каменская, теперь — полковник в отставке и частный детектив, появляется после некоторого перерыва (трудно ей вписаться в ситуацию «смены объекта») в двухтомном романе «Смерть как искусство» (2011). Не без обычного женского кокетства она сокрушается,

[10] *Маринина А.* Городской тариф». С. 194.
[11] Там же. С. 398, 403.
[12] Там же. С. 248.

что «стала старой и нерасторопной», поскольку «свои умения вырабатывала в прошлом веке» благодаря «чугунной заднице», т.е. усидчивости. Она оказывается как бы на втором плане потому, что по должности не может играть первую скрипку в оперативной работе, а на авансцену выходят молодые коллеги: «странноватый» участковый Игорь Дорошин (любитель кошек, музыкант, бескорыстный покровитель пенсионеров), сыщики Сергей Зарубин и Антон Сташис. Но вряд ли без её участия удалось бы так быстро распутать замысловатое по мотивировке покушение на театрального режиссёра и в очередной раз восстановить справедливость.

И здесь бросается в глаза характерный намёк: пьеса «Правосудие», которую собираются поставить в «Новом театре», это своего рода сюжетный спор с классическим детективом, сочинённым, скажем, Агатой Кристи (хотя в действительности пьеса напоминает скорее «Ворота Расёмон») — фигура истинного виновника в ней словно бы заслоняется образами «подстрекателей» и «виктимной» жертвы. Понятно, что такую пьесу поставить непросто, несмотря на щедрую помощь спонсора. Руководителям театра приходится «выкручиваться» — иначе денег на последующие постановки не будет. А как разобраться в настоящем преступлении, накрученном вокруг преступления сценического, следователю, вынужденному к тому же подводить под всю эту зыбь твёрдую доказательную базу? В общем — всё, как в работе историка, призванного разбираться не только в «реальном» прошлом, но и в его воображаемой ипостаси, не говоря уже о порождённой им символике.

Почему действие детектива перемещено в театр, да ещё «новый»? Почему Театр предстаёт живым существом, чутко реагирующим на любые шевеления актёрских душ *внутри* себя? Потому, что привычное соотношение между реальным и виртуальным, между «быть» и «казаться» изменилось, потому что в информационно-интернетовский век в детективе оказывается востребован своего рода *гипер*реализм, а не привычное жизнеподобие. И по этой причине у новой Марининой жизнь театральных персонажей начинают обсуждать кот Гамлет и всякие животные и птицы — эти тихие наблюдатели людского бытия. Привычной «плоскости» (даже театральной), на которой обычно разворачивается действие «чистого» детектива, теперь недостаточно. Требуется стереоскопичное видение объёмного пространства. Иначе не понять закономерности развёртывания преступлений, так или иначе вторгающихся в человеческую жизнь и кардинально меняющих привычные ценностные измерения. Как, впрочем, происходит время от времени во всей истории человечества, в которой, по мере смены эпох, всё труднее различить «правых» и «виноватых».

Информационные потоки усложняются, рассуждает Каменская-Маринина (технический прогресс добрался до театра!), следовательно должны усовершенствоваться и методы раскрытия преступлений. Информационная революция не менее основательно усложнила и работу историка, ибо само представление об источнике стало куда более многомерным, а документальная база — какой-то зыбкой и даже эфемерной. Одной «мужской логики» для осмысления этого недостаточно. Тем более, что теперь мотивом для преступления может стать и нетрадиционная сексуальная ориентация.

Так или иначе, в детективах Марининой отчётливо просматривается новая социальная парадигма расстановки полов и их взаимоотношений на рубеже XX—XXI веков, основанная на «комплексе превосходства» женщины. Устами главной героини она провозглашает: мужчина обязан ценить и уважать женщину за её *нераскрытый маскулинный потенциал*, женщина из сексуальной игрушки и перегруженной хозяйством работницы-матери может и должна, наконец, превратиться *в равноправного* партнёра мужчины. Иначе она займёт *его* место. Очевидно, что такое представление могло возникнуть только в среде активных гендерных мутаций, в обществе, которое постепенно лишается выраженного маскулинно-творческого начала.

При этом Маринина постоянно напоминает, что современному обществу болезненно не хватает естественного релаксанта — чувства участия и сострадания. И здесь тоже «спасает» феминное начало. Только женщина, показывает Маринина (с чем я вряд ли соглашусь), способна искупить грехи своего подонка-супруга, даже сознавая, что на это может не хватить всей жизни.

В романе «Смерть как искусство», не случайно посвящённом преступлению в театре (вся жизнь театр!), разбросаны многозначительные афоризму и максимы, представляющие интерес и для творческой лаборатории историка. Нельзя относиться к людям, как к маскам, — это заповедь не в меру «социологизирующему» историку. Важно не то, что говорит тот или иной человек, а то, *как* он говорит, напоминает Маринина сентенции Михаила Чехова. В переводе на язык источниковедения это можно интерпретировать так: важно не только то, что легко открывает источник, но и скрытое в нём в силу культурной «стыдливости» своего времени. Важно научиться так разговаривать с людьми, чтобы они открыли все свои тайны. И в исторических свидетельствах — важна «фигура умолчания», притаившаяся за болтливостью эпохи, ибо повседневная «микроистория» — это способ прорваться в метаисторию через скрытую дверь.

В известной степени историк смотрит на прошлое глазами «следователя». В меру своих талантов и способностей он пытается

представить либо адекватно сложную картину мира, либо, напротив, упростить её до плоскосюжетности и конспирологии. Плохая историография подобна примитивному «милицейскому» роману. Проницательный и пытливый художник невольно превращается в бытописателя — творца исторических источников. И вопрос не сводится к проблеме «зеркала» (в стендалевском или толстовском смысле). Историк может наблюдать за художником и в поиске «неуловимой» информации, и как источниковед-дешифровщик. В общем, это по-своему увлекательная и когнитивно небесполезная задача-игра.

Миром управляют страхи и вожделения — старые, как мир. Но их комбинации непрерывно усложняются; в том числе и на микроуровне, способном, в свою очередь, привести к необратимым системным изменениям. Творческая сверхзадача и историка, и художника — не отстать от этого процесса. Это предполагает непрерывное совершенствование исследовательского инструментария.

И если даже сочинители детективов сознают необходимость смены, точнее, усложнения представлений об объекте своего творчества, то историкам и подавно пора отказаться от одномерного освещения прошлого. Современная жизнь, даже через «женский» детектив, настойчиво это подсказывает. Но все ли историки согласятся это понять? И не проще ли превратить «живое» прошлое в набор конспирологических сюжетов, способных удовлетворить праздное любопытство?

В своё время я была поражена, как «странно» (для историка) литературоведы видят «историческое содержание» беллетристики, в том числе и детектива. Но сталкиваясь с некоторыми безликими «социологизированными» сочинениями коллег, которые даже за лирическими строками видят лишь «исторические закономерности», поневоле задумываешься: а, может быть, правы филологи? В конце концов, художественная литература — плохо ли, хорошо ли — представляет нам доминирующий тип *личности* той или иной эпохи.

Увы, порой кажется, что мои коллеги слишком часто уподобляются плохим «детективщикам». О чём будет очередной роман Марининой, трудно сказать. Зато из трансформации её детективных сюжетов видно, каких «соблазнов жанра» должен избегать историк.

Л.А. Опёнкин

О теоретико-методологических основах изучения общественного устройства новой России

Печальная действительность такова, что современная Россия на протяжении всего периода своего становления пребывает в состоянии глубокого мировоззренческого кризиса, обусловленного огромными изъянами в изучении истории и теории общественного устройства. Анализ процесса партийного строительства и результатов социологических исследований о предпочтениях наших соотечественников свидетельствует, что основные политические силы и социальные слои нашего общества придерживаются различных базовых ценностей и идейных ориентиров. Они склоняются преимущественно к трём абсолютно разноплановым идеалам — советскому социалистическому строю, демократии западного образца и складывающейся в новой России системе общественных отношений[1]. Причём смысл последней, в силу пренебрежительно-равнодушного отношения власти к научному обоснованию идеологического сопровождения проводящихся преобразований, остаётся до сих пор невыясненным. Показательны в этом отношении результаты опросов последнего десятилетия. В разные годы от 78 до 86% опрошенных россиян не могли дать однозначно утвердительный ответ на вопрос: «Есть ли у Вас представление, в каком направлении движется наша страна, какие цели поставлены перед ней её нынешним руководством?»[2].

Мировоззренческий кризис не позволяет определить единую для всех общественно-политических сил и разделяемую большинством народа стратегическую цель преобразования страны и преодолеть на этой основе тот идейный раскол, который характерен для России на протяжении последней четверти века. Дальнейшая консервация сложившейся в духовной сфере разноголосицы представляется весьма опасной для будущего Отечества. Дело в том, что если внимательно присмотреться к многовековой российской истории, то обнаруживается жёсткая вза-

[1] См., например: *Горшков М.К.* Российское общество в условиях трансформации (социологический анализ). М., 2000. С. 113; *Левашёв В.К.* Морально-политическая консолидация российского общества в условиях неолиберальных трансформаций // Социологические исследования. 2004. № 7. С. 44; *Бойков В.Э.* Народ и власть. Результаты социологического мониторинга: 1995—2005 гг. М., 2006. С. 159; Общественное мнение. 2010. М., 2012. С. 32 и т.д.

[2] См.: Общественное мнение. 2010. С. 24.

имосвязь между сознанием народа (и прежде всего его авангардного слоя) и характером функционирования общества и государства. Стадиям идейного единства всегда сопутствовали мощь и сила державы. И наоборот, сумятица в состоянии «национального духа» рано или поздно приводила к хаосу, ставившему страну на грань катастрофы, о чём свидетельствуют распад Киевской Руси, Смутное время, крах Российской империи и крушение СССР. Каждому из этих катаклизмов обязательно предшествовало нарушение идейной целостности элиты, а затем и всей нации. Чётко просматривается и ещё одна, не менее важная закономерность: выйти на магистраль уверенного поступательного движения после очередного системного кризиса ни разу не удавалось до тех пор, пока нация не могла сплотиться на базе единого миропонимания.

В прошлом нашим предшественникам после каждого переломного момента в жизни народа удавалось утвердить в общественном сознании общий взгляд на перспективу развития страны. Нынешней генерации политической элиты идейно сплотить россиян пока не удаётся. Причин бесплодности предпринимаемых для этого усилий немало, но главная из них кроется в бесперспективности тех познавательных алгоритмов, которые господствуют в последние десятилетия при осмыслении прошлого, настоящего и будущего России. В целях преодоления ставшего уже хроническим мировоззренческого кризиса требуется поиск новых подходов к выработке концепции её общественного устройства. Огромную помощь в решении этой задачи может и должен оказать опыт мыслителей, разрабатывавших научные основы изучения исторического процесса.

Ещё В.О. Ключевский писал о том, что суть мировой истории составляет противоборство идеализма и реализма во всех сферах жизни общества, и прежде всего — в области «духа человеческого»[3]. Идеалисты убеждены, что судьбы народов жёстко предопределены неким разумным началом и должны быть фатально подчинены некоему идеальному замыслу мироустройства. Реалисты, наоборот, не признают наличия высшего начала в истории. Жизнь людей, по их мнению, должна быть пропитана благоразумием, а от политиков требуется умение видеть и устранять проблемы, мешающие поступательному движению. Причём выбор методов им в каждом конкретном случае целесообразно осуществлять на основе ясного понимания «происхождения, хода, условий, форм и природы человеческого общежития»[4].

Вытеснение идеализма реализмом многие мыслители прошлого считали одной из актуальнейших задач. Даже Н.А. Бердяев, уделявший

[3] См.: В.О. Ключевский — П.П. Гвоздеву // *Ключевский В.О.* Сочинения в девяти томах. Т. 9. М., 1990. С. 184—194.

[4] *Ключевский В.О.* Методология русской истории // Там же. Т. 6. М., 1989. С. 9.

основное внимание проблемам религиозной философии, писал о жизненной потребности превращения реализма в основополагающую национальную интеллектуальную традицию[5]. Решающей предпосылкой этого, по мнению ряда учёных, должно было стать строгое отделение в обществоведении *научного* подхода от *философского*, поскольку предмет науки — реальность, факт, окружающая человека действительность, а философии — неограниченное ни временем, ни пространством, ни природной и социальной средой мышление[6]. Научный метод познания предполагает всестороннее осмысление жизни общества, опирающееся на достоверное знание, а не на её умозрительное конструирование. Как справедливо отмечал С.Л. Франк, деспотизму идеи невозможно подчинить ни человеческую деятельность, ни процесс её изучения[7].

Но и в современной отечественной общественной мысли осмысление проблем, возникающих в ходе развития России, носит в значительной степени идеалистический, в большей степени философский (умозрительный), а не научный (конкретный) характер. Представители политической и интеллектуальной элиты вместо обстоятельного размышления над российским историческим опытом стремятся, как правило, кроить программы обновления постсоветской реальности по импортным теоретическим лекалам. При этом упускается из виду, что все эти теории, используемые ныне исследователями в качестве методологической основы — и формационная теория исторического процесса, приписываемая К. Марксу и Ф. Энгельсу; и цивилизационно-конфессиональная теория М. Вебера, С. Хантингтона; и цивилизационно-национальная теория А. Тойнби, Ф. Фукуямы; и теория постиндустриального общества Д. Белла, О. Тофлера; и теория форм обмена К. Поланьи, Д. Дальтона; и теория мир-системного анализа И. Валлерстайна, Ф. Броделя — возникли в результате анализа совершенно другой, существенно отличающейся от российской, экономической, социальной, политической, духовной среды. Это, естественно, не ставит под сомнение научную значимость и ценность этих теорий. Но как уже более столетия тому назад подметил В.О. Ключевский: «Чужой западноевропейский ум призван был нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им свой ум»[8].

---

[5] См.: *Бердяев Н.А.* Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 39—40.

[6] См.: *Погодин М.П.* Исторические афоризмы // *Погодин М.П.* Избранные труды. М., 2010. С. 106—107; *Вернадский В.И.* Научная мысль как планетарное явление // *Вернадский В.И.* Избранные труды. М., 2010. С. 441—442, 463—464, 470—471, 515—517.

[7] См.: *Франк С.Л.* Крушение кумиров // *Франк С.Л.* Сочинения. М., 1990. С. 160.

[8] *Ключевский В.О.* Афоризмы и мысли об истории // *Ключевский В.О.* Сочинения в девяти томах. Т. 9. С. 371.

Кроме того, нельзя не признать методологической исчерпанности альтернатив «капитализм—социализм», «демократия—авторитаризм», «либерализм—тоталитаризм», активно используемых в последние десятилетия. Воспроизводя эти альтернативы, являющиеся не столько научным познавательным инструментом, сколько идеологическим рудиментом далеко ещё не завершённой «холодной войны», мы обрекаем себя на дальнейшее пребывание в плену мифологических представлений о социальных преобразованиях в нашей стране, включая и её обновление на основе либеральной демократии и частного предпринимательства. Давно уже пора перевести изучение закономерностей жизни российского общества на принципиально новую орбиту движения исследовательской мысли.

Как свидетельствует мировая история, государства, *имеющие возможность* широко применять опыт, накопленный высокоразвитыми странами, обладают в конечном итоге в большинстве случаев намного более благоприятными условиями для ускорения прогресса, удовлетворения интересов и потребностей людей. Вместе с тем ценности и институты демократии, либерализма, рынка, частной собственности являются лишь внешним проявлением неких глубинных основ жизнедеятельности общественного организма, неумолимо воспроизводящих адекватный своей сути алгоритм функционирования социально-экономических, политических, культурных, международных систем. В итоге, укоренение в обществе преимущественно демократических или, напротив, административно-командных, либеральных или авторитарных, рыночных или плановых подходов является результатом не только, а точнее — не столько субъективной деятельности участников исторического процесса, сколько следствием влияния целого комплекса присущих каждой стране (или группе стран) *объективных обстоятельств*. Именно они формируют и воспроизводят специфический национальный «генетический код», оказывающий незримое воздействие на ход событий[9]. И следует учитывать, что сущность каждого конкретного «генетического кода» в одних случаях создаёт благоприятные условия, а в других — порождает мощнейший механизм торможения попыткам изменить сложившуюся ситуацию.

Что же представляет собой наш отечественный «генетический код»? Что следует отнести к специфике российской цивилизации? В чём состоит природа её отличия от других моделей организации общества и прежде всего — от западноевропейской цивилизации, привлекающей в последние три столетия наиболее пристальное вни-

[9] Подробнее см.: *Дискин И.Е.* В путах возомнившего разума // Общественные науки. 1990. № 4. С. 5—21.

мание наших соотечественников? И какое конкретное воздействие оказывает наш специфический многовековой тип общественного устройства на содержание и характер жизни современной России?

Попытки разобраться в цивилизационных особенностях России не раз предпринимались в XIX—XX вв. Учёным разных поколений удалось показать, что на Востоке Европы государственная организация сложилась намного раньше, чем её смог создать процесс внутреннего экономического развития, как это было в Западной Европе. Европейское общество и государство строились органично — снизу вверх. Централизованная власть там стала политической надстройкой над предварительно сложившимся средним слоем землевладельцев, который в свою очередь естественным образом вырос из сформировавшегося низшего слоя оседлого крестьянского населения. В нашей стране вся система отношений выстраивалась сверху вниз. Верховная власть, в основном методами принуждения, закрепила под собой военно-служилый класс, а тот в свою очередь подчинил себе крестьянство. Причём этот процесс носил абсолютно объективный характер: появление институтов государственности в условиях неразвитости низших (экономических, социальных, духовных) этажей общественной жизни являлось единственным средством выживания нации. «Необъяснимое процессом внутреннего развития, — отмечал в своё время П.Н. Милюков, — появление этой верхней государственной надстройки — военно-феодального государства — объясняется причинами внешними... Этим перевесом внешнего роста над внутренним объясняются все существенные черты социальной истории России»[10].

В отличие от Западной Европы, не подвергавшейся с VIII—IX столетий крупным внешним вторжениям, Русь, а затем и Россия вплоть до конца XVIII века вынуждена была в целях сохранения своей независимости участвовать в непрерывных войнах. Необходимость борьбы со степными кочевниками и другими внешними врагами заставляла направлять практически все имевшиеся ресурсы на содержание войска. На обеспечение обороны и безопасности в течение столетий тратилось от 70 до 90% государственного бюджета. Перманентное состояние войны усугублялось к тому же крайне неблагоприятной демографической ситуацией. Даже в XVIII—XIX вв., когда численность населения России возросла в 10 раз (составив треть жителей Европы), плотность его была крайне низкой. В начале XVIII в. на один квадратный километр приходилось около 4 человек, а в начале XIX в. — 17 человек.

При этом длительное время, в том числе и тогда, когда в Западной Европе полным ходом происходило становление товарно-денежных

[10] *Милюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. СПб., 1904. С. 144.

отношений и промышленного производства, Россия представляла собой преимущественно аграрную страну, находящуюся к тому же в неблагоприятных природно-климатических условиях, позволявших заниматься сельскохозяйственными работами всего 125—130 дней в году[11]. Низкая урожайность, слабая база скотоводства давали относительно небольшой объём совокупного прибавочного продукта, что заметно тормозило процесс экономического, а в конечном итоге и всего общественного развития.

Эти и другие особенности оказывали и в значительной степени продолжают оказывать воздействие на социально-экономическую, политическую и духовную жизнь нашего народа, способствуя воспроизводству особого, мобилизационного уклада, сущностной чертой которого является регулярное и широкое применение чрезвычайных средств и организационных форм для решения возникающих проблем. Он стал реакцией на сохранявшийся в течение практически всей отечественной истории огромный разрыв между постоянно возраставшими и усложнявшимися задачами исторического бытия и имевшимися в наличии материально-техническими, финансовыми, людскими, управленческими и интеллектуальными ресурсами[12]. Это противоречие между целями преобразований и средствами их достижения веками воздействовало на формирование системы социальных связей. Её родимыми чертами стали всесилие государственного начала, склонность к коллективным видам собственности и организации труда, неразвитость рыночных отношений; беззаконие, принесение частных интересов в жертву потребностям всего государства. Фундаментом мобилизационного типа организации общества являлась раздаточная экономика, базировавшаяся на общественно-служебной форме собственности[13].

Многие учёные справедливо считают, что мобилизационная модель общественного устройства России доминировала в течение всех основных периодов существования нашей страны — и во времена Киевской Руси, и в «удельные века», и в Московском царстве, и в Российской империи, и в Советском Союзе[14]. В модифицированном

[11] Подробнее см.: *Милов Л.В.* Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // Вопросы истории. 1992. № 4—5. С. 37—56.

[12] *Гаман-Голутвина О.В.* Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М., 2006. С. 35.

[13] *Бессонова О.Э.* Раздаток: институционная теория хозяйственного развития России. Новосибирск, 1999; *она же*. Раздаточная экономика России. М., 2006.

[14] См., например: *Галкин А.А.* Общественный прогресс и мобилизационная модель развития // Коммунист. 1990. № 18. С. 23—33; *Фонотов А.Г.* Россия: от мобилизационного общества к инновационному. М., 1993.

виде она по-прежнему продолжает если не доминировать, то, как минимум, сильно влиять на жизнь современной России. Об этом свидетельствуют и сохраняющийся разрыв между социально-экономическими и культурными потребностями подавляющего большинства населения и имеющимися для их удовлетворения возможностями, и ярко выраженный монополизм государства в политической и хозяйственной жизни, и вытеснение из публичной политики олигархических группировок, и концентрация большей части налогов в федеральном бюджете при огромной роли трансфертов в экономике регионов, и существование специальной системы контроля за расходованием бюджетных средств, и широкое применение системы «ручного» управления, и практика постоянного вынужденного участия высших руководителей государства в решении многочисленных повседневных проблем.

Признавая значительное влияние мобилизационной системы на положение дел в России, бессмысленно говорить хорошо это или плохо. Такова реальность её исторического развития. Вся история нашей страны, независимо от её идеологических характеристик на различных этапах («Москва — Третий Рим», «единая неделимая», «советская социалистическая», «либерально-демократическая»), представляет собой единый качественно однородный процесс, функционирующий по законам мобилизационного типа общественного устройства. Конечно, в рамках этого процесса были свои приливы и отливы, нередко та или иная конкретная система организации жизни народа, исчерпав свой внутренний ресурс, оказывалась в критической точке. Очередной кризис разрешался в ходе борьбы нового со старым, внешне напоминавшей подчас революцию. Однако ни разу результаты этой борьбы не затрагивали *в конечном итоге* фундаментальные основы заведённого порядка вещей. Они лишь создавали более подходящие формы для дальнейшего существования возрождавшейся вновь и вновь, несмотря ни на какие социальные бури, мобилизационной модели, естественно, с учётом новых исторических условий.

Вместе с тем нельзя не признать явную ограниченность и бесперспективность данной модели для будущего нашей страны. Очевидна необходимость придать современному российскому обществу *принципиально новое качество*, позволяющее перейти от состояния удовлетворения элементарных потребностей к достойной жизни всех слоёв населения, *от выживания к развитию*.

Соответственно главная стратегическая цель преобразований в новой России должна состоять в трансформации мобилизационного типа в органический, саморазвивающийся, саморегулируемый тип устройства общества. Основные его признаки: подчинение всей деятельности

власти задачам улучшения качества жизни народа на основе увеличения объёма национального богатства путём ускорения инновационного научно-технического развития; ликвидация территориальных дисбалансов; ориентация на собственные цели и средства, позволяющие обеспечить суверенитет; доминирование интересов человека, а не государства в жизни общества; превращение инициативы граждан в двигатель прогресса; укоренение принципа самоорганизации при одновременном угасании традиции государственного регулирования всеми сферами общественной деятельности; активизация экономической, социальной, политической, духовной конкуренции; всесилие закона, а не определяемой чиновниками политической целесообразности.

Переход России от мобилизационного к более совершенному типу общественного устройства, сущностной чертой которого должен стать принцип гармоничных взаимоотношений между личностью, обществом и государством, — задача крайне сложная и противоречивая. Обязательным предварительным условием успешности такого перехода является решение целого комплекса проблем, давно уже обозначенных российской властью, но по-прежнему остающихся злободневными.

Прежде всего, необходимо существенно увеличить объём производимых в стране товаров и услуг. Несмотря на стабильно высокие темпы ежегодного роста национального дохода в 1999—2008 годах (в среднем — 7%) мы существенно уступаем ведущим мировым экономикам[15]. Россия входит в число 15 наиболее экономически развитых стран мира, однако реально производимой продукции не достаточно для того, чтобы обеспечить высокий уровень жизни населения. По ВВП на душу населения Россия уступает 70 государствам[16].

Неотложно следует внести кардинальные перемены и в демографическую ситуацию. В случае консервации нынешнего положения численность населения в Российской Федерации может уменьшиться к 2050 году до 120 млн человек (против 142 млн в 2009 г.). Более того, если в 2005 г. доля трудоспособных граждан в общей численности россиян составляла 63,1%, то к середине XXI столетия возможно её сокращение до 49%[17]. При этом Россия и сегодня отличается низкой плотностью населения — около 8 человек на кв. км.

Требуется также создание условий для совершенствования человеческого капитала, обеспечения безопасности личности, экологии,

[15] См.: Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 2009. С. 36.

[16] Мир в цифрах. 2009. М., 2009. С. 14, 16.

[17] *Жуков В.И.* Социальный набат. М., 2010. С. 38—39, 78—79.

здравоохранения, образования, нормальных жилищных условий. Пока Россия замыкает лишь третий десяток стран мира, имеющих самый высокий индекс состояния окружающей среды, а по уровню затрат на образование и здравоохранение занимает ещё более низкое место[18]. Крайне актуальным остаётся и поиск оптимальных путей укрепления национальной безопасности без истощения экономических сил страны. Ведь, обладая сравнительно скромными размерами внутреннего валового продукта, Россия стабильно входит в пятёрку государств с наибольшими расходами на оборону[19].

Всё это предполагает широкомасштабную модернизацию всех областей жизни общества. Но сегодня Россия пребывает в таком состоянии, когда формы и методы модернизации могут быть взяты как из «либерально-демократического», так и из традиционного «административно-командного» арсенала. И главным критерием отбора должно выступать не умозрительное представление о преимуществе демократии, свободы, частной собственности, рынка, либерализма перед их ценностными и институциональными антиподами (или наоборот!), а способность в сжатые сроки максимально эффективно разрешить животрепещущие проблемы, которые в своей совокупности создают мощнейший механизм торможения процесса обновления постсоветской России. Удастся преодолеть этот барьер — и наша страна получит шанс подняться на новую, более высокую ступень цивилизационного развития. Если нет — придётся, ради сохранения целостности государства и выживания нации, вновь прибегать к мобилизационной модели, сдобренной в основном ритуально-рафинированными либерально-демократическими формами. Однако, сослужив добрую службу в прошлом, вряд ли эта модель способна обеспечить нашему народу достойную жизнь в будущем.

[18] Мир в цифрах. 2009. С. 74, 92, 187.
[19] Там же. С. 91.

Сведения об авторах

Арсланов Рафаэль Амирович, доктор исторических наук, профессор Российского университета дружбы народов.

Будницкий Олег Витальевич, доктор исторических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Булдаков Владимир Прохорович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Вандалковская Маргарита Георгиевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Волобуев Олег Владимирович, доктор исторических наук, профессор Московского государственного областного университета.

Голубев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Институт российской истории РАН.

Дурновцев Валерий Иванович, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

Журавлёв Валерий Васильевич, доктор исторических наук, профессор Московского государственного областного университета.

Журавлёв Сергей Владимирович, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН.

Зверев Василий Васильевич, доктор исторических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Зубкова Елена Юрьевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Иванов Анатолий Евгеньевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Кара-Мурза Алексей Алексеевич, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН, президент Национального фонда «Русское либеральное наследие».

Карпачёв Сергей Павлович, доктор исторических наук, профессор Московского городского педагогического университета.

Красовицкая Тамара Юсуфовна, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Куприянов Александр Иванович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Тверского государственного университета.

Мамонов Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Российская история», старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

Мельникова Любовь Владимировна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Морозов Константин Николаевич, доктор исторических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Морозова Алла Юрьевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

Невежин Владимир Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Олейников Дмитрий Иванович, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета.

Опёнкин Леонид Антонович, доктор исторических наук, профессор.

Петров Юрий Александрович, доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН.

Розенталь Исаак Соломонович, доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории.

Секиринский Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, заместитель директора Института всеобщей истории РАН.

Тютюкин Станислав Васильевич, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Филиппова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

Хайлова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

Хлевнюк Олег Витальевич, доктор исторических наук, главный специалист Государственного архива Российской Федерации.

Христофоров Игорь Анатольевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, главный редактор журнала «Российская история».

Шевырин Виктор Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Шелохаев Валентин Валентинович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Научное издание

Историк и Художник:
Сборник воспоминаний и статей
памяти профессора Сергея Сергеевича Секиринского

Утверждено к печати
Ученым советом Института российской истории
Российской академии наук

Редактор: Л.С. Новоселова-Чурсина
Компьютерная верстка: Ю.В. Балабанов

Подписано к печати
Формат 60×90/16. Гарнитура PerersburgTT.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 35. Уч.-изд. л. 36,7.
Тираж 300 экз.

Издательский центр Института российской истории РАН
117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ООО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь,
www.pareto-print.ru
Заказ № 0000/00